



Колин Маккалоу

*Поющие
в терновнике*

Annotation

Захватывающая семейная сага, пронзительная история о беспримерной любви длиною в жизнь – роман Колин Маккалоу по праву получил всемирное признание, а блестящая экранизация 1983 года принесла ему еще большую популярность.

В этой книге есть все – экзотическая обстановка, неожиданные повороты сюжета, исключительная эмоциональность, тонкие и убедительные психологические портреты. Но прежде всего это подлинный гимн великой любви, во всех ее проявлениях: любви к родной земле, любви к детям и родителям, любви к Богу... и вечной любви мужчины и женщины.

- [Колин Маккалоу](#)

-

- [Предисловие](#)

-

- [I](#)

- [II](#)

- [III](#)

- [IV](#)

- [V](#)

- [VI](#)

- [VII](#)

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

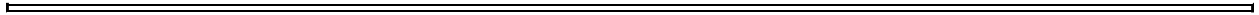
- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)



Колин Маккалоу

Поющие в терновнике

Colleen McCullough
THE THORN BIRDS

© Colleen McCullough, 1977

© Предисловие. Л. Сумм, 2014

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

* * *

Предисловие

Последняя фраза

28 апреля 1789 года на корабле, перевозившем саженцы хлебного дерева с Таити на Ямайку, вспыхнул бунт. Жестокость ли капитана тому причиной или непонятная рядовым участникам экспедиции «прихоть» поливать саженцы пресной водой, в то время как людям ее выдавали строго по рациону, или же не отпускали чары таитянок – впервые английские матросы почувствовали себя не винтиками хорошо налаженной системы, а мужчинами, желанными любовниками – объяснений хватает. Вероятно, мятеж вспыхнул именно из-за совпадения всех этих неоднородных причин, как будто сошлись в одну точку разные линии повествования. Если Колин Маккалоу надумает взяться за историю острова Норфолк, на котором она живет уже 35 лет – а она грозилась – у нее, конечно же, проступят все эти сюжеты, и будет воздано должное незаурядной личности лейтенанта Кристиана, который увлек за собой экипаж. Так выстроены «Поющие в терновнике», так выстроена и «Песнь о Трое»: меняются повествователи, смещаются точки зрения, рядом с вечным чувством присутствует экономический фактор. Чтобы избежать спойлеров, сошлемся на пример из «Песни о Трое»: греки рвутся на войну не только из-за Елены Прекрасной, но и ради «нефти» Бронзового века – олова. И харизма Ахилла, рожденного для дружбы и войны, и супружеская слабость Менелая, и откровенная женская сексуальность, и политические интриги, и психология толпы – все это есть в «Песни о Трое» и, если дождемся, будет в «Баунти».

На закате своей творческой жизни – на прогретом субтропическим солнышком закате – Колин успевает едва ли не больше прежнего. В 2007 году, достигнув семидесяти лет, она подводила итоги, сомневаясь, много ли еще удастся написать: унаследованное от матери заболевание глаз лишило ее зрения на одном глазу и подтачивало второй. Писательница торопилась завершить серию «Властителей Рима». Первоначально она хотела остановиться на смерти Цезаря и гибели его убийц. Вышедший в 2002 году двухтомник «Октябрьский конь» – завораживающее чтение: здесь в единый узел сплетаются исторические события, последствия которых ощутимы и спустя два тысячелетия, и живые, складывающиеся на глазах читателя, отношения между людьми. В книге охвачены экономические и политические соображения и частная выгода; волнения александрийской

черни, богатства и коррупция Малой Азии, опасности мореплавания, точные детали сражения при Филиппах, родословная правителей Рима; различные проявления общечеловеческой природы, плоды воспитания и симптомы болезней (Маккалоу, со своим медицинским образованием, высказывает интересные и для профессиональных историков предположения о природе эпилептических припадков Цезаря, а у преемника Цезаря, будущего императора Августа, диагностирует астму с аллергией на пыль). Иллюстрирующие книгу портреты главных действующих лиц рисовала сама Колин, ориентируясь на античные бюсты: рисование было ее увлечением с детства наряду с чтением, и, выбирая себе в тридцать лет источник дополнительного приработка, она сначала попробовала живопись (тоже, кстати, успешно), а потом уж, на радость нам, литературу. Наряду с портретами, максимальным выражением свободы автора («такими я их вижу»), все тома «Властителей Рима» снабжены и несколько неожиданным для жанра исторического романа аппаратом: не только списком персонажей, но и подробным словарем терминов. В авторских комментариях Колин строго размежевывает свои гипотезы и общепринятые теории, отграничивает предположения от установленных наукой фактов. Иными словами, можно читать любую книгу в этой серии как роман, ведь автор соблюдает главное условие художественного текста – ощущение прошлого как становящегося, непосредственное переживание, присутствие во времени.

А можно привлечь семитомник и как дополнительное чтение по истории античности.

Основа такой работы – сбор материала. «Сначала я делаю выписки, потом дважды их перепечатаваю, и они вот тут», – пояснила Колин корреспонденту, прилетевшему к ней за тысячи миль ради юбилейного интервью. «Вот тут» – понятное дело, в голове. А чтобы прочнее укладывалось, Колин так и не перешла с громоздкой электрической машинки IBM на компьютер. В узком кабинете норфолкской виллы она возвращается на инвалидном кресле (подводят и мышцы спины) между трехсторонним, в форме буквы П, столом: машинка, рукописи, стопки отпечатанных заметок. Вымысел можно создавать и вслепую, диктуя секретарям – население острова, где всего-то значилось 2300 человек, ощутимо увеличилось за счет свиты Маккалоу, тех, кто читает ей вслух и печатает под ее диктовку. Но исторические книги – только своими руками, выписав и дважды перепечатав каждую деталь. Вот почему, когда настойчивые письма читателей и собственные размышления над историей убедили Колин Маккалоу, что «поворот к империи» следует довести от

Мария и Суллы не до гибели Цезаря, но несколько дальше, до падения Антония и Клеопатры и утверждения Октавиана Августа в качестве единого императора Европы и Азии, она принялась за седьмой том. И лишь закончив его к своему семидесятилетию, вернулась к той серии детективов, которую начала в 2006 году, и теперь стабильно выпускает в год по очередному приключению детектива Дельмонико (для XXI века и это – ретродетективы, действие происходит в Америке 1960-х). Осуществила Колин Маккалоу и давнюю озорную затею, опубликовав в 2008 году своеобразный фанфик к «Гордости и предубеждению» Джейн Остин. Нелюбимая Джейн Остин средняя из сестер Беннет, педантичная, некрасивая, сухая Мэри, которой всего-то уделено в романе восемь фраз, в этом продолжении становится главной героиней, ученой, феминисткой, борцом за права бедных. Мэри достаются потрясающие приключения, хороший муж, интересное дело, а главное – независимость. Книга так и называется «Независимость Мэри Беннет».

Женская независимость – ключевая для Колин Маккалоу тема. Родившись в 1937 году в Новой Зеландии, подрастая в столь же колониально-консервативной Австралии, Колин с малолетства задумывалась над возможностью самостоятельности и самообеспечения. В поколении ее матери, в том самом, рожденном в Первую мировую поколения, к которому принадлежит главная героиня саги «Поющие в терновнике», работа все еще остается уделом женщин из низшего класса. Домашняя прислуга – наиболее очевидный вариант, официантка – путь скользкий, медсестрой (скорее, нянечкой) – крошечный заработок, монастырская дисциплина, в начале XX века в этой роли и предпочитали видеть монахинь. Все это незавидная доля, завидная – выйти замуж. И совмещать роли прислуги, нянечки, если придется, то и домашней проститутки, причем задаром. Вокруг Колин наблюдала немало дисфункциональных семей, начиная со своей собственной. Холодная, явно не предназначенная для семейной жизни мать: она рано утратила интерес к жизни, подменив его глухим эгоизмом. В том юбилейном интервью Колин с присущей ей резкой прямоотой сказала: мать оглохла и ослепла, превратилась в овощ, но «смертельной хваткой цеплялась за жизнь и дотянула до 98 лет, измучив всех нас». Отец был более живым, но и его энергия скорее пугала, чем ободряла: он то пытался утвердиться в семье, то бросался в очередной обреченный проект заработать, разбогатеть, но в любом своем качестве – *pater familias* или добытчика – не мог обеспечить ни жене, ни сыну и дочери самого насущного: тепла, уверенности в завтрашнем дне, права побыть наедине с собой. В романах,

преимущественно викторианских, которые жадно поглощала Колин, участь женщины выглядела и того печальнее, а более всего огорчал хеппи-энд: если девушка еще могла читать книги, предаваться мечтам, проявлять хоть какое-то подобие индивидуального вкуса (только не чересчур, женихов бы не распугать), под звон свадебных колоколов ловушка захлопывалась. И Колин уже в младшей школе приняла решение: получить профессию, отдать все силы работе, никогда не выходить замуж и вообще эту сторону жизни не затрагивать, чтобы никакие уловки пола или социума не сбили с избранного пути. И еще один зарок она дала себе в ту пору, но об этом чуть позже. Продлим интригу.

Поколение Колин все же совсем другое: высшее образование для девушек уже не казалось чем-то экзотическим, появилась и возможность профессионального, достойно оплачиваемого труда. Как истинный гуманитарий, уже в выпускном классе Колин подрабатывала уроками и журналистикой, но в итоге выбрала медицинский факультет. Оно и понятно: медицина, наряду с преподаванием, – та область, где присутствие женщины поощряется даже традиционным обществом. Но женщину-преподавателя такое общество удерживает в пределах младшей школы и школы для девочек, не позволяя ей свободно делать карьеру, а женщина-врач может сравняться с мужчиной. И нацеливалась Колин амбициозно – на хирургическое отделение.

Типичный для Колин парадокс обнаружился, когда младшекурсников пригласили наблюдать за операцией: ее кожа оказалась слишком чувствительной. Нервы не подвели, Колин деловито трудилась в морге. Ее гуманитарный мозг с легкостью впитывал анатомические и прочие познания. Рука художника уверенно орудовала скальпелем. Но специальное мыло, которым хирурги обрабатывали руки, вызвало дерматит. Несколько упорных попыток – тщетно. Колин покрывалась красными пятнами при малейшем соприкосновении с дезинфицирующим средством. Сейчас подобрали бы альтернативу мылу, но тогда Колин пришлось искать альтернативу облюбованной профессии. К счастью, работа теоретика была для нее столь же органична, как практическая медицина. И юная студентка смогла заняться чрезвычайно интересной, новой и многообещающей наукой о мозге – той, что по-английски называется *neuroscience*, а по-русски то неврологией, то нейробиологией и, кажется, с точки зрения специалистов, оба перевода неверны. В 1950-х годах эта наука еще только формировалась, и границы ее интересов, как и ее методы, еще долго будут уточняться. Насколько молода и жива была эта наука в ту пору, легко судить и по биографии Маккалоу: вчерашняя выпускница стала одним из

основателей неврологического отделения в сиднейской больнице Норт Шор (попросту говоря, и было-то там несколько специалистов, ради которых открыли новое отделение). Уже в 26 лет она получила приглашение работать в лондонской больнице, а четыре года спустя уехала в медицинскую школу Йеля заниматься научной работой и преподавать. Можно себе представить, насколько востребована была эта самая нейробиология и каким великолепным специалистом была Колин Маккалоу, если к тридцати годам оказалась на преподавательской и педагогической работе в одной из самых известных медицинских школ США. Однако спрос рождает предложение, и лет через пять Колин ощутила, как ей наступают на пятки молодые выпускники того же Йеля. Не в происхождении и связях загвоздка – австралийцы пользовались в Штатах всеми правами, да и натурализоваться в любой момент было можно, и авторитет Колин заслужила такой, что никаким фаворитизмом его не обойти – но одно было непоправимо: ее пол. Будучи женщиной, она едва ли могла рассчитывать на что-то лучшее, чем уже имевшаяся у нее должность научного сотрудника и преподавателя. Профессор – вряд ли. И (мы все же в середине 1970-х) ее ставка составляла чуть больше половину от ставки мужчины на той же должности. Социальная справедливость: мужчина содержит семью, одинокая женщина вполне может довольствоваться меньшим.

Одинокая женщина в самом деле могла довольствоваться половинной ставкой. Пока не задумывалась о старости: маленькая ставка – ничтожная пенсия. Однокомнатная квартира, вход с общего балкона. Экономия на отоплении. Продукты из магазина со скидками. Вечная озабоченность вопросом, как перебиться.

Колин Маккалоу, трезвомыслящая женщина, всерьез занялась решением этой проблемы. С ее интересом к женской независимости, казалось бы, она должна была принять участие в гражданской борьбе за равноправие. Но она предпочитала индивидуальные решения, полагаясь только на собственные силы. Нужно было добыть денег, чтобы обрести наконец полную уверенность в завтрашнем и послезавтрашнем дне.

Сначала она попробовала подработать живописью. Прошли две довольно успешные выставки, но доход от них был ничтожный и малонадежный. Тогда Колин пустила в ход свой козырь: написала роман. По ее словам, именно затем, чтобы к зарплате научного сотрудника иметь приварок. Примерно с таким прицелом: гонорар вложить в надежные акции и постепенно обеспечить себе независимый доход, обзавестись собственным домом. Для верности Колин надела все этим героиню

своей первой книги. Эта женщина лет сорока выросла в приюте и смолоду сама себя содержала. Подучившись, устроилась в преуспевающую компанию личным помощником руководителя, большую часть зарплаты откладывала, поскольку не знала никаких соблазнов молодости. В тридцать лет попросила своего босса поместить накопленные деньги в ценные бумаги и продолжала копить. И вот у нее дом в городе, вилла в прекрасной глуши, отличный автомобиль с сиденьями из хорошо выделанной кожи, недешевые костюмы и украшения. Она никогда не была близка с мужчиной, ей мешает верещание цикад в саду, спускаясь из своей виллы на пляж, она не решается войти в воду – эта австралийка (Колин Маккалоу перенесла место действия в знакомый с юности ландшафт) не умеет плавать. А потом (вернее, на первой же странице романа) она встречает Тима – юного, прекрасного, словно Аполлон, доброго и с уровнем развития шестилетнего ребенка.

Чем подробно пересказывать, лучше сразу перейти к последней фразе. Колин Маккалоу уверяет, что, приступая к очередной книге, может ничего не знать, но последнюю фразу знает твердо. Тем более что в данном случае с этой фразы все и началось: ее Колин услышала от женщины, которая привела на прием умственно отсталого юношу:

– Это не сын, это мой муж.

Первым романом Колин рассказала себе не только о том, чего у нее пока нет и чего она хотела бы и рассчитывает добиться – она вспомнила и о том, чего у нее нет и, вероятно, никогда не будет. Неожиданно для автора рядом с темой профессионализма и независимости проступила иная, личная и болезненная тема: женского одиночества, страха перед жизнью, безнадежно упущенных лет. Героине «Тима» ниспослано чудо, и она сумела это чудо удержать. В книге-то оно так, но разве такое может случиться с автором? Колин, человек трезвый, на чудеса не рассчитывала, в особенности на внезапный дар любви. В этом смысле она давно поставила на себе крест. И чтобы понять, отчего же ей не полагается любви, она взялась за вторую книгу, за семейную историю в трех поколениях. По возрасту сама Колин попадает в младшее поколение, она – дочь Мэгги, а не сама Мэгги, хотя у читателя может сложиться иное впечатление, как потому, что Мэгги находится в средоточии сюжета, так и потому, что Мэгги написана с интересом и сочувствием. Дочка странная, как бы с природным изъяном – холодностью, неумением любить родителей, собственнической привязанностью к брату, страхом перед мужской любовью. Такой Колин написала себя, хотя, вероятно, уже тогда понимала, что причина скорее в матери, чем в ней самой. Она взяла на себя ответственность за свой склад

характера и свои отношения с жизнью – и это спасло ее, когда жизнь внезапно повернулась к писательнице благоприятной, пугающе изобильной стороной.

«Тим» принес ей пятьдесят тысяч долларов, сумма для начинающего автора даже по современным представлениям весьма приличная. «Поющие в терновнике» вышли втрое длиннее, и Колин рассчитывала на сто пятьдесят тысяч и покупку квартиры или дома. Когда же только в Америке права были приобретены почти за два миллиона, всю концепцию постепенного благоразумного накопления пришлось пересматривать.

Маккалоу разом получила ту сумму, которую могла бы собрать разве что к пенсии, неустанно выпуская книгу за книгой и деньги, по примеру той своей героини, вкладывая в акции. В самом начале пути цель уже была достигнута. Можно сразу выйти на пенсию. Можно никогда больше не писать для заработка, если и писать – так только для удовольствия. Она именно так и поступила. С сорока лет Колин Маккалоу сделалась профессиональной писательницей – и вместе с тем антипрофессиональной, ибо она решительно отвергала и продолжает вот уже тридцать семь лет отвергать грамотный коммерческий совет: «Поющих в терновнике-2» не будет, наотрез заявила она. У нее, оказывается, со школьных лет была мечта написать как минимум по книге в каждом из любимых читателями жанров. И она осуществила эту мечту, вместо очередной австралийской семейной саги сочинив семь томов исторических романов (попутно удостоилась докторской степени по истории), детективный сериал, исторические любовные романы, разнузданную «Непристойную страсть», фантастику-антиутопию, биографию современника, биографию одного из ранних поселенцев Австралии, поваренную книгу. К семейной саге она вернулась только что, в 2013 году, главным образом потому, что ее пленило слово Bittersweet, сладостно-горький, и показалась забавным написать историю четырех сестер, двух близнецных пар, которые вступают в жизнь между двумя войнами. Вновь, как и в «Поющих в терновнике», в «Октябрьском коне», в «Песни о Трое», Колин Маккалоу отталкивается от слова и связанного с ним образа – птицы, чье сердце пронзено шипом; лучшего коня, приносимого в жертву во благо города и мира; прекрасного юноши, чья красота полнее всего раскрывается в наготы и смерти; горько-сладостной текстуры жизни.

Ни один писатель не свободен от некоей сквозной темы. Он может менять сюжеты и жанры, писать ради славы или ради денег, вкривь и вкось судить о природе своего дарования, но нечто главное прорвется и утвердится. В столь разных по замыслу и назначению книгах Колин

Маккалоу упорно проступает эпическое начало. Оно не только в размахе, не только в потребности добраться до корней и сути, запечатлеть исторический момент выхода Австралии из провинциальной изоляции на мировую арену, превращения Рима из замкнутого на себе города в центр ойкумены, появления у греков геополитического мышления. Эпическое начало – в соединении общечеловеческого и конкретного, исторического и домашнего. Человек по своему нелепому устройству отталкивается и от чересчур знакомого (зачем мне опять про любовь, отвагу, верность дружбы, страх смерти?) и от «чужого» (далекая Австралия, Древний Рим, мифическая Троя – мне есть до них дело?). И чтобы втянуться, опять же требуется нечто узнаваемое (любовь, дружба, миф) и обещание новизны (неведомый европейцам и американцам континент, например). Как соединить это, как задать верную меру? Эпосом с гомеровских времен найдено единственное средство: сравнение.

И чем чудовищнее и необычнее ситуация, тем более повседневное и прозаичное требуется сравнение. Жизнь Одиссея висит на волоске между двумя морскими чудищами, Сциллой и Харибдой, и Гомер считает уместным обозначить тот час, когда с грохотом извергается вода и корабль, потерявший часть гребцов, вырывается все же на волю, как ту самую пору дня, когда усталый пахарь присаживается на меже скушать свой бутерброд с сыром. Где тот пахарь, где суша, и плуг, и хлеб, и твердая пища? Ничего, кроме бушующей бездны вокруг, и слушатели, обступившие певца, едва ли видят что-либо, кроме этой бездны – и вдруг, спохватившись, обводят друг друга взглядом и вспоминают плуг, запряжку быков, хлеб с сыром, свою повседневность, которая только что была воспета в сравнении, в слиянии с морем и мифом.

Сравнение работает в обе стороны. Будничную жизнь прославляет, книжную приближает к реальной. И возвышает, и соизмеряет с человеком. Этот странный образ птицы, которая поет, истекая кровью из пронзенного шипом сердца – откуда он? Кто-то помнит его из сказок Андерсена, кто-то из восточной поэзии, Колин Маккалоу подает его как родной, австралийский.

Таких образов в романе очень немного. Собственно, эта птица в терновнике да пепел розы – вот главные. Их и не должно быть много, это ведь не украшение, а символ – точка схождения земного и небесного, тот миг, в котором осмысливается жизнь. И насильно символы не расставишь, эпос умышленно не сочинишь – символ возникает из равенства жизни и слова, писателя и героя. Эпос – высшая свобода, какая только возможна для человеческого творения: автор утрачивает власть над героями.

В конце саги освобождение наступило для всех персонажей Маккалоу, даже для ее альтер эго. Дочь сумела принять себя такой, как есть. Смерть единственного брата из бессмыслицы стала эпосом. Примирение с матерью состоялось – но не путем поглощения. Дочь не вернется в имение, у нее есть, пусть запоздало, муж, есть любимое дело.

Герои свободны – неужели же над автором книга надсмеется? Ведь с символичностью и значительностью жизни можно переборщить, положиться на знаки и стать их рабом. Не расставила ли себе Колин слишком четкие знаки – не расставила ли себе ту самую ловушку, из которой бежала? А теперь что же? Возвращаться к матери, жить, отбывая дочерний долг?

Скорее всего, именно этого от нее и ждали: работать дальше ей не было никакой надобности, вернуться, приобрести землю, построить дом, покоить близких – чем не хеппи-энд. И впервые в жизни Колин Маккалоу ощутила страх. Для одинокой самостоятельной женщины, построившей жизнь вокруг необходимости зарабатывать на жизнь и обеспечить себе такую же самодостаточность в старости, что может быть страшнее, чем преждевременно сбывшаяся мечта? Нет необходимости думать о будущем. А значит, следует жить настоящим. Но жить настоящим она не умела и не могла. До такой степени, что пугала себя и вероятностью вложить деньги в дутые бумаги, пасть жертвой мошенников и того пуще: выскочить замуж за какого-нибудь альфонса. Она ведь совсем не искушена в жизни, не влюблялась, не флиртовала. Она поверит первому же ласковому слову, она обманется в собственных чувствах и вместо независимости получит худший из всех видов несвободы – построенный на лжи и самообмане брак. Ей стало так страшно, что она готова была даже вернуться в Австралию. По крайней мере, на знакомую территорию.

Но хеппи-энд не в том, чтобы разбогатеть и вернуться в Австралию. То есть хеппи-энд, может быть, и в этом. Но мы же говорим не о романе с хеппи-эндом, а об эпосе, о мере, сравнении, выравнивании. Человек, написавший такую книгу, просто не мог, не смел бояться жизни. Если автор сумел дать свободу своей книге, то и книга должна освободить автора – вот единственная проверка подлинности, эпос ли это или так себе, искусственный механизм. Что-то произошло в душевном строе Колин Маккалоу – как и что, мы не знаем, отношения написанной книги с автором еще таинственнее, чем отношения автора с создаваемой книгой – и Колин стала целиком и полностью самой собой. Той, какой ее застанут корреспонденты и спустя тридцать, и спустя тридцать пять лет. Беспардонно курящей на крыльце австралийского рестораника: «есть свои

преимущества в инвалидном кресле, не покатыт же меня в отделение». Не страшась ни боли в спине, ни слепоты. Не желавшей писать коммерческие продолжения, зато превратившей свою жизнь в продолжение собственных книг.

Делать в Америке и правда было нечего, но и возвращаться Колин не спешила – как вариант, подумала она, сгодился бы остров. Немноголюдный остров, достаточно близко от Австралии, чтобы мать можно было проводить, и достаточно далеко, чтобы жить своей жизнью. Она отправилась посмотреть остров Норфолк – и осталась там жить.

Остров Норфолк в южной части Тихого океана англичане начали осваивать в конце XVIII века. Растили преимущественно лен и коноплю: Екатерина Великая отказала Англии в поставках из России, а владычица морей нуждалась в веревках. Трудились в основном каторжники, их завозили и на острова, не только в Австралию. В XIX веке каторжную тюрьму закрыли и эвакуировали на Норфолк большую часть жителей Питкэрна, потомков бунтовщиков в «Баунти».

Флетчер Кристиан, возглавивший мятеж на корабле, несмотря на свою молодость, был не только отважен и вспыльчив. Он оказался прекрасным вождем для своего малочисленного народа. Большинство матросов желало, конечно же, вернуться на Таити, к своим женщинам. Кристиан выполнил их желание, и его тоже ждала там любимая, но оставаться на Таити Кристиан считал безумием: очередной английский корабль их обнаружит, пришлют карательную экспедицию, и висеть им всем на реях. Часть экипажа все же осталась, понадеявшись отсидеться в джунглях, когда появится корабль – этих матросов постиг печальный конец. Прочие под началом Кристиана, вместе с туземными женщинами, а также и туземными мужчинами, возжаждавшими приключений, отправились на поиски необитаемой земли и в итоге зацепились за крошечный Питкэрн. Здесь им тоже пришлось нелегко: спустя несколько лет таитяне взбунтовались против белых, при подавлении этого мятежа Кристиан погиб и уцелело всего пятеро белых, которые без командира спились, перессорились, кто погиб в драке, кто утонул. Когда английский корабль спустя четверть века все же отыскал их, островом правил единственный уцелевший моряк по фамилии Адамс. Поскольку моряки брали себе по несколько жен, да еще порой и менялись женщинами, основной задачей патриарха было вести родословные книги и следить за тем, чтобы сводные братья и сестры не вступали друг с другом в брак.

И эта удивительная маленькая колония процветала. К ней присоединился присланный из Англии священник, какие-то до нее

добрались жители соседних островов, но главным образом это были потомки бунтовщиков с «Баунти» и их таитянских жен. Когда число жителей перевалило за сотню, им стало не хватать пресной воды на их маленьком острове, и взять ее было неоткуда. Британское правительство попыталось решить проблему, переселив питкэрнцев на родину их бабушек, на Таити – оказалось, что для них невозможна жизнь в многолюдстве, они впадали в депрессию, подхватывали все местные инфекции, умирали. Тогда попробовали Норфолк – и там они прижились. С полсотни коренных жителей и поныне держатся за свой Питкэрн, однако на Норфолке питкэрнцы дали многочисленное потомство, из 2300 жителей их, по меньшей мере, тысяча. Из-за понятного однообразия фамилий и довольно скудного выбора имен (например, среди потомков Кристиана в каждом поколении непременно имеется Четверг Октябрь, в честь дня высадки на Питкэрн) в телефонном справочнике указываются также прозвища. Под влиянием питкэрнцев на Норфолке наряду с английским языком используется «питкэрнский» и чаще, чем «Боже, храни королеву», звучит гимн Питкэрна – стихи из 25-й главы Евангелия от Матфея:

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня... истинно говорю вам; так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

Девизом Норфолк выбрал себе слово из гимна. Союзное слов *inasmuch* – «так как» в Синодальном переводе, буквально же: «настолько, насколько». Союз, задающий равенство и меру, соотношение земного и небесного, жизни и осмысления жизни.

Удивительно ли, что и Колин прижилась на этом острове? Огляделась, купила дом-развалюху, устроила себе кабинет, наняла работников ремонтировать старые стены и приводить в порядок сад. А сама уселась писать следующую книгу.

Однажды один из работников, Рик Робинсон, услышал из сада смех. Уж над чем там Колин смеялась сама с собой, что такое ввернула в рукопись «Непристойной страсти»? Рику было 33 года. Он всю жизнь прожил на острове, он, потомок бунтовщиков и таитянок, кое-что понимал в свободе и в женщинах. Никогда, говорит он и тридцать лет спустя, никогда он не слышал такого свободного, такого сексуального смеха. И он пошел на этот призыв. Через несколько месяцев они поженились. Колин на 13 лет старше мужа. Они живут счастливо и поныне.

Да, свободу Колин этот брак все же несколько ограничил. В самой писательнице органично сочетается работающий сутки напролет за письменным столом интроверт с общительным, жаждущим путешествий и

многолюдства «путешественником по жизни». Но Рик, как и все жители Норфолка, не переносит ни чужаков, ни долгой разлуки с домом, ни бездельной болтовни. В последние годы им приходится часто летать в Сидней – регулярные процедуры для спасения глаз Колин. И чтобы Рик не маялся, Колин придумала выход: купила в Сиднее пустую, необустроенную квартиру. Теперь в каждый приезд Рик занят ремонтом и чувствует себя дома. Потому что для него, как и для Колин, своя жизнь – только то, что сложено своими руками.

– Они все такие там, на острове, – поясняет Колин. – Если нужно просверлить дырку, они сперва просверлят ее в голове, а потом уже возьмутся за инструмент. Они всегда знают, каков будет результат, иначе не возьмутся за дело.

И она такая же там, на острове.

– Некоторые писатели говорят, что заранее не знают, какой будет последняя фраза в их книге. Не представляю себе: я всегда знала, какой будет последняя фраза.

Л. Сумм

Джин Истхоуп, «старшей сестре»

Есть такая легенда – о птице, что поет лишь один раз за всю свою жизнь, но зато прекраснее всех на свете. Однажды она покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдет. Среди колючих ветвей запекает она песню и бросается грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умирая, что этой ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей. Единственная, несравненная песнь, и достается она ценою жизни. Но весь мир замирает, прислушиваясь, и сам Бог улыбается в небесах. Ибо все лучшее покупается лишь ценою великого страдания... По крайней мере так говорит легенда.

I

1915–1917

Мэгги

1

Восьмого декабря 1915 года Мэгги Клири исполнилось четыре года. Прибрав после завтрака посуду, мать молча сунула ей в руки сверток в коричневой бумаге и велела идти во двор. И вот Мэгги сидит на корточках под кустом утесника у ворот и нетерпеливо тербит сверток. Не так-то легко развернуть неловкими пальцами плотную бумагу; от нее немножко пахнет большим магазином в Уэхайне, и Мэгги догадывается: то, что внутри, не сами делали и никто не дал, а – вот чудеса! – купили в магазине.

С одного уголка начинает просвечивать что-то тонкое, золотистое; Мэгги еще торопливее набрасывается на обертку, отдирает от нее длинные неровные полосы.

– Агнес! Ой, Агнес! – говорит она с нежностью и мигает, не веря глазам: в растрепанном бумажном гнезде лежит кукла.

Конечно, это чудо. За всю свою жизнь Мэгги только раз была в Уэхайне – давно-давно, еще в мае, ее туда взяли, потому что она была пай-девочкой. Она забралась тогда в двуколку рядом с матерью и вела себя лучше некуда, но от волнения почти ничего не видела и не запомнила, только одну Агнес. Красавица кукла сидела на прилавке нарядная, в розовом шелковом кринолине, пышно отделанном кремовыми кружевными оборками. Мэгги в ту же минуту окрестила ее Агнес – она не знала более изысканного имени, достойного такой необыкновенной красавицы. Но потом долгие месяцы она лишь безнадежно тосковала по Агнес; ведь у Мэгги никогда еще не было никаких кукол, она даже не подозревала, что маленьким девочкам полагаются куклы. Она превесело играла свистульками, рогатками и помятыми оловянными солдатиками, которых уже повыбрасывали старшие братья, руки у нее всегда были перепачканы, башмаки в грязи.

Мэгги и в голову не пришло, что Агнес – игрушка. Она провела ладонью по складкам ярко-розового платья – такого великолепного платья

она никогда не видела на живой женщине – и любовно взяла куклу на руки. У Агнес руки и ноги на шарнирах, их можно повернуть и согнуть как угодно; даже шея и тоненькая стройная талия сгибаются. Золотистые волосы высоко зачесаны и разубраны жемчужинками, открытая нежно-розовая шея и плечи выступают из пены кружев, сколотых жемчужной булавкой. Тонко разрисованное фарфоровое личико не покрыли глазурью, и оно матовое, нежное, совсем как человеческое. Удивительно живые синие глаза блестят, ресницы из настоящих волос, радужная оболочка – вся в лучиках и окружена темно-синим ободком; к восторгу Мэгги, оказалось, что, если Агнес положить на спину, глаза у нее закрываются. На одной румяной щеке чернеет родинка, темно-красный рот чуть приоткрыт, виднеются крохотные белые зубы. Мэгги уютно скрестила ноги, осторожно усадила куклу к себе на колени – сидела и не сводила с нее глаз.

Она все еще сидела там, под кустом, когда из зарослей высокой травы (так близко к забору ее неудобно косить) вынырнули Джек и Хьюги. Волосы Мэгги, как у истинной Клири, пылали точно маяк: всем детям в семье, кроме Фрэнка, досталось это наказание – у всех рыжие вихры, только разных оттенков. Джек весело подтолкнул брата локтем – гляди, мол. Переглядываясь, ухмыляясь, они подобрались к ней с двух сторон, будто они солдаты и устроили облаву на изменника маори. Да Мэгги все равно бы их не услышала, она была поглощена одной только Агнес и что-то ей тихонько напевала.

– Что это у тебя, Мэгги? – подскочил к ней Джек. – Покажи-ка!

– Да, да, покажи! – со смехом подхватил Хьюги, забежав с другого боку.

Мэгги прижала куклу к груди, замотала головой:

– Нет! Она моя! Мне ее подарили на рождение!

– А ну, покажи! Мы только поглядим!

Гордость и радость взяли верх над осторожностью. Мэгги подняла куклу, пускай братья полюбуются.

– Смотрите, правда красивая? Ее зовут Агнес.

– Агнес? Агнес? – Джек очень похоже изобразил, будто подавился. – Вот так имечко, сю-ю! Назвала бы просто Бетти или Маргарет.

– Нет, она Агнес.

Хьюги заметил, что у куклы запястье на шарнире, и присвистнул.

– Эй, Джек, гляди! Она может двигать руками!

– Да ну? Сейчас попробуем.

– Нет-нет! – Мэгги опять прижала куклу к груди, на глаза навернулись слезы. – Вы ее сломаете. Ой, Джек, не тронь, сломашь!

– Пф-ф! – Чумазыми смуглыми лапами Джек стиснул запястья сестры. – Хочешь, чтоб я тебе самой руки выкрутил? И не пищи, плакса, а то Бобу скажу. – Он стал разнимать ее руки с такой силой, что они побелели, а Хьюги ухватил куклу за юбку и дернул. – Отдай, а то хуже будет.

– Не надо, Джек! Ну пожалуйста! Ты ее сломаешь, я знаю, сломаешь! Ой, пожалуйста, оставь ее! Не тронь, ну пожалуйста!

Ей было очень больно, она всхлипывала, топала ногами и все-таки прижимала куклу к груди. Но под конец Агнес выскользнула из-под ее рук.

– Ага, есть! – заорал Хьюги.

Джек и Хьюги занялись новой игрушкой так же самозабвенно, как перед тем их сестра, стащили с куклы платье, нижние юбки, оборчатые штанишки. Агнес лежала нагишом, и мальчишки тянули ее и дергали, одну ногу задрали ей за голову, а голову повернули задом наперед, сгибали и выкручивали ее и так и сяк. Слезы сестры их ничуть не трогали, а Мэгги и не подумала где-то искать помощи: так уж было заведено в семье Клири – не можешь сам за себя постоять, так не надейся на поддержку и сочувствие, даже если ты девчонка.

Золотые куклины волосы растрепались, жемчужинки мелькнули в воздухе и пропали в густой траве. Пыльный башмак, который недавно топал по кузнице, небрежно ступил на брошенное платье – и на шелку остался жирный черный след. Мэгги поскорее опустила на колени, подобрала крохотные одежды, пока они не пострадали еще больше, и принялась шарить в траве – может быть, найдутся разлетевшиеся жемчужинки. Слезы слепили ее, сердце разрывалось от горя, прежде ей неведомого, – ведь у нее никогда еще не бывало ничего своего, о чем стоило бы горевать.

Фрэнк швырнул шипящую подкову в холодную воду и выпрямился; в последние дни спина не болела – пожалуй, он привыкает наконец бить молотом. Давно пора, сказал бы отец, уже полгода работаешь в кузнице. Фрэнк и сам помнил, как давно его приобщили к молоту и наковальне; он мерил эти дни и месяцы мерою обиды и ненависти. Теперь он швырнул молот в ящик для инструментов, дрожащей рукой отвел со лба прядь черных прямых волос и стянул через голову старый кожаный фартук. Рубашка лежала в углу на куче соломы; он медленно побрел туда и стоял минуту-другую, широко раскрыв черные глаза, смотрел в стену, в неструганные доски, невидящим взглядом.

Он был очень мал ростом, не выше пяти футов и трех дюймов, и все

еще по-мальчишески худ, но обнаженные руки уже бугрились мышцами от работы молотом и матовая, безупречно чистая кожа лоснилась от пота. Из всей семьи его выделяли темные волосы и глаза, пухлые губы и широкое переносье тоже были не как у других, но это потому, что в жилах его матери текла толика крови маори – она-то и сказала на облике Фрэнка. Ему уже скоро шестнадцать, а Бобу только-только минуло одиннадцать, Джеку – десять, Хьюги – девять, Стюарту – пять и малышке Мэгги – три. Тут он вспомнил: сегодня восьмое декабря, Мэгги исполняется четыре. Он надел рубашку и вышел из сарая.

Их дом стоял на вершине невысокого холма, от сарая – он же конюшня и кузница – до него с полсотни шагов. Как все дома в Новой Зеландии, он был деревянный, нескладный, всего лишь одноэтажный, зато расплзался вширь: случись землетрясение, хоть что-нибудь да уцелеет. Вокруг дома густо росли кусты утесника, сейчас щедро осыпанные ярко-желтыми цветами; и трава зеленая, сочная, настоящая новозеландская трава. Даже среди зимы, когда, случается, в тени весь день не тает иней, трава никогда не буреет, а долгим ласковым летом ее зелень становится еще ярче. Дожди идут тихие, спокойные, не ломают нежных ростков и побегов, снега никогда не бывает, а солнце греет как раз настолько, чтобы взлелеять, но не настолько, чтоб иссушить. Грозные стихии в Новой Зеландии не разят с небес, но вырываются из недр земли. Горло всегда перехвачено ожиданием, всегда ощущаешь под ногами неуловимую дрожь, глухие подземные раскаты. Ибо там, в глубине, таится невообразимая устрашающая сила, сила столь могучая, что тридцать лет тому назад она смела с лица земли огромную гору; в безобидных на вид холмах разверзлись трещины, с воем и свистом вырвались столбы пара, вулканы изрыгнули в небо клубы дыма, и воды горных потоков обжигали. Маслянисто вскипали огромные озера жидкой грязи, волны неуверенно плескались о скалы, которых, быть может, они уже не найдут на прежнем месте в час нового прилива, и толщина земной коры кое-где не превышала девятисот футов.

И все же это добрая, благодатная земля. За домом раскинулась чуть всхолмленная равнина, зеленая, точно изумруд на кольце Фионы Клири – давнем подарке жениха; равнина усеяна тысячами белых пушистых комочков, только вблизи можно разглядеть, что это овцы. За волнистой линией холмов голубеет небо и на десять тысяч футов вздымается гора Эгмонт, уходя вершиной в облака, ее склоны еще побелены снегом и очертания так правильны, так совершенны, что даже те, кто, как Фрэнк, видит ее всю жизнь, изо дня в день, не устают ею любоваться.

Подъем к дому довольно крутой, но Фрэнк торопится, он знает, что

отлучаться из кузницы ему сейчас не положено: у отца правила строгие. Но вот он обогнул угол дома и увидел детей под кустом утесника.

Фрэнк сам возил мать в Уэхайн за куклой для Мэгги и до сих пор удивляется, с чего ей это вздумалось. Мать вовсе не склонна делать в дни рождения непрактичные подарки, на это нет денег, и она никогда прежде никому не дарила игрушки. Все они получают что-нибудь из одежды; в дни рождения и на Рождество пополняется скудный гардероб. Но наверное, Мэгги увидела эту куклу, когда один-единственный раз ездила в город, и Фиона об этом не забыла. Фрэнк хотел было расспросить ее, но она только пробормотала, что девочке нельзя без куклы, и скорее заговорила о другом.

Сидя на дорожке, ведущей к дому, Джек и Хьюги в четыре руки безжалостно выворачивали все куклины суставы. Мэгги стояла к Фрэнку спиной и смотрела, как братья издеваются над Агнес. Аккуратные белые носки Мэгги сползли на черные башмачки, из-под праздничного коричневого бархатного платья виднелись голые ноги. По спине рассыпались и сверкали на солнце тщательно накрученные локоны – не медно-рыжие и не золотые, а какого-то особенного цвета между тем и другим. Белый бант из тафты, которому полагалось удерживать волосы спереди, чтобы не падали на лицо, обмяк и съехал набок, платье все в пыли. В одной руке Мэгги стиснула куклины одевашки, другой тщетно пытается оттолкнуть Хьюги.

– Ах вы, паршивцы!

Джек и Хьюги мигом вскочили и дали стрекача, позабыв про куклу: когда Фрэнк ругается, самое разумное – удирать.

– Только троньте еще раз эту куклу, я вам ноги повыдергаю! – закричал им вдогонку Фрэнк.

Потом наклонился, взял Мэгги за плечи и легонько встряхнул:

– Ну-ну, не надо плакать. Они ушли, больше они твою куклу не тронут, будь спокойна. Улыбнись-ка, ведь нынче твой день рождения!

По распухшему лицу девочки в три ручья катились слезы; она подняла на Фрэнка такие огромные, такие страдающие серые глаза, что у него перехватило дыхание. Он вытащил из кармана штанов грязный лоскут, неуклюже вытер ей лицо, зажал в складках носишко:

– Сморкайся!

Мэгги послушалась, слезы высохали, только говорить было трудно – мешала икота.

– Ой, Ф-ф-фрэнк, они у меня от-от-отняли Агнес! – Она всхлипнула. – У нее в-в-волосы растрепались, и м-ма-ненькие жемчужинки все рассыпались! П-покатились в т-т-траву, и я их никак не н-найду!

И опять прямо на руку ему брызнули слезы; Фрэнк посмотрел на свою мокрую ладонь, потом слизнул с нее соленые капли.

– Ну ничего, сейчас мы их отыщем. Только ведь когда плачешь, так, конечно, ничего в траве не углядишь, и потом, что это ты залопотала, как младенец? Ты давно умеешь говорить не «маненькая», а «маленькая». Давай еще раз высморкайся и подбери свою несчастную... как ее, Агнес? Надо ее одеть, а то она обгорит на солнце.

Он усадил девочку с края дорожки, осторожно подал ей куклу и стал шарить в траве – и скоро с победным криком поднял над головой жемчужину.

– Одна есть! Вот увидишь, мы их все разыщем!

Мэгги с обожанием смотрела на старшего брата, а он все шарил в высокой траве и одну за другой показывал ей найденные жемчужины, потом она спохватилась – у Агнес, наверное, очень нежная кожа, как бы и вправду ее не сожгло солнце, – и принялась одевать куклу. Та как будто всерьез не пострадала. Прическа рассыпалась, волосы растрепались, руки и ноги в пятнах оттого, что мальчишки вертели и крутили их грязными лапами, но целы. У Мэгги над ушами были вколоты черепаховые гребенки – она стала дергать одну, наконец вытащила и принялась расчесывать волосы Агнес, самые настоящие волосы, искусно наклеенные на марлю и выбеленные до соломенно-золотистого цвета.

Мэгги неловко теребила какой-то узел в волосах куклы, и вдруг случилось ужасное. Волосы оторвались все сразу и спутанным комом повисли на гребенке. Над гладким лбом Агнес не оказалось ничего – не было темени, хотя бы голого черепа. Просто ужасная зияющая дыра. Испуганная Мэгги наклонилась и, вся дрожа, заглянула внутрь. Изнутри неясно угадывались очертания щек и подбородка, свет проникал через приоткрытые губы, и силуэтом чернели зубы, точно у какого-то зверька, а над всем этим Мэгги увидела глаза Агнес – два страшных твердых шарика насажены были на проволочный прут, безжалостно пронзающий голову куклы.

Мэгги отчаянно, совсем не по-детски, вскрикнула, отшвырнула Агнес и все кричала, закрыв лицо руками, ее трясло, колотило крупной дрожью. Потом она почувствовала – Фрэнк отнимает ее ладони от лица, берет ее на руки, прижимает к себе. Она уткнулась лбом ему в шею, крепко обняла – его близость утешала, успокаивала, и Мэгги даже почувствовала, как славно от него пахнет: лошадыми, потом, железом.

Наконец она немного успокоилась, и Фрэнку удалось выпросить у нее, что случилось; он поднял куклу и с недоумением разглядывал ее

пустой череп и пытался вспомнить – мучили ли и его непонятные страхи, когда он был малышом. Но нет, его преследовали другие наваждения: люди, перешептывания, косые взгляды. Вспомнились измученное, робкое лицо матери, дрожь ее руки, сжимающей его руку, ее поникшие плечи.

Что же увидела Мэгги, что ее так ужаснуло? Пожалуй, она бы куда меньше напугалась, если бы Агнес, потеряв волосы, просто залилась кровью. Это дело обычное, в семействе Клири по меньшей мере раз в неделю кто-нибудь уж непременно порежется или разобьется до крови.

– Глаза... глаза... – шептала Мэгги, она отворачивалась, нипочем не хотела смотреть на куклу.

– Чудо, а не кукла! – пробормотал Фрэнк, зарываясь лицом в волосы сестры. Что за волосы, густые, мягкие и такие удивительно яркие!

Добрых полчаса он умащивал Мэгги, пока удалось заставить ее посмотреть на Агнес, и еще с полчаса – пока не уговорил заглянуть в дырявую куклину голову. Он показал девочке, как устроены глаза, как все точно рассчитано и пригнано, чтобы они не косили, легко закрывались и открывались.

– Ну, а теперь тебе пора домой, – сказал он, повыше поднял сестренку, прижал к себе, втиснул куклу посередке. – Мы попросим маму привести ее в порядок, ладно? Постираем и погладим ей платье и приклеим обратно волосы. А с этими жемчужинками я тебе сделаю настоящие шпильки, чтоб не падали, и ты сможешь ее причесывать на все лады, как захочешь.

Фиона Клири на кухне чистила картошку. Она была чуть ниже среднего роста, очень хороша собой, настоящая красавица, но лицо строгое, суровое; безукоризненно стройная фигура с тонкой талией ничуть не расплылась, не отяжелела, хотя эта женщина и выносила под сердцем шестерых детей. На ней было серое миткалевое платье, длинная юбка спадала до чистого как стеклышко пола; спереди платье прикрывал широчайший накрахмаленный белый фартук, он надевался через голову и завязан был на спине аккуратнейшим жестким от крахмала бантом. С раннего утра и до поздней ночи жизнь ее протекала в кухне и в огороде, ноги в грубых черных башмаках носили ее все по тому же кругу – от плиты к корыту, от стирки к грядкам, а там к бельевой веревке и снова к плите.

Она положила нож на стол, посмотрела на Фрэнка с Мэгги, углы красиво очерченных губ опустились.

– Мэгги, я тебе позволила с утра надеть лучшее платье с одним условием – чтоб ты его не запачкала. А посмотри на себя! Какая же ты грязнуля!

– Она не виновата, мам, – вступился Фрэнк. – Джек и Хьюги отняли у нее куклу, хотели поглядеть, как действуют руки и ноги. Я ей обещал, что мы поправим дело, будет кукла опять как новенькая. Мы ведь сумеем, правда?

– Дай посмотрю. – Фиа протянула руку.

Она была не щедра на слова, больше отмалчивалась. О чем она думала, не знал никто, даже ее муж; держать в строгости детей она предоставляла ему и все, что он велел, исполняла беспрекословно и безропотно, разве только случится что-то уж вовсе не обычное. Мэгги слышала, мальчики шептались между собой, будто мать боится отца не меньше, чем они сами, но если это было и верно, страх она скрывала под маской непроницаемого, чуть хмурого спокойствия. Она никогда не смеялась и, что бы ни было, ни разу не вспыхнула.

Внимательно осмотрев Агнес, Фиа положила ее на шкафчик возле плиты и посмотрела на Мэгги.

– Завтра утром я постираю ей платье и сделаю новую прическу. А сегодня вечером, после ужина, Фрэнк может приклеить ей волосы и вымыть ее.

Слова эти прозвучали не то чтобы утешительно, скорее, деловито. Мэгги кивнула, неуверенно улыбнулась; в иные минуты ей ужасно хотелось, чтобы мать засмеялась, но этого никогда не бывало. Мэгги чувствовала – есть у нее с матерью что-то общее, что отделяет их обеих от отца и мальчиков, но мама всегда занята, всегда такая прямая, непреклонная – не подступишься. Кивнет рассеянно, ловко повернется от плиты к столу, колыхнув длинной сборчатой юбкой, и опять работает, работает, работает.

И никто из детей, кроме Фрэнка, не понимал, что в матери живет непреходящая, неисцелимая усталость. Так много надо сделать, и ни на что нет денег, и не хватает времени, и на все про все только одна пара рук. Хоть бы уж Мэгги подросла и стала помощницей; малышка и сейчас делает что попроще и полегче, но ей всего-то четыре, на ее плечи много не переложить. Шестеро детей – и только одна девочка, да притом самая младшая. Все знакомые и сочувствуют матери такого семейства, и завидуют, но работы от этого меньше не становится. В рабочей корзинке накопилась гора нештопанных носков, и на спицах еще новый носок, недовязанный, и Хьюги уже вырастает из своих свитеров, а Джек еще не настолько вырос, чтобы отдать ему свой.

По чистой случайности неделю, на которую приходился день

рождения Мэгги, Падрик Клири проводил дома. Время стрижки овец еще не настало, и он ходил работать по соседям – пахал и сеял. Сам он был стригаль – занятие сезонное, длится с середины лета и до конца зимы, а потом наступает время окота. Обычно Клири ухитрялся найти достаточно работы, чтобы продержаться с семьей весну и первый месяц лета: помогал принимать ягнят, пахал землю или подменял хозяина какой-нибудь молочной фермы, который не успевал дважды в день подоить всех коров. Где найдется работа, туда он и шел, предоставляя семье в большом старом доме справляться своими силами; и не так уж это жестоко. Если ты не из тех счастливиц, у кого есть своя земля, ничего другого не остается.

Когда он в этот день вскоре после захода солнца вернулся домой, лампы были уже зажжены и на высоком потолке плясали тени. Мальчики – все, кроме Фрэнка, – собрались на заднем крыльце, играли с какой-то лягушкой; Падрик сразу понял, где Фрэнк: от поленницы доносилось размеренное туканье топора. Падрик прошел через широкое крыльцо, почти не задерживаясь, только дал пинка Джеку да дернул за ухо Боба.

– Подите помогите Фрэнку с дровами, бездельники. Да поживей, пока мама не позвала ужинать, не то всем попадет.

Он кивнул Фионе, которая хлопотала у плиты; не обнял ее, не поцеловал, полагая, что всякие проявления нежных чувств между мужем и женой уместны только в спальне. Пока он стаскивал облепленные засохшей грязью башмаки, подбежала вприпрыжку Мэгги с его домашними шлепанцами, и Падрик широко улыбнулся ей; как всегда, при виде малышки в нем всколыхнулось непонятное удивление. Она такая хорошенькая, такие у нее красивые волосы; он подцепил один локон, вытянул и снова отпустил – забавно смотреть, как длинная прядь опять свернется пружинкой и отскочит на место. Потом подхватил дочку на руки, подошел к очагу, подле которого стояло единственное в кухне удобное кресло – деревянное, с резной спинкой и привязанной к сиденью подушкой. Негромко вздохнул, сел, достал свою трубку, пепел небрежно вытряхнул прямо на пол. Мэгги уютно свернулась у отца на коленях, обвила руками его шею и подняла к нему прохладную свежую рожицу – то была ее обычная вечерняя игра: смотреть, как сквозь его короткую рыжую бороду просвечивает огонь.

– Ну, как ты, Фиа? – спросил жену Падрик Клири.

– Все хорошо, Пэдди. Кончил ты сегодня с нижним участком?

– Да, все закончил. Завтра с утра пораньше примусь за верхний. Ох, и устал же я!

– Еще бы. Макферсон опять дал тебе эту норовистую кобылу?

– Ясное дело. Неужто, по-твоему, он станет маяться с этой животиной сам, а мне даст чалого? Плечи ломит, сил нет. Бьюсь об заклад, другой такой упрямой скотины во всей Новой Зеландии не сыщешь.

– Ну, ничего. У старика Робертсона все лошади хорошие, а ты уже скоро перейдешь к нему.

– Поскорей бы. – Падрик набил трубку дешевым табаком, притянул к себе фитиль, торчащий из жестянки подле плиты. На миг сунул фитиль в открытую дверцу топки, и он занялся; Падрик откинулся на спинку кресла, затянулся так глубоко, что в трубке даже как-то забулькало. – Ну как, Мэгги, рада, что тебе уже четыре года? – спросил он дочь.

– Очень рада, пап.

– Мама уже отдала тебе подарок?

– Ой, пап, как вы с мамой догадались, что мне хочется Агнес?

– Агнес? – Он с улыбкой быстро глянул на жену, озадаченно поднял брови. – Стало быть, ее звать Агнес?

– Да. Она красивая, папочка. Я бы целый день на нее смотрела.

– Счастье, что еще есть на что смотреть, – хмуро сказала Фиа. – Джек с Хьюги сразу ухватили эту куклу, бедняга Мэгги и разглядеть ее толком не успела.

– Ну, на то они мальчишки. Сильно они ее испортили?

– Все поправимо. Фрэнк им вовремя помешал.

– Фрэнк? А что он там делал? Он должен был весь день работать в кузне. Хантер торопит с воротами.

– Фрэнк и работал весь день. Он только приходил за каким-то инструментом, – поспешно сказала Фиа: Падрик всегда был слишком строг с Фрэнком.

– Ой, папочка. Фрэнк мой самый лучший брат! Он спас мою Агнес от смерти, и после ужина он опять приклеит ей волосы.

– Вот и хорошо, – сонно промолвил отец, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

От очага несло жаром, но он этого словно не замечал; на лбу его заблестели капли пота. Он заложил руки за голову и задремал.

От него-то, от Падрика Клири, его дети и унаследовали густые рыжие кудри разных оттенков, хотя ни у кого из них волосы не были такими вызывающе медно-красными. Падрик был мал ростом, но необыкновенно крепок, весь точно из стальных пружин; ноги кривые от того, что он сызмальства ездил верхом, руки словно стали длиннее от того, что долгие годы он стриг овец; и руки, и грудь – в курчавой золотистой поросли, будь она черной, это бы выглядело безобразно. Ярко-голубые глаза, привыкшие

смотреть вдаль, всегда прищурены, точно у моряка, а лицо славное, улыбчивое и с юмором, эта неизменная готовность улыбнуться сразу привлекала к нему людей. И притом великолепный, истинно римский нос, который должен был приводить в недоумение сородичей Падрика, а впрочем, у берегов Ирландии во все времена разбивалось немало чужестранных кораблей. Речь его еще сохранила мягкость и торопливую невнятность, присущую голуэйским ирландцам, но почти двадцать лет, прожитых в другом полушарии, наложили на нее свой отпечаток, изменили иные звуки, чуть замедлили темп и придали ей сходство со старыми часами, которые не худо бы завести. Счастливцев, он ухитрялся куда лучше многих справляться со всеми трудами и тяготами своей жизни – и, хотя семью держал в строгости и поблажки никому не давал, все дети, за одним исключением, его обожали. Если в доме не хватало хлеба, он обходился без хлеба; если надо было выбрать – обзавестись чем-то из одежды ему или кому-то из его отпрысков, он обходился без обновы. А это в своем роде куда более веское доказательство любви, чем миллион поцелуев, они-то даются легко. Он был очень вспыльчив и однажды убил человека. Но ему повезло, тот человек был англичанин, а в гавани Дан-Лэри как раз стоял под парами корабль, уходящий в Новую Зеландию...

Фиона выглянула из дверей кухни и позвала:

– Ужинать!

Один за другим явились сыновья, последним – Фрэнк с большой охапкой дров, он свалил их в ящик у плиты. Падрик спустил Мэгги с колен, прошел в дальний конец кухни и занял место во главе грубо сколоченного обеденного стола, мальчики расселись по сторонам, а Мэгги вскарабкалась на деревянный ящик, который отец поставил для нее на стуле подле себя.

Фиона раскладывала еду по тарелкам прямо на столе, за которым стряпала, и делала это быстрее и сноровистее любого официанта; она подавала по две тарелки сразу: сначала мужу, потом Фрэнку, дальше мальчикам по старшинству, наконец, Мэгги и последней взяла себе.

– У-у! Студень! – скривился Стюарт, берясь за вилку. – Зачем вы меня называли вроде этой еды?..

– Знай ешь, – оборвал отец. Большие тарелки полны были доверху: к студню – щедрые порции вареного картофеля, баранина, бобы только сегодня с огорода. Хоть кое-кто и фыркал, и ворчал себе под нос, ребята, включая Стюарта, уплели все дочиста да еще вытерли тарелки хлебом и получили в придачу по несколько ломтей хлеба с маслом и с джемом из своего крыжовника. Фиона под села к общему столу, наскоро поела сама, снова поспешила к кухонному столу и разложила по глубоким тарелкам

изрядные куски пудинга, очень сладкого и насквозь пропитанного джемом. Все это было тут же залито потоками еще дымящегося заварного крема, и опять она принялась сновать от рабочего стола к обеденному, разнося по две тарелки сразу. И наконец со вздохом села: теперь можно спокойно поесть самой.

– Ой, как вкусно! Джем с кремом! – восторженно закричала Мэгги и стала чертить по лакомству ложкой, так что скоро сквозь желтый крем проступили розовые разводы.

– Да, Мэгги, дочка, ведь сегодня твое рождение, вот мама и приготовила твой любимый пудинг, – с улыбкой сказал отец.

На этот раз никто не ворчал и не жаловался – какой бы ни был пудинг, его уплетали за обе щеки: в семействе Клири все были сластены.

Но хотя они и ели так обильно и сытно, никто не толстел. Не приобреталось ни грамма лишнего веса – все расходовалось в работе либо в игре. Овощи и фрукты съедались потому, что это вкусно, но, если бы не хлеб и картофель, не мясо и горячие мучные пудинги, неоткуда было бы взять силы.

А потом Фиа налила всем чаю из огромного чайника, и еще около часу семья не расходилась: пили чай, читали, разговаривали; Пэдди, попыхивая трубкой, увлеченно читал какую-то книгу, взятую в библиотеке. Боб с головой ушел в другую. Фиа опять и опять подливала всем чаю, младшие строили планы на завтра. Занятия в школе кончились, впереди долгие летние каникулы, мальчики почуяли свободу, и им уже не терпелось приняться за свою долю работы по дому и в огороде. Бобу поручено подкрасить, где надо, стены снаружи; Джеку и Хьюги – держать в порядке поленницу, надворные постройки, помогать с дойкой, Стюарту – пропалывать грядки; по сравнению с ужасами школы все это просто детская игра. Отец порой поднимал голову от книги и подбавлял к списку еще какое-нибудь дело, но Фиа молчала; Фрэнк устало обмяк на стуле и прихлебывал чай, одну чашку за другой.

Наконец Фиа поманила к себе Мэгги и, когда та взобралась на высокую табуретку, перевязала ей на ночь волосы лоскутками и отправила ее, Стюарта и Хьюги спать; Джек с Бобом упросили дать им еще немного времени и вышли во двор кормить собак; Фрэнк взял с кухонного стола сестрину куклу и стал приклеивать на место волосы. Падрик потянулся, закрыл книгу и положил трубку в большую, отливающую всеми цветами радуги раковину пауа, которая служила ему пепельницей.

– Ну, мать, я пойду лягу.

– Спокойной ночи, Пэдди.

Фиа убрала все с обеденного стола, потом сняла с крюка на стене оцинкованную лохань. Поставила ее напротив Фрэнка, на другом конце кухонного стола, налила горячей воды из тяжелого чугуна, что стоял на огне. От лохани повалил пар, и Фиа подбавила холодной воды из старой жестянки из-под керосина, взяла с проволочной сетки мыло, взбила пену и принялась за посуду: мыла, споласкивала, ставила тарелки ребром.

Фрэнк, не поднимая головы, трудился над куклой, но когда на столе выросла груда вымытых тарелок, он молча встал, взял полотенце и принялся их вытирать. Опять и опять он переходил от кухонного стола к посудному шкафу, чувствовались давняя привычка и сноровка. То была для них с матерью тайная и небезопасная игра, ибо одним из строжайших правил, установленных в семье властью Пэдди, было четкое распределение обязанностей. Работа по дому – женское дело, и все тут. Никто из мужчин, большой или малый, не должен ничего такого касаться. Но каждый вечер, когда Пэдди отправлялся спать, Фрэнк помогал матери, а Фиа, как настоящая сообщница, нарочно откладывала мытье посуды напоследок, пока не услышит, как в спальне тяжело шлепнутся на пол сброшенные мужем домашние туфли. Раз уж Пэдди их скинул, больше он в кухню не придет.

Фиа ласково посмотрела на сына:

– Не знаю, что бы я без тебя делала, Фрэнк. Только напрасно ты это. Ведь совсем не отдохнешь до утра.

– Пустяки, мам. Невелик труд вытереть тарелки, не помру. А тебе хоть немножко да легче.

– Это моя работа, Фрэнк. Я не жалуюсь.

– Хоть бы нам когда-нибудь разбогатеть, наняла бы ты себе подмогу.

– Вот уж пустые мечты! – Фиа вытерла кухонным полотенцем мыльные распаренные руки и взялась за поясницу, устало перевела дух. Со смутной тревогой посмотрела на сына – всякий рабочий человек недоволен своей долей, но во Фрэнке уж слишком кипит горькая обида на судьбу. – Не заносись, Фрэнк, не воображай о себе лишнего. Такие мысли не доводят до добра. Мы простые люди, труженики, а значит, никогда не разбогатеем и никакой прислуги в подмогу не заведем. Будь доволен тем, что ты есть и что имеешь. Когда ты так говоришь, это оскорбительно для папы, а он такого не заслуживает. Ты и сам знаешь. Он не пьет, не играет, он ради нас работает как каторжный. Ни гроша заработанного не тратит на себя. Все – для нас.

Сын нетерпеливо передернул крепкими плечами, хмурое лицо стало еще мрачнее и жестче.

– Да что в этом плохого – хотеть от жизни еще чего-то, чтоб не только весь век гнуть спину? Я хочу, чтоб у тебя была в хозяйстве подмога – не понимаю, что тут худого.

– Худо, потому что невозможно! Ты же знаешь, у нас нет денег и нельзя тебе учиться дальше, кончить школу, так чем еще ты сможешь заниматься, если не черной работой? По тому, как ты говоришь, как одет, по твоим рукам сразу видно, что ты просто рабочий человек. Но мозолистые руки не позор. Знаешь, как говорит папа: у кого руки в мозолях, тот человек честный.

Фрэнк молча пожал плечами. Посуду всю убрали; Фиа достала корзинку с шитьем и села в кресло Пэдди у огня, Фрэнк опять склонился над куклой.

– Бедняжка Мэгги! – сказал он вдруг.

– Почему это?

– Да вот сегодня наши сорвиголовы расправлялись с ее куклой, а она только стоит и плачет, будто весь мир рушится. – Он посмотрел на куклу, волосы снова были на месте. – Агнес! И откуда она такое имя выкопала?

– Наверное, слышала, как я говорила про Агнес Фотискью-Смит.

– Я ей тогда отдал куклу, а она заглянула в куклину голову и чуть не померла со страха. Глаз куклиных испугалась, уж не знаю почему.

– Ей всегда чудится то, чего на самом деле нет.

– Жаль, не хватает денег, надо бы малышам подольше учиться в школе. Они у нас такие смышленные.

– Ох, Фрэнк! Знаешь, если бы да кабы... – устало сказала мать. Провела рукой по глазам, одолевая дрожь, и воткнула иглу в клубок серой шерсти. – Не могу больше. Совсем вымоталась, уже и не вижу толком.

– Иди спать, мам. Я погашу лампы.

– Мне еще надо подбросить дров в печь.

– Я подброшу.

Он встал из-за стола, осторожно уложил изящную фарфоровую куклу на посудный шкаф, за противень, подальше от греха. Впрочем, не стоило беспокоиться, что мальчишки опять на нее покусятся – расправы Фрэнка они боялись больше, чем отцовской кары, потому что крылась в нем какая-то злость. Она никогда не проявлялась при матери и сестре, но всем братьям случалось испытать ее на себе.

Фиа смотрела на сына, и сердце ее сжималось: есть во Фрэнке что-то неистовое, отчаянное, что-то в нем предвещает беду. Хоть бы он и Пэдди лучше ладили друг с другом! Но вечно между ними споры и раздоры. Быть может, Фрэнк уж чересчур о ней заботится, может быть, уж слишком к ней

привязан. Если так, она сама виновата. Но ведь это значит, что он добрый, любящее сердце. Он только хочет, чтобы ей жилось хоть немного легче. И опять она с тоской подумала: «Скорее бы подросла Мэгги, сняла бы с плеч Фрэнка эту заботу».

Фиа взяла со стола маленькую лампу, тотчас опять поставила и пошла через кухню к Фрэнку – он сидел на корточках перед очагом, укладывал дрова на завтра, орудовал заслонкой. На белой коже выше локтей вздувались вены, в руки прекрасной формы, в длинные пальцы въелась уже навеки несмываемая грязь. Мать несмело протянула руку, осторожно, едва касаясь, отвела со лба сына и пригладила прямые черные волосы; трудно было бы ждать от нее ласки нежнее.

– Спокойной ночи, Фрэнк, спасибо тебе.

Выйдя из кухни, Фиа неслышно пошла по дому, и от ее лампы по стенам кружили и метались тени.

Первая спальня отведена была Фрэнку с Бобом; мать бесшумно отворила дверь, подняла повыше лампу, свет упал на широкую кровать в углу. Боб лежал на спине, с открытым ртом, и весь вздрагивал, подергивался, как спящая собака; Фиа подошла, повернула его на правый бок, пока им еще не окончательно завладел дурной сон, и постояла минуту-другую, глядя на него. Вылитый отец!

В соседней комнате Хьюги и Джек будто в один узел связались, не разберешь, кто где. Несносные мальчишки! Озорники ужасные, но ничуть не злые. Напрасно она пыталась отодвинуть их друг от дружки, хоть как-то расправить одеяло и простыню – две курчавые рыжие головы упрямо прижимались одна к другой. Фиа тихонько вздохнула и сдалась. Непостижимо, как они умудряются вскакивать по утрам свеженькими после такого сна, но им это, видно, только на пользу.

Комнатка, где спали Мэгги и Стюарт, была унылая, безрадостная, совсем не для таких малышей: стены выкрашены тусклой коричневой краской, на полу коричневый линолеум, на стенах ни одной картинки. В точности как в других спальнях.

Стюарт перевернулся в кровати так, что только обтянутая ночной рубашкой попка торчала наружу, там, где должна бы лежать голова; весь, по обыкновению, скорчился, лоб прижат к коленкам, непонятно, как он только не задохнется. Фиа тихонько просунула руку, тронула простыню и нахмурилась. Опять мокро! Что ж, с этим придется подождать до утра, а тогда, конечно, и подушка тоже будет мокрая. Он всегда так, перевернется и потом опять обмочится. Что ж, на пятерых мальчишек только один такой – еще не страшно.

Мэгги свернулась клубочком, большой палец во рту, волосы, все в лоскутных бантиках, разметались. Единственная дочка. Фиа мельком посмотрела на нее и повернулась к двери; в Мэгги нет ничего таинственного, она всего лишь девочка. Известно заранее, какая ее ждет участь, не стоит ни завидовать, ни жалеть. Мальчики – другое дело, каждый – чудо, мужчина, в силу некоей алхимии возникший из ее женского естества. Нелегко это, когда некому помочь тебе по дому, но мальчики того стоят. В своем кругу Падрика Клири уважают больше всего из-за сыновей. Есть у человека сыновья – значит, он воистину настоящий человек и настоящий мужчина.

Она тихо затворила дверь своей спальни и поставила лампу на комод. Проворные пальцы легко пробежали сверху вниз по десяткам крохотных пуговиц, от высокого ворота до самых бедер, стянули рукав, другой. Высвободив руки, она старательно прижала лиф платья к груди и, вся изгибаясь, изворачиваясь, облачилась в длинную, до пят, фланелевую ночную рубашку. Только тогда, благопристойно укрытая, она окончательно сбросила платье, панталоны и нетуго зашнурованный корсет. Рассыпались по плечам скрученные днем в тугий узел золотистые волосы, шпильки улеглись в раковину пауа на комод. Но и этим прекрасным, густым, блестящим, прямым, как лучи, волосам не дано было свободы – Фиа закинула руки за голову и принялась проворно заплетать косу. Потом, бессознательно затаив дыхание, обернулась к постели; но Пэдди уже спал, и у нее вырвался вздох облегчения. Не то чтобы ей бывало неприятно, когда Пэдди в настроении, – как любовник он и робок, и нежен, и внимателен. Но пока Мэгги не стала постарше года на три, было бы слишком тяжело завести еще малышей.

По воскресеньям семейство Клири отправлялось в церковь, только Мэгги должна была сидеть дома с кем-нибудь из старших мальчиков, и она с нетерпением ждала того дня, когда подрастет и ее тоже станут брать в церковь. Падрик Клири полагал, что маленьким детям нечего делать в чужом доме, пусть даже и в доме Божиим. Поступит Мэгги в школу, научится сидеть тихо – тогда можно будет ее и в церковь пустить. Но не раньше. И вот каждое воскресное утро она стояла у калитки, под кустом утесника, и горестно смотрела, как все семейство усаживается в дряхлую колымагу, а тот из братьев, кому поручено присматривать за ней, Мэгги,

прикидывается, будто ему одно удовольствие пропустить мессу. Из всех Клири только Фрэнк и вправду наслаждался, когда мог побыть подальше от остальных.

Религия занимала в жизни Пэдди совсем особое место. К его женитьбе католическая церковь отнеслась не слишком одобрительно, потому что Фиа была протестанткой; ради Пэдди она оставила свою веру, но не перешла в мужнину. Трудно сказать почему, быть может, дело в том, что сама она была из Армстронгов, старинного рода первопоселенцев, издавна неукоснительно исповедовавших англиканскую веру, Пэдди же только-только приехал из Ирландии, да притом не из английской ее части, и за душой ни гроша. Армстронги жили в Новой Зеландии задолго до прибытия первых официальных «колонистов» и потому принадлежали к местной аристократии. С их точки зрения замужество Фионы было не что иное, как постыдный «mesalliance»^[1].

Основателем новозеландского клана был Родерик Армстронг, и основал он его прелюбопытным образом.

Все началось событием, которое отозвалось в Англии восемнадцатого века множеством непредвиденных последствий: американской войной за независимость. До 1776 года британские корабли ежегодно переправляли в Виргинию и Северную и Южную Каролину свыше тысячи мелких преступников, проданных по контракту на долгосрочные работы, что, по сути, было ничуть не лучше рабства. Британское правосудие тех времен было сурово и непреклонно: убийцы, поджигатели, загадочные преступники, туманно именуемые «виновные в ложном цыганстве», и воры, укравшие на сумму свыше шиллинга, карались смертью на виселице. Виновного в преступлениях помельче ждала пожизненная ссылка в Америку.

Но с 1776 года доступ в Америку был закрыт, и перед Англией встала нелегкая задача: число осужденных день ото дня множится, а девать их некуда. Все узилища переполнены, «излишки» набиты битком в плавучие тюрьмы, гниющие на якорях в устьях рек. Надо было что-то предпринять – ну и предприняли. С великой неохотой, ибо пришлось потратить на это несколько тысяч фунтов, капитану Артуру Филипу велено было отплыть к Великой Южной Земле. Шел 1787 год. На одиннадцати судах капитана Филипа отправились в путь свыше тысячи осужденных да еще матросы, офицеры и отряд морской пехоты. То отнюдь не было овечье славой странствие в поисках свободы. В конце января 1788 года, через восемь месяцев после отплытия из Англии, флот прибыл в залив Ботани-Бей. Его Сумасшедшее Величество Георг Третий основал новую свалку для своих

каторжников – колонию Новый Южный Уэльс.

В 1801 году, когда ему только-только минуло двадцать, Родерик Армстронг был приговорен к пожизненной ссылке. Последующие поколения Армстронгов уверяли, будто он был из сомерсетских дворян, начисто разоренных американской революцией, и ни в каком преступлении не повинен, однако никто никогда всерьез не пытался проверить родословную знаменитого предка. Они лишь грелись в отраженных лучах его славы и кое-что присочиняли от себя.

Каковы бы ни были его происхождение и положение в Англии, молодой Родерик Армстронг был суший дьявол. За восемь месяцев невыразимо тяжкого плавания к Новому Южному Уэльсу он обнаружил крайнее упрямство и несговорчивость и нипочем не поддавался смерти, что еще возвысило его в глазах корабельного начальства. Прибыв в 1803 году в Сидней, он повел себя и того несноснее, и его отправили на остров Норфолк, в тюрьму для неисправимых. С ним невозможно было сладить. Его морили голодом; бросили в карцер – тесный каменный мешок, где ни стать, ни сесть, ни лечь; стегали бичами так, что вся спина превращалась в кровавое месиво; приковали цепями к скале в море – пускай захлебывается. А он смеялся в лицо палачам – жалкий скелет, обтянутый прозрачной кожей и еле прикрытый грязным тряпьем, во рту у него не уцелело ни одного зуба, тело сплошь в рубцах и шрамах, но весь он был – вызов, ненависть, и, казалось, ничем это пламя не угасить. Каждый свой день он начинал с того, что приказывал себе не умирать – и кончал торжествующим смехом оттого, что все еще жив.

В 1810 году его с партией кандалников отправили на Ван-Дименову Землю пробивать дорогу в твердом, как железо, песчанике в пустыне за Хобартом. Улучив минуту, Родерик своей киркой пробил дыру в груди начальника конвоя; он и еще десять каторжников разделались с пятью остальными конвоирами, медленно, по ломтику, срезая у них мясо с костей – все пятеро изошли криком и умерли в страшных мучениях. Ведь и ссыльные, и их стражи были уже не люди, а сущее зверье, дикари, в чьих чувствах не осталось ничего человеческого. Родерик Армстронг просто не мог удариться в бег, оставив своих мучителей на свободе или предав скорой смерти, так же как не мог он примириться с участью каторжника.

Поддерживая силы ромом, хлебом и вяленным мясом, что нашлось у убитых солдат, одиннадцать беглецов под ледяным дождем одолели долгие мили лесной чащи и вышли к гавани китобоев – Хобарту; здесь они украли баркас и без парусов, без воды и пищи решили пересечь Тасманово море. Когда баркас вынесло на дикий западный берег Южного острова Новой

Зеландии, на борту оставались в живых только Родерик Армстронг и еще двое. Он никогда не рассказывал об этом невообразимом плавании, но люди перешептывались, будто эти трое потому и выжили, что убили и съели своих более слабых спутников.

Было все это ровно через девять лет после высылки Родерика Армстронга из Англии. Он был еще молод, но выглядел на все шестьдесят. К 1840 году, когда в Новой Зеландии появились первые поселенцы, чей приезд был официально разрешен, Армстронг уже отхватил отличные земли в округе Кентербери на Южном острове, взял себе «жену» из племени маори и стал отцом тринадцати красавцев отпрысков, наполовину полинезийцев. А к 1860 году Армстронги уже принадлежали к новозеландской аристократии, сыновей отправляли в Англию в самые привилегированные учебные заведения и хитроумием и стяжательством пренаглядно подтвердили, что они и впрямь потомки личности незаурядной и опасной. Внук Родерика Джеймс в 1880 году стал отцом Фионы – единственной дочери среди его пятнадцати детей.

Если Фионе и не доставало суровых протестантских обрядов, к которым она привыкла в детстве, она ни разу ни словом об этом не обмолвилась. Она вполне терпимо относилась к вере мужа, по воскресеньям ходила с ним слушать мессу, следила за тем, чтобы дети росли католиками. Но сама в католическую веру так и не обратилась, а потому каких-то оттенков не хватало: не читались молитвы перед едой и перед сном, будни не были проникнуты благочестием.

Если не считать единственной поездки в Уэхайн полтора года назад, Мэгги никогда еще не отходила от дома дальше коровника и кузницы в овражке. Утром первого школьного дня она так разволновалась, что после завтрака ее стошнило – пришлось поскорее отнести ее в спальню, вымыть и переодеть. Прощай, чудесная новенькая синяя матроска с широким белым воротником, пришлось опять влезть в противное платье из коричневой фланели с таким тесным высоким воротом на пуговицах, что Мэгги всегда казалось: вот-вот он ее задушит.

– И ради Бога, Мэгги, в другой раз, когда тебя затошнит, скажи сразу! Не сиди и не жди, пока будет поздно и мне, ко всему, придется еще прибирать и чистить за тобой. А теперь поторапливайся, если опоздаешь к звонку, сестра Агата уж наверно тебя побьет. Веди себя хорошо и слушайся братьев.

Когда Фиа наконец уложила в старую школьную сумку завтрак Мэгги – хлеб с джемом – и легонько вытолкала ее за дверь, Боб, Джек, Хьюги и

Стюарт уже подпрыгивали у ворот от нетерпения.

– Пошли, Мэгги, опаздываем! – крикнул Боб, и они зашагали по дороге.

Мэгги, еле поспевая, кинулась за братьями.

Было рано, начало восьмого, а утреннее солнце давно уже пригревало; только в самых тенистых местах на траве еще не высохла роса. На Уэхайн вела проселочная дорога, две глубокие колеи – полосы темно-красной глины – разделяла широкая лента ярко-зеленой травы. А по обе стороны в высокой траве цвели во множестве белые лилии, каллы и оранжевые настурции, и аккуратные дощатые заборы предупреждали, что посторонним сюда доступа нет.

Боб всегда шел в школу, точно канатоходец, по верху заборов с правой стороны и кожаную сумку с книгами при этом нес не через плечо, а на голове. Левые заборы принадлежали Джеку, и младшим Клири досталась сама дорога. Из овражка, где стояла кузница, они взобрались по высокому, крутому косогору, где Робертсонова дорога соединялась с Уэхайнской, и приостановились перевести дух; пять ярко-рыжих голов вспыхнули на фоне голубого неба в пушистых белых облачках. Теперь – лучшая часть пути, под гору; они взялись за руки и пустились вприпрыжку с вершины холма, она быстро скрылась позади, в зарослях цветов... Жаль, некогда прокрасться под забором мистера Чепмена и скатиться до самого низа, будто пущенные с горы камни.

От дома Клири до Уэхайна было пять миль, и когда Мэгги увидела вдали телеграфные столбы, у нее дрожали коленки и совсем сползли носки. Прислушиваясь – не звонит ли уже школьный колокол, Боб нетерпеливо поглядывал на сестренку – еле тащится, порой поддегивает штанишки и тяжело вздыхает. Розовое лицо ее в рамке густых локонов как-то странно побледнело. Боб вздохнул, сунул сумку с книгами Джеку и вытер ладони о штаны.

– Поди сюда, Мэгги, я тебя дотащу на закорках, – проворчал он и свирепо глянул на братьев – пусть не воображают, будто он разнюнился из-за девчонки.

Мэгги вскарабкалась ему на спину, подтянулась повыше, обхватила его ногами, блаженно прислонилась головой к костлявому плечу брата. Теперь можно с удобством поглядеть на Уэхайн.

Смотреть-то было не на что. Уэхайн, беспорядочно раскинувшийся по обе стороны дороги с полосой гудрона посередине, в сущности, был просто большой деревней. Самым большим домом тут была гостиница – двухэтажная, с навесом от солнца – он тянулся над дорожкой, ведущей к

крыльцу, и дальше, на столбах, вдоль сточной канавы. Следующим по величине был универсальный магазин, он тоже мог похвастать навесом для защиты от солнца, да еще под заваленными всякой всячиной витринами стояли две длинные деревянные скамьи, чтобы прохожие могли передохнуть. Перед зданием муниципалитета красовался флагшток, на ветру полоскался трепаный, линялый государственный флаг. Город еще не обзавелся гаражом, экипажи на бензиновом ходу были наперечет, зато по соседству с муниципалитетом имелась кузница и за ней – конюшня, а бензоколонка торчала рядом с колодой, из которой поили лошадей. Лишь один-единственный дом – какая-то лавка – и правда бросался в глаза: престранный, ярко-синий, очень неанглийского вида; все остальные выкрашены были в скромный коричневый цвет. Бок о бок стояли англиканская церковь и городская школа, как раз напротив – церковь монастыря Пресвятого Сердца и монастырская школа.

Мальчики Клири поспешно миновали универсальный магазин, и тут зазвонил колокол монастырской школы, и тотчас отозвался звоном погуще колокол на столбе перед городской школой напротив. Боб пустился рысцой, и они вбежали в посыпанный песком двор, там с полсотни детей уже выстраивались в ряд перед монахиней очень маленького роста, у нее в руках была гибкая трость выше ее самой. Не дожидаясь ее распоряжения, Боб отвел своих в сторону от общего строя и остановился, не сводя глаз с трости.

Не сразу можно было заметить, что здание монастыря двухэтажное, потому что стояло оно за оградой, поодаль от дороги, в глубине просторного двора. Четыре монахини ордена милосердных сестер жили в верхнем этаже, одну из них никогда никто не видел – она исполняла должность экономки; три большие комнаты внизу служили классами. По всем четырем сторонам здания снаружи шла широкая крытая веранда, в дождь ученикам разрешалось чинно сидеть здесь во время перемены и завтрака, но в погожие дни никто из детей не смел сюда сунуться. Несколько ветвистых смоковниц давали кое-какую тень просторному двору перед школой, а позади нее пологий спуск вел к поросшему травой кругу, вежливо именуемому крикетной площадкой, – здесь и правда частенько играли в крикет.

Боб и его братья застыли на месте, не обращая внимания на приглушенные смешки остальных, а те вереницей двинулись в дом под звуки гимна «Вера наших отцов», который брэнчала на плохоньком школьном фортепьяно сестра Кэтрин. Лишь когда вся вереница скрылась в дверях, сестра Агата, все время стоявшая точно суровое изваяние,

повернулась и, величественно шурша по песку широчайшим саржевым подолом, прошествовала к детям Клири.

Мэгги уставилась на нее во все глаза – она никогда еще не видела монахини. И правда, необычайное зрелище, живого – только три красных пятна: лицо и руки сестры Агаты, а остальное – ослепительно белый крахмальный чепец и нагрудник, и черным-черны складки необъятного одеяния, да с железной пряжки – кольца, скрепляющего на плотной талии широкий кожаный пояс, свисают тяжелые деревянные четки. Кожа сестры Агаты навек побагровела от чрезмерного пристрастия к чистоте и от острых как бритва краев чепца, стискивающих голову спереди, и то, что даже трудно назвать лицом, словно существовало само по себе, никак не связанное с телом: на двойном подбородке, немилосердно сжатым тисками того же головного убора, там и сям пучками торчали волосы. А губ вовсе не видно, озабоченно сжаты в жесткую черту – нелегкая задача быть невестой Христовой в такой вот глуши, в далекой колонии, где времена года – и те шиворот-навыворот, если дала монашеский обет полвека назад в тихом аббатстве в милом Килларни, на юге милой Ирландии. Стальная оправа круглых очков безжалостно выдавила на переносье сестры Агаты две ярко-красные отметины, из-за стекол подозрительно высматривали блекло-голубые злые глазки.

– Ну, Роберт Клири, почему вы опоздали? – отрывисто рявкнула сестра Агата, в голосе ее не осталось и следа былой ирландской мягкости.

– Простите, сестра Агата, – без всякого выражения сказал Боб, все еще не сводя голубовато-зеленых глаз с тонкой, подрагивающей в воздухе трости.

– Почему вы опоздали? – повторила монахиня.

– Простите, сестра Агата.

– Начинается новый учебный год, Роберт Клири, и я полагаю, что хотя бы сегодня ты мог постараться прийти вовремя.

Мэгги бросило в дрожь, но она собрала все свое мужество.

– Ой, извините, это все из-за меня! – пропищала она.

Взгляд блеклых голубых глаз передвинулся с Боба на Мэгги и пронизал ее насквозь; в простоте душевной девочка не подозревала, что нарушила первое правило в нескончаемой войне не на жизнь, а на смерть между учителями и учениками: пока тебя не спросят, молчи. Боб поспешно лягнул ее по ноге, и Мэгги растерянно покосилась на него.

– Почему из-за тебя? – спросила монахиня.

Никогда еще с Мэгги не говорили так сурово.

– Ну, меня за столом стошнило, даже до штанишек дошло, и маме

пришлось меня вымыть и переодеть, и я всех задержала, – простодушно объяснила Мэгги.

Ничто не дрогнуло в лице сестры Агаты, только рот стал совсем как сжатая до отказа пружина да кончик трости немного опустился.

– Это еще что? – отрывисто спросила она Боба, словно перед ней появилось какое-то неведомое и до крайности отвратительное насекомое.

– Извините, сестра Агата, это моя сестренка Мэгенн.

– Так объяснишь ей на будущее, Роберт, что есть вещи, о которых воспитанные люди, настоящие леди и джентльмены, никогда не упоминают. Никогда, ни при каких обстоятельствах мы не называем предметы нашей нижней одежды, в приличных семьях детям это правило внушают с колыбели. Протяните руки, вы все.

– Но ведь это из-за меня! – горестно воскликнула Мэгги и протянула руки ладонями вверх – она тысячу раз видела дома, как это изображали братья.

– Молчать! – прошипела, обернувшись к ней, сестра Агата. – Мне совершенно неинтересно, кто из вас виноват. Опоздали все, значит, все заслуживают наказания. Шесть ударов, – с холодным удовлетворением произнесла она приговор.

В ужасе смотрела Мэгги, как Боб протянул недрогнувшие руки и трость так быстро, что не уследить глазами, опять и опять со свистом опускается на раскрытые ладони, на самую чувствительную мякоть. После первого же удара на ладони вспыхнула багровая полоса, следующий удар пришелся под самыми пальцами, там еще больнее, и третий – по кончикам пальцев, тут кожа самая тонкая и нежная, разве что на губах тоньше. Сестра Агата целилась метко. Еще три удара достались другой руке, потом сестра Агата занялась следующим на очереди – Джеком. Боб сильно побледнел, но ни разу не охнул, не шевельнулся, так же вытерпели наказание и Джек, и даже тихий, хрупкий Стюарт.

Потом трость поднялась над ладонями Мэгги – и она невольно закрыла глаза, чтоб не видеть, как опустится это орудие пытки. Но боль была как взрыв, будто огнем прожгло ладонь до самых костей, отдалось выше, выше, дошло до плеча, и тут обрушился новый удар, а третий, по кончикам пальцев, нестерпимой мукой пронзил до самого сердца. Мэгги изо всей силы прикусила нижнюю губу, от стыда и гордости она не могла заплакать, от гнева, от возмущения такой явной несправедливостью не смела открыть глаза и посмотреть на монахиню; урок был усвоен прочно, хотя суть его была отнюдь не в том, чему хотела обучить сестра Агата.

Только к большой перемене боль в руках утихла. Все утро Мэгги

провела как в тумане: испуганная, растерянная, она совершенно не понимала, что говорится и делается вокруг. В классе для самых младших ее толкнули на парту в последнем ряду, и до безрадостной перемены, отведенной на завтрак, она даже не заметила, кто ее соседка по парте; в перемену она забилась в дальний угол двора, спряталась за спины Боба и Джека. Только строгий приказ Боба заставил ее приняться за хлеб с джемом, который приготовила ей Фиа.

Когда снова зазвонил колокол на уроки и Мэгги нашла свое место в веренице учеников, туман перед глазами уже немного рассеялся, и она стала замечать окружающее. Обида на позорное наказание ничуть не смягчилась, но Мэгги высоко держала голову и делала вид, будто ее вовсе не касается, что там шепчут девчонки и почему подталкивают друг друга в бок.

Сестра Агата со своей тростью стояла перед рядами учеников; сестра Диклен сновала то вправо, то влево позади них; сестра Кэтрин села за фортепьяно – оно стояло в классе младших, у самой двери, – и в подчеркнуто маршевом ритме заиграла «Вперед, Христово воинство». Это был, в сущности, протестантский гимн, но война сделала его и гимном католиков тоже. Милые детки маршируют под его звуки и впрямь как крохотные солдатики, с гордостью подумала сестра Кэтрин.

Из этих трех монахинь сестра Диклен была точной копией сестры Агаты, только на пятнадцать лет моложе, но в сестре Кэтрин еще оставалось что-то человеческое. Она, разумеется, была ирландка, всего лишь тридцати лет с хвостиком, и прежний пыл в ней не совсем еще угас; ей все еще радостно было учить детей, и в обращенных к ней восторженных рожицах ей по-прежнему виделось нетленным подобие Христово. Но она вела старший класс, ибо сестра Агата полагала, что старшие уже достаточно биты, чтобы вести себя прилично даже при молодой и мягкосердечной наставнице. Сама сестра Агата обучала младших, дабы по-своему вылепить из младенческой глины послушные умы и сердца, а средние классы были предоставлены сестре Диклен.

Надежно укрывшись в последнем ряду, Мэгги решилась посмотреть на соседку по парте. Пугливо покосилась и увидела широкую беззубую улыбку и круглые черные глазищи на смуглом и словно бы чуть лоснящемся лице. Восхитительное лицо – Мэгги-то привыкла к светлой коже и к веснушкам, ведь даже у Фрэнка, черноволосого и черноглазого, кожа совсем белая, и она быстро решила, что ее соседка – самая красивая девочка на свете.

– Как тебя зовут? – краешком губ шепнула смуглая красавица; она

грызла карандаш и сплевывала кусочки дерева в дырку, где полагалось бы стоять чернильнице.

– Мэгги Клири, – прошептала в ответ Мэгги.

– Ты, там! – раздался сердитый окрик.

Мэгги подскочила, недоуменно огляделась. Послышались приглушенный стук – все двадцать детей разом отложили карандаши – и негромкий шорох отодвигаемых в сторонку драгоценных листков бумаги, чтобы можно было потихоньку облокотиться на парту. У Мэгги душа ушла в пятки – все смотрят на нее! По проходу между партами быстрым шагом приближалась сестра Агата; Мэгги охватил несказанный ужас; если б было куда, она бросилась бы бежать со всех ног. Но позади – перегородка, за которой помещается средний класс, по обе стороны – тесные ряды парт, а впереди сестра Агата. Мэгги побледнела, задохнулась от страха, руки ее на крышке парты то сжимались, то разжимались, она подняла на монахиню огромные, в пол-лица, перепуганные глаза.

– Ты разговаривала, Мэгенн Клири.

– Да, сестра Агата.

– Что же ты сказала?

– Как меня зовут, сестра Агата.

– Как тебя зовут! – язвительно повторила сестра Агата и обвела взглядом других детей, будто уверенная, что и они разделяют ее презрение. – Не правда ли, дети, какая честь для нас? В нашей школе появилась еще одна Клири, и ей не терпится всем сообщить, как ее зовут. – Она опять повернулась к Мэгги. – Встань, когда я с тобой говорю, невежа! Изволь протянуть руки.

Мэгги кое-как поднялась, длинные локоны упали на лицо и опять отскочили. Она отчаянно стиснула руки и все сжимала их, но сестра Агата истуканом стояла над ней и ждала, ждала, ждала... Наконец Мэгги заставила себя протянуть руки, но под взмахом трости задохнулась от ужаса и отдернула их. Сестра Агата вцепилась в густые волосы у Мэгги на макушке и подтащила ее к себе, лицом чуть не вплотную к страшным очкам.

– Протяни руки, Мэгенн Клири.

Это было сказано вежливо, холодно, беспощадно.

Мэгги раскрыла рот, и ее стошнило прямо на одеяние сестры Агаты. Все дети, сколько их было в классе, испуганно ахнули, а сестра Агата стояла багровая от ярости и изумления, и отвратительная жидкость стекала по складкам черной ткани на пол. И вот трость пошла лупить Мэгги по чему попало, а девочка скорчилась в углу, вскинув руки, закрывая лицо, и

ее все еще тошнило. Наконец сестра Агата выбилась из сил, рука отказывалась поднять трость, и тогда она показала на дверь.

– Иди домой, маленькая дрянь, филистимлянка, – сказала она, круто повернулась и ушла в класс сестры Диклен.

Вне себя от боли и ужаса, Мэгги оглянулась на Стюарта; он кивнул – мол, уходи, раз тебе велено, в добрых зеленоватых глазах его были жалость и понимание. Мэгги вытерла рот платком, спотыкаясь, побрела к двери и вышла во двор. До конца занятий оставалось еще два часа; она понуро плелась по улице, нечего было надеяться, что братья ее нагонят, и она натерпелась такого страха, что не могла сообразить, где бы их подождать. Придется самой дойти до дому и самой признаться во всем маме.

* * *

Шатаясь, через силу Фиа вытащила на заднее крыльцо корзину, полную только что выстиранного белья, и едва не споткнулась о Мэгги. Девочка сидела на верхней ступеньке, уронив голову в колени, ярко-рыжие локоны на концах слиплись, платье спереди все в пятнах. Фиа опустила непосильную ношу, со вздохом отвела прядь волос, упавшую на глаза.

– Ну, что случилось? – устало спросила она.

– Меня стошнило на сестру Агату.

– О Господи! – Фиа взялась руками за ноющую поясницу.

– И еще меня побили, – прошептала Мэгги, в глазах ее стояли непролитые слезы.

– Весело, что и говорить. – Фиа подняла тяжелую корзину, с трудом выпрямилась. – Ума не приложу, как с тобой быть, Мэгги. Придется подождать, посмотрим, что скажет папа.

И она пошла через двор к веревкам, где уже моталась на ветру половина выстиранного белья.

Мэгги уныло потерла глаза ладонями, посмотрела вслед матери, потом встала и поплелась по тропинке вниз, к кузнице.

Когда она стала на пороге, Фрэнк только что подковал гнедую кобылу мистера Робертсона и заводил ее в стойло. Он обернулся, увидел сестру, и его разом захлестнули воспоминания о всех муках, которых он сам когда-то натерпелся в школе. Мэгги еще совсем малышка, такая пухленькая и такая милая чистая душа, но живой огонек у нее в глазах грубо погасили, и в них затаилось такое... Убить бы за это сестру Агату! Да-да, убить, стиснуть ее двойной подбородок и придушить... Инструменты полетели на пол,

кожаный фартук – в сторону, Фрэнк кинулся к сестренке.

– Что случилось, кроха? – спросил он, низко наклонился и заглянул ей в лицо.

От девочки противно пахло рвотой, но он совладал с собой и не отвернулся.

– Ой, ой, Ф-ф-фрэнк! – всхлипнула несчастная Мэгги. Лицо ее скривилось, и, наконец, будто прорвав плотину, хлынули слезы. Она обхватила руками шею Фрэнка, изо всех сил прижалась к нему и заплакала – беззвучно, мучительно зарыдала, так странно плакали все дети Клири, едва выходили из младенческого возраста. На эту боль тяжело смотреть, и тут не поможешь ласковыми словами и поцелуями.

Когда Мэгги затихла, Фрэнк взял ее на руки и отнес на кучу душистого сена возле гнедой кобылы Робертсона; они сидели вдвоем, позабыв обо всем на свете, а мягкие лошадиные губы подбирали сено совсем рядом; Мэгги прижалась головой к обнаженной гладкой груди брата, и локоны ее разлетались, когда лошадь раздувала ноздри и громко фыркала от удовольствия.

– Почему она побила нас всех, Фрэнк? – спросила Мэгги. – Я ведь ей сказала, что мы все из-за меня опоздали.

Фрэнк уже притерпелся к запаху; протянул руку, рассеянно погладил кобылу по чересчур любопытной морде и легонько оттолкнул ее.

– Мы – бедные, Мэгги, в этом главная причина. Монахини всегда ненавидят бедных учеников. Вот походишь еще денек-другой в эту паршивую школу и сама увидишь: сестра Агата не только к нам, Клири, придирается, и к Маршаллам тоже, и к Макдональдам. Все мы бедные. А были бы богатые, приезжали бы в школу в большой карете, как О’Брайены, так монашки нам бы в ножки кланялись. Но мы ж не можем пожертвовать церкви орган, или шитый золотом покров на алтарь, или новую лошадь и коляску для монахинь. Чего ж на нас глядеть. Как хотят, так с нами и расправляются. Помню, один раз сестра Агата до того на меня озлилась – стала орать: «Да заплачешь ты наконец, Фрэнсис Клири? Закричи, доставь мне такое удовольствие! Взвой хоть раз, и я не стану бить тебя так сильно и так часто!» Вот тебе и еще причина, почему она нас ненавидит, тут Маршаллам и Макдональдам до нас далеко. Из нас, Клири, ей слезы не выбить. Она думает, мы станем лизать ей пятки. Так вот, я ребятам сказал, что я с ними сделаю, если кто из них захнычет, когда его бьют, и ты тоже запомни, Мэгги. Как бы она тебя ни лупила, и пикнуть не смей. Ты сегодня плакала?

– Нет, Фрэнк.

Мэгги зевнула, веки сами закрылись, большой палец потянулся ко рту и не сразу попал куда надо. Фрэнк уложил сестренку на сено и, улыбаясь и тихонько напевая, вернулся к наковальне.

Мэгги еще спала, когда вошел Пэдди. Руки у него были по локоть в грязи – сегодня он убирал навоз на скотном дворе мистера Джермена, – широкополая шляпа нахлобучена до бровей. Он окинул взглядом Фрэнка, тот ковал тележную ось, над головой его вихрем кружились искры; потом Пэдди посмотрел на дочь – она спала, свернувшись клубочком на куче сена, и гнедая кобыла Робертсона свесила голову над спящим ее лицом.

– Так я и думал, что она здесь, – сказал Пэдди, отбросил хлыст для верховой езды и повел свою старуху чалую в глубь сарая, к стойлу.

Фрэнк коротко кивнул, вскинул на отца сумрачный взгляд, в котором Пэдди всегда, к немалой своей досаде, читал какое-то сомнение и неуверенность, и опять занялся раскаленной добела осью; обнаженная спина его блестела от пота.

Пэдди расседлал чалую, завел в стойло, налил ей воды, потом приготовил корм – смешал овса с отрубями и плеснул туда же воды. Чалая тихонько благодарно заржала, когда он наполнил ее кормушку, и проводила его глазами, а Пэдди, на ходу стаскивая с себя рубаху, прошел к большому корыту у входа в кузницу. Вымыл руки, лицо, ополоснулся до пояса, при этом намокли и волосы, и штаны. Растираясь досуха куском старой мешковины, недоуменно посмотрел на сына.

– Мама сказала, Мэгги в школе наказали и отправили домой. Не знаешь толком, что там стряслось?

Фрэнк отложил остывшую ось.

– Бедную дурашку стошнило прямо на сестру Агату.

Пэдди уставился на дальнюю стену, торопливо согнал с лица усмешку и тогда лишь как ни в чем не бывало кивнул на Мэгги:

– Уж так разволновалась, что поступает в школу, а?

– Не знаю. Ее еще утром стошнило, потому они все задержались и к звонку опоздали. Всем досталось по шесть ударов, и Мэгги ужасно расстроилась – она-то считала, что ее одну должны наказать. А после завтрака сестра Агата опять на нее накинулась, и нашу Мэгги вывернуло прямо на ее чистый черный подол.

– И дальше что?

– Сестра Агата чуть трость об нее не обломала и отправила домой.

– Ну, наказана и хватит, подбавлять не стану. Я наших монахинь очень уважаю, и не нам их судить, а только хотел бы я, чтобы они пореже хватались за палку. Оно, конечно, приходится им вбивать науки в наши

тупые ирландские головы, но, как ни говори, кроха Мэгги нынче только первый раз пошла в школу.

Фрэнк смотрел на отца во все глаза. Никогда еще Пэдди не говорил со старшим сыном как со взрослым и равным.

От изумления Фрэнк даже позабыл свою вечную обиду: так вот оно что, хоть Пэдди всегда гордится и хвастает сыновьями, но Мэгги он любит еще больше... Во Фрэнке всколыхнулось доброе чувство к отцу, и он улыбнулся без обычного недоверия.

– Она у нас малышка первый сорт, правда?

Пэдди рассеянно кивнул, он все еще не отрываясь смотрел на дочь. Лошадь шумно вздохнула, фыркнула; Мэгги зашевелилась, повернулась и открыла глаза. Увидела рядом с Фрэнком отца, побледнела от испуга и порывисто села.

– Что, Мэгги, дочка, нелегкий у тебя денек выдался?

Пэдди шагнул к ней, подхватил на руки и чуть не ахнул от резкого запаха. Но только дернул плечом и крепче прижал к себе девочку.

– Меня побили, папочка, – призналась она.

– Что ж, насколько я знаю сестру Агату, это не в последний раз, – засмеялся Пэдди и усадил дочь к себе на плечо. – Пойдем-ка поглядим, наверное, у мамы найдется в котле горячая вода, надо тебя вымыть. От тебя пахнет похуже, чем на скотном дворе у Джермена.

Фрэнк вышел на порог и провожал глазами две огненно-рыжие головы, пока они не скрылись за изгибом тропы, ведущей в гору, потом обернулся и встретил кроткий взгляд гневной кобылы.

– Пошли, старуха, отведу тебя домой, – сказал он и взялся за повод.

Приступ рвоты неожиданно принес Мэгги счастье. Сестра Агата продолжала бить ее тростью по рукам, но держалась теперь на безопасном расстоянии, а от этого удары были не так сильны и далеко не так метки.

Смуглая соседка Мэгги по парте оказалась младшей дочерью итальянца – хозяйина ярко-синего кафе в Уэхайне. Звали эту девочку Тереза Аннунцио, и она была туповата – как раз настолько, чтобы не привлекать особого внимания сестры Агаты, но не настолько, чтобы стать для сестры Агаты постоянной мишенью. Когда у Терезы выросли новые зубы, она стала настоящей красавицей, Мэгги ее обожала. Каждую перемену они гуляли по двору, обняв друг друга за талию – а это знак, что вы задушевные подруги и никто больше не смеет добиваться вашего расположения. Гуляли и говорили, говорили, говорили.

Однажды на большой перемене Тереза повела Мэгги в отцовское кафе

и познакомила со своими родителями, со взрослыми братьями и сестрами. Все они пришли в восторг от этого золотого огонька, так же как Мэгги восхищалась их смуглой красотой, а когда она посмотрела на них серыми глазищами в милых пестрых крапинках, объявили, что она настоящий ангелочек. От матери Мэгги унаследовала какую-то неуловимую аристократичность – все ощущали ее с первого взгляда, ощутило это и семейство Аннунцио. Как и Тереза, они принялись ухаживать за Мэгги, угостили ее хрустящим картофелем, поджаренным в кипящем бараньем сале, и восхитительно вкусной рыбой, без единой косточки, обваленной в тесте и поджаренной в том же кипящем жиру, только в отдельной проволочной сетке. Мэгги никогда еще не пробовала такой чудесной еды и подумала – хорошо бы тут есть почаще. Но надо еще, чтобы такое удовольствие ей разрешили мать и монахини.

Дома от Мэгги только и слышали: «Тереза сказала», «А знаете, что сделала Тереза?», и наконец Пэдди прикрикнул, что она ему все уши прожужжала своей Терезой.

– Не больно это умно – якшаться с итальяшками, – проворчал он с истинно британским бессознательным недоверием ко всем, у кого темная кожа и кто родом с берегов Средиземного моря. – Итальяшки грязный народ, Мэгги, дочка, они редко моются, – кое-как пояснил он, смешавшись под обиженным и укоризненным взглядом дочери.

Фрэнк, обуреваемый ревностью, поддержал отца. И Мэгги дома стала реже заговаривать о подруге. Но неодобрение домашних не могло помешать этой дружбе, которую расстояние все равно ограничивало стенами школы; а Боб и младшие мальчики только радовались, что сестра поглощена Терезой. Значит, в перемену можно вволю носиться по двору, будто никакой Мэгги тут вовсе и нет.

Непонятные закорючки, которые сестра Агата вечно выводила на классной доске, понемногу обретали смысл, и Мэгги узнала, что когда стоит «+», надо сосчитать все цифры вместе, а когда «–» – от того, что написано сверху, отнять то, что ниже, и под конец получится меньше, чем было. Она была смышленная и стала бы отличной, даже, пожалуй, блестящей ученицей, если б только могла одолеть страх перед сестрой Агатой. Но едва на нее обращались эти сверлящие глаза и сухой старческий голос бросал ей отрывистый вопрос, Мэгги начинала мямлить и заикаться и уже ничего не соображала. Арифметика давалась ей легко, но, когда надо было вслух доказать, как искусно она считает, она забывала, сколько будет дважды два. Чтение распахнуло перед ней двери в чудесный, увлекательнейший мир, но, когда сестра Агата велела ей встать и громко

прочитать несколько строк, она еле могла выговорить «кошка» и совсем запуталась на слове «мяучит». Казалось, ей навек суждено ежиться под язвительными замечаниями сестры Агаты, краснеть и сгорать от стыда, потому что над ней смеется весь класс. Ведь это ее грифельную доску сестра Агата с неизменным ехидством выставляет напоказ, ее старательно исписанные листки неизменно приводит в пример грязи и неряшества. Некоторые ученики из богатых были счастливыми обладателями ластиков, но у Мэгги взамен резинки имелся лишь кончик пальца – послюнив его, она терла и терла сделанную от волнения ошибку, так что отдирались бумажные катышки и выходила одна грязь. Палец протирали в листке дырки, способ этот строго-настрого запрещался, но Мэгги с отчаяния готова была на все, лишь бы избежать громов и молний сестры Агаты.

До появления Мэгги главной мишенью для трости и злого языка сестры Агаты был Стюарт. Но Мэгги оказалась куда лучшей мишенью, потому что были в Стюарте печальное спокойствие и отрешенность, точно в каком-то маленьком святом, и через это не удавалось пробиться даже сестре Агате. А Мэгги хоть и старалась изо всех сил не уронить достоинство рода Клири, как велел ей Фрэнк, но вся дрожала и заливалась краской. Стюарт очень жалел ее, старался хотя бы отчасти отвлечь гнев сестры Агаты на себя. Монахиня мигом разгадывала его хитрости и еще сильнее разъярялась от того, как все эти Клири стоят друг за друга, что мальчишки, что девчонки. Спроси ее кто-нибудь, чем, собственно, ее так возмущают дети Клири, она не сумела бы ответить. Но старой монахине, озлобленной и разочарованной тем, как сложилась ее жизнь, не так-то легко было примириться с нравом этого гордого и чуткого племени.

Самым тяжким грехом Мэгги оказалось, что она – левша. Когда она впервые осторожно взялась за грифель на первом своем уроке письма, сестра Агата обрушилась на нее, точно Цезарь на галлов.

– Положи грифель, Мэгген Клири! – прогремела она.

Так началось великое сражение. Мэгги оказалась безнадёжной, неизлечимой левшой. Сестра Агата вкладывала ей в правую руку грифель, насильно сгибала пальцы должным образом, а Мэгги недвижимо сидела над грифельной доской, голова у нее шла кругом, и она, хоть убейте, не могла постичь, как заставить эту злосчастную руку исполнять требования сестры Агаты. Она внутренне деревенела, слепла и глохла; бесполезный придаток – правая рука – так же мало повиновался ее мыслям, как пальцы ног. Рука не слушалась, не сгибалась как надо и тянула корявую строку не по доске, а мимо и, точно парализованная, роняла грифель; и что бы ни делала сестра Агата, эта правая рука не могла вывести букву «А». А потом

Мэгги потихоньку перекладывала грифель в левую руку и, неловко заслоня доску локтем, выводила длинный ряд четких, будто отпечатанных прописных «А».

Сестра Агата выиграла сражение. Утром до уроков она стала привязывать левую руку Мэгги к боку и не развязывала до трех часов дня, до последнего звонка. Даже в большую перемену Мэгги приходилось есть свой завтрак, ходить по двору, играть, не шевеля левой рукой. Так продолжалось три месяца, и под конец она научилась писать правой, как того требовали воззрения сестры Агаты, но почерк у нее навсегда остался неважный. Для верности, чтобы она не вспомнила прежнюю привычку, левую руку ей привязывали к боку еще два месяца; а потом сестра Агата собрала учеников на молитву, и вся школа хором возблагодарила Господа, который в премудрости своей направил заблудшую Мэгги на путь истинный. Все чада Господни пользуются правой рукой; левши же – дьяволово семя, тем более если они еще и рыжие.

В тот первый школьный год Мэгги утратила младенческую пухлость и стала очень худенькая, хотя почти не выросла. Она привыкла чуть не до крови обкусывать ногти, и пришлось терпеть, когда сестра Агата в наказание подводила ее с вытянутыми руками к каждой парте и всем и каждому в школе показывала, как безобразны ногти, когда их грызут. А ведь половина ребят от пяти до пятнадцати лет грызла ногти не хуже Мэгги.

Фиа достала пузырек с горьким соком алоэ и намазала этой гадостью кончики пальцев Мэгги. Все в доме обязаны были следить, чтобы она не смыла горький сок, а девочки в школе заметили предательские темные пятна, пришлось вытерпеть и это унижение. Сунешь палец в рот – мерзость жуткая, хуже овечьего мыла; в отчаянии Мэгги смочила слюной носовой платок и терла пальцы чуть не до крови, пока не смягчился немного мерзкий вкус. Пэдди взял хлыст – орудие куда более милосердное, чем трость сестры Агаты, и пришлось Мэгги прыгать по всей кухне. Пэдди считал, что детей не следует бить ни по рукам, ни по лицу, ни по ягодицам, а только по ногам. Больно не меньше, чем в любом другом месте, говорил он, а вреда никакого не будет. И однако, наперекор горькому алоэ, насмешкам, сестре Агате и отцову хлысту, Мэгги продолжала грызть ногти.

Дружба с Терезой была великой радостью в ее жизни; если б не это, школа стала бы невыносимой. Все уроки напролет Мэгги только и ждала, когда же настанет перемена и можно будет, обнявшись, сидеть с Терезой в тени смоковницы и говорить, говорить... Тереза рассказывала про свое удивительное итальянское семейство, и про бесчисленных кукол, и про

кукольный сервиз – самый настоящий, в китайском стиле, синий с белым.

Увидев наконец этот сервиз, Мэгги задохнулась от восторга. Тут было сто восемь предметов: крохотные чашки с блюдцами, тарелки, чайник и сахарница, и молочник, и еще ножи, ложки и вилки, малюсенькие, как раз куклам по руке. Терезиным игрушкам счету не было, еще бы: самая младшая, много моложе остальных детей в семье, да притом в семье итальянской, а значит, всеобщая любимица, и отец не жалел денег ей на подарки. Тереза и Мэгги смотрели друг на дружку с какой-то пугливой, почтительной завистью, хотя Тереза вовсе не хотела бы для себя такого сурового кальвинистского воспитания. Напротив, она жалела подругу. Чтобы нельзя было броситься к матери, обнять ее и расцеловать? Бедная Мэгги!

А Мэгги уж никак не могла равнять сияющую добродушием кругленькую Терезину мамашу со своей стройной не улыбчивой матерью, ей и в голову не приходило пожелать: «Вот бы мама меня обняла и поцеловала». Думалось совсем по-другому: «Вот бы Терезина мама обняла меня и поцеловала». Впрочем, объятия и поцелуи рисовались ее воображению куда реже, чем кукольный сервиз в китайском стиле. Такие чудесные вещицы, такие тоненькие, прозрачные, такие красивые! Вот бы иметь такой сервиз и каждый день поить Агнес чаем из темно-синей, с белым, узорчатой чашки на темно-синем, с белым, узорчатом блюде!

В пятницу, во время службы в старой церкви, украшенной прелестными по наивности маорийскими деревянными скульптурами, с ярко, по-маорийски, расписанными сводами, Мэгги на коленях молила Бога послать ей китайский кукольный сервиз. И вот отец Хейс высоко поднял святые дары, и Дух Святой засиял в цветных стеклах, в лучах из драгоценных камней, и осенил своим благословением склоненные головы прихожан. Всех прихожан, кроме Мэгги; она даже не видела его, слишком была занята: вспоминала, сколько же десертных тарелочек в Терезином сервизе. И когда торжественно запел хор маори на галерее над органом, голову Мэгги кружила ослепительная синь, весьма далекая от католической веры и от Полинезии.

Школьный год подходил к концу, настал декабрь, близился день рождения Мэгги, казалось, вот-вот нагрянет настоящее лето, и тут Мэгги узнала, какой дорогой ценой покупается исполнение заветных желаний. Она сидела на высоком табурете у печки, и Фиа, как обычно, причесывала ее перед школой – задача не из легких. Волосы у Мэгги вились от природы – в этом ей, по мнению матери, очень повезло, девочкам с прямыми волосами не так-то легко, когда вырастут, соорудить пышную прическу из

жалких вялых прядей. На ночь длинные, почти до колен, вьющиеся волосы туго накручивались на белые полоски, оторванные от старой простыни, и каждое утро Мэгги надо было вскарабкаться на табурет, чтобы мать развязала эти лоскуты и причесала ее.

Старой серебряной щеткой для волос Фиа расчесывала одну за другой длинные, круто вьющиеся пряди и ловко накручивала на указательный палец, так что получалась толстая блестящая колбаска; тогда, осторожно убрав палец, Фиа встряхивала ее, и получался длинный, на зависть тугой локон. Эту операцию приходилось повторить раз двенадцать, потом спереди локоны поднимались на макушку, перевязывались свежевыглаженным бантом из белой тафты – и Мэгги была готова. Другие девочки в школу ходили с косичками, а локоны у них появлялись только в торжественных случаях, но на этот счет мать была непреклонна: Мэгги должна ходить только с локонами, как ни трудно по утрам урвать на это время. Фиа не подозревала, что столь благие намерения не вели к добру, ведь у дочери и без того были самые красивые волосы во всей школе. А неизменные локоны ее подчеркивали это и вызывали косые завистливые взгляды.

Возня с локонами была не очень-то приятна, но Мэгги привыкла, ее так причесывали, сколько она себя помнила. В сильной руке матери щетка продиралась сквозь спутанные волосы, безжалостно тянула и дергала, даже слезы выступали на глазах, и приходилось держаться за табурет обеими руками, чтобы не упасть. Был понедельник последней школьной недели, и только два дня оставалось до дня рождения; Мэгги цеплялась за табурет и мечтала о бело-синем кукольном сервизе, хотя и знала, что мечта эта несбыточная. Был такой сервиз в уэхайнском магазине, и она уже достаточно разбиралась в ценах, чтобы понимать – ее отцу такое не по карману. Внезапно Фиа так странно охнула, что Мэгги разом очнулась, а муж и сыновья, еще не встававшие из-за стола, удивленно обернулись.

– Боже милостивый! – вырвалось у матери.

Пэдди вскочил, пораженный, никогда еще он не слышал, чтобы Фиа поминала имя Господне всуе. Она застыла со щеткой в руке, с прядью волос дочери в другой, и лицо ее исказилось от ужаса и отвращения. Пэдди и мальчики окружили их обеих; Мэгги хотела было взглянуть, в чем дело, но ее так стукнули щеткой с жесткой щетиной, что на глаза навернулись слезы.

– Смотри! – прошептала мужу Фиа и подняла локон на свет.

В ярком солнечном луче густые волосы засверкали как золото, и Пэдди сначала ничего не разглядел. А потом увидел: по руке Фионы, по тыльной

стороне кисти, движется нечто живое. Он перехватил у нее локон и в искрах света разглядел еще немало хлопотливых тварей. Волосы были унизаны крохотными белыми пузырьками, и эти твари деловито нанизывали все новые гроздья. В волосах Мэгги кипела бурная деятельность.

– У нее вши! – сказал Пэдди.

Боб, Джек, Хьюги и Стюарт глянули – и, как отец, отступили на безопасное расстояние; только Фиа и Фрэнк, будто околдованные, стояли и смотрели на волосы Мэгги, а она, бедняга, съежилась на табурете, недоумевая, в чем же она провинилась. Пэдди тяжело опустился в свое кресло и хмуро уставился на огонь очага.

– Это все та итальянская паршивка, – сказал он наконец и свирепо посмотрел на жену. – Ублюдки паршивые, сволочи, грязные свиньи!

– Пэдди! – Фиа задохнулась от возмущения.

– Извини за ругань, жена, но ведь это надо же, чтоб Мэгги завшивела из-за паршивой итальяшки! – взорвался Пэдди и яростно стукнул себя кулаком по колену. – Прямо хоть сейчас пойти в Уэхайн и разнести в щепки их поганое кафе!

– Мам, а что там такое? – выговорила наконец Мэгги.

– Вот, смотри, грязнуля! – сказала мать и сунула руку под нос Мэгги. – Смотри, что ты подхватила от своей подружки, в волосах полно этой гадости. Что мне теперь с тобой делать?

Мэгги в изумлении посмотрела на существо, которое слепо бродило по обнаженной руке Фионы в поисках более волосатой территории, и горько заплакала.

Не дожидаясь, пока ему скажут, Фрэнк поставил на огонь котел с водой, а Пэдди зашагал по кухне из угла в угол, опять и опять он поглядывал на дочь и все сильнее разъярялся. Наконец подошел к двери заднего крыльца – тут на стене вбиты были в ряд гвозди и крюки, – снял с одного из них хлыст для верховой езды, нахлобучил шляпу.

– Съезжу в Уэхайн, Фиа, скажу этому паршивому итальяшке, пускай со своей жирной рыбой и жареной картошкой катится куда подальше! А потом пойду к сестре Агате, ей тоже кое-что выскажу, надо же, держит в школе вшивых ребятишек!

– Осторожнее, Пэдди! – взмолилась Фиа. – Вдруг итальяночка ни при чем? Даже если у нее есть насекомые, может быть, и она, и Мэгги подхватили их от кого-нибудь еще.

– Чепуха! – презрительно фыркнул Пэдди.

Громко стуча башмаками, он сбежал с крыльца, и через минуту с

дороги донесся топот копыт – он пустил чалую вскачь.

Фиа вздохнула, беспомощно посмотрела на Фрэнка:

– Хоть бы он из-за всего этого не угодил в тюрьму. Зови мальчиков в дом, Фрэнк. В школу сегодня никто не пойдет.

Она тщательно осмотрела головы сыновей, одного за другим, проверила Фрэнка и заставила его посмотреть волосы у нее самой. Незаметно было, чтобы еще кто-нибудь заразился болезнью несчастной Мэгги, но Фиа рисковать не собиралась. Когда вода в огромном котле для стирки закипела, Фрэнк снял с крюка лохань, налил пополам кипятка и холодной воды. Потом принес из сарая непечатую пятигаллоновую жестянку керосина, кусок простого мыла и принялся за Боба. Одному за другим он смачивал братьям головы водой из лохани, щедро поливал керосином и густо намыливал. Получалась противная жирная каша, от нее щипало глаза и ело кожу; мальчишки вопили, терли глаза кулаками, скребли покрасневшие зудящие головы и грозились жестоко отомстить всем итальяшкам.

Фиа достала из корзинки с шитьем большие ножницы. Опять подошла к Мэгги, которая уже больше часа не смела слезть с табурета, и остановилась, глядя на этот водопад сияющих волос. А потом защелкала ножницами – раз, раз! – и под конец все длинные локоны обратились в блестящие холмики на полу, а на голове Мэгги кое-где стала просвечивать кожа. Тогда Фиа нерешительно посмотрела на Фрэнка.

– Неужели надо ее обрить? – выговорила она через силу.

Фрэнк возмущенно вскинулся, поднял руку:

– Ну нет, мам! Ни за что! Вымыть как следует керосином – и хватит. Только, пожалуйста, не надо брить!

И вот Мэгги отвели к рабочему столу, нагнули над лоханью и кружку за кружкой поливали ей голову керосином и терли едким мылом жалкие остатки ее волос. Когда с этой работой было покончено, глаза Мэгги почти ничего не видели – так долго и старательно она жмурилась, а на лице и на коже головы высыпали красные пупырышки. Фрэнк смел остриженные волосы на лист бумаги и сунул в печь. Потом окунул метлу в жестянку с керосином. Они с матерью тоже вымыли головы едким мылом, которое жгло кожу так, что дух захватывало, а потом Фрэнк взял ведро и вымыл пол в кухне раствором, которым моют овец.

Наведя в кухне стерильную чистоту, не хуже, чем в больнице, они прошли по спальням, сняли одеяла и простыни со всех кроватей и до вечера кипятили все это, выжимали и развешивали для просушки. Матрасы и подушки повесили на забор за домом и обрызгали керосином, а ковры в

гостиной выбивали так, что только чудом не превратили в лохмотья. Все мальчишки призваны были на помощь, только Мэгги не позвали, на нее и смотреть никто не хотел. От позора она спряталась за сараем и заплакала. После всех терзаний голова горела, в ушах стоял шум, а еще горше и мучительнее был горький стыд; когда Фрэнк ее здесь отыскал, Мэгги даже не подняла на него глаз и, как он ее ни уговаривал, не хотела идти в дом.

В конце концов Фрэнку пришлось тащить ее домой насильно, а Мэгги отбивалась руками и ногами, и когда под вечер вернулся из Уэхайна Пэдди, она забилась в угол. Вид стриженной дочкиной головы сразил Пэдди – он даже всплакнул, раскачиваясь в кресле и закрыв лицо руками, а домашние стояли вокруг, переминались с ноги на ногу и рады были бы очутиться за тридевять земель. Фиа вскипятила чайник и, когда муж немного успокоился, налила ему чашку чаю.

– Что там случилось, в Уэхайне? – спросила она. – Мы тебя заждались.

– Ну, первым делом я отстегал кнутом этого итальяшку и швырнул его в колоду, из которой лошадей поят. Потом вижу – из своей лавки вышел МакЛауд и смотрит, я ему и объяснил, что к чему. МакЛауд кликнул в трактире еще ребят, и мы всех итальяшек покидали в эту лошадиную водопойню, и женщин тоже, и налили туда несколько ведер овечьего мыла. Потом пошел в школу к сестре Агате, и она чуть не сбесилась – как это она раньше ничего не замечала! Вытащила она ту девчонку из-за парты, глядит – а у нее в волосах целый зверинец. Ну, отослала ее домой – мол, пока голова не будет чистая, чтоб ноги твоей тут не было. Когда я уходил, она с другими сестрами всех ребят подряд проверяла, и, ясное дело, еще нашлась куча таких. Эти три монашки и сами скребутся вовсю, когда думают, никто не видит. – Вспомнив об этом, он ухмыльнулся, но посмотрел на голову Мэгги и опять помрачнел. – А ты, барышня, больше не смей водиться ни с итальяшками, ни с кем, хватит с тебя братьев. А не хватит – тем хуже для тебя. И ты, Боб, гляди, чтоб она в школе ни с кем больше не зналась, понял?

Боб кивнул:

– Понял, пап.

На другое утро, к великому ужасу Мэгги, ей опять велели идти в школу.

– Нет, нет, не пойду! – взмолилась она и обеими руками схватилась за голову. – Мама, мамочка, не могу я такая в школу, там же сестра Агата!

– Прекрасно можешь, – сказала мать. Фрэнк посмотрел просительно, но она словно и не заметила. – Вперед будешь умнее.

И повязала голову Мэгги коричневым ситцевым платком, и поплелась

она в школу, еле передвигая ноги. Сестра Агата ни разу не взглянула в ее сторону, но на перемене девочки сдернули платок, чтобы посмотреть, на что она теперь похожа. Лицо Мэгги почти не пострадало, но коротко стриженная голова с воспаленной, разъеденной кожей выглядела устрашающе. Тут подоспел на выручку Боб и увел сестру в тихий уголок – на крикетную площадку.

– Плюнь на них, Мэгги, не обращай внимания, – сердито сказал он, опять неумело повязал ей голову платком, похлопал по закаменелым плечам. – Они просто ведьмы. Жаль, я не догадался прихватить у тебя с головы несколько штук про запас. Только бы эти злюки зазевались, я бы им подпустил в космы.

Подошли младшие мальчики Клири и до самого звонка сидели и стерегли сестру.

Тереза Аннунцио забежала в школу только на большой перемене, голову ей дома обрили. Она хотела поколотить Мэгги, но, конечно, мальчики не дали. Отступая, она высоко вскинула правую руку со сжатым кулаком, а левой похлопала по бицепсу – загадочный ворожейный знак, никто его не понял, но всем мальчикам понравилось – надо перенять!

– Ненавижу тебя! – закричала Тереза. – Твой отец моему все испортил, теперь нам придется отсюда уехать! – И она, рыдая, убежала.

Мэгги не опустила головы и не проронила ни слезинки. Она училась уму-разуму. Что бы про тебя ни думали другие, это все равно, все равно, все равно! Девочки теперь ее сторонились – побаивались Боба и Джека, да и родители, прослышав о случившемся, велели детям держаться от нее подальше: так ли, эдак ли, а дружба с кем-либо из Клири обычно к добру не ведет. И последние школьные дни Мэгги, как тут выражались, провела «в Ковентри» – это был настоящий бойкот. Даже сестра Агата не нарушала новую политику и зло срывала уже не на Мэгги, а на Стюарте.

Как всегда бывало, когда дни рождения младших детей приходились в будни, праздновать шестилетие Мэгги решили в следующую субботу, и тогда-то она получила заветный сервиз. Посуду расставили на красивом голубом столике – столик вместе с двумя такими же стульями искусно смастерил Фрэнк в минуты досуга (которого у него никогда не бывало), и на одном из этих стульчиков восседала Агнес в новом голубом платье, сшитом Фионой в минуты досуга (которого у нее тоже никогда не бывало). Горестно смотрела Мэгги на бело-синие узорчатые чашки и блюдца с веселыми сказочными деревьями в пушистых цветах, с крохотной пышной пагодой и невиданными птицами и с человечками, что вечно спешат перейти выгнутый дугою мостик. Все это начисто утратило былую

прелесть. Но Мэгги смутно понимала, почему родные, урезая себя во всем, поднесли ей, как они думали, самый дорогой ее сердцу подарок. И, движимая чувством долга, она приготовила для Агнес чай в четырехугольном чайничке и словно бы с восторгом совершила весь положенный обряд чаепития. И упорно продолжала эту игру много лет, ни одна чашка у нее не разбилась и даже не треснула. И никто в доме не подозревал, как ненавистны ей этот сервиз, и голубой столик со стульями, и голубое платье Агнес.

В 1917 году, за два дня до Рождества, Пэдди принес домой свою неизменную еженедельную газету и новую пачку книг из библиотеки. Однако на сей раз газета оказалась поважнее книг. Ее редакция под влиянием ходких американских журналов, которые хоть и очень редко, но все же попадали и в Новую Зеландию, загорелась новой идеей: вся середина посвящена была войне. Тут были не слишком отчетливые фотографии анзаков^[2], штурмующих неприступные утесы Галлиполи, и пространные статьи, прославляющие доблестных воинов Южного полушария, и рассказы обо всех австралийцах и новозеландцах, удостоенных высокого ордена – креста Виктории за все годы, что существует этот орден, и великолепное, на целую страницу, изображение австралийского кавалериста на лихом скакуне: вскинута наотмашь сабля, сбоку широкополой шляпы развеваются шелковистые перья.

Улучив минуту, Фрэнк схватил газету и залпом все это проглотил, он упивался этой ура-патриотической декламацией, в глазах загорелся недобрый огонек. Он благоговейно положил газету на стол.

– Я тоже хочу воевать, папа!

Фиа вздрогнула, обернулась, расплескав мясной соус по всей плите, а Пэдди выпрямился в кресле, забыв про книгу.

– Ты еще слишком молод, Фрэнк, – сказал он.

– Ничего подобного, мне уже семнадцать, папа, я взрослый! Как же так, немцы и турки режут наших почем зря, а я тут сижу сложа руки? Пора уже хоть одному Клири взяться за оружие.

– Ты несовершеннолетний, Фрэнк, тебя не возьмут в армию.

– Возьмут, если ты не будешь против, – возразил Фрэнк и в упор посмотрел черными глазами на Пэдди.

– Но я очень даже против. Сейчас ты у нас один работаешь, и ты прекрасно знаешь, нам не обойтись без твоего заработка.

– Но в армии мне тоже будут платить!

Пэдди засмеялся:

– Солдатское жалованье, да? Кузнецу в Уэхайне платят куда лучше, чем солдату в Европе.

– Но там я, может быть, чего-то добыюсь, не останусь на всю жизнь кузнецом! А иначе мне не выбиться, папа!

– Чепуха! Ты не знаешь, о чем говоришь, парень. Война – страшная штука. Я родом из страны, которая воевала тысячу лет, я-то знаю, что говорю. Слыхал ты, что рассказывают ветераны бурской? Ты ведь часто ездишь в Уэхайн, так вот, в другой раз послушай их. И потом, я же вижу, для подлых англичан анзаки просто пушечное мясо, они суют нашего брата в самые опасные места, а своих драгоценных солдат берегут. Гляди, как этот вояка Черчилль зазря погнал наших на Галлиполи! Из пятидесяти тысяч десять тысяч убито! Вдвое хуже, чем расстрелять каждого десятого. И с какой стати тебе воевать за старуху Англию? Что ты видел от нее хорошего? Она только и знает сосать кровь из своих колоний. А приедешь в Англию – там все от тебя нос воротят, уроженца колоний и за человека не считают. Новой Зеландии эта война не опасна, и Австралии тоже. А если старуху Англию расколошматят, это ей только на пользу; сколько Ирландия от нее натерпелась, давно пора ей за это поплатиться. Даже если кайзер и промарширует по Стрэнду, будь уверен, я плакать не стану.

– Папа, но мне непременно надо записаться добровольцем!

– Надо или не надо, никуда ты не запишешься, Фрэнк, лучше и не думай про это. Для солдата ты ростом не вышел.

Фрэнк густо покраснел, стиснул зубы; он всегда страдал из-за своего малого роста. В школе он неизменно был меньше всех в классе и потому кидался в драку вдвое чаще любого другого мальчишки. А в последнее время его терзало страшное подозрение – вдруг он больше не вырастет? Ведь сейчас, в семнадцать, в нем те же пять футов три дюйма, что были в четырнадцать. Никто не ведал его телесных и душевных мук, не подозревал о тщетных надеждах, о бесплодных попытках при помощи труднейшей гимнастики хоть немного вытянуться.

Между тем работа в кузнице наградила его силой не по росту: старайся Пэдди нарочно выбрать для Фрэнка самое подходящее занятие при его нраве и складе, он и тогда не мог бы выбрать удачнее. Маленький, но крепкий и напористый, в свои семнадцать он в драке еще ни разу не потерпел поражения и уже прославился на весь мыс Таранаки. Даже самый сильный и рослый из здешних парней не мог его побороть, потому что в бою для Фрэнка был выход всей накипевшей злости, чувству ущемленности, недовольству судьбой, и при этом он обладал великолепными мышцами, отличной сметкой, недобрым нравом и

несгибаемой волей.

Чем крупнее и крепче оказывался противник, тем важнее было Фрэнку победить его и унижить. Сверстники обходили его стороной – кому охота связываться с таким задирой. И Фрэнк стал вызывать на бой парней постарше, вся округа толковала о том, как он сделал отбивную котлету из Джима Коллинза, хотя Джиму уже двадцать два, и росту в нем шесть футов четыре дюйма, и он вполне может поднять лошадь. Со сломанной левой рукой и помятыми ребрами Фрэнк продолжал молотить Джима, пока тот, скуля, не свалился окровавленным комом к его ногам, и пришлось удержать его силой, чтобы не пнул уже бесчувственного Джима в лицо. А едва зажила рука и сняли тугую повязку с ребер, Фрэнк отправился в город и тоже поднял лошадь – пускай все знают, что не только Джиму такое под силу и дело тут не в росте.

Пэдди знал, какая слава идет о его необыкновенном отпрыске, и прекрасно понимал, что в бою Фрэнк стремится утвердить свое достоинство, однако его сердило, когда эти драки мешали работе в кузнице. Пэдди, и сам ростом невеличка, в молодости тоже доказывал свою храбрость кулаками, но в его родном краю немало людей и пониже, а в Новую Зеландию, где народ крупнее, он приехал уже взрослым. И сознание, что он ростом не вышел, не терзало его неотступно, как Фрэнка.

И теперь Пэдди осторожно присматривался к парнишке и тщетно силился его понять; сколько ни старался он относиться ко всем детям одинаково, старший никогда не был так дорог ему, как другие. Он знал, жену это огорчает, ее тревожит вечное молчаливое противоборство между ним и Фрэнком, но даже любовь к Фионе не могла унять постоянную неодолимую досаду на Фрэнка.

Коротковатые, но хорошо вылепленные руки Фрэнка прикрыли газетный лист, в глазах, устремленных на отца, странно смешались мольба и гордость – гордость чересчур упрямая, чтобы высказать мольбу вслух. Какое чужое лицо у мальчишки! Нет в нем ничего ни от Клири, ни от Армстронгов, разве только глаза, пожалуй, походили бы на материнские, если бы и у Фионы они были черные и вот так же гневно вспыхивали из-за каждого пустяка. Чего-чего, а храбрости парнишке не занимать.

После того, что сказал Пэдди о росте Фрэнка, разговор оборвался; тушеного кролика доедали в непривычном молчании, даже Хьюги и Джек лишь вполголоса перекидывались словечком да поминутно хихикали. Мэгги вовсе ничего не ела и не сводила глаз с Фрэнка, будто боялась, что он вот-вот растворится в воздухе. Фрэнк для приличия еще немного поковырял вилкой в тарелке и спросил разрешения встать из-за стола.

Через минуту от поленницы донесся стук топора. Фрэнк яростно накинулся на неподатливые колоды, которые Пэдди добыл про запас, – это твердое дерево горит медленно и дает зимой вдоволь тепла.

Когда все думали, что она уже спит, Мэгги приотворила окно и украдкой пробралась к поленнице. Этот угол двора играл особо важную роль в жизни всего семейства; пространство примерно в тысячу квадратных футов устлано плотным слоем коры и мелких щепок, по одну сторону высятся ряды еще не разделанных бревен, по другую – мозаичная стена аккуратно уложенных ровных поленьев как раз по размеру дровяного ящика в кухне. А посередине остались невыкорчеваны три пня, на которых можно рубить дрова и чурки любой величины.

Фрэнка тут не оказалось – он орудовал над эвкалиптовым бревном, таким огромным, что его не втащить было даже на самый низкий и широкий пень. Бревно в два фута в поперечнике лежало на земле, закрепленное на концах железными костылями, а Фрэнк стоял на нем, упористо расставив ноги, и рубил поперек. Топор так и мелькал, со свистом рассекая воздух, и рукоятка, стиснутая влажными ладонями, издавала какой-то отдельный шипящий звук. Лезвие молнией вспыхивало над головой Фрэнка, блестело, опускаясь, тусклым серебром и вырубало из ствола клинья с такой легкостью, точно то был не твердый, как железо, эвкалипт, а сосна или какой-нибудь бук. Во все стороны летели щепки, голая грудь и спина Фрэнка взмокли, лоб он повязал платком, чтобы пот, стекая, не ел глаза. Такая рубка – работа опасная, чуть промажешь – и полступни долой. Фрэнк перехватил руки в запястьях ремешками, чтобы впитывали пот, но рукавиц не надел, маленькие крепкие руки держали топорище словно бы без усилия, и каждый удар был на диво искусным и метким.

Мэгги присела на корточки возле сброшенной Фрэнком рубашки и смотрела пугливо и почтительно. Поблизости лежали три запасных топора – ведь об эвкалипт лезвие тупится в два счета. Мэгги втащила один топор за рукоять на колени к себе и позавидовала Фрэнку – вот бы и ей так ловко рубить дрова! Топор тяжеленный, она его насилу подняла. У новозеландских топоров только одно острое, как бритва, лезвие, ведь обоюдоострые топоры слишком легкие, эвкалипт такими не возьмешь. А у этого тяжелый обух в дюйм шириной и топорище закреплено в его отверстии намертво вбитыми деревянными клинышками. Если топор сидит непрочо, он того и гляди соскочит в воздухе с топорища, промчится, как пушечное ядро, и еще убьет кого-нибудь.

Быстро смеркалось, и Фрэнк рубил, полагаясь, кажется, больше на

чутье; Мэгги привычно пригребала голову под летящими щепками и терпеливо ждала, пока он ее заметит. Он уже наполовину перерубил ствол, повернулся, перевел дух; снова занес топор и принялся рубить с другого бока. Он прорубал в бревне узкую глубокую щель – и для скорости, и чтоб не изводить дерево зря на щепу; ближе к сердцевине лезвие почти целиком скрывалось в щели, и крупные щепки летели чуть не напрямик на Фрэнка. Но он их будто не замечал и рубил еще быстрее. И вдруг – раз! – бревно распалось надвое, но в тот же миг, едва ли не прежде, чем топор нанес последний удар, Фрэнк взвился в воздух. Обе половины бревна сдвинулись, а Фрэнк после своего кошачьего прыжка стоял в стороне и улыбался, но невеселая это была улыбка.

Он хотел взять другой топор, обернулся и увидел сестру – она терпеливо сидела поодаль в аккуратно застегнутой сверху донизу ночной рубашке. Странно, непривычно – вместо длинных волос, перевязанных на ночь лоскутками, у нее теперь пышная шапка коротких кудряшек, но пусть бы так и осталось, подумал Фрэнк, с этой мальчишеской стрижкой ей очень славно. Он подошел к Мэгги, опустился на корточки, топор положил на колени.

– Ты как сюда попала, негодница?

– Стюарт заснул, а я вылезла в окно.

– Смотри, совсем мальчишкой станешь.

– Ну и пускай. С мальчишками играть лучше, чем одной.

– Да, наверное. – Фрэнк сел, прислонился спиной к огромному бревну, устало посмотрел на сестренку. – Что стряслось, Мэгги?

– Фрэнк, неужели ты правда уедешь?

Руками с обкусанными ногтями она обхватила его коленку и тревожно смотрела снизу вверх ему в лицо, приоткрыв рот, – она очень старалась не заплакать, но подступающие слезы уже не давали дышать носом.

– Может, и уеду, – мягко ответил брат.

– Ой, нет, Фрэнк, что ты! Нам с мамой никак нельзя без тебя! Честное слово, просто не знаю, что бы мы без тебя делали!

Как ни худо было Фрэнку, он не мог не улыбнуться – малышка сказала это в точности как мать.

– В жизни не все выходит так, как нам хочется, Мэгги, ты это запомни. Нас, Клири, всегда учили – трудитесь все вместе на общую пользу, каждый о себе думайте в последнюю очередь. А по-моему, это неправильно, надо, чтоб каждый мог сначала подумать о себе. Я хочу уехать, потому что мне уже семнадцать, пора мне строить свою жизнь по-своему. А папа говорит – нет, ты нужен семье дома. И я должен делать, как он велит, потому что мне

еще не скоро будет двадцать один.

Мэгги серьезно кивнула, пытаясь разобраться в этом объяснении.

– Так вот, Мэгги, я долго думал, ломал голову. И решил – уеду, и все. Я знаю, вам с мамой будет меня не хватать, но уже подрастает Боб, а папа и мальчики по мне скучать не станут. Папе только и нужно, чтоб я зарабатывал деньги.

– Значит, ты нас больше совсем не любишь?

Фрэнк повернулся, подхватил ее на руки, обнял, обуреваемый мучительной, жадной и горькой нежностью.

– Мэгги, Мэгги! Тебя и маму я люблю больше всех на свете! Господи, была б ты постарше, я бы с тобой о многом поговорил!.. А может, это и лучше, что ты еще кроха, может, так лучше...

Он вдруг выпустил ее и силился совладать с собой, мотал головой, ударяясь затылком о бревно, судорожно глотал, губы его дрожали. Наконец он посмотрел на сестру:

– Вот подрастешь, Мэгги, тогда ты меня поймешь.

– Пожалуйста, Фрэнк, не уезжай, – повторила она.

У него вырвался смех, больше похожий на рыдание.

– Ох, Мэгги! Неужели ты ничего не слышала, что я толковал? Ну ладно, не важно. Главное, ты никому не говори, что видела меня сегодня вечером, слышишь? Не хочу я, чтоб они думали, что ты все знала.

– Слышу, Фрэнк, я все-все слышала, – сказала Мэгги. – И я никому ничего не скажу, честное слово. Только мне так жалко, что ты уезжаешь!

Она была еще слишком мала и не умела высказать то неразумное, что билось в душе: кто же останется ей, если уйдет Фрэнк? Ведь только он один, не скрываясь, любит ее, он один иной раз обнимет ее и приласкает. Раньше и папа часто брал ее на руки, но с тех пор, как она ходит в школу, он уже не позволяет ей взбираться к нему на колени и обнимать за шею, говорит: «Ты уже большая, Мэгги». А мама всегда так занята и такая усталая, у нее столько хлопот: мальчики, хозяйство... Фрэнк – вот кто Мэгги милее всех, вот кто – как звезда на ее нешироком небосклоне. Кажется, только он один рад посидеть и поговорить с ней, и он так понятно все объясняет. С того самого дня, как Агнес лишилась волос, Фрэнк всегда был рядом, и с тех пор самые горькие горести уж не вовсе разрывали сердце. Можно было пережить и удары трости, и сестру Агату, и вшей, потому что Фрэнк умел успокоить и утешить. Но она встала и нашла в себе силы улыбнуться.

– Раз уж тебе непременно надо, Фрэнк, так уезжай, это ничего.

– А тебе пора в постель, Мэгги, пока мама тебя нехватила. Беги

скорей!

Тут у Мэгги все вылетело из головы; она наклонилась, подцепила подол ночной рубашонки, просунула его сзади наперед, будто хвостик поджала, и, придерживая так, пустилась бегом, босыми ногами прямо по колючим острым щепкам.

Утром встали – Фрэнка нет. Фиа пришла будить Мэгги мрачная, говорила отрывисто; Мэгги вскочила с постели как ошпаренная, поспешно оделась и даже не попросила застегнуть ей бесчисленные пуговицы.

В кухне мальчики уже сидели угрюмо за столом, но стул Пэдди пустовал. И стул Фрэнка тоже. Мэгги проскользнула на свое место и замерла, стуча зубами от страха. После завтрака Фиа велела им всем уходить из кухни, и тогда, уже за сараем, Боб сказал Мэгги, что случилось.

– Фрэнк сбежал, – прошептал он.

– Может, он просто поехал в Уэхайн, – ответила Мэгги.

– Да нет же, дурочка! Он ушел в армию. Эх, жалко, мне лет мало, я бы тоже с ним пошел! Вот счастливчик!

– А мне жалко, что он ушел, лучше остался бы дома.

Боб пожал плечами:

– Вот что значит девчонка, ничего ты не понимаешь!

Против обыкновения, Мэгги не вспылила, услышав такие обидные слова, и пошла в дом – может быть, она пригодится матери.

Фиа дала ей утюг, и Мэгги принялась гладить носовые платки.

– А где папа? – спросила она.

– Поехал в Уэхайн.

– Он привезет Фрэнка назад?

– Попробуйте в этом доме сохранить что-нибудь в секрете! – сердито фыркнула Фиа. – Нет, в Уэхайне ему Фрэнка уже не найти, он и не надеется. Он даст телеграмму в Уонгануи, полиции и воинскому начальству. Они отошлют Фрэнка домой.

– Ой, мама, хорошо бы они его нашли! Не хочу я, чтобы Фрэнк от нас уехал!

Фиа вывернула на стол содержимое маслобойки и стала ожесточенно лупить полужидкий желтый холмик двумя деревянными лопатками.

– Никто не хочет, чтоб Фрэнк от нас уехал. Потому папа и постарается его вернуть. – Губы ее дрогнули, она еще сильнее принялась бить по маслу. – Бедный Фрэнк, бедный, бедный Фрэнк! – вздохнула она, забыв про Мэгги. – Ну почему, почему дети должны расплачиваться за наши грехи. Бедный мой Фрэнк, такой неприкаянный...

Тут она заметила, что Мэгги перестала гладить, плотно сжала губы и

не промолвила больше ни слова.

Через три дня полиция вернула Фрэнка домой. Сопровождающий его из Уонгануи сержант сказал Падрику, что Фрэнк отчаянно сопротивлялся, когда его задержали.

– Ну и вояка же он у вас! Как увидал, что армейских про него предупредили, мигом дал деру – с крыльца да на улицу, двое солдат – за ним. Я так думаю, он и улепетнул бы, да не повезло – сразу налетел на наш патруль. Дрался как бешеный, пришлось им навалиться на него впятером, только тогда и надели наручники.

С этими словами сержант снял с Фрэнка тяжелую цепь и впихнул его в калитку; Фрэнк чуть не упал, наткнулся на Пэдди и отпрянул, как ужаленный.

Младшие дети собрались в десятке шагов позади взрослых, выглядывали из-за угла дома, ждали. Боб, Джек и Хьюги насторожились в надежде, что Фрэнк опять кинется в драку; Стюарт, кроткая душа, смотрел спокойно, сочувственно; Мэгги схватилась за щеки и сжимала и мяла их ладонями, вне себя от страха – вдруг кто-то обидит Фрэнка.

Прежде всех Фрэнк обернулся к матери, посмотрел в упор, и в его черных глазах, устремленных навстречу ее серым, было угрюмое, горькое понимание, затаенная близость, которая никогда еще, ни разу не выразилась вслух. Голубые глаза Пэдди обожгли его яростным и презрительным взглядом, ясно сказали: «Ничего другого я от тебя и не ждал», – и Фрэнк потупился, словно признавая, что гнев этот справедлив. Отныне Пэдди не удостоит сына ни словом сверх самого необходимого, чего требуют приличия. Но труднее всего Фрэнку было оказаться лицом к лицу с детьми – со стыдом, с позором вернули домой яркую птицу, так и не пришлось ей взмыть в небо, крылья подрезаны, и песнь замерла в горле.

Мэгги дождалась, пока Фиа не обошла на ночь все спальни, выскользнула в приотворенное окно и побежала на задворки. Она знала, Фрэнк забьется на сеновал, подальше от отца и от всех любопытных взглядов.

– Фрэнк, где ты, Фрэнк? – позвала она громким шепотом, пробираясь в безмолвной кромешной тьме сарая, босыми ногами чутко, точно зверек, нащупывая, куда ступить.

– Я здесь, Мэгги, – отозвался усталый голос, совсем не похожий на голос Фрэнка, угасший, безжизненный.

И она подошла туда, где он растянулся на сене, прикорнула у него под боком, обняла, насколько могла дотянуться руками.

– Ой, Фрэнк, я так рада, что ты вернулся!

Фрэнк глухо застонал, сполз пониже и уткнулся лбом ей в плечо. Мэгги прижала к себе его голову, гладила густые прямые волосы, бормотала что-то ласковое. В темноте он не мог ее видеть, от нее шло незримое тепло сочувствия, и Фрэнк не выдержал. Он зарыдал, все тело сжималось в тугий узел жгучей боли, от его слез ночная рубашка Мэгги промокла, хоть выжми. А вот Мэгги не плакала. В чем-то она, эта малышка, была уже настолько взрослая и настолько женщина, что ощутила острую неодолимую радость: она нужна! Она прижала к груди голову брата и тихонько покачивалась, будто баюкала его, пока он не выплакался и не затих, опустошенный.

II

1921–1928

Ральф

Эта дорога на Дрохеду ничуть не напоминает о днях юности, думал преподобный Ральф де Брикассар; щурясь, чтобы не так слепил глаза капот новенького «даймлера», он вел машину по ухабистым колеям проселка, ныряющего в высокой серебристой траве. Да, тут вам не милая туманная и зеленая Ирландия. А сама здешняя Дрохеда? Тоже не поле битвы и не резиденция властей предержащих. Впрочем, так ли? Живое чувство юмора, которое он, правда, уже научился обуздывать, нарисовало преподобному де Брикассару образ Мэри Карсон – Кромвеля в юбке, распространяющего на всех и вся неподражаемую величественную неблагосклонность. Кстати, не такое уж пышное сравнение: бесспорно, сия особа обладает не меньшей властью и держит в руках не меньше судеб, чем любой могущественный военачальник былых времен.

За купами самшита и эвкалипта показали последние ворота; отец Ральф остановил машину, но мотор не выключил. Нахлобучил потрепанную и выцветшую широкополую шляпу, чтобы не напекло голову, вылез, устало и нетерпеливо отодвинул железный засов и распахнул ворота. От джиленбоунской церкви до усадьбы Дрохеда двадцать семь ворот, и перед каждым надо останавливаться, вылезать из машины, отворять их, снова садиться за руль, проезжать ворота, останавливаться, снова вылезать, возвращаться, запирают ворота на засов, опять садиться за руль и ехать до следующих ворот. Сколько раз им овладевало желание махнуть рукой по крайней мере на половину этого обряда – мчаться дальше, оставляя за собой все эти ворота открытыми, точно изумленные разинутые рты; но даже его внушающий благоговейное почтение сан не помешал бы тогда владельцам ворот спустить с него шкуру. Жаль, что лошади не так быстры и неутомимы, как автомобиль, ведь открыть и закрыть ворота можно и не слезая с седла.

– Во всякой бочке меда есть своя ложка дегтя, – сказал он, похлопал

свою новенькую машину по боку и, оставив за собой накрепко запертые ворота, поехал дальше – до Главной усадьбы оставалась еще миля зеленого луга без единого деревца.

Даже на взгляд ирландца, привычный к замкам и роскошным особнякам, это австралийское жилище выглядело внушительно. Ныне покойный владелец Дрохеды, старейшего и самого богатого имения во всей округе, без памяти влюблен был в свои владения и дом отстроил им под стать. Двухэтажный, построенный в строгом георгианском стиле, дом этот сложен был из отесанных вручную плит кремового песчаника, доставленных из карьера с востока, за пятьсот миль; большие окна с узорчатым переплетом, широкая веранда на металлических опорах опоясывает весь нижний этаж. У всех окон, точно изящная рама, ставни черного дерева – и это не только украшение: в летний зной их закрывают, сохраняя в комнатах прохладу.

На дворе уже осень, и крыша веранды и стены дома обвиты просто сетью зеленой листвы, но весной эта глициния, посаженная полвека назад, когда достроен был дом, все захлестывает буйным цветением лиловых кистей. Дом окружен несколькими акрами заботливо ухоженного газона, по этой ровной зелени разбросаны аккуратные, на английский образец, куртины – и даже сейчас еще ярко цветут розы, желтофиоли, георгины и ноготки. Строй великолепных «призраков» – эвкалиптов с почти белыми стволами и узкими листьями, трепещущими на высоте добрых семидесяти футов, заслоняет дом от безжалостного солнца: их ветви, густо перевитые плетями ярко-лиловой бугенвиллеи, образовали сплошной шатер. Даже неизбежные в этом полудиком краю уродливые цистерны-водохранилища укрыты плащом выносливых местных вьюнков, ползучих роз и глициний и ухитряются выглядеть скорее не грубой необходимостью, а украшением. До безумия влюбленный в свою Дрохеду покойный Майкл Карсон наставил цистерн с избытком: по слухам, тут хватило бы воды поливать газоны и цветники, даже если бы десять лет кряду не выпало ни капли дождя.

Тому, кто подъезжал со стороны луга, прежде всего бросались в глаза сам дом и осенявшие его эвкалипты, но потом взгляд замечал по сторонам и немного позади еще одноэтажные постройки из светло-желтого песчаника, соединенные с главным зданием крытыми галереями, тоже захлестнутыми вьющейся зеленью. Здесь дорога с глубокими колеями переходила в широкую подъездную аллею, усыпанную гравием; она огибала дом сбоку – здесь открывалась круглая площадка для экипажей – и вела дальше, туда, где кипела подлинная жизнь Дрохеды: к скотным дворам, сараям, стригальне. Все эти постройки и связанные с ними работы

укрывала тень исполинских перечных деревьев – в душе отец Ральф предпочитал их бледным эвкалиптам, стражам Большого дома. Густая листва перечных деревьев, такая светлая, звенящая неумолчным жужжанием пчел, таит в себе что-то благодушно-ленивое и как нельзя лучше подходит для фермы в недрах Австралии.

Отец Ральф поставил машину и пошел к дому, а с веранды уже сияло широчайшей улыбкой ему навстречу осыпанное веснушками лицо горничной.

– Доброе утро, Минни, – сказал он.

– Доброе утречко, ваше преподобие, да как же приятно вас видеть в такой славный денек! – Выговор у нее был самый ирландский. Одной рукой она распахнула перед гостем дверь, другую заранее протянула за его потрепанной, совсем не подобающей сану шляпой.

В просторной полутемной прихожей, где пол выложен был мраморной плиткой и поблескивали медные перила широкой лестницы, отец Ральф помедлил, пока Минни не кивнула ему, давая знак пройти в гостиную.

Мэри Карсон сидела в кресле, у высокого, во все пятнадцать футов от полу до потолка, раскрытого окна и, видимо, не замечала вливающегося с улицы холода. Густые волосы ее оставались почти такими же ярко-рыжими, как в молодости; на огрубелой веснушчатой коже проступили еще и коричневые пятна – печать старости, но морщин для шестидесяти пяти лет было немного – так, легкая тонкая сетка, словно на пуховом стеганом одеяле. Неукротимый нрав этой женщины угадывался разве только по глубоким резким складкам, идущим от крыльев прямого римского носа к углам рта, да по холодному взгляду бледно-голубых глаз.

Отец Ральф прошел по дорожному французскому ковру и молча поцеловал руки хозяйки; при своем высоком росте и непринужденности движений он это проделал с большим изяществом, да еще строгая черная сутана придавала всему его облику особую изысканность. Невыразительные глаза Мэри Карсон вдруг блеснули смущением, она едва сдержала жеманную улыбку.

– Выпьете чаю, отец Ральф?

– Это зависит от того, хотите ли вы прослушать мессу, – сказал он, сел напротив нее, закинул ногу на ногу, так что под сутаной стали видны брюки для верховой езды и сапоги до колен; в этих краях приходскому священнику иначе одеваться трудно. – Я приехал исповедать вас и причастить, но, если хотите прослушать мессу, через несколько минут буду готов начать. Я вполне могу попоститься еще немного.

– Вы чересчур добры ко мне, святой отец, – самодовольно заявила

Мэри Карсон, превосходно понимая, что и он, как все прочие, относится столь почтительно не к ней самой, но к ее деньгам. – Пожалуйста, выпейте чаю, – продолжала она. – С меня вполне достаточно исповедоваться и получить отпущение грехов.

На лице его не выразилось ни тени досады – здешний приход был отличной школой самообладания. Раз уж замаячил случай подняться из ничтожества, в какое он впал из-за своего слишком пылкого нрава, больше он такой ошибки не совершит. И если тонко повести игру, быть может, эта старуха и есть ответ на его молитвы.

– Должна признаться вам, святой отец, что я очень довольна минувшим годом, – сказала она. – Вы куда более подходящий пастырь, чем был покойный отец Келли, да сгноит Господь его душу. – При последних словах в ее голосе вдруг прорвалась мстительная свирепость.

Отец Ральф вскинул на нее весело блеснувшие глаза.

– Дорогая миссис Карсон! Вы высказываете не слишком христианские чувства!

– Зато говорю правду. Старик был отъявленный пропойца, и я уверена, Господь Бог сгноит его душу, как выпивка сгноила его тело. – Она наклонилась к священнику. – За этот год я неплохо вас узнала, и, надо думать, я вправе задать вам несколько вопросов, как вы полагаете? В конце концов, вам тут, в Дрохеде, живется привольно: изучаете скотоводство, совершенствуетесь в верховой езде, избежали неустроенной жизни в Джилли. Разумеется, я сама вас пригласила, но, надо думать, я вправе и получить кое-какие ответы, как вы полагаете?

Не так-то приятно услышать это напоминание – сколь многим он ей обязан, но он давно ждал часа, когда она сочтет, что он уже достаточно в ее власти, и начнет предъявлять какие-то требования.

– Конечно, это ваше право, миссис Карсон. Я вам бесконечно благодарен за доступ в Дрохеду и за все ваши подарки: за лошадей, за машину.

– Сколько вам лет? – спросила она без перехода.

– Двадцать восемь.

– Еще меньше, чем я думала. И все равно таких священников, как вы, обычно не засылают в дыру вроде Джилли. Чем же вы провинились, что вас сослали в такое захолустье?

– Я оскорбил епископа, – спокойно, с улыбкой ответил он.

– И видно, не на шутку! Однако, думаю, пастырю с вашими талантами мало радости застрять в таком вот Джилленбоуне.

– На то Божья воля.

– Вздор и чепуха! Вас привели сюда вполне человеческие слабости – и ваши, и епископа. Один только папа римский непогрешим. В Джилли вам совсем не место, все мы, здешние, это понимаем, хотя, конечно, приятно для разнообразия получить такого духовного отца, обычно к нам шлют неудачников без гроша за душой, кому смолodu была одна дорога – в священники. А вам самое место где-нибудь в высших церковных сферах, а вовсе не тут, с лошадьми да овцами. Вам очень к лицу была бы красная кардинальская сутана.

– Боюсь, на это надежды нет. Думаю, архиепископ, наместник папы римского, не часто вспоминает о столь отдаленном приходе и едва ли станет искать здесь достойных кардиналов. Но могло быть и хуже. Здесь у меня есть вы и есть Дрохеда.

Она приняла эту откровенную лесть именно так, как он и рассчитывал: приятно, что он так хорош собой, так внимателен, так умен и остроумен; да, право, из него вышел бы великолепный кардинал. Сколько она себя помнит, никогда не встречала такого красавца – и притом чтобы так своеобразно относился к своей красоте. Конечно же, он не может не знать, до чего хорош: высок, безупречно сложен, тонкое аристократическое лицо, во всем облике удивительная гармония и законченность – далеко не все свои создания Господь Бог одаряет столь щедро. Весь он, от волнистых черных кудрей и изумительных синих глаз до маленьких изящных рук и ступней, поистине совершенство. Не может быть, чтобы он этого не сознавал. И однако есть в нем какая-то отрешенность, как-то он дает почувствовать, что не был и не станет рабом своей наружности. Без зазрения совести воспользуется ею, если надо, если это поможет достичь какой-то цели, но ничуть при этом не любуясь собой, скорее – так, словно людей, способных поддаться подобным чарам, даже презирать не стоит. Да, Мэри Карсон дорого бы дала, лишь бы узнать, что же в прошлом Ральфа де Брикассара сделало его таким.

Любопытно, очень многие священнослужители прекрасны, как Адонис, и влекут к себе женщин неодолимо, как Дон Жуан. Быть может, они потому и дают обет безбрачия, что боятся – не довело бы до беды такое обаяние?

– Чего ради вы терпите Джиленбоун? – спросила она. – Не лучше ли отказаться от сана, чем пойти на такое? При ваших талантах вы достигли бы и богатства, и власти на любом поприще, и не уверяйте меня, что вас не привлекает хотя бы власть.

Он приподнял левую бровь.

– Дорогая миссис Карсон, вы ведь католичка. Вам известно – обет мой

нерушим. Священником я останусь до самой смерти. Я не могу изменить обету.

Она презрительно фыркнула:

– Да ну, бросьте! Неужели вы и впрямь верите, что, если откажетесь от сана, вас поразят громы небесные или кто-то станет преследовать с собаками и ружьями?

– Конечно, нет. И точно так же я не верю, что вы столь неумны, чтобы вообразить, будто в лоне святой церкви меня удерживает страх перед возмездием.

– Ого! У вас злой язык, отец де Брикассар! Так что же тогда вас связывает? Чего ради вы готовы сносить здешнюю пыль, жару и мух? Почему вы знаете, может быть, ваша каторга в Джилли – пожизненная.

На миг синие глаза его омрачились, но он улыбнулся и посмотрел на собеседницу с жалостью.

– А вы великая утешительница! – Он поднял глаза к потолку, вздохнул. – Меня с колыбели готовили к священному служению, но это далеко не все. Как объяснить это женщине? Я – сосуд, миссис Карсон, и в иные часы я полон Богом. Будь я лучшим слугою церкви, я никогда не бывал бы пуст. И эта полнота, единение с Богом не зависят от того, где я нахожусь. Они даются мне, все равно, в Джиленбоуне ли я или во дворце епископа. Но определить это чувство словами трудно, ибо даже для священнослужителей оно великая тайна. Божественный дар, мало кому его дано изведать. Вот, пожалуй, так. Расстаться с ним? Этого бы я не мог.

– Значит, и это власть, так? Но почему она дается именно священникам? По-вашему, человек обретает ее только оттого, что во время длиннейшей утомительнейшей церемонии его мазнут елеем? Да с чего вы это вообразили?

Он покачал головой.

– Послушайте, ведь посвящению в духовный сан предшествуют многие годы. Тщательно готовишь дух свой, чтобы он мог стать сосудом Господним. Благодать надо заслужить! И это труд ежедневный, ежечасный. В этом и есть смысл священнического обета, неужели вы не понимаете? Дабы ничто земное не могло стать между служителем церкви и состоянием его духа – ни любовь к женщине, ни любовь к деньгам, ни нежелание смиряться перед другими людьми. Бедность для меня не внове – я родом из небогатой семьи. Сохранять целомудрие мне ничуть не трудно. А смирение? Для меня это из трех задач самая трудная. Но я смиряюсь, ибо, если поставлю самого себя выше своего долга быть сосудом Господним, я погиб. Я смиряюсь. И если надо, я готов терпеть Джиленбоун до конца

дней моих.

– Тогда вы болван, – сказала она. – Я тоже считаю, что есть вещи поважнее любовниц, но роль сосуда Божьего не из их числа. Странно. Никогда не думала, что вы так пылко веруете. Мне казалось, вам не чужды сомнения.

– Они мне и не чужды. Какой мыслящий человек не знает сомнений? Оттого-то подчас я и ощущаю пустоту. – Он смотрел поверх ее головы, на что-то ее взгляду недоступное. – Знаете ли вы, что я отказался бы от всех своих желаний, от всех честолюбивых помыслов, лишь бы стать воистину совершенным пастырем?

– Совершенство в чем бы то ни было – скука смертная! – сказала Мэри Карсон. – Что до меня, я предпочитаю толику несовершенства.

Он засмеялся, посмотрел на нее с восхищением и не без зависти. Да, что и говорить, Мэри Карсон – женщина незаурядная!

Тридцать три года назад она осталась вдовой, единственный ее ребенок, сын, умер в младенчестве. Из-за особого своего положения в джиленбоунском обществе она не удостоила согласиём даже самых честолюбивых претендентов на ее руку и сердце; ведь как вдова Майкла Карсона она была, бесспорно, королевой здешних мест. Выйди же она за кого-то замуж, пришлось бы передать ему право на все свои владения. Нет, играть в жизни вторую скрипку – это не для Мэри Карсон. И она отреклась от радостей плоти, предпочитая оставаться самовластной владычицей; о том, чтобы завести любовника, нечего было и думать – сплетни распространялись в Джиленбоуне, как электрический ток по проводам. А она отнюдь не жаждала показать, что не чужда человеческих слабостей.

Но теперь она достаточно стара, принято считать, что это возраст, когда плотские побуждения остались в прошлом. Если новый молодой священник старательно исполняет долг ее духовного отца и она вознаграждает его усердие маленькими подарками вроде автомобиля, тут нет ничего неприличного. Всю свою жизнь Мэри Карсон была неколебимой опорой католической церкви, надлежащим образом поддерживала свой приход и его пастыря духовного даже тогда, когда отец Келли перемежал чтение молитв во время службы пьяной икотой. Она не единственная благоволит к преемнику отца Келли: отец Ральф де Брикассар заслужил признание всей паствы, богачи и бедняки тут оказались единодушны. Если прихожане с далеких окраин не могут приехать к нему в Джилли, он сам их навещает, и пока Мэри Карсон не подарила ему автомобиль, пускался в путь верхом. За его терпение и доброту все питают к нему приязнь, а иные искренне полюбили; Мартин Кинг из Бугелы, не

скупясь, заново обставил церковный дом, Доминик О'Рок из Диббен-Диббена оплачивает отличную экономку.

Итак, вознесенная на пьедестал своего возраста и положения, Мэри Карсон без опаски наслаждается обществом отца Ральфа; приятно состязаться в остроумии с противником столь же тонкого ума, приятно превзойти его в проницательности – ведь на самом-то деле никогда нет уверенности, что она и вправду его превосходит.

– Да, так вот, вы говорили, наместник папы, наверное, не часто вспоминает о столь отдаленном приходе, – сказала она, поглубже усаживаясь в кресле. – А как по-вашему, что могло бы поразить сего святого мужа настолько, чтобы он сделал Джилли осью своей деятельности?

Отец Ральф невесело усмехнулся:

– Право, не знаю. Что-нибудь необычайное? Внезапное спасение тысячи душ разом, внезапно открывшийся дар исцелять хромых и слепых... Но время чудес миновало.

– Ну, бросьте, в этом я сильно сомневаюсь. Просто Господь Бог переменил тактику. В наши дни он пускает в ход деньги.

– Вы циничная женщина! Может быть, поэтому вы мне так нравитесь, миссис Карсон.

– Меня зовут Мэри. Пожалуйста, зовите меня просто Мэри.

И горничная Минни вкатила в комнату чайный столик в ту самую минуту, как отец де Брикассар произнес:

– Благодарю вас, Мэри.

Над горячими лепешками и поджаренным хлебом с анчоусами Мэри Карсон вздохнула:

– Я хочу, чтобы сегодня вы молились за меня с удвоенным усердием, дорогой отец Ральф.

– Зовите меня просто Ральф, – сказал он и продолжал не без лукавства: – Право, не знаю, можно ли молиться за вас еще усерднее, чем я молюсь обычно, но – попытаюсь.

– О, вы прелесть! Или это злой намек? Вообще-то я не люблю откровенной лести, но с вами никогда не знаешь, пожалуй, в этой откровенности кроется смысл более глубокий. Некая приманка, клоч сена перед носом у осла. В сущности, что вы обо мне думаете, отец де Брикассар? Этого я никогда не узнаю, у вас никогда не хватит бестактности сказать мне правду, не так ли? Прелестно, очаровательно... Однако молиться обо мне вы обязаны. Я стара и грешила много.

– Все мы не становимся моложе, и я тоже грешен.

У нее вырвался короткий смешок.

– Дорого бы я дала, чтобы узнать ваши грехи! Да-да, можете поверить! – Она помолчала минуту, потом круто переменяла тему. – Я осталась без старшего овчара.

– Опять?

– За минувший год сменилось пятеро. Все труднее найти порядочного работника.

– Ну, по слухам, вы не слишком заботливая и щедрая хозяйка.

– Какая дерзость! – ахнула она и засмеялась. – А кто купил вам новехонький «даймлер», чтобы избавить вас от поездок верхом?

– Да, но ведь как усердно я молюсь за спасение вашей души!

– Будь у Майкла хоть половина вашего ума и твердости, наверное, я бы его любила, – вдруг сказала Мэри Карсон. Лицо ее стало злым и презрительным. – Вы что же думаете, у меня нет никого родных и я должна оставить свои деньги и свою землю святой церкви, так, что ли?

– Понятия не имею, – спокойно отозвался Ральф и налил себе еще чаю.

– Имейте в виду, у меня есть брат, счастливый папаша множества сыновей.

– Очень рад за вас, – пресерьезно заявил священник.

– Когда я выходила замуж, у меня не было ни гроша. И я знала, что в Ирландии мне замужеством ничего не поправить: там, чтобы подцепить богатого мужа, нужны хорошее воспитание, происхождение и связи. И я работала как каторжная, копила на билет в страну, где состоятельные люди не столь разборчивы. Когда я приехала сюда, у меня только и было что лицо да фигура да побольше ума, чем принято ждать от женщины, и этого хватило, чтобы поймать богатого дурня Майкла Карсона. Он обожал меня до самой своей смерти.

– А что же ваш брат? – подсказал отец Ральф, думая, что она забыла, с чего начала.

– Брат на одиннадцать лет моложе меня, стало быть, сейчас ему пятьдесят четыре. Нас осталось в живых только двое. Я его почти не знаю; когда я уехала из Голуэя, он был еще маленький. Теперь он живет в Новой Зеландии, но если перебрался туда, чтобы разбогатеть, это ему не удалось. А вот вчера вечером, когда с фермы пришел скотник и сказал, что Артур Тевьет собрал свои пожитки и дал тягу, я вдруг подумала о Падрике. Я тут старею, рядом ни души родной. А ведь у Пэдди опыт, на земле он работать умеет, а своей земли нет и купить не на что. Вот я и подумала, почему бы не написать ему – пускай приезжает и сыновей привезет. После моей смерти ему останутся и Дрохеда, и «Мичар лимитед», и ведь он

единственный ближе мне по крови, чем какие-то там родичи в Ирландии, седьмая вода на киселе, я их даже и не знаю. – Она улыбнулась. – Ждать глупо, правда? С таким же успехом он может приехать сюда прямо теперь, пускай привыкает разводить овец на наших черноземных равнинах, у нас ведь не Новая Зеландия, все по-другому. И тогда после моей смерти он будет чувствовать себя вполне спокойно в роли хозяина.

Она опустила голову и исподлобья зорко всматривалась в священника.

– Странно, почему вы не подумали об этом раньше, – сказал он.

– А я думала. Но до недавнего времени мне вовсе не хотелось, чтобы стая стервятников только и дожидалась, когда я наконец помру. А теперь, похоже, мой смертный час приближается, и у меня такое чувство... ну, не знаю. Может быть, приятно, когда вокруг не чужие, а кровная родня.

– А что случилось, вам кажется, вы серьезно больны? – быстро спросил отец Ральф, и в глазах его была неподдельная тревога.

Мэри Карсон пожала плечами:

– Я совершенно здорова. Но когда уже стукнуло шестьдесят пять, в этом есть что-то зловещее. Вдруг понимаешь: старость – это не что-то такое, что может с тобой случиться, – оно уже случилось.

– Да, понимаю, вы правы. Вам утешительно будет слышать в доме молодые голоса.

– Ну нет, жить они здесь не будут, – возразила она. – Пускай поселятся в доме старшего овчара у реки, подальше от меня. Я вовсе не в восторге от детей и от детского крика.

– А вам не совестно так обращаться с единственным братом, Мэри, хоть он и много моложе вас?

– Он унаследует все мое состояние – пускай сначала потрудится, – отрезала Мэри Карсон.

За неделю до того, как Мэгги исполнилось девять, Фиона Клири родила еще одного сына, но перед этим, как она считала, ей везло: несколько лет детей не прибавлялось, только и случились два выкидыша. В девять лет Мэгги стала уже настоящей помощницей. А Фионе минуло сорок – возраст немалый, носить и рожать уже не под силу. И мальчик, Хэролд, родился слабеньким; впервые на памяти семьи в дом зачастил доктор.

И, как водится, пошла беда за бедой. После войны в сельском хозяйстве вместо расцвета настал упадок. Все труднее становилось найти работу.

Однажды вечером, когда кончили ужинать, старик Энгус Мак-Уэртер

доставил в дом Клири телеграмму, и Пэдди вскрыл ее дрожащими руками: телеграммы добрых вестей не приносят. Мальчики стеснились вокруг, только Фрэнк взял чашку чаю и вышел из-за стола. Фиа проводила его глазами и обернулась, услышав, как охнул Пэдди.

– Что случилось? – спросила она.

Пэдди смотрел на листок бумаги такими глазами, словно тот возвещал чью-то смерть.

– Это от Арчибальда, мы ему не нужны.

Боб яростно грохнул кулаком по столу: он давно мечтал пойти с отцом работать помощником стригаля и начать должен был на ферме Арчибальда.

– Почему он так подло нас подвел, папа? Нам же завтра надо было приступить!

– Он не пишет почему, Боб. Наверное, какой-нибудь гад нанялся за меньшую плату и перебежал мне дорогу.

– Ох, Пэдди, – вздохнула Фиа.

В колыбели у очага заплакал маленький Хэл, но Фиа еще и шевельнуться не успела, а Мэгги уже очутилась около него; вернулся Фрэнк, стал на пороге с чашкой в руке и не сводил глаз с отца.

– Что ж, видно, придется мне съездить потолковать с Арчибальдом, – сказал наконец Пэдди. – Теперь уже поздно искать другое место, но пускай объяснит толком, почему он меня подвел. Будем надеяться, что пока нас хоть на дойку где-нибудь возьмут, а в июле начнется стрижка у Уиллоуби.

Из груды белья, что лежало для тепла рядом с печкой, Мэгги вытащила пеленку, аккуратно разостлала на рабочем столе, вынула из плетеной колыбели плачущего младенца. На голове у него золотился яркий, под стать всем Клири, редкий пушок; Мэгги проворно и ловко, не хуже матери, перепеленала братишку.

– Мамочка Мэгги, – поддразнил Фрэнк.

– Ничего подобного! – сердито отозвалась она. – Просто я помогаю маме.

– Я знаю, – мягко сказал Фрэнк. – Ты у нас умница, малышка Мэгги.

Он подергал бант из белой тафты у нее на затылке и свернул его на сторону.

Мэгги вскинула серые глазищи, посмотрела на Фрэнка с обожанием. Над мотающейся головкой младенца лицо ее казалось почти взрослым. У Фрэнка защемило сердце – ну почему на нее это свалилось, она сама еще ребенок, ей бы нянчиться только с куклой, но та теперь забыта, сослана в спальню. Если бы не Мэгги и не мать, Фрэнк бы давным-давно ушел из дому. Он угрюмо посмотрел на отца – вот кто виноват, что в семье

появилось еще одно живое существо и все перевернуто вверх дном. Теперь отца не взяли на ферму, где он всегда стриг овец, и поделом.

Почему-то ни другие мальчики, ни даже Мэгги не вызывали у него таких мыслей, как Хэл; но на этот раз, когда талия матери начала округляться, Фрэнк был уже достаточно взрослый, мог бы уже и сам жениться и стать отцом семейства. Все, кроме малышки Мэгги, чувствовали себя неловко, а мать – особенно. Мальчики исподтишка ее оглядывали, и она пугливо съеживалась, и пристыженно отводила глаза, и не могла выдержать взгляд Фрэнка. Ни одна женщина не должна бы переживать такое, в тысячный раз говорил себе Фрэнк, вспоминая, какие душераздирающие стоны и вопли доносились из спальни матери в ночь, когда родился Хэл; Фрэнка, уже взрослого, не отправили тогда к соседям, как остальных. А теперь отец потерял работу, получил от ворот поворот, так ему и надо. Порядочный человек уже оставил бы жену в покое.

Мать смотрела через весь длинный стол на Пэдди, при свете недавно проведенного электричества ее волосы были точно золотая пряжа, правильный профиль такой красоты – не сказать словами. Как же это случилось, что она, такая прелестная, такая утонченная, вышла за бродягу, стригаля-сезонника родом с болот Голуэя? И пропадает она тут понапрасну, как и ее сервиз тонкого фарфора, и красивые полотняные скатерти, и персидские ковры в гостиной, никто ничего этого не видит, потому что жены таких, как Пэдди, ее чуждаются. При ней им неловко, они вдруг замечают, что слишком крикливы, неотесанны и не знают, как обращаться со столовым прибором, если в нем больше одной вилки.

Иногда в воскресенье мать одиноко садилась в гостиной за маленький клавесин у окна и играла, хотя за недосугом, без практики, пальцы ее давно утратили беглость и она справлялась теперь лишь с самыми простыми пьесками. В такие часы Фрэнк прятался под окном, среди сирени и лилий, закрывал глаза и слушал. И тогда ему виделось: мать в длинном пышном платье из нежнейших бледно-розовых кружев сидит за клавесином в огромной комнате цвета слоновой кости, озаренная сиянием свеч в великолепных канделябрах. От этого видения ему хотелось плакать, но теперь он уже никогда не плачет – с того памятного вечера в сарае, с тех пор, как полиция вернула его домой.

Мэгги опять уложила Хэла в колыбель и отошла к матери. Вот и эта пропадает понапрасну. Тот же гордый тонкий профиль; и в руках, и в совсем еще детской фигурке тоже что-то от матери. Когда вырастет, она будет вылитая мать. А кто тут на ней женится? Тоже какой-нибудь ирландец-стригаль или тупой мужлан с молочной фермы под Уэхайном?

Она достойна лучшей участи, но рождена не для лучшего. Выхода никакого нет, так все говорят, и с каждым годом все непоправимее убеждаешься, что это правда.

Внезапно ощутив на себе его взгляд, и Фиа, и Мэгги обернулись, одарили его несказанно нежными улыбками – так улыбаются женщины только самым дорогим и любимым. Фрэнк поставил чашку на стол и вышел за дверь кормить собак. Если бы он мог заплакать или убить кого-нибудь! Что угодно, лишь бы избавиться от этой боли!

Через три дня после того, как Пэдди потерял работу у Арчибальда, пришло письмо от Мэри Карсон. Он прочел его тут же на почте в Уэхайне, как только получил, и вернулся домой вприпрыжку, точно маленький.

– Мы едем в Австралию! – заорал он и помахал перед ошарашенным семейством дорогой веленовой бумагой.

Тишина, все глаза прикованы к Пэдди. Во взгляде Фионы испуг, и во взгляде Мэгги тоже, но глаза мальчиков радостно вспыхнули, а у Фрэнка горят как уголья.

– Пэдди, но почему она вдруг вспомнила о тебе после стольких лет? – спросила Фиа, прочитав письмо. – Она ведь не со вчерашнего дня богата и одинока. И я не припомню, чтобы она хоть раз предложила помочь нам.

– Похоже, ей стало страшно помереть в одиночестве, – сказал Пэдди, пытаясь успокоить не только жену, но и себя. – Ты же видишь, что она пишет: «Я уже не молода, ты и твои сыновья – мои наследники. Я думаю, нам следует увидеться, пока я жива, и тебе пора научиться управлять своим наследством. Я намерена сделать тебя старшим овчаром, это будет отличная практика, и твои старшие сыновья тоже могут работать овчарами. Дрохеда станет семейным предприятием, можно будет обойтись без посторонних».

– А она не пишет, пришлет она нам денег на дорогу? – спросила Фиа.

Пэдди выпрямился. Сказал как отрезал:

– И не подумаю у нее кланчить! Доберемся до Австралии на свои деньги; у меня кое-что отложено, хватит.

– А по-моему, ей следовало бы оплатить наш переезд, – упрямо повторила Фиа, к общему изумлению и растерянности: не часто ей случалось перечить мужу. – С какой стати ты все здесь бросишь и поедешь работать на нее только потому, что она тебе что-то пообещала в письме? Она прежде ни разу и пальцем не шевельнула, чтобы нам помочь, и я ей не доверяю. Я только помню: ты всегда говорил, что другой такой скряги свет не видал. В конце концов, Пэдди, ты ведь ее почти не знаешь; ты гораздо

моложе ее, и она уехала в Австралию, когда ты даже еще в школу не ходил.

– По-моему, сейчас это все уже не важно, а если она скуповата, что ж, тем больше останется нам в наследство. Нет, Фиа, мы едем в Австралию и за дорогу заплатим сами.

Фиа больше не спорила. И по лицу ее нельзя было понять, рассердило ли ее, что муж поставил на своем.

– Ура, мы едем в Австралию! – крикнул Боб и ухватил отца за плечи. Джек, Хьюги и Стюарт прыгали от восторга, а Фрэнк улыбался, заглядевшись на что-то далеко за стенами этой комнаты, видное лишь ему одному. Только Фионой и Мэгги овладели сомнения и страх, и они мучительно надеялись, что, может быть, эта затея еще сорвется, ведь им в Австралии легче не станет – их ждут те же заботы и хлопоты, только все вокруг будет чужое, непривычное.

– Джиленбоун – это где? – спросил Стюарт.

Вытащили старый географический атлас; хотя семья и жила в постоянной нужде, но на кухне позади обеденного стола имелось несколько полок с книгами. Мальчики впились в пожелтевшие от времени листы и наконец отыскали Новый Южный Уэльс. Привыкшие к малым новозеландским расстояниям, они не догадались свериться с масштабом, указанным в левом нижнем углу карты. И, само собой, решили, что Новый Южный Уэльс не больше Северного острова Новой Зеландии. А в левом верхнем углу карты отыскался и Джиленбоун – пожалуй, не дальше от Сиднея, чем Уонгануи от Окленда, хотя кружки и точки – города – встречались гораздо реже, чем на карте Северного острова.

– Это очень старый атлас, – сказал Пэдди. – Австралия вроде Америки, она растет не постепенно, а скачками. Теперь там наверняка стало больше городов.

На пароходе придется ехать четвертым классом, но не беда, ведь это всего три дня. Не то что долгие недели, когда перебираешься из Англии в другое полушарие. С собой можно будет взять только одежду, посуду, постельное белье, кухонную утварь да вот эту драгоценность – книги; мебель придется продать, иначе не хватит денег перевезти скромную обстановку Фиониной гостиной – ее клавесин, ковры, стулья.

– Я не допущу, чтобы ты от всего этого отказалась, – решительно заявил жене Пэдди.

– Но разве такой расход нам по карману?

– Безусловно. А что до остальной мебели, Мэри пишет, для нас приготовят дом прежнего старшего овчара и там есть все, что нам может понадобится. Я рад, что нам не придется жить с ней под одной крышей.

– Я тоже, – сказала Фиа.

Пэдди поехал в Уонгануи и взял билеты в восьмиместную каюту четвертого класса на «Уэхайне»; странно, пароход назывался так же, как ближайший к ним город. Отплывал он в конце августа, и уже с начала месяца все стали понимать, что великое событие и вправду состоится. Надо было отдать собак, продать лошадей и двуколку, мебель погрузить на подводу старика Энгуса Мак-Уэртера и отправить в Уонгануи на распродажу, а немногие вещи из приданого Фионы упаковать заодно с посудой, бельем, книгами и кухонной утварью.

Фрэнк застал мать возле прелестного старинного клавесина – она поглаживала чуть розоватое, в тонких прожилках, дерево и задумчиво смотрела на следы позолоты, оставляющей пыльцу на кончиках пальцев.

– У тебя всегда был этот клавесин, мам? – спросил Фрэнк.

– Да. Мои собственные вещи у меня не могли отнять, когда я выходила замуж. Этот клавесин, персидские ковры, кушетку и стулья в стиле Людовика Пятнадцатого, письменный столик эпохи регентства. Не так уж много, но все это было мое по праву.

Печальные серые глаза ее смотрели мимо Фрэнка на стену, на маслом писанный портрет – от времени краски немного поблекли, но еще хорошо можно было разглядеть золотоволосую женщину в пышном наряде из нежных бледно-розовых кружев – в кринолине и несметных оборках.

Фрэнк обернулся и тоже посмотрел на портрет.

– Кто она такая? – с любопытством спросил он. – Я давно хотел спросить.

– Одна знатная дама.

– Наверное, она тебе родня. Немножко на тебя похожа.

– Мы в родстве? – Фиа оторвалась от созерцания портрета и насмешливо посмотрела на сына. – Неужели по мне похоже, что у меня могла быть такая родственница?

– Да.

– Опомнись, у тебя каша в голове.

– Ты бы рассказала мне все как есть, мам.

Фиа вздохнула, закрыла клавесин, стряхнула с пальцев золотую пыльцу.

– Тут нечего рассказывать, совершенно нечего. Помоги-ка мне выдвинуть эти вещи на середину комнаты, папа их запакует.

Переезд оказался сущим мучением. Еще прежде чем «Уэхайн» вышел из Веллингтонской гавани, семью одолела морская болезнь и не отпускала

до конца, пока не остались позади тысяча двести миль штормового зимнего моря. Пэдди вывел сыновей на палубу и держал их тут, хоть и хлестал ветер и поминутно обдавало пеной, и лишь когда какая-нибудь добрая душа вызывалась присмотреть за его несчастными, измученными рвотой мальчишками, спускался в каюту провести жену с дочерью и малыша. Фрэнк тоже томился по глотку свежего воздуха, но все же оставался при матери и Мэгги. В тесной душной каюте воняло нефтью, она помещалась ниже ватерлинии, близко к носу, и качка была жестокая.

После первых же часов плавания Фрэнк и Мэгги решили, что мать умирает; врач, вызванный из первого класса встревоженным стюардом, мрачно покачал головой.

– Хорошо еще, что переезд не длинный, – сказал он и велел сестре милосердия принести молока для младенца.

Между приступами морской болезни Фрэнк и Мэгги ухитрились поить Хэла из бутылочки (хотя он упрямился и не брал соску). Фиону больше не выворачивало, она лежала, как мертвая, и они не могли привести ее в чувство. Стюард помог Фрэнку уложить ее на верхнюю койку, где дышалось немного легче, и, прижимая ко рту полотенце, потому что его и самого понемножку рвало желчью, Фрэнк примостился рядом на краю койки и отводил со лба матери спутанные золотистые волосы. Как ни худо ему было, он часами оставался на посту; и всякий раз Пэдди заставлял в каюте ту же картину: Фрэнк сидит около матери и гладит ее по волосам, а Мэгги, с полотенцем у рта, скорчилась на нижней койке возле Хэла.

Через три часа после стоянки в Сиднее море утихло, и старый пароход обволокло туманом, который подкрался по зеркальной глади с далекой Антарктики. Опять и опять выла сирена – и Мэгги, немного пришедшей в себя, чудилось, что теперь, когда жестокие удары в борта прекратились, старая посудина вопит от боли. «Уэхайн» еле-еле, крадучись, двигался в липкой серой мгле, точно преследуемый зверь, и опять откуда-то сверху доносился хриплый, на одной ноте, вопль – одинокий, безнадежный, бесконечно унылый. А потом все вокруг заполнилось такими же горестными воплями, и по курящейся призрачными свитками тумана воде они скользнули в гавань. На всю жизнь запомнила Мэгги эти голоса гудков в тумане, которыми встретила ее Австралия.

Пэдди снес жену с парохода на руках, за ним шли Фрэнк с малышом, Мэгги с чемоданом, и каждый мальчик, устало спотыкаясь, тащил какую-нибудь поклажу. В Пирмонт – название, которое ничего им не говорило, – они прибыли туманным зимним утром, кончался август 1921 года. За огромным железным навесом пристани ждала нескончаемая вереница

такси; Мэгги изумленно раскрыла глаза, никогда еще она не видела такого множества автомобилей сразу. Пэдди кое-как втиснул все семейство в одну машину, шофер которой вызвался отвезти их в Народный дворец.

– Место для тебя в самый раз, приятель, – пояснил он. – Вроде гостиницы для рабочего человека, а хозяйки там из Армии спасения.

Улицы кишели автомобилями, мчащимися, кажется, сразу во все стороны; лошадей почти не было видно. Из окон такси ребята Клири восторженно смотрели на высоченные кирпичные дома, на узкие извилистые улицы, их поражало, как быстро собирались и вновь рассеивались толпы, будто исполняя некий странный городской обряд. Веллингтон внушил им почтение, но перед Сиднеем и Веллингтон казался просто захолустным городишкой.

Пока Фиона отдыхала в одной из бесчисленных ячеек огромного улья – дома Армии спасения, любовно именуемого Народным дворцом, Пэдди собрался на Центральный вокзал узнать, когда будет поезд до Джиленбоуна. Мальчики уже совсем пришли в себя и запросились с ним: они прослышали, что это не очень далеко и по дороге полно магазинов, в том числе лавка, где торгуют засахаренным морским луком. Пэдди уступил, завидуя их мальчишеской прыти, сам он после трех дней морской болезни еще не очень уверенно держался на ногах. Фрэнк и Мэгги остались возле Фионы и малыша, им тоже очень хотелось пойти, но куда важнее им было, чтобы полегчало матери. Впрочем, на твердой земле силы быстро к ней возвращались, она выпила чашку бульона, принесенного ангелом-хранителем в чепце, и даже пощипала ломтик поджаренного хлеба. И тут вернулся Пэдди.

– Если мы не поедем сегодня, Фиа, следующего прямого поезда ждать целую неделю, – сказал он. – Как скажешь, под силу тебе двинуться нынче же вечером?

Фиа, вздрагивая, села.

– Ничего, как-нибудь справлюсь.

– По-моему, надо подождать, – смело вмешался Фрэнк. – Мама еще, по-моему, очень слаба для дороги.

– Ты, видно, не понимаешь, Фрэнк, если мы упустим нынешний поезд, придется целую неделю жить тут, в Сиднее, нет у меня на это денег. Австралия – страна большая, туда, куда нам надо, поезда не каждый день ходят. Завтра есть три поезда на Даббо, но там надо будет ждать местного, и мне сказали, мы так больше намучаемся, лучше уж поднатужиться и поехать нынче прямым.

– Я справлюсь, Пэдди, – повторила Фиа. – При мне Фрэнк и Мэгги,

ничего со мной не случится.

Взглядом она умоляла Фрэнка молчать.

– Тогда я сейчас отправлю телеграмму, чтоб Мэри ждала нас завтра вечером.

Центральный вокзал был громаден, в такое здание им попадать еще не случалось – исполинский стеклянный цилиндр словно бы и отзывался эхом, и в то же время поглощал шум и голоса тысяч людей, что ждали подле своих потрепанных, перехваченных ремнями или веревками чемоданов, не сводя глаз с большой доски-указателя, на которой служащие при помощи длинных шестов меняли сведения о поездах. В густеющих сумерках семейство Клири слилось с толпой, все глаза прикованы были к железной решетке – раздвижным воротам, ведущим на платформу номер пять. Сейчас ворота были закрыты, но на них висела доска с надписью, выведенной от руки: «Джилленбоунский почтовый». На платформах номер один и номер два поднялась суматоха, возвещая о близком отправлении вечерних скорых на Брисбен и Мельбурн, и пассажиры хлынули наружу. Скоро настал и черед Клири – створки ворот перед пятой платформой сложились гармошкой, и народ заторопился на перрон.

Пэдди отыскал свободное купе второго класса, усадил старших мальчиков к окнам, а Фиону, Мэгги и малыша – у двери; дверь отодвигалась в сторону, и за ней был длинный коридор, соединявший все купе. В окно заглядывали с платформы, надеясь найти незанятое место, и сразу шарахались при виде такого множества детворы. Иногда и у большой семьи есть свои преимущества.

Ночь была холодная, пришлось отвязать от чемоданов прикрученные к ним сбоку дорожные пледы; вагон не отапливался, но от расставленных на полу железных ящиков с горячими угольями шло тепло, а отопления в поезде никто и не ждал – ни в Австралии, ни в Новой Зеландии его никогда не бывало.

– Пап, а нам далеко ехать? – спросила Мэгги, когда поезд тронулся, постукивая и покачиваясь на бесчисленных стыках рельс.

– Гораздо дальше, чем видно было по нашему атласу, Мэгги. Шестьсот десять миль. Будем на месте завтра поздно вечером.

Мальчики ахнули, но тут же обо всем забыли, замороженные: снаружи расцвела огнями сказочная страна; они прильнули к окнам, летела миля за милей, а перед глазами все мелькали дома. Потом поезд еще ускорил бег, огни поредели и наконец исчезли, только мчались мимо уносимые воющим ветром искры. Потом Пэдди вышел с мальчиками в коридор, чтобы Фиа могла накормить малыша, и Мэгги с грустью посмотрела им вслед. Видно,

прошло то время, когда можно было не разлучаться с братьями, после рождения Хэла вся ее жизнь перевернулась, и она прикована к дому совсем как мама. А впрочем, она не в обиде, подумала Мэгги – преданная старшая сестра. Малыш такой славный, он – самая большая ее радость, и еще так приятно, что мама теперь обращается с ней как со взрослой. Совершенно неизвестно, отчего рождаются дети, но маленький Хэл – прелесть. Она подала его матери; вскоре поезд остановился и стоял целую вечность, пыхтя от усталости. Мэгги ужасно хотелось открыть окно и выглянуть, но в купе, несмотря на ящики с угольями, становилось все холоднее.

Вошел Пэдди, принес Фионе чашку горячего чая, и она отложила сытого сонного Хэла на скамью.

– Где мы стоим? – спросила она.

– Это место называется Верхняя долина. Буфетчица сказала, тут нам прицепят второй паровоз, иначе не одолеть подъем до Литгоу.

– А я успею выпить этот чай?

– Есть еще пятнадцать минут. Фрэнк сейчас принесет тебе сэндвичи, а я пригляжу, чтобы все мальчишки поели. В следующий раз можно будет поесть только поздно вечером на станции Блэйни.

Мэгги выпила пополам с матерью горячий сладкий чай и наспех проглотила кусок хлеба с маслом, который принес Фрэнк, ею вдруг овладело нестерпимое волнение. Фрэнк уложил ее на длинной скамье в ногах у маленького Хэла, укутал пледом, потом так же старательно укрыл Фиону, которая вытянулась на скамье напротив. Стюарта и Хьюги уложили на полу между скамьями, но Пэдди сказал жене, что Боба, Фрэнка и Джека уведет в купе немного дальше по коридору, потолкует с едущими там стригалями и там же все они переночуют. В поезде оказалось куда приятнее, чем на пароходе, слышно было, как свистит ветер в телеграфных проводах, под размеренное пыхтение двух паровозов постукивали стальные колеса, а иногда злобно взвизгивали на крутых поворотах, словно вот-вот соскользнут с рельс и отчаянно стараются удержаться; Мэгги уснула.

Утром они застыли у окна, испуганные, встревоженные – никогда они не думали, что такое возможно на одной планете с Новой Зеландией. Правда, и тут расстилалась холмистая равнина, но ничто, ничто больше не напоминало о родных краях. Все какое-то бурое и серое, даже деревья! Под ослепительным солнцем уже изжелта серебрилась озимая пшеница, зыбились и клонились на ветру колосья, лишь кое-где среди нескончаемых полей вставала рощица высоких тощих деревьев с голубоватой листвой или чахлая поросль пропыленных серых кустиков.

Фиона смотрела на эту картину со стоическим спокойствием, не

меняясь в лице, но бедная Мэгги чуть не плакала. Что за ужас эта пустыня, ни единой живой изгороди, ни пятнышка зелени...

Солнце поднималось все выше, и холод ночи сменился палящим зноем, а поезд с грохотом несясь все дальше и дальше, лишь изредка останавливаясь в каком-нибудь крохотном городишке, где полно было велосипедов и конных повозок, но почти не было заметно автомобилей. Пэдди открыл, насколько возможно, оба окна, хотя в них и летела и все покрывала сажа; они задыхались от жары, потели в плотной одежде, рассчитанной на новозеландскую зиму, кожа зудела. Казалось, только в аду может стоять зимой такая жара.

В Джиленбоун приехали уже на закате, это оказалось престранное место – горсточка ветхих деревянных домов и построек из рифленого железа, всего одна широкая улица, пыльная, унылая, нигде ни дерева. Заходящее солнце мазнуло по всему этому золотой кистью и на миг облагородило, но приезжие еще не сошли с перрона, а позолота уже померкла. И опять перед ними зауряднейший поселок в дальней дали, на глухой безвестной окраине – последний очаг цивилизации на самом краю плодородных земель; чуть западнее раскинулось на две тысячи миль безлюдье, безводная пустыня Невер-Невер, где никогда не бывает дождя.

Возле станции стоял великолепный черный автомобиль, и, преспокойно шагая по толстому слою пыли, к семейству Клири приближался католический священник. В своей длинной сутане он словно вышел из прошлого, и казалось, не переступает ногами, как все люди, но плывет по воздуху, точно сновидение; пыль вздымалась и клубилась вокруг него и алела в последних лучах заката.

– Здравствуйте, я пастырь здешнего прихода де Брикассар, – сказал он Пэдди и протянул руку. – Вы, очевидно, брат Мэри; вы с ней похожи как две капли воды. – Он обернулся к Фионе, поднес ее слабую руку к губам, в улыбке его было неподдельное удивление: отец Ральф с первого взгляда умел отличить женщину благородного происхождения. – О, да вы красавица! – сказал он, словно такой комплимент в устах священника звучит как нельзя естественнее; потом глаза его обратились на тесную кучку сыновей Клири. Мгновение он озадаченно смотрел на Фрэнка с малышом на руках, потом оглядел одного за другим мальчиков, от старших к младшим. Позади них, на отшибе, стояла Мэгги и смотрела на него, приоткрыв рот, будто на самого Господа Бога. Словно не замечая, что пачкает в пыли тонкую шелковую сутану, отец Ральф прошел мимо мальчиков, присел на корточки перед Мэгги и взял ее за плечи, руки у него были крепкие, добрые и ласковые.

– Ну, а ты кто такая? – спросил он с улыбкой.

– Мэгги, – ответила она.

– Ее зовут Мэгенн, – сердито буркнул Фрэнк, он сразу возненавидел этого на удивление рослого статного красавца.

– Мэгенн – мое любимое имя. – Отец де Брикассар выпрямился, но руку Мэгги не выпустил. – Вам лучше сегодня переночевать у меня, – сказал он, ведя Мэгги к машине. – Завтра утром я отвезу вас в Дрохеду; это слишком далеко, а вы только-только с поезда.

Помимо гостиницы «Империял», в Джиленбоуне из кирпича построены были католическая церковь и при ней школа, монастырь и дом священника; даже большая городская школа скромно размещалась в дощатых стенах. С наступлением сумерек вдруг резко похолодало; но тут, в гостинице, жарко пылали в огромном камине поленья и откуда-то из глубины дома тянуло вкуснейшими запахами. Экономка, сморщенная, сухонькая, на диво живая и проворная шотландка, развела всех по комнатам, ни на минуту при этом не умолкая.

Семейство Клири, привыкшее к холодной неприступности уэхайнских пастырей, никак не могло освоиться с веселым, непринужденным добродушием отца Ральфа. Один Пэдди сразу оттаял, он еще не забыл дружелюбных священнослужителей родного Голуэя, которые не чуждались своей паствы. Остальные за едой осторожно помалкивали и после ужина поспешили улизнуть наверх. Пэдди нехотя последовал за ними. Он-то в своей католической вере обретал тепло и утешение; но остальных членов семьи она только держала в страхе и покорности: поступай, как велено, не то будешь проклят вовеки.

Когда они ушли, отец Ральф откинулся в своем излюбленном кресле; он покурил, смотрел в огонь и улыбался. Перед его мысленным взором снова проходили один за другим все Клири, какими он увидел их в первые минуты на станции. Глава семьи, удивительно похожий на Мэри, но согнутый тяжелым трудом и в отличие от сестры, по природе явно не злой; его красивая измученная жена – ей впору бы выйти из элегантной коляски, которую примчала пара белых лошадей; хмурый Фрэнк, у него черные волосы и глаза черные... глаза – черные! Другие сыновья все в отца, только младший, Стюарт, очень похож на мать, вот кто будет красив, когда вырастет; что получится из младенца, пока неизвестно; и, наконец, Мэгги. Премилая, очаровательная девчурка; волосы такого цвета, что не передать словами – не медно-рыжие и не золотые, какой-то редкостный сплав того и другого. И как она подняла на него серебристо-серые глаза, изумительно чистые, сияющие, точно растаявшие жемчужины. Отец Ральф пожал

плечами, бросил окурок в камин и поднялся. Видно, он стареет, вот и разыгрывается воображение; растаявшие жемчужины, не угодно ли! Вот у него, наверное, глаза сдают от вечной пыли и песка.

Наутро он повез гостей в Дрохеду; они уже освоились с видом этой новой, незнакомой земли и очень забавляли де Брикассара, высказывая вслух свои впечатления. Последние холмы остались на двести миль восточнее, объяснил он им, а здесь раскинулась черноземная равнина. Просторы почти безлесные, луга, ровные и гладкие, как доска. День настал такой же знойный, как накануне, но ехать в «даймлере» было куда удобнее, чем в поезде. Выехали спозаранку, натошак, в черном чемодане сложены были облачение отца Ральфа и святые дары.

– Овцы тут грязные, – огорчилась Мэгги, глядя, как сотни рыжеватых шерстяных клубков тычутся носами в траву.

– Да, видно, надо было мне поселиться в Новой Зеландии, – вздохнул отец Ральф. – Должно быть, она похожа на Ирландию, и овцы там беленькие и чистенькие.

– Это верно, с Ирландией там много похожего. И трава такая же зеленая, любо смотреть. Только места более дикие, земли невозделанные, – отозвался Пэдди. Отец Ральф пришелся ему очень по душе.

И тут из травы тяжело поднялись несколько страусов эму и помчались как ветер, вытянув длинные шеи, неразлично быстро перебирая нескладными голенастыми ногами. Мальчики ахнули от изумления, потом расхохотались: вот чудеса, какие огромные птицы – и не летают, а бегают!

– Как приятно, что мне не приходится вылезать и открывать эти злосчастные ворота, – сказал отец Ральф, когда Боб, который проделывал это вместо него, закрыл за «даймлером» последние ворота и опять забрался в машину.

После стольких неожиданностей, которыми, не давая передышки, ошеломляла их Австралия, в усадьбе с приветливым домом в георгианском стиле, обвитым едва зацветающей глицинией и окруженным несчетными кустами роз, им почудилось что-то родное.

– Вот тут мы будем жить? – пискнула Мэгги.

– Не совсем, – поспешно сказал отец Ральф. – Вы будете жить в доме у реки, примерно за милю отсюда.

Мэри Карсон ждала их в большой гостиной, она сидела в своем глубоком кресле и не поднялась навстречу брату, пришлось ему подойти к ней через всю комнату.

– Здравствуй, Пэдди, – сказала она довольно любезно, но смотрела при этом мимо: взгляд ее прикован был к отцу Ральфу, тот стоял с девочкой на

руках, маленькие руки обвилились вокруг его шеи.

Мэри Карсон величественно поднялась, ни с Фионой, ни с детьми она здороваться не стала.

– Давайте сейчас же послушаем мессу, – сказала она. – Отец де Брикассар, без сомнения, спешит.

– Нисколько, дорогая Мэри. – Он засмеялся, синие глаза его весело блестели. – Я отслужу мессу, вы угостите нас отличным горячим завтраком, а после этого я обещал показать Мэгги, где она будет жить.

– Мэгги, – повторила Мэри Карсон.

– Да, ее зовут Мэгги. Но пожалуй, знакомство начинается не с того конца? Разрешите мне представить всех по порядку, Мэри. Это Фиона.

Мэри Карсон коротко кивнула и почти не слушала, как отец Ральф одного за другим называет ей мальчиков: она неотрывно следила за священником и Мэгги.

4

Дом старшего овчара стоял на сваях, футов на тридцать возвышаясь над узким ущельем, густо окаймленным плакучими ивами, среди которых кое-где высились одинокие эвкалипты. После великолепия Дрохеды он казался голым и скучным – крыша над головой, и только, зато он был удобный и этим напоминал прежний их дом в Новой Зеландии. И в комнатах полным-полно солидной викторианской мебели, которую покрывала тончайшая красноватая пыль.

– Вам повезло, тут есть даже ванная, – сказал отец Ральф, ведя приезжих по деревянным ступеням к передней веранде; подъем оказался не маленький; сваи, на которых стоял дом, были вышиной в пятнадцать футов. – Это на случай половодья, – пояснил отец Ральф. – Вы тут над самой речкой, а я слышал, иной раз вода за одну ночь поднимается на шестьдесят футов.

И правда, здесь имелась ванная: старая жестяная ванна и дровяная колонка помещались в огороженном конце задней веранды. Но, к брезгливому удивлению Фионы и Мэгги, уборная была просто ямой, вырытой в каких-нибудь двухстах шагах от дома, и от нее исходило зловоние. После Новой Зеландии это казалось дикостью.

– Видно, не слишком чистоплотные люди здесь жили, – заметила Фиона, проводя пальцем по пыльному буфету.

Отец Ральф засмеялся.

– Не пробуйте бороться с пылью, вам ее не победить, – сказал он. – Здесь, на краю света, у вас три неодолимых врага – жара, пыль и мухи. Как бы вы ни старались, вам от них не избавиться.

Фиа подняла на него глаза:

– Вы очень добры к нам, ваше преподобие.

– Как же иначе? Вы – единственные родные моего доброго друга Мэри Карсон.

Фиа слегка пожала плечами:

– Я не привыкла к дружескому отношению служителей церкви. В Новой Зеландии они держатся очень обособленно.

– Вы ведь не католичка?

– Нет. Пэдди – католик. Дети, естественно, все до единого воспитаны в католической вере, пусть это вас не беспокоит.

– Я и не думал беспокоиться. А вам это неприятно?

– Право, мне все равно.

– Сами вы не обратились в католическую веру?

– Я не лицемерка, отец де Брикассар. Я утратила веру в ту церковь, к которой принадлежала, и не желала обращаться к другой религии, столь же бессмысленной.

– Понимаю. – Священник следил глазами за Мэгги; стоя на передней веранде, она вглядывалась в дорогу, ведущую вверх, к большому дому хозяйки Дрохеды. – Очень хорошенькая у вас дочка. У меня, знаете, слабость к тициановским волосам. У нее они такие, что Тициан сразу схватился бы за кисти. Никогда прежде не видел точно такого оттенка. Дочь у вас только одна?

– Да. И у меня, и у Пэдди в роду больше все мальчики, девочки у нас редкость.

– Бедняжка, – непонятно сказал отец де Брикассар.

Потом из Сиднея прибыл багаж, расставлены были по местам книги, посуда, кое-какие украшения, а в гостиной – клавесин и другое вещи Фионы, и в доме стало привычнее, жизнь понемногу входила в колею. Пэдди и мальчики, кроме младшего, Стюарта, почти все время проводили с двумя работниками, которых Мэри Карсон задержала на ферме, чтобы они обучили приезжих хозяйничать, ведь на северо-западе Нового Южного Уэльса овцеводство поставлено совсем не так, как в Новой Зеландии. А Фиа, Мэгги и Стюарт убедились – хозяйничать в доме старшего овчара Дрохеды совсем не то, что в прежнем их доме в Новой Зеландии; подразумевалось, что беспокоить Мэри Карсон ни в коем случае не следует,

но ее экономка и остальные служанки так же рады были помочь женской половине семейства Клири, как работники фермы – Падрику и его сыновьям.

Скоро оказалось, что Дрохеда – нечто обособленное, самодовлеющее, отрезанное от всего цивилизованного мира, и даже Джиленбоун понемногу стал всего лишь названием, от него мало что осталось в памяти. Границы огромной усадьбы вмещали и конюшни, и кузницу, и гаражи, и множество хозяйственных построек, где хранились всяческие запасы и припасы, от провизии до инструментов и машин; тут и псарня, собачий питомник, сложный лабиринт скотных дворов, гигантская стригальня, где могут работать сразу ни много ни мало двадцать шесть стригалей, и за ней еще головоломная путаница всяческих хозяйственных дворов. Тут птичники, свинарники, коровники с помещениями для дойки, маслодельня, жилища для двадцати шести стригалей, хибарки для сезонников, еще два дома вроде отведенного семье Клири, но поменьше, для других овчаров, барак для новичков, бойня и нескончаемые штабеля дров.

Все это размещается примерно посередине круглой луговины трех миль в поперечнике и называется «Главная усадьба». Лишь в одной точке, у дома старшего овчара, это скопище разномастных построек почти вплотную примыкает к лесу. Однако и между сараями, дворами и выгонами растет немало деревьев, они дарят такую необходимую и отрадную тень; по большей части это перечные деревья – огромные, могучие, с густой, дремотной, чудесной листвой. А за ними, в высокой траве приусадебного выгона, лениво пасутся лошади и молочные коровы.

По дну глубокого оврага возле дома, где поселились Клири, вяло струится мелкая, мутная неспешная речонка. Невозможно поверить рассказу отца Ральфа, будто она иногда за одну ночь поднимается на шестьдесят футов. Воду для ванной и кухни накачивают ручным насосом из этой речушки, и Фиона с Мэгги не скоро привыкли мыться, мыть посуду и стирать в этой зеленовато-бурой воде. На прочных деревянных опорах, похожих на буровые вышки, громоздятся шесть солидных баков рифленого железа, и, когда идет дождь, в них сбегает с крыши вода для питья – выяснилось, что ее нужно очень беречь и ни в коем случае не тратить на стирку. Ведь никто не знает, когда опять пойдет дождь и наполнит баки.

Овец и коров поят водой из артезианского колодца – не из неглубокого, легкодоступного пласта, но из настоящей артезианской скважины, уходящей на глубину больше трех тысяч футов. Вода эта бьет ключом из трубы у так называемого водоема и по узеньким канавкам, окаймленным ядовито-зеленой травой, разбегается во все загоны, сколько их есть в

имении. Это дренажные канавы, и вода в них, насыщенная серой и минеральными солями, для людей не годится.

Поначалу всех Клири ошеломили здешние расстояния: в Дрохеде насчитывается двести пятьдесят тысяч акров. Самая длинная граница имения тянется на восемьдесят миль. От Джилленбоуна до дома Мэри Карсон сорок миль и двадцать семь ворот – и никакого другого жилья не сыщешь ближе чем за сто шесть миль. К востоку владения Мэри Карсон сужаются клином, и границей им служит Баруон – так местные жители называют реку Дарлинг в северном ее течении, – этот огромный мутный поток тянется на тысячу миль и под конец сливается с Мурреем и впадает в Индийский океан за полторы тысячи миль, на самом юге Австралии. Джиллен-Крик, речка в ущелье возле теперешнего жилища Клири, впадает в Баруон за две мили от Главной усадьбы.

Падрику и мальчикам сразу полюбились новые места. Случалось, они целые дни проводили в седле, за много миль от дома, и ночевали под открытым небом, таким глубоким, таким звездным, что под ним словно и сам приобщаешься к Богу.

На бурой, непривычного цвета земле кишмя кишит жизнь. Меж деревьями проносятся огромными прыжками тысячные стада кенгуру, шутя перемахивают через изгороди, и нельзя налюбоваться ими, такими легкими в движениях, такими свободными; на равнинах, в высокой траве, гнездятся эму – шагают, точно гиганты часовые, вокруг своих жилищ, но пугаются всего непривычного и убегают быстрее любого коня прочь от своих темно-зеленых яиц величиной с футбольный мяч; термиты возводят башни цвета ржавчины, подобные крохотным небоскребам; свирепые кусачие муравьи-великаны темными потоками вливаются в похожие на кратеры отверстия в почве.

А птицам всех видов и пород и вовсе нет числа, и живут они не поодиночке и не парами, но многотысячными стаями: крохотные желто-зеленые попугайчики (Фиа называет их неразлучниками), и небольшие ярко-красные, с голубым, и крупные светло-серые попугаи гала с яркой лилово-розовой грудью и такой же головой и подкрыльями, и огромные какаду, белоснежные, с вызывающим ярко-желтым хохолком. Порхают и кружат в воздухе крохотные прелестные зяблики, и воробьи, и скворцы, хохочут и весело хихикают крепкие коричневые зимородки-кукабурра и с разлету подхватывают с земли змей – свое излюбленное лакомство. Во всех этих птицах есть что-то почти человеческое; бесстрашные, они сотнями сидят в ветвях, поглядывая вокруг быстрыми смысленными глазами, трещат, болтают, смеются, подражают всем голосам и звукам на свете.

Страшолюдные ящерицы длиною в пять-шесть футов топают по земле, а потом легкий прыжок – и они уже высоко на дереве; и внизу, и в вышине они чувствуют себя как дома; это гоанны. Водится тут и множество других ящериц, помельче, но подчас не менее страшных с виду; одни, точно динозавры, красуются в ожерельях колючих роговых наростов, другие дразнятся толстыми ярко-синими языками. Змеям самых разных пород и обличий поистине счету нет, и скоро выяснилось, что самые большие и грозные на взгляд обычно наименее опасны, а короткая толстая змейка не длиннее фута может оказаться смертельно ядовитой гадюкой; тут есть и ковровые питоны, медянки, древесные змеи, и черные, краснобрюхие и коричневые, и несущие верную смерть тигровые змеи.

А насекомые! Кузнечики, сверчки, саранча, пчелы, мухи всех видов и размеров, цикады, москиты, стрекозы, огромные мотыльки и всевозможные бабочки! Ужасны пауки – огромные, мохнатые, с лапами длиною в несколько дюймов, и обманчиво маленькие ядовитые черные твари, которые прячутся в отхожем месте; иные живут в огромной круглой, точно колесо, сети, натянутой меж деревьев, другие качаются в тончайшей, густого плетения, паутинной колыбели, подвешенной к травинкам, третьи зарываются в земляные норы и захлопывают за собой дверку.

Хватает и хищников: дикие кабаны, черные волосатые зверюги ростом с корову, плотоядные, свирепые, ничего на свете не боятся; дикие собаки динго шныряют, крадучись, чуть ли не ползком, и сливаются цветом с травой; стаи воронья уныло каркают, облепляя белесые скелеты иссохших мертвых деревьев; недвижно парят в вышине ястребы и орлы.

От многих хищников надо оберегать коров и овец, особенно в ту пору, когда появляется потомство. Кенгуру и кролики поедают драгоценную траву; кабаны и динго пожирают ягнят, телят, заболевших животных; вороны выклевывают им глаза. Молодым Клири пришлось научиться стрелять, и они стали ездить с ружьями – порой надо покончить с мучениями раненого животного, порой случается подстрелить кабана или динго.

Вот это жизнь! – с восторгом думали мальчишки. Никто из них не тосковал о Новой Зеландии; мошкара липла к уголкам глаз, забивалась в ноздри, в рот, в уши, но они научились отпугивать ее, переняв чисто австралийскую уловку – подвесили к полям шляп куски пробки на бечевках. Чтобы ползучая насекомая мелочь не забиралась снизу в их мешковатые штаны, они перевязывали штанины ниже колен ремешками из кенгуровой кожи, назывались эти штуки смешно – тетивашки, но без них было не обойтись. Да, вот она, настоящая жизнь, не то что пресная скука

Новой Зеландии!

Их матери и сестре, привязанным к дому, в Австралии нравилось куда меньше, ведь у них не находилось ни досуга, ни предлогов для поездок верхом и все их занятия угнетали однообразием. Одни и те же вечные женские заботы – стряпать, убирать, стирать, гладить, нянчить малыша, только здесь все это труднее. Против тебя жара, пыль и мухи, крутые лестницы, мутная вода, а мужчины вечно в отлучке, и некому принести и нарубить дров, накачать воды, зарезать курицу к обеду. Несноснее всего жара, а ведь только еще начинается весна; и, однако, на тенистой веранде термометр день за днем показывает сто^[3]. А в кухне, когда топится плита, доходит до ста двадцати.

Одежда всех Клири приспособлена была для Новой Зеландии, где в доме прохладно и надеваешь одно на другое, и все плотное, прилегающее. Мэри Карсон, прогуливаясь, зашла однажды к невестке и окинула надменным взглядом миткалевое платье Фионы, длинное, до полу, с высоким воротом. Сама она была одета по новой моде: кремовое шелковое платье с большим вырезом – свободное, не в талию, и лишь до половины закрывает икры, широкие рукава едва доходят до локтей.

– Право, Фиона, вы безнадежно старомодны, – сказала Мэри, оглядывая гостиную, заново окрашенную кремовой краской, персидские ковры и хрупкую старинную мебель.

– У меня нет времени гнаться за модой, – сказала Фиона резковато, чего в роли хозяйки никогда себе не позволяла.

– Теперь у вас будет больше времени, мужчины ваши вечно в разъездах, не надо кормить столько народу. Укоротите свои платья, перестаньте носить нижние юбки и корсет, не то летом вы умрете. Имейте в виду, будет еще жарче градусов на пятнадцать, на двадцать. – Взгляд Мэри Карсон остановился на портрете белокурой красавицы в кринолине времен императрицы Евгении. – Кто это? – спросила она и показала пальцем.

– Моя бабушка.

– Вот как? И эта обстановка, и ковры?

– Мне подарила бабушка.

– Вот как? Значит, этот брак лишил вас положения в обществе и, наверное, очень многого, дорогая Фиона?

Фиона никогда не теряла самообладания, не потеряла и на этот раз, только плотнее сжала тонкие губы.

– Не думаю, Мэри. У меня хороший муж; вы должны бы это знать.

– Но у него ни гроша. Как ваша девичья фамилия?

– Армстронг.

– Вот как? Неужели родня Родерику Армстронгу?

– Это мой старший брат. Его называли Родериком в честь моего прадеда.

Мэри Карсон поднялась, отмахиваясь нарядной широкополой шляпой от мух, которые не питают почтения даже к столь важным особам.

– Что ж, вы по рождению выше, чем мы, Клири, я готова это признать. Неужели вы настолько полюбили Пэдди, чтобы от всего этого отказаться?

– Почему я так поступила, мое дело, – ровным голосом сказала Фиа. – Вас это не касается, Мэри. Я не намерена обсуждать моего мужа даже с его сестрой.

Складки у губ Мэри Карсон прорезались глубже, она вытаращила глаза.

– Фу-ты ну-ты!

Больше она не появлялась, но ее экономка, миссис Смит, приходила часто – и тоже посоветовала одеть семью по-другому.

– Послушайте, у меня есть швейная машина, она мне совсем не нужна. Я велю двум работникам принести ее к вам. А если мне когда-нибудь понадобится шить, я сама к вам приду. – Глаза ее остановились на маленьком Хэле, который весело катался по полу. – Я люблю слушать детские голоса, миссис Клири.

Раз в полтора месяца конная повозка доставляла из Джиленбоуна почту – вот и вся связь с внешним миром. В Дрохеде имелись два грузовика-«форд», из них один – приспособленный под перевозку водяной цистерны, да еще легковой «форд» и роскошный «роллс-ройс», но, кажется, никто никогда ими не пользовался, в Джилли ездила изредка одна лишь Мэри Карсон. Добираться за сорок миль – все равно что до Луны.

Непоседа Уильямс, окружной почтальон, за полтора месяца еле поспевал объехать весь свой округ. Его крытую повозку с плоским верхом, на огромных колесах десяти футов в поперечнике, груженную всякой всячиной, какую только могли заказать самые отдаленные фермы, тащила великолепная упряжка в дюжину ломовых коней. Кроме писем и газет, Уильямс развозил бакалею, бензин в железных бочках на сорок четыре галлона, керосин в четырехугольных пятигаллоновых бидонах, сено, зерно, муку, сахар и картошку мешками, чай в деревянных ящиках, сельскохозяйственные машины, заказанные по почте игрушки и одежду из магазина Энтони Хордерна в Сиднее и вообще все, что только требовалось переправить из Джилли или из далеких больших городов. Лошади двигались мерным шагом, по двадцать миль в день, и где ни останавливался Уильямс, его встречали радушно, расспрашивали про

новости, про погоду в дальних краях, вручали аккуратно завернутые в бумажку деньги на новые покупки в Джилли и отдавали старательно написанные письма, которые тут же укладывались в брезентовый мешок с надписью «Почта».

К западу от Джилли на дороге было лишь два больших имения: поближе – Дрохеда, подальше – Бугела; а за Бугелой лежала местность, куда почта попадала только раз в полгода. По громадной извилистой дуге Непоседа объезжал все юго-западные, западные и северо-западные фермы и возвращался в Джилли, после чего оставалось съездить к востоку – путешествие недлинное, всего миль шестьдесят, дальше действовала уже почта города Буру. Изредка Уильямс кого-нибудь привозил – рядом с ним, на кожаном облучке, ничем не защищенный от солнца, сидел гость или работяга без гроша за душой; иногда он кого-нибудь увозил – гостя или недовольных прежним местом овчаров, горничных, сезонников, редко-редко – гувернантку; у фермеров-скотоводов были для разъездов свои машины, но тех, кто работал на фермеров, не только снабжал письмами и товарами, но и выручал транспортом один Непоседа Уильямс.

Когда прибыли с почтой заказанные рулоны материи, Фиа уселась за швейную машину – подарок миссис Смит – и принялась шить свободные платья из светлого ситца для себя и Мэгги, легкие штаны и комбинезоны для мужчин, одежду для Хэла, занавески на окна. Что и говорить, когда скинули плотную облегающую одежду и несколько слоев белья, стало куда прохладнее.

Мэгги жилось одиноко, в доме из мальчиков оставался один Стюарт. Джек и Хьюги разъезжали с отцом, учились ходить за овцами – новичков в этом деле здесь называли желторотиками. Стюарт не годился в товарищи для игр, какими были прежде Джек и Хьюги. Маленький, тихий, он жил в каком-то своем отдельном мире, мог бы часами сидеть на одном месте и смотреть, как непрерывной вереницей взбираются на дерево муравьи, а Мэгги любила сама лазить по деревьям и с восторгом жевала смолу: ее в Австралии так много, и вся разная! Но, по правде сказать, не очень-то они успевали лазить по деревьям или любоваться муравьями. И у Мэгги, и у Стюарта работы было по горло. Они кололи и таскали дрова, копали ямы для отбросов, гнули спину на огороде и присматривали за курами и свиньями. И к тому же учились убивать змей и пауков, хотя так и не перестали их бояться.

Несколько лет кряду дождей выпадало почти достаточно; в речке воды было мало, но в цистернах примерно до половины. И трава еще неплохая, хотя далеко не такая сочная, как в лучшие времена.

– Наверное, будет хуже, – мрачно предсказала Мэри Карсон.

Но прежде настоящей засухи им довелось испытать наводнение. В середине января эти места задело южным крылом налетающих с северо-запада муссонов. Эти могучие ветры бесконечно коварны и изменчивы. Порой они приносят летние ливни лишь на краешек австралийского материка, а порой врываются глубоко, до самого Сиднея, и одевают злосчастных горожан дождливым летом. На этот раз в январе небо внезапно затянули черные набрякшие тучи, ветер рвал их в клочья, и хлынул дождь – не быстрый проливной дождик, но дождь упорный, яростный, суший потоп, и не было ему конца.

Их предостерегли заранее; явился Непоседа Уильямс с повозкой, нагруженной до отказа, и с дюжиной запасных лошадей – он спешил снабдить округу всем необходимым, пока дожди не отрезали путь к дальним фермам.

– Идут муссоны, – сказал он, свертывая самокрутку, и кнутом показал на груды провизии, припасенной сверх обычного. – Реки, того гляди, выйдут из берегов – и Купер, и Барку, и Дайамантина, а Разлив уже разлился. Весь Квинсленд на два фута покрыло водой, они там, бедняги, ищут хоть какой холмик, куда бы повыше загнать овец.

Внезапно поднялась сдерживаемая тревога; Пэдди и мальчики работали как бешеные, переводили овец с низинных выгонов как можно дальше от своей речки и от Баруона. Приехал отец Ральф, оседлал свою лошадь и вместе с Фрэнком и лучшими собаками поспешил на выгоны, лежащие по берегу Баруона, а Пэдди и оба овчара, прихватив по одному из мальчиков, разъехались каждый в свою сторону.

Отец Ральф и сам был превосходный овчар. Он ехал на чистокровной каурой кобыле – подарке Мэри Карсон – в светло-коричневых безупречного покроя брюках для верховой езды, в коричневых, начищенных до блеска высоких сапогах, в белоснежной рубашке, рукава закатаны и открывают мускулистые руки, ворот распахнут и открывает гладкую загорелую грудь. Фрэнк в серой фланелевой нижней рубашке и старых мешковатых штанах из серой саржи, перетянутых ниже колен ремешками, чувствовал себя жалким ничтожеством. Да так оно и есть, сердито подумал он, проезжая за стройным всадником на изящной лошадке среди самшитов и сосен заречной рощи. Под Фрэнком была норовистая пегая племенная кобыла, злобная, упрямая скотина, которая люто ненавидела всех других лошадей. Вздуродраженные собаки лаяли, прыгали, рычали друг на друга и сцепились было, но присмирели, когда отец Ральф безжалостно и метко хлестнул по ним пастушьим кнутом. Казалось, этот человек умеет все на свете, он знал,

как свистом подать собакам любую команду, и кнутом владел куда лучше Фрэнка, который только еще учился этому редкостному искусству австралийских пастухов.

Громадный свирепый квинслендский пес-вожак проникся преданной любовью к отцу Ральфу и покорно следовал за ним, явно не считая Фрэнка хозяином. Фрэнка это почти не обижало; из сыновей Пэдди ему одному не полюбилась жизнь в Дрохеде. Он отчаянно рвался из Новой Зеландии – но вовсе не за тем, что нашел здесь. Он возненавидел нескончаемые объезды выгонов и эту жесткую землю, на которой приходилось спать чуть не каждую ночь, и этих злобных псов – их не приласкаешь, и если они плохо несут свою пастушью службу, их пристреливают.

Но ехать верхом, когда над головой сгущаются тучи, – это уже пахнет приключением; и даже деревья не просто со скрипом гнутся под порывами ветра, но будто приплясывают в диком веселье. Отец Ральф неустойчив, точно одержимый, подстрекает и горячит собак, напускает на рассеянных по равнине ничего не подозревающих овец, быстрые тени стелются в траве, гонят перед собой безмозглые клубки шерсти – и те скачут, блеют в страхе и, наконец сбитые в кучу, бегут куда надо. Не будь собак, горсточке людей нипочем бы не управиться с таким огромным именем, как Дрохеда; специально обученные пасти коров и овец, эти псы на диво умны и почти не нуждаются в приказаниях.

К ночи отец Ральф с помощью собак и Фрэнка, который тянулся за ними как мог, вывел с одного выгона всех овец – обычно на эту работу уходит несколько дней. У ворот второго выгона, где росли несколько деревьев, он расседлал свою кобылку и сказал бодро, что, пожалуй, они и с этого участка сумеют вывести стадо прежде, чем хлынет дождь. Собаки, высунув языки, растянулись в траве, свирепый квинслендец-вожак раболепно льнул к ногам священника. Фрэнк вытащил из переметной сумы мерзкого вида куски кенгурового мяса, швырнул собакам, и они, огрызаясь и оттирая друг друга, наинулись на еду.

– Паршивое зверье, – сказал Фрэнк. – Прямо шакалы какие-то, порядочные собаки так себя не ведут.

– Мне кажется, Господь Бог скорее всего задумал собак именно такими, – мягко возразил отец Ральф. – Они проворны, умны, воинственны, и их почти невозможно приручить. Мне они, признаться, больше по вкусу, чем балованные комнатные собачки. – Он улыбнулся. – Вот и кошки тоже. Вы видели, какие кошки на скотном дворе? Дикие, злобные, сущие пантеры; ни за что не подпустят к себе человека. Но охотятся превосходно и вовсе не нуждаются, чтобы люди их опекали и кормили.

Он извлек из своей переметной сумы кусок холодной баранины, хлеб, масло, отрезал ломоть баранины, остальную протянул Фрэнку. Положил хлеб и масло на бревно между ними и с явным наслаждением впился белыми зубами в мясо. Жажду утолили из брезентовой фляжки, потом свернули по самокрутке.

Неподалеку стояло одинокое дерево вилга; отец Ральф указал на него самокруткой.

– Вот место для ночевки, – сказал он, снял с лошади седло, отвязал одеяло.

Фрэнк пошел за ним к вилге – дереву, которое считают самым красивым в этой части Австралии. Крона его почти круглая, листва светло-зеленая, очень густая. Ветви спускаются совсем низко, их легко достают овцы, и потому снизу каждое дерево как бы подстрижено ровно-ровно, будто живая изгородь в саду. Вилга всего надежнее укроет от дождя, ведь у других деревьев Австралии листва не такая густая, как в землях, которые богаче влагой.

Отец Ральф вздохнул, лег и приготовился снова закурить.

– Вы несчастливы, Фрэнк, я не ошибаюсь? – спросил он.

– А что это такое – счастье?

– Сейчас счастливы ваш отец и братья. А вы, ваша мама и сестра – нет. Вам не нравится в Австралии?

– Здесь – нет. Я хочу перебраться в Сидней. Может, там я сумею чего-то добиться.

– В Сидней? Но ведь это гнездилище порока, – улыбнулся отец Ральф.

– Ну и пускай! Тут я связан по рукам и ногам, все равно как было в Новой Зеландии; никуда от него не денусь.

– От него?

Но у Фрэнка это вырвалось ненароком, и он не желал продолжать. Лежал и смотрел вверх, на листья.

– Сколько вам лет, Фрэнк?

– Двадцать два.

– Вот как! А вы когда-нибудь жили отдельно от родных?

– Нет.

– Ходили когда-нибудь на танцы? Была у вас подружка?

– Нет.

Фрэнк не желал прибавлять, как положено, «ваше преподобие».

– Тогда он, наверное, скоро вас отпустит.

– Он меня не отпустит, пока я жив.

Отец Ральф зевнул, улегся поудобнее.

– Спокойной ночи, – сказал он.

Утром тучи спустились еще ниже, но дождя все не было, и за день они вывели овец еще с одного выгона. Через всю землю Дрохеды, с северо-востока на юго-запад, тянулась гряда невысоких холмов – на этих-то выгонах и собирали сейчас стада, тут можно будет искать убежища от воды, если реки выйдут из берегов.

Дождь начался уже к ночи, и Фрэнк со священником рысью пустились к броду через речку пониже дома Клири.

– Не жалейте лошадь, сейчас не до того! – крикнул отец Ральф. – Гоните вовсю, не то потонете в грязи!

В считанные секунды они вымокли до нитки – и так же мгновенно размокла прокаленная зноем почва. Она ничуть не впитывала влагу и обратилась в море жидкой грязи, лошади еле переступали в ней, увязая чуть не по колено. По траве еще удавалось двигаться быстро, но ближе к реке, где все давно вытоптал скот, всадникам пришлось спешиться. Без седоков лошади пошли легче, но Фрэнк не держался на ногах. Это было хуже всякого катка. На четвереньках они карабкались вверх по крутому берегу, скользили и снова скатывались обратно. Мощенную камнем дорогу неторопливая вода обычно покрывала на месте переправы едва на фут, а сейчас тут мчался пенный поток в четыре фута глубиной; Фрэнк вдруг услышал – священник смеется. Лошадей подбадривали криками, хлопали по бокам насквозь промокшими шляпами, и они в конце концов благополучно выбрались на другой берег, но Фрэнку и отцу Ральфу это не удавалось. Опять и опять они пытались одолеть кособок и всякий раз сползали вниз. Отец Ральф предложил залезть на иву, но тут Пэдди, встревоженный появлением лошадей без седоков, подоспел с веревкой и втащил их наверх.

Пэдди пригласил отца Ральфа зайти к ним, но тот улыбнулся и покачал головой.

– Меня ждут в Большом доме, – сказал он.

Мэри Карсон услышала его голос прежде, чем кто-либо из прислуги, – он обошел дом кругом, рассчитав, что с парадного хода легче попадет в отведенную ему комнату.

– Ну нет, в таком виде вы не войдете, – сказала она ему с веранды.

– Тогда сделайте одолжение, дайте мне несколько полотенец и мой чемодан.

Нисколько не смущаясь, она стояла у полуоткрытого окна гостиной и смотрела, как он стянул мокрую рубашку, сапоги, брюки и стирает с себя жидкую грязь.

– Никогда не видела мужчины красивее вас, Ральф де Брикассар, – сказала она. – Почему среди священников так много красавцев? Ирландская кровь сказывается? Ирландцы ведь красивый народ. Или красивые мужчины ищут в сане защиту, ведь такая наружность осложняет жизнь? Ручаюсь, все девчонки в Джилли чахнут от любви к вам.

– Я давно уже научился не обращать внимания на влюбчивых девиц, – засмеялся он. – Некоторые способны влюбиться во всякого священника моложе пятидесяти, а если священнику нет тридцати пяти, в него, как правило, влюблены все. Но откровенно соблазнить меня пытаются только протестантки.

– О чем вас ни спросишь, ответа начистоту не жди – так? – сказала Мэри Карсон. Выпрямилась и положила ладонь ему на грудь. – Вы сибарит, Ральф, вы принимаете солнечные ванны. Что же, у вас всюду такой загар?

Он с улыбкой наклонился, усмехнулся ей в волосы, расстегнул полотняные кальсоны; они соскользнули наземь, он отбросил их ногой и стоял, точно статуя, изваянная Праксителем, а Мэри обошла его и неторопливо осмотрела со всех сторон.

События последних двух дней веселили его, развеселила и внезапная мысль – а ведь Мэри Карсон, пожалуй, гораздо уязвимее, чем он воображал! Однако он неплохо знал ее и потому бесстрашно спросил:

– Вы что же, Мэри, хотите, чтобы я занялся с вами любовью?

Она оглядела вяло поникший знак его мужского достоинства, насмешливо фыркнула:

– И в мыслях не было так вас утруждать! А вам нужна женщина, Ральф?

Он презрительно вскинул голову:

– Нет!

– Мужчина?

– Они еще хуже, чем женщины. Нет, никто мне не нужен.

– Так что же, обходитесь сами?

– Ни малейшего желания.

– Любопытно. – Она шагнула обратно в гостиную. – Ральф, кардинал де Брикассар! – съехидничала напоследок. Но, уйдя от его пронизывающего взгляда, сникла в своем глубоком кресле, стиснула кулаки, охваченная бессильной злобой на капризы судьбы.

Отец Ральф, обнаженный, сошел с веранды на подстриженный газон и остановился – руки закинута за голову, веки сомкнуты; он подставлял все тело теплым, вкрадчивым, покалывающим струйкам дождя, и они чудесно ласкали незащищенную кожу. Стало совсем темно. Но в нем сохранялось

все то же вялое спокойствие.

Речка вышла из берегов, сваи, на которых стоял дом Пэдди, все глубже уходили в воду, она подкрадывалась по Главной усадьбе к Большому дому.

– Завтра начнет спадать, – сказала Мэри Карсон, когда встревоженный Пэдди пришел сказать ей об этом.

Как всегда, она оказалась права: на следующей неделе вода понемногу убывала и наконец вернулась в обычное русло. Выглянуло солнце, воздух раскалился до ста пятнадцати в тени, и трава будто взлетела в небо – высокая, чуть не по пояс, свежая, сверкающая бледным золотом так, что слепило глаза. Блестела отмытая от пыли листва деревьев, вернулись орды попугаев, которые неведомо где укрывались во время дождя, – теперь они снова мелькали в ветвях всеми цветами радуги и тараторили пуще прежнего.

Отец Ральф возвратился к своей заброшенной было пастве, невозмутимый и довольный: выговор за отлучку ему не грозит, ведь у самого сердца, под белой священнической сорочкой, покоится чек на тысячу фунтов. Епископ будет в восторге.

Овец перегнали обратно на пастбища, и семейству Клири пришлось выучиться обычаю здешнего края – сиесте. Вставали в пять утра, заканчивали все дела к полудню и валялись без сил, обливались потом, ворочались и не находили себе места до пяти вечера. Так было и с женщинами в доме, и с мужчинами на выгонах. Работа, которую нельзя было сделать до полудня, заканчивалась после пяти, ужинали после захода солнца, стол был выставлен на веранду. Постели тоже пришлось вытащить из дому, потому что жара не спадала и к ночи. Кажется, ртуть уже целую вечность ни днем, ни ночью не опускалась ниже ста. Про говядину и думать забыли, в пищу годились только барашки поменьше – их успевали съесть, пока мясо не испортится. И все жаждали разнообразия, всем опостытели вечные бараньи отбивные, тушеная баранина, пастуший пирог из бараньего фарша, баранина под соусом карри, жареная баранья нога, баранина с пряностями, вареная, соленая, баранина во всех видах.

Но в начале февраля жизнь Мэгги и Стюарта круто изменилась. Их отослали в Джиленбоун, в монастырскую школу с пансионом, потому что ближе учиться было негде. Хэл, когда подрастет, будет учиться заочно, в школе, которую устроили доминиканцы в Сиднее, сказал Пэдди, но Мэгги и Стюарт привыкли к учителям, и Мэри Карсон великодушно предложила платить за пансион и учение в монастыре Креста Господня. Притом у Фионы слишком много хлопот с маленьким Хэлом, некогда ей следить еще

и за тем, как они учатся. С самого начала подразумевалось, что образование Джека и Хьюги закончено: Дрохеде они нужны были для работы на земле, а им только того и хотелось.

Странной показалась Мэгги и Стюарту после Дрохеды, а главное – после школы Пресвятого Сердца в Уэхайне мирная жизнь в монастыре Креста Господня. Отец Ральф тонко дал монахиням понять, что эти двое детей – его подопечные, а их тетка – самая богатая женщина в Новом Южном Уэльсе. И вот застенчивость Мэгги преобразилась из порока в добродетель, а Стюарт своей необычайной отрешенностью, привычкой часами смотреть куда-то в невообразимую даль заслужил прозвище «маленького святого».

Да, тут жилось очень мирно, потому что пансионеров было совсем мало: жители округа, достаточно богатые, чтобы учить своих отпрысков в закрытой школе с пансионом, неизменно предпочитали посылать их в Сидней. В джилленбоунском монастыре пахло лаком и цветами, в полутемных коридорах с высокими сводами обдавало тишиной и явственно ощутимым благочестием. Все говорили вполголоса, жизнь проходила словно за тончайшей черной вуалью. Детей никто не лупил тростью, никто на них не кричал, и притом был на свете отец Ральф.

Он постоянно навещал их и так часто брал к себе домой, что даже перекрасил спальню, где ночевала Мэгги, в нежно-зеленый цвет, купил новые занавески на окна и новое одеяло. Стюарт по-прежнему спал в комнате, которую дважды окрашивали все так же – кремовой с коричневым; отец Ральф вовсе не задумывался, хорошо ли Стюарту.

Просто он спохватился, что надо пригласить еще и его, чтобы не было обиды.

Отец Ральф и сам не знал, почему он так привязался к Мэгги, да, по правде говоря, и не удосужился спросить себя об этом. Началось с того, что ему стало ее жаль в тот давний день на пыльном вокзале, когда он заметил ее, растерянную, позади всех; она в семье на отшибе, потому что девочка, с неизменной проницательностью догадался он. Но его ничуть не заинтересовало, почему в стороне держался и Фрэнк, и жалости к Фрэнку он тоже не ощутил. Было во Фрэнке что-то такое, что убивало и нежность, и сочувствие – этому угрюмому сердцу не хватало внутреннего света. А Мэгги? Она тогда нестерпимо растрогала отца Ральфа, и, право же, он не понимал отчего. Да, ему нравятся эти необыкновенного цвета волосы, и цвет и разрез ее глаз – глаза у нее материнские и уже поэтому красивые, но еще милее, выразительнее; и характер истинно женский: податливость, но притом безграничная сила. Мэгги отнюдь не мятежная душа, совсем

напротив. Всю свою жизнь она будет покоряться, смиренная узница своей женской доли.

Но нет, это еще не все. Загляни он в себя поглубже, он, быть может, понял бы, что его чувство к этой девочке рождено странным сочетанием времени, места и характера. Никто о ней всерьез не думает, а значит, есть в ее жизни пустота, которую он может заполнить и наверняка заслужит ее привязанность; она еще совсем ребенок и, значит, ничем не грозит его образу жизни и его доброму имени пастыря; она красива, а все красивое доставляет ему удовольствие; и, наконец – в этом он меньше всего склонен был себе признаться, – она сама заполняла пустоту в его жизни, которую не мог заполнить Бог, потому что она живое любящее существо, способное ответить теплом на тепло. Осыпать ее подарками нельзя, чтобы не ставить в неловкое положение семью, а потому он старался почаще с ней видаться и немало времени и выдумки потратил, заново отделявая для нее комнату в церковном доме – не столько затем, чтобы порадовать девочку, главное – чтобы создать достойную оправу для своей жемчужины. Ничто дешевое, второсортное для нее не годится.

В начале мая в Дрохеду собрались стригали. От Мэри Карсон ни один пустяк не ускользал в Дрохеде – ни распределение отар по выгонам, ни взмах пастушьего кнута; за несколько дней до прихода стригалей она вызвала к себе Пэдди и, как всегда утопая в глубоком кресле, подробно, до мелочей, распорядилась, что и как надо делать. Падрика, привычного к скромным масштабам Новой Зеландии, с первых дней ошеломил огромный сарай-стригальня с отделениями для двадцати шести мастеров; и теперь, после разговора с сестрой, от цифр и прочих сведений у него гудело в голове. Оказалось, в Дрохеде стригут не только своих овец, но еще и овец из Бугелы, Диббен-Диббена и Бил-Била. А это значит, что все и каждый в имени, и мужчины и женщины, должны работать без роздыха. По обычаю стрижка овец – работа общая, и жители окрестных ферм, которые пользуются отлично оборудованной для этого Дрохедой, всячески стараются помочь, но тяжелее всех неминуемо приходится здешним.

Стригали приводят кого-нибудь, кто стряпает на всю артель, провизию покупают в Дрохеде, но надо, чтобы здешних запасов хватило, надо загодя вычистить, вымыть старые, сколоченные кое-как бараки, и кухню при них, и нехитрую пристройку для мытья, наготовить тюфяков и одеял. Не все фермы устраивали стригалей с такими удобствами, но Дрохеда гордилась своим гостеприимством и славой «распрекрасного места для стрижки». Ни в каких других общих начинаниях Мэри Карсон участия не принимала,

зато уж тут она не скупилась. Ее стригальня была не только одной из крупнейших в Новом Южном Уэльсе, но и требовала лучших стригалей, мастеров вроде Джеки Хау; больше трехсот тысяч овец надо будет остричь, прежде чем стригали погрузят свои закатанные в одеяла пожитки в старый грузовик подрядчика и покатают туда, где их ждет еще работа.

Фрэнк уже две недели не был дома. Вдвоем со старым овчаром Питом Пивной Бочкой, прихватив двух запасных лошадей, собак и двуколку, нагруженную их нехитрыми пожитками, которую нехотя волокла ленивая кляча, он ездил на дальние западные участки: надо было пригнать оттуда овец, постепенно сводить их вместе, отбирать и сортировать. Тягучая, утомительная работа, ничего похожего на ту неистовую гонку перед наводнением. На каждом участке свои загоны, там можно отчасти распределить и пометить овец, пока не придет их черед. При самой стригальне размещаются зараз только десять тысяч овец, так что все время, пока работают стригали, вздохнуть будет некогда – знай мотайся взад-вперед, заменяй уже остриженных овец нестриженными.

В кухне Фрэнк застал мать за ее вечной, нескончаемой работой: она стояла у раковины и чистила картошку.

– Мам, это я! – весело окликнул он.

Она круто обернулась, и после двух недель, что они не виделись, Фрэнк сразу заметил ее живот.

– О Господи! – вырвалось у него.

Радость в ее глазах погасла, лицо залилось краской стыда; она прикрыла руками вздувшийся фартук, будто руки могли спрятать то, чего уже не прятала одежда.

Фрэнка затрясло.

– Мерзкий старый козел!

– Не смей так говорить, Фрэнк. Ты уже взрослый, должен понимать. Ты и сам появился на свет не иначе, и это заслуживает не меньшего уважения. Ничего мерзкого тут нет. Когда ты оскорбляешь папу, ты оскорбляешь и меня.

– Он не имеет права! Мог бы оставить тебя в покое! – прошипел Фрэнк, в углу его дрожащих губ вскипел пузырек пены, он отер рот ладонью.

– Тут нет ничего мерзкого, – устало повторила Фиона и так посмотрела на сына ясными измученными глазами, словно решила раз навсегда избавиться от стыда. – Никакой тут нет мерзости, Фрэнк, и в том, отчего дети рождаются, – тоже.

Теперь побагровел Фрэнк. Не в силах больше выдержать взгляд матери, он повернулся и пошел в комнату, которую делил с Бобом, Джеком и Хьюги. Ее голые стены и узкие кровати насмеваются над ним, да, насмеваются, такие скучные, безликие, некому вдохнуть в них жизнь, нечему освятить их, придать им смысл. А лицо матери, прекрасное усталое лицо в строгом ореоле золотистых волос, все светится из-за того, чем она и этот волосатый старый козел занимались в нестерпимую летнюю жару.

Никуда от этого не уйти, никуда не уйти от матери, от тайных, подавляемых мыслей, от желаний, таких естественных, ведь он уже взрослый, он мужчина. Чаще всего удастся вытеснить их из сознания, но когда она выставляет перед ним явный знак своих вожделений, похвывается загадочными действиями, которым предается с этим похотливым старым скотом... Нет сил думать об этом, как с этим мириться, как это вынести? Почему она не может быть непорочно святой, чистой и незапятнанной, как сама Богоматерь, почему не стоит выше этого, пусть даже в этом виновны все женщины на всем свете! А она прямо и открыто подтверждает, что виновна, – от этого можно сойти с ума. Чтобы не лишиться рассудка, он давно уже себе внушал, будто она ложится рядом со старым уродом, сохраняя полнейшее целомудрие, надо же ей где-то спать, но никогда они ночью не обернутся, не коснутся друг друга... О черт!

Что-то закрипело, звякнуло, и Фрэнк опустил глаза – оказалось, он согнул спиралью медную перекладину в изножье кровати.

– Жаль, что ты не папашина шея, – сказал он ей.

– Фрэнк...

В дверях стояла мать.

Он вскинул голову, черные влажные глаза блестели, точно уголь под дождем.

– Когда-нибудь я его убью.

– Этим ты убьешь и меня, – сказала Фиа, подошла и села на его постель.

– Нет, я тебя освобожу! – горячо, с надеждой возразил он.

– Не буду я свободна, Фрэнк, и не нужна мне эта свобода. Хотела бы я понять, почему ты такой слепой, да никак не пойму. Это у тебя не от меня и не от отца. Я знаю, ты не чувствуешь себя счастливым, но неужели надо вымещать это на мне и на папе? Почему ты так стараешься все усложнять? Почему? – Она опустила глаза, потом снова посмотрела на сына. – Не хотела я говорить, но приходится. Пора тебе выбрать девушку, Фрэнк, женись, обзаведись семьей. В Дрохеде места довольно. Я никогда в этом смысле не тревожилась за других мальчиков; они, видно, по природе

совсем другие. А тебе нужна жена, Фрэнк. Когда женишься, тебе уже некогда будет думать обо мне.

Фрэнк стоял к ней спиной и не оборачивался. Минут пять она сидела на краю постели, все надеялась дождаться от него хоть слова, потом со вздохом поднялась и вышла.

После отъезда стригалей, когда вся округа поуспокоилась, настроясь на зимний лад, настало время ежегодной Джилленбоунской выставки и скачек. То были главные местные праздники, и продолжались они два дня. Фионе нездоровилось, и когда Пэдди повез Мэри Карсон в город в ее «роллс-ройсе», рядом не было жены, его надежной опоры, чье присутствие заставило бы Мэри придержать язык. Пэдди уже давно заметил – непонятно почему при Фионе его сестра как-то притихает и теряет самоуверенность.

Остальные все поехали. Мальчикам, пригрозив самыми страшными карами, велели вести себя прилично, и они вместе с Питом Пивной Бочкой, Джимом, Томом, миссис Смит и служанками набились в грузовик, но Фрэнк отправился спозаранку один на легковом «фордике». Взрослая часть всей компании оставалась и на второй день, на скачки; из соображений, известных только ей одной, Мэри Карсон отклонила приглашение отца Ральфа, однако настояла, чтобы у него в доме переночевали Пэдди с Фрэнком. Где нашли ночлег другие два овчара и Том, младший садовник, никого не интересовало, а миссис Смит, Минни и Кэт остановились у своих приятельниц в Джилли.

В десять утра Пэдди отвел сестру в лучший номер, каким располагала гостиница «Империял»; потом спустился в бар и у стойки увидел Фрэнка с огромной кружкой пива в руках.

– Теперь я угощаю, старик, – весело сказал он сыну. – Мне придется отвезти тетю Мэри на торжественный завтрак, так надо подкрепиться, а то без мамы мне с таким испытанием не справиться.

Привычный почтительный страх въедается прочно, это понимаешь только тогда, когда впервые пытаешься разорвать его многолетние путы; оказалось, Фрэнк при всем желании просто не в силах выплеснуть пиво отцу в лицо, да еще на глазах у всех в баре. И он допил остатки, криво улыбнулся:

– Извини, папа, я обещал встретиться на выставке с приятелями.

– Ну, тогда иди. На-ка вот, возьми на расходы. Желаю весело провести время, а если напьешься, постарайся, чтоб мать не заметила.

Фрэнк уставился на хрустящую синюю бумажку – пять фунтов. Разорвать бы ее, швырнуть клочки Пэдди в лицо! Но привычка опять взяла верх, он сложил новенькую бумажку, сунул в нагрудный карман и поблагодарил отца. И со всех ног бросился вон из бара.

Пэдди – в парадном синем костюме, жилет застегнут доверху, золотая цепочка с брелком, тяжелым самородком с приисков Лоренса, надежно удерживает в кармане золотые часы – поправил тугой целлулоидный воротничок и взгляделся: не найдется ли в баре знакомого лица. За девять месяцев, с приезда в Дрохеду, он не часто бывал в Джилли, но его-то, брата и, по всей видимости, наследника Мэри Карсон, все знали в лицо, и всякий раз он встречал в городе самый радушный прием. Несколько человек заулыбались ему, несколько голосов окликнули, предлагая выпить пива, очень быстро его окружила небольшая, но дружелюбная компания; и он позабыл о Фрэнке.

Мэгги теперь ходила уже не в локонах (несмотря на деньги Мэри Карсон, ни одной монахини не хотелось об этом заботиться), по плечам ее сбегали две туго заплетенные толстые косы с темно-синими бантами. Монахиня приводила ее в скромном темно-синем форменном платье воспитанницы монастырской школы через монастырскую лужайку в дом отца Ральфа и передавала с рук на руки экономке – та девочку обожала.

– Ох и красота же волосы у крошки, такие только в наших горах увидишь, – с сильным шотландским выговором объяснила она однажды отцу Ральфу; его забавляла эта неожиданная пылкость: вообще-то Энни отнюдь не питала нежных чувств к детям и соседство школы ей совсем не нравилось.

– Полно вам, Энни! Волосы ведь неживые, нельзя же кого-то полюбить только за цвет волос, – поддразнил он.

– Ну, она же милая, бедняжечка – есть такие неубереги, сами знаете.

Нет, отец Ральф не знал и не стал спрашивать, что это за слово «неубереги», и не сказал вслух, что оно даже по звучанию своему подходит к Мэгги. Порой не стоит вникать в смысл речей Энни и поощрять ее излишним вниманием; Энни недаром называет себя вещуньей – и вот жалеет девочку, а ему вовсе не хочется услышать, что жалости достойно не столько прошлое Мэгги, сколько будущее.

Явился Фрэнк, его все еще трясло после встречи с отцом, и он не знал, куда себя девать.

– Пойдем, Мэгги, я сведу тебя на ярмарку, – сказал он и протянул руку.
– Может быть, я отведу вас обоих? – И отец Ральф тоже подал ей руку.

И вот Мэгги идет между двумя людьми, которых боготворит, и крепко-крепко держится за их руки – она на седьмом небе.

Джиленбоунская выставка располагается на берегу Баруона, рядом с ипподромом. Хотя после наводнения минуло полгода, почва еще не просохла и, растоптанная собравшимися пораньше нетерпеливыми зеваками, уже обратилась в жидкую грязь. За стойлами для отборных, первоклассных овец и коров, свиней и коз, соперничающих за награды, разбиты были палатки со всяческой снедью и кустарными поделками местных умельцев. Племенной скот и печенье, вязаные шали и вязаные кофточки и капоры для младенцев, вышитые скатерти, кошки, собаки, канарейки – есть на что посмотреть.

А дальше, за всем этим, – скаковой круг, здесь молодые всадники и всадницы на скакунах с подстриженными хвостами гарцуют перед судьями. Судьи и сами очень похожи на лошадей, решила Мэгги и не удержалась, хихикнула. Наездницы в великолепных амазонках тонкой шерсти, в цилиндрах, кокетливо обмотанных тончайшей вуалью с развевающимися концами, сидят бочком на высоченных лошадях. Мэгги просто понять не могла, как можно в такой шляпе и при такой непрочной посадке удержаться на лошади и сохранить пристойный вид, если она хоть немножко ускорит шаг, но тут на глазах у Мэгги одна блистательная дама заставила своего гордого коня проделать ряд сложнейших прыжков и скачков – и до конца выглядела безупречно. А потом эта дама нетерпеливо пришпорила коня, проскакала галопом по размокшему полю и остановилась как раз перед Мэгги, Фрэнком и отцом Ральфом, преграждая им путь. Перекинула ногу в черном лакированном сапожке через седло и, сидя уже совсем боком, на самом краешке, повелительно простерла руки, затянутые в перчатки:

– Отец Ральф! Будьте столь любезны, помогите мне спешиться!

Он протянул руки, взял ее за талию, она оперлась на его плечи, и он легко снял ее с седла, а как только ее сапожки коснулись земли, отпустил эту тонкую талию, взял лошадь под уздцы и повел; молодая особа пошла рядом, без труда применяясь к его походке.

– Вы выиграете Охотничий заезд, мисс Кармайл? – без малейшего интереса осведомился священник.

Она капризно надула губы; она была молода, очень хороша собой, и ее явно задело странное равнодушие отца Ральфа.

– Надеюсь выиграть, но не вполне в этом уверена. У меня ведь

серьезные соперницы – мисс Хоуптон и миссис Энтони Кинг. Однако состязания по выездке я рассчитываю выиграть, так что если в Охотничьем заезде и не выиграю, огорчена не буду.

Она говорила так гладко, так правильно, до странности чопорно – то была речь благородной особы, столь воспитанной и образованной, что ни живое чувство, ни единое образное слово не скрашивали эту речь. И отец Ральф, обращаясь к ней, тоже заговорил округлыми фразами, приглаженными словами, без следа обаятельной ирландской живости, словно чопорная красавица вернула его к тем временам, когда он и сам был таким.

Мэгги нахмурилась, озадаченная, неприятно удивленная: как легко, но и осторожно они перебрасываются словами, как переменялся отец Ральф – непонятно, в чем перемена, но она есть и ей, Мэгги, перемена эта совсем не нравится. Мэгги выпустила руку Фрэнка, да и трудно им теперь стало идти всем в ряд.

Когда они подошли к широченной луже, Фрэнк уже далеко отстал. Отец Ральф оглядел лужу – она была больше похожа на неглубокий пруд, – и глаза его весело блеснули; он обернулся к девочке, которую по-прежнему крепко держал за руку, наклонился к ней с особенной нежностью – это мисс Кармайкл мигом почувствовала – вот чего не хватало их учтивой светской беседе.

– Я не ношу плаща, Мэгги, милая, и потому не могу бросить его к твоим ногам, как сэр Уолтер Роли. Вы, конечно, извините меня, дорогая мисс Кармайкл, – тут он передал ей поводья ее коня, – но не могу же я допустить, чтобы моя любимица запачкала башмачки, не так ли?

Он легко подхватил Мэгги под мышку и прижал ее к боку, предоставив мисс Кармайкл одной рукой подобрать тяжелую длинную юбку, другой – поводья и шлепать по воде без посторонней помощи. За спиной у них громко захохотал Фрэнк, от чего настроение красавицы отнюдь не стало лучше, и, перейдя лужу, она круто свернула в другую сторону. Отец Ральф спустил Мэгги наземь.

– Вот ей-богу, она бы рада вас убить, – сказал Фрэнк.

Он был в восторге от этой встречи и от рассчитанной жестокости отца Ральфа. Такая красавица и такая гордая, кажется, ни один мужчина перед ней не устоит, даже и священник, а вот отец Ральф безжалостно сокрушил ее веру в себя, в силу дерзкой женственности, которая служила ей оружием. Как будто он, священник, ненавидит ее и все, что она олицетворяет, этот женский мир, утонченный и таинственный, куда Фрэнку еще не случилось проникнуть. Уязвленный словами матери, он очень хотел, чтобы мисс

Кармайкл его заметила: как-никак, он старший сын наследника Мэри Карсон, а она даже не удостоила его взглядом, будто его и нет вовсе. Она была поглощена этим попом, а ведь он существо бесполое. Хоть и высокий, и смуглый, и красавец, а все равно не мужчина.

– Не беспокойтесь, она так просто не уgomонится, – язвительно усмехнулся отец Ральф. – Она ведь богата и в ближайшее воскресенье всем напоказ пожертвует церкви десять фунтов. – Он засмеялся, глядя на изумленное лицо Фрэнка. – Я не намного старше вас, сын мой, но хоть я и священник, а человек очень даже практический. Не ставьте это мне в укор; просто я много в жизни повидал.

Ипподром остался позади, они вышли на площадь, отведенную для всевозможных увеселений. И Фрэнк, и Мэгги вступили сюда, как в волшебную страну. Отец Ральф дал Мэгги целых пять шиллингов, у Фрэнка – пять фунтов; какое счастье, когда можешь заплатить за вход в любой заманчивый балаган. Народу полным-полно, всюду снует детвора, круглыми глазами глядит на завлекательные, подчас довольно неуклюже нарисованные надписи над входом в потрепанные парусиновые шатры: «Самая толстая женщина в мире»; «Принцесса-Гурия, Танец со змеями (спешите видеть, она разжигает ярость Кобры!)»; «Человек без костей из Индии»; «Голиаф, Величайший Силач на Земле»; «Русалка Фетида, Морская Дева». Дети выкладывали монетки и зачарованно смотрели на все эти чудеса и не замечали, как потускнела чешуя русалки и как беззубо ухмыляется кобра.

В дальнем конце площадки, во всю ее ширину, – огромный шатер, перед ним высокий дощатый помост, а над помостом протянуто размазанное полотнище, подобие фриза, с которого грозят зрителям нарисованные фигуры. И какой-то человек закричал в рупор собравшейся толпе:

– Внимание, господа публика! Перед вами знаменитая команда боксеров Джимми Шармена! Восемь лучших в мире боксеров! Храбрецы, испытайте свои силы, победитель получает денежный приз!

Женщины и девушки стали выбираться из толпы, и так же поспешно со всех сторон подходили мужчины, молодые парни и подростки теснились к самому помосту. Торжественно, совсем как гладиаторы, выходящие на арену в цирке Древнего Рима, вереницей выступили на помост восемь человек и стали: перебинтованные в запястьях руки уперлись в бока, ноги расставлены – стоят, красуются под восхищенные ахи и охи толпы. На всех черные, в обтяжку, фуфайки и длинные трико, а поверх тоже облегающие серые трусы до половины ляжек, – Мэгги решила, что они вышли в

нижнем белье. На груди у всех белыми большими буквами выведено: «Команда Джимми Шармена». Они разного роста – есть и очень высокие, и средние, и низенькие, но все на редкость крепкие и складные. Болтают друг с другом, пересмеиваются, небрежно поигрывают мускулами – словом, прикидываются, будто обстановка самая что ни на есть будничная и общее внимание ничуть им не льстит.

– Ну, ребята, кто примет вызов? – орал в рупор зазывала. – Кто хочет попытать счастья? Прими вызов, выиграй пятерку! – опять и опять вопил он, и крики его перемежались гулкой дробью барабана.

– Принимаю! – крикнул Фрэнк. – Иду! Иду!

Отец Ральф хотел было его удержать, но Фрэнк стряхнул его руку, а вокруг в толпе, кто поближе, засмеялись, увидев, что храбрец небольшого росточка, и начали добродушно подталкивать его вперед.

Один из команды дружески протянул руку и помог Фрэнку взобраться по крутой лесенке на помост и стать рядом с восьмеркой, а зазывала с величайшей серьезностью объявил:

– Не смейтесь, господа публика! Он не очень велик ростом, зато первый охотник сразиться. Сами знаете, не тот храбрец, кто великан, а тот великан, кто храбрец! Ну-ка, вот малыш принял вызов, а вы, верзилы, что жметесь? Кто примет вызов и выиграет пятерку, кто померяется силами с молодцами Джимми Шармена?

Понемногу набрались и еще охотники – молодые парни смущенно мяти в руках шляпы и почтительно смотрели на стоящих рядом профессионалов, на избранных и недосягаемых. Отцу Ральфу очень хотелось посмотреть, чем все это кончится, но ничего не поделаешь, давно пора увести отсюда Мэгги, решил он, опять подхватил ее, круто повернулся и пошел было прочь. Мэгги завизжала и с каждым его шагом визжала все громче; на них уже глазели, это было очень неловко, хуже того – неприлично, ведь отец Ральф – лицо в городе всем известное.

– Послушай, Мэгги, я не могу повести тебя туда! Твой отец спустит с меня шкуру – и будет прав!

– Я хочу к Фрэнку, я хочу к Фрэнку! – во все горло завопила Мэгги, она отчаянно брыкалась и пыталась укунить его руку.

– Вот бред собачий! – сказал отец Ральф.

И покорился неизбежному, нашарил в кармане мелочь и двинулся к входу в балаган, косясь по сторонам – нет ли тут кого из мальчишек Клири; но никого из них не было видно – должно быть, состязаются в искусстве набросить подкову на гвоздь либо уплетают пирожки с мясом и мороженое.

– Девочке сюда нельзя, святой отец, – удивленно и негодующе сказал

зазывала.

Отец Ральф возвел глаза к небу:

– Я и рад бы уйти, научите – как? На ее крик сбежится вся джиленбоунская полиция, и нас арестуют за жестокое обращение с ребенком. Ее старший брат будет бороться с одним из ваших молодцов, ей непременно надо посмотреть, как он выйдет победителем.

Тот пожал плечами:

– Что ж, святой отец, не мое дело с вами спорить, верно? Только ради... э-э... только, сделайте милость, глядите, чтоб она не путалась под ногами. Нет-нет, уберите свои деньги, Джимми с вас денег не возьмет.

Балаган заполняли мужчины и мальчишки, все теснились к арене посередине; крепко сжимая руку Мэгги, отец Ральф отыскивал свободное место позади всех, у брезентовой стенки. Воздух был сизый от табачного дыма, и славно пахло опилками, которыми тут для чистоты посыпали пол. Фрэнк был уже в перчатках, ему предстояло драться первому.

Добровольцу из толпы случается, хоть и не часто, выдержать схватку с боксером-профессионалом. Правда, команда Джимми Шармена была не бог весть что, но в нее входили и несколько первоклассных боксеров Австралии. Из-за малого роста Фрэнка против него выставили боксера наилегчайшего веса – Фрэнк уложил его с третьего удара и вызвался сразиться с кем-нибудь еще. К тому времени когда он дрался с третьим из команды, об этом прослышали на площади, и в балаган набилось полно народу, яблоку некуда упасть.

Противникам почти не удавалось задеть Фрэнка, а немногие их удары, попавшие в цель, только разжигали постоянно тлеющую в нем ярость. Глаза у него стали бешеные, он весь кипел, в каждом противнике ему чудился Пэдди, в восторженных воплях зрителей слышалась одна могучая песнь: «Бей! Бей! Бей!» Ох, как он жаждал случая подраться, до чего недоставало ему драки с тех самых пор, как он попал в Дрохеду! Драться! Он ведь не знал иного способа излить боль и гнев – и когда валил противника с ног, ему слышалось, могучий голос твердит уже иную песню: «Убей! Убей! Убей!»

Потом против него выставили настоящего чемпиона-легковеса, которому велено было держать Фрэнка на расстоянии и выяснить, так ли он хорош в дальнем бою, как в ближнем. У Джимми Шармена заблестели глаза. Он всегда был начеку – не сыщется ли новый чемпион, и на таких вот представлениях в глухих городках уже открыл несколько «звезд». Легковес выполнял что велено, и ему приходилось туго, хоть руки у него были длиннее, а Фрэнк, одержимый одним неистовым желанием – свалить,

одолеть, прикончить, – видел одно: враг неуловим, все приплясывает, все ускользает – и преследовал его неотступно. И из каждого захвата, и из града ударов извлекал все новые уроки, ибо принадлежал к той странной породе людей, что даже в порыве страшной ярости способны думать. И он продержался весь раунд, как ни жестоко отделали его опытные кулаки чемпиона, глаз у него заплыл, бровь и губа рассечены. Но он выиграл двадцать фунтов – и уважение всех зрителей.

Улучив минуту, Мэгги вывернулась из рук отца Ральфа и кинулась вон из балагана, он не успел ее удержать. Вышел следом и увидел, что ее стошнило и она пытается вытереть крохотным носовым платком забрызганные башмаки. Он молча подал ей свой платок, погладил огненную головку, которая вздрагивала от рыданий. В балагане его и самого мутило, но, увы, сан не позволял давать себе волю на людях.

– Хочешь подождать Фрэнка или, может быть, пойдем?

– Обожду Фрэнка, – прошептала Мэгги и прислонилась к его боку, благодарная за это ненавязчивое сочувствие.

– Не понимаю, откуда у тебя такая власть над моим несуществующим сердцем? – сказал он в раздумье, полагая, что она, ослабевшая, жалкая, не слушает, и, как многие, кто живет в одиночестве, уступая потребности высказать свои мысли вслух. – Ты ничуть не похожа на мою мать, сестры у меня никогда не было, просто не пойму, что же это такое в тебе и в твоём несчастном семействе... Очень трудно тебе живется, моя маленькая Мэгги?

Из балагана вышел Фрэнк, промакивая платком рассеченную губу, бровь залеплена куском пластыря. Впервые за все время их знакомства лицо у него счастливое – должно быть, так выглядит большинство мужчин после того, что называется «неплохо провести ночь с женщиной», подумал священник.

– Почему тут Мэгги? – свирепо спросил Фрэнк, еще взвинченный после боя.

– Удержать ее можно было бы только одним способом: связать по рукам и ногам и, конечно, заткнуть рот кляпом, – едко ответил отец Ральф; не очень-то приятно оправдываться, но, пожалуй, Фрэнк и на него может кинуться с кулаками. Он опасался вовсе не Фрэнка, но скандала на людях. – Она испугалась за вас, Фрэнк, и хотела быть поближе, своими глазами убедиться, что с вами ничего худого не случилось. Не надо на нее сердиться, она и без того переволновалась.

– Не смей рассказывать папе, что ты сюда совалась, – сказал сестре Фрэнк.

– Если не возражаете, может быть, на этом закончим нашу прогулку? –

предложил священник. – Я думаю, всем нам не помешает отдохнуть и выпить горячего чаю у меня дома. – Он легонько ущипнул Мэгги за кончик носа. – А вам, молодая особа, не помешает еще и хорошенько вымыться.

Пэдди весь день состоял при сестре, и это была сущая пытка, Фиона никогда им так не помыкала; старухе надо было помогать, когда она, брюзжа и фыркая, пробиралась во французских шелковых туфельках по джиленбоунской грязи; улыбаться и что-то говорить людям, которых она достаивала кивком свысока; стоять рядом, когда она вручала победителю главного заезда Джиленбоунский приз – изумрудный браслет. Пэдди, хоть убейте, не понимал, с какой стати, чем бы вручить кубок с золотой пластинкой и солидную сумму наличными, все призовые деньги ухлопали на женскую побрякушку, – слишком чужда была ему сугубо любительская природа этих состязаний; подразумевалось, что люди, занимающиеся конным спортом, не нуждаются в презренном металле и могут пустить выигрыш на ветер ради женщины. Хорри Хоуптон, чей гнедой мерин Король Эдуард выиграл этот изумрудный браслет, в прошлые годы уже стал обладателем других браслетов – рубинового, бриллиантового и сапфирового, но сказал, что не успокоится, пока не наберет полдюжины: у него были жена и пять дочерей.

В крахмальной сорочке и целлулоидном воротничке Пэдди было не по себе, он парился в плотном синем костюме, желудок, привычный к баранине, плохо мирился с экзотической сиднейской закуской из крабов и моллюсков, которую подавали к шампанскому на торжественном завтраке. И он чувствовал себя дурак дураком и не сомневался, что вид у него дурацкий. Его лучший костюм плохо сшит и откровенно старомоден, так и разит глубокой провинцией. И все вокруг ему чужие – все эти шумные, напористые скотоводы, и их солидные высокомерные жены, и долгоязыые, зубастые молодые женщины (в них и самих есть что-то лошадиное) – все эти сливки того, что местный «Бюллетень» именует «скваттократией»^[4]. Ведь они из всех сил стараются забыть о тех днях, когда в прошлом веке они переселились сюда, в Австралию, и захватили обширные земли, которые потом, с созданием Федерации и самоуправления, власти молчаливо признали их собственностью. Эта верхушка вызывает в стране всеобщую зависть, эти люди образовали свою политическую партию, посылают своих детей в аристократические школы в Сиднее, запросто принимают у себя принца Уэльского, когда он является в Австралию с визитом. А он, Пэдди Клири, – простой человек, рабочий. И ничего у него нет общего с этими колониальными аристократами, слишком неприятно

напоминают они ему семейство его жены.

И когда вечером в гостиной отца Ральфа он застал Фрэнка, Мэгги и самого хозяина у пылающего камина – спокойных, довольных, сразу видно, провели день беззаботно и весело, – его взяла досада. Ему отчаянно не хватало незаметной, но надежной поддержки жены, а сестру он терпеть не мог, пожалуй, не меньше, чем когда-то в раннем детстве, в Ирландии. И вдруг он заметил пластырь над глазом Фрэнка, его опухшее лицо и несказанно обрадовался предлогу для вспышки.

– Ты как же это покажешься матери на глаза в таком виде? – заорал он. – Чуть за тобой не уследи, ты опять за старое, кто на тебя косо ни поглядит, сразу лезешь в драку.

Пораженный, отец Ральф вскочил, раскрыл было рот – примирить, успокоить, но Фрэнк опередил его.

– Я на этом заработал деньги, – очень тихо сказал он, показывая на пластырь. – Двадцать фунтов за несколько минут, тетушка Мэри нам с тобой двоим за месяц столько не платит! Нынче в балагане Джимми Шармена я уложил троих классных боксеров и продержался целый раунд против чемпиона в легком весе. И заработал себе двадцать фунтов. Может, по-твоему, мне и не следует этим заниматься, а только нынче сколько народу там было, все меня зауважали!

– Управился с парочкой выдохшихся перестарков на захолульном представлении да и возгордился? Пора подрасти, Фрэнк! Понятно, росту в тебе уже не прибавится, но хоть бы ради матери постарался ума прибавить!

Как побледнел Фрэнк! Лицо – точно выбеленная непогодой кость. Выслушать жесточайшее оскорбление, да еще от кого – от родного отца, и нельзя ответить тем же. Он задышался, еле пересиливая себя, чтобы не пустить в ход кулаки.

– Никакие они не перестарки, папа. Ты не хуже меня знаешь, кто такой Джимми Шармен. И сам Джимми Шармен сказал, из меня выйдет классный боксер, он хочет взять меня в команду и сам будет тренировать. Да еще станет мне платить! Может, росту во мне и не прибавится, зато силы хватает, я кого хочешь разделаю под орех – и тебя тоже, ты, вонючий старый козел!

Пэдди прекрасно понял намек, скрытый в последних словах, и тоже страшно побледнел.

– Да как ты смеешь!

– А кто ж ты есть? Скот похотливый! Ты что, не можешь оставить ее в покое? Не можешь не приставать к ней?

– Не надо, не надо! – закричала Мэгги. Отец Ральф будто когтями

впился ей в плечи, больно прижал к себе. Слезы струились у нее по щекам, она отчаянно, тщетно старалась вырваться. – Не надо, папочка! Ой, Фрэнк, не надо! Пожалуйста, не надо! – пронзительно кричала она.

Но ее слышал один только отец Ральф. Фрэнк и Пэдди стояли лицом к лицу, страх и враждебность наконец обрели выход. Плотина, которая прежде их сдерживала – общая любовь к Фионе, – прорвалась, ожесточенное соперничество из-за нее вышло наружу.

– Я ей муж. И Господь благословил нас детьми, – сказал Пэдди спокойнее, силясь овладеть собой.

– Ты гнусный кобель, ты на каждую сучку рад вскочить!

– А ты весь в гнусного кобеля – своего папашу, уж не знаю, кто он там был! Слава Богу, я-то тут ни при чем! – заорал Пэдди... и осекся. – «Боже милостивый!» – Его бешенство разом утихло, он обмяк, съежился, точно проколотый воздушный шар, руками зажал себе рот, казалось, он готов вырвать свой язык, который произнес непроизносимое. – Я не то хотел сказать! Не то! Не то!

Едва у Пэдди вырвались роковые слова, отец Ральф выпустил Мэгги и кинулся на Фрэнка. Вывернул его правую руку назад, своей левой обхватил за шею так, что едва не задушил. Он был силен, и хватка у него оказалась железная; Фрэнк пытался высвободиться, потом перестал сопротивляться, покорно покачал головой. Мэгги упала на пол и так и осталась на коленях, заливаясь слезами, и только беспомощно, с отчаянной мольбой смотрела то на отца, то на брата. Она не понимала, что произошло, но чувствовала – одного из них она теряет.

– Именно то самое ты и хотел сказать, – хрипло вымолвил Фрэнк. – Наверное, я всегда это знал! Наверное, знал! – Он попытался повернуть голову к священнику. – Отпустите меня, отец Ральф. Я его не трону, клянусь Богом, не трону.

– Клянешься Богом? Да будьте вы прокляты Богом вовеки, вы оба! – прогремел отец Ральф, единственный, в ком теперь кипел гнев. – Если вы погубили девочку, я вас убью! Мне пришлось оставить ее здесь, чтоб она все это слышала, потому что я боялся – уведу ее, а вы тем временем друг друга прикончите, понятно это вам? И лучше бы прикончили, напрасно я вам помешал, остолопы безмозглые, только о себе и думаете!

– Ладно, я ухожу, – тусклым, не своим голосом сказал Фрэнк. – Я поступаю в команду Джимми Шармена и никогда не вернусь.

– Ты должен вернуться! – еле слышно выговорил Пэдди. – Что я скажу твоей матери? Ты ей дороже всех нас, вместе взятых. Она мне вовек не простит!

– Скажи ей, я поступил к Джимми Шармену, потому что хочу чего-то добиться. Это чистая правда.

– То, что я сказал... это неправда, Фрэнк.

Черные глаза Фрэнка сверкнули презрением – чужие, неуместные глаза в этой семье, они озадачили отца Ральфа еще тогда, в день первой встречи: откуда у сероглазой Фионы и голубоглазого Пэдди взялся черноглазый сын? Отец Ральф знаком был с учением Менделя и полагал, что даже серые глаза Фионы этого никак не объясняют.

Фрэнк взял пальто и шапку.

– Ну, ясно, это правда! Наверное, я всегда это знал. Мне вспоминалось, мама играла на своем клавесине в комнате, какой у тебя сроду не было! И я чувствовал: тебя раньше не было, я был до тебя. Сначала она была моя. – Он беззвучно засмеялся. – Надо же, сколько лет я клял тебя, думал, ты затащил ее в болото, а это все из-за меня. Из-за меня!

– Тут никто не виноват, Фрэнк, никто! – воскликнул священник и схватил его за плечо. – Неисповедимы пути Господни, поймите это!

Фрэнк стряхнул его руку и легким, неслышным своим шагом, шагом опасного крадущегося зверя, пошел к выходу.

Да, он прирожденный боксер, мелькнуло в мозгу отца Ральфа – в бесстрастном мозгу прирожденного кардинала.

– «Неисповедимы пути Господни!» – передразнил с порога Фрэнк. – Когда вы разыгрываете пастыря духовного, вы просто попугай, преподобный де Брикассар! Да помилуй Бог вас самого, вот что я вам скажу, из всех нас вы тут один понятия не имеете, что вы такое на самом деле!

Пэдди, мертвенно-бледный, сидя на стуле, не сводил испуганных глаз с Мэгги, а она съежилась на коленях у камина и все плакала и раскачивалась взад и вперед. Он встал, шагнул было к ней, но отец Ральф грубо оттолкнул его.

– Оставьте ее. Вы уже натворили бед! Возьмите там в буфете виски, выпейте. И не уходите, я уложу девочку, а потом вернусь, поговорим. Слышите вы меня?

– Я не уйду, ваше преподобие. Уложите ее в постель.

Наверху, в уютной светло-зеленой спальне, отец Ральф растегнул на девочке платье и рубашку, усадил ее на край кровати, чтобы снять башмаки и чулки. Ночная рубашка, приготовленная заботливой Энни, лежала на подушке; отец Ральф надел ее девочке через голову, скромно натянул до пят, потом снял с нее штанишки. И все время что-то болтал о пустяках –

пуговицы, мол, не хотят расстегиваться, и шнурки от башмаков нарочно не развязываются, и ленты не желают выплетаться из кос. Не понять было, слышит ли Мэгги эти глупые прибаутки; остановившимися глазами она безрадостно смотрела куда-то поверх его плеча, и в глазах этих была невысказанная повесть слишком ранних трагедий, недетских страданий и горя, тяжкого не по годам.

– Ну, теперь ложись, девочка моя дорогая, и постарайся уснуть. Скоро я опять к тебе приду, ни о чем не тревожься, слышишь? И тогда обо всем поговорим.

– Как она? – спросил Пэдди, когда отец Ральф вернулся в гостиную.

Священник взял с буфета бутылку и налил себе полстакана виски.

– По совести сказать, не знаю. Бог свидетель, Пэдди, хотел бы я понять, что для ирландца худший бич – его страсть к выпивке или бешеный нрав? Какая нелегкая вас дернула сказать это? Нет, не трудитесь отвечать! Тот самый нрав. Конечно, это правда. Я знал, что он вам не сын, понял с первого взгляда.

– Вы, видно, все замечаете?

– Многое. Впрочем, довольно и самой обыкновенной наблюдательности, чтобы увидеть – кто-то из моих прихожан встревожен или страдает. А когда я вижу такое, мой долг – помочь, насколько это в моих силах.

– Вас в Джилли очень любят, ваше преподобие.

– Без сомнения, этим я обязан своей наружности. – Священник хотел сказать это небрежно, но против его воли в словах прозвучала горечь.

– Вон вы как думаете? Нет, ваше преподобие, я не согласен. Мы вас любим, потому что вы хороший пастырь.

– Ну, во всяком случае, я, видно, уже по уши увяз в ваших неприятностях, – не без смущения сказал отец Ральф. – Так что давайте выкладывайте, что у вас на душе, приятель.

Пэдди уставился на горящие поленья – он терзался раскаянием, не находил себе места и, чтобы хоть чем-то заняться, пока священник укладывал Мэгги, развел в камине целый костер. Пустой стакан так и прыгал в его трясущейся руке; отец Ральф встал за бутылкой и налил ему еще виски. Пэдди жадно выпил, вздохнул, утер лицо – раньше он не замечал, что по щекам текут слезы.

– Я и сам не знаю, кто отец Фрэнка. Мы с Фионой после познакомились. Ее родные в Новой Зеландии, можно сказать, самые видные люди, у отца за Ашбертоном, на Южном острове, громадное имение, там и овцы, и пшеница. Деньгам счету нет, а Фиа у него

единственная. Я так понимаю, он для нее всю жизнь загодя обдумал: съездит она в Англию, представят ее ко двору, найдут подходящего мужа. В доме она, понятно, ни до какой работы не касалась. У них всего хватало: и горничные, и дворецкие, и лошади, и кареты... Жили как важные господа.

Я там работал подручным на маслобойне, бывало, видел издали – Фиа гуляет с мальчонкой, годика полтора ему. И вот раз приходит ко мне сам Джеймс Армстронг. Дочь, говорит, опозорила семью – незамужняя, а родила. Тогда это, конечно, замяли, хотели сплавить ее подальше, да помешала бабушка, до того расходилась – делать нечего, хоть и неловко, а оставили они ее в доме. А теперь, говорит мне Джеймс, эта бабушка помирает, и уж без нее они от дочки с ее младенцем непременно избавятся. А я, мол, человек одинокий; коли женюсь на ней да обещаю увезти ее с Южного острова, они нам дадут денег на дорогу и еще сверх того пятьсот фунтов.

Что ж, ваше преподобие, для меня пятьсот фунтов – богатство, и одинокая жизнь надоела. Только я всегда был стеснительный, перед девушками робел. Ну и подумал, может, оно и нехудо получится, а что ребенок, так я вовсе не против. Бабушка про это прослышала и, хоть совсем уже плоха была, послала за мной. Голову прозакладываю, прежде она была суцкая ведьма, но что благородная дама – это точно. Она мне рассказала малость про Фиону, но про то, кто отец малыша, – ни звука, и мне неохота было спрашивать. Ну и вот, взяла она с меня слово, что Фиа от меня зла не увидит... она понимала: только она помрет – они свою дочку в два счета из дому выгонят, вот и подсказала Джеймсу, мол, сыщите ей мужа. Я тогда старушку пожалел, Фиа ей была дороже всех на свете.

Хотите верьте, хотите нет, ваше преподобие, а я с Фионой первое слово сказал только в тот день, когда мы повенчались.

– Охотно верю, – прошептал отец Ральф. Посмотрел на свой стакан, залпом выпил виски, потянулся к бутылке и заново наполнил оба стакана. – Значит, вы женились на знатной особе, Пэдди, много выше вас по рождению.

– Ну да. Поначалу я ее до смерти боялся. Она в ту пору была такая красавица, отец Ральф, и такая... сторонняя, что ли, как бы это путем объяснить. Будто ее здесь и нет, будто все это не с ней, а с кем другим происходит.

– Она и сейчас красавица, Пэдди, – мягко сказал отец Ральф. – Я по Мэгги вижу, какая была ее мать, пока не начала стареть.

– Ей нелегко жилось, ваше преподобие, но не отказываться же мне было? Со мной она по крайности пристроена, и уже никто не мог над ней

измываться. Целых два года я набирался храбрости, покуда... ну, покуда не стал ей мужем по-настоящему. И пришлось ее всему научить: стряпать, полы подметать, стирать, гладить. Она ничего не умела.

И ни разу за все годы, что мы женаты, ваше преподобие, ни единого разу она не пожаловалась, и не засмеялась, и не заплакала. Только в самые-самые секретные минуты, когда мы с ней вместе, видно, что Фиа не бесчувственная, и даже тогда она ни словечка не скажет. Я все надеюсь, может, заговорит, и не хочу тоже, почему-то боюсь, вдруг она *того* по имени назовет. Нет-нет, я не говорю, что она ко мне или к детям худо относится. Но я-то ее люблю всей душой, а она, думается, больше уже ничего такого почувствовать не может. Только к Фрэнку. Я всегда знал: Фрэнка она любит больше нас всех, вместе взятых. Наверное, его отца она любила. Только мне про него ничего не известно, кто он был такой, почему ей нельзя было за него выйти.

Отец Ральф, понурясь и часто мигая, смотрел на свои руки.

– Ох, Пэдди, какая адская пытка – жизнь! Слава Богу, у меня только и хватило мужества ходить по самому ее краешку.

Пэдди, пошатываясь, поднялся:

– Ну вот, наделал я дел, верно, ваше преподобие? Выгнал Фрэнка, теперь Фиа мне вовек не простит.

– Вы не можете ей это сказать, Пэдди. Нет, вы не должны ей рассказывать, ни в коем случае. Скажите просто, что Фрэнк сбежал с боксерами, и довольно. Она знает, какой он беспокойный, она вам поверит.

– Не могу же я ей соврать! – ужаснулся Пэдди.

– Надо, Пэдди. Неужели она мало страдала и мучилась? Не взваливайте на нее нового горя.

А про себя священник подумал: как знать? Быть может, любовь, которую она отдавала Фрэнку, она научится наконец дарить и тебе – тебе и той крошке наверху.

– Вы и правда так думаете, ваше преподобие?

– Да, так. О том, что сегодня случилось, больше никто знать не должен.

– А как же Мэгги? Она все слышала.

– О Мэгги не тревожьтесь, это я улажу. Думаю, она не все поняла, знает только, что вы с Фрэнком поссорились. Я ей объясню: раз Фрэнк уехал, сказать матери про вашу ссору – значит только еще сильнее ее огорчить. Впрочем, мне кажется, Мэгги далеко не всем делится с матерью. – Он поднялся. – Идите спать, Пэдди. Не забудьте, завтра вам надо быть таким же, как всегда, и в придачу плясать под дудку Мэри.

Мэгги еще не спала: она лежала с широко раскрытыми глазами, слабо освещенная ночником у постели. Отец Ральф сел рядом и тут заметил, что косы ее все еще заплетены. Он аккуратно развязал темно-синие ленты и осторожно отделял прядь за прядью, пока ее волосы не покрыли сплошь подушку волнистым расплавленным золотом.

– Фрэнк уехал, Мэгги, – сказал он.

– Я знаю, ваше преподобие.

– А знаешь почему, детка?

– Он поссорился с папой.

– Что ты теперь будешь делать?

– Я уеду с Фрэнком. Я ему нужна.

– Ты не можешь уехать, маленькая моя Мэгги.

– Нет, могу. Я хотела сегодня его искать, только у меня ноги не идут, и я не люблю, когда темно. А утром пойду его искать.

– Нет, Мэгги, так нельзя. Пойми, Фрэнку нужно по-своему устроить свою жизнь, пора ему уехать. Я знаю, тебе этого не хочется, но он-то давно уже хотел уйти из дому. Нельзя думать только о себе, дай ему жить по-своему. – Отцу Ральфу показалось, что, опять и опять повторяя одно и то же, он внушит ей эту мысль. – Когда мы становимся взрослыми, это наше право и наше естественное желание – узнать другую жизнь, выйти из стен родного дома, а Фрэнк уже взрослый. Пора ему обзавестись собственным домом, и женой, и своей семьей. Понимаешь, Мэгги? Фрэнк с твоим папой потому и поссорились, что Фрэнку непременно хочется уйти. Вовсе не потому так получилось, что они не любят друг друга. Очень многие молодые люди именно так и уходят из дому, это для них как бы предлог. Эта ссора для Фрэнка просто предлог, чтобы поступить так, как ему очень давно хотелось, предлог, чтобы уйти из дому. Ты поняла, моя Мэгги?

Она посмотрела ему прямо в лицо. Такие усталые глаза были у нее, такие страдальческие, совсем не детские.

– Я знаю, – сказала она. – Знаю. Фрэнк хотел уйти, когда я была маленькая, и не вышло. Папа его вернул и заставил жить с нами.

– Но на этот раз папа не станет возвращать Фрэнка, потому что теперь он уже не может заставить его остаться. Фрэнк ушел навсегда, Мэгги. Он не вернется.

– И я больше никогда его не увижу?

– Не знаю, – честно признался отец Ральф. – Я и рад бы тебе ответить: конечно, увидишь, но никто не может предсказать будущее, Мэгги, даже священник. – Он перевел дух. – Не говори маме, что они поссорились,

Мэгги, слышишь? Это очень, очень ее расстроит, а она не совсем здорова.

– Потому что у нас скоро будет еще ребеночек?

– А что ты об этом знаешь?

– Мама любит отращивать малюток, она много отрастила. И у нее такие милые малютки получаются, ваше преподобие, даже когда она нездорова. Я тоже одного отращу, вроде Хэла, тогда мне не так скучно будет без Фрэнка, правда?

– Партеногенез^[5], – промолвил отец Ральф. – Желаю удачи, Мэгги. Только вдруг ты не сумеешь отрастить ребеночка?

– Ну, у меня есть Хэл, – сонно пробормотала Мэгги, сворачиваясь клубком. Потом спросила: – Ваше преподобие, а вы тоже уедете? Вы тоже?

– Когда-нибудь уеду, Мэгги. Но, наверное, не скоро, так что не волнуйся. Чует мое сердце, что я надолго, очень надолго, застрял в Джилли, – сказал священник, и в глазах его была горечь.

6

Ничего не поделаешь, пришлось Мэгги вернуться домой. Фиа не могла справляться без нее, а Стюарт, оставшись один в Джиленбоунском монастыре, тотчас начал голодовку – и таким образом тоже вернулся в Дрохеду.

Настал уже август и принес жестокие холода. Прошел ровно год с их приезда в Австралию, но эта зима оказалась много холоднее. Дождей нет, от морозного воздуха перехватывает дыхание. На вершинах Большого водораздела, встающего за триста миль к востоку, такой толстый слой снега, какого не видано многие годы, но с минувшего лета, после ливней, принесенных тогда муссонами, западнее Бэррен-Джанкшен не выпало ни капли дождя. Опять надо ждать засухи, говорили в Джиленбоуне, пора ей быть, давно уж не было, видно, теперь не миновать.

Мэгги увидела мать после долгой разлуки – и словно страшная тяжесть ее придавила; быть может, то уходило детство, всколыхнулось предчувствие – вот что значит быть женщиной... С виду Фиа как будто не переменилась, только живот большой; но что-то в ней ослабело, будто пружина в старых усталых часах, которые все замедляют и замедляют ход, пока не остановятся навсегда. Не стало прежней, так свойственной Фионе живости движений. Теперь она неуверенно переставляла ноги, словно позабыла, как это делается, в самой ее походке появилась растерянность; и она совсем не радовалась будущему ребенку, не было даже того

тщательно сдерживаемого удовольствия, с каким она ждала Хэла.

А этот маленький рыжик теперь ковылял по всему дому, поминутно лез куда не надо, но Фиа и не пыталась приучать его к порядку или хотя бы следить, чем он там занят. Она брела все по тому же вечному кругу – от плиты к кухонному столу, от стола к раковине – и уж ничего больше не замечала вокруг. И у Мэгги не оставалось выбора, она заполнила пустоту в жизни малыша и стала ему матерью. Это вовсе не было жертвой, ведь она нежно любила братишку, и он так беспомощно, так охотно принимал всю любовь, которую ей уже хотелось на кого-то излить. Он всегда звал ее, ее имя научился говорить прежде всех других, к ней просился на руки; и это так радовало, это было счастье. Наперекор нудным повседневным заботам – вязала ли она, шила, чинила, стирала и гладила, кормила ли кур или выполняла иную работу по дому – Мэгги все равно была довольна жизнью.

Никто не упоминал о Фрэнке, но каждые полтора месяца, заслышав издали рожок почтальона, Фиа вскидывала голову и ненадолго оживлялась. А потом миссис Смит приносила все, что пришло на имя Клири, письма от Фрэнка там не оказывалось, и мимолетное болезненное оживление вновь угасало.

В доме появились два новых человечка. Фиа родила близнецов, еще двух рыженьких Клири, их называли Джеймс и Патрик. Такие славные мальчишки, все в отца – неунывающие, доброжелательные, они с первых дней оказались на общем попечении, сама Фиа почти не обращала на них внимания, только грудью кормила. Вскоре их стали называть коротко – Джимс и Пэтси; они сделались любимцами женщин в Большом доме – двух старых дев – горничных и бездетной вдовы – экономки миссис Смит, все три давно истосковались по этой радости – нянчиться с малышами. Появление сразу трех любящих матерей помогло Фионе на диво легко забыть о близнецах, и вскоре уже само собой разумелось, что они, когда не спят, почти все время проводят в Большом доме. Мэгги просто недосуг было взять их под свое крылышко, дай Бог управиться с Хэлом, тот не желал с ней расставаться ни на минуту. Неловкие, подобострастные заигрывания миссис Смит, Минни и Кэт Хэлу не по вкусу. Мэгги – вот любящее средоточие его мирка, никто ему больше не нужен, никого он больше не желает – только Мэгги!

* * *

Непоседа Уильямс сменял своих отличных ломовых лошадей и

огромный фургон на грузовик, и теперь почта приходила чаще – раз не в полтора месяца, а в месяц, но от Фрэнка по-прежнему ни слова. И понемногу воспоминание о нем блекло, как всегда блекнут воспоминания, даже самые дорогие сердцу; словно помимо нашего сознания душа исцеляется и заживают раны, как бы ни была велика наша отчаянная решимость ничего не забыть. К Мэгги исцеление приходило с ноющей грустью: уже не вспомнить, какой он был, Фрэнк, смутны стали милые черты, их заслонил некий до святости просветленный облик, так же мало схожий с настоящим Фрэнком, как иконописный Христос – с тем, каким, наверное, был Сын человеческий. А к Фионе из тех молчаливых глубин, где безмолвно совершалось движение ее души, пришло на смену новое чувство.

Происходило это исподволь, никто ничего не замечал. Ведь Фиа всегда замыкалась в молчании, в непроницаемой сдержанности; и эту глубинную внутреннюю перемену никто не успевал уловить, ее ощутил лишь тот, на кого теперь обратилась ее любовь, но не подавал виду. Это потаенное, невысказанное соединяло их и облегчало им груз одиночества.

Пожалуй, иначе и не могло быть, ведь из всех детей один только Стюарт пошел в мать. В свои четырнадцать лет он был для отца и братьев такой же неразрешимой загадкой, как прежде Фрэнк, но в отличие от Фрэнка не вызывал досады и враждебности. Не жалуясь, исполнял все, что велено, работал ничуть не меньше других и ничем не возмущал тишь да гладь в доме. Он был рыжий, как все мальчики, но темнее – волосы цвета красного дерева, а глаза, ясные, прозрачные, словно ключевая вода в тени, казалось, проникли в глубь времен, к началу начал и все видели таким, как оно есть. И он единственный из сыновей Пэдди обещал стать красивым мужчиной, хотя Мэгги в душе не сомневалась, что Хэл, когда вырастет, затмит его. Никто не знал, о чем Стюарт думает: он, как Фиа, был не щедр на слова и никогда ни о чем не высказывал своего мнения. И еще он умел как-то чудно затихать, будто замирало в неподвижности не только тело, но и душа, и сестре, с которой они были погодки, казалось, он куда-то уходит, куда больше никому нет доступа.

Отец Ральф определял это по-другому.

– У этого паренька все не по-людски! – воскликнул он в день, когда привез Стюарта домой из монастыря, где тот без Мэгги устроил голодовку. – Хоть бы он сказал, что хочет домой! Хоть бы сказал, что скучает без Мэгги! Ничего подобного! Просто взял и перестал есть и терпеливо ждет, пока эти тупые головы сообразят, с чего это он. И ни словечка жалобы. Пришел я к нему, заорал: «Ты что, домой хочешь?» – а он

только улыбнулся и кивнул!

Но со временем как-то молчаливо признано было, что Стюарт не пойдет работать на выгонах с Пэдди и с братьями, хоть он уже не маленький. Его дело оставаться при доме, колоть дрова, присматривать за огородом, доить корову – счету нет хозяйственным заботам, а когда на руках трое малых детей, женщинам всюду не поспеть. Да и осторожности ради пускай будет в доме мужчина, хоть и не взрослый, вроде как знак, что есть и другие поблизости. Мало ли кто заявится посторонний – громыхнут чужие сапоги по деревянным ступеням задней веранды, чужой голос окликнет:

– Эй, хозяйка, не накормите прохожего человека?

В здешней глуши они кишмя кишат – сезонники с закатанными в синее одеяло пожитками на горбу скитаются от фермы к ферме, кто из Квинсленда, кто из Виктории; бедолаги, кому не повезло, и такие, кто побаивается связать себя постоянной работой, а предпочитает топтать тысячи миль в поисках неведомо чего. Почти все они люди порядочные: придут, наедятся досыта, сунут в складки одеяла что им дадут – немного чаю, сахару, муки – и уходят по большой дороге, держа путь на Барколу или Нарранганг, позвякивая помятыми жестяными котелками, и за ними плетутся тощие псы. Австралийские путники редко ездят верхом; они передвигаются на своих двоих.

Но изредка появляется и недобрый гость, высматривает дом, где остались одни женщины, без мужчин, не для насилия – для грабежа. А потому в углу кухни, там, где не достанут малыши, всегда был прислонен к стене заряженный дробовик, и Фиа держалась к нему поближе, пока наметанным глазом не определит, каков он, захожий человек. Когда Стюарту поручили заботу о доме, Фиа с радостью передала ему дробовик.

Не все захожие люди оказывались сезонниками, хотя таких было больше всего; к примеру, появлялся на старом «фордике» приказчик из магазина Уоткинса. Он привозил все, что угодно, от лошадиной мази до душистого мыла, совсем не похожего на жесткие катыши из смеси жира и соды, которые варила Фиа в котле прачечной; привозил он и лавандовую воду, одеколон, пудру и крем для обожженной солнцем кожи. Иные вещи никому и в голову бы не пришло купить у другого, только у продавца от Уоткинса; к примеру, имелся у него бальзам, с каким не сравнятся самолучшие аптечные снадобья и притирания, он заживлял все на свете: и разодранный бок овчарки, и язву на ноге у человека. В какую бы кухню ни заглянул приказчик Уоткинса, туда толпой сбегались женщины и нетерпеливо ждали, когда он откинет крышку большущего чемадана со

своим товаром.

Наезжали сюда, на край света, и другие торговцы, правда, не столь аккуратно, а от случая к случаю, но им тоже радовались, и чего они только не предлагали – от сигарет машинной набивки и причудливых курительных трубок до тканей в рулонах, а порой даже дьявольски соблазнительное белье и сверх меры изукрашенные лентами корсеты. А здешним женщинам едва ли раз или два в год удавалось съездить в ближайший город, и они так истосковались, отрезанные от роскошных магазинов Сиднея, от новинок моды и от всяких женских безделушек.

В жизни, кажется, только и осталось, что мухи да пыль. Дождя давным-давно не было, хоть бы побрызгал, прибил бы немного пыль, уgomонил бы мух; ведь чем меньше дождя, тем больше мух и пыли.

Со всех потолков свисают и лениво поворачиваются в воздухе длинные спиральные ленты клейкой бумаги, черные от налипших за день мух. Ни одну тарелку или кастрюлю ни на миг нельзя оставить неприкрытой, она тотчас обращается либо в пиршественный стол для мух, либо в мушиное кладбище; мухами засижены стены, мебель, красочный календарь-реклама джиленбоунского универсального магазина.

А уж пыль! Никакого спасения нет от этой тончайшей бурой пыли, она проникает под самые плотные крышки, набивается в складки одежды и занавесок, скрипит на коже, от нее тускнеют только что вымытые волосы и гладкие, полированные столы, сотрешь эту мутную пленку, не успеешь оглянуться – она снова тут как тут. На полу она лежит толстым слоем, занесенная башмаками, как их ни вытирай, и сухим жарким ветром, задувающим в распахнутые окна и двери; Фионе пришлось свернуть в гостиной персидские ковры, взамен она велела Стюарту прибить линолеум – выписала какой попало из Джиленбоуна.

В кухне, куда больше всего заходило народу с улицы, дощатый пол без конца скребли проволочной мочалкой и щелочным мылом, и он стал белесым, точно старая кость. Фиа и Мэгги посыпали его опилками, которые Стюарт бережно собирал у поленницы, скупно сбрызгивали драгоценной водой и потом выметали влажную, остро пахнущую смолой массу за дверь, с веранды и дальше – на огород, где она понемногу превратится в перегной.

Но ничто не могло остановить наступление пыли, а речка вскоре пересохла, обратилась в цепочку неглубоких луж, и уже неоткуда было накачать воды для кухни и ванной. Стюарт съездил с автомобилем-цистерной к Водоему, привез ее полную, вылил свою добычу в запасной бак, и женщинам пришлось привыкать мыться, мыть посуду и стирать водой, отвратительной по-другому, еще хуже, чем мутная вода из речки.

Эта оказалась жесткая, отдавала едким серным запахом, посуду после нее надо было тщательно вытирать, а вымытые волосы делались тусклыми и сухими, как солома. Дождевой воды в запасе осталось совсем мало, и ее надо было беречь только для питья и стряпни.

Отец Ральф с нежностью наблюдал за Мэгги. Она расчесывала рыжие кудряшки Пэтси, а Джимс стоял рядом, чуть покачиваясь на еще нетвердых ногах, и послушно ждал своей очереди; две пары сияющих голубых глаз с обожанием смотрели на сестру. Мэгги – настоящая маленькая мама. Должно быть, это у женщин врожденное, размышлял отец Ральф, это поразительное пристрастие к младенцам, иначе для девочки ее лет возня с ними была бы не удовольствием, а всего лишь обязанностью и она спешила бы, чуть только можно, сбегать и заняться чем-нибудь поинтереснее. А она нарочно длит это причесывание, закручивает волосы Пэтси пальцами, чтоб не курчавились как попало, а легли волнами. Несколько минут священник любовался ею, потом ударил хлыстом по запыленному сапогу для верховой езды и хмуро посмотрел с веранды туда, где, окутанный плетями глицинии, за призрачными эвкалиптами и перечными деревьями, за всевозможными сараями и службами, отделенный всем этим от жилища старшего овчара – от оси, вокруг которой вращалась вся жизнь фермы, – скрывался Большой дом. Что она замышляет, старая паучиха, что за новые сети она тклет, сидя там, посреди своей паутины?

– Отец Ральф, вы не смотрите! – с упреком сказала Мэгги.

– Извини, Мэгги. Я задумался.

Он обернулся, Мэгги уже причесала Джимса, и все трое стояли и вопросительно смотрели на него; наконец он наклонился, подхватил близнецов, одного правой рукой, другого левой.

– Что ж, идемте в гости к тетушке Мэри, так, что ли?

Мэгги пошла за ним по дороге, она несла его хлыст и вела в поводу каурюю кобылу, а отец Ральф с легкостью как ни в чем не бывало нес под мышками малышей, хотя от речки до Большого дома почти миля ходу. У домика, где помещалась кухня, он передал близнецов с рук на руки восторженно просиявшей миссис Смит и повел Мэгги по дорожке к Большому дому.

Мэри Карсон восседала в своем глубоком кресле. Последнее время она его почти не покидала; да в этом больше и не было надобности, всеми делами имения превосходно управлял Пэдди. Когда вошел отец Ральф, держа Мэгги за руку, она уставилась на девочку таким недобрый взглядом, что Мэгги опустила глаза, под пальцами отца Ральфа чаще затрепетала

жилка ее пульса, и он сочувственно сжал ее руку. Малышка неловко присела, здороваясь с теткой, и пролепетала что-то невнятное.

– Иди на кухню, девочка, выпьешь там чаю с миссис Смит, – отрывисто распорядилась Мэри Карсон.

Отец Ральф опустился в кресло, которое уже привык считать своим.

– Почему вы ее так не любите? – спросил он.

– Потому что ее любите вы, – был ответ.

– Полноте, Мэри! – Чуть ли не впервые он растерялся. – Мэгги очень одинокий ребенок.

– Вы не потому с ней нянчитесь и сами это знаете.

Великолепные синие глаза смерили ее язвительным взглядом; отец Ральф почувствовал себя увереннее.

– Вы, кажется, полагаете, что я растлитель малолетних? Как-никак я – священник!

– Вы прежде всего мужчина, Ральф де Брикассар! Как священник вы чувствуете себя в безопасности, вот и все.

Ошеломленный, он засмеялся. Почему-то сегодня ему не удастся отбивать ее выпады; похоже, она отыскала трещинку в его доспехах и забралась туда со своим паучьим ядом. А он уже не тот, быть может, стареет, привыкает к прозябанию в джиленбоунской глуши. Гаснет былой огонь; или, может быть, теперь его воспаляет не то, что прежде?

– Я не мужчина, – сказал он. – Я священник... Может быть, меня одолела жара, и пыль, и мухи... Но я не мужчина, Мэри. Я священник.

– Ах, как вы изменились, Ральф! – съехидничала она. – Вас ли я слышу, кардинал де Брикассар!

– Это невозможно. – На миг глаза его затуманились печалью. – Кажется, мне это больше и не нужно.

Она засмеялась, покачиваясь в кресле, пристально глядя на собеседника.

– Вот как, Ральф? Кардинальство вам не нужно? Что ж, я предоставляю вам еще немного помучиться, но будьте уверены, час расплаты придет. Еще не завтра, быть может, года через два, через три, но он придет. Я как Сатана-искуситель предложу вам... Пока молчок! Но будьте уверены, я готовлю вам адские муки. Никогда я не встречала мужчины обворожительнее. Своей красотой вы бросаете нам вызов и презираете нас за безрассудство. Но я припру вас к стене вашей же слабостью, и вы продадите себя, как последняя размализованная шлюха. Не верите?

Он с улыбкой откинулся на спинку кресла:

– Верю, что попытаетесь. Но едва ли вы уж так хорошо меня знаете,

как вам кажется.

– Вот как? Время покажет, Ральф, только время покажет. Я стара, у меня только одно и осталось – время.

– А у меня что осталось, по-вашему? Время, Мэри, только время. Время, и пыль, и мухи.

В небе собирались тучи, и Пэдди стал надеяться на дождь.

– Будет пыльная буря, – сказала Мэри Карсон. – Эти тучи дождя не принесут. Нам еще долго ждать дождя.

Напрасно члены семейства Клири воображали, будто уже извели злейшие выходы сурового климата Австралии, их ждало еще одно испытание – пыльные бури на выжженных засухой равнинах. Лишенные умиротворяющей влаги, иссохшая земля и воздух с треском терлись друг о друга, едва ли не высекая искры, напряжение все нарастало и не могло в конце концов не разрядиться гигантским взрывом скопившейся энергии. Небо спустилось совсем низко и так почернело, что Фионе пришлось зажечь в доме лампы; на конюшне лошади вздрагивали и артачились от малейшего шума; куры забирались на насест и пугливо прятали голову под крыло; псы рычали и лезли в драку; домашние свиньи перестали рыться в отбросах на помойке, поглубже уткнулись носами в пыль и только поглядывали по сторонам быстрыми блестящими глазками. Все живое трепетало перед мрачными силами, заключенными в небесах, где огромные непроглядные тучи поглотили солнце и готовились низвергнуть пламя его на землю.

Из дальней дали, все ускоряя шаги, надвигался гром, малые вспышки на горизонте четко высвечивали очертания высоко громоздящихся туч, над иссиня-черными, как полночь, глубинами пенились ослепительно белые закрученные гребни. И вот с воем налетел вихрь, взвил столбы пыли, швырнул ее, колючую, в глаза, в уши, в рот, и все рухнуло. Теперь Пэдди и его домашним нетрудно было вообразить гнев Господень, как его живописует Библия: они ощутили его на себе. От ударов грома все вздрагивали, никто не мог удержаться – гремело яростно, оглушительно, будто шар земной распадался на куски, – но постепенно все, кто был в доме, притерпелись к этому грохоту, немного осмелели, вышли на веранду и неотрывно смотрели за реку, на дальние выгоны. Каждый миг десятки исполинских ветвистых молний вставали по всему горизонту и огнем полосовали небо; вереницы ядовито-синих вспышек проносились, ныряя в тучах, будто играли в какие-то фантастические прятки. Торчащие кое-где среди лугов деревья, в которые ударила молния, исходили едким дымом – и все Клири поняли наконец, почему эти одинокие стражи выгонов мертвы.

В воздухе постепенно разливался жуткий, неестественный свет, самый воздух уже не был невидим, но светился каким-то затаенным, фосфорическим огнем – розовым, лиловым, сернисто-желтым, возник странный запах, въедливо сладкий, неуловимый, ни на что не похожий. От деревьев исходило мерцание, рыжие волосы всех Клири при вспышках молний были точно огненный ореол, волоски на руках стали дыбом. Так длилось целый день, лишь под вечер буря отодвинулась на восток, и с закатом солнца весь этот ужас кончился, но и тогда не пришло успокоение, все были взвинчены, раздражены. Не упало ни капли дождя. А все-таки пережить это буйство природы и остаться невредимыми было все равно что умереть и вновь вернуться к жизни; потом целую неделю только об этом и говорили.

– Радоваться рано, – скупчиво сказала Мэри Карсон.

Да, радоваться было рано. Вторая сухая зима оказалась люто холодной, они и не думали, что возможен такой холод, когда нет снега; за ночь землю покрывал толстый слой инея, собаки, дрожа, съезживались в конурах и не замерзали только потому, что до отвала наедались мясом кенгуру и салом забитого домашнего скота. В морозы по крайней мере можно было вместо опостылевшей вечной баранины есть говядину и свинину. В печах и каминах пылал огонь, и мужчины, когда только могли, поневоле возвращались домой – на выгонах ночью они совсем застывали. Зато стригали съехались веселые: в холод можно работать быстрее и не так обливаться потом. В огромном сарае для стрижки овец, в отделении для каждого мастера, на полу резко выделялся светлый круг – за полвека доски пола обесцветил едкий пот, что роняли, сменяясь, стоявшие тут стригали.

После памятного наводнения еще росла трава, но она зловеще поредела. День за днем небо затягивали тучи, а дождь все не шел. Уныло завывал ветер, проносился по равнине, гнал перед собой вихри и темные завесы пыли, и они напоминали дождь, терзали воображение призраком воды. Она так походила на дождь, эта взметенная ветром пыль.

У детей трескалась кожа на коченеющих пальцах, они старались не улыбаться потрескавшимися губами, носки приклеивались к кровоточащим пяткам и щиколоткам, и их приходилось отдирать. Неутихающий жгучий ветер никак не давал сберечь тепло, ведь дома здесь построены были так, чтобы впустить малейшее дуновение, а вовсе не защищать от него. В ледяных спальнях ложились в постель, в ледяных спальнях вставали по утрам, терпеливо ждали, пока мать плеснет немножко горячей воды из огромного чайника, всегда стоящего наготове, чтобы умывание не превращалось в пытку, от которой зубы поневоле выбивают дробь.

Однажды маленький Хэл начал хрипеть и кашлять, ему становилось все хуже. Фиа смешала горячей воды с золой, сделала из этой каши припарку ему на грудь, но он дышал все так же мучительно трудно. Поначалу она не слишком тревожилась, но шли часы, малыш угасал на глазах, и она уже просто не знала, что делать, а Мэгги сидела около братишки и, ломая руки, без конца твердила про себя молитвы. В шесть вечера, когда вернулся Пэдди, хриплое дыхание Хэла слышно было даже с веранды и губы стали синие.

Пэдди тотчас кинулся в Большой дом, к телефону, но доктор, живший за сорок миль, как раз уехал к другому больному. Запалили на сковородке немного серы и держали над ней Хэла – быть может, от сильного кашля вылетит из гортани пленка, которая медленно душит его... но в груди у него не было сил ее вытолкнуть. Он совсем посинел, дышал судорожно, прерывисто. Мэгги держала братишку на руках и молилась, у нее сердце разрывалось, больно было смотреть, как несчастный малыш борется за каждый вздох. Он ей дороже всех детей в семье; в сущности, она ему мать. Никогда еще она так не хотела быть настоящей взрослой матерью, ей казалось: будь она взрослая женщина, как Фиа, ей была бы дана сила, способная его вылечить. Фиа не может его вылечить, потому что Фиа ему не мать. Растерянная, перепуганная, Мэгги прижимала к себе содрогающееся тельце, пытаясь помочь Хэлу дышать.

Ей и в голову не пришло, что он может умереть, даже когда Фиа и Пэдди, не зная, что еще делать, опустились на колени у кровати и стали молиться. В полночь Пэдди высвободил неподвижное тело из рук Мэгги и тихонько уложил на подушки.

Девочка мгновенно открыла глаза – она задремала было, убаюканная затишьем, оттого что Хэл больше не бился в судорогах.

– Ему лучше, папочка! – сказала она.

Пэдди покачал головой; казалось, он ссохся и постарел, свет лампы падал на изморозь, серебрящуюся у него в волосах и на подбородке, в отросшей за неделю щетине.

– Нет, Мэгги, Хэлу не лучше в том смысле, как ты думаешь, но он успокоился. Бог взял его, и он больше не страдает.

– Папа хочет сказать, что Хэл умер, – ровным голосом сказала Фиа.

– Нет, папочка, нет! Не умер! Не может быть!

Но малыш, утонувший в подушках, был мертв.

Мэгги поняла это с первого взгляда, хотя никогда прежде не видела смерти. Будто не ребенок лежит, а кукла. Мэгги встала и вышла к братьям, они понуро сидели на кухне у очага, будто несли какую-то тягостную вахту,

а рядом миссис Смит, выпрямившись на деревянном стуле, присматривала за крохотными близнецами – их кроватку перенесли в кухню, ведь здесь теплее всего.

– Хэл сейчас умер, – сказала Мэгги.

Стюарт очнулся от глубокой задумчивости, поднял голову.

– Так лучше, – сказал он. – Ведь это покой.

В дверях появилась Фиа, Стюарт поднялся, подошел к матери, но не коснулся ее.

– Ты, наверное, устала, мама. Иди ляг, я разожгу у тебя в спальне камин. Иди, иди ляг.

Фиа молча повернулась и пошла за ним. Боб тоже встал, вышел на веранду. Остальные мальчишки помялись немного, потом вышли за Бобом. Пэдди не появлялся. Миссис Смит, не говоря ни слова, выкатила из угла веранды коляску, осторожно уложила спящих близнецов. По щекам ее катились слезы; она посмотрела на Мэгги.

– Я иду в Большой дом, Мэгги, – сказала она. – Джимса и Пэтси беру с собой. Утром приду опять, но лучше пускай маленькие побудут у нас, я, Минни и Кэт за ними присмотрим. Скажи маме.

Мэгги опустила на стул, сложила руки на коленях. Умер, ее малыш умер! Маленький Хэл, она так о нем заботилась, так любила его, была ему матерью. Место, которое он занимал в ее душе, еще не опустело; она и сейчас ощущает на руках его теплую тяжесть. Четыре долгих года она ощущала эту тяжесть, а больше уже никогда ей не держать его на руках... Ужасно! И тут нет слез; плакать можно было из-за Агнес, из-за ран, от которых не спасала хрупкая скорлупка – чувство собственного достоинства, плакать можно было в детстве, а оно позади и не вернется. Эту новую тяжесть Мэгги должна будет нести до конца дней и жить ей наперекор. В иных людях воля к жизни очень сильна, в других – слабее. В Мэгги она была тонкой и прочной, как стальной трос.

Так и застал девочку отец Ральф, когда привез врача. Мэгги молча показала им в сторону коридора, но не пошла за ними. И очень не скоро священнику удалось, как он жаждал с первой минуты после звонка Мэри Карсон, подойти наконец к Мэгги, побыть с ней, согреть маленькую Золушку семейства Клири толикой душевного тепла, отданного только ей одной. Он сильно сомневался, чтобы хоть кто-то еще понимал, как много значил для нее Хэл.

Но это удалось очень не скоро. Надо было совершить последний обряд – быть может, душа еще не покинула тело, – и поговорить с Фионой, и поговорить с Пэдди, и дать кое-какие практические советы. Доктор уже

уехал, он был удручен, но давно привык к трагедиям, неизбежным, когда пациентов отделяют от врача многие десятки миль. Впрочем, судя по тому, что ему рассказали, он все равно не мог бы ничем помочь так далеко от своей больницы, от помощников и сестер. Забираясь в такую даль, люди сами идут на риск, бросают вызов судьбе и упорствуют наперекор всему. В свидетельстве о смерти он поставит одно слово: круп. Эта болезнь убивает быстро.

Но вот отец Ральф позаботился обо всем, о чем только мог. Пэдди ушел к жене. Боб с братьями – в мастерскую, делать гроб. Стюарт сидел на полу в комнате Фионы, его точеный профиль, так схожий с материнским, тонким силуэтом выделялся на фоне ночного неба за окном; Фиа откинулась на подушки, сжимая в ладонях руку Пэдди, и неотрывно смотрела на сына, который съезжился в темный комок на холодном полу. Уже пять часов, дремотно закопошились петухи на насестах, но до рассвета еще далеко.

На кухне огонь в очаге почти погас; забыв снять с шеи лиловую епитрахиль, отец Ральф наклонился и разжег пламя, потом привернул фитиль лампы на столе за спиной и сел на деревянную скамью напротив Мэгги, присмотрелся к ней. Выросла Мэгги, движется вперед семимильными шагами, вдруг ее уже и не догонишь? И, присматриваясь к ней, он остро, как никогда, ощутил бессилие, сомнение в собственном мужестве – чувство, которое грызло и преследовало его всю жизнь. А чего он, в сущности, боится? С чем, случись оно, не посмеет столкнуться лицом к лицу? Он ведь бывает сильным, когда надо постоять за других, и он никого не боится, но страшно другое, нечто безымянное, неведомое в нем самом, – вдруг оно проскользнет в сознание и застигнет его врасплох? А вот Мэгги, которая моложе его на восемнадцать лет, его перерастает.

Нет, она не святая, она почти такая же, как все. Только никогда не жалуется, это особый дар – а быть может, проклятие? – всеприемлющего терпения. Какова бы ни была утрата, какой бы ни обрушился удар, она встречает их, принимает все, что есть, и хранит в себе и тем питает пламя, горящее внутри. Что научило ее этому? И можно ли этому научиться? Или он просто выдумал ее, приукрасил в своем воображении? Да и не все ли равно? Что важнее – подлинная Мэгги или та, какой она ему кажется?

– Ох, Мэгги, – беспомощно пробормотал он.

Она подняла на него глаза и из глубины страдания улыбнулась ему; была в этой улыбке безмерная, беззаветная, ничем не сдерживаемая любовь, еще не ведающая запретов, что вынуждают женщину скрывать свои чувства. Эта безмерная любовь потрясала его, сжигала – почему,

почему Бог, в чьем бытии он порой сомневался, не создал его другим, кем угодно, только не Ральфом де Брикассаром?! Так, может быть, это оно и есть – то неведомое и опасное, что скрыто в нем самом? О Господи, ну почему он так ее любит? Но, как всегда, никто ему не ответил, а Мэгги все сидела и улыбалась ему.

На рассвете Фиа поднялась и начала готовить завтрак. Стюарт ей помогал, потом пришла миссис Смит, привела Минни и Кэт, и женщины, стоя вчетвером у плиты, толковали о чем-то ровными, приглушенными голосами, словно объединенные неким таинством скорби, которого не понять было ни Мэгги, ни священнику. После завтрака Мэгги пошла выстлать изнутри маленький деревянный ящик, мальчики сработали его на совесть, гладко выстругали и отполировали каждую дощечку. Фиа молча дала ей белое длинное шелковое платье, от старости шелк давно уже сделался желтоватым, как слоновая кость, и Мэгги отмерила полосы ткани точно по внутренним стенкам. Потом прострочила их на машинке, получились чехлы, а отец Ральф наполнил их лоскутами, этой мягкой обивкой затянули внутренние стенки и укрепили ее кнопками. Тогда Фиа обрядила своего малыша в парадный бархатный костюмчик, причесала его и уложила в это мягкое гнездышко, от которого пахло ею, а не Мэгги, не той, что была ему настоящей матерью. Пэдди закрыл гроб крышкой, он плакал – впервые он потерял ребенка.

Парадная зала в Дрохеде уже многие годы служила домашней церковью; в одном конце поставлен был алтарь, монахини из монастыря Святой Марии расшили для него золотом покров, за что получили от Мэри Карсон тысячу фунтов. Миссис Смит убрала алтарь и всю залу зимними цветами из дрохедских садов – несчетными желтофиолями и поздними розами – розовые и ржаво-оранжевые, они казались нарисованными и словно бы только по волшебству источали еще и аромат. Отец Ральф, в белом стихаре без кружев поверх строгой черной сутаны, отслужил заупокойную мессу.

Как почти во всех больших имениях этого далекого края, в Дрохеде покойников хоронили тут же, на своей земле. Кладбище лежало за садами, на поросшем ивами речном берегу, его окружала кованая железная ограда, выкрашенная белой краской, и даже теперь, в засуху, здесь было зелено, потому что поливали водой из дрохедских цистерн. Здесь, во внушительном мраморном склепе, похоронены были Майкл Карсон и младенец – его сын, и мраморный ангел в человеческий рост, с обнаженным мечом в руке, охранял их покой. Но эту пышную гробницу окружало могил десять или двенадцать куда более скромных, границы их

обозначались ровными рядами проволочных белых полукружий наподобие крокетных ворот, да белели простые деревянные кресты, иные даже без имени: лежал тут безродный стригаль, убитый в драке; двое или трое бродяг, на чьем пути Дрохеда оказалась последним привалом; чьи-то безвестные, безымянные кости, найденные на одном из выгонов – неизвестно даже, мужчине они когда-то принадлежали или женщине; китаец – повар Майкла Карсона – над его прахом стоял причудливый ярко-красный зонтик, увешанный крохотными колокольчиками, которые словно бы грустно, нескончаемо вызванивали его имя: Хи Синг, Хи Синг, Хи Синг; какой-то гуртовщик – на его кресте только и было написано: «Чарли с Тэнкстенда, хороший был парень»; и еще несколько покойников, в том числе и женщины. Но Хэла, племянника владелицы Дрохеды, не подобало хоронить так скромно, самодельный гробик поместили в склепе в подобие саркофага, и бронзовые двери искусной работы затворились за ним.

Шло время, и о Хэле говорить перестали, разве что упомянут мельком. Мэгги хранила свое горе про себя; в этой боли, как всегда у детей, скрывалось нерассуждающее отчаяние, непомерное, непостижимое, но как раз оттого, что Мэгги еще не была взрослой, отчаяние заслоняли и отодвигали простые повседневные события. Мальчики не слишком горевали, кроме Боба – он-то, самый старший, нежно любил маленького братишку. Глубока была скорбь Пэдди, но никто не знал, оплакивает ли сына Фиа. Казалось, она все дальше отходит от мужа и детей, отрешается от всех чувств. И Пэдди в душе горячо благодарил Стюарта – вот кто неумоимо, с особенной серьезной нежностью заботился о матери. Один лишь Пэдди знал, какой была Фиа в тот день, когда он вернулся из Джиленбоуна без Фрэнка. Ни искры волнения не вспыхнуло в ее ясных серых глазах, их не оледенили упрек, ненависть или скорбь. Словно она просто ждала удара, как ждет обреченная собака смертоносной пули, зная свою участь и не в силах ее избежать.

– Я знала, что он не вернется, – сказала она тогда.

– Может быть, и вернется, Фиа, только напиши ему поскорей.

Она покачала головой, но не стала ничего объяснять, она оставалась верна себе. Пусть Фрэнк начнет новую жизнь подальше от Дрохеды и от нее. Она слишком хорошо знала сына и не сомневалась: одно ее слово – и он снова будет здесь, а значит, никогда у нее не вырвется это слово. Если дни ее долги и горьки, ибо она потерпела поражение, терпеть надо молча. Она не сама выбрала Пэдди, но лучше Пэдди нет и не было человека на свете. Фиа была из тех людей, кто чувствует слишком сильно, так, что уже

нельзя терпеть, нельзя жить, и она получила жестокий урок. Почти двадцать пять лет она подавляла в себе всякое чувство и убеждена была, что такое упорство в конце концов победит.

Жизнь продолжалась, длился все тот же извечный, размеренный земной круговорот; летом, хоть муссоны и не дошли до Дрохеды, выпали их спутники – дожди, наполнили реку и цистерны, напоили корни изжаждавшейся травы, смыли всепроникающую пыль. Чуть не плача от радости, люди занимались своим делом, как требовало время года, от души отлегло: овцы не останутся без подножного корма. Травы как раз хватило, удалось продержаться до новой, подбавляя ветки самых густолиственных деревьев, – но так было не на всех джиленбоунских фермах. Сколько на ферме скота, это всецело зависит от скотовода, который ею заправляет. Для огромных пастбищ Дрохеды стадо здесь было не так уж велико, а потому прокормиться могло дольше.

Время окота и сразу после него – самая горячая, изнурительная пора в году овчара. Каждого новорожденного ягненка надо подхватить, окольцевать ему хвост, пометить ухо, а барашка, не предназначенного на племя, еще и холостить. Ужасная, отвратительная работа, одежда вся в крови, хоть выжми, потому что в короткий отпущенный на это срок управиться со многими тысячами ягнят-самцов можно только одним способом. Яички зажимают между пальцами, откусывают и сплевывают наземь. Хвосты всех ягнят, без различия пола, перехватывают тугим жестяным кольцом, так что кровообращение нарушается, хвост пухнет, потом высыхает и отваливается.

В Австралии разводят отменнейших тонкорунных овец, и с таким размахом, как нигде в мире, а рабочих рук не хватает, и все здесь предназначено для наилучшего производства наилучшей шерсти. Есть такая работа – очистка: шерсть на заду овцы слипается от навоза, становится зловонной, кишит мухами, чернеет, сбивается в колтун. Поэтому надо ее здесь постоянно выстригать, это и есть очистка. Та же стрижка, хоть и малая, но куда неприятнее, в вони, в туче мух, за нее лучше платят. Затем – мойка: тысячи и тысячи истошно блеющих, скачущих овец надо собрать и прогнать через лабиринт с длинными чанами и каждую на мгновение окунуть в чан с фенилом, такая ванна избавляет животных от клещей, блох и прочей дряни. И еще вливания: в глотку овце суют огромную спринцовку и впрыскивают лекарства, избавляющие от внутренних паразитов.

И нет конца и края этой возне с овцами; едва покончено с одной

работой – пора приниматься за другую. Осматривать, сортировать, перегонять с пастбища на пастбище, подбирать и менять производителей, заниматься стрижкой и очисткой, мойкой и вливаниями, забивать и отправлять на продажу. Помимо овец, в Дрохеде насчитывалось до тысячи голов крупного рогатого скота лучшей породы, но овцы много выгоднее, так что в хорошие времена в имении на каждые два акра приходилось по овце, всего около 125 000 голов. Все это были мериносы, и потому на мясо их не продавали; когда по старости они переставали давать первосортную шерсть, их отправляли на живодерни и кожевенные заводы и превращали в кожи и ланолин, свечное сало и клей.

И вот постепенно для семейства Клири исполнились смыслы классики австралийской литературы. Здесь, в Дрохеде, на краю света, вся семья сильнее, чем когда-либо, пристрастилась к чтению; отрезанных от мира, их только и соединяло с ним волшебство печатного слова. Но поблизости не было, как прежде в Уэхайне, библиотеки с выдачей на дом, нельзя было, как там, каждую неделю ездить в город за письмами, газетами и свежим запасом книг. Отец Ральф заполнял эту брешь, совершая налеты на Джилленбоунскую библиотеку, на книжные полки у себя и в монастыре – и, не успев еще все их перебрать, с удивлением убедился, что при посредстве Непоседы Уильямса и его почтового грузовика основал целую странствующую библиотеку. Среди грузов Непоседы теперь неизменно были книги – затасканные, затрепанные томики путешествовали от Дрохеды к Бугеле, от Диббен-Диббена и Брейк-и-Пвл до Каннаматы и Ич-Юиздж и давали пищу благодарным умам, изголодавшимся и жаждущим вырваться из повседневности. Возвращали эти сокровища очень неохотно, но отец Ральф и монахини тщательно отмечали, где какие книги задерживаются дольше, а затем отец Ральф через агентство в Джилли выписывал новые экземпляры за счет Мэри Карсон и премило уговаривал ее считать это даром Австралийскому обществу книголюбов.

В те времена не всякая книга могла похвастать даже самым целомудренным поцелуем хоть на одной своей странице, никакие эротические описания не щекотали воображение, граница между книгами для взрослых и для отрочества была не столь отчетлива, и ничуть не зазорно было человеку в возрасте Пэдди увлекаться теми же книжками, какими зачитывались его дети: «Крошка и кенгуру», похождения Джима, Норы и Уолли в выпусках «Биллабонга», бессмертный роман миссис Эннис Ган «Мы из неведомого края». Вечерами в кухне по очереди читали вслух стихи «Банджо» Патерсона и К.-Дж. Денниса, восторгались скачкой «Парня со Снежной реки», смеялись вместе с «Чувствительным парнем» и

его Дорин, украдкой утирали слезы, вызванные «Смеющейся Мэри» Джона О'Хары.

Другу Кленси написал я, только адреса не знал я,
В те края письмо послал, где сперва его встречал.
Стригалим он был тогда, я письмо послал туда,
Наугад я написал так: «В Разлив, для Кленси».
И ответ пришел такой, незнакомою рукой,
Будто в деготь обмакнули гвоздь корявый и тупой.
Я спешил ответ прочесть – вот она, про Кленси весть:
«Он овец погнал на Квинсленд, и не знаем, где он есть».
Не унять воображенья, так и вижу что ни день я:
Едет Кленси по равнине, путь вдоль Купера-реки.
Вслед за стадом едет Кленси, распевает песни Кленси,
Так всегда неспешно, с песней гонят скот гуртовщики.
В городах нам неизвестны эти радости и песни.
День приветный, солнце светит, и речной сверкает плес,
Люди дружески встречают, ветерок в кустах играет.
Полночь в небе рассыпает без числа алмазы звезд.

«Кленси с Разлива» были их любимые стихи, авторы «Банджо» – любимые поэты. Не бог весть что за стишки, но ведь эта поэзия и предназначалась не для знатоков и мудрецов, а для простых людей и говорила о простых людях, и в те времена в Австралии куда больше народу знало на память эти стишки, чем обязательные отрывки из Теннисона и Вордсворта, какие задают учить в школе, – в своем роде и это не бог весть какие стишки, да притом вдохновленные Англией. Несчетные нарциссы и лужайки, поросшие асфодалями, ничего не говорили детям Клири – жителям края, где ни нарциссы, ни асфодели существовать не могут.

А поэты австралийской глуши им близки и понятны: ведь Разлив у них под боком и отары, перегоняемые по БСП, – их будни. БСП, Большой Скотопрогонный Путь, проходит близ берегов Баруона, эту своеобразную полосу отчуждения правительство отвело именно для того, чтобы переправлять четвероногий товар по восточной половине материка из конца в конец. В прежние времена гуртовщиков и их голодные отары, которые поедали или вытаптывали на ходу каждую травинку, ждал отнюдь не добрый прием, а погонщики быков, что черепашьям шагом проводили от двух до восьми десятков голов напрямик по лучшим пастбищам

окраинных поселенцев, и вовсе вызывали лютую ненависть. Теперь, при определенных правительством скотопрогонных путях, все это стало полузабытой сказкой, и люди оседлые и перекасти-поле уже не враждовали друг с другом.

Если кому из гуртовщиков случалось заглянуть на ферму – выпить пива, потолковать, поесть разок не всухомятку, их встречали радушно. Иногда с ними бывали и женщины – ездили в какой-нибудь старой разбитой двуколке, обвешанной брякающими и звякающими котелками, кастрюльками, фляжками, точно бахромой, и волокла все это давно забракованная кляча с вытертой шкурой. То были либо самые веселые, либо самые угрюмые женщины края света; они разъезжали от Кайнуны до Пару, от Гундивинди до Гандагаи, от Кэтрин до Карри. Странные женщины: у них никогда не бывало крыши над головой, их жилистые тела не привыкли к мягким матрасам, ни один мужчина не мог тягаться с ними – упорными, выносливыми, как земля, цветущая под их неутомимыми ногами. Дети их, дикие, как птицы в пронизанных солнцем кронах деревьев, пугливо жались к двуколке или бежали и прятались за поленницу, а родители за чаем беседовали с хозяевами, обменивались всякой небывальщиной и книгами, обещали передать путанные поручения какому-нибудь Хупирону Коллинзу или Брамби Уотерсу и ошеломляли слушателей сказочками про Помми-желторотика, новосела Гнарлунги. И почему-то ясно было, что эти перекасти-поле в своих скитаниях по БСП уже вырыли могилу, схоронили ребенка ли, жену, мужа или друга-товарища у подножия какой-нибудь незабвенной придорожной кулибы – ведь все деревья кажутся одинаковыми лишь тем, кто не знает, как сердце может отметить и запомнить в бескрайних лесах одно-единственное дерево.

Во всем, что касается пола и деторождения, Мэгги была совершенной невеждой – жизнь, как нарочно, преграждала ей доступ к каким-либо знаниям по этой части. Отец строго делил семью: мужчинам – свое, женщинам – свое; при матери и сестре никогда не говорили о племенном скоте, о случке и окоте, никогда не показывались им на глаза полуодетыми. Книги, которые дали бы девочке хоть какой-то ключ, в Дрохеде не попадали, и у нее не было подруг, сверстниц, способных пополнить ее образование. Постоянные хозяйственные заботы приковали ее к дому, а вокруг дома не происходило ничего, связанного с полом. На Главной усадьбе почти все животные были холощенные. Мэри Карсон не разводила лошадей, а покупала в Бугеле у Мартина Кинга, у него был конный завод; но если не разводить лошадей, с жеребцами одна морока – и в Дрохеде не

было ни одного жеребца. Был, правда, бык, дикий, свирепый зверь, но соваться туда, где его держали, строжайше запрещалось, и напуганная Мэгги близко не подходила. Собаки сидели в конурах на цепи, о получении чистопородного потомства заботились по всем правилам науки, за этим следили орлиным глазом Боб или сам Пэдди, и сюда тоже доступа не было. И некогда было присматриваться к свиньям – Мэгги их терпеть не могла и досадовала, что приходится задавать им корм. По правде говоря, ей ни к кому некогда было присматриваться, кроме малышей братишек. А неведение порождает неведение; когда тело и разум еще не проснулись, они проспят и такие события, которые естественно отметит тот, кто предупрежден.

Перед самым днем рождения, когда Мэгги исполнялось пятнадцать, в разгар оглушающей летней жары, она стала замечать на трусиках бурые пятна. Дня через два они исчезли, а через полтора месяца опять появились, и тогда стыд сменился ужасом. Сначала она приписала их своей неопрятности, это было унижительно, но во второй раз стало ясно, что это кровь. Мэгги понятия не имела, откуда это – наверное, из кишок. Три дня спустя слабое кровотечение кончилось, и ничего такого не было больше двух месяцев; никто не заметил, как она тайком стирала трусики, ведь на ней лежала почти вся стирка. В следующий раз она почувствовала еще и боль, а ведь у нее никогда в жизни ничего не болело, разве что стошнит от волнения. И кровь шла все сильнее и сильнее. Она потихоньку утащила старые пеленки близнецов и пыталась повязываться под трусиками и дрожала от ужаса – вдруг просочится наружу.

Когда смерть унесла Хэла, то был внезапный, грозный и непостижимый удар судьбы; но какой ужас – уходить из жизни так медленно, постепенно. И мыслимо ли пойти к отцу с матерью и сказать им, что умираешь от какой-то мерзкой, постыдной кишечной болезни? Только Фрэнку она, пожалуй, призналась бы в своих мучениях, но Фрэнк далеко, и неизвестно, где его искать. Мэгги наслушалась разговоров о раке и злокачественных опухолях, за чашкой чая женщины нередко рассказывали о том, как долго, мучительно умирали их подруги, матери, сестры, и теперь она ничуть не сомневалась – ее внутренности тоже пожирает какая-то опухоль, неслышно въедается все глубже, тянется к холодеющему от страха сердцу. Ох, как не хочется умирать!

Смерть она тоже себе представляла смутно. Что станет с ней в непонятном загробном мире? Религия была для Мэгги не духовной пищей, а скорее сводом правил и законов и никак не могла стать ей опорой. В смятенном сознании беспорядочно сталкивались какие-то слова, обрывки

того, что при ней говорили родители, их знакомые, монахини, священники в своих проповедях, чем грозили злодеи в книжках. Нет, никак не могла она примириться со смертью; и по ночам, в растерянности, в ужасе, пыталась вообразить: смерть – это нескончаемая ночь или пропасть с огненными языками, а за ней лежат золотые поля, но через нее надо еще перепрыгнуть; или это что-то вроде исполинского воздушного шара, в нем звучат дивные песнопения и через несчетные цветные стекла внутрь льется свет.

Мэгги как-то притихла, но это было совсем не похоже на мирную, мечтательную отрешенность Стюарта: она застыла, закаменела, как зверек под леденящим взглядом змеи. Она вздрагивала, когда с ней неожиданно заговаривали, и когда ее с плачем звали малыши, суежилась вокруг них, не зная, как искупить недолгую забывчивость. А в редкие свободные минуты убегала на кладбище к Хэлу – единственному знакомому ей покойнику.

Все заметили перемену в Мэгги, но понимали так: девочка становится взрослой, и никто не задумался, а что это для нее значит, – Мэгги слишком хорошо скрывала свое отчаяние. Давние уроки она усвоила прочно, самообладание у нее было потрясающее, гордость неслыханная. Никто не должен знать, что с ней происходит, она не выдаст себя до конца; примеры всегда были перед глазами – Фиа, Фрэнк, Стюарт, а она той же породы и унаследовала тот же нрав.

Но отец Ральф бывал в Дрохеде постоянно, следил за преображением Мэгги, и, когда она расцвела было девической прелестью и вдруг стала гаснуть и утратила всю свою живость, его охватила тревога, а потом и страх. У него на глазах тают, чахнут и тело ее, и душа; Мэгги ускользает от всех, замыкается в себе, и невыносимо смотреть, как она превращается во вторую Фиону. Огромные глаза распахнуты навстречу какому-то надвигающемуся ужасу, матово-бледная кожа, не знающая ни загара, ни веснушек, становится все прозрачнее. Если так пойдет дальше, думал он, скоро от нее останутся одни глаза, она скроется в них, как змея, глотающая собственный хвост, и в мире, невесомый и почти незримый, будет двигаться только серебристый луч, еле уловимый краешком глаза, словно пугливые тени и темные пятнышки, мелькающие на белой стене.

Ну нет, он выяснит, в чем дело, даже если правду придется вырвать у нее силой. Как на грех, совсем несносной стала Мэри Карсон, ее злила каждая минута, которую он проводил в доме Клири; лишь бесконечное терпение, изворотливость и такт помогали отцу Ральфу скрывать, как все в нем бунтует против ее самодурства. И столь несвойственное его натуре пристрастие к Мэгги не всегда одерживало победу над хитроумием природного дипломата, не заглушало и тайного довольства: приятно

видеть, что его обаяние покоряет даже упрямую, вздорную ведьму Мэри Карсон. В душе его бушевала и рвалась с привязи доньне дремавшая нежность, жажда заботиться о чьем-то благополучии, кроме своего собственного, но пришлось признать, что бок о бок с этим чувством уживается и другое: холодная кошачья жестокость, стремление взять верх над тщеславной деспотичной бабой, одурачить ее. О, ему всегда этого хотелось! Старой паучине вовек не взять над ним верх!

Наконец он ухитрился сбежать от Мэри Карсон и застигнуть Мэгги врасплох на маленьком кладбище, в тени совсем не воинственного бледного карающего ангела. Она смотрела в слащаво-умиротворенное лицо статуи, сама олицетворение страха: разительный контраст бесчувственности и чувства, подумалось ему. Но сам-то он здесь зачем? Чего ради он гоняется за ней, как встревоженная наседка, его ли это забота? Разве не матери с отцом полагалось бы выяснить, что с ней творится? Да, но они ничего худого не замечают, для них она значит куда меньше, чем для него. И потом, он ведь пастырь духовный, и его долг – приносить утешение тем, кто одинок и отчаялся. Нестерпимо видеть ее несчастной, но вот беда, так все сложилось, что он день ото дня сильнее к ней привязывается. Столько уже накопилось благодаря ей милых ему случаев и воспоминаний, и это пугает. Любовь к Мэгги и естественное для священника побуждение всегда и всякого духовно поддержать боролись в нем с неодолимым страхом – вдруг станешь кому-то нужен как воздух и кто-то станет как воздух нужен тебе.

Мэгги услышала его шаги по траве, обернулась, сложила руки на коленях, но глаз не подняла. Он сел неподалеку, обхватил руками колени, складки сутаны живописно облекали его, подчеркивая непринужденное изящество стройного тела. Надо приступать без околичностей, решил он, не то она увернется.

– Что случилось, Мэгги?

– Ничего, отец Ральф.

– Неправда.

– Пожалуйста, не спрашивайте, пожалуйста! Не могу я вам сказать!

– Ох, Мэгги! Маловерка! Мне ты можешь сказать все на свете. Для того я здесь, на то я и священник. Я – избранный слуга Божий на земле, именем Господа слушаю, даже прощаю Его именем. И нет во всем Божьем мире ничего такого, маленькая моя Мэгги, чему Господь и я не нашли бы прощения. Ты должна сказать мне, что случилось, милая, ибо если кто может тебе помочь, так это я. Пока я жив, всегда буду стараться помочь тебе, оберечь тебя. Если угодно, я твой ангел-хранитель – и куда более

надежный, чем этот кусок мрамора у тебя над головой. – Отец Ральф перевел дух и наклонился к девочке: – Мэгги, если ты меня любишь, скажи мне, что случилось!

Она стиснула руки.

– Отец Ральф, я умираю, у меня рак!

Он чуть не расхохотался, так внезапно схлынуло владевшее им напряжение; потом посмотрел на бледное до синевы ее лицо, на исхудалые руки и готов был заплакать, зарыдать, выкрикнуть небесам горький упрек в несправедливости. Нет, не могла Мэгги попусту вообразить такое; наверное, тут кроется что-то серьезное.

– Откуда ты знаешь, девочка?

Не сразу она сумела выговорить это вслух, и он вынужден был наклониться к самым ее губам, бессознательно изображая обстановку исповеди – заслонился ладонью, чтобы она не видела его лица, подставил изящной формы ухо, привычное к нечистым признаниям.

– Уже полгода, как это началось, отец Ральф. У меня ужасные боли в животе, но не оттого, что тошнит, и... ой, отец Ральф... столько крови течет!

Отец Ральф резко вскинул голову, во время исповедей этого никогда не случалось, он смотрел на ее пристыженно опущенную головку, охваченный бурей разноречивых чувств, и никак не мог собраться с мыслями. Нелепое, радостное облегчение, дикая злость на Фиону – он готов был ее убить, благоговение, восхищение – такая крошка и так храбро все время держалась, и безмерное, невыразимое смущение.

Как и Мэгги, он был дитя своего времени. В каждом городе, где он бывал, от Дублина до Джиленбоуна, продажные девки нарочно являлись к нему на исповедь и шептали невесть какие выдумки, выдавая их за чистую правду, потому что видели в нем мужчину, только мужчину, и не хотели себе признаться, что бессильны его разбудить. Бормотали ему что-то про развратников, которые их насилуют всеми мыслимыми и немыслимыми способами, про недозволенные игры с другими девчонками, про похоть и прелюбодеяние, нашлись и две-три со столь богатым воображением, что подробно описывали ему свои сношения с какими-то священниками. Он выслушивал их, и все это его ничуть не волновало, было только до тошноты противно, ибо в семинарии муштровали сурово, а человеку его склада нетрудно усвоить такой урок. Но никогда, никогда ни одна из тех девиц не упоминала об этой тайной жизни тела, которая унижает женщину и делает ее существом особой породы.

И никакими силами не удалось сдержать обжигающую волну,

разлившуюся под кожей; преподобный Ральф де Брикассар сидел отворотясь, прикрыв лицо рукой, и мучительно стыдился того, что впервые в жизни покраснел.

Но должен же он помочь своей Мэгги! Он дождался, чтобы краска сбежала со щек, встал, поднял ее и усадил на ровный пьедестал мраморного ангела, теперь они с Мэгги оказались лицом к лицу.

– Посмотри на меня, Мэгги. Нет, ты смотри на меня!

Она подняла измученные глаза и увидела, он улыбается, и разом нахлынула безмерная радость. Не стал бы он так улыбаться, если б она умирала; она прекрасно знает, что очень дорога ему, ведь он никогда этого не скрывал.

– Ты не умираешь, Мэгги, и никакого рака у тебя нет. Не мне следовало бы тебе это объяснять, но уж лучше объясню. Твоей матери следовало давным-давно тебе все рассказать, подготовить тебя заранее, ума не приложу, почему она этого не сделала.

Он вскинул глаза на непроницаемое лицо мраморного ангела и странно, сдавленно засмеялся.

– Боже милостивый! Чего только ты не возлагаешь на меня! – И к замершей в ожидании Мэгги: – Пройдут годы, ты вырастешь, узнаешь больше о жизни и, может быть, станешь со смущением, даже со стыдом вспоминать этот день. Не надо, Мэгги, вспоминай этот день по-другому. Ничего тут нет постыдного, и нечего смущаться. Сейчас, как всегда и во всем, я лишь орудие в руках Господа Бога. Таково мое единственное дело на земле, единственное мое назначение. Ты была очень напугана, ты нуждалась в помощи, и Господь в моем лице ниспослал тебе помощь. Только это и запомни, Мэгги. Я – слугитель Господа и говорю во имя Его. С тобой происходит то, что и со всеми женщинами, Мэгги, только и всего. Каждый месяц у тебя несколько дней будут кровотечения. Обычно это начинается лет в двенадцать, в тринадцать – тебе уже исполнилось тринадцать?

– Мне пятнадцать, отец Ральф.

– Пятнадцать? Тебе?! – Он в сомнении покачал головой. – Что ж, придется поверить. Значит, ты несколько запоздала. Но так будет каждый месяц, лет до пятидесяти, у некоторых женщин это повторяется в точности как фазы луны, у других не так аккуратно. У одних проходит безболезненно, другие сильно мучаются. Никто не знает, почему это бывает так по-разному. Но ежемесячное кровотечение – признак зрелости. Ты понимаешь, что значит слово «зрелость»?

– Конечно, отец Ральф! Я читала! Это когда становишься взрослой.

– Ну, примерно так. Пока продолжаются эти кровотечения, ты можешь иметь детей. Без этого не продолжался бы род человеческий. До грехопадения, говорится в Библии, Ева не менструировала. По-настоящему это называется менструация. Но когда Адам и Ева пали, Бог наказал женщину суровее, чем мужчину, ведь падение, в сущности, совершилось по ее вине. Она соблазнила мужа. Помнишь, как сказано в Писании? «В болезни будешь рождать детей!» А это значит: все, что связано с рождением детей, для женщины неотделимо от мук. Это великая радость, но и великие муки. Таков твой удел, Мэгги, и ты должна с ним примириться.

Мэгги не знала, что точно так же отец Ральф утешил и поддержал бы любую свою прихожанку, хоть и не принимал бы ее судьбу столь близко к сердцу: был бы сама доброта, но суть ее тревоги ему глубоко чужда. И может быть, не так уж странно, что при такой отчужденности тем вернее утешение и поддержка. Словно бы он выше подобных мелочей, а стало быть, они преходящи. Он и сам этого не сознавал, у тех, кто в тяжкий час взывал к нему о помощи, никогда не возникало ощущения, будто он смотрит на них свысока или осуждает их слабость. От многих пастырей подопечные уходят, мучаясь сознанием своей вины, никчемности или гнусности, но у отца Ральфа так никогда не бывало. Ибо люди чувствовали, что и его мучают скорбь и внутренняя борьба – быть может, скорбь, им чуждая, и борьба непонятная, но не менее тяжкая. Сам же он не понимал, и никто не мог бы его убедить, что секрет его влияния и притягательности не столько во внешнем обаянии, сколько в этой холодноватой, почти божественной, но и глубоко человеческой отрешенности его души.

И вот он говорит с Мэгги, как говорил с ней когда-то Фрэнк, будто с равной. Но он старше, мудрее, образованнее Фрэнка, ему спокойнее доверяешься. У него чудесный голос, и как славно звучит – по-английски плавно, но с едва заметным ирландским выговором. Всю тоску и страх как рукой сняло. Но по молодости лет Мэгги одолевало любопытство, теперь ей не терпелось узнать все, что только можно, и ее не смущали сложные умствования, как тех, кому всегда важнее вопрос не «кто», но «почему». Ведь он ее друг, обожаемый кумир, новое солнце на ее небосводе.

– А почему вам не следовало мне про это рассказывать, отец Ральф? Почему вы говорите, что это мама должна была сказать?

– Это сугубо женское дело, Мэгги. Никто никогда не упоминает о менструациях и о своем нездоровье при мужчинах или при мальчиках. Женщины могут говорить об этом только друг с другом.

– Почему?

Он покачал головой и засмеялся:

– Сказать по совести, я и сам не знаю почему. Я даже хотел бы, чтобы было по-другому. Но ты уж поверь мне на слово. Никогда и никому про это даже не заикайся, только с матерью можно говорить, но и ей не рассказывай, что мы с тобой это обсуждали.

– Хорошо, отец Ральф.

Проклятие, до чего трудно выступать в роли матери, сколько надо всего упомнить!

– Теперь иди домой, Мэгги, скажи своей маме, что у тебя идет кровь, и попроси объяснить, что при этом надо делать.

– А у мамы тоже так бывает?

– У всех здоровых женщин так бывает. Только когда они ждут ребенка, это прекращается, пока ребенок не родится. Поэтому женщина и узнает, что у нее будет ребенок.

– А почему это прекращается, когда ждут ребенка?

– Не знаю, Мэгги. Извини, но я, право, не знаю.

– Отец Ральф, а почему кровь идет из кишок?

Он вскинул испепеляющий взгляд на мраморного ангела, тот ответил невозмутимым взором, его-то нимало не трогали женские заботы. Отцу Ральфу становилось невтерпеж. Поразительно, как она дотошно выспрашивает, – она, всегда такая сдержанная! Но он понял, что стал для Мэгги источником сведений обо всем, чего не найти в книгах, и, слишком хорошо зная ее характер, ни намеком не выдал неловкости и смущения. Иначе она замкнется в себе и уже никогда ни о чем его не спросит. И он терпеливо ответил:

– Это не из кишок, Мэгги. Внизу, под животом, у тебя есть скрытый проход, нарочно для детей.

– А, значит, вот они откуда выходят, – сказала Мэгги. – Я всегда думала, как же они выходят наружу.

Отец Ральф усмехнулся и снял ее с мраморного пьедестала.

– Ну вот, теперь ты знаешь. А знаешь, отчего рождаются дети, Мэгги?

– Ну конечно, – с важностью сказала она, радуясь, что у нее есть хоть какие-то познания. – Их отращивают, отец Ральф.

– А почему они начинают расти?

– Потому что хочешь ребеночка.

– Кто тебе это сказал?

– Никто. Я сама догадалась.

Отец Ральф закрыл глаза – нет, никто не может упрекнуть его в трусости, если не станет он объяснять дальше. Остается только пожалеть

Мэгги, но помочь ей больше он не в силах. Хорошенького понемножку.

Мэри Карсон вскоре должно было исполниться семьдесят два года, и она решила по этому случаю устроить прием, каких Дрохеда не видывала уже полвека. День рождения приходился на начало ноября – время, когда жара еще терпима, во всяком случае, для уроженцев Джилли.

– Вы заметили, миссис Смит? – зашептала Минни. – Нет, вы только приметьте! Третьего ноября, вот когда она родилась!

– Ну и что тут такого, Минни? – спросила экономка. Ее, невозмутимо уравновешенную англичанку, несколько раздражала эта истинно кельтская таинственность.

– А как же, она, стало быть, родилась под знаком Скорпиона, верно? Скорпион, вот она кто!

– Понятия не имею, что вы такое говорите, Минни!

– Ох, миссис Смит, миленькая, так ведь для женщины родиться Скорпионом – это хуже нет. Дьяволовы дочери, вот они кто! – сказала Кэт, вытаращив глаза, и перекрестилась.

На миссис Смит все это не произвело ни малейшего впечатления.

– Право слово, Минни, и у вас, и у Кэт ужасная каша в голове, – сказала она.

А вокруг все ходило ходуном, суете и хлопотам не предвиделось конца. Старая паучиха, сидя в глубоком кресле в самом центре своей паутины, так и сыпала распоряжениями – сделать то, сделать это, одно припасти, другое из запасов достать. Обе горничные-ирландки не знали ни минуты передышки – начищали серебро, перемывали сервизы лучшего фарфора, домашнюю церковь снова превращали в залу и готовили к приему гостей соседние с ней комнаты.

Стюарт и несколько сезонных работников прошли с косилкой и косами по лужайкам, пропололи цветочные клумбы, посыпали влажными опилками выложенные испанской плиткой веранды, чтобы нигде не осталось пыли, протерли толченым мелом пол в зале, чтобы танцующим было не слишком скользко, – во всех этих делах больше мешали, чем помогали младшие мальчики Клири. Из самого Сиднея, заодно с устрицами и креветками, крабами и омарами, выписан был оркестр Кларенса О’Тула; нескольких женщин из Джилли наняли помогать во время приема. Вся округа от Радней-Ханиш до Инишмари и от Бугелы до Нарранганга гудела

как улей.

Пока среди мраморных стен эхом отдавались непривычный стук переставляемой мебели и перекликающиеся голоса, Мэри Карсон покинула неизменное глубокое кресло, под села к столу, придвинула к себе лист плотной бумаги, обмакнула перо в чернильницу и принялась писать. Уверенно, ни секунды не медля, хотя бы в сомнении, где поставить запятую. За последние пять лет она обдумала каждое слово, строила, перестраивала и довела до совершенства каждую фразу. И не так долго пришлось писать; понадобилось только два листа бумаги, да и то второй исписан всего на три четверти. Но, дописав последнюю строчку, она несколько минут сидела недвижимо. Ее письменный стол – шведское бюро с откатывающейся крышкой – стоял у одного из высоких, во всю стену, окон, если повернуть голову, видна лужайка перед домом. И она обернулась, когда оттуда донесся смех, – сначала посмотрела рассеянно, потом застыла в ярости. Будь он проклят с его помешательством!

Отец Ральф обучил Мэгги искусству верховой езды; девочка из простой семьи, она никогда прежде не сидела верхом на лошади, и преподобный отец восполнил этот пробел. Как ни странно, дочери простых земледельцев и пастухов редко умеют ездить верхом. Верховая езда, в городе ли, на ферме ли – развлечение для богатых молодых женщин. Да, конечно, девушки вроде Мэгги умеют править двуколкой и упряжкой ломовых лошадей, умеют даже водить трактор, а иногда и легковую машину, но верхом ездят редко. Такой семье верховая лошадь для дочери не по карману.

Отец Ральф привез из Джилли невысокие сапожки на резинках и брюки из плотной саржи для верховой езды и – р-раз! – выложил покупки на кухонный стол в доме Клири. Пэдди, несколько удивленный, поднял голову от книги, которую читал после ужина.

– Что это у вас, ваше преподобие?

– Костюм для Мэгги, чтобы ездил верхом.

– Что-о? – рявкнул Пэдди.

– Что-о?! – пискнула Мэгги.

– Костюм для Мэгги, чтобы ездил верхом. Честное слово, Пэдди, вы просто болван! Наследник самого большого, самого богатого имения во всем Новом Южном Уэльсе – и ни разу не дали единственной дочери сесть на лошадь! Как же она, по-вашему, займет свое место рядом с мисс Кармайкл, мисс Хоуптон и миссис Энтони Кинг? Они-то все – прекрасные наездницы! Мэгги непременно должна научиться ездить и в дамском седле,

и по-мужски, слышите? Я понимаю, вам недосуг, поэтому буду сам ее учить, нравится вам это или не нравится. Если это отчасти помешает ее домашним обязанностям, ничего не поделаешь. Придется вашей жене раз в неделю несколько часов обходиться без помощи Мэгги, только и всего.

Что-что, а спорить со служителем церкви Пэдди не мог, и Мэгги начала ездить верхом. Уже не первый год она об этом мечтала, однажды робко попросила у отца разрешения, но он тут же про это забыл, а больше спрашивать она не посмела: раз папа молчит, значит, не позволяет. А учиться у самого отца Ральфа – что может быть чудеснее! Но Мэгги постаралась скрыть свою радость: ее преклонение перед отцом Ральфом успело уже перейти в пылкую девичью влюбленность. И, прекрасно зная, что этому не бывать, она позволяла себе роскошь втайне мечтать о нем – как бы это было, если бы он обнял ее, поцеловал?

Дальше она в мечтах не заносилась, ибо понятия не имела, что может быть дальше да и есть ли какое-то «дальше». И хоть она знала, что грешно так мечтать о священнике, но никак не могла взять себя в руки и отогнать эти мечты. Только ухитрялась ничем не выдать себя, чтобы он ни в коем случае не догадался о таких незаконных ее мыслях.

Из окна гостиной Мэри Карсон смотрела на отца Ральфа и Мэгги, они шли от конюшни, расположенной по другую сторону дома, дальше от жилища старшего овчара. Работники в имении ездили на обыкновенных рабочих лошадях, этих в стойле не держали, они либо трусили по участкам в упряжке или под седлом, либо в часы отдыха щипали траву вокруг Главной усадьбы. Но была в Дрохеде и конюшня, хотя пользовался ею теперь один отец Ральф. Только для него Мэри Карсон держала двух чистокровных лошадок – беспородные рабочие клячи не для него! И когда он спросил, нельзя ли и Мэгги ездить на его лошадях, тут нечего было возразить. Девчонка ей племянница, и он прав – племянница хозяйки Дрохеды должна уметь ездить верхом.

Каждая косточка в обрюзгшем старом теле Мэри Карсон ныла от досады: если б можно было тогда отказать или уж ездить вместе с ними! Но и отказать она не могла, и взгромоздиться в седло ей уже не под силу. И зло берет, когда видишь, как они шагают по лужайке – он в бриджах и высоких сапогах, в белой рубашке, изящный, точно балетный танцор, она в своих брючках стройна и хороша какой-то мальчишеской красотой. Они так и светились дружеской непринужденностью, и в тысячный раз Мэри Карсон с недоумением подумала: почему никто больше не осуждает эту до неприличия тесную дружбу? Пэдди только радуется ей, Фиа – дубина

несчастливая! – по обыкновению, молчит, а для мальчиков эти двое все равно что брат и сестра. Быть может, она, Мэри Карсон, видит то, чего не видят другие, потому что и сама любит Ральфа де Брикассара? Или ей просто мерещится и ничего тут такого нет, просто мужчина, которому сильно за тридцать, дружит с девочкой-подростком? Чушь! Ни один мужчина за тридцать, даже и Ральф де Брикассар, не будет так слеп, чтобы не разглядеть распускающуюся розу. Даже Ральф де Брикассар? Ха! Особенно Ральф де Брикассар. Уж он-то все видит и замечает. Руки ее тряслись: на лист бумаги внизу брызнули с пера темно-синие капли. Узловатые пальцы придвинули новый лист, опять обмакнули перо в чернильницу и еще раз с прежней уверенностью вывели те же слова. Потом Мэри Карсон тяжело поднялась на ноги и потащилась к двери.

– Минни! Минни! – закричала она.

– Господи помилуй, сама зовет! – послышался голос горничной в зале напротив. Из-за двери выглянуло усыпанное веснушками лицо, ни молодое, ни старое. – Чего вам подать, миссис Карсон, миленькая? – спросила Минни, недоумевающая, отчего старуха, против обыкновения, не вызвала звонком миссис Смит.

– Поди позови городильщика и Тома. Пришли их сюда сейчас же.

– Я сперва скажу миссис Смит?

– Нет! Делай, что тебе говорят!

Том, садовник, семнадцать лет назад был обыкновенным бродягой, скитался по дорогам с котелком и скаткой, нанимался то там то сям на работу, но влюбился в цветники Дрохеды и уже не мог с ними расстаться. Городильщика, вечного кочевника, ибо таково уж его ремесло – без конца ходить по участкам и выгонам, вколачивать в землю столбы для оград и натягивать между ними проволоку, – недавно оторвали от его прямого дела, чтобы к празднеству поправить белую ограду Большого дома. Испуганные неожиданным приглашением, они сразу пришли и стали перед хозяйкой, оба в рабочих штанах, в подтяжках, в нижних рубашках, и от беспокойства вертели в руках мятые шляпы.

– Писать умеете? – спросила Мэри Карсон.

Оба кивнули, глотнули от волнения.

– Хорошо. Вот смотрите, сейчас я подпишу эту бумагу, а вы распишетесь немного пониже, тут же под моей подписью поставите свои фамилии и адреса. Поняли?

Оба кивнули.

– Да смотрите, подписывайтесь в точности так, как всегда, и свой постоянный адрес пишите разборчиво. Можете указать почту, куда вам

писать до востребования, это мне все равно, лишь бы вас можно было разыскать.

Оба смотрели, как она подписывалась; на этих листах только свою подпись она вывела крупно, широко. Подошел Том, с трудом проскрипел брызгающим пером по бумаге, затем городильщик большими круглыми буквами начертил: «Чез. Хоукинс» и адрес в Сиднее. Мэри Карсон неотрывно следила за ними; когда оба кончили, она дала каждому по темно-красной бумажке в десять фунтов и отпустила их, строго-настрого приказав держать язык за зубами.

Мэгги и отец Ральф давно уже скрылись из виду. Мэри Карсон тяжело опустилась на стул у своего бюро, достала еще лист бумаги и снова принялась писать. На сей раз ее перо бегало по бумаге не так быстро и свободно. Порой она медлила, призадумывалась, потом, оскалась в невеселой усмешке, опять писала. Видно, немало ей хотелось высказать, слова теснились, строчки жались друг к другу, и все же ей понадобился второй лист. Наконец она перечитала написанное, собрала все четыре листа, сложила, сунула в конверт и запечатала его красным сургучом.

На празднество должны были явиться только Пэдди, Фиа, Боб, Джек и Мэгги; Хьюги и Стюарту поручено было присмотреть дома за младшими, и они втайне вздохнули с облегчением. Чуть ли не впервые в жизни Мэри Карсон расщедрилась – все получили новое платье, лучшее, какое только можно было заказать в Джилли.

Пэдди, Боб и Джек боялись шевельнуться, закованные в черные фракные костюмы с белыми жилетами, в белоснежные крахмальные рубашки со стоячими воротничками и с белыми галстуками бабочкой. Прием предстоял строго официальный: для мужчин обязательны фрак и белый галстук, для женщин – длинные вечерние платья.

Платье Фионы необыкновенно шло ей – чудесного голубовато-серого оттенка, обильно расшитое бисером, очень открытое, но с длинными, до самой кисти, узкими рукавами, оно струилось до полу мягкими складками совершенно в стиле королевы Марии. Подобно этой царственной особе Фиа высоко и пышно уложила волосы, открыв лоб, а в джиленбоунском универсальном магазине нашлись неплохо сработанное жемчужное кольцо и серьги – подделку различил бы лишь самый искушенный и придирчивый глаз. Картину дополнял великолепный веер из страусовых перьев под цвет платья – отнюдь не лишнее украшение, как могло бы показаться с первого взгляда: была необычайная жара, и в семь вечера ртуть в градуснике еще стояла гораздо выше ста.

Когда Фиа с Пэдди вышли из своей комнаты, сыновья так и ахнули. Никогда еще они не видели родителей такими красивыми, в таком недостижимом великолепии. Сразу видно было, что Пэдди уже шестьдесят один, но держался он с изысканным достоинством государственного мужа; а Фиа в свои сорок восемь вдруг помолодела на десять лет – полная жизни красавица с чарующей улыбкой. Джимс и Пэтси отчаянно разревелись, не желая признавать в этих великолепных незнакомцах маму с папой; вокруг плачущих засуетились, о достоинстве позабыли – мама с папой вели себя по-всегдашнему, и через минуту-другую близнецы уже в восторге им улыбались.

Но дольше всего изумленные взгляды не отрывались от Мэгги. Быть может, вспоминая свои девические годы и разобиженная тем, что остальные приглашенные на празднество девицы выписали наряды из Сиднея, джилленбоунская портниха всю душу вложила в платье для Мэгги. Оно было без рукавов, сборчатый вырез открывал плечи и шею; Фиа засомневалась, но Мэгги умоляла разрешить ей этот фасон, а портниха заверила, что все девушки будут одеты в этом же роде: «Не хотите же вы, чтобы над вашей дочерью смеялись, сочли ее отсталой провинциалочкой?» И Фиа с улыбкой уступила. Чуть приталенное платье из тонкого плотного креп-жоржета схвачено на бедрах поясом из той же материи. Оно матовое, светло-серое, с нежным розоватым отливом – в те годы цвет этот называли «пепел розы»; общими усилиями портниха с Мэгги расшили все платье крохотными розовыми бутонами. И Мэгги подстриглась коротко, как можно ближе к моде «под фокстрот», которая потихоньку докатилась уже и до девушек в Джилли. Конечно, волосы ее, наперекор моде, оставались кудрявыми, но короткая стрижка очень ей шла.

Пэдди открыл было рот, готовый разразиться гневом – он просто не узнал свою маленькую дочку, – и тут же закрыл, не промолвив ни слова: давняя стычка с Фрэнком в доме отца Ральфа кое-чему его научила. Нет, не век ей оставаться его маленькой дочкой – она уже стала юной женщиной и сама робеет от поразительной перемены в себе, которую ей открыло зеркало. Зачем же еще усложнять бедняжке жизнь?

Он с нежностью улыбнулся и протянул руку:

– Ну, Мэгги, ты просто очаровательна! Пойдем, я сам буду твоим кавалером, а Боб и Джек поведут маму.

Всего лишь через месяц Мэгги исполнится семнадцать – и впервые Пэдди почувствовал, что он и вправду стар. Но она его любимица, зеница ока, ничто не должно омрачить первый в ее взрослой жизни бал.

Они медленно пошли к Большому дому, первые гости ожидались еще

не скоро, семья Клири должна была пообедать с Мэри Карсон и потом помогать ей принимать гостей. Никто не желал войти в дом в нечистой обуви, и, значит, отшагав мило по дрохедской пыли, надо было зайти в домик, где кухня, почистить башмаки, отряхнуть пыль с брюк и длинных подолов.

Отец Ральф, как обычно, явился в сутане: никакой фрак или смокинг не шел ему так, как это одеяние строгого покроя, чуть расширяющееся книзу, с длинным рядом черных матерчатых пуговиц впереди, от ворота до самого низа, перехваченное поясом с лиловой каймой – знаком его сана.

Мэри Карсон была вся в белом: белое шелковое платье, белые кружева, белые страусовые перья. Фиа смотрела на нее во все глаза, до того ошеломленная, что ей даже изменила всегдашняя невозмутимость. Так вопиюще нелепо, так некстати старуха вырядилась невестой – чего ради, спрашивается? Ни дать ни взять выжившая из ума старая дева, которая разыгрывает новобрачную. В последнее время она, ко всему, сильно растолстела, и это ее тоже не красит.

Но Пэдди словно не замечал ничего неладного; сияя улыбкой, подошел к сестре, взял ее за руку. До чего славный малый, подумал отец Ральф, который и рассеян, и чуть забавляясь наблюдал эту сценку.

– Ну, Мэри, ты замечательно выглядишь! Прямо как молоденькая!

А на самом деле она была точь-в-точь как королева Виктория незадолго до смерти на широко известной фотографии. Глубокие складки по обе стороны крупного носа, упрямо сжатый властный рот; выпуклые холодные глаза не мигая уставились на Мэгги. И прекрасные синие глаза священника испытующе оглядели племянницу, тетку и снова племянницу. Мэри Карсон улыбнулась брату, взяла его под руку.

– Можешь вести меня к столу, Падрик. Отец де Брикассар поведет Фиону, а мальчики пойдут с Мэгген. – Она через плечо глянула на Мэгги. – Будешь сегодня танцевать, Мэгген?

– Она для этого слишком молода, Мэри, ей еще нет семнадцати, – поспешно сказал Пэдди, вспомнив еще одно свое родительское упущение: никого из его детей не учили танцевать.

– Очень жаль, – уронила Мэри Карсон.

То был блестящий, роскошный, великолепный, ослепительный бал; по крайней мере эти слова переходили из уст в уста. Прибыл с женой, сыновьями и единственной дочерью даже Ройял О’Мара из Инишмари, за двести миль – самый дальний путь, хотя и немногим длиннее, чем у других гостей. Джиленбоунским жителям ничего не стоит прокатиться за двести миль ради крикетных состязаний, а уж ради такого праздника тем более.

Приехал Данкен Гордон из Ич-Юиздж; никто не мог добиться от него ответа – почему он назвал свое имение в такой дали от океана шотландскими, вернее, даже гэльскими словами, которые означают «морской конь», иначе говоря – морж. Приехал Мартин Кинг с женой, сыном Энтони и женой сына; то был старейший поселенец на джилленбоунских землях – Мэри Карсон, всего лишь женщина, не удостоилась этого звания. Приехала Эвен Пью из Брейк-и-Пвл (местные жители, не в силах выговорить сплошные шотландские согласные, называли это имение Брейки-Пул), Доминик О’Рок из Диббен-Диббена, Хорри Хоуптон из Бил-Била и еще человек десять – двенадцать с семьями.

Это были почти сплошь католики, мало кто носил англосаксонские имена; тут было примерно поровну ирландцев, шотландцев и уроженцев Уэльса. Нет, на родине им не приходилось надеяться на равноправие и независимость, а католикам в Уэльсе и Шотландии нечего было рассчитывать и на сочувствие тамошних протестантов. Здесь же, на многих тысячах квадратных миль вокруг Джилленбоуна, они сами себе хозяева и господа, владельцы огромных богатств, и где уж господам английским помещикам с ними тягаться; в пределах Дрохеды, крупнейшего из здешних имений, свободно разместились бы несколько европейских княжеств. Трепещите, князья Монако и герцоги Лихтенштейнские! Вам не сравниться величием с Мэри Карсон. И вот здешние владыки кружатся в вальсе под вкрадчивую музыку оркестра, выпisanного из Сиднея, а потом снисходительно смотрят, как их дети отплясывают чарльстон; они едят паштет из омаров и свежие устрицы со льда, пьют выдержанное пятнадцатилетнее шампанское из Франции и двенадцатилетнее шотландское виски. Если уж говорить по совести, они с большим удовольствием ели бы жареного барашка или солонину и запивали дешевым, крепким бандабергским ромом или графтонским пивом прямо из бочки. Но приятно знать, что к твоим услугам самые изысканные яства и напитки – стоит только пожелать.

Да, бывают и скудные годы, и нередко. Доходы от шерсти в хорошие годы откладывались впрок, чтобы пережить годы плохие, ибо никто не может предсказать, будет ли дождь. Но вот выпало уже несколько добрых лет кряду, а в Джилли почти не на что тратить деньги. О, если уж ты очутился на плодородных черноземных равнинах Великого Северо-Запада, нет для тебя лучшей земли. Они не тосковали по прежней своей родине и не совершали туда паломничества; что сделала для них Англия, кроме как унижала и преследовала за их верования? Австралия же и сама страна католическая, здесь они равные среди равных. И Великий Северо-Запад

стал для них новой родиной.

И притом нынче за все платит Мэри Карсон. Уж она-то может себе это позволить. По слухам, у нее денег хватило бы, чтобы купить и продать даже английского короля. Ее капиталы вложены в сталь, в серебро, цинк и свинец, в медь и золото и еще в десятки всяких копей, рудников и предприятий, почти все в такие, на которых в прямом и переносном смысле делают деньги. Дрохеда уже давно отнюдь не главный источник ее доходов; теперь это всего лишь выгодная забава.

Ни за обедом, ни после отец Ральф не заговаривал с Мэгги; весь вечер он старательно ее избегал. Обиженная, она все время искала его глазами. Он ощущал на себе ее взгляд, и ему очень хотелось подойти и объяснить, что ее да и его доброму имени только повредит, если он станет уделять ей больше внимания, чем, к примеру, мисс Кармайл, мисс Гордон или мисс О'Мара. Так же как Мэгги, он не танцевал и, так же как Мэгги, притягивал множество взглядов; бесспорно, они двое превзошли красотой всех присутствующих.

Отец Ральф как бы раздвоился — одна половина его существа возмущалась видом Мэгги в этот вечер, ему неприятны были и эта короткая стрижка, и прелестное платье, и элегантные шелковые туфельки того же цвета «пепел розы» на высоченных двухдюймовых каблуках; она и так стала выше ростом, и фигурка ее теперь — сама женственность. А другая половина его души преисполнилась гордости: его Мэгги затмила всех девушек в зале. У мисс Кармайл точеные аристократические черты лица, но ей не хватает необычайного сияния этих золотисто-рыжих волос; у мисс Кинг чудесные белокурые косы, но не такое гибкое тело; у мисс Маккейл фигура изумительная, но физиономия точно у лошади, которая тянется через забор за яблоком. И однако, острее всего он ощущал разочарование — ну почему, почему нельзя повернуть время вспять! Ему вовсе не нужна взрослая Мэгги, ему нужна девчурка, с которой можно обращаться как с нежно любимым ребенком. На лице Пэдди он подметил словно бы отражение своих мыслей и слабо улыбнулся. Каким блаженством было бы хоть раз в жизни не скрывать того, что чувствуешь! Но привычная выучка и благоразумие въелись ему в плоть и кровь.

А вечер продолжался, и все непринужденнее становились танцы, пили уже не шампанское и виски, а ром и пиво, и празднество теперь больше напоминало обыкновенную веселую вечеринку на простой ферме после стрижки овец. Сюда бы хоть одного овчара да работницу с фермы — и к двум часам ночи уже никто не отличил бы этот прием от обычного в джиленбоунской округе гулянья, развлечения вполне демократичного,

открытого для всех.

Пэдди и Фиа все еще помогали хозяйничать, но Боб с Джеком и Мэгги ровно в полночь ушли. Родители этого не заметили, им было весело: их дети не умели танцевать, но они-то умели – и танцевали вовсю, больше друг с другом; зоркому глазу отца Ральфа они вдруг показались на диво подходящей парой – быть может, как раз потому, что им так редко случалось дать себе волю и порадоваться друг на друга. Отец Ральф не помнил, чтобы ему хоть раз пришлось видеть их одних и тут же не вертелся бы кто-нибудь из детей, – а ведь это нелегко в больших семьях, подумалось ему, родителям никогда не удастся побыть наедине, разве что в спальне, а тогда, пожалуй, им уже не до разговоров, это можно понять. Что весел и жизнерадостен Пэдди – не диво, он всегда такой, но вот Фиа нынче вечером просто блистательна, и, когда Пэдди приличия ради учтиво приглашает на танец супругу какого-нибудь овцевода, у нее отбоя нет от кавалеров; между тем женщины куда моложе уныло сидят вдоль стен огромной залы, и никто не стремится с ними танцевать.

Впрочем, отец Ральф лишь урывками наблюдал за Клири-родителями. После ухода Мэгги он словно на десять лет помолодел, необычайно оживился и совсем ошеломил девиц Хоуптон, Маккейл, Гордон и О'Мара, станцевав – и превосходно – с мисс Кармайкл блэк-ботом. Но после этого он прошелся в танце по очереди с каждой свободной девушкой в зале, даже с некрасивой бедняжкой мисс Пью – к этому времени гости чувствовали себя уже совсем непринужденно, исполнились благодушия, и никто ничуть не осудил святого отца. Напротив, все вслух восхищались его неутомимой добротой. Никто не мог бы сказать, что его дочери не довелось потанцевать с преподобным де Брикассаром. Разумеется, не будь это прием в частном доме, он не позволил бы себе развлекаться танцами, но как приятно видеть, что такой обаятельный человек в кои веки может и повеселиться.

В три часа ночи Мэри Карсон поднялась на ноги и зевнула.

– Нет, праздник продолжается, – сказала она. – Если я устала (а я и правда устала), я могу пойти и лечь и сейчас так и сделаю. Но еды и питья хватает, оркестр для того и нанят, чтобы играть, пока у кого-то еще есть желание танцевать, а если немножко шумно, я только скорее усну. Отец Ральф, не поможете ли мне подняться наверх?

Выйдя из залы, она, однако, не повернула к великолепной лестнице, ведущей на второй этаж, а, тяжело опираясь на руку священника, направилась к своей гостиной. Дверь была заперта; Мэри дала спутнику ключ, подождала, пока он отпер, и первая вошла в комнату.

– Прекрасный вечер, Мэри, – сказал он.

- Последний для меня.
- Не говорите так, дорогая.

– Отчего же? Мне надоело жить, Ральф, с меня хватит. – Недобрые глаза ее смотрели насмешливо. – Вы что, не верите? Вот уже семьдесят лет с лишком я делаю только то, что хочу, и тогда, когда хочу, и если смерть воображает, будто в ее воле назначить мой последний час, она сильно ошибается. Я умру, когда сама захочу, и это никакое не самоубийство. Наша воля к жизни – вот что нас здесь держит, Ральф; а если всерьез хочешь с этим покончить, ничего нет проще. Мне надоело, и я хочу с этим покончить. Только и всего.

Ему тоже надоело – не то чтобы жить, надоели маска вечной сдержанности, безжалостный климат Австралии и то, что нет друзей, нет людей душевно близких, и сам себе он надоел. В гостиной был полумрак, его почти не рассеивала высокая керосиновая лампа под абажуром бесценного рубинового стекла, и от прозрачных алых теней в упрямом лице Мэри Карсон проступало нечто совсем уже дьявольское. У отца Ральфа побаливали ноги и спина, давным-давно он так много не танцевал, хотя и гордился тем, что следит за новейшими причудами моды. Ему уже тридцать пять, он приходский священник в глубокой провинции, а много ли это в иерархии католической церкви? Карьера его не успела начаться – и уже кончена. Ох уж эти мечты юности! У него не хватило стойкости в час испытания. Но никогда он не повторит такой ошибки. Никогда, ни за что...

Он беспокойно покачал головой, вздохнул – что толку об этом думать. Случая больше не представится. Пора посмотреть правде в глаза, пора уже расстаться с надеждами и мечтами.

– Помните, Ральф, я вам сказала – моя возьмет, я вас побью вашим же оружием?

Сухой старушечий голос ворвался в его раздумья, навевая усталостью. Он посмотрел на Мэри Карсон и улыбнулся.

– Дорогая Мэри, я никогда не забываю ни одного вашего слова. Просто не знаю, что бы я делал без вас эти семь лет. Ваше остроумие, ваше лукавство, ваша проницательность...

– Будь я помоложе, я бы вас заполучила другим способом, Ральф. Вам вовек не понять, до чего мне хотелось скинуть с плеч лет тридцать. Если бы ко мне явился дьявол и предложил – продай мне душу и стань опять молодой, я бы мигом согласилась и ничуть не пожалела бы о сделке, как этот старый осел Фауст. Да только нет его, дьявола. Меня, знаете ли, ничто не убедило, будто Бог и дьявол на самом деле существуют. Ни разу не видела ни малейших доказательств. А вы?

– И я не видел. Но это убеждение опирается не на доказательства, Мэри. Оно опирается на веру, вера – вот на чем стоит католическая церковь. Если нет веры – нет ничего.

– Весьма непрочная основа.

– Возможно. Думаю, верить способен каждый. Признаюсь, я вынужден постоянно с собою бороться, дабы веру сохранить, но никогда я не сдамся.

– С удовольствием разбила бы вас в пух и прах.

Синие глаза его смеялись, при этом свете они казались серыми.

– Дорогая моя Мэри, что-что, а это я хорошо знаю!

– А знаете ли почему?

Бесконечная нежность украдкой подобралась к нему и, пожалуй, проникла бы в душу, но он яростно воспротивился.

– Знаю, Мэри, и, поверьте, мне очень жаль.

– Много ли женщин любило вас, не считая вашей матери?

– А я не знаю, любила ли меня моя мать. Во всяком случае, под конец она меня возненавидела. Почти все женщины меня ненавидят. Напрасно меня не окрестили Ипполитом.

– Ого! Это мне многое объясняет.

– А что до других женщин, пожалуй, только Мэгги... Но она еще совсем девочка. Вероятно, не будет преувеличением сказать, что сотни женщин меня желали, но любили?.. Сильно сомневаюсь.

– Я вас любила, – с волнением сказала она.

– Нет, не любили. Я оказался вызовом вашей старости, только и всего. Одним своим видом я вам напоминаю о том, что вам в ваши годы уже недоступно.

– Ошибаетесь. Я вас любила. Еще как! Вы что думаете, раз я стара, стало быть, уже не могу любить? Так вот, преподобный отец де Брикассар, я вам кое-что скажу. Запертая в этом дурацком теле, как в тюрьме, я еще молода – еще способна чувствовать, и желать, и мечтать, и еще как бунтую, и злюсь на свои оковы, на свое тело. Старость – самое жестокое мщение, которое на нас обрушивает мстительный Бог. Почему он заодно не старит и наши души? – Она откинулась на спинку кресла, закрыла глаза, оскалила зубы в угрюмой усмешке. – Мне, конечно, прямая дорога в ад. Но сначала, надеюсь, мне удастся высказать Господу Богу, до чего он жалкое, злобное ничтожество!

– Вы слишком долго вдовели, Мэри. Господь предоставил вам свободу выбора. Вы могли снова выйти замуж. И если вы предпочли замуж больше не выходить и потому страдали от одиночества, эту участь вы избрали

сами, Бог тут ни при чем.

Она молча изо всех сил вцепилась в ручки кресла; не сразу ее немного отпустило, и она открыла глаза. В свете лампы они красновато сверкнули, но не от слез; то был какой-то жесткий, режущий блеск. У отца Ральфа перехватило дыхание, ему стало жутко. Настоящая паучиха!

– Ральф, у меня на бюро лежит конверт. Дайте его сюда, пожалуйста.

Опасливо, с ноющим сердцем, он поднялся, взял письмо, с любопытством на него взглянул. На лицевой стороне конверта никакой надписи, но он запечатан как положено, на красном сургуче оттиснута печать Мэри Карсон – знак Овна и прописное «Д». Отец Ральф подошел и протянул ей конверт, но она не взяла и только махнула ему, чтобы сел на свое место.

– Это вам, – сказала она и усмехнулась. – Это орудие вашей судьбы, Ральф, вот что это такое. Мой последний, решающий удар в нашем долгом поединке. Как жаль, что меня уже не будет и я не увижу развязки. Но я прекрасно знаю, какова будет развязка, ведь я знаю вас, знаю куда лучше, чем вы воображаете. Несносный гордец! Тут, в конверте, ваша судьба, вот чем решится – что станет с вашей жизнью и с вашей душой. Приходится отдать вас этой девчонке Мэгги, но уж я позаботилась, чтобы и она вас не заполучила.

– Почему вы так ненавидите Мэгги?

– Я вам уже однажды сказала. Потому что вы ее любите.

– Да ведь это совсем не та любовь! Она – мой ребенок, ведь у меня детей не будет, она – радость моей жизни. Мэгги для меня некий образ, Мэри, просто образ!

Старуха насмешливо фыркнула.

– Не желаю я говорить про вашу драгоценную Мэгги! Я вас вижу в последний раз и не желаю тратить время и слушать, что вы там про нее толкуете. Вот письмо. Поклянись мне, дайте слово священника, что вы не вскроете конверт, пока своими глазами не увидите мой труп, но тогда прочтете его сразу, немедленно, прежде чем похороните меня. Клянись!

– Зачем же клятвы, Мэри. Я все сделаю, как вы хотите.

– Клянись, или я возьму письмо обратно!

Он пожал плечами:

– Что ж, хорошо. Даю слово священника. Клянусь, что не вскрою это письмо, пока не увижу вас мертвой, а тогда прочту его прежде, чем вас похоронят.

– Вот и хорошо!

– Мэри, пожалуйста, не тревожьтесь. Вам все это просто кажется.

Завтра утром вы сами над этим посмеетесь.

– Утром меня уже не будет. Я умру сегодня ночью; не так я слаба, чтобы ждать дольше только ради удовольствия еще раз вас увидеть. Какое облегчение! Теперь я лягу. Поможете мне подняться по лестнице?

Он ей не верил, но какой смысл спорить, и не в том она настроении, чтобы можно было свести все к шутке. Один Бог решает, когда человеку умереть, разве что по своей воле, тоже дарованной Богом, он сам лишит себя жизни. А она ведь сказала, что этого не сделает. И отец Ральф помог ей, грузной, одышливой, подняться по лестнице и на площадке взял ее руки в свои, наклонился, хотел поцеловать их.

Она отдернула руки.

– Нет, не сегодня. В губы, Ральф! В губы, как будто мы – любовники!

В ярком свете люстры, где ради праздника зажжены были четыреста восковых свечей, она увидела на его лице отвращение, он невольно отпрянул – и ей страстно захотелось умереть, умереть сейчас же, сию минуту.

– Мэри, я священник! Я не могу!

Мэри Карсон засмеялась жутким, пронзительным смехом.

– Ох, Ральф, ну и подделка же ты! Поддельный мужчина, поддельный священник! А еще имел наглость когда-то предложить мне заняться любовью! Так твердо был уверен, что я откажусь? Эх, жаль, я отказалась! Душу черту продала бы. Лишь бы вернуть тот вечер, поглядеть бы, как ты вывернешься! Подделка, фальшивая монета! Вот что ты такое, Ральф! Никчемная подделка, импотент! И не мужчина, и не священник! Да ты не способен разохотиться даже на святую Деву Марию! Ты ж, наверное, за всю жизнь ни разу не мог бы взять женщину, преподобный отец де Брикассар! Подделка!

Солнце еще не взошло, даже не начинало светать. Непроглядная тьма жарким мягким одеялом окутывала Дрохеду. Гости расшумелись вовсю; будь здесь поблизости соседи, они давно бы вызвали полицию. Кого-то шумно и мерзко рвало на веранде, а под негустым кустом хвоща слились воедино две неясные тени. Отец Ральф обошел стороной упившегося и любовников и молча зашагал по свежескошенной лужайке; такая мука терзала душу, что он не разбирал, куда идет. Все равно куда, лишь бы подальше от ужасной старой паучихи, убежденной, что в эту чудесную ночь она сплетет свой погребальный кокон.

В такой ранний час жара еще не изнуряла; в воздухе ощущалось чуть заметное медлительное дуновение, вкрадчиво, томно благоухали боронии и

розы, во всем – чудесная умиротворенность, какая ведома лишь тропикам и субтропикам. Жить, о Господи, жить полной жизнью! Наслаждаться этой ночью, быть подлинно живым, быть свободным!

Он остановился на дальнем краю лужайки, поднял глаза к небу – живая антенна, взыскующая божества. Что же таится в ночном небе, что там, среди мерцающих огоньков, в этой чистейшей, недоступной выси? Быть может, когда откинут голубой заслон дня, человеку дозволено заглянуть в вечность? Только эта бесконечная звездная россыпь, только она одна и убедит, что Бог – есть и у времени ни начала, ни конца.

«Да, старуха права. Подделка, подделка во всем. Не священник и не мужчина. Только хотел бы понять, как быть мужчиной и священником. Нет! Не тем и другим! Священник и мужчина не могут существовать в одном лице – если ты мужчина, значит, не священник. Почему, почему я когда-то запутался в ее паутине? Она ядовита, я и не догадывался, что яд так силен. Что в этом письме? Это очень в духе Мэри – подкинуть мне приманку! Много ли она знает или о многом лишь догадывается? А что тут знать, о чем догадываться? Только пустота и одиночество. Сомнения, тоска. Всегда тоска. Но ты ошибаешься, Мэри. Я вполне мог бы взять женщину. Просто я отказался от желания, годы потратил – и доказал себе, что с желанием можно совладать, подавить его, обуздать, ибо желание присуще мужчине, а я – священник».

На кладбище кто-то плачет. Конечно, Мэгги. Больше никому это и в голову не придет. Отец Ральф приподнял полы сутаны и перешагнул через кованую невысокую ограду – этого не миновать, на сегодня он еще не распрощался с Мэгги. Раз уж пришлось объясняться с одной из двух женщин, вошедших в его жизнь, неизбежно объяснение и с другой. К нему возвращалась обычная насмешливая отрешенность – вот чего она не могла лишиться его надолго, старая паучиха. Злобная старая паучиха. Да сгноит ее Господь. Да сгноит ее Господь!

– Мэгги, милая, не плачь, – сказал он, опускаясь рядом с ней на росистую траву. – На, возьми, ручаюсь, у тебя нет с собой порядочного носового платка. С женщинами всегда так. Возьми мой и вытри глаза, будь умницей.

Она взяла платок и послушно утерла слезы.

– Ты даже не сменила свой наряд. Неужели ты сидишь тут с полуночи?

– Да.

– А Боб и Джек знают, где ты?

– Я им сказала, что иду спать.

– Отчего ты плачешь, Мэгги?

- Вы со мной весь вечер не разговаривали.
- А! Так я и думал. Ну-ка, посмотри на меня.

На востоке тьма начинала рассеиваться, там уже сквозил жемчужный свет, в Дрохеде загорланили первые петухи, приветствуя зарю. И он видел – даже от долгих слез не потускнели эти чудесные сияющие глаза.

– Мэгги, сегодня вечером ты была самая красивая, всех девушек затмила, а кто же не знает, что я бываю в Дрохеде чаще, чем требуется. Я – священник и потому должен быть выше подозрений, примерно как жена Цезаря, но, боюсь, не всегда мысли у людей столь чисты. Для священника я еще не стар и недурен собой. – Он представил себе, как приняла бы Мэри Карсон эту скромную самооценку, и беззвучно засмеялся. – Прояви я к тебе хоть на грош внимания, об этом в два счета заговорил бы весь Джилли. Уже гудели бы телефонные провода по всей округе. Понимаешь, что я хочу сказать?

Мэгги покачала головой; светало, и ее короткие кудряшки золотились с каждой минутой все ярче.

– Ну, ты еще молода и не знаешь, как оно бывает, но надо же тебе учиться, и почему-то всегда учить тебя приходится мне, верно? Так вот, я хочу сказать, люди станут говорить, что я внимателен к тебе как мужчина, а не как священник.

– Отец Ральф!

– Ужасно, правда? – Он улыбнулся. – Уверяю тебя, именно так и скажут. Пойми, Мэгги, ты уже не ребенок, ты взрослая девушка. Но ты еще не научилась скрывать, как хорошо ко мне относишься, и если бы я при всех подошел и стал с тобой разговаривать, ты бы смотрела на меня такими глазами, что люди неправильно бы это поняли.

Мэгги как-то странно смотрела на него, и внезапно взгляд ее стал непроницаемым, она резко отвернулась, и теперь отец Ральф видел только ее щеку.

– Да, понимаю. Очень глупо, что я раньше не понимала.

– А теперь не пора ли тебе домой? Дома, наверное, все еще спят, но, если кто-нибудь поднимется в обычный час, тебе сильно попадет. И нельзя говорить, что ты была тут со мной, Мэгги, даже своим родным ты не должна это говорить.

Она встала и в упор посмотрела на него:

– Иду, отец Ральф. Только жаль, что они не знают вас лучше, тогда бы про вас нипочем так не подумали. Вы ведь ничего этого чувствовать не можете, правда?

Почему-то ее слова больно задели, ранили до глубины души – так

глубоко не проникали самые язвительные колкости Мэри Карсон.

– Да, ты права, Мэгги. Ничего этого я не чувствую. – Он вскочил на ноги, криво усмехнулся. – Наверное, скажи я, что хотел бы чувствовать, тебе это показалось бы странным? – Он провел рукой по лбу. – Нет, ничего подобного я не хочу! Иди домой, Мэгги, иди домой!

Лицо у нее стало грустное.

– Спокойной ночи, отец Ральф.

Он взял ее руки в свои, наклонился, поцеловал их.

– Спокойной ночи, Мэгги, милая.

Он смотрел ей вслед – вот она идет среди могил, вот перешагнула через низкую ограду; в этом платье, расшитом розовыми бутонами, она – само изящество, грация, сама женственность и словно вышла из сказки. Пепел розы. «Очень подходящее название», – сказал он мраморному ангелу.

Когда он шагал через лужайку обратно, автомобили, рокоча моторами, уже отъезжали; праздник наконец-то кончился. В доме музыканты, шатаясь от рома и усталости, укладывали свои инструменты, измученные горничные и нанятые на этот вечер помощницы пытались хоть немного навести порядок. Отец Ральф укоризненно покачал головой.

– Отошлите всех спать, дорогая миссис Смит, – на ходу сказал он экономке. – За такую работу лучше приниматься со свежими силами. Я уж позабочусь, чтобы миссис Карсон не рассердилась.

– Хотите что-нибудь перекусить, ваше преподобие?

– Боже упаси! Я иду спать.

Уже далеко за полдень кто-то тронул его за плечо. Не в силах открыть глаза, он дотянулся до этой руки, хотел прижаться к ней щекой.

– Мэгги... – пробормотал он спросонок.

– Ваше преподобие, ваше преподобие! Ох, пожалуйста, проснитесь!

Голос прозвучал так, что сна как не бывало, он мигом открыл глаза.

– Что случилось, миссис Смит?

– Миссис Карсон... она умерла.

Отец Ральф глянул на часы – шесть вечера; шатаясь, насилию одолевая тяжкое оцепенение, которым оглушала невыносимая дневная жара, он выпутался из пижамы, натянул сутану, набросил на шею узкую лиловую епитрахиль, достал елей для соборования, святую воду, большой серебряный крест, четки черного дерева. Он ни на минуту не усомнился в словах миссис Смит – конечно же, старая паучиха умерла. Уж не отравилась ли, в конце концов? Если так, дай Бог, чтобы в комнате не осталось следов и чтобы не понял врач. Что пользы ее соборовать, он и сам

не знал. Но так полагается. Откажись он – и не миновать вскрытия, всяческих осложнений. Внезапное подозрение – не покончила ли она самоубийством – тут было ни при чем; но совершить священный обряд над телом Мэри Карсон показалось ему непристойным.

Да, она была мертва, еще как мертва – должно быть, умерла через считанные минуты после того, как ушла к себе, добрых пятнадцать часов назад. Все окна закрыты наглухо, и в комнате сыро – она всегда велела по углам, не на виду, расставлять тазы с водой, это будто бы сохраняет свежесть кожи. В воздухе что-то странно гудело, минута-другая тупого недоумения – и он понял: это жужжат мухи, тучи мух облепили ее и пируют, и спариваются на ней, и откладывают на трупе яйца.

– Ради всего святого, миссис Смит, откройте окна! – выдохнул он, белый как полотно, и шагнул к постели.

Час, когда труп коченеет, уже миновал, она снова обмякла, и это было отвратительно. Широко раскрытые глаза испещрены пятнами, тонкие губы почернели; и всюду кишат мухи. Пришлось просить миссис Смит отгонять их, пока он совершал обряд, бормотал над телом древние священные слова. Что за фарс, ведь она предана проклятию! А запах! О Господи! Дохлая лошадь на выгоне, под открытым небом, и та не испускает такого зловония. Дотронуться до нее мертвой так же отвратительно, как прежде до живой, тем более – до этих облепленных мухами губ. Еще несколько часов – и ее станут жрать черви.

Наконец все сделано. Он выпрямился.

– Сейчас же идите к мистеру Клири, миссис Смит, и, ради Бога, скажите ему, пускай мальчишки поскорей сколотят гроб. Выписывать из Джилли некогда, она разлагается у нас на глазах. Боже милостивый! Меня тошнит. Пойду приму ванну, все, что на мне сейчас надето, кину за дверь. Сожгите это. Все пропиталось ее запахом, от него уже не избавиться.

И вот он опять у себя в комнате, на нем бриджи и рубашка для верховой езды – вторую сутану он сюда не захватил, – и тут он вспомнил о письме и своем обещании. Пробило семь; до него доносилась приглушенная суматоха – прислуга и временные помощницы спешили прибрать после вчерашнего празднества, сызнава превращали залу в домовую церковь, готовили на завтра все к похоронам. Ничего не поделаешь, надо сегодня же съездить в Джилли, взять другую сутану и все, потребное для погребального обряда. Собираясь куда-нибудь на дальнюю ферму, он непременно брал с собой из дому самое необходимое, в разных отделениях черного саквояжа аккуратно уложены святые дары и все, что нужно пастырю для случаев рождения и смерти, и облачение, в каком в это

время года подобает отслужить мессу. Но он как-никак ирландец – везти с собой на праздник траурное облачение и прочее, что надобно для похорон, значило бы искушать судьбу... Издали донесся голос Пэдди, но на встречу с Пэдди его сейчас не хватает; все, что полагается, сделает миссис Смит.

Он подсел к окну – за окном открывалась озаренная закатным солнцем Дрохеда, золотились призрачные эвкалипты, в последних лучах багрянцем отсвечивали алые, розовые, белые розы в саду, – достал из саквояжа запечатанный конверт и застыл с письмом Мэри Карсон в руках. Но она требовала, чтобы он прочитал это до похорон, и где-то в тайниках сознания некий голос нашептывал: надо прочитать сейчас, не вечером, не после того, как он увидится с Пэдди и Мэгги, но сейчас, пока он не видел никого, кроме Мэри Карсон.

В конверте лежали четыре листа бумаги; он перебрал их и тотчас понял, что два нижних – ее завещание. Два первых адресованы ему, Ральфу де Брикассару, это ее письмо к нему.

«Дорогой мой Ральф, вы уже видите, что второй документ в этом конверте – мое завещание. Прежнее, по всем правилам составленное и запечатанное завещание находится у моего поверенного в конторе Гарри Гофа в Джилли; это, в конверте, составлено много позже, и тем самым то, что у Гофа, становится недействительным.

Составила я его только вчера и свидетелями взяла Тома и здешнего городильщика, ведь, насколько я знаю, не полагается, чтобы под завещанием стояли подписи свидетелей, которые по нему что-либо получают. Документ этот вполне законный, хотя его и составлял не Гарри. Будьте уверены, ни один суд в нашей стране не скажет, что это завещание не имеет силы.

Но почему я не поручила его составить Гофу, если пожелала распорядиться своим имуществом иначе, чем прежде? Очень просто, милейший Ральф. Я хотела, чтобы о существовании этой бумаги не знала больше ни одна душа, только вы и я. Это единственный экземпляр, и он в ваших руках. Об этом не знает никто. Что весьма существенно для моего плана.

Помните то место в Священном писании, где Сатана ведет Господа нашего Иисуса Христа на высокую гору и искушает его всеми царствами мира? Как приятно, что и у меня есть доля сатанинской силы и я могу искушать того, кого люблю, всеми царствами мира и славой их. (Может быть, вы сомневаетесь в

том, что Сатана любил Христа? Я – ничуть.) В последние годы я много раздумывала о выборе, который стоит перед вами, это внесло в мои мысли приятное разнообразие, и чем ближе смерть, тем забавнее мне все это представляется.

Прочитав это завещание, вы поймете, что я имею в виду. Когда я буду гореть в адском огне, вне той жизни, какую знаю теперь, вы будете еще в пределах этой жизни – но гореть будете в адском пламени куда более свирепом, чем мог создать сам Господь Бог. Я изучила вас до тонкости, милый мой Ральф! Может быть, ни в чем другом я не разбиралась, но как мучить тех, кого люблю, – это я всегда прекрасно знала. И вы куда более занятная дичь для этой охоты, чем был мой дорогой покойник Майкл.

Когда мы только познакомились, вам хотелось заполучить Дрохеду и мои деньги, не так ли, Ральф? В этом вы видели средство купить возвращение на предназначенную вам стезю. А потом появилась Мэгги, и вы уже не думали о том, как бы меня обработать, не так ли? Я стала лишь предлогом для поездок в Дрохеду, чтобы вы могли видеть Мэгги. Любопытно, переметнулись бы вы с такой же легкостью, если б знали истинные размеры моего состояния? Знаете ли вы это, Ральф? Думаю, даже не подозреваете. Полагаю, благородной особе неприлично указывать в завещании точную сумму своих богатств, а потому сообщу вам ее здесь, пусть в час, когда вам надо будет решать, к вашим услугам будут все необходимые сведения. Итак, с точностью до нескольких сот тысяч в ту или другую сторону мое состояние – это *тринадцать миллионов фунтов*.

Вторая страница подходит к концу, и вовсе незачем обращать это письмо в диссертацию. Прочтите мое завещание, Ральф, и, когда прочтете, решайте, как поступить. Повезете вы его к Гарри, чтобы тот дал ему законный ход, или сожжете и никогда никому о нем не расскажете? Вот это вам и придется решать. Должна прибавить, что завещание, которое хранится в конторе у Гарри, я написала в первый год после приезда Пэдди – там я все свое имущество оставляю ему. Надо же вам знать, что брошено на чашу весов.

Я люблю вас так, Ральф, что готова была убить вас за ваше равнодушие, но эта моя месть – куда слаще. Я не из числа

благородных душ; я вас люблю, но хочу истерзать вас жестокой пыткой. Потому что, видите ли, я прекрасно знаю, что именно вы решите. Знаю наверняка, хоть и не смогу видеть это своими глазами. Вы будете терзаться, Ральф, вы узнаете, что такое настоящая пытка. Итак, читайте, красавчик мой, честолубивый служитель церкви! Читайте мое завещание и решайте свою судьбу».

Ни подписи, ни хотя бы инициалов. Отец Ральф чувствовал – пот проступил у него на лбу, струится из-под волос на шею. Вскочить бы, сейчас, сию минуту сжечь обе эти бумаги, даже не читая – что там, в завещании. Но она и впрямь отлично изучила свою жертву, эта гнусная старая паучиха. Конечно же, он прочтет, слишком сильно любопытство, где тут устоять. О Господи! Чем он провинился, что она захотела так ему отплатить? Почему женщины так его мучают? Почему он не родился безобразным, кривобоким коротышкой? Быть может, тогда он был бы счастлив.

Последние два листа исписаны были тем же четким, почти бисерным, почерком. Таким же скаредным и недобрым, как ее подлая душа.

«Я, Мэри Элизабет Карсон, находясь в здравом уме и твердой памяти, сим объявляю, что настоящий документ есть моя последняя воля и завещание, и тем самым теряют силу все завещания, написанные мною прежде.

За исключением особых распоряжений, перечисленных ниже, все мое движимое и недвижимое имущество и все деньги я завещаю Святой Римской католической церкви на нижеследующих условиях.

Первое: упомянутой Святой Римской католической церкви, в дальнейшем именуемой просто Церковь, надлежит принять к сведению, сколь высоко я ценю и почитаю ее служителя, преподобного Ральфа де Брикассара. Единственно его доброта, духовное руководство и неизменная поддержка побуждают меня именно так распорядиться моим имуществом.

Второе: данные распоряжения в пользу Церкви остаются в силе лишь до тех пор, пока она ценит достоинства и таланты вышеназванного преподобного Ральфа де Брикассара.

Третье: вышеназванному Ральфу де Брикассару вручается все мое имущество, движимое и недвижимое, и все мои деньги с

правом полновластно распоряжаться доходами и всем моим состоянием.

Четвертое: после смерти вышеназванного преподобного Ральфа де Брикассара его последняя воля и завещание становятся решающим законным документом, определяющим все, что касается дальнейшего управления моим состоянием. Иными словами, оно и впредь останется собственностью Церкви, но только преподобный Ральф де Брикассар вправе избрать своего преемника, кому поручено будет управление; никто не может обязать его назначить для этого служителя церкви или недуховное лицо, непременно исповедующее католическую веру.

Пятое: имение Дрохеда не подлежит ни продаже, ни разделу.

Шестое: мой брат Падрик Клири остается на должности управляющего имением Дрохеда с правом поселиться в моем доме, и жалованье ему может назначить только преподобный Ральф де Брикассар по своему усмотрению, и никто иной.

Седьмое: в случае смерти моего брата, вышеназванного Падрика Клири, его вдове и детям разрешается оставаться в имении Дрохеда и пост управляющего должны последовательно занимать его сыновья, за исключением Фрэнсиса, – Роберт, Джон, Хью, Стюарт, Джеймс и Патрик.

Восьмое: после смерти всех сыновей (за исключением Фрэнсиса) те же права переходят по наследству к внукам вышеупомянутого Падрика Клири.

Особые распоряжения:

Падрику Клири завещаю все, что имеется в моих домах в имении Дрохеда.

Юнис Смит, моя экономка, может оставаться в этой должности на приличном жалованье столько времени, сколько пожелает, сверх этого завещаю ей пять тысяч фунтов, а при уходе на покой ей должна быть определена достаточная пенсия.

Минерва О'Брайен и Кэтрин Доннелли могут оставаться на приличном жалованье столько времени, сколько пожелают, сверх этого завещаю им по тысяче фунтов каждой, а при уходе на покой им должна быть определена достаточная пенсия.

Преподобному Ральфу де Брикассару должны пожизненно выплачиваться десять тысяч фунтов в год, каковой суммой он вправе распоряжаться единолично и бесконтрольно по своему усмотрению».

Под всем этим, как полагается, стояли ее подпись, подписи свидетелей и дата.

Комната отца Ральфа выходила на запад. Солнце уже садилось. Как всегда летом, в недвижном воздухе висела пелена пыли, солнце пронизывало ее, перебирая мельчайшие пылинки тонкими пальцами лучей, и казалось, весь мир обратился в золото и пурпур. Длинные узкие облака с огненной каймой, точно серебряные вымпелы, протянулись поперек громадного багрового шара, повисшего над деревьями, что росли на дальних выгонах.

– Bravo! – сказал он. – Признаюсь, ты взяла надо мной верх, Мэри. Мастерский удар. Глуп был я, а не ты.

Сквозь слезы он уже не разбирал строк и отодвинул бумаги, пока на них еще не появились кляксы. Тринадцать миллионов фунтов. *Тринадцать миллионов фунтов!* Да, правда, на ее деньги он и метил когда-то, пока не появилась Мэгги. А потом отказался от этой мысли, не мог он хладнокровно вести эту коварную игру, обманом перехватить наследство, которое по праву принадлежит ей. Ну, а если бы он знал тогда, как богата старая паучиха? Как бы он себя вел? Ему и в голову не приходило, что у нее есть хотя бы десятая доля. Тринадцать миллионов фунтов!

Семь лет Пэдди и вся его семья жили в доме старшего овчара и, не щадя себя, работали как проклятые на Мэри Карсон. Ради чего? Ради грошей, которые платила им старая скупердяйка? Насколько знал отец Ральф, ни разу Пэдди не пожаловался на то, как бессовестно с ним поступают, но уж наверно он думал, что после смерти сестры будет щедро за все вознагражден, ведь он управлял всем ее именем, получая жалованье простого овчара, а сыновья его, работая овчарами, получали жалкую плату сезонника-чернорабочего. Он не жалел сил на Дрохеду и полюбил ее как свою и по справедливости ждал, что так оно и будет.

– Bravo, Мэри! – повторил отец Ральф, и слезы, первые его слезы со времен уже далекого детства, капали ему на руки – но не на бумагу.

Тринадцать миллионов фунтов, и, возможно, он еще станет кардиналом. А на другой чаше весов Пэдди, его жена, сыновья – и Мэгги. Как безошибочно раскусила его эта гадина! Оставь она брата нищим, выбор был бы ясен: без малейших колебаний пойти с этим завещанием к кухонной плите и спалить его. Но она позаботилась о том, чтобы Пэдди ни в чем не нуждался, после ее смерти он будет здесь устроен лучше, чем при ее жизни, Дрохеду не вовсе у него отнимут. Отнимут доходы с нее и звание владельца, но не самую землю. Нет, он не станет обладателем баснословных тринадцати миллионов фунтов, но будет прекрасно

обеспечен и окружен почетом. Мэгги не придется голодать, нуждаться, зависеть от чьих-то милостей. Но не бывать ей и мисс Клири, не сравняться с мисс Кармайкл и прочими светскими девицами. Будет она девушкой из вполне уважаемой семьи, ей откроется доступ в хорошее общество, но к «верхам» ей не принадлежать. Никогда.

Тринадцать миллионов фунтов. Можно вырваться из Джиленбоуна, из безвестности, занять свое место в высших сферах церкви, заслужить прочное расположение равных и вышестоящих. И теперь же, пока еще молод, пока еще не поздно наверстать упущенное. Мэри Карсон разом переставила захудалый Джиленбоун с далекой окраины на карте папского легата в самый центр его деятельности; отзвук случившегося докатится и до Ватикана. Как ни богата римская католическая церковь, тринадцать миллионов фунтов не пустяк. Тринадцатью миллионами даже и она пренебрегать не станет. А внести эти миллионы в церковную казну может только его рука, рука преподобного Ральфа де Брикассара, так написано синими чернилами в завещании Мэри Карсон. Разумеется, Пэдди не станет оспаривать завещание, знала это и Мэри Карсон, да сгноит ее Господь. Ну конечно, Пэдди придет в ярость, никогда уже не захочет видеть его и с ним говорить, но, как ни велика будет досада обманутого наследника, судиться он не станет.

Что ж тут решать? Разве он не знает, разве не знал с первой же минуты, едва прочитал завещание, как он поступит? Слезы высохли. С обычной своей грацией отец Ральф поднялся, проверил, аккуратно ли заправлена рубашка в бриджи, и пошел к двери. Надо съездить в Джилли, взять сутану и прочее для похорон. Но сначала он еще раз посмотрит на Мэри Карсон.

Хотя окна спальни и открыты, зловоние стало уж вовсе нестерпимым: ни ветерка, ни дуновения, занавеси вяло повисли. Твердым шагом он подошел к кровати и остановился, глядя на покойницу. На лице, там, где оно было влажное, из отложенных мухами яиц уже вылуплялись личинки, полные руки в кистях и до плеч вздулись от газов зеленоватыми пузырями, кожа кое-где полопалась. «О Господи! Мерзкая старая паучиха. Ты победила, но что это за победа! Одна разлагающаяся карикатура на человеческую природу восторжествовала над другой. Тебе вовек не взять верх над моей Мэгги, не отнять у нее того, чего у тебя самой никогда не было. Пусть я буду гореть в аду рядом с тобой, но я знаю, какая адская мука уготована тебе – вечно гореть бок о бок со мной в том же огне и видеть, что я вечно остаюсь к тебе равнодушен...»

Внизу, в прихожей, его ждал Пэдди, растерянный, бледный до зелени.

– Ох, ваше преподобие! – заговорил он, идя навстречу священнику. – Вот жуть, а? Как гром среди ясного неба! Не ждал я, что она вот так помрет, она же вчера вечером была совсем здоровая! Боже милостивый, что ж мне теперь делать?

– Вы уже видели ее?

– Видел. Господи помилуй!

– Тогда сами понимаете, что надо делать. Никогда еще я не видел, чтобы труп так быстро разлагался. Поскорей уложите ее в какой-нибудь приличный ящик, не то через несколько часов придется ее сливать в бочку из-под керосина. Завтра с утра пораньше надо ее похоронить. Не теряйте времени, не украшайте гроб; прикройте его хоть розами из сада, что ли. Да поторапливайтесь, приятель! Я еду в Джилли за облачением.

– Возвращайтесь поскорей, ваше преподобие! – взмолился Пэдди.

Но его преподобие отсутствовал дольше, чем требовалось только для того, чтобы заехать в церковный дом. Сначала он повел свою машину по одной из самых богатых улиц города и остановил ее у шикарного особняка, окруженного искусно разбитым садом.

Гарри Гоф как раз садился ужинать, но, услышав от горничной, кто его неожиданный посетитель, вышел в приемную.

– Не угодно ли отужинать с нами, ваше преподобие? У нас солонина с капустой и отварным картофелем под соусом из петрушки, и в кои веки не слишком соленая.

– Нет, Гарри, спешу. Я только заехал сказать вам: сегодня утром скончалась Мэри Карсон.

– Господи Иисусе! Да я же там был вчера вечером! Она выглядела совсем здоровой!

– Знаю. Около трех часов я проводил ее наверх, и она была совершенно здорова, но, по-видимому, умерла, как только легла в постель. Миссис Смит нашла ее мертвой сегодня в шесть вечера. Но смерть наступила гораздо раньше, и это было ужасно; днем, в самый зной, комната стояла закупоренная, жара как в инкубаторе. Дай Бог мне забыть, на что она была похожа! Отвратительно, Гарри, никакими словами не передать!

– Ее хоронят завтра?

– Иначе невозможно.

– Который час? Десять? В такую жару нам приходится ужинать на ночь глядя, прямо как испанцам, но звонить людям по телефону еще совсем не поздно. Хотите, я займусь этим вместо вас, ваше преподобие?

– Спасибо, вы очень добры, для меня это большое облегчение. Я приехал в Джилли только переодеться. Когда собирался на этот раз в

Дрохеду, мне и в голову не приходило, что предстоят похороны. И надо как можно скорей вернуться в Дрохеду, я им там нужен. Заупокойная месса завтра в девять утра.

– Скажите Пэдди, что я привезу с собой ее завещание, хочу огласить его сразу после похорон. Вам она тоже кое-что оставила, ваше преподобие, хорошо бы и вам присутствовать.

– Боюсь, тут возникает небольшое осложнение, Гарри. Видите ли, Мэри написала новое завещание. Вчера, после того как она простилась с гостями, она вручила мне запечатанный конверт и взяла с меня слово, что я его вскрою, как только своими глазами увижу ее мертвой. Я так и сделал и обнаружил в конверте новое завещание.

– Мэри написала новое завещание? Сама, без меня?!

– Похоже, что так. Мне кажется, она давно его обдумывала, но чего ради держала это в секрете, понятия не имею.

– И это завещание у вас при себе, ваше преподобие?

– Да.

Отец Ральф достал из-за пазухи сложенные во много раз листы бумаги и подал юристу.

Гарри Гоф, нисколько не раздумывая, тут же начал читать. Дочитал, поднял глаза – и в его взгляде много было такого, чего священник предпочел бы не увидеть. Восхищение, гнев – и толика презрения.

– Что ж, ваше преподобие, поздравляю! Стало быть, вы все-таки заполучили этот жирный кусок.

Гарри Гоф не был католиком, а потому мог себе позволить так выразиться.

– Поверьте, Гарри, для меня это еще неожиданней, чем для вас.

– Это единственный экземпляр?

– Насколько я понимаю, единственный.

– И она дала его вам только вчера вечером?

– Да.

– Почему же вы не уничтожили его, чтоб бедняга Пэдди мог получить то, что принадлежит ему по праву? У католической церкви нет никаких прав на имущество Мэри Карсон.

Прекрасные глаза отца Ральфа смотрели безмятежно-кротко.

– Но разве годится так поступать, Гарри? Ведь это все принадлежало Мэри, и она могла распорядиться своей собственностью, как хотела.

– Я посоветую Пэдди опротестовать завещание.

– Я тоже думаю, что вам следует дать ему такой совет.

На том они и расстались. К утру, когда народ съедется на похороны,

весь город и вся округа будут знать, куда пойдут деньги Мэри Карсон. Жребий брошен, отступление отрезано, и уже ничего нельзя изменить.

Только под утро, в четыре часа, отец Ральф миновал последние ворота и въехал на Главную усадьбу – он вовсе не спешил возвращаться. И усилием воли гнал от себя всякие мысли, ни о чем он не думал. Ни о Пэдди и Фионе, ни о Мэгги, ни о том зловонном и отвратительном, что уже (он горячо на это надеялся) положено в гроб. Зато и взглядом, и сознанием вбирал он эту ночь – серебряные призраки мертвых деревьев, одиноко встающие среди чуть поблескивающих лугов, и густые, чернее самого мрака, тени, отброшенные каждой рощицей, и полную луну, плывущую в небесах словно детский воздушный шарик. Один раз он остановил машину, вылез, подошел к изгороди и постоял, опершись на туго натянутую проволоку, вдыхая смолистый запах эвкалиптов и колдовской аромат полевых цветов. Как прекрасна эта земля, такая чистая, такая равнодушная к судьбам тех, кто воображает, будто правит ею. Пусть они и приложили к ней руки, но в конечном счете она сама ими правит. Пока они не научились повелевать погодой и по своей воле вызывать дождь, побеждает земля.

Он поставил машину за домом, немного поодаль, и медленно пошел к крыльцу. Все окна ярко освещены; от комнаты экономки слабо доносятся голоса – миссис Смит и обе горничные-ирландки читают молитвы. Под темным шатром глицинии шевельнулась какая-то тень; отец Ральф круто остановился, мороз пошел по коже. Она совсем выбила его из колеи, старая паучиха! Но оказалось, просто это Мэгги терпеливо ждала, когда он вернется. Одета как для поездки верхом, в бриджах и сапожках, сама жизнь, отнюдь не призрак с того света.

– Ты меня испугала, – сказал он сухо.

– Простите, отец Ральф, я нечаянно. Просто мне не хотелось в комнаты, туда пошли папа и мальчики, а мама пока еще дома, с малышами. Наверное, надо было пойти молиться с Минни и Кэт и миссис Смит, а только мне не хочется за нее молиться. Это грешно, да?

У него не было ни малейшего желания говорить о покойнице что-либо хорошее.

– По-моему, не грешно, Мэгги, а вот лицемерие – грех. Мне тоже не хочется за нее молиться. Она была... не очень-то хорошая женщина. – Он мимолетно ослепительно улыбнулся. – И уж если ты согрешила, говоря такие слова, мой грех много тяжелее. Мне полагается равно любить всех людей, тебя столь тяжкий долг не обременяет.

– Вам нехорошо, отец Ральф?

– Нет, почему. – Он посмотрел на окна и вздохнул: – Просто не хочу я идти в дом. Не хочу быть с ней под одной крышей, пока не настал день и не изгнал демонов тьмы. Может быть, я сейчас оседлаю лошадей и проедемся, пока не рассвело?

Рука Мэгги на мгновение коснулась его черного рукава.

– Я тоже не хочу идти в дом.

– Подожди минуту, я оставлю сутану в машине.

– Я пойду к конюшне.

Впервые она пыталась говорить с ним как равная, как взрослая; он ощутил перемену в ней так же ясно, как ощущал благоухание роз в великолепном саду Мэри Карсон. Розы. Пепел роз. Розы, всюду розы. Лепестки на траве. Летние розы – белые, алые, чайные. Густой сладкий аромат в ночи. Нежно-розовые розы, обесцвеченные лунным светом, почти пепельные. «Пепел розы, пепел розы. Я от тебя отрекся, моя Мэгги. Но ты ведь стала опасна, понимаешь ли, ты стала мне опасна. И потому я раздавил тебя каблуком моего честолюбия; ты значишь для меня не больше, чем измятая роза, брошенная в траву. Запах роз. Запах Мэри Карсон. Розы и пепел, пепел и розы».

– Пепел роз, – сказал он, садясь в седло. – Давай уедем подальше от запаха роз. Завтра в доме от них некуда будет деться.

Он ударил каблуками каурую кобылу и пустил ее вскачь по дороге к реке, оставив Мэгги позади, его душили непролитые слезы. Если б можно было разрыдаться! Ибо лишь теперь, вместе с запахом цветов, которые скоро украсят гроб Мэри Карсон, его оглушило сознание неизбежности. Придется уехать, и очень скоро. Слишком много нахлынуло мыслей и чувств, и все они ему неподвластны. Когда станут известны условия этого неправдоподобного завещания, его ни на день не оставят в Джилли, немедленно отзовут в Сидней. Немедленно! Он бежал от своей боли, никогда еще он такого не испытывал, но боль не отставала. Нет, это не смутная угроза в далеком будущем, это случится немедленно. Ему ясно представилось лицо Пэдди – с какой гадливостью он посмотрит и отвернется. Нет, теперь его, преподобного де Брикассара, уже не будут радушно встречать в Дрохеде, и никогда больше он не увидит Мэгги.

А потом удары копыт, бешеная скачка стали возвращать ему привычное самообладание. Так лучше, так лучше, так лучше. Мчаться без оглядки. Да, конечно же, тогда боль ослабевает, надежно запрятанная в дальней келье архиепископских покоев, боль будет слабеть, слабеть, и наконец самый отзвук ее померкнет в сознании. Да, пусть, так будет лучше. Это лучше, чем оставаться в Джилли и видеть, как она меняется у него на

глазах – тяжкая, нежеланная перемена! – а потом однажды еще пришлось бы обвенчать ее неизвестно с кем. Нет, с глаз долой – из сердца вон.

Тогда зачем же он сейчас с ней, скачет по роще, по дальнему берегу реки, среди самшита и кулибы? Кажется, он вовсе не думал зачем, ощущал только боль. Не боль своего предательства – было не до того. Только боль неминуемой разлуки.

– Отец Ральф! Отец Ральф! Я не могу так быстро! Подождите меня, пожалуйста!

Голос звал его к долгу и к действительности. Медленно, как во сне, он повернул лошадь и удержал на месте, так что она заплесала от нетерпения. И подождал, чтобы Мэгги его догнала. В этом вся беда. Мэгги всегда его догонит.

Совсем близко бурлил Водоем, над его широкой чашей клубился пар, пахло серой, крутящаяся трубка, похожая на корабельный винт, извергала в эту чашу кипящие струи. По окружности высоко поднятого искусственного озера, словно спицы от оси колеса, разбегались во все стороны по равнине нещедрые оросительные канавки, края их густо поросли неестественно яркой изумрудной травой. А края озера были серые, скользкие, илистые, и в этом иле водились пресноводные раки.

Отец Ральф рассмеялся:

– Пахнет прямо как в аду, правда, Мэгги? Сера тут же у нее под боком, на задворках ее собственного дома. Она должна бы признать этот запах, когда ее туда доставят, осыпанную розами, правда? Ох, Мэгги...

Вышколенные лошади стоят смирно, хотя поводья отпущены; поблизости ни одной ограды, ни деревца ближе, чем в полумиле. Но на берегу, в самом дальнем месте от бьющей снизу струи, где вода прохладнее, лежит бревно. Его тут положили, чтоб было где присесть зимой купальщикам, обсушить и вытереть ноги.

Отец Ральф опустил на бревно, Мэгги тоже села, но чуть поодаль, повернулась боком и смотрела на него.

– Что случилось, отец Ральф?

Странно слышать из ее уст вопрос, с которым он сам столько раз обращался к ней. Он улыбнулся:

– Я продал тебя, моя Мэгги, продал за тринадцать миллионов сребреников.

– Продали? Меня?

– Просто образное выражение. Не важно. Сядь поближе. Может быть, не скоро мы сможем опять поговорить с глазу на глаз.

– Это пока не кончится траур по тетушке? – Мэгги подвинулась по

бревну, села рядом. – А какая разница, почему нельзя видаться, если траур?

– Я не о том, Мэгги.

– А, значит, потому, что я уже становлюсь взрослая и люди станут про нас сплетничать?

– И не об этом. Просто я уезжаю.

Вот оно: встречает удар, не опуская глаз, принимает на себя еще одну тяжесть. Ни вскрика, ни рыданий, ни бурного протеста. Только чуть заметно сжалась, будто груз лег на плечи неловко, вкривь, и еще труднее будет его нести. Да на миг перехватило дыхание, это даже не вздох.

– Когда?

– На днях.

– Ох, отец Ральф! Это будет еще трудней, чем тогда, с Фрэнком.

– А для меня трудно, как никогда в жизни. У меня нет никакого утешения. У тебя по крайней мере есть твои родные.

– А у вас есть ваш Бог.

– Хорошо сказано, Мэгги! Ты и вправду становишься взрослая!

Но с истинно женской настойчивостью она вернулась мыслью к вопросу, который не удалось задать, пока они скакали эти три мили. Он уезжает, без него будет очень, очень трудно, но все равно ей надо получить ответ.

– Отец Ральф, там, в конюшне, вы сказали «пепел роз». Это вы про цвет моего платья?

– Может быть, отчасти. Но пожалуй, я больше думал о другом.

– О чем?

– Тебе этого не понять, моя Мэгги. О том, как умирает мысль, которой нельзя было родиться и уж тем более нельзя было позволить ей окрепнуть.

– Все на свете имеет право родиться, даже мысль.

Он повернул голову, посмотрел испытующе.

– Ты знаешь, о чем я, правда?

– Наверное, знаю.

– Не все, что рождается на свет, хорошо, Мэгги.

– Да. Но уж если оно родилось, значит, так было суждено.

– Ты рассуждаешь хитроумно, как иезуит. Сколько тебе лет?

– Через месяц будет семнадцать, отец Ральф.

– И все семнадцать тебе дались нелегко. Что ж, от тяжелых трудов мы взрослеем не по годам. О чем ты думаешь, Мэгги, когда у тебя есть время подумать?

– Ну, о Джимсе и Пэтси и обо всех мальчишках, о папе с мамой, о Хэле и тете Мэри. Иногда про то, как у меня будут дети. Мне очень хочется детей.

Про то, как я езжу верхом, про овец. Обо всем думаю, о чем говорят мужчины. Про погоду, про дождь, про огород, про кур, про то, что мне надо делать завтра.

– А не мечтаешь выйти замуж?

– Нет, но, наверное, это нужно, раз мне хочется детей. Нехорошо маленькому расти без отца.

Несмотря на свою боль, он улыбнулся: как причудливо смешались в ней неведение и высоконравственные понятия. Порывисто повернулся к ней, взял ее за подбородок, посмотрел в упор. Как тут быть, какие найти слова?

– Мэгги, совсем недавно я осознал нечто такое, что должен был понять раньше. Ты ведь не все мне сказала, когда рассказывала, о чем думаешь, правда?

– Я... – начала она и умолкла.

– Ты не сказала, что думаешь и обо мне, так? Если б ты не чувствовала себя виноватой, ты бы и меня назвала вместе со своим отцом. Вот я и думаю, может быть, хорошо, что я уезжаю, как по-твоему? Ты уже слишком большая для девчоночьей влюбленности, но еще не совсем взрослая в свои почти семнадцать, ведь так? Мне нравится, что ты еще мало разбираешься в жизни, но я знаю, как может страдать девочка из-за детского увлечения, я и сам когда-то немало намучился из-за своих детских увлечений.

Казалось, она хотела заговорить, потом опустила заблестевшие от слез глаза и тряхнула головой, высвобождаясь.

– Послушай, Мэгги, это просто такая полоса, веха на пути к тому, чтобы стать взрослой. Когда ты станешь взрослой, ты встретишь того, кому суждено стать твоим мужем, и тогда будешь слишком занята устройством своей жизни и если изредка вспомнишь меня, то лишь как старого друга, который помогал тебе пройти через мучительные потрясения, неизбежные для каждого, кто становится взрослым. Только не привыкай к романтическим мечтам обо мне, это не годится. Я никогда не смогу относиться к тебе так, как будет относиться муж. Я совсем не думаю о тебе в этом смысле, Мэгги, понимаешь? Когда я говорю, что люблю тебя, это не значит – люблю как мужчина. Я не мужчина, я священник. Так что не забивай себе голову мечтами обо мне. Я уезжаю и сильно сомневаюсь, что у меня будет время снова приехать сюда, хотя бы ненадолго.

Плечи ее опустились, словно груз оказался слишком тяжел, но она подняла голову и посмотрела ему прямо в лицо.

– Не беспокойтесь, я не стану забивать себе голову мечтами о вас. Я знаю, что вы – священник.

– И я не уверен, что ошибся в выборе призвания. Оно утоляет во мне жажду того, чего не мог бы мне дать ни один человек на свете, даже ты.

– Знаю. Это видно, когда вы служите мессу. У вас какая-то власть. Наверное, вы тогда себя чувствуете самым Господом Богом.

– Когда все в храме затаит дыхание, Мэгги, я чувствую каждый вздох! Каждый день я медленно умираю и каждое утро, когда служу мессу, рождаюсь заново. Но почему? Оттого ли, что я – пастырь, избранный Богом, или оттого, что слышу, как моя паства в благоговейном трепете затаила дыхание, знаю свою власть над каждым человеком в храме?

– Разве это важно? Просто вы так чувствуете.

– Тебе, пожалуй, не важно, а мне важно. Меня одолевают сомнения.

Но она опять заговорила о том, что было важно ей.

– Не знаю, как я буду без вас, отец Ральф. Сначала Фрэнк, теперь вы. С Хэлом это как-то по-другому, я знаю, он умер и уже не может вернуться. А вы и Фрэнк живы! Я всегда буду гадать, как вы там, что делаете, хорошо ли вам, может, я могла бы чем-нибудь помочь. Мне даже придется гадать, живы ли вы, правда?

– И со мной будет так же, Мэгги, я уверен, и с Фрэнком то же самое.

– Нет. Фрэнк нас забыл... и вы забудете.

– Я тебя никогда не забуду, Мэгги, до самой смерти не забуду. А жить я буду долго, очень долго, это будет мне наказанием. – Он встал, помог и ей подняться на ноги, легонько, ласково обнял ее. – Что ж, простимся, Мэгги. Больше мы не увидимся наедине.

– Если бы вы не были священником, отец Ральф, вы бы на мне женились?

Почтительное обращение сейчас резануло его.

– Не величай меня все время отцом! Меня зовут Ральф!

Но это не было ответом на ее вопрос.

Он обнимал ее, но вовсе не собирался поцеловать. Запрокинутого к нему лица было не разглядеть – луна уже зашла, стало совсем темно. Он почувствовал, его груди внизу касаются острые маленькие груди... волнующее, удивительное ощущение. И еще удивительнее – так естественно, словно давным-давно привыкла к мужским объятиям, она вскинула руки и крепко обвила его шею.

Никогда еще ни одну женщину он не целовал как любовник, не хотел этого и сейчас, и Мэгги уж наверно тоже этого не хочет, думал он. Ждет, что он ласково чмокнет ее в щеку, мимолетно обнимет – как простился бы с ней Пэдди, если б уезжал надолго. Она чуткая и гордая, и, должно быть, он жестоко обидел ее, когда бесстрастно взвешивал и оценивал ее заветные

мечты. Несомненно, она так же, как и он сам, жаждет покончить с этим прощанием. Утешит ли ее, если она поймет, что он терзается куда сильнее, чем она? Он наклонил голову, хотел коснуться губами ее щеки, но Мэгги стала на цыпочки и не то чтобы ухитрилась, просто так уж вышло – коснулась губами его губ. Он вздрогнул, словно от ядовитого укуса, но тотчас опомнился, снова наклонил голову, попытался что-то сказать прямо в эти нежные сомкнутые губы – и, пытаясь ответить, они разомкнулись. И словно ни единой косточки не осталось в ее теле, оно обернулось жаркой, податливой темнотой; одной рукой он обхватил ее талию, другой – плечи, его ладонь легла ей на затылок, зарылась в ее волосы, он прижал ее лицо к своему, будто боялся, что она ускользнет – вот сейчас, сию минуту, а он еще не успел понять и осмыслить, что же это за невероятное чудо – Мэгги. Это она и не она, неведомая, совсем не прежняя, ведь та Мэгги, его Мэгги, не была женщиной, он не ощущал и не мог ощутить в ней женщину. И он тоже не мог быть для нее мужчиной.

Эта мысль прояснила его смятенные чувства; он оторвал руки, что обвивали его шею, оттолкнул ее и силился во тьме разглядеть ее лицо. Но она понурилась и не поднимала глаз.

– Нам пора, Мэгги, – сказал он.

Без единого слова она отошла к своей лошади и уже в седле ждала его; обычно это ему приходилось ее ждать.

Предсказание отца Ральфа сбылось. В это время года Дрохеда утопала в розах, и теперь весь дом был завален ими. К восьми часам утра в саду остались разве что одни бутоны. Вскоре после того, как сорвана была с куста последняя роза, начал съезжаться народ на похороны; в малой столовой подали легкий завтрак – кофе, свежие, только-только из печи, булочки с маслом. После того как останки Мэри Карсон препроводят в склеп, в парадной столовой предстоит более солидная трапеза, участникам похорон надо будет подкрепиться перед дальней обратной дорогой. О последних новостях уже прослышали, слухи в Джилли разносятся мгновенно, чему содействует телефон – общая линия сразу для нескольких абонентов. Произносились приличные случаю скорбные фразы, а взгляды и умы прикидывали, рассчитывали, втайне усмехались.

– Говорят, мы вас скоро лишимся, ваше преподобие, – едко заметила мисс Кармайкл.

Никогда еще он не казался столь отрешенным, столь чуждым человеческих чувств, как в это утро – в стихаре без кружев поверх матово-черной сутаны, с серебряным крестом на груди. Словно здесь только его

тело, а дух витает далеко. Но он рассеянно посмотрел сверху вниз на мисс Кармайкл, словно бы собрался с мыслями и весело, ничуть не притворно улыбнулся.

– Пути Господни неисповедимы, мисс Кармайкл, – ответил он и отошел, заговорил с кем-то еще.

Никто не догадался бы, о чем он думает, а на уме у него было неизбежное столкновение с Пэдди из-за завещания, и страшила ярость Пэдди, и нужно, необходимо было ощутить эту ярость и презрение.

Прежде чем начать мессу, он обернулся к пастве, в зале яблоку некуда было упасть, и тяжелый, густой запах роз душил, несмотря на распахнутые окна.

– Не стану растекаться в пространных славословиях, – произнес он чуть ли не с оксфордской изысканностью, по его речи почти незаметно было, что родом он ирландец. – Все вы знали Мэри Карсон. Она была столпом и опорой нашего общества, опорой святой церкви, которую возлюбила превыше кого-либо из людей.

Иные слушатели потом клялись, что при этих словах глаза его блеснули насмешкой, другие столь же решительно утверждали, что взор его туманила глубокая, неподдельная скорбь.

– Она была опорой церкви, которую возлюбила превыше кого-либо из людей, – повторил отец Ральф еще отчетливее, он был не из тех, кто сворачивает с полпути. – В последний свой час она была одна – и все же не одна. Ибо в наш смертный час с нами и в нас пребывает Господь наш Иисус Христос и на себя принимает бремя наших мук. Ни величайший из людей, ни последний из малых сих не умирает в одиночестве, и смерть сладостна. Мы собрались здесь для молитвы о бессмертной душе усопшей, да воздастся ей, кого мы любили при жизни ее, по заслугам в жизни вечной. Помолимся.

Самодельный гроб стоял на низкой тележке, сколоченной мальчишками Клири на скорую руку из собранных на усадьбе деревянных обрезков и колесиков, его совсем скрывали от глаз горой насыпанные розы. Но, несмотря на распахнутые настежь окна, сквозь душный запах роз все ощущали и другой запах. Об этом еще раньше говорил врач, который приехал в Дрохеду засвидетельствовать смерть.

– Когда я приехал, она уже до того разложилась, что меня вывернуло наизнанку, – сказал он по телефону Мартину Кингу. – В жизни я так никому не сочувствовал, как бедняге Пэдди Клири – мало того что у него отняли Дрохеду, так он еще должен впихнуть эту пададь в гроб.

– Тогда я не вызываюсь в носильщики, – откликнулся Мартин, его

было еле слышно, их подслушивали все, кто только мог подключиться к линии, и доктору пришлось трижды переспрашивать.

Потому и скотили тележку: никто не хотел подставлять плечо под останки Мэри Карсон на пути через луг к фамильному склепу. И никто не пожалел, когда двери склепа закрылись за ней и наконец снова можно стало дышать.

Покуда все, кто был на похоронах, собрались в парадной столовой перекусить и кто ел, а кто только делал вид, будто ест, Гарри Гоф отвел Пэдди с семьей, отца Ральфа, миссис Смит и двух горничных в гостиную. Никто из приезжих пока что вовсе не спешил домой, оттого-то они и прикидывались, будто заняты едой, всем хотелось посмотреть, какое лицо будет у Пэдди после того, как огласят завещание. Надо отдать справедливость ему и его семье, во время похорон ничуть не видно было, чтобы они думали о своем новом, более высоком положении в обществе. Пэдди, добрая душа, был верен себе и оплакивал сестру, и Фиа была такая же, как всегда, словно бы равнодушная к тому, что у нее впереди.

– Пэдди, я хочу, чтобы вы опротестовали завещание, – сказал Гарри Гоф, этот поразительный документ он прочитал с возмущением, с нескрываемой досадой.

– Подлая старая греховодница! – сказала миссис Смит; отец Ральф ей нравился, но к семейству Клири она привязалась всей душой. Благодаря им в ее жизнь вошли дети.

Но Пэдди покачал головой:

– Нет, Гарри. Не могу. Она была всему этому хозяйка, верно? Стало быть, ее воля, распорядилась, как хотела. Захотела все отдать церкви – и отдала. Не буду врать, немного не того я ждал, но я ведь человек простой, так что, может, оно и к лучшему. Не очень-то мне по плечу этакая ответственность – владеть Дрохедой, уж больно она велика.

– Вы не поняли, Пэдди! – Юрист начал объяснять медленно, отдельно, как малому ребенку. – Речь идет не только о Дрохеде. Поверьте, это имение – самая малая часть наследства. Ваша сестра располагает контрольными пакетами чуть не в сотне надежнейших акционерных обществ, ей принадлежат сталелитейные заводы, и золотые прииски, и компания «Мичар лимитед» – одна ее контора занимает десятиэтажное здание в Сиднее. Человека богаче нет во всей Австралии! Любопытно, меньше месяца назад она поручила мне связаться с директорами «Мичар лимитед» в Сиднее и выяснить точно, в какую сумму оценивается ее состояние. Ко дню своей смерти она стоила свыше тринадцати миллионов фунтов.

– Тринадцать миллионов фунтов! – У Пэдди это прозвучало как цифра, измеряющая расстояние от Земли до Солнца, как нечто недоступное пониманию. – Ну, тогда все ясно, Гарри. За такие деньги я отвечать не желаю.

– Никакая это не ответственность, Пэдди! Неужели вы еще не поняли? Такие деньги сами о себе заботятся! Вам вовсе незачем самому их выращивать и собирать урожай, сотни наемных служащих только тем и заняты, что заботятся об этом вместо вас. Опротестуйте завещание, Пэдди, очень вас прошу! Я добуду для вас лучшего адвоката во всей Австралии, а если понадобится, буду отстаивать ваши права по всем инстанциям, вплоть до Тайного совета.

Пэдди вдруг сообразил, что дело касается не его одного, но всей семьи, и обернулся к Бобу и Джеку – тихие, озадаченные, они сидели рядом на скамье флорентийского мрамора.

– Что скажете, ребята? Хотите вы добиваться тринадцати миллионов тетушки Мэри? Если хотите – ну, тогда я стану оспаривать завещание, а если нет, нипочем не стану.

– Так ведь в завещании вроде сказано, нам все равно можно жить в Дрохеде, верно? – спросил Боб.

– Никто не сможет вас выставить из Дрохеды, пока будет жив хоть один внук вашего отца, – ответил Гарри Гоф.

– Мы переселимся сюда, в Большой дом, миссис Смит и обе девушки станут нам помогать, и у всех будет хороший заработок, – сказал Пэдди, в голосе его не слышалось ни тени разочарования, напротив, он с трудом верил своему счастью.

– Тогда чего нам еще надо, а, Джек? – спросил Боб. – Верно я говорю?

– Мне это подходит, – сказал Джек.

Отец Ральф беспокойно переступил с ноги на ногу. Он не тратил времени на переодевание после похорон и здесь, в гостиной, не сел; одиноко стоял в тени, в дальнем углу, словно некий мрачный красавец колдун, спрятав руки меж черными складками своего облачения, лицо застывшее, и в отрешенном взгляде, в самой глубине синих глаз, – ужас, недоумение, досада. Так, значит, даже этого ему не дано, не будет желанной кары, ни ярости, ни презрения: Пэдди поднесет ему все на золотом блюде доброй воли, да еще и спасибо скажет за то, что он, Ральф де Брикассар, избавляет семейство Клири от обузы.

– Ну, а что же Фиа и Мэгги? – резко спросил он, обращаясь к Пэдди. – Вы так мало считаетесь со своими женщинами, что даже не спрашиваете их мнения?

– Фиа? – с тревогой вымолвил Пэдди.

– Решай как знаешь, Пэдди. Мне все равно.

– Мэгги?

– Не нужны мне ее тринадцать миллионов сребреников, – сказала Мэгги, в упор глядя на отца Ральфа.

– Вот и все, Гарри, – сказал Пэдди юристу. – Мы не станем оспаривать завещание. Пускай церковь получает деньги Мэри, я не против.

Гарри с досадой всплеснул руками:

– Черт подери, мне смотреть тошно, как вас провели!

– А я век буду благодарен Мэри, – мягко сказал Пэдди. – Если бы не Мэри, я по сей день надрывался бы в Новой Зеландии из-за куска хлеба.

Когда они выходили из гостиной, Пэдди остановил отца Ральфа и, к изумлению всех столпившихся в дверях столовой любопытных, протянул ему руку:

– Пожалуйста, не думайте, ваше преподобие, мы ни капельки не в обиде. Если уж Мэри что надумала, ее вовек ни одна живая душа бы не отговорила, хоть брат, хоть муж, хоть священник. Вы уж мне поверьте, она сделала, что хотела. Вы были очень добры к ней, и вы всегда очень добры к нам. Мы этого век не забудем.

Сознание вины. Бремя. Отец Ральф готов был не принять этой узловатой, натруженной руки, но кардинальский разум взял верх – он лихорадочно сжал протянутую руку и, терзаясь в душе, улыбнулся:

– Спасибо вам, Пэдди. Будьте спокойны, я позабочусь, чтобы вы никогда ни в чем не нуждались.

На той же неделе он уехал и до отъезда ни разу не заглянул в Дрохеду. В оставшиеся дни уложил немногие свои пожитки и объехал в округе все дома и фермы, где жили католики; побывал везде, кроме Дрохеды.

Обязанности духовного пастыря в джиленбоунской округе принял преподобный Уоткин Томас, прибывший для этого из Уэльса, а преподобный Ральф де Брикассар стал личным секретарем архиепископа Дарка. Но труды его были не так уж тяжки – ему помогали два младших секретаря. Занят он был главным образом тем, что выяснял, чем именно владела Мэри Карсон, и принимал бразды правления, дабы руководить всем этим на благо и от имени Святой католической церкви.

III

1929–1932

Пэдди

Настал Новый год, отпраздновали его, по обыкновению, на балу в Радней-Ханиш, у Энгуса Маккуина, – а семья Клири все еще не перебралась окончательно в Большой дом. Не так-то просто собрать и уложить все инструменты и пожитки, что накопились за семь с лишком лет, да еще Фиа объявила, что сначала надо как следует отделать в Большом доме хотя бы гостиную. Впрочем, никто и не спешил с переездом, хотя все его предвкушали. В чем-то жизнь будет такая же, как на старом месте: электричества и в Большом доме нет, и мух тоже полно. Но летом там градусов на двадцать прохладнее, чем на улице, – спасают толщина каменных стен и призрачные эвкалипты, заслоняющие крышу от солнца. И настоящая роскошь – пристройка с ванной, всю зиму туда подается горячая вода по трубам, что проходят за огромной плитой в стоящей рядом кухне, и вся вода – только дождевая. Купаться и принимать душ можно только в этой пристройке, правда, большой, с десятком отдельных кабинок, но и в Большом доме, и во всех домах-службах есть теплые ватерклозеты – неслыханная роскошь, завистливые джиленбоунцы потихоньку от Мэри Карсон поговаривали, что уж это чрезмерная изнеженность. Если не считать гостиницы «Империял», двух ресторанчиков, католического монастыря и дома при церкви, повсюду джиленбоунцы, и горожане и фермеры, довольствовались уборными во дворе. Повсюду – но не в Дрохеде, тут было столько цистерн, столько бочек у водосточных труб под многочисленными крышами, что запасов дождевой воды хватало. Порядок был строгий – зря воду не тратить, побольше пользоваться дезинфицирующим жидким мылом.

Но после обыкновенной ямы, служившей отхожим местом, это был суший рай.

Еще в начале декабря отец Ральф прислал Пэдди чек на пять тысяч фунтов на текущие расходы, как пояснил он в записке; Пэдди даже ахнул от

удивления и отдал чек жене.

– Наверное, я за всю свою жизнь столько не заработал, – сказал он.

– Что же мне с этим делать? – спросила Фиа, с недоумением посмотрела на чек, потом на мужа, глаза ее заблестели. – Деньги, Пэдди! Наконец-то у нас есть деньги, понимаешь? Миллионы тетушки Мэри мне не нужны, такая уйма – это уже что-то непонятное, ненастоящее. А вот эти деньги – настоящие! Что мне с ними делать?

– Тратить, – просто ответил Пэдди. – Отчего не купить что-нибудь новое из одежды себе и ребятам? И может, тебе хочется какую мебель для нового дома? Уж не знаю, чего еще нам надо.

– И я не знаю, вот глупо, правда? – Фиа встала из-за стола (они только что позавтракали), властно кивнула дочери. – Пойдем-ка посмотрим, как там и что.

Хотя минуло уже три недели с той, сумасшедшей, что последовала за смертью Мэри Карсон, никто из Клири еще и не подходил к Большому дому. Но если прежде Фиа держалась подальше от него, нынешний приход стоил многих визитов. Сопровождаемая целой свитой – миссис Смит, Минни и Кэт, она переходила с Мэгги из комнаты в комнату, и Мэгги недоумевала: никогда еще она не видела мать такой оживленной. Фиа все время бормотала про себя – это, мол, просто ужас, невозможно, невыносимо, слепая, что ли, была Мэри, в цвете не разбиралась или уж вовсе лишена вкуса?

Дольше всего Фиа задержалась в гостиной, придирчиво всю ее оглядела. Гостиная по размерам уступала только зале – просторная, сорок футов в длину, тридцать в ширину, высокий, пятнадцати футов, потолок. И престранная смесь безобразия и красоты в убранстве, стены, сплошь выкрашенные в кремовый цвет, давно пожелтели и никак не оттеняют великолепного лепного потолка и резных панелей в простенках. По стене, выходящей на веранду, во всю сорокафутовую длину ее, сплошной ряд высоких, от пола до потолка, окон, вернее, стеклянных дверей, но тяжелые шторы коричневого бархата еле пропускают сумрачный свет; обивка кресел какая-то буро-коричневая, тут же две изумительные малахитовые скамьи и две необыкновенно красивые скамьи флорентийского мрамора и громадный камин, отделанный кремовым мрамором с густо-розовыми прожилками. На паркете тикового дерева ровнехонько, словно по линейке, разложены три прекрасных обюссонских ковра, чудесная уотерфордская люстра, которую можно бы опустить на шесть футов, вздернута на скрученных винтом цепях под самый потолок.

– Честь вам и слава, миссис Смит, – сказала Фиа. – Все здесь просто

ужасно, но нигде не пылинки. Я устрою что-нибудь более достойное ваших забот. Такая красота эти скамьи и совершенно теряются без подходящего фона, просто стыд и срам! Меня всегда, с первого взгляда, подмывало переделать эту комнату, чтобы всякий, кто войдет, ахнул от восторга, и при этом чтобы было очень уютно, просто уходить не хотелось.

Письменным столом Мэри Карсон служило уродливое бюро в истинно викторианском стиле, на нем стоял телефон; Фиа подошла, презрительно щелкнула по мрачному темному дереву.

– Мой письменный столик тут будет очень кстати, – сказала она. – С этой комнаты я и начну и перееду сюда, когда мы ее обставим, не раньше. Тогда у нас будет хоть один не скучный уголок, где приятно всем собраться и посидеть.

Она под села к бюро и сняла телефонную трубку.

Дочь и три служанки стояли бок о бок и растерянно слушали, как она дает поручения Гарри Гофу. Пускай Марк Фойз вечерней почтой вышлет образчики тканей; фирма «Нок и Кербис» пусть пришлет образцы красок, братья Грейс – образцы обоев; эти и другие сиднейские магазины должны выслать составленные для нее каталоги с описанием имеющейся у них мебели. Смеющимся голосом Гарри пообещал подыскать искусного мастера-обойщика и артель маляров, способных выполнить кропотливую работу, какой требует Фиа. Ай да миссис Клири! Она не оставит в доме никаких следов Мэри Карсон.

Едва закончились телефонные переговоры, всем велено было тут же сорвать с окон бархатные коричневые портьеры. В порыве расточительства Фиа распорядилась швырнуть их в кучу мусора во дворе и самолично ее подожгла.

– Нам они не нужны, – объявила она, – и я не стану их навязывать джиленбоунским беднякам.

– Хорошо, мам, – оцепенев от удивления, пробормотала Мэгги.

– Здесь окна занавешивать незачем, – сказала Фиа, беспечно сокрушая все правила, принятые в ту пору в убранстве жилищ. – Веранда очень широкая, прямо в комнаты солнце не попадает, так на что нам занавеси? Я хочу, чтобы эта комната была на виду!

Прибыли заказанные ткани, и обойщик, и маляры; Мэгги и Кэт велено было взобраться на стремянки, отмыть и протереть верхнюю половину окон, миссис Смит и Минни управлялись с нижней половиной, а Фиа ходила вокруг, и ничто не ускользало от ее зоркого глаза.

К середине января работа была закончена, и, разумеется, благодаря общей телефонной линии весть об этом просочилась к ближним и дальним

соседям. Миссис Клири сделала из гостиной в Дрохеде настоящий дворец, так, наверное, простая учтивость требует, чтобы миссис Кинг и миссис О'Рок вместе с миссис Хоуптон навестили ее и поздравили с переездом?

Все единодушно сошлись на том, что Фиа старалась не напрасно: ее гостиная – верх совершенства. Кремовые обюссонские ковры, расцвеченные чуть поблекшими букетами розовых и алых роз и зеленых листьев, небрежно раскинуты по зеркальному паркету. Стены и потолок заново покрыты кремовой краской, а все лепные узоры на потолке и резьба на стенах тщательно позолочены, но в простенках широкие овальные медальоны гладко затянуты матовым черным шелком с тем же узором из роз, что и на коврах, и похожи на изысканные японские панно в кремовых, с позолотой, рамах. Хрустальную люстру опустили так, что нижние подвески позванивают в каких-нибудь шести с половиной футах от пола, и каждая из тысяч начищенных граней сияет радугами, а массивная бронзовая цепь уже не закручена в узел под самым потолком, но отведена к стене. На кремовых, с позолотой, столиках с витыми ножками расставлены того же стиля лампы, и пепельницы, и вазы, полные чайных и розовых роз; широкие удобные кресла заново обиты кремовым муаровым шелком, уютно придвинуты по два, по три к широким диванам и так и манят к себе; в одном светлом, солнечном углу стоит прелестный старый клавесин Фионы, и на нем в большой вазе чайные и розовые розы. Над камином Фиа повесила портрет бабушки в нежно-розовом кринолине, а напротив, в другом конце комнаты, портрет побольше – Мэри Карсон, еще не старая, рыжеволосая, в строгом черном платье с пышным турнюр, похожая на еще не старую королеву Викторию.

– Ну вот, – сказала Фиа, – теперь мы можем переселяться. Остальные комнаты я отделаю на досуге, без спешки. Правда, славно, что есть деньги и приличный дом и можно его устроить, как хочется!

Дня за три до переезда, спозаранку, когда еще и солнце не взошло, весело загорланили петухи на птичьем дворе.

– Вот бессовестные, – сказала Фиа, заворачивая фарфоровые чашки своего сервиза в старые газеты. – Чего они, спрашивается, раскричались, было б чем хвастаться. У нас ни одного яйца нет к завтраку, а до самого переезда все наши мужчины будут дома. Придется тебе, Мэгги, пошарить на птичнике, мне некогда. – Она пробежала глазами пожелтевшую страницу «Сидней морнинг гералд», презрительно фыркнула над рекламой корсета, сулящего дамам осиную талию. – Не понимаю, чего ради Пэдди непременно выписывает все эти газеты, ни у кого нет времени их читать. И мы даже не успеваем спалить всю эту гору в печке. Ты только посмотри!

Тут есть совсем старые, еще с новозеландских времен. Что ж, хоть на упаковку пригодятся.

Как славно, что мама такая веселая, – с этой мыслью Мэгги сбежала с крыльца и заторопилась через пыльный двор к птичнику. Понятно, все предвкушают новую жизнь в новом доме, но маме уж так не терпится, как будто она помнит, до чего хорошо жить в таком большом доме. А какая она умница и какой у нее тонкий вкус! Прежде этого никто и не представлял, ведь пока не было ни досуга, ни денег, все это не находило применения. Мэгги внутренне ликovala: из полученных пяти тысяч фунтов Пэдди послал денег ювелиру в Джилли и заказал для мамы кольцо и серьги из настоящего жемчуга, да еще с бриллиантами. Он подарит их маме на первом семейном обеде в Большом доме. Теперь Мэгги уже знала, какое лицо у матери, когда оно не сковано привычной хмурой сдержанностью, и хотелось скорее посмотреть, как же оно просияет при виде такого подарка. Все мальчишки, от Боба до близнецов, ждут не дождутся этой минуты, ведь папа всем показал большой плоский кожаный футляр, раскрыл, а там на черном бархате матово, переливчато мерцает жемчуг. Всех бесконечно радует, что мама так счастлива, просто расцвела, – как будто на глазах у всех после засухи начинается щедрый живительный дождь. Прежде за всю свою жизнь никто из них по-настоящему не понимал, как несчастлива была их мать.

Птичник большущий – четыре петуха и до четырех десятков кур. На ночь они укрываются в ветхом курятнике, пол там всегда чисто выметен, по сторонам тянутся ряды выстланных соломой корзин для несушек, а в глубине, на разной высоте, набиты жерди-наседы. Но весь день куры разгуливают по просторному двору, обнесенному проволочной сеткой. Когда Мэгги приотворила калитку и юркнула во двор, жадные квочки сбежались к ней в надежде на еду, но Мэгги только засмеялась – пора бы знать дурехам, что она их кормит вечером! – и, стараясь ни на одну не наступить, прошла в курятник.

– Ну и лентяйки же вы! – строго выговаривала она, шаря по гнездам. – Вас сорок, а яиц только пятнадцать! На завтрак и то мало, а про пирог и думать нечего. Пора вам взяться за ум, не то, так и знайте, вся ваша компания угодит в суп, не только дамы, и господа тоже, так что не надувайтесь и не расфуфыривайтесь и не распускайте хвост, милостивые государи!

Мэгги аккуратно собрала яйца в фартук и, напевая, побежала обратно в кухню.

Фиа сидела в деревянном кресле Пэдди, остановившимися глазами

глядя на страницу «Смитовского еженедельника», она была бледна как смерть, губы беззвучно шевелились. Слышно было, как в доме ходят и переговариваются мужчины и хохочут в кровати шестилетние Джиме и Пэтси – им не разрешается вставать, пока отец и старшие братья не уйдут на работу.

– Что случилось, мама? – спросила Мэгги.

Фиа не отвечала, не шевелилась, на верхней губе у нее проступили капли пота, в расширенных глазах невероятная, мучительная сосредоточенность, словно она собирает все свои силы, чтобы не закричать.

– Папа! Папа! – в испуге громко позвала Мэгги.

Это прозвучало так, что Пэдди вбежал в кухню, еще не застегнув до конца фланелевую нижнюю рубашку, за ним – Боб, Джек, Хьюги и Стюарт. Мэгги молча показала на мать.

Пэдди почувствовал – сердце у него застряло в горле, вот-вот задушит. Наклонился к жене, взял бессильно упавшую на стол руку.

– Что с тобой, родная?

Никто из детей никогда не слышал такой нежности в отцовском голосе, но почему-то все они сразу поняли – вот так он говорит с матерью, когда никого из них нет поблизости.

Этот особенный голос все-таки проник сквозь ее оцепенение, она подняла огромные серые глаза и посмотрела в его доброе, усталое, уже немолодое лицо.

– Вот. – Она показала на небольшую заметку внизу страницы.

Стюарт подошел сзади, легко положил руку на плечо матери; еще не начав читать, Пэдди взглянул на сына, в глаза его, точно такие, как у Фионы, и кивнул. К Стюарту он никогда не ревновал, как прежде к Фрэнку, – любовь к Фионе их не разделяла, а словно бы только укрепляла их близость.

И Пэдди начал медленно читать вслух, с каждой минутой голос его звучал все тише, все горестнее. Заметка была озаглавлена «Боксер приговорен к пожизненному заключению».

* * *

«Фрэнсис Армстронг Клири, 26-ти лет, боксер-профессионал, осужден сегодня Окружным судом в Гоулберне за убийство Роналда Элберта Камминга, работника с фермы, 32-х

лет, совершенное в июле сего года. Присяжные совещались всего лишь десять минут и предложили суду применить самую суровую меру наказания. Как сказал судья Фитц-Хью Каннели, дело это простое и ясное, 23 июля в баре гостиницы «Гавань» между Каммингом и Клири вспыхнула ссора. Позднее в тот же вечер сержант гоулбернской полиции Том Бирдсмор в сопровождении двоих полицейских прибыл в эту гостиницу по вызову ее владельца, мистера Джеймса Оуглви. В проулке за гостиницей полицейские застали Клири, который бил ногой по голове лежавшего без сознания Камминга. Кулаки у Клири были в крови, и в пальцах зажаты пучки волос Камминга. При аресте он был пьян, но вполне сознавал происходящее. Сначала его обвинили в умышленном нападении с целью членовредительства, но на другой день Камминг скончался в Гоулбернской окружной больнице от кровоизлияния в мозг, после чего Клири предъявлено было обвинение в убийстве.

Королевский адвокат мистер Артур Уайт пытался доказать невиновность своего подзащитного на основании невменяемости, но четверо врачебных экспертов со стороны обвинения решительно утверждают, что по существующим критериям Клири нельзя считать невменяемым. Напутствуя присяжных, судья Фитц-Хью Каннели сказал, что о невиновности не может быть и речи, обвиняемый, безусловно, виновен, но присяжным надлежит не спеша обдумать, следует ли применить мягкую или наиболее суровую меру наказания, поскольку суд будет руководствоваться их мнением. Оглашая приговор, судья Фитц-Хью Каннели назвал действия Клири «жестокостью дикаря» и выразил сожаление, что непредумышленное убийство, совершенное голыми руками в состоянии опьянения, исключает смертный приговор, ибо руки Клири можно считать оружием столь же смертоносным, как револьвер или нож. Клири приговорен к каторжным работам пожизненно с заключением в гоулбернской тюрьме – заведение, предназначенное для особо опасных преступников. На вопрос, не желает ли он что-либо сказать, Клири ответил: «Только не говорите моей матери».

Пэдди посмотрел дату – газета была от 6 декабря 1925 года.

– Больше трех лет прошло, – беспомощно сказал он.

Никто не ответил, не шелохнулся, никто не знал, как теперь быть; из

глубины дома доносился залиvistый смех близнецов, их веселая болтовня стала громче.

– «Только... не говорите... моей матери...» – помертвелыми губами повторила Фиа. – И никто не сказал. О Господи! Бедный, бедный мой Фрэнк!

Свободной рукой, тыльной стороной ладони, Пэдди утер свое мокрое от слез лицо, потом присел перед женой на корточки, тихонько погладил ее колени.

– Фиа, родная, пойди соберись в дорогу. Мы поедем к нему.

Она приподнялась – и вновь бессильно опустилась в кресло, лицо ее, маленькое, совсем белое, странно блестело, точно у мертвой, расширенные зрачки потускнели.

– Я не могу поехать, – сказала она ровным голосом, но все ощутили в нем нестерпимое страдание. – Если он меня увидит, это его убьет. Это убьет его, Пэдди! Я ведь хорошо его знаю, он такой гордый, такой самолюбивый, он так хотел чего-то добиться в жизни. Он хочет нести свой позор один, пусть будет по его воле. Ты же прочел: «Только не говорите моей матери». Мы должны помочь ему сохранить его секрет. Что хорошего принесет ему или нам свидание с ним?

Пэдди все еще плакал, но не о Фрэнке – о том, что жизнь угасла в лице жены и взгляд ее помертвел. Этот малый всегда был точно Иона, всегда приносил несчастье и пагубу, вечно стоял между ним, Пэдди, и его женой, это из-за него Фиа не открывала себя сердцу мужа и сердцам его, Падрика, детей. Всякий раз, чуть покажется – вот теперь-то наконец Фиа будет счастлива, Фрэнк лишал ее счастья. Но Пэдди любит ее так же глубоко и неискоренимо, как она – Фрэнка; после памятного вечера в доме священника он уже просто не мог питать к парнишке зла.

И теперь он сказал:

– Что ж, Фиа, раз, по-твоему, лучше нам с ним не видаться, значит, не поедем. А только я хочу знать, как он там, и если для него можно что сделать, так чтоб было сделано. Пожалуй, напишу преподобному отцу де Брикассару, попрошу приглядеть насчет этого – как ты скажешь?

Глаза ее оставались безжизненными, но щеки чуть заметно порозовели.

– Да, Пэдди, напиши. Только предупреди его, не выдал бы Фрэнку, что нам все известно. Пускай Фрэнк считает, что мы ничего не знаем, наверное, ему так легче.

Через несколько дней силы вернулись к Фióне, хлопоты по

переустройству дома не оставляли ей досуга. Но в своем спокойствии она опять стала суровой, хотя и не такой угрюмой, замкнулась в молчании. Казалось, тем, как будет в конце концов выглядеть ее новый дом, она озабочена гораздо больше, чем благополучием семьи. Быть может, ей думалось, что духовно все они в ней не нуждаются, а накормить их, обстирать и прочее – на то есть миссис Смит и Кэт с Минни.

Между тем судьба Фрэнка всех потрясла. Старшие мальчики страдали за мать, не спали по ночам, вспоминая ее лицо в ту первую страшную минуту. Они любили мать, в немногие недели перед горькой вестью впервые увидели ее веселой – им уже не суждено забыть этот ее новый облик, и всегда в них будет жить страстное желание вновь увидеть ее такой. Прежде осью, вокруг которой вращалась вся их жизнь, был отец, но с той памятной минуты мать стала с ним рядом. Теперь в них проснулась тревожная, всепоглощающая нежность, которая уже не могла угаснуть, как бы ни была Фиа сдержанна и равнодушна. Все мужчины в семье, от Пэдди до Стюарта, твердо решили – пусть Фиа живет так, как ей хочется, и требовали, чтобы такую жизнь для нее помогал создать каждый. Больше никто никогда и ничем не смеет обидеть ее или огорчить. Когда Пэдди подарил ей тот заветный жемчуг, она поблагодарила коротко, бесцветными словами, оглядела подарок без удовольствия, без интереса, но все подумали, как бы она ему обрадовалась, не случись несчастья с Фрэнком.

Бедной Мэгги все это принесло бы еще больше страданий, если бы не переезд в Большой дом, ибо отец и старшие братья хоть и не ввели ее в свое чисто мужское «общество охраны мамы» (быть может, чувствуя, что Мэгги вступила бы в него не без затаенной обиды), однако полагали, что она должна взять на себя все дела и обязанности, матери явно неприятные. Правда, бремя это с Мэгги разделили миссис Смит и ее помощницы. Всего неприятнее для Фионы были заботы о младших сыновьях, но миссис Смит взялась полностью опекать Джимса и Пэтси, да с таким пылом, что Мэгги не могла ее жалеть, напротив, только радовалась, что экономке удалось наконец совсем завладеть близнецами. Мэгги тоже огорчалась за мать, но не так сильно, как мужская половина семьи, – слишком тяжким испытаниям подвергалась ее дочерняя преданность; в ней рано и властно заговорил материнский инстинкт, и теперь ей оскорбительно было видеть, что Фиа становится день ото дня равнодушнее к Джимсу и Пэтси. «Когда у меня будут дети, – думала она, – я непременно, непременно буду любить всех одинаково!»

В Большом доме жизнь у них пошла совсем другая. Поначалу очень странным показалось, что у каждого – своя спальня, непривычна была

Фионе и Мэгги свобода от всех хозяйственных хлопот в доме и вне его. Минни, Кэт и миссис Смит прекрасно справлялись втроем со стиркой и глажкой, с уборкой и стряпней и только в ужас приходили, если им предлагали помощь. И счету не было бродячему люду, готовому за сытную еду и малую плату наняться на время в работники – они кололи дрова, кормили кур и свиней, доили коров, помогали старику Тому ухаживать за чудесным садом Дрохеды, делали генеральную уборку в доме.

Пэдди постоянно переписывался с отцом Ральфом по делам Дрохеды.

«Состояние Мэри приносит около четырех миллионов фунтов годового дохода благодаря тому, что капиталы частного акционерного общества «Мичар лимитед» вложены главным образом в сталь, пароходы и рудники, – писал отец Ральф. – Жалованье, которое я назначил вам, капля в море миллионов Мэри Карсон, меньше чем десятая доля дохода с имения Дрохеда. И пусть вас не тревожит, что бывают плохие годы. На счету Дрохеды такие прибыли, что в случае надобности я до скончания века могу платить вам из одних только процентов. Все, что вы получаете, вами заслужено, и «Мичар лимитед» не несет ни малейшего ущерба. Вам выплачиваются деньги из средств имения, а не акционерного общества. Держите все книги и счета имения в полном порядке, чтобы ревизоры в любую минуту могли знать, как обстоят дела, а больше от вас ничего не требуется».

После этого-то письма однажды вечером, когда все сыновья были дома, Пэдди и созвал в новой гостиной жены семейный совет. Водрузив на римский нос очки в стальной оправе, он удобно расположился в кресле с кремовой обивкой; ноги – на таком же диване, под рукой, на хрустальной пепельнице, – трубка.

– До чего ж тут славно! – Он улыбнулся, с удовольствием оглядел комнату. – Я так думаю, надо нам всем вместе поблагодарить маму за такую красоту, верно, ребята?

«Ребята» что-то забормотали в знак согласия, Фиа, сидя в бывшем кресле Мэри Карсон – теперь оно было обито кремовым муаровым шелком, – слегка наклонила голову. Мэгги сидела с ногами на диване, предпочитая его креслу, штопала носок и упорно не поднимала глаз.

– Так вот, – продолжал Пэдди, – преподобный отец де Брикассар все определил, он человек щедрый и великодушный. Он положил в банк на мое

имя семь тысяч фунтов и на каждого из вас открыл текущий счет и положил по две тысячи. Я стану получать четыре тысячи фунтов в год как управляющий имением. Боб – три тысячи как помощник управляющего. Все мальчишки, кто работает – Джек, Хьюги и Стюарт, – получают по две тысячи в год, а малыши – по тысяче, пока не подрастут и не решат сами, чем они хотят заниматься дальше.

Когда Джимс и Пэтси станут взрослыми, им каждому обеспечен такой же доход с Дрохеды, как тем, кто работает в имении, даже если они тут работать не захотят. А двенадцати лет их пошлют в Сидней, в закрытую школу Ривервью-колледж, и учение и содержание – все за счет Дрохеды.

Маме полагается отдельный годовой доход в две тысячи фунтов, и Мэгги то же самое. На содержание дома выдается пять тысяч фунтов – вот уж не пойму, с чего отец Ральф взял, будто нам на это нужна такая прорва деньжищ. Он говорит, вдруг мы захотим всерьез тут все перестраивать. Он распорядился насчет того, сколько должны получать миссис Смит, Кэт, Минни и Том, и опять скажу, он человек щедрый. Сколько всем прочим платить, я могу решать сам. Но первым делом я как управляющий обязан нанять еще самое малое шестерых овчаров, чтобы в Дрохеде все шло как полагается. А то больно она велика, рук не хватает.

Это было самое критическое замечание Пэдди по поводу того, как заправляла имением его сестра.

Никто из Клири и не слыхивал, что у человека может быть столько денег, и они в молчании пытались освоиться с неожиданным богатством.

– Нам и половины этого не потратить, Пэдди, – сказала Фиа. – Он все для нас сделал, больше уже не на что тратить.

Пэдди с нежностью посмотрел на жену:

– Твоя правда. Но знаешь, это славно, что больше не придется считать каждый грош, верно? – Он откашлялся, потом продолжал: – Теперь, я так думаю, мама с Мэгги у нас остаются малость не у дел. Я-то считать не мастер, а вот наша мама умеет складывать и вычитать, делить и умножать, что твоя учительница арифметики. И теперь она будет нашим счетоводом, нечего конторе Гарри Гофа этим заниматься. Я раньше не знал, оказывается, Гарри отдельного служащего нанял, только чтоб вести счета Дрохеды, а сейчас ему человека не хватает, так он не прочь опять нам эти дела передать. Он мне сам и подсказал, что из мамы получится отменный счетовод. Он пришлет кого-то из Джилли, чтоб тебя обучили по всем правилам, Фиа. Вообще-то, видно, дело это непростое. Надо вести бухгалтерские книги, и журналы, и кассовые книги, и всю отчетность, каждый день все записывать, в общем, много всего. Работы хватит, только

она не будет тебя выматывать, как стряпня да стирка прежде выматывали, верно я говорю?

Мэгги едва не закричала: «А я как же? Разве я меньше мамы стирала и стряпала?!»

А Фиа улыбнулась – по-настоящему улыбнулась, в первый раз с того дня, как они узнали про Фрэнка.

– Я с радостью за это возьмусь, Пэдди, право. Почувствую наконец, что и я в Дрохеде не посторонняя.

– Боб тебя научит водить новый «роллс-ройс», теперь ведь это будет твоя работа – ездить в Джилли в банк и советоваться с Гарри. И потом, будешь спокойна, что во всякую минуту можешь сама съездить, куда тебе понадобится, хоть бы нас никого и не было под рукой. Мы тут уж больно на отшибе живем. Я давно хотел вас с Мэгги выучить водить машину, да все недосуг было. По рукам, Фиа?

– По рукам, Пэдди, – весело ответила жена.

– Ну, Мэгги, теперь мы и тебя определим к делу.

Мэгги воткнула иголку в носок, отложила его, вскинула глаза на отца и вопросительно, и сердито: конечно же, сейчас он скажет – мол, мама будет занята счетами да отчетами, а уж приглядывать за хозяйством в доме и на усадьбе твоя забота.

– Не хотел бы я, чтоб из тебя получилась этакая важная барышня-белоручка вроде иных дочек здешних господ скотоводов, – сказал Пэдди с улыбкой, от которой его слова лишились всякой презрительности. – Так что я и тебе подберу настоящую работенку, малышка Мэгги. Будешь присматривать за ближними выгонами – на тебе участок у Водоема, речной, Карсонский, Уиннемурский и у Северной цистерны. И Главная усадьба. Будешь в ответе за лошадей – которых когда на работу посылать, которым давать роздых. Понятно, в самую страду, когда скот и сортировка овец, мы будем собираться все вместе, а остальное время, думаю, ты и сама справишься. Джек тебя научит командовать собаками и работать кнутом. Ты ж у нас бойкая, не хуже мальчишки, так я думаю, тебе это больше по вкусу придется – скакать по выгонам, чем валяться на диване, – закончил Пэдди и уж совсем до ушей расплылся в добродушной улыбке.

Пока он говорил, сердитое недовольство Мэгги развеялось как дым – опять он родной, близкий, думает о ней, любит, как любил когда-то ее маленькую. Как же она могла в нем сомневаться? Со стыда Мэгги готова была ткнуть себя иглой в коленку, да раздумала – слишком обрадовалась, чтобы всерьез захотелось самой себе сделать больно, и вообще уж очень это дурацкий выход для угрызений совести...

Она просияла:

– Ой, папочка, это будет чудесно!

– А мне что делать, папа? – спросил Стюарт.

– В доме ты женщинам больше не нужен, так что пойдешь опять к овцам.

– Хорошо, папа.

Стюарт с тоской посмотрел на мать, но не сказал больше ни слова.

Фиа и Мэгги научились водить новый «роллс-ройс», который Мэри Карсон выписала за неделю до смерти, Мэгги училась управлять собаками, Фиа – вести бухгалтерские книги и прочую отчетность.

Если б не разлука с отцом Ральфом, Мэгги, как никто, была бы счастлива безгранично. Ведь она давным-давно о том и мечтала – стать заправским овчаром, скакать верхом по лугам, под открытым небом. Но все время ей не хватало отца Ральфа, во сне и наяву грезился тот его поцелуй – драгоценное воспоминание, к которому она возвращалась тысячи раз. А все же память неосязаема, как ни старайся, подлинное ощущение не вернешь, остается лишь призрак, тень, грустное тающее облачко.

Он написал им про Фрэнка – и разом рассыпались надежды Мэгги, что под этим предлогом он сам побывает в Дрохеде. Свою встречу с Фрэнком в гоулбернской тюрьме он описывал очень сдержанно, ни словом не выдал, как она была мучительна, не намекнул, что у Фрэнка душевное расстройство и оно становится все тяжелее. Тщетно он добивался, чтобы Фрэнка перевели в Мориссет – лечебницу для душевнобольных преступников, его и слушать не стали. И он в письме к Пэдди самыми розовыми красками изобразил Фрэнка, покорно искупающего свои грехи перед обществом, и подчеркнул: Фрэнк не подозревает, что родным известно о случившемся. Он, отец Ральф, заверил Фрэнка, что сам он узнал об этом из сиднейских газет и сумеет позаботиться, чтобы до семьи Клири весть эта не дошла. Его обещание успокоило Фрэнка, прибавил отец Ральф и этим ограничился.

Пэдди поговаривал о том, чтобы продать каурую кобылу, на которой прежде ездил отец Ральф. Мэгги теперь ездила по выгонам на поджаром вороном меринке, который служил ей прежде для прогулок, – воронок был славный, послушный, куда приятнее злобных меринков и норовистых кобыл с конного двора. Лошади эти были умны, но не отличались кротким нравом. И от того, что в Дрохеде не было ни одного жеребца, они не становились приветливее.

– Нет, папа, пожалуйста, не надо! – взмолилась Мэгги. – Я сама стану ездить на каурой! Подумай, как будет нехорошо, отец Ральф сделал нам

столько добра, и вдруг он приедет в гости и увидит, что мы продали его лошадь!

Пэдди в раздумье посмотрел на дочь:

– Навряд ли отец Ральф к нам когда-нибудь приедет, Мэгги.

– А вдруг приедет! Откуда мы знаем!

Пэдди не мог выдержать взгляда ее глаз, так похожих на глаза матери; нет сил огорчать ее еще сильнее, она и так горюет, бедняжка.

– Что ж, ладно, Мэгги, оставим и каурую, только смотри, чтоб они у тебя ходили под седлом поровну, не застаивались, заживевшие лошади мне в Дрохеде не нужны, понятно?

Прежде ей совсем не хотелось садиться на лошадь отца Ральфа, но с этого дня она ездила то на одной, то на другой – пускай обе честным трудом зарабатывают свой овес.

Да, вышло очень удачно, что близнецов без памяти полюбили миссис Смит, Минни и Кэт, – Мэгги разъезжала по выгонам, Фиа долгие часы проводила у себя в гостиной за письменным столом, а Джимсу и Пэтси жилось превесело. Бойкие, неутомимые, они у всех путались под ногами, но были оба такие жизнерадостные и приветливые, что ни у кого не хватало духу долго на них сердиться. По вечерам у себя в домике миссис Смит, которая давно уже перешла в католичество, на коленях изливала благодарность, переполнявшую ее сердце. Пока жив был ее Роб, не дано ей было радости иметь своих детей, и долгие годы не слышалось детских голосов в Большом доме – тем, кто его обслуживал, запрещалось водить дружбу с семьями овчаров, что жили в домиках на берегу реки. Но приехало семейство Клири, родня Мэри Карсон, и наконец-то появились дети. А теперь – теперь Джимс и Пэтси окончательно поселились в Большом доме.

Зима прошла без дождей, не принесло дождей и лето. Палящее солнце иссушило сочные, высотой по колено, золотистые травы до самой сердцевины, каждая травинка стала хрусткой и ломкой. Посмотреть вдаль можно только сощурив глаза в щелочку и нахлобучив широкополую шляпу до самых бровей – луга отсвечивают слепящим серебром; меж зыбких голубых миражей закручиваются вихорьки пыли, деловито снуют, сметая в кучи и перекатывая с места на место сухие листья и мертвые травинки.

Какая настала сушь! Даже деревья высохли, кора с них отваливается жесткими ломкими полосами. Опасность, что овцы начнут голодать, пока не грозит – травы все-таки хватит еще на год, а пожалуй, и дольше, – но уж очень тревожно смотреть, до чего все пересохло. Всегда может случиться, что дождей не будет и на следующий год, и еще через год. В хороший год

их выпадает на десять – пятнадцать дюймов, в плохой меньше пяти, а то и вовсе не бывает.

Несмотря на жару и мух, Мэгги любила пастушью жизнь – славно это, шагом едешь на каурой кобылке за тесной кучей блеющих овец, а собаки, обманчиво равнодушные, высунув языки, растянулись на земле. Но пусть попробует какая-нибудь овца выскочить из стада – и мигом ближайший пес, мстительная молния, кинется вслед, острыми зубами с удовольствием цапнет злополучную ослушницу за ногу.

Мэгги проехала вперед, обогнав стадо – приятное разнообразие после того, как мило за милей надо было ехать сзади и глотать пыль, – и отперла ворота следующего выгона. Терпеливо подождала, пока собаки, радуясь случаю показать ей свое усердие, лаем и укусами не загнали туда овец. Коров собирать и загонять труднее, они брыкаются, а иная и кинется на неосторожную собаку, бывает, и на рога поднимет; вот тут-то пастуху надо быть наготове, пустить в дело кнут, но собаки любят толику опасности. Однако Мэгги пасти коров не поручали, этим Пэдди занимался сам.

А собаками она не уставала восхищаться: до чего умны, просто не верится! Почти все дрохедские овчарки были темно-рыжие, только лапы, надбровья и грудь светлые, но были и квинслендские – крупные, голубовато-серые с черными пятнами, и метисы, в которых на все лады смешались та и другая масть. Когда для сук наступала брачная пора, им по всем правилам науки подбирали наилучшую пару и ждали приплода; подросших щенков, которые уже перестали кормиться молоком матери, испытывали на выгонах – и тех, что обещали стать хорошими пастухами, оставляли в Дрохеде или продавали, а негодных пристреливали.

Мэгги свистом подзвала собак, заперла за овцами ворота и повернула свою каурую к дому. Неподалеку стояла роща – тут росли эвкалипты разных пород, черный самшит, кое-где на опушке – вилга. Мэгги с облегчением въехала в тень и обрадовалась свободной минуте – приятно было посмотреть вокруг. В ветвях эвкалиптов полно мелких попугаев, суеются, верещат и свистят, передразнивая певчих птиц; кружат зяблики; два какаду с зеленовато-желтыми хохолками сидят рядышком и, склонив головы набок, блестящими глазами следят за всадницей; трясогузки шныряют по земле в поисках муравьев, забавно подергивают хвостиками; мрачно, нескончаемо каркают вороны. Их голоса в лесном хоре звучат всего неприятнее – безрадостные, безнадежные, они наводят тоску, напоминают о брэнной плоти, о мухах, слетающихся на падаль. Невозможно представить, чтобы ворона запела птицей-колоколом – ее голос вполне соответствует занятию.

И конечно, повсюду тучи мух; поверх шляпы Мэгги носила вуаль, но мухи липли к обнаженным рукам, а кобылка без отдыха махала хвостом, ее шкура беспрестанно вздрагивала и подергивалась. Мэгги только диву давалась – у лошади такая толстая кожа и густая шерсть, а она чувствует крохотную, невесомую муху. Лошадей и людей мухи донимают потому, что пьют пот, но овцы им еще нужнее: на овечьем заду и везде, где шерсть влажная и нечистая, они откладывают яички, люди для этого не годятся.

Воздух наполнился пчелиным гудением, пронизан был яркими стрекозами, проносящимися к оросительным канавкам, трепетал многоцветными крыльями бабочек и дневных мотыльков. Каурая кобылка откинула копытом обломок гнилого ствола, он перевернулся, и у Мэгги мороз пошел по коже. Под обломком кишмя кишели червяки и червячки, отвратительные жирные белесые личинки, древесные вши, слизняки, громадные стоножки и пауки. Из своих нор выскакивали кролики, прыжками кидались врассыпную, высоко в воздухе мелькали их белые пушистые хвостики, и тут же они оборачивались, смотрели с любопытством, быстро-быстро дергали носами. Дальше Мэгги спугнула ехидну – та прервала охоту на муравьев, в ужасе стала торопливо зарываться в землю сильными когтистыми лапами и в считанные секунды наполовину скрылась над огромным упавшим стволом. Забавно смотреть на уловки этого колючего землекопа, свирепые иглы плотно прижались к телу, чтобы ему было легче проскользнуть в узкий подкоп, комья земли так и летят из-под лап.

Из рожи Мэгги выехала на широкую дорогу, ведущую к Главной усадьбе. Поперек дороги лежало серое крапчатое покрывало – огромная стая попугаев гала подбирала насекомых и личинки, но, слышав всадницу, разом взмыла в воздух. Словно волна цвета зари взметнулась над головой – теперь Мэгги видела подкрылья и грудь, и серые птицы, как по волшебству, обернулись ярко-розовыми. «Если мне суждено завтра покинуть Дрохеду навсегда, – подумала Мэгги, – она мне станет сниться вот так, омытая ярко-розовым светом, как эти крылья с изнанки... А дальше в пустыне, наверное, все высохло, вот и кенги переселяются сюда к нам, их с каждым днем больше...»

Громадное стадо кенгуру, должно быть тысячи две, мирно щипало траву, но шумно взлетевшая птичья стая встревожила их – и они понеслись прочь легкими, грациозными прыжками, самые быстроногие из животных, кроме разве страуса эму. Лошадям с кенгуру не сравниться.

Да, в иные минуты приятно полюбоваться природой, но больше всего Мэгги, по обыкновению, думала о Ральфе. В душе она никогда не считала

свое чувство к нему девчоночьей влюбленностью, а называла просто любовью, как пишут в книгах. Чувствует она то же самое, что какая-нибудь героиня Этель Делл, все у нее так же. И право, очень несправедливо, чтобы какая-то искусственная преграда, его сан, стояла между ней, Мэгги, и тем, чего ей так хочется, – а хочется ей выйти за него замуж. Хочется жить с ним в полном согласии, как живут ее папа с мамой, и пускай он ее обожает, как папа маму. Мать никогда особенно не старалась заслужить такое обожание, думала Мэгги, а меж тем отец перед ней преклоняется. Вот и Ральф очень быстро увидел бы, что быть с ней несравнимо лучше, чем одному; Мэгги и в мысль не приходило, что Ральф ни при каких обстоятельствах не может изменить своему обету. Да, она знала, что не дозволено ни выйти замуж за священника, ни влюбиться в него, но уже привыкла обходить это препятствие, мысленно освобождая Ральфа от духовного сана. Хоть ее и обучили основам католической веры, никто при этом не разъяснял сути монашеских обетов, а сама она не ощущала нужды в вере и не углублялась в подобные вопросы. Молитвы не приносили ей утешения и радости, а велениям церкви она подчинялась просто потому, что иначе пришлось бы после смерти вечно гореть в аду.

И сейчас она бессвязно грезил наяву: вот блаженство было бы жить с ним под одной крышей и спать рядышком, как папа с мамой. Мысль о его близости взволновала ее, даже неловко стало сидеть в седле, и Мэгги вообразила несчетные поцелуи – ничего другого она вообразить не могла. Поездки по выгонам ничуть не сделали ее осведомленнее в вопросах пола, ибо, почуяв издали собаку, животные разом теряли всякую склонность к эротическим наслаждениям, а спариваться без разбору им в Дрохеде, как и на любой ферме, не давали. На время, когда баранов на особом выгоне пускали к овцам, Мэгги отсылали куда-нибудь в другое место. А увидев, как одна собака вскочила на другую, она принимала это за игру иогревала обоих кнутом: когда пасешь отару, не до баловства.

Едва ли хоть один человек способен рассудить, что тяжелее – неосознанное томление, неразлучное с беспокойством и взвинченностью, или ясное и определенное желание, упрямо стремящееся к утолению. Бедная Мэгги томилась, не зная толком, к чему ее тянет, но тяга не отпускала – и неотвратимое влечение сосредоточилось на Ральфе де Брикассаре. И она мечтала о нем, жаждала его, стремилась к нему и горевала, что хоть он и говорил, будто любит ее, а ни разу не навестил, так мало она для него значит.

Эти ее раздумья прервал Пэдди, он ехал той же дорогой к дому; Мэгги с улыбкой придержала каурую кобылу, дожидаясь отца.

– Вот приятная встреча! – сказал Пэдди и шагом пустил свою старуху чалую рядом с уже немолодой лошадью дочери.

– Да, правда, – отозвалась Мэгги. – А как на дальних выгонах, очень сухо?

– Пожалуй, похуже, чем тут. И кенги нагрянули, я их столько еще не видывал! Наверное, дальше к Милпаринке настоящая засуха. Мартин Кинг говорил, надо их пострелять, а я думаю, тут хоть из пулеметов строчи, кенг не убавится, их тьма-тьмущая.

Он такой славный, такой заботливый, любящий, все прощает, и так редко ей случается побыть с ним вдвоем, вечно рядом крутится кто-нибудь из братьев... И Мэгги не удержалась, задала все тот же вопрос, который терзал и мучил ее, как ни старалась она себя успокоить.

– Папа, а почему отец Ральф совсем нас не навещает?

– Он очень занят, Мэгги, – ответил Пэдди с какой-то ноткой настороженности.

– Но ведь даже у священников бывает свободное время, правда? Он раньше так любил Дрохеду, уж наверно он хотел бы приехать сюда отдохнуть.

– Да, верно, священники тоже отдыхают, Мэгги, но вообще-то они никогда не свободны от своего дела. К примеру, им всю жизнь каждый день надо служить мессу, хотя бы при этом больше ни души не было. Я так думаю, отец де Брикассар очень мудрый человек, он понимает, жизнь обратно не повернешь, что было, то прошло. Для него Дрохеда – дело прошлое, малышка Мэгги. Вернись он сюда, ему тут уж не будет прежнего удовольствия.

– По-твоему, он нас забыл, – подавленно промолвила Мэгги.

– Не то что забыл. Тогда бы он не писал так часто и не расспрашивал про каждого. – Пэдди повернулся к дочери, в голубых глазах его светилась жалость. – Я так думаю, лучше ему не приезжать, вот и не приглашаю, чтоб он про это и не думал.

– Папа!

И Пэдди – будь что будет! – словно в омут кинулся:

– Послушай, Мэгги, не годится девушке мечтать о священнике, пора уж тебе понять. Ты свой секрет хранить умеешь, наверное, больше никто про это не догадывается, но ведь с вопросами-то ты идешь ко мне, верно? Не много вопросов, но и этого довольно. Так вот, говорю тебе, кончай с этим, ясно? Отец де Брикассар дал обет и нарушать его не станет, точно тебе говорю, он к тебе, конечно, привязан, только ты это неправильно понимаешь. Он был уже взрослый, когда тебя узнал, а ты была совсем

ребенок. Так вот, Мэгги, ты для него и по сей день просто ребенок.

Она не ответила, и лицо ее не дрогнуло. Что и говорить, настоящая Фионина дочка, подумал Пэдди. Потом неестественно спокойно она сказала:

– Но он мог бы выйти из священников, просто у меня не было случая с ним об этом поговорить.

По лицу Пэдди видно было, до чего он ошарашен, и это неподдельное возмущение оказалось для нее куда убедительнее его пылкой речи.

– Мэгги! О Господи, вот беда – жить в такой глуши! Надо было тебе учиться, девчонка. Если б тетя Мэри померла раньше, я бы тебя спровадил в Сидней хоть годика на два, там бы тебя научили уму-разуму. А теперь тебе для этого лет многовато. Не хочу я, чтоб люди над тобой смеялись, бедная моя малышка Мэгги. – И он продолжал мягче, с расстановкой, что придавало его словам жестокую, пронзительную ясность, хотя он ничуть не хотел быть жестоким, хотел лишь раз и навсегда развеять дочкины напрасные надежды: – Отец де Брикассар – священник, Мэгги, священник. И никогда он не перестанет быть священником, это невозможно, пойми. Он дал священный обет, торжественный и вовеки нерушимый. Раз уж человек принял сан, обратного хода нет, и его наставники в духовной семинарии позаботились, чтобы он заранее твердо знал, на что идет и в чем клянется. Кто дает такой обет, наверняка знает – нарушить его нельзя до самой смерти. Отец де Брикассар дал такой обет – и вовек его не нарушит. – Пэдди вздохнул. – Теперь понимаешь, Мэгги? И вперед об отце де Брикассаре не мечтай, больше не будет тебе оправдания.

Они подъехали к Главной усадьбе не со стороны овчарен, а со стороны конюшен; не говоря ни слова, Мэгги повернула каурую к конюшне, предоставив отцу ехать дальше одному. Сначала он все оглядывался и смотрел ей вслед, но когда она скрылась за оградой конного двора, наподдал каблуками чалой под ребра и пустился вскачь, отчаянно злясь на себя за то, что ему пришлось сказать. Будь прокляты эти любовные дела! Видно, тут какие-то свои правила, ни с чем другим не сообразные.

Голос преподобного Ральфа де Брикассара обдавал холодом, но еще холоднее был его взгляд, прикованный к бледному лицу молодого священника; сухо, размеренно звучали слова:

– Вы поступали не так, как того требует от своих служителей Господь наш Иисус Христос. Полагаю, сами вы знаете это лучше, чем можем когда-либо узнать мы, кто вас судит, однако я все же должен судить вас от имени вашего архиепископа, ибо он не только собрат ваш по вере, но и старший

над вами. Ему вы обязаны беспрекословно повиноваться, и не вам оспаривать его суждения и его приговор.

Сознаете ли вы, какой позор навлекли на себя, на весь ваш приход, а главное – на святую церковь, которую возлюбить должны были превыше всех людей? Данный вами обет целомудрия священен и нерушим, равно как все иные ваши обеты, изменить ему – тяжкий грех. Разумеется, вы никогда больше не увидите эту женщину, однако наш долг помочь вам побороть соблазн. И мы позаботились о том, чтобы вы немедленно отбыли на новое место службы, вам поручен приход в Дарвине, на Северной территории. Сегодня же вечером вы скорым поездом отправитесь в Брисбен, а оттуда, также поездом, в Лонгрич. В Лонгриче вы сядете на самолет, следующий в Дарвин. Ваши личные вещи в настоящую минуту укладывают, они будут ждать вас в поезде перед отправлением, так что вам незачем возвращаться в ваш нынешний приход. А теперь ступайте с отцом Джоном в нашу часовню и молитесь. Вы останетесь в часовне, пока не пора будет ехать к поезду. Ради спокойствия и утешения вашего отец Джон будет сопровождать вас до Дарвина. Идите.

Святые отцы, стоящие у кормила католической церкви, мудры и предусмотрительны, они не оставят грешнику возможности обменяться хоть словом с девушкой, которая стала его любовницей. Эта греховная связь вызвала в нынешнем его приходе скандальную, весьма неприятную огласку. А девица – что ж, пусть ее ждет, и тревожится, и теряется в догадках. С этой минуты и до прибытия в Дарвин грешник будет под неусыпным наблюдением высокочтимого отца Джона, которому даны соответствующие наставления, а впредь все письма грешника из Дарвина будут вскрываться, и ему не дозволены будут междугородные телефонные переговоры. Любовница никогда не узнает, куда он исчез, и он никогда не сможет ей сообщить. И никогда уже ему не вступить в новую связь. Дарвин – город на краю пустыни, женщины там наперечет. Он дал обеты нерушимые, никто и ничто не может его от них освободить; а если сам он по слабости духа не способен держать себя в строгости, святая церковь должна сделать это за него.

Отец Ральф проводил взглядом молодого священника и приставленного к нему стража, а когда за ними затворилась дверь, поднялся из-за стола и прошел во внутренние покои. Архиепископ Ключи Дарк сидел в своем обычном кресле, а боком к нему неподвижно сидел еще один человек, препоясанный лиловым шелком и в круглой шапочке. Архиепископ был человек крупный, рослый, с великолепной гривой седых волос и яркими синими глазами, энергичный, жизнерадостный, большой

любитель посмеяться и хорошо поесть. Посетитель, напротив, оказался маленьким, худеньким, из-под шапочки падали редкие черные пряди, синевато темнели чисто выбритые щеки и подбородок, на худом землистом лице аскета – большие черные глаза. Судя по виду, ему могло быть и тридцать лет, и пятьдесят, а было тридцать девять – тремя годами больше, чем преподобному Ральфу де Брикассару.

– Садитесь, отец Ральф, выпейте чаю, – радушно пригласил архиепископ Дарк. – Я уж подумывал, не придется ли спросить свежего. Ну что, дали вы этому молодому человеку на прощание подходящие наставления, чтобы вел себя получше?

– Да, монсеньор, – коротко ответил отец Ральф и подсел третьим к чайному столу, заставленному всякой всячиной: тут были тонюсенькие сэндвичи с огурцами, пирожные, покрытые белой и розовой глазурью, горячие, только из печи, булочки с маслом, в хрустальных вазочках – варенье и взбитые сливки, серебряный чайник, сахарница и сливочник и эйнслиевские чашки тончайшего фарфора с изящным золотым узором.

– Подобные случаи весьма прискорбны, дорогой архиепископ, но даже мы, служители Господа нашего, всего лишь люди и не чужды слабостей, – сказал посетитель. – Я глубоко сожалею об этом молодом человеке и сегодня вечером стану молиться о том, чтобы впредь он был тверже духом.

Голос его звучал мягко, он слегка шепелявил, явственно чувствовалось чужеземное произношение. Родом он был итальянец, по церковной иерархии – архиепископ, папский легат в Австралии, звали его Витторио Скарбанца ди Контини-Верчезе. Он играл весьма деликатную роль связующего звена между церковными властями Австралии и высшим нервным центром католической церкви – Ватиканом, а это означало, что он – первый и главный пастырь в этой части света.

Прежде чем получить это назначение, он, само собой, надеялся поехать в Соединенные Штаты, но, поразмыслив, решил, что и Австралия прекрасно ему подойдет. Страна эта гораздо меньше если не по размерам, то по численности населения, зато гораздо более католическая. В отличие от других государств, где говорят по-английски, здесь католиков не считают людьми второго сорта, и если кто-то исповедует католическую веру, это ничуть не мешает ему стать преуспевающим политиком, промышленником или судьей. И это страна богатая, она щедро пополняет церковную казну. Пока он в Австралии, можно не опасаться, что о нем забудут в Риме.

Притом наместник папы был человек тонкого ума, и взгляд его поверх золоченого края чашки устремлен был не на архиепископа Ключни Дарка, но на преподобного Ральфа де Брикассара, которому предстояло вскоре

стать его, легата, личным секретарем. Как известно, архиепископу Дарку этот священник очень и очень по душе, но вот вопрос – придется ли такой секретарь по душе ему, папскому легату? Они высоченные, как башни, эти австралийские пастыри ирландского происхождения, ростом куда выше его; вечно приходится задирать голову, чтобы смотреть им в лицо, это очень утомительно. С теперешним своим наставником преподобный Ральф де Брикассар держится безукоризненно – легко, непринужденно, почтительно, но прямодушно, и чувство юмора у него есть. А как он освоится с наставником совсем иного склада? Обычно секретарем легата назначают кого-нибудь из священников-итальянцев, но преподобный Ральф де Брикассар вызывает в Ватикане особый интерес. Как ни странно, он и сам человек богатый (вопреки распространенному мнению, церковные власти не вправе отнять у него деньги, а сам он их в дар церкви не предлагает); более того, он единоличными усилиями принес церкви богатейший вклад. Потому в Ватикане и предложили папскому легату ди Контини-Верчезе взять преподобного Ральфа де Брикассара в секретари и присмотреться к этому молодому человеку поближе: что он, в сущности, собой представляет?

В один прекрасный день папе римскому придется в награду австралийской католической церкви возвести одного из ее слуг в сан кардинала, но день этот еще не настал. А пока легату следует изучить священников в возрасте де Брикассара, и, несомненно, из них именно де Брикассар самый подходящий кандидат. Что ж, быть по сему. Пусть отец де Брикассар испробует, чего стоит его характер против итальянского. Пожалуй, это будет любопытно. Если б только еще он был хоть немного пониже ростом!

Преподобный Ральф мелкими глотками пил чай, он был необычно молчалив. Легат заметил – он съел крохотный треугольный сандвич, к прочим лакомствам не прикоснулся, он с жадностью выпил четыре чашки чаю без молока и без сахара. Что ж, так о нем и докладывали: на редкость воздержан и скромен в своих привычках, единственная роскошь, которую он себе позволяет, – личный (и очень быстроходный) автомобиль.

– У вас французская фамилия, ваше преподобие, но, насколько я знаю, вы ирландец, – негромко заговорил легат. – Откуда такая странность? Ваши предки – французы?

Отец Ральф с улыбкой покачал головой.

– Это нормандское имя, ваше высокопреосвященство, очень старинное и почтенное. Я прямой потомок некоего Ранульфа де Брикассара, он был бароном при дворе Вильгельма Завоевателя. В тысяча шестьдесят шестом

году он с войском Вильгельма вторгся в Англию, и один из его сыновей стал здесь землевладельцем. Семья эта процветала, пока Англией правили норманны, а позднее, при Генрихе Четвертом, некоторые переправились в Ирландию и осели в той ее части, что оказалась под английской короной. Когда Генрих Восьмой отделил англиканскую церковь от римской, мы продолжали придерживаться веры Вильгельма Завоевателя, иначе говоря, считали, что подчиняемся прежде всего не Лондону, а Риму. Но при Кромвеле мы лишились всех своих земель и титулов, и нам их уже не вернули. Ирландскими землями Карл награждал своих английских любимцев. Ирландцы, знаете ли, не без причины ненавидят англичан.

И вот мы более или менее впали в безвестность, но остались верны католической церкви и Риму. У моего старшего брата отличный конный завод в графстве Мот, и он надеется, что одна из его лошадей выиграет когда-нибудь приз Дерби или Большой национальный. Я – второй сын в семье, а по традиции нашего рода второй сын всегда принимал сан, если чувствовал к этому склонность. Я, признаться, горжусь своим именем и своим происхождением. Роду де Брикассаров уже полторы тысячи лет.

Да, это прозвучало недурно! Старинное аристократическое имя и повесть о неизменной твердости в вере, даже наперекор изгнанию и преследованиям.

– А откуда «Ральф»?

– Сокращенное Ранульф, ваше высокопреосвященство.

– Понимаю.

– Мне будет очень недоставать вас, отец Ральф, – сказал архиепископ Ключи Дарк, густо намазал половину булочки вареньем и взбитыми сливками и разом отправил все это в рот.

Отец Ральф рассмеялся:

– Вы ставите меня в трудное положение, ваше высокопреосвященство! Я оказался между прежним и новым наставником, и если дам ответ, приятный одному из вас, он может не понравиться другому. Но позволительно ли сказать, что мне будет недоставать вас, ваше высокопреосвященство – и в то же время я с радостью готов служить вам, ваше высокопреосвященство?

Отлично сказано, поистине дипломатический ответ. Архиепископ ди Контини-Верчезе подумал, что, пожалуй, такой секретарь ему вполне подойдет. Только вот чересчур красив, такие тонкие черты, поразительно яркие глаза, волосы, цвет лица, великолепная фигура.

Отец Ральф снова умолк, невидящим взглядом уставился на чайный стол. Он опять увидел молодого священника, которого только что сурово

отчитывал, его страдающие глаза в ту минуту, когда стало ясно, что ему не дадут хотя бы проститься с любимой. Боже милостивый, а что, если бы на месте этого бедняги оказался он сам, а на месте девушки – Мэгги? Такое может некоторое время сходить с рук, если соблюдать осторожность; может сходить с рук до бесконечности, если встречаться с женщинами только раз в году, на отдыхе, вдалеке от своего прихода. Но позволю себе всерьез привязаться к одной какой-то женщине – и тайну неизбежно раскроют.

В иные дни только простояв на коленях на мраморном полу архиепископской часовни, пока не одеревенеет и не занает мучительно все тело, он одолевал порыв – первым же поездом помчаться назад в Джилли и оттуда в Дрохеду. Уверял себя, что он всего лишь устал от одиночества и ему недостает человеческого тепла и радушия, к которым он привык в Дрохеде. Уверял себя, будто ничто не изменилось, когда он, поддавшись минутной слабости, ответил на поцелуй Мэгги – все равно его любовь к ней остается лишь чудесной сказкой и ничуть не преобразилась, не обрела, в отличие от прежних расплывчатых грез, опасную, чуть ли не осязаемую законченность. Нет, он не мог признаться себе в каких-либо переменах и упорно думал о Мэгги как о маленькой девочке, отгоняя образы, которые этому противоречили.

Он ошибся. Время шло, а боль не ослабевала. Напротив, мучила еще сильнее, оборачивалась холодной, безобразной пыткой. Прежде одиночество было безликим, и он никогда не думал, что хоть один человек, войдя в его жизнь, мог бы принести ему исцеление. Теперь у одиночества было имя: Мэгги, Мэгги, Мэгги, Мэгги...

Он очнулся от задумчивости под пристальным немигающим взглядом архиепископа ди Контини-Верчезе – эти большие темные глаза оказались опасно всезнающими, куда более пронизательными, чем живые круглые глаза его нынешнего духовного наставника. Отец Ральф был слишком умен, чтобы притворяться, будто у него нет причин для невеселого раздумья – он ответил будущему наставнику столь же пронизательным взглядом, потом улыбнулся и слегка пожал плечами, словно говоря: у каждого из нас свои скорби и печали и нет греха в горестных воспоминаниях.

– Скажите, ваше преподобие, неожиданный спад в экономической жизни не отразился на подопечном вам имуществе? – словно между прочим спросил итальянец.

– Пока у нас нет причин тревожиться, ваше высокопреосвященство. «Мичар лимитед» не так-то легко поддается колебаниям рыночных цен. Мне думается, больше всего пострадают те, кто поместил свои капиталы не столь осмотрительно, как миссис Карсон. Конечно, ферма Дрохеда не так

процветает, цены на овечью шерсть падают. Но миссис Карсон была слишком разумна, чтобы вложить все свои деньги в сельскохозяйственные предприятия, она предпочитала металл, это гораздо надежнее. Впрочем, на мой взгляд, сейчас в Австралии самое время покупать землю – не только фермы, но и дома, даже здания в больших городах. Цены смехотворно низкие, но они не могут вечно оставаться низкими. Не представляю, чтобы в ближайшие годы мы могли потерпеть убыток на недвижимости, купленной сейчас. Рано или поздно экономический кризис кончится.

– Совершенно верно, – сказал легат.

Итак, отец де Брикассар не только в некотором роде дипломат, он в некотором роде еще и делец. Такой талант Риму, безусловно, не следует упускать из виду.

9

Но настал 1930 год, и Дрохеда хорошо узнала, что такое экономический кризис. В Австралии полно было безработных. Кто только мог, переставал платить за жилье и пускался на поиски работы, но тщетно – работы нигде не было. Жены и дети, предоставленные самим себе, жили в лачугах на муниципальной земле и выстаивали долгие очереди за пособием, отцы и мужья скитались по стране. Человек брал в дорогу самое необходимое, закатывал эти скудные пожитки в одеяло, перетягивал его ремнями, закидывал скатку за спину и пускался в путь, надеясь, что на фермах если не наймут на работу, так хоть накормят. Лучше уж бродяжить по глуши, чем ночевать на улицах Сиднея.

Цены на все съестное упали, и Пэдди до отказа набил запасами амбары и кладовые. Всякий захожий человек мог не сомневаться: из Дрохеды его натошак и с пустыми руками не отпустят. Но вот что странно, захожие люди на месте не задерживались: подкрепятся горячей пищей, получат кое-какие припасы в дорогу – и даже не пробуют осесть, бредут дальше, ищут... а чего? Это ведомо разве только им самим. Далеко не всюду их встречают так радушно и с такой щедростью, как в Дрохеде, и тем непостижимее, почему странники не хотят здесь остаться. Быть может, слишком они устали от бездомности, от бесцельности своих скитаний, от того, что некуда им возвращаться и некуда стремиться, вот и продолжают плыть по течению. Многие все же выживали, а иные погибали в пути, их тут же на месте и хоронили, если только находили прежде, чем вороны и кабаны дочиста обгложут их кости. Огромна и пустынна австралийская

глушь.

Но Стюарт снова не отлучался из дому, и дробовик всегда был под рукой, в углу у двери кухни. Подобрать надежных овчаров не стоило труда, в старых бараках для пришлых рабочих Пэдди поселил девятерых холостяков, и на выгонах без Стюарта вполне можно было обойтись. Фиа уже не держала наличные деньги где придется и велела Стюарту за алтарем в часовне устроить потайной шкаф – что-то вроде сейфа. Дурные люди среди неоседлых австралийцев редкость. Дурные люди предпочитают оставаться в столице и вообще в больших городах, скитальческая жизнь им не по вкусу – слишком чиста, слишком одинока и слишком мало приносит поживы. Но никто не осуждал Пэдди за то, что он хотел обереечь своих женщин от опасности: Дрохеда – место широко известное и вполне могла привлечь немногих нежелательных гостей, что скитались по стране.

Той зимой немало было бурь, то сухих, то с дождями, а весной и летом лило как из ведра, и травы на землях Дрохеды поднялись невиданно высокие, густые и сочные.

Джимс и Пэтси за кухонным столом миссис Смит готовили уроки (они пока учились заочно) и весело болтали о том, как поедут учиться в Ривервью-колледж. Но миссис Смит от таких разговоров становилась уж очень хмурая и сердитая, и они понемногу научились при ней даже не упоминать, что когда-нибудь уедут из Дрохеды.

И вот опять в небесах ни облачка; высокая, чуть не по пояс, трава за лето без дождей совсем высохла, стала серебристой и ломкой. За десять лет на этих черноземных равнинах все привыкли к смене наводнений и засухи, к череде взлетов и падений – вверх-вниз, вверх-вниз, и только плечами пожимали и делали свое дело так, словно важен один лишь нынешний день, а все остальное не в счет. Да и впрямь, самое главное – протянуть от одного хорошего года до другого, когда бы он ни пришел. Никому не под силу предвидеть, когда будет дождь. Объявился в Брисбене некто Иниго Джонс, неплохо предсказывал погоду надолго вперед, опираясь на какую-то новую теорию насчет пятен на солнце, но здесь, на отдаленных черноземных равнинах, его посулам не очень-то верили. Пускай ходят к нему за предсказаниями сиднейские и мельбурнские невесты; труженики черноземных равнин полагаются только на собственное чутье.

Зимой 1932 года опять налетели яростные сухие ветры, резко похолодало, но густые сочные травы не давали разыгаться пыли, и мух тоже развелось меньше обычного. Худо пришлось только что остриженным овцам, бедняги никак не могли согреться. Миссис О'Рок обожала у себя в

ничем не примечательном деревянном доме принимать гостей из Сиднея и любила возить их по соседям, особенно в Дрохеду, – надо же показать, что и здесь, в глуши, на черноземных равнинах, кое-кто умеет вести светскую жизнь. И любая беседа неизбежно сворачивала на злополучных овец, тощих и жалких, точно мокрые крысы, – каково им будет зимовать без длинной, в пять-шесть дюймов, шерсти, которая теперь отрастет лишь к наступлению летней жары. Но, как серьезно пояснил Пэдди одному такому гостю, зато шерсть будет первый сорт. Самое главное ведь не овцы, а шерсть. Вскоре в «Сидней морнинг гералд» появилось письмо – автор его требовал, чтобы парламент принял закон, который покончил бы «с жестокосердием скотоводов». Бедная миссис О’Рок пришла в ужас, но Пэдди хохотал до упаду.

– Хорошо еще, что этот дурень не видел, как иной стригаль невзначай пропорет овце живот, а потом зашивает толстенной иглой, какой мешки шьют, – утешал он смущенную миссис О’Рок. – Да вы не расстраивайтесь, миссис О’Рок. Эти горожане понятия не имеют, как мы, не городские, живем, им-то можно нянчиться со своими кошечками да собачками, будто с малыми детьми. А у нас тут все по-другому. Если кто попал в беду, мужчина ли, женщина, большой или малый, мы никого без помощи не оставим, а городские – они о зверюшках своих любимых заботятся, а человек хоть зови, хоть плачь – и пальцем не шевельнут, чтоб помочь.

Фиа подняла голову.

– Он прав, миссис О’Рок, – сказала она. – Никто не ценит того, чего слишком много. У нас тут в избытке овцы, а в городе – люди.

В тот августовский день, когда грянула роковая буря, далеко от дома оказался один Пэдди. Он спешил, надежно привязал лошадь к дереву и сел под вилгой, собираясь переждать налетевший шквал. Поблизости жались друг к дружке пять дрожащих собак, а овцы, которых он перегонял на другой участок, разбрелись беспокойными кучками и рысцой бестолково перебежали с места на место. Буря налетела страшная, и полную волю своей ярости она дала, когда сердцевина урагана оказалась как раз над Пэдди. Он заткнул уши, зажмурился – оставалось только молиться.

Он сидел под вилгой, которая все громче шумела пожухлой листвой под крепнущим ветром; невдалеке, наполовину скрытые высокой травой, виднелись несколько пней и упавших стволов. А посреди этой выбеленной, точно кость, груды мертвого дерева торчал одинокий сухой великан эвкалипт, обнаженный ствол его взметнулся ввысь на добрых сорок футов и словно вонзал в черные, как ночь, тучи острие голой, тощей и угловатой

верхушки.

И вдруг даже сквозь сомкнутые веки Пэдди ослепила яркая вспышка синего пламени, он вскочил, и тотчас его, как игрушку, швырнуло наземь чудовищным взрывом. Он приподнял голову – по стволу мертвого эвкалипта вверх-вниз плясали багровые и синие призрачные отсветы, прощальное великолепие ударившей молнии; не успел Пэдди опомниться – все запылало. В этой гряде мертвой древесины давным-давно не осталось ни капли влаги, и высокая трава кругом была сухая, как бумага. Казалось, земля бросает ответный вызов небесам – над исполинским деревом, далеко над его вершиной, вскинулся столб огня, вмиг занялись рядом пни и упавшие стволы, и отсюда, разгоняемые вихрем, шире, шире и шире пошли кружить и полыхать полотнища огня. Пэдди не успел даже подскочить к лошади.

От жара занялась и вилга, мягкая эфиноносная древесина взорвалась, во все стороны полетели обломки. Куда ни глянь, вокруг стеной – огонь; пылают деревья, вспыхнула под ногами трава. Жалобно заржала лошадь, и Пэдди всем сердцем рванулся к ней – не может он бросить несчастное животное на гибель, беспомощное, на привязи. Взыла собака, и вой перешел в отчаянный, почти человеческий, вопль. Мгновение пес метался, точно живой факел, – и рухнул в горящую траву. Еще и еще вой – собак одну за другой охватывало стремительное пламя, ветер мчал его, и не уйти было ни одной живой твари, самой быстрого или крылатой. Малую долю секунды Пэдди соображал, как бы добраться до лошади, и тут волосы его опалил огненный метеор; он опустил глаза – к его ногам упал изжаренный заживо большой попугай.

И вдруг Пэдди понял – это конец. Из этого ада нет выхода ни для него, ни для лошади. Не успел додумать – за спиной вспыхнул еще один сухой эвкалипт, во все стороны, как от взрыва, полетели клочья пылающей смолистой коры. Кожа на руках Пэдди почернела и сморщилась, пламенные волосы его впервые затмило пламя более яркое. Нет таких слов, которыми можно описать подобную смерть: огонь вгрызается внутрь. И сгорают последними, последними перестают жить сердце и мозг. Пэдди метался в этом жертвенном костре, одежда на нем пылала, он исходил криком. И этот смертный вопль был – имя жены.

Остальные мужчины успели вернуться на Главную усадьбу до бури, завели лошадей на конный двор и разошлись кто в барак для работников, кто в Большой дом. В ярко освещенной гостиной Фионы, у мраморного камина, где жарко горели большие поленья, собрались братья Клири и

прислушивались к буре – в эти дни их не тянуло выйти и посмотреть, как она бушует. Так славно пахли смолистым эвкалиптом дрова, так соблазнительно громоздились на передвижном чайном столике пирожки и сэндвичи! Пэдди к вечернему чаю не ждали – ему слишком далеко, не успеет.

Часам к четырем тучи откатились на восток, и все невольно вздохнули свободнее; во время сухих бурь тревога не отпускала, хотя в Дрохеде на всех до единой постройках имелись громоотводы. Джек с Бобом встали и вышли из дому – сказали, что хотят немного проветриться, на деле же обоим хотелось отдохнуть от недавнего напряжения.

– Смотри! – Боб показал на запад. Над вершинами деревьев, что кольцом окружали Главную усадьбу, разрасталась, отсвечивая бронзой, туча дыма, бешеный ветер рвал ее края, и они развевались клочьями летящих знамен.

– О Господи! – Джек кинулся в дом, к телефону.

– Пожар, пожар! – закричал он в трубку, и все, кто был в комнате, ошеломленные, обернулись, потом выбежали наружу. – В Дрохеде пожар, страшнейший!

Джек дал отбой – довольно было сказать это телефонистке в Джилли: все, кто пользуется общей линией, обычно снимают трубку, едва у них звякнет аппарат. Хотя за годы, что семья Клири жила в Дрохеде, в джилленбоунской округе не было ни одного большого пожара, все знали наизусть, как надо поступать.

Братья побежали за лошадьми, работники высыпали из бараков, миссис Смит отперла один из сараев-складов и десятками раздавала дерюжные мешки. Дым встает на западе, и ветер дует с запада – значит, пожар надвигается сюда, на усадьбу. Фиа сбросила длинную юбку, натянула брюки Пэдди и вместе с Мэгги побежала к конюшням – сейчас на счету каждая пара рук, способных держать мешок.

На кухне миссис Смит, не жалея дров, жарко затопила плиту, ее помощницы снимали с вбитых в потолок крючьев огромные котлы.

– Хорошо, что вчера закололи вола, – сказала экономка. – Минни, вот тебе ключ от кладовой, где спиртное. Подите с Кэт, притащите все пиво и ром, сколько есть, потом принимайтесь печь лепешки, а я буду тушить мясо. Да поскорей вы, поскорей!

Лошадей взбудоражила буря, а теперь они еще и дым учуяли и не давались седлать; Фиа с Мэгги вывели двух беспокойных, упирающихся чистокровок во двор, чтобы легче с ними совладать. Пока Мэгги воевала с каурой кобылой, по проселку, ведущему от джилленбоунской дороги, тяжело

топая, подбежали двое – явно бродяги-сезонники.

– Пожар, хозяйка, пожар! Найдется у вас еще пара лошадей? Давайте мешки!

– Возьмите вон там, у сарая. Господи, хоть бы никого из ваших огонь не захватил! – сказала Мэгги, не знала она, где в эту минуту был ее отец.

Они схватили дерюжные мешки и бурдюки с водой, которые дала им миссис Смит; Боб и все мужчины с Главной усадьбы уже минут пять как уехали. Эти двое поскакали вдогонку, Фиа с Мэгги выехали последними – галопом к реке, на другой берег и дальше, навстречу дыму.

У дома остался Том, старик садовник; работая насосом, он наполнил грузовик-цистерну, завел мотор. Конечно, такой пожар никакими запасами не потушишь, разве только хлынет проливной дождь, но надо подвезти воду, чтобы мочить мешки, да и одежду людей, которые ими орудуют. Том переключил машину на малую скорость, одолевая подъем на противоположный берег, и мимолетно оглянулся – вот он стоит, опустелый дом главного овчара, и за ним еще два пустующих домика, это – самое уязвимое место Главной усадьбы, только здесь то, что может загореться, оказалось близко к деревьям на другом берегу. Старик Том посмотрел на запад, покачал головой, с внезапной решимостью стал пятить машину и ухитрился задом вывести ее обратно через реку на ближний берег. Пожар там, на выгонах, никакая сила не остановит, люди вернутся ни с чем. Над устьем ущелья, у дома главного овчара, где и сам он, бывало, квартировал, Том привернул к цистерне шланг и щедро полил дом, потом перешел к двум домикам поменьше, облил и их. Вот где он поможет вернее всего – пропитает эти дома водой насквозь, чтобы ни в коем случае не загорелись.

Мэгги и Фиа ехали рядом, а туча дыма на западе росла, и ветер сильнее и сильнее обдавал запахом гари. Быстро темнело; с запада по выгону мчалось все больше разной живности – кенгуру и дикие кабаны, перепуганные овцы и коровы, страусы эму, и огромные ящерицы гоанны, и тысячи кроликов. Выезжая с Водоемного на Бил-Бил (в Дрохеде у каждого выгона было свое название), Мэгги заметила – Боб оставил все ворота настежь. Но у овец не хватало ума бежать в открытые ворота, они останавливались в трех шагах левее или правее и слепо, бестолково тыкались в изгородь.

Когда всадники подъехали к краю пожара, он был уже на десять миль ближе, огонь распространялся и вширь, все шире с каждой секундой. Лошади пугливо плясали под седоками, а они беспомощно смотрели на запад – яростные порывы ветра переносили пламя по высокой сухой траве от дерева к дереву, от рощи к роще. Нечего и думать остановить его здесь,

на равнине, его и целая армия не остановит. Надо вернуться на усадьбу и попробовать отстоять хотя бы ее. Пожар наступает уже фронтом шириной в пять миль; если не погнать сейчас же усталых лошадей во всю мочь, от него не уйти. Жаль овец, очень, очень жаль. Но ничего не поделаешь.

Они вброд возвращались через реку, копыта зашлепали по мелкой воде; старик Том все еще поливал пустые дома на восточном берегу.

– Молодчина, Том! – закричал Боб. – Продолжай, пока не станет жарко, да смотри вовремя унеси ноги, слышишь? Зря не геройствуй, ты стоишь куда дороже, чем доски да стекла.

На Главной усадьбе полно было машин, и по дороге из Джилли подъезжали новые, издали виднелись яркие пляшущие огни фар; когда Боб свернул на конный двор, тут в ожидании уже толпились мужчины.

– Большой пожар, Боб? – спросил Мартин Кинг.

– Очень большой, – с отчаянием ответил Боб. – Боюсь, не сладим. В ширину, по-моему, захватило миль пять, и ветром гонит с такой скоростью – лошадь галопом еле уходит. Уж не знаю, отстоим ли мы усадьбу, а вот Хорри, наверное, надо приготовиться. До него скоро дойдет, мы-то огонь навряд ли остановим.

– Что ж, большому пожару давно время. С девятнадцатого года не было. Я соберу отряд, пошлю на Бил-Бил, но и тут народу хватит, вон еще подъезжают. Джилли может выставить против пожара до пятисот мужчин. Ну, и тут кое-кто из нас останется помогать. Одно скажу, слава Богу, моя земля западнее Дрохеды.

Боб усмехнулся:

– Вы мастер утешать, Мартин.

Мартин огляделся по сторонам:

– А где отец, Боб?

– Западнее пожара, наверное, где-то около Бугелы. Он поехал на выгон Вилга за суягными овцами, а пожар начался, я так думаю, миль на пять восточнее.

– Больше ни за кого не тревожишься?

– Слава Богу, сегодня в той стороне никого нет.

Как будто война, подумала Мэгги, входя в дом: быстрота без суетливости, забота о пище и питье, о том, чтобы собрать все силы и не падать духом. И грозная, неминуемая опасность.

На Главную усадьбу прибывали еще и еще люди и тотчас принимались помогать – рубили немногие деревья, что стояли слишком близко к берегу, широким кольцом скашивали чересчур высоко поднявшуюся кое-где траву. Мэгги вспомнилось, как, впервые приехав в Дрохеду, она пожалела, что

вокруг Большого дома голо и мрачно, куда красивее было бы, стой он среди великолепных могучих деревьев, их так много кругом. Теперь она поняла. Главная усадьба – просто огромная круглая просека для защиты от пожара.

Все толковали о пожарах, что бывали в джиленбоунской округе за семьдесят с лишком лет. Как ни странно, в пору долгой засухи пожар был не такой страшной опасностью – по скудной траве огонь не мог перекинуться далеко. А вот через год или два после обильных дождей, когда травы, как сейчас, поднимались густые, высокие и сухие, точно порох, – тогда-то и вспыхивали пожары, с какими иной раз не удавалось совладать, и опустошали все окрест на сотни миль.

Мартин Кинг взялся командовать тремя сотнями людей, остающихся защищать Дрохеду. Он был старшим среди джиленбоунских фермеров-скотоводов и уже полвека воевал с пожарами.

– У меня в Бугеле полтораста тысяч акров, – сказал он, – и в тысяча девятьсот пятом я потерял все как есть, ни одной овцы не осталось и ни единого дерева. Пятнадцать лет прошло, покуда я опять стал на ноги, а одно время думал, и вовсе не оправлюсь, от шерсти тогда доходу было чуть, и от говядины тоже.

По-прежнему выл ураганный ветер, неотвязно пахло гарью. Настала ночь, а небо на западе зловеще рдело, дым опускался ниже, и люди уже начали кашлять. Вскоре показалось и пламя, огненные языки и спирали взметались в туче дыма на сто футов, и стал слышен рев, будто неистовствовала на футбольном матче многотысячная толпа. Западный ряд деревьев, окаймляющих Главную усадьбу, разом занялся, на месте его встала сплошная стена огня. Мэгги, окаменев, смотрела с веранды, как на этом огненном фоне скачут и мечутся крохотные черные человечки, словно грешники в аду.

– Поди сюда, Мэгги, выставь все тарелки на буфет. Да поживей, у нас тут не гулянье! – послышался голос матери.

Мэгги с трудом оторвалась от страшной картины.

Два часа спустя первая партия измученных людей притащилась подкрепиться едой и питьем, иначе не хватило бы сил бороться дальше. Для того и хлопотали без роздыха женщины – чтобы для всех трехсот человек вдоволь было лепешек и тушеного мяса, чаю, рома и пива. Когда пожар, каждый делает, что может и умеет лучше всего, а потому женщины стряпают, чтобы поддержать силы мужчин. Ящик за ящиком вносили пиво и опустевшие заменяли новыми; черные, закопченные, шатаясь от усталости, мужчины стоя жадно пили, наспех глотали большущие куски лепешек, мигом очищали тарелку едва остывшего тушеного мяса, осушали

последний стакан рома и вновь спешили навстречу огню.

Мэгги бегала взад-вперед между кухней и домом, а улучив минуту, с ужасом, с трепетом смотрела на пожар. Была в нем какая-то чуждая, неземная красота, ибо он был сродни небесам, шел от солнц таких отдаленных, что свет их доходит до нас холодным, шел от Бога и дьявола. Передовая волна пламени пронеслась на восток. Большой дом оказался теперь в кольце, и Мэгги различала подробности, которые прежде в сплошной стене огня нельзя было разглядеть. Различимы цвета – черный и оранжевый, красный, белый и желтый; вот чернеет силуэт огромного дерева, а кора мерцает и светится оранжевым; в воздухе летают, кувыркаются красные угольки, точно игривые призраки; словно биение обессиленного сердца, разгорается и меркнет, разгорается и меркнет желтый свет в стволах выгоревших изнутри деревьев; взрывается смолистый эвкалипт – и фонтаном брызжут во все стороны алые искры; вдруг расцветает языкатый оранжево-белый костер – что-то до сих пор сопротивлялось огню и вот покорилося, запылало. Да, ночью это красиво, это она запомнит на всю жизнь.

Внезапно ветер еще усилился, и все женщины, завернувшись в мешки, по ветвям глицинии, точно по канатам, бросились на сверкающую серебром железную крышу, мужчины ведь были на усадьбе. Руки и колени обжигало и сквозь дерюгу, но женщины, вооружась мокрыми мешками, сбивали уголья с раскаленной крыши – ведь самое страшное, если железо не выдержит и пылающие головешки провалятся на деревянные перекрытия. Но теперь яростнее всего пожар бушевал на десять миль восточнее, в Бил-Биле.

Большой дом Дрохеды стоял всего в трех милях от восточной границы имения, ближайшей к городу. Здесь к ней примыкал Бил-Бил, а за ним, еще восточнее, Нарранганг. Скорость ветра достигала теперь уже не сорока, а шестидесяти миль в час, и вся джиленбоунская округа знала: если не хлынет дождь, пожар будет свирепствовать неделями и многие сотни квадратных миль плодороднейшей земли обратит в пустыню.

Пока огонь проносился по Дрохеде, дома у реки держались – Том как одержимый вновь и вновь наполнял свою цистерну и поливал их из шланга. Но когда ветер еще усилился, они все-таки вспыхнули, и Том, горько плача, погнал машину прочь.

– Благодарите Господа Бога, что ветер не подул сильнее, покуда огонь только надвигался с запада, – сказал Мартин Кинг. – Тогда бы не то что дом – и нас всех поминай как звали. Хоть бы в Бил-Биле народ уцелел!

Фиа подала ему стакан неразбавленного рома; Кинг далеко не молод,

но он боролся, пока нужно было бороться, и на редкость толково всем распоряжался.

– Глупо, конечно, – призналась ему Фиа, – но когда показалось, что уже ничего не спасти, странные меня мысли одолевали. Я не думала, что умру, ни о детях, ни что такой прекрасный дом пропадет. А все про свою рабочую корзинку, про неконченное вязанье и коробку со всякими пуговицами – я их сколько лет собирала – и про формочки сердечком для печенья, мне их когда-то Фрэнк смастерил. Как же я, думаю, буду без них жить? Понимаете, все это пустяки, мелочи, а ничем их не заменишь и в лавочке не купишь.

– Да ведь почти у всех женщин так. Занятно, правда, как голова работает? Помню, в девятьсот пятом моя жена кинулась обратно в горящий дом, я как полоумный ору вдогонку, а она выскакивает с пальцами, и на них начатое вышиванье. – Мартин Кинг усмехнулся. – Все-таки мы остались живы, хоть дом и сгорел. А когда я отстроил новый, жена первым делом закончила то вышиванье. Такой был старомодный узор, вы, верно, знаете. И слова вышиты: «Мой дом родной». – Он отставил пустой стакан, покачал головой, дивясь непостижимым женским причудам. – Ну, мне пора. Мы понадобится Гэрету Дэвису в Нарранганге, и Энгусу в Радней-Ханиш тоже, или я сильно ошибаюсь.

Фиа побледнела:

– Ох, Мартин! Неужели дойдет так далеко?

– Всех уже известили. Из Буру и из Берка идет подмога.

Еще три дня пожар, непрестанно ширясь, сметая все на своем пути, мчался на восток, а потом вдруг хлынул дождь, лил почти четыре дня и погасил все до последнего уголька. Но на пути пожара осталась выжженная черная полоса шириною в двадцать миль – начиналась она примерно посередине земель Дрохеды и обрывалась на сто с лишним миль восточнее, у границ последнего имения в джиленбоунской округе – Радней-Ханиш.

Пока не начался дождь, никто не ждал вестей от Пэдди, думали, что он спокойно ждет по другую сторону пожарища, чтобы остыла немного земля и догорели все еще тлеющие деревья. Не оборви пожар телефонную линию, думал Боб, уже передал бы восточку Мартин Кинг, ведь скорее всего Пэдди искал пристанища на западе, в Бугеле. Но лило уже шесть часов, а Пэдди все не давал о себе знать, и в Дрохеде забеспокоились. Почти четыре дня они уверяли себя, что тревожиться нечего, конечно же, он просто отрезан от дома и ждет, когда можно будет проехать не в Бугелу, а прямо домой.

– Пора бы уж ему вернуться, – сказал Боб, шагая из угла в угол по гостиной под взглядами остальных домашних; словно в насмешку, от дождя резко похолодало, сырость пробирала до костей, и пришлось снова развести огонь в мраморном камине.

– Ты о чем думаешь, Боб? – спросил Джек.

– Думаю, самое время поехать его искать. Вдруг он ранен или тащится домой в такую даль пешком. Мало ли. Вдруг лошадь с перепугу сбросила его, вдруг он лежит где-нибудь и не в силах идти. Еды у него с собой на одни сутки, а уж на четверо никак не хватит, хотя с голоду он пока помереть не мог. Пожалуй, переполох поднимать рано, так что пока я из Нарранганга подмогу звать не стану. Но если дотемна мы его не найдем, поеду к Доминику и завтра всех поднимем на ноги. Господи, хоть бы эти телефончики поскорей наладили линию!

Фиону трясло, глаза лихорадочно, дико блестели.

– Я надену брюки и тоже поеду, – сказала она. – Сил нет сидеть тут и ждать.

– Не надо, мама! – взмолился Боб.

– Если он ранен, Боб, так ведь неизвестно, где и как, вдруг он и двигаться не может. Овчаров ты отослал в Нарранганг – значит, для поисков у нас совсем мало народу. Если я поеду с Мэгги, мы вдвоем с чем угодно справимся, а без меня ей придется ехать с кем-нибудь из вас, значит, от нее пользы почти не прибавится, а от меня и вовсе толку не будет.

Боб сдался.

– Ладно, – сказал он. – Возьми мерина Мэгги, ты на нем ездила на пожар. Все захватите ружья и побольше патронов.

Переехали через реку и пустились в самую глубь пожарища. Нигде ни единого зеленого или коричневого пятнышка – бескрайняя пустыня, покрытая черными мокрыми угольями, как ни странно, они все еще дымились, хотя дождь лил уже несколько часов. От каждого листа на каждом дереве только и осталось что скрюченный поникший черный жгутик; на месте высокой травы кое-где виднелись черные кочки – останки сгоревшей овцы, а изредка чернел холмик побольше – то, что было когда-то лошадью или кабаном. По лицам всадников вместе с дождем струились слезы.

Боб с Мэгги ехали впереди, за ними Джек и Хьюги, последними Фиа со Стюартом. Этих двоих езда почти успокоила – утешает уже то, что они вместе, говорить ничего не нужно, довольно и того, что они рядом. Порой лошади сходились почти вплотную, порой шарахались врозь, увидев еще что-то страшное, но последняя пара всадников словно не замечала этого.

От дождя все размокло, лошади двигались медленно, с трудом, но им было все же куда ступить: спаленные, спутанные травы прикрывали почву словно жесткой циновкой из волокон кокосовой пальмы. И через каждые несколько шагов всадники озирались – не показался ли на равнине Пэдди, но время шло, а он все не появлялся.

И у всех сжалось сердце, когда ясно стало, что пожар начался много дальше, чем думали, на выгоне Вилга. Должно быть, дым сливался с грозowymi тучами, вот почему пожар заметили не сразу. Поразила всех его граница. Ее словно провели по линейке – по одну сторону черный блестящий вар, по другую – равнина как равнина, в светло-коричневых и сизых тонах, унылая под дождем, но живая.

Боб натянул поводья и повернулся к остальным:

– Ну вот, отсюда и начнем. Я двинусь на запад, это самое вероятное направление, а я покрепче вас всех. Патронов у всех довольно? Хорошо. Кто что найдет, стреляй три раза в воздух, а кто его услышал, давайте один ответный выстрел. Потом ждите. Кто стрелял первым, пускай через пять минут дает еще три выстрела, и потом еще по три через каждые пять минут. Кто слышит, отвечает одним выстрелом. Джек, ты поезжай к югу, по самой этой границе. Хьюги, ты давай на юго-запад. Я – на запад. Мама с Мэгги, вы – на северо-запад. А ты, Стюарт, по границе пожарища – на север. Только не торопитесь. За дождем плохо видно, да еще деревья кое-где заслоняют. почаще зовите, может, он в таком месте, что увидеть вас не увидит, а крик услышит. И помните, стрелять – только если найдете, у него-то с собой ружья нет, вдруг он услышит выстрел далеко, а самому в ответ не докричаться. Каково ему это будет? Ну, с Богом, счастливо!

И как паломники на последнем перекрестке, они разделились и под серой пеленой дождя стали разъезжаться все дальше, каждый в свою сторону, становились все меньше, пока не скрылись друг у друга из виду.

Не проехав и полмили, Стюарт заметил у самой границы пожарища несколько обгорелых деревьев. Тут стояла невысокая вилга, чья листва почернела и скорчилась в огне и напоминала теперь курчавую голову негритенка, а на краю сожженной земли – громадный обгорелый пенёк. Все, что осталось от отцовской лошади, распростерто было у подножия исполина эвкалипта и в огне прикипело к нему, тут же чернели жалкие трупы двух собак Пэдди, лапы у обеих торчком кверху, будто головешки. Стюарт спешился, сапоги по щиколотку ушли в черную жижу; из чехла, притороченного к седлу, он достал ружье. И пошел, осторожно ступая, оскальзываясь на мокрых угольях. Губы его шевелились в беззвучной молитве. Не будь лошади и двух собак, он бы понадеялся, что огонь

захватил тут какого-нибудь странника-стригалия или просто бродягу, перекасти-поле. Но Пэдди был на лошади, с пятью собаками, а те, кто скитается по дорогам Австралии, верхом не ездят, и если есть при ком из них собака, так одна, не больше. И здесь самая середина дрохедской земли, не мог так далеко забраться какой-нибудь погонщик или овчар с запада, из Бугелы. Пройдя немного, Стюарт наткнулся еще на три обгорелых собачьих трупа; пять собак, всего пять. Он знал, что шестой не найдет, и не нашел.

И вот неподалеку от лошади, за упавшим стволом, который поначалу скрывал его, чернеет то, что было прежде человеком. Обмануться невозможно. Влажно поблескивая под дождем, оно лежит на спине, выгнутое дугой, земли касаются только плечи и крестец. Руки раскинуты в стороны и согнуты в локтях, будто воздетые в мольбе к небесам, скрюченные пальцы, обгорелые до костей, хватаются за пустоту. Ноги тоже раздвинуты, но согнуты в коленях, запрокинутая голова – черный комочек, пустые глазницы смотрят в небо.

Минуту-другую ясный, всевидящий взгляд Стюарта устремлен был на отца – сын видел не страшные останки, но человека, того, каким он был при жизни. Вскинув ружье, Стюарт выстрелил, перезарядил ружье, выстрелил еще, перезарядил, выстрелил в третий раз. Издалека донесся ответный выстрел, потом, много дальше, еле слышно отозвался еще один. И тут Стюарт вспомнил – ближним выстрелом, должно быть, ответили мать и сестра. Они направлялись на северо-запад, он – на север. Не пережидая условленных пяти минут, он опять зарядил ружье, повернулся к югу и выстрелил. Перезарядил, выстрелил во второй раз, перезарядил, выстрелил в третий. Положил ружье наземь и стоял, глядя на юг, прислушивался. Теперь ответный выстрел донесся сначала с запада, от Боба, потом от Джека или Хьюги, и только третий – от матери. Стюарт вздохнул с облегчением – не надо, чтобы женщины попали сюда первыми.

И не увидел, как с северной стороны, из-за деревьев, появился огромный вепрь – не увидел, но ощутил запах. Огромный, с корову, могучий зверь, вздрагивая и покачиваясь на коротких сильных ногах, низко пригнув голову, рылся в мокрой обгорелой земле. Его потревожили выстрелы и терзала боль. Редкая черная щетина на боку опалена, багровеет обожженная кожа; пока Стюарт смотрел на юг, на него аппетитно пахло поджаренной до хруста свиной шкуркой и салом, будто только-только из печи. Удивление вывело его из странно тихой, всю жизнь неразлучной с ним печали, и он обернулся, все еще думая, что, наверное, он когда-то уже здесь бывал, что эта черная мокрая пустошь словно запечатлелась где-то у

него в мозгу с самого его рождения.

Он наклонился за ружьем и вспомнил – не заряжено. Вепрь замер на месте, смотрел крохотными красными глазками, безумными от боли, острые желтые клыки его огромными полумесяцами загибались кверху. Почувяв зверя, заржала лошадь Стюарта; вепрь рывком повернул на этот голос тяжелую голову и пригнул ее, готовый напасть. То была единственная надежда на спасение. Стюарт поспешно наклонился за ружьем, щелкнул затвором, сунул другую руку в карман за патроном. По-прежнему ровно шумел дождь, заглушая все звуки. Но вепрь услышал металлический щелчок и в последний миг ринулся не на лошадь, а на Стюарта. Выстрел в упор, прямо в грудь, не успел его остановить. Клыки повернулись вверх и вкось, вонзились в пах. Стюарт упал, будто из отвернутого до отказа крана струей ударила кровь, мгновенно пропитала одежду, залила землю.

Вепрь неуклюже повернулся – пуля уже давала себя знать, – двинулся на врага, готовый снова пропороть его клыками, запнулся, качнулся, зашатался. Огромная стопятидесятифунтовая туша навалилась сбоку на Стюарта, вдавила его лицо в жидкую черную грязь. С минуту он отчаянно цеплялся руками за землю, пытаясь высвободиться; так вот оно, он всегда это знал, потому никогда ни на что и не надеялся, не мечтал, не строил планов, только смотрел, всем существом впивал окружающий живой мир, так что не оставалось времени горевать об уготованной ему судьбе. «Мама, мама! Я не могу остаться с тобой, мама!» – была последняя его мысль, когда уже рвалось сердце.

– Не понимаю, почему Стюарт больше не стрелял? – спросила у матери Мэгги.

Они ехали рысью в том направлении, откуда дважды слышались три выстрела, глубокая грязь не давала двигаться быстрее, и обеих мучила тревога.

– Наверное, решил, что мы услышали, – сказала Фиа, но в сознании всплыло лицо Стюарта в ту минуту, когда они разъезжались на поиски в разные стороны, и как он сжал ее руку, и как ей улыбнулся. – Теперь уже, наверное, недалеко. – И она пустила лошадь неверным, оскользящимся галопом.

Но Джек поспел раньше, за ним Боб, и они преградили дорогу женщинам, едва те по краю не тронутой огнем размокшей земли подъехали к месту, где начался пожар.

– Не ходи туда, мама, – сказал Боб, когда Фиа спешила.

Джек подошел к Мэгги, взял ее за плечи. Две пары серых глаз

обратились к ним, и в глазах этих были не растерянность, не испуг, но всеведение, словно уже не надо было ничего объяснять.

– Пэдди? – чужим голосом спросила Фиа.

– Да. И Стюарт.

Ни Боб, ни Джек не в силах были посмотреть на мать.

– Стюарт? Как Стюарт! Что ты говоришь! Господи, да что же это, что случилось? Нет, только не оба, нет!

– Папу захватил пожар. Он умер. Стюарт, видно, спугнул вепря, и тот на него набросился. Стюарт застрелил его, но вепрь упал прямо на Стюарта и придавил. Он тоже умер, мама.

Мэгги отчаянно закричала и стала вырываться из рук Джека, но Фиа точно окаменела, не замечая перепачканных кровью и сажей рук Боба, глаза ее остекленели.

– Это уже слишком, – наконец сказала она и посмотрела на Боба, по ее лицу бежали струи дождя, выбившиеся пряди волос золотыми ручьями падали на шею. – Пусти меня к ним, Боб. Я жена одному и мать другому. Ты не можешь меня держать, ты не имеешь права. Пусти меня к ним.

Мэгги затихла в объятиях Джека, уронила голову ему на плечо. Фиа пошла, ступая по мокрым обломкам и головешкам. Боб поддерживал ее, и Мэгги проводила их взглядом, но не двинулась с места. Из-за пелены дождя появился Хьюги; Джек кивнул ему в сторону матери и Боба.

– Поди за ними, Хьюги, не оставляй их. Мы с Мэгги едем в Дрохеду за повозкой. – Он разнял руки, помог сестре сесть на лошадь. – Едем, Мэгги, скоро совсем стемнеет. Нельзя же оставить их тут на всю ночь, а они не тронутся с места, пока мы не вернемся.

Но на повозке невозможно было проехать, колеса увязали в грязи; под конец Джек и старик Том цепями прикрепили лист рифленого железа к упряжи двух ломовых лошадей. Том верхом на третьей лошади вел эту упряжку в поводу, а Джек ехал впереди и светил самым большим фонарем, какой только нашелся в Дрохеде.

Мэгги осталась дома, она сидела в гостиной перед камином, и миссис Смит тщетно уговаривала ее поесть; слезы текли ручьями по лицу экономки, ей больно было видеть это безмолвное оцепенение горя, не умеющего излиться в рыданиях. Потом застучал молоток у двери, и миссис Смит пошла открывать, недоумевая, кто мог добраться к ним в такую распутицу, и в сотый раз поражаясь, до чего быстро разносятся вести через мили и мили, отделяющие в этом пустынном краю жилье от жилья.

На веранде, в костюме для верховой езды и клеенчатом плаще, весь мокрый и в грязи, стоял отец Ральф.

– Можно мне войти, миссис Смит?

– Ох, святой отец! – вскрикнула она и, к изумлению священника, бросилась ему на шею. – Откуда вы узнали?

– Миссис Клири сообщила мне телеграммой, как супруга управляющего – представителю владельца, и я очень ценю ее обязательность. Архиепископ ди Контини-Верчезе разрешил мне поехать. Вот имечко! А мне, представьте, приходится его повторять сто раз на дню. Я летел до Джилли. При посадке самолет перекувырнулся, там все размокло, так что я и вылезти не успел, а уже понял, как развезло дороги. Вот вам Джилли во всей красе. Я кинул чемодан у отца Уотти, выпросил у трактирщика лошадь, он меня принял за помешанного и побился об заклад на бутылку виски, что я увязну на полдороге. Ну полно, миссис Смит, не надо так плакать! Дорогая моя, как ни страшен был пожар, это еще не конец света! – Он с улыбкой потрепал ее по плечам, трясущимся от рыданий. – Смотрите, я так стараюсь вас утешить, а вы меня не слушаете. Пожалуйста, не надо плакать.

– Значит, вы ничего не знаете, – всхлипнула она.

– Не знаю? Чего? Что... что случилось?

– Мистер Клири и Стюарт погибли.

Лицо его побелело, он оттолкнул экономку. Крикнул грубо:

– Где Мэгги?

– В гостиной. Миссис Клири еще там, на выгоне, с покойниками. Джек с Томом поехали за ними. Ох, святой отец, конечно, я женщина верующая, а иной раз поневоле подумаешь, уж слишком Господь жесток! Ну почему он взял сразу обоих?

Но отец Ральф уже не слушал, он зашагал в гостиную, срывая на ходу плащ, оставляя мокрые, грязные следы на полу.

– Мэгги!

Он подошел, опустился на колени возле ее кресла, мокрыми руками сжал ее ледяные руки.

Она соскользнула с кресла, прильнула к Ральфу, головой к мокрой, хоть выжми, рубашке, и закрыла глаза; наперекор боли и горю она была счастлива – пусть бы эта минута длилась вечно! Он приехал, все-таки есть у нее власть над ним, все-таки она победила.

– Я весь мокрый, Мэгги, милая, ты тоже промокнуешь, – прошептал он, прижимаясь щекой к ее волосам.

– Ну и пусть. Вы приехали.

– Да, приехал. Хотел убедиться, что с тобой ничего не случилось, чувствовал, что я здесь нужен, хотел увидеть своими глазами. Ужасно,

Мэгги, и твой отец, и Стюарт... Как это случилось?

– Папу захватил пожар, Стюарт его нашел. А его убил вепрь, раздавил, когда уже Стюарт в него выстрелил. Джек с Томом за ними поехали.

Он больше ничего не стал говорить, просто обнимал ее и укачивал, как маленькую; наконец жар камина подсушил его рубашку и волосы, а Мэгги, он это почувствовал, стала в его объятиях уже не такая оцепенелая. Тогда он взял ее за подбородок, приподнял ее голову, пока не встретился с ней глазами, и, не думая, поцеловал ее. Безотчетное движение, рожденное отнюдь не страстью, просто невольный ответ на то, что увидел он в этих серых глазах. Безличный обряд, своего рода причастие. А Мэгги высвободила руки и сама обняла его; он невольно сморщился, сдавленно охнул от боли. Мэгги чуть отстранилась.

– Что с вами?

– Наверное, при посадке ушиб бок. Самолет врезался в милую джилленбоунскую грязь по самый фюзеляж, нас изрядно потрянуло. Под конец меня швырнуло на спинку кресла впереди.

– Ну-ка я посмотрю.

Уверенными пальцами Мэгги расстегнула на нем влажную рубашку, стянула рукава, вытащила ее из-за пояса бриджей. И ахнула: под гладкой смуглой кожей, чуть ниже ребер, багровел длинный, от одного бока до другого, безобразный кровоподтек.

– Ох, Ральф! И вы ехали верхом от самого Джилли! Как же вам было больно! А сейчас вы как? Голова не кружится? Наверное, у вас внутри что-то порвалось!

– Да нет, я цел и, пока ехал, ничего такого не чувствовал, честное слово. Я очень спешил, беспокоился, как ты тут, и мне, наверное, было не до ушибов. Будь у меня внутреннее кровоизлияние, оно, думаю, уже дало бы себя знать... Мэгги, что ты! Не смей!

Низко опустив голову, она осторожно касалась губами багровой полосы, ладони ее скользнули по его груди к плечам – осознанная чувственность этого движения ошеломила Ральфа. Потрясенный, испуганный, стремясь во что бы то ни стало освободиться, он оттолкнул ее голову, но как-то так вышло, что она вновь очутилась в его объятиях – змеиными кольцами обвила и сдавила его волю. Забылась боль, забылась святая церковь, забылся Бог. Он нашел ее губы жадными губами, впился в них, алчно, ненасытно, изо всех сил прижал ее к себе, пытаясь утолить чудовищный, неодолимый порыв. Мэгги подставила ему шею, обнажила плечи, прохладная кожа ее здесь была нежнее и шелковистее всякого шелка; и ему казалось – он тонет, погружается все глубже, задыхающийся,

беспомощный. Грешная человеческая его суть страшным грузом придавила бессмертную душу, и долго сдерживаемые чувства – темное горькое вино – внезапно хлынули на волю. Он готов был зарыдать; последние капли желания иссякли под грузом этой грешной человеческой сути, и он оторвал руки Мэгги от своего жалкого тела, отодвинулся, сел на пятки, свесив голову, и словно весь погрузился в созерцание своих дрожащих рук, бессильно упавших на колени. «Что же ты сделала со мной, Мэгги, что ты со мной сделаешь, если я тебе поддамся?»

– Я люблю тебя, Мэгги, всегда буду любить. Но я священник, я не могу... просто не могу!

Она порывисто встала, оправила блузку, посмотрела на него сверху вниз, через силу улыбнулась, от насильственной этой улыбки только еще явственнее стала боль поражения в серых глазах.

– Ничего, Ральф. Я пойду посмотрю, есть ли у миссис Смит чем вас накормить, потом принесу лошадиный бальзам. Он чудо как хорош от ушибов; боль снимает как рукой, куда верней поцелуев, смею сказать.

– Телефон работает? – с трудом выговорил он.

– Да. Часа два назад протянули временную линию прямо по деревьям и подключили нас.

Но когда она ушла, он еще несколько минут собирался с силами и только потом подсел к письменному столу Фионы.

– Пожалуйста, междугородную. Говорит преподобный де Брикассар из Дрохеды... а, здравствуйте, Дорин, значит, вы по-прежнему на телефонной станции. Я тоже рад слышать ваш голос. В Сиднее телефонисток не узнаешь, просто отвечает скучный, недовольный голос. Мне нужен срочный разговор с его высокопреосвященством архиепископом, папским легатом в Сиднее. Номер двадцать-двадцать три-двадцать четыре. А пока ответит Сидней, дайте мне, пожалуйста, Бугелу.

Едва он успел сказать Мартину Кингу о случившемся, как его соединили с Сиднеем, но довольно было и двух слов Бугеле. От Кинга и от тех, кто подслушивал на линии, весть разнесется по всему Джиленбоуну – и у кого хватит храбрости выехать по такому бездорожью, те поспеют на похороны.

– Ваше высокопреосвященство? Говорит Ральф де Брикассар. Да, спасибо, добрался благополучно, но самолет сел неудачно, увяз в грязи, и возвращаться надо будет поездом. В грязи, ваше высокопреосвященство, в грязи! Нет, ваше высокопреосвященство, в дождь тут все раскисает, ни проехать, ни пройти. От Джиленбоуна до Дрохеды пришлось добираться верхом, в дождь другой возможности и вовсе нет... Потому я и звоню, ваше

высокопреосвященство. Хорошо, что поехал. Должно быть, у меня было какое-то предчувствие... Да, скверно, очень скверно. Падрик Клири и его сын Стюарт погибли – один сгорел, другого убил вепрь. Вепрь, ваше высокопреосвященство, вепрь – дикий кабан... Да, вы правы, в местном наречии есть свои странности.

Непрощенные слушатели ахнули, и он невольно усмехнулся. Нельзя же крикнуть в трубку: «Эй, вы все, дайте отбой, не подслушивайте» – ведь у оторванных огромными просторами друг от друга джиленбоунцев нет иного общего развлечения, но, не подключись они все к линии, архиепископу слышно было бы много лучше.

– Если разрешите, ваше высокопреосвященство, я здесь задержусь на похороны и позабочусь о вдове и оставшихся детях... Да, ваше высокопреосвященство, благодарю вас. Я вернусь в Сидней, как только будет возможно.

Телефонистка тоже слушала разговор; отец Ральф дал отбой и тотчас опять снял трубку.

– Пожалуйста, соедините меня опять с Бугелой, Дорин.

Он поговорил несколько минут с Мартином Кингом и решил, что августовский зимний холод позволяет отложить похороны до послезавтра. Многие захотят быть на этих похоронах, несмотря на распутицу, хоть и придется ехать верхом; но на дорогу уйдет немало времени и сил.

Вернулась Мэгги с бальзамом, но не предложила сама смазать ушибы, а лишь молча протянула флакон. И сухо сообщила: миссис Смит приготовит для гостя горячий ужин в малой столовой через час, так что он успеет сначала принять ванну. Отцу Ральфу стало не по себе – Мэгги, видно, почему-то считает, что он обманул ее надежды, но с чего ей так думать, на каком основании она его осудила? Она ведь знала, кто он такой, отчего же ей сердиться?

Ранним хмурым утром горсточка всадников вместе с телами погибших добралась до берега речки и здесь остановилась. Джилен еще не вышел из берегов, однако стал уже настоящей быстрой и полноводной рекой глубиной в добрых тридцать футов. Отец Ральф на своей каурой кобыле переправился вплавь им навстречу, он уже надел епитрахиль; все остальное, необходимое пастырю, было у него в чемоданчике, притороченном к седлу. Фиа, Боб, Джек, Хьюги и Том стояли вокруг, а он снял холст, которым укрыты были тела, и приготовился совершить последнее помазание. После Мэри Карсон ничто уже не могло вызвать у него брезгливости; но в Пэдди и Стюарте не было ничего отталкивающего.

Лица обоих почернели – у Пэдди от огня, у Стюарта от удушья, но священник поцеловал обоих нежно и почтительно.

Пятнадцать миль тащили ломовые лошади тяжелый лист рифленого железа по рытвинам и ухабам, и позади пролегла глубокая колея, шрам в земле, которого не скрыть даже густым травам, что поднимутся здесь в ближайшие годы. Но дальше, казалось, пути нет – до Большого дома Дрохеды осталась всего миля, а через бурлящую реку не переправиться. И вот все стоят и смотрят на вершины призрачных эвкалиптов, видные отсюда даже сквозь завесу дождя.

Боб повернулся к отцу Ральфу.

– Придумал, – сказал он. – Придется это сделать вам, ваше преподобие, у вас одного лошадь не измученная. Нашим только бы на тот берег перебраться, на большее их не хватит, столько уже тащились по грязи и по холоду. Езжайте в усадьбу, там найдутся пустые бензиновые баки на сорок четыре галлона, надо их закрыть наглухо, чтобы крышки не съехали и не было щелей. В крайнем случае запаять. Нужно бы двенадцать штук, самое малое десять. Связать вместе и переправить на этот берег. Мы их подведем под это железо, закрепим, и оно пойдет вплавь, как баржа.

Да, это было разумнее всего, и отец Ральф поехал. В Большом доме он застал Доминика О’Рока из Диббен-Диббена с двумя сыновьями; по здешним расстояниям О’Рок был сосед из ближайших. Отец Ральф объяснил, что надо делать, и они тотчас принялись за работу – шарили по сараям в поисках пустых баков, опорожнили те, в которых вместо бензина хранились овес, отруби и прочие припасы, отыскивали крышки, припаивали их к бакам, не тронутым ржавчиной и с виду достаточно крепким, чтобы выдержать переправу с грузом через буйную речку. А дождь все лил и лил. Он зарядил еще на два дня.

– Доминик, мне очень неприятно просить вас об этом, но когда братья Клири попадут сюда, они сами будут полумертвые от усталости. Похороны завтра, откладывать больше нельзя, и если даже гробовщик в Джилли успел бы сделать гробы, сюда их по такой распутице не доставить. Может, кто-нибудь из вас сумеет сколотить два гроба? А с бочками на тот берег мне хватит и одного помощника.

Сыновья О’Рока кивнули; им совсем не хотелось видеть, во что огонь превратил Пэдди, а вебрь – Стюарта.

– Гробы мы сделаем, пап, – сказал Лаем.

Сначала волоком, потом вплавь лошади отца Ральфа и Доминика перетащили баки на другой берег.

– Послушайте, святой отец, – крикнул по дороге Доминик, – нам вовсе

незачем копать могилы в этой грязи! Прежде я думал, ну и гордячка Мэри, надо же, мраморный мавзолей у себя на задворках для Майкла отгрохала, а сейчас прямо расцеловал бы ее за это.

– Вот это верно! – крикнул в ответ отец Ральф.

Баки закрепили под листом железа, по шесть с каждой стороны, прочно привязали покрывающий его брезент и перевели вброд измученных ломовых лошадей, натягивая канат, который под конец и должен был перетащить плот. Доминик и Том перебрались верхом на этих рослых конях и уже на другом берегу, на самом верху, остановились и оглянулись, а оставшиеся прицепили самодельную баржу, спустили по берегу к самой кромке и толкнули на воду. Под отчаянные мольбы и уговоры Тома и Доминика лошади шагом тронулись, и плот поплыл. Его жестоко болтало и качало, и все же он держался на плаву, пока его не вытащили на другой берег; чем тратить время, убирая поплавки, Том с Домиником погнали лошадей дальше, к Большому дому, и теперь самодельные дроги двигались легче, чем прежде, без баков.

Пологий въезд вел к воротам стригальни, к тому ее концу, откуда обычно вывозили тюки шерсти, и сюда, в огромную пустую постройку, где перехватывал дыхание запах дегтя, пота, овечьего жира и навоза, поставили плот вместе с грузом. Минни и Кэт, завернувшись в дождевики, первыми пришли исполнить скорбный долг, опустились на колени по обе стороны железного катафалка, и вот уже постукивают четки и размеренно звучат голоса, то глуше, то громче, следуя привычному, наизусть памятного обряду.

В доме народу прибывало. Приехали Данкен Гордон из Ич-Юиздж, Гэрет Дэвис из Нарранганга, Хорри Хоуптон из Бил-Била, Иден Кармайл из Баркулы. Старик Энгус Маккуин остановил на полдороге еле ползущий местный товарный поезд, проехал с машинистом до Джилли, там взял взаймы лошадь у Гарри Гофа и остальной путь проделал вместе с ним верхом. В эту грязь и распутицу он одолел ни много ни мало двести миль с лишком.

– Я гол как сокол, святой отец, – сказал Хорри отцу Ральфу позже, когда они всемером сидели в малой столовой за мясным пирогом с почками. – Мою землю огонь прошел всю, из конца в конец, не уцелело ни одной овцы, ни одного дерева. Спасибо, последние годы были неплохие, одно могу сказать. У меня хватит денег купить овец, и если дождь еще продержится, трава опять вырастет в два счета. Но избави нас Боже от новых несчастий хотя бы лет на десять, отец Ральф, больше мне уже ни гроша не отложить на черный день.

– Ну, у тебя земли поменьше, Хорри, – сказал Гэрет Дэвис, явно наслаждаясь рассыпчатым, тающим во рту пирогом великой на это мастерицы миссис Смит; никакие невзгоды не отнимут надолго аппетит у жителя австралийских равнин, ему надо солидно есть, чтобы хватило сил выстоять. – А я потерял, думаю, половину пастбищ и, что еще хуже, примерно две трети овец. Помогите нам вашими молитвами, святой отец.

– Да-а, – подхватил старик Энгус, – мне не так лихо пришлось, нашему дружку Хорри куда хуже, и Гарри тоже, а все равно лихо, святой отец. У меня шестьдесят тысяч акров пожаром слизнуло и половины овечек нет как нет. В этакую пору, бывает, и подумаешь – зря, мол, я парнишкой удрал со Ская.

Отец Ральф улыбнулся:

– Это проходит, сами знаете, Энгус. Вы покинули остров Скай по той же причине, что я покинул Кланамару. Вам там стало тесно.

– Что верно, то верно. От вереска жару куда меньше, чем от эвкалипта, а, святой отец?

Странные это будут похороны, думал отец Ральф, глядя вокруг, без женщин, кроме здешних, дрохедских, ведь из соседей приехали только мужчины.

Когда миссис Смит раздела и обсушила Фиону и уложила в постель, которую прежде Фиа делила с Пэдди, Ральф хотел дать вдове солидную дозу снотворного; Фиа наотрез отказалась его выпить, она неудержимо рыдала, и тогда отец Ральф безжалостно зажал ей нос и силой заставил проглотить лекарство. Удивительно, он никак не думал, что эта женщина может потерять самообладание. Лекарство подействовало быстро, ведь она сутки ничего не ела. Она забылась крепким сном, и отец Ральф вздохнул свободнее. О каждом шаге Мэгги ему было известно, теперь она в кухне, помогает миссис Смит готовить для всех еду. Братья спят, они вконец измучились, едва хватило сил сбросить мокрую одежду. И когда Кэт с Минни отбыли свое в опустелом неосвященном строении, читая молитвы над покойниками, как требует обычай, их сменили Гэрет Дэвис и его сын Инек, остальные распределили между собой время наперед, по часу на каждую пару, и продолжали есть и разговаривать.

Никто из сыновей не пошел к старшим в малую столовую. Все собрались на кухне, словно в помощь миссис Смит, а на самом деле – чтобы видеть Мэгги. Поняв это, отец Ральф ощутил разом и досаду, и облегчение. Что ж, кого-то из этих молодых людей ей придется выбрать себе в мужа, этого не миновать. Инеку Дэвису двадцать девять, за темные волосы и черные как угли глаза его прозвали черным валлийцем, он очень

хорош собой; Лайему О'Року двадцать шесть, его брат Рори годом моложе, оба светловолосые и голубоглазые; Коннор Кармайкл старше всех, ему тридцать два, он как две капли воды схож со своей сестрой – тоже красив несколько вызывающей красотой; из всей этой компании отцу Ральфу больше по душе Аластер, внук старика Энгуса, он ближе к Мэгги по возрасту – всего двадцать четыре, очень милый юноша, у него, как у деда, чудесные синие глаза истинного шотландца, а волосы уже седеют, это у них семейное. «Пусть она влюбится в которого-нибудь из них и выйдет замуж, и пусть у них будут дети, ей так хочется детей. Боже мой, Боже, пошли мне эту милость, и я с радостью стану терпеть боль своей любви к ней, с радостью...»

Эти два гроба не были осыпаны цветами, и все вазы вокруг домового часовни оставались пусты. Те цветы, что уцелели в чудовищной жаре двумя днями раньше, сбил наземь дождь, и они распластались в грязи, словно мертвые мотыльки. Ни веточки зелени, ни единой ранней розы. И все устали, безмерно устали. Устали и те, кто протащился десятки миль по бездорожью, чтобы выразить добрые чувства, какие они питали к Пэдди, устали те, кто привез тела погибших, и те, что выбивались из сил за стряпней и уборкой, страшно устал и отец Ральф, и двигался точно во сне, и старался не видеть, как осунулось, померкло лицо Фионы, какая смесь скорби и гнева на лице Мэгги, как, подавленные общим горем, жмутся друг к другу Боб, Джек и Хьюги...

Он не стал произносить надгробную речь: немногие, но искренние и трогательные слова сказал от всех собравшихся Мартин Кинг, и отец Ральф тотчас приступил к заупокойной службе. Потир, святыне дары и епитрахиль он, разумеется, привез с собой в Дрохеду, каждый священник, несущий кому-либо помощь и утешение, берет их с собой, однако необходимого облачения у него не было при себе и не осталось в Большом доме. Но старик Энгус по дороге побывал у джиленбоунского священника и, обернув в клеенку и привязав к седлу, привез траурное облачение для заупокойной мессы. И теперь отец Ральф стоял, как подобает, в черной сутане и стихаре, а дождь хлестал по стеклам и стучал двумя этажами выше по железной кровле.

Потом они вышли под этот беспросветный ливень и по лугу, побуревшему, опаленному дыханием пожара, направились к маленькому кладбищу в белой ограде. На этот раз люди с готовностью подставляли плечи под простые самодельные гробы и шли, скользя и оступаясь по жидкой грязи, дождь бил в лицо, и не видно было, куда поставить ногу. А

на могиле повара-китайца уныло позвякивали колокольчики: Хи Синг, Хи Синг, Хи Синг.

А потом все кончилось. Пустились в обратный путь соседи, сутулясь в седлах под дождем в своих плащах, кто – поглощенный невеселыми мыслями о грозящем разорении, кто – благодаря Бога, что избежал смерти и огня. Собрался в дорогу и отец Ральф, он знал, что надо ехать скорее, не то он не сможет уехать.

Он пришел к Фионе, она молча сидела за письменным столом, бессильно уронив руки и уставясь на них невидящим взглядом.

– Выдержите, Фиа? – спросил он и сел напротив, чтобы видеть ее лицо.

Она посмотрела на него – безмолвная, угасшая душа, и ему стало страшно, на миг он закрыл глаза.

– Да, отец Ральф, выдержу. Мне надо вести счета, и у меня остались пять сыновей... даже шесть, если считать Фрэнка, только, пожалуй, Фрэнка считать не приходится, правда? Нет слов сказать, как я вам за него благодарна, для меня такое утешение знать, что кто-то присматривает за ним, хоть немного облегчает ему жизнь. Если б только мне хоть раз можно было его увидеть!

Она точно маяк, подумал отец Ральф, – такая вспышка горя всякий раз, как мысль, свершая все тот же круг, возвращается к Фрэнку... Это чувство слишком сильно, его не сдержать. Ослепительно яркая вспышка – и опять надолго ни проблеска.

– Фиа, мне надо, чтобы вы кое о чем подумали.

– Да, о чем? – Она снова угасла.

– Вы меня слушаете? – спросил он резко, его сильнее прежнего охватили тревога, внезапный страх.

Долгую минуту ему казалось – она так замкнулась в себе, что его резкость не проникла сквозь этот панцирь, но маяк снова вспыхнул, губы ее дрогнули.

– Бедный мой Пэдди! Бедный мой Стюарт! Бедный мой Фрэнк! – простонала она.

И тут же снова зажала себя, точно в железные тиски, словно решила с каждым разом дольше оставаться во тьме, чтобы свет истощился и уже не вспыхивал в ней до конца жизни.

Она обвела комнату блуждающим взглядом, будто не узнавая. Потом сказала:

– Да, отец Ральф, я вас слушаю.

– Что будет с вашей дочерью, Фиа? У вас есть еще и дочь, вы об этом

забыли?

Серые глаза посмотрели на него чуть ли не с жалостью.

– О дочерях женщины не помнят. Что такое дочь? Просто напоминание о боли, младшее подобие тебя самой, обреченное пройти через то же, что и ты, тянуть ту же лямку и плакать теми же слезами. Нет, святой отец. Я стараюсь забыть, что у меня есть дочь, а если думаю о ней, то думаю тоже как о сыне. О сыновьях – вот о ком никогда не забывает мать.

– Вы когда-нибудь плачете, Фиа? Я лишь однажды видел ваши слезы.

– И никогда больше не увидите, со слезами я покончила. – Она вздрогнула всем телом. – Знаете, что я вам скажу, отец Ральф? Только два дня назад я поняла, как я любила Пэдди, но это открытие, как все в моей жизни, пришло слишком поздно. Слишком поздно и для него, и для меня. Знали бы вы, до чего это страшно, что мне уже не обнять его, не сказать, как я его любила! Не дай Бог никому испытать такое!

Он отвернулся, чтобы не видеть ее искаженного, словно под пыткой, лица, дать ей время вновь натянуть маску спокойствия, дать себе время разобраться в загадке, имя которой – Фиа.

– Никому и никогда не испытать чужую боль, каждому суждена своя, – сказал он.

Она сурово усмехнулась краем губ:

– Да. Очень утешительно, правда? Может быть, завидовать тут нечему, но моя боль принадлежит только мне.

– Согласны вы кое-что мне обещать, Фиа?

– Пожалуйста.

– Позаботьтесь о Мэгги, не забывайте о ней. Ей надо бывать на танцах, встречаться с молодыми людьми, пусть она подумает о замужестве, о собственной семье. Я видел сегодня, какими глазами смотрели на нее все эти молодые люди. Дайте ей возможность опять с ними встретиться уже при других, не столь печальных, обстоятельствах.

– Будь по-вашему, отец Ральф.

Он вздохнул и оставил ее, а она все смотрела, не видя, на свои худые бескровные руки.

Мэгги проводила его до конюшни, там гнедой мерин джиленбоунского трактирщика двое суток до отвала кормился сеном с отрубями, словно в каком-то лошадином раю. Отец Ральф кинул ему на спину потертое седло трактирщика, наклонился и стал затягивать подпругу, а Мэгги, прислонясь к тюку с соломой, следила за ним глазами. Но вот он закончил и выпрямился.

– Смотрите, что я нашла, святой отец, – сказала тогда Мэгги и протянула руку, на ладони у нее лежала бледная розовато-пепельная роза. – Только она одна и расцвела. Я ее нашла на задворках, там есть куст под опорами цистерны. Наверное, во время пожара он был заслонен от жары, а потом укрыт от дождя. Вот я и сорвала ее для вас. Это вам на память обо мне.

Он протянул руку – рука чуть дрогнула, постоял минуту, глядя на полураскрывшийся цветок на ладони.

– Мэгги, никакие напоминания о тебе мне не нужны ни теперь, ни впредь. Ты всегда со мной и сама это знаешь. Мне все равно не скрыть это от тебя, правда?

– Но иногда все-таки хорошо, если памятку и потрогать можно, – настаивала Мэгги. – Достанете ее, посмотрите – и она напомнит вам такое, о чем вы иначе можете и позабыть. Пожалуйста, возьмите, святой отец.

– Меня зовут Ральф, – сказал он, открыл маленький саквояж, в котором возил все необходимое священнику, и достал молитвенник в дорогом перламутровом переплете. Его отец, давно уже покойный, подарил ему этот молитвенник, когда Ральф принял сан, долгих тринадцать лет тому назад. Страницы раскрылись там, где лежала закладка – широкая лента плотного белого шелка; он перевернул еще несколько страниц, вложил между ними цветок и закрыл книгу. – Видно, и тебе хочется иметь какую-нибудь памятку от меня, Мэгги, я правильно понял?

– Да.

– Я ничего такого тебе не дам. Я хочу, чтобы ты меня забыла, чтобы посмотрела вокруг и нашла себе хорошего, доброго мужа, и пусть у тебя будут дети, ты всегда так хотела детей. Ты рождена быть матерью. В твоём будущем мне места нет, оставь эти мысли. Я никогда не сниму с себя сан и ради тебя самой скажу тебе прямо и честно: я и не хочу снимать с себя сан, потому что не люблю тебя той любовью, какой полюбит муж, пойми это. Забудь меня, Мэгги!

– И вы не поцелуете меня на прощание?

Вместо ответа он вскочил на гнедого, шагом пустил его к выходу из конюшни и, уже сидя в седле, нахлобучил старую фетровую шляпу трактирщика. На миг оглянулся, блеснул синими глазами, потом лошадь вышла под дождь и, скользя копытами, нехотя побрела по размокшей дороге к Джилли. Мэгги не сделала ни шагу вслед, так и осталась в полутемной сырой конюшне, пропахшей сеном и конским навозом, и ей вспомнились тот сарай в Новой Зеландии и Фрэнк.

Спустя тридцать часов де Брикассар вошел к папскому легату, пересек комнату, поцеловал кольцо на руке своего духовного отца и устало опустился в кресло. Только ощутив на себе взгляд прекрасных всезнающих глаз, он понял, как странен он сейчас, должно быть, с виду и отчего, едва он сошел с поезда на Центральном вокзале, люди смотрели на него с изумлением. Он совсем забыл про чемодан, оставленный в Джилли у преподобного Уотти Томаса, в последнюю минуту вскочил на ночной почтовый поезд и в нетопленном вагоне проехал шестьсот миль в одной рубашке, бриджах и сапогах для верховой езды, промокший насквозь, даже не замечая холода. Теперь он оглядел себя, виновато усмехнулся и поднял глаза на архиепископа:

– Простите, ваше высокопреосвященство. Столько всего случилось, что я совсем не подумал, как странно выгляжу.

– Не стоит извиняться, Ральф. – В отличие от своего предшественника легат предпочитал называть своего секретаря просто по имени. – По-моему, выглядите вы весьма романтично и лихо. Только немножко не похожи на духовное лицо, не правда ли?

– Да, конечно, обличье слишком светское. А что до романтичности и лихости, ваше высокопреосвященство, просто вы не привыкли к виду самой обыденной одежды в наших краях.

– Дорогой мой Ральф, вздумай вы облачиться в рубище и посыпать голову пеплом, вы все равно умудрились бы выглядеть лихо и романтично! Но костюм для верховой езды вам, право же, очень к лицу. Почти так же, как сутана, и не тратьте слов понапрасну, уверяя меня, будто вы не знаете, что он вам больше идет, чем черное пастырское одеяние. Вам присуще совсем особенное изящество движений, и вы сохранили прекрасную фигуру; думаю, и навсегда сохраните. И еще я думаю взять вас с собой, когда меня отзовут в Рим. Презабавно будет наблюдать, какое впечатление вы произведете на наших коротеньких и толстых итальянских прелатов. Этаким красивый гибкий кот среди перепуганных жирных голубей.

Рим! Отец Ральф выпрямился в кресле.

– Там было очень худо, друг мой? – продолжал архиепископ, неторопливо поглаживая белой рукой с перстнем шелковистую спину мурлычущей абиссинской кошки.

– Ужасно, ваше высокопреосвященство.

– Вы сильно привязаны к этим людям?

– Да.

– И вы равно любите всех или кого-то больше, кого-то меньше?

Но отец Ральф в коварстве ничуть не уступал прелату и достаточно

долго служил под его началом, чтобы изучить ход его мыслей. И на лукавый вопрос он ответил обманчивой прямоотой – уловка эта, как он успел убедиться, мгновенно успокаивала подозрения его высокопреосвященства. Этот тонкий, изощренный ум не догадывался, что видимая откровенность может оказаться куда лживее любой уклончивости.

– Да, я люблю их всех, но, как вы справедливо заметили, одних больше, других меньше. Больше всех люблю дочь Мэгги. Я всегда чувствовал особую ответственность за нее, потому что в семье на первом месте сыновья, а о девушке там никто и не думает.

– Сколько лет этой Мэгги?

– Право, точно не знаю. Пожалуй, что-то около двадцати. Но я взял с матери слово хоть ненадолго оторваться от счетов и конторских книг и позаботиться, чтобы дочь иногда бывала на танцах и встречалась с молодыми людьми. Если она застрянет в Дрохеде, вся ее жизнь так и пройдет понапрасну, и это будет слишком обидно.

Он не сказал ни слова неправды; безошибочным чутьем архиепископ сразу это распознал. Хотя он был всего тремя годами старше своего секретаря, его духовная карьера не страдала от помех и перерывов, как у Ральфа де Брикассара, и во многих отношениях он себя чувствовал безмерно старым, таким старым Ральф не станет никогда; если очень рано тобой завладел Ватикан, он в каком-то смысле подтачивает твои жизненные силы, а в Ральфе жизненные силы бьют через край.

Все еще настороженный, хотя и несколько успокоенный, прелат продолжал присматриваться к секретарю и вновь занялся увлекательной игрой, разгадывая, что же движет Ральфом де Брикассаром. Поначалу он не сомневался, что обнаружит в этом человеке не одну, так другую чисто плотскую слабость. Такой изумительный красавец с такой великолепной фигурой не мог не вызывать множества желаний, едва ли возможно о них не ведать и сохранять чистоту. Постепенно архиепископ убедился, что был наполовину прав: неведением отец Ральф, безусловно, не страдает, и, однако, в чистоте его нет сомнений. Стало быть, чего бы он ни жаждал, влекут его не плотские утехы. Прелат сталкивал его с искусными и неотразимыми гомосексуалистами – быть может, его слабость в этом? – но напрасно. Следил за ним, когда тот бывал в обществе самых прекрасных женщин, – но напрасно. Ни проблеска страсти или хотя бы интереса, а ведь он никак не мог в те минуты подозревать, что за ним следят. Ибо архиепископ далеко не всегда следил собственными глазами, а соглядатаев подыскивал не через секретаря.

И он начал думать, что слабость отца Ральфа – в честолюбии, слишком

горд этот пастырь своим саном; такие грани личности прелат понимал, он и сам не чужд был честолюбия. Как все великие и навеки себя утверждающие установления, католическая церковь всегда найдет место и применение для человека честолюбивого. По слухам, преподобный Ральф обманом лишил семью Клири, которую он якобы так нежно любит, львиной доли ее законного наследства. Если это верно, человека с такими способностями нельзя упускать. А как вспыхнули эти великолепные синие глаза при упоминании о Риме! Пожалуй, пора попробовать еще и другой ход... И прелат словно бы лениво двинул словесную пешку, но глаза его смотрели из-под тяжелых век зорко, испытующе.

– Пока вы были в отъезде, Ральф, я получил известия из Ватикана, – сказал он и слегка отстранил лежащую на коленях кошку. – Ты слишком эгоистична, моя Царица Савская, у меня затекли ноги.

– Вот как? – отозвался отец Ральф; он обмяк в кресле, глаза сами закрывались от усталости.

– Да, вы можете пойти лечь, но сначала послушайте новость. Недавно я послал его святейшеству папе личное и секретное письмо и сегодня получил ответ от моего друга кардинала Монтеверди... Любопытно, не потомок ли он композитора эпохи Возрождения? Почему-то при встрече я всегда забываю его спросить. Да ну же, Царица Савская, неужели от удовольствия непременно надо впиваться в меня когтями?

– Я вас слушаю, ваше высокопреосвященство, я еще не заснул, – с улыбкой заметил отец Ральф. – Неудивительно, что вы так любите кошек. Вы и сами развлекаетесь по-кошачьи, играя своей жертвой. – Он прищелкнул пальцами: – Поди сюда, киса, оставь его! Он недобрый!

Кошка мигом соскочила с колен, обтянутых лиловой сутаной, осторожно прыгнула на колени де Брикассара и замерла, подергивая хвостом, изумленно принялась: непривычно пахло лошадьё и дорожной грязью. Синие глаза Ральфа улыбались навстречу карим глазам прелата – и те и другие смотрели из-под полуопущенных век зорко, настороженно.

– Как вам это удастся? – настойчиво спросил архиепископ. – Кошки никогда не идут ни на чей зов, а моя Царица Савская идет к вам, как будто вы ей предлагаете икру и валерьянку. Неблагодарное животное.

– Я жду, ваше высокопреосвященство.

– И наказываете меня за ожидание, отнимая мою кошку. Ладно, вы выиграли, сдаюсь. Случалось вам когда-нибудь проигрывать? Это очень интересно. Так вот, вас надо поздравить, дорогой мой Ральф. Вам предстоит носить митру и ризы, и вас будут величать владыкой епископом де Брикасаром.

К великому удовольствию прелата, синие глаза его собеседника распахнулись во всю ширь. На сей раз отец Ральф и не пытался скрывать и таить истинные свои чувства. Он так и сиял от радости.

IV

1933–1938

Люк

Поразительно, как быстро земля залечивает раны; уже через неделю сквозь слой липкой грязи пробились тонкие зеленые травинки, а через два месяца зазеленели первой листвою обожженные деревья. Потому-то стойки и выносливы люди на этой земле – она не позволяет им быть иными; малодушные, не обладающие неистовым, непреклонным упорством, недолго продержатся на Великом Северо-Западе. Но пройдут годы и годы, прежде чем сгладятся шрамы. Многие слои коры нарастут и отпадут клочьями, прежде чем стволы эвкалиптов снова обретут прежний цвет, белый, серый или красный, а какая-то часть деревьев так и не воспрянет, они навсегда останутся черными, мертвыми. И еще много лет на равнинах там и сям будут медленно рассыпаться их скелеты; под слоем пыли, под топчущими копытами их вберет в себя покров земли, сотканный временем. И надолго остались ведущие на запад глубокие колеи, которыми прорезали размокшую почву Дрохеды края самодельного катафалка, – путники, знающие о том, что здесь случилось, показывали эти следы другим путникам, кто ничего не знал, и понемногу вплели эту скорбную повесть в другие легенды черноземной равнины.

Пожар уничтожил примерно пятую долю дрохедских пастбищ и двадцать пять тысяч овец – сущая безделица для хозяйства, где в недавние хорошие годы овец было до ста двадцати пяти тысяч. Как бы ни относились к стихийному бедствию те, кого оно коснулось, сетовать на коварство судьбы или на гнев Божий нет ни малейшего смысла. Остается одно – списать убытки и начать все сначала. Уж конечно, это не в первый раз и, уж конечно, как все прекрасно понимают, не в последний.

А все же нестерпимо больно было видеть весной дрохедские сады бурыми и голыми. Щедрый запас воды в цистернах Майкла Карсона помог им пережить засуху, но пожар ничто не пережило. Даже глициния не расцвела: когда нагрянул огонь, гроздя ее нежных, едва набухающих

бутонов старчески сморщились. Розы высохли, анютины глазки погибли, молодые побеги обратились в бурю солому, фуксия в тенистых уголках безнадежно сникла, подмаренник увял, у засохшего душистого горошка не было никакого аромата. Запасы воды в цистернах, истощенные во время пожара, затем пополнил ливень, и теперь обитатели Дрохеды каждую минуту, которая могла бы показаться свободной, помогали старику Тому воскресить сад.

Боб решил по примеру отца не скупиться в Дрохеде на рабочие руки и нанял еще трех овчаров; прежде Мэри Карсон вела другую политику – не держала постоянных работников, кроме семейства Клири, а на горячую пору подсчета, окота и стрижки нанимала временных; но Пэдди рассудил, что люди работают лучше, когда уверены в завтрашнем дне, а в конечном счете разницы особой нет. Почти все овчары по природе своей непоседы, перекаати-поле и не застревают подолгу на одном месте.

В новых домах, поставленных дальше от реки, поселились люди женатые; старик Том жил теперь в новеньком трехкомнатном домике под перечным деревом за конным двором и всякий раз, входя под собственную крышу, ликовал вслух. На попечении Мэгги по-прежнему оставались несколько ближних выгонов, ее мать по-прежнему ведала всеми счетами.

Фиа взяла на себя и обязанность, что лежала прежде на Пэдди, – переписываться с епископом Ральфом и, верная себе, сообщала ему только то, что относилось к делам имения. У Мэгги прямо руки чесались – схватить бы его письмо, впитать каждое слово, но Фиа, внимательнейшим образом прочитав эти письма, всякий раз тотчас прятала их под замок. Теперь, когда Пэдди и Стюарта не стало, к ней просто невозможно было подступиться. А что до Мэгги... Едва епископ Ральф уехал, Фиа начисто забыла свое обещание. Все приглашения на танцы и вечера Мэгги учтиво отклоняла, и мать, зная об этом, ни разу ее не упрекнула, не сказала, что ей следует поехать. Лайем О'Рок хватался за любой предлог, лишь бы заглянуть в Дрохеду; Инек Дэвис постоянно звонил по телефону, звонили и Коннор Кармайкл, и Аластер Маккуин. Но Мэгги со всеми была суха, невнимательна, и под конец они отчаялись пробудить в ней хоть какой-то интерес.

Лето было дождливое, но дожди шли не подолгу и наводнением не грозили, только грязь повсюду не просыхала, и река Баруон-Дарлинг текла на тысячу миль, полноводная, глубокая и широкая. Настала зима, но и теперь время от времени выпадали дожди и с ветром налетала темной пеленой не пыль, но вода. И поток бродячего люда, хлынувший на большую дорогу из-за экономического кризиса, иссяк, потому что в

дождливые месяцы тащиться на своих двоих по раскисшему чернозему – адская мука, да еще к сырости прибавился холод, и среди тех, кто не находил на ночь теплого крова, свирепствовало воспаление легких.

Боб тревожился – если так пойдет дальше, у овец загниют копыта; мериносам вредно без конца ходить по сырости, неминуемо начнется эта копытная гниль. И стричь будет невозможно, ни один стригаль не прикоснется к мокрой шерсти, а если земля не просохнет ко времени окота, множество новорожденных ягнят погибнет от сырости и холода.

Зазвонил телефон – два длинных, один короткий, условный вызов для Дрохеды; Фиа сняла трубку, обернулась:

– Боб, тебя.

– Привет, Джимми, Боб слушает... Ага, ладно... Вот это хорошо! Рекомендации есть?.. Ладно, пошли его ко мне... Ладно, коли он уж так хорош, скажи ему, наверное, для него найдется работа, только сперва я сам на него погляжу: не люблю котов в мешке, мало ли какие там рекомендации... Ладно, спасибо. Счастливо. – Боб снова сел. – К нам едет новый овчар, Джимми говорит – парень первый сорт. Работал раньше в Западном Квинсленде – не то в Лонгриче, не то в Чарлвилле. И гурты тоже перегонял. Хорошие рекомендации. Все в полном порядке. В седле держаться умеет, объезжал лошадей. Был раньше стригалем, говорит Джимми, да еще каким, успевал обработать двести пятьдесят штук в день. Вот это мне что-то подозрительно. С какой стати классному стригалю идти на жалованье простого овчара? Чтоб классный стригаль променял колеса на седло – это не часто встретишь. Хотя нам такая подмога на выгонах не помешает, верно?

С годами Боб стал говорить все медлительнее и протяжнее, на австралийский лад, зато тратит меньше слов. Ему уже под тридцать, и, к немалому разочарованию Мэгги, незаметно, чтобы он поддался чарам какой-нибудь подходящей девицы из тех, кого встречает на празднествах и вечерах, где братьям Клири надо приличия ради хоть изредка появляться. Он мучительно застенчив да к тому же по уши влюблен в Дрохеду и, видно, этой любви к земле и хозяйству предпочитает отдаваться безраздельно. Джек и Хьюги постепенно становятся неотличимы от старшего брата; когда они сидят рядом на одной из жестких мраморных скамей – больше этого они себе разнежиться дома не позволят, – их можно принять за близнецов-тройняшек. Кажется, им и вправду милее ночлег на выгонах, под открытым небом, а если уж случилось заночевать дома, они растягиваются у себя в спальнях на полу, будто боятся, что мягкая постель сделает их мямлями.

Солнце, ветер и сушь не слишком равномерно окрасили их светлую, осыпанную веснушками кожу под красное дерево, и тем яснее светятся на их лицах бледно-голубые спокойные глаза, от уголков которых к вискам бегут глубокие морщины – признак, что глаза эти постоянно смотрят вдаль, в бескрайний разлив изжелта-серебристых трав. Почти невозможно понять, сколько братьям лет, кто из них моложе и кто старше. У всех троих – в отца – простые добрые лица и римские носы, но сложены сыновья лучше: долгие годы работы стригалем согнули спину Пэдди и руки у него стали непомерно длинными. А тела сыновей сделала худощавыми, гибкими, непринужденно красивыми постоянная езда верхом. Но к женщинам, к удобной легкой жизни и удовольствиям их не тянет.

– Этот новый работник женат? – спросила Фиа, проводя красными чернилами по линейке ровную черту за чертой.

– Не знаю, не спросил. Завтра приедет – узнаю.

– Как он к нам доберется?

– Джимми подвезет, нам с Джимми надо потолковать насчет тех старых валухов на Тэнкстендском выгоне.

– Что ж, будем надеяться, что он у нас немного поработает. Если не женат, наверное, и месяца не продержится на одном месте. Жалкие люди эти овчары.

Джимс и Пэтси все еще жили в пансионе Ривервью, но клялись, что дня лишнего не останутся в школе, пусть им только исполнится четырнадцать, тогда по закону можно покончить с учением. Они рвались работать на пастбищах с Бобом, Джеком и Хьюги, тогда в Дрохеде снова можно будет хозяйничать своей семьей, а посторонние пускай приходят и уходят, когда им угодно. Близнецы тоже разделяли присущую всем Клири страсть к чтению, но школа им от этого ничуть не стала милее – книгу можно брать с собой в седельной сумке или в кармане куртки, и читать ее в полдень в тени под вилгой куда приятнее, чем в стенах иезуитского колледжа. Мальчиков с самого начала тяготила непривычная жизнь в пансионе. Их ничуть не радовали светлые классы с огромными окнами, просторные зеленые площадки для игр, пышные сады и удобства городской жизни, не радовал и сам Сидней с его музеями, концертными залами и картинными галереями. Они свели дружбу с другими сыновьями фермеров-скотоводов и в часы досуга мечтали о доме и хвастали необъятностью и великолепием Дрохеды перед почтительно-восторженными, но чуждыми сомнений слушателями – к западу от Баррен-Джанкшен не было человека, до кого не дошла бы слава Дрохеды.

Мэгги впервые увидела нового овчара чуть ли не через месяц. Его имя

– Люк О’Нил – было, как полагается, внесено в платежную ведомость, и в Большом доме о нем уже толковали куда больше, чем обычно говорят о наемных работниках. Начать с того, что он отказался от койки в бараке для новичков и поселился в последнем, еще пустовавшем доме у реки. Далее, он представился миссис Смит и завоевал благосклонность этой почтенной особы, хотя обычно она овчаров не жаловала. И любопытство стало одолевать Мэгги задолго до первой встречи с ним.

Свою каурую кобылу и вороного мерина Мэгги предпочитала держать не на общем конном дворе, а на конюшне, из дому ей обычно приходилось выезжать позже, чем мужчинам, и она подолгу не видела никого из наемных работников. Но однажды, когда летнее солнце уже ало пламенело низко над деревьями, клонясь к закату, и длинные тени протянулись навстречу мирному ночному покою, она столкнулась наконец с Люком О’Нилом. Она возвращалась с Водоемного выгона и уже готова была вброд пересечь реку, а О’Нил ехал с более далекого Юго-восточного выгона и тоже направлялся к броду.

В глаза ему било солнце, и Мэгги увидела его первая; под ним была рослая гнедая лошадь с черной гривой и хвостом и черными отметинами; Мэгги, в чьи обязанности входило посылать рабочих лошадей на разные участки, хорошо знала эту норовистую зверюгу и удивлялась, почему гнедой давно не видно. Все работники ее недолюбливают, избегают на ней ездить. А новому овчару, видно, все равно – верный знак, что наездник он хороший, ведь гнедая славится своими подлыми уловками и, чуть седок спешился, норовит цапнуть его зубами за голову.

Пока человек на лошади, трудно определить, какого он роста: австралийские скотоводы ездят обычно в седлах английского образца, у которых в отличие от американских нет высокой задней и передней луки, – в таком седле всадник держится очень прямо, круто согнув колени. Этот новый овчар казался очень высоким, но бывает, что туловище длинное, а ноги несоразмерно коротки, так что Мэгги решила подождать с выводами. Однако, не в пример другим овчарам, чья обычная одежда – серая фланелевая рубаша и серые саржевые штаны, этот был в белой рубашке и в белых молескиновых брюках заправским франтом, как подумала, внутренне усмехаясь, Мэгги. Что ж, на здоровье, если ему не надоедают бесконечные стирка и глажка.

– Здорово, хозяйка! – окликнул он, когда они съехались у брода, приподнял потрепанную шляпу из серого фетра и опять лихо сдвинул ее на затылок.

Они поехали рядом, и его синие смеющиеся глаза оглядели Мэгги с

откровенным восхищением.

– Ну нет, вы, видно, не сама хозяйка, стало быть, наверное, дочка, – сказал он. – А я Люк О’Нил.

Мэгги что-то пробормотала, но больше на него не смотрела, от смятения и гнева она не могла найти слова для подходящего случая пустого разговора. До чего несправедливо! Как он смеет! У него и глаза, и лицо совсем как у отца Ральфа! Не в том сходство, как он на нее смотрит – весело смотрит, но как-то по-другому, и взгляд вовсе не горит любовью; а в глазах отца Ральфа с той первой минуты, когда на джиленбоунском вокзале он опустился прямо в пыль на колени подле Мэгги, она неизменно видела любовь. Смотреть в его глаза, когда перед тобой не он! Жестокая шутка, тяжкое наказание.

Люк О’Нил не подозревал о тайных мыслях попутчицы и, пока лошади с плеском переходили речку, все еще полноводную после недавних дождей, заставлял упрямую гнедую держаться бок о бок со смирной каурой кобылой. Да, хороша девушка! А волосы какие! У братьев они просто медные, а у этой девчушки совсем другое дело. Вот лица толком не разглядеть, хоть бы подняла голову! Тут Мэгги и правда подняла голову, и такое у нее в эту минуту было лицо, что Люк озадаченно нахмурился – она посмотрела на него не то чтобы с ненавистью, но так, словно искала чего-то и не находила или, напротив, увидела такое, чего видеть не хотела. Или еще что, не разберешь. Во всяком случае, что-то ее расстроило. Люк не привык, чтобы женщины, оценивая его с первого взгляда, оказывались чем-то недовольны. Сначала, естественно, он попался на приманку чудесных волос цвета заката и кротких глаз, но это явное недовольство и разочарование еще сильнее его раззадорили. А она все присматривалась к нему, розовые губы приоткрылись, на верхней губе и на лбу поблескивали от жары крохотные росинки пота, темно-золотые брови пытливо, недоуменно изогнулись.

Он широко улыбнулся, показав белые крупные зубы, такие же, как у отца Ральфа; но улыбка у него была совсем другая.

– А знаете, лицо у вас такое удивленное, прямо как у малого ребенка, будто для вас все на свете в диковину.

Мэгги отвернулась.

– Извините, я совсем не хотела таращить на вас глаза. Просто вы мне напомнили одного человека.

– Можете таращить на меня глаза сколько угодно. Мне это куда приятней, чем глядеть на вашу макушку, хоть она и миленькая. А кого же это я вам напоминаю?

– Да так, не важно. Просто очень странно, когда лицо как будто знакомое и в то же время страшно незнакомое.

– Как вас зовут, маленькая мисс?

– Мэгги.

– Мэгги... Совсем не для вас имя, важности не хватает. На мой вкус вам бы больше подошло Белинда или Мэдлин, но, раз вы ничего лучшего предложить не можете, я согласен и на Мэгги. Это что же полностью – Маргарет?

– Нет, Мэгенн.

– А, вот это лучше! Буду звать вас Мэгенн.

– Нет, не будете! – отрезала Мэгги. – Я это имя терпеть не могу!

Но он только рассмеялся.

– Больно вы избалованы, маленькая мисс Мэгенн. Если захочу, буду вас называть хоть Юстейсия Софрония Огаста, и ничего вы со мной не поделаете.

Они подъехали к конному двору; О’Нил соскочил наземь, двинул кулаком по голове гнедую (та уже нацелилась было его укусить, но от удара отдернулась и притихла) и явно ждал, что Мэгги протянет ему руки, чтобы он помог ей спрыгнуть с седла. Но она тронула каурую каблуками и шагом поехала дальше по дороге.

– Вы что же, не оставляете вашу дамочку с простыми работягами? – крикнул вдогонку О’Нил.

– Конечно, нет, – ответила Мэгги, но не обернулась. До чего несправедливо! Он и не в седле похож на отца Ральфа. Тот же рост, те же широкие плечи и узкие бедра и даже толика того же изящества в движениях, хотя и проявляется оно по-иному. Отец Ральф двигается как танцор, Люк О’Нил – как атлет. У него такие же густые, выющиеся темные волосы, такие же синие глаза, такой же тонкий прямой нос, так же красиво очерчены губы. И однако, он столь же мало похож на отца Ральфа, как... как на высокое, светлое, прекрасное дерево – голубой эвкалипт – мало похож призрачный эвкалипт, хотя и он тоже высокий, светлый и прекрасный.

После этой случайной встречи Мэгги сразу настораживалась, едва при ней упоминали Люка О’Нила. Боб, Джек и Хьюги довольны были его работой и, видно, неплохо с ним ладили; усердный малый, не лодырь и не лежебока – отзывался о нем Боб. Даже Фиа однажды вечером заметила к слову, что Люк О’Нил очень хорош собой.

– А не кажется тебе, что он кого-то напоминает? – словно между прочим спросила Мэгги; она растянулась на ковре на полу, подперев

кулаками подбородок, и читала книжку.

Фиа с минуту подумала.

– Ну, пожалуй, он немного похож на отца де Брикассара. Так же сложен, и глаза того же цвета, и волосы. Но сходство небольшое, уж очень они разные люди... Я бы предпочла, чтобы ты читала сидя в кресле, как воспитанная девушка, Мэгги. Если ты в бриджах, это еще не значит, что надо совсем забывать о скромности.

– Кому до этого дело! – пренебрежительно фыркнула Мэгги.

Так оно и шло. В лице какое-то сходство есть, но люди-то совсем разные, и сходство мучает только Мэгги, потому что в одного из этих двоих она влюблена и ее злит, что другой ей нравится. Оказалось, на кухне он общий любимец, выяснилось также, почему он позволяет себе роскошь разъезжать по выгонам весь в белом: он неизменно мил и любезен, совсем очаровал миссис Смит, и она стирает и гладит ему белые рубашки и бриджи.

– Ах, он просто замечательный, настоящий ирландец! – восторженно вздохнула Минни.

– Он австралиец, – возразила Мэгги.

– Ну, может, он тут родился, мисс Мэгги, миленькая, только уж кого звать О’Нил, тот чистый ирландец, не хуже Пэддиных породистых свинок, не в обиду будь сказано вашему папаше, мисс Мэгги, святой был человек, да возрадуется его душенька в царствии небесном. Как же это мистер Люк не ирландец? У него и волосы такие темные, и глаза такие синие. В старину в Ирландии О’Нилы были королями.

– А я думала, королями были О’Конноры, – коварно заметила Мэгги.

В круглых глазах Минни тоже блеснул озорной огонек.

– Ну и что ж, мисс Мэгги, страна-то была не маленькая.

– Подумаешь! Чуть побольше Дрохеды! И все равно, О’Нилы были оранжисты^[6], вы меня не обманете.

– Да, верно. А все равно это знатная ирландская фамилия, О’Нилы были, когда про оранжистов никто еще и слыхом не слыхал. Только они родом из Ольстера, вот кой-кто и заделался оранжистом, как же этого не понять? Только прежде того был О’Нил из Кландбоя и О’Нил Мур, это еще вон когда было, мисс Мэгги, миленькая.

И Мэгги отказалась от борьбы – если Минни и воодушевлял когда-нибудь воинственный пыл независимых фениев^[7], она давно его утратила и могла произнести слово «оранжисты», не приходя в ярость.

Примерно неделю спустя Мэгги снова столкнулась у реки с Люком

О'Нилом. У нее мелькнуло подозрение, уж не нарочно ли он ждал ее тут, в засаде, но если и так, что ей было делать?

– Добрый день, Мэггенн.

– Добрый день, – отозвалась она, не повернув головы.

– В субботу вечером народ собирается в Брейк-и-Пвл, в большой сарай, на танцы. Пойдете со мной?

– Спасибо за приглашение, только я не умею танцевать. Так что ходить незачем.

– Это не помеха, танцевать я вас в два счета обучу. И уж раз я туда поеду с хозяйской сестрицей, как по-вашему, Боб даст мне «роллс-ройс», не новый, так хоть старый?

– Я же сказала, не поеду! – сквозь зубы процедила Мэгги.

– Вы не то сказали, вы сказали – не умеете танцевать, а я сказал – я вас научу. Вы ж не говорили, что не пошли бы со мной, если б умели, стало быть, я так понял, вы были не против меня, а против танцев. А теперь что ж, на попятный?

Мэгги сердито вспыхнула, посмотрела на него злыми глазами, но он только рассмеялся ей в лицо.

– Вы до чертиков избалованы, красотка Мэггенн, но не век же вам командовать.

– Ничего я не избалована!

– Так я вам и поверил! Единственная сестрица, братья у вас под каблучком, земли и денег неупорот, шикарный дом, прислуга! Знаю, знаю, хозяин тут католическая церковь, но семейству Клири тоже монеты хватает.

Вот она, самая большая разница, с торжеством подумала Мэгги, – то, что ускользало от нее с первой их встречи. Отец Ральф никогда не обманулся бы внешней стороной, а этот – глухая душа, нет у него тонкости, чутья, он не слышит, что там, в глубине. Едет по жизни на коне и думать не думает, сколько в ней, в жизни, сложности и страданий.

Ошарашенный, Боб безропотно отдал ключи от новенького «роллс-ройса», минуту молча смотрел на Люка, потом широко улыбнулся:

– Вот не думал, что Мэгги станет ходить на танцы, но отчего ж, веди ее, Люк, милости просим! Я так думаю, малышке это понравится. Она, бедняга, нигде не бывает. Нам бы самим додуматься, а мы хоть бы раз ее куда-нибудь свозили.

– А почему бы и вам с Джеком и Хьюги тоже не поехать? – спросил Люк, словно вовсе не прочь был собрать компанию побольше.

Боб в ужасе замотал головой:

– Нет уж, спасибо. Мы не любители танцев.

Мэгги надела свое пепельно-розовое платье – других нарядов у нее не было; ей и в голову не приходило часть денег, что копились в банке на текущем счету, который завел отец Ральф на ее имя, потратить на платья для балов и званых вечеров. До сих пор она ухитрялась отказываться от всех приглашений, ведь такие люди, как Инек Дэвис и Аластер Маккуин, теряются, стоит сказать им твердо «нет». Не то что этот нахал Люк О’Нил.

Но, оглядывая себя в зеркале, она подумала – на той неделе мама, как всегда, поедет в Джилли, и надо бы тоже поехать, зайти в мастерскую Герты и заказать несколько новых платьев.

А это платье ей тошно надеть, она бы мигом его скинула, будь у нее другое мало-мальски подходящее. Другое время, другой темноволосый спутник... а это платье слишком напоминает о любви и мечтах, о слезах и одиночестве, надеть его для вот такого Люка О’Нила просто кощунство. Мэгги уже привыкла скрывать свои чувства, на людях всегда была спокойна и словно бы довольна жизнью. Она все плотнее замыкалась в самообладании, точно дерево в своей коре, но иной раз среди ночи подумает о матери – и ее пробирает дрожь.

Неужели в конце концов и она, как мама, отрешится от всех человеческих чувств? Может быть, так оно и начиналось для мамы в те времена, когда она была с отцом Фрэнка? Бог весть что бы сделала, что сказала бы мама, знай она, что Мэгги стала известна правда про Фрэнка. Та памятная стычка в доме священника! Словно вчера это было – отец и Фрэнк друг против друга, а Ральф до боли сжал ее плечи. Какие ужасные слова они кричали друг другу! И тогда все стало ясно. Едва Мэгги поняла, ей показалось, что она всегда это знала. Она достаточно взрослая, теперь она понимает, что и дети появляются не так просто, как ей думалось прежде; для этого нужна какая-то телесная близость, дозволенная только между мужем и женой, а для всех остальных запретная. Сколько же позора и унижения, наверное, вытерпела бедная мама из-за Фрэнка! Неудивительно, что она стала такая. Случись такое со мной, подумала Мэгги, лучше мне умереть. В книгах только самые недостойные, самые дурные женщины имеют детей, если они не замужем; но мама ведь не была, никогда не могла быть, дурной и недостойной. Как бы Мэгги хотелось, чтобы мать ей все рассказала или у нее самой хватило бы смелости заговорить. Может быть, от этого маме даже хоть немного полегчало бы. Только не такой она человек, к ней не подступишься, а она, уж конечно, первая не начнет. Мэгги вздохнула, глядя на себя в зеркало, и от души понадеялась, что с ней самой никогда ничего подобного не

случится.

И однако, она молода, и в такие вот минуты, лицом к лицу со своим отражением в пепельно-розовом платье, ей нестерпимо хочется живого чувства, волнения, которое обдало бы ее словно жарким и сильным ветром. И совсем не хочется весь свой век плестись, как заведенной, по одной и той же колее; хочется перемен, полноты жизни, любви. Да, любви, и мужа, и детей. Что толку томиться по человеку, если он все равно твоим никогда не будет? Он не хочет ее в жены и никогда не захочет. Говорил, что любит ее, но не той любовью, какой полюбит муж. Потому что он обвенчан со святой церковью. Неужели все мужчины такие – любят что-то неодушевленное сильнее, чем способны полюбить живую женщину? Нет, конечно, не все. Наверное, таковы только сложные, неподатливые натуры, у кого внутри сомнения и разброд, умствования и расчеты. Но есть же люди попроще, способные полюбить женщину больше всего на свете. Хотя бы такие, как Люк О'Нил.

– До чего ж вы красивая девушка, сроду таких не встречал, – сказал ей Люк, нажимая на стартер «роллс-ройса».

Мэгги совершенно не привыкла к комплиментам, она изумленно покосилась на Люка, но промолчала.

– Правда, здорово? – продолжал он, видимо, ничуть не разочарованный ее равнодушием. – Повернул ключ, нажал кнопку на приборной доске – и машина пошла. Ни ручку крутить не надо, ни на педаль жать, покуда вовсе не выбьешься из сил. Вот это жизнь, Мэгген, верно вам говорю.

– А там вы меня не оставите одну?

– Конечно, нет! Вы ж со мной поехали, верно? Стало быть, на весь вечер вы моя девушка, и я к вам никого не подпущу.

– Сколько вам лет, Люк?

– Тридцать. А вам?

– Скоро двадцать три.

– Вон даже как? А поглядеть на вас – дитя малое.

– Совсем я не дитя.

– Ого! И влюблены бывали?

– Была. Один раз.

– Всего-то? Это в двадцать три года? Ну и ну! Я в ваши годы влюблялся и разлюблялся раз десять.

– Может быть, и я влюблялась бы чаще, только в Дрохеде не в кого влюбиться. До вас ни один овчар не решался мне слово сказать, здоровались – и все.

– Ну, если вы не хотите ходить на танцы, потому что не умеете танцевать, вас так никто и не увидит. Ничего, мы это дело в два счета поправим. К концу вечера вы уже научитесь, а через недельку-другую всех за пояс заткнете. – Он окинул ее быстрым взглядом. – Но уж наверно хозяйские сынки с других ферм вас и раньше приглашали. Насчет овчаров все ясно, простой овчар понимает, что вы ему не пара, а у кого своих овец полно, те наверняка на вас заглядывались.

– А вы меня почему пригласили, если я овчару не пара? – возразила Мэгги.

– Ну, я-то известный нахал! – Он усмехнулся. – Вы не увиливайте, говорите по совести. Уж наверно нашлись в Джилли парни, приглашали вас на танцы.

– Некоторые приглашали, – призналась Мэгги. – Только мне не хотелось. А вы оказались уж очень напористым.

– Тогда они все дураки малахольные, – сказал Люк. – А я сразу вижу, если что стоящее, не ошибусь.

Мэгги не слишком нравилась его манера разговаривать, но вот беда, этого нахала не так-то просто было поставить на место.

На субботние танцульки народ собирается самый разный, от фермерских сыновей и дочек до овчаров с женами, у кого есть жены; тут же и горничные, и гувернантки, горожане и горожанки любого возраста. На таких вечерах, к примеру, школьной учительнице представляется случай познакомиться поближе с младшим агентом конторы по продаже движимого и недвижимого имущества, с банковским служащим и с жителями самых дальних лесных поселков.

Изысканные манеры на таких танцульках были не в ходу, их приберегали для случаев более торжественных. Из Джилли приезжал со скрипкой старик Мики О’Брайен, на месте всегда находился кто-нибудь, умеющий подыграть ему не на аккордеоне, так на гармонике, и они по очереди аккомпанировали старому скрипачу, а он сидел на бочке или на тюке с шерстью и играл без передышки, даже слюна капала с оттопыренной нижней губы, потому что глотнуть ему было недосуг – он не желал нарушать темп игры.

И танцы тут были совсем не такие, какие видела Мэгги в день рождения Мэри Карсон. Живо неслись по кругу пары, отплясывали джигу, кадриль, польку, мазурку, водили по-деревенски хороводы то на английский, то на шотландский лад – партнеры лишь изредка брались за руки либо стремительно кружились, не сближаясь больше, чем на длину вытянутых рук. Никакой интимности, никакой мечтательности. Похоже, все

смотрели на такой танец просто как на способ рассеять безысходную скуку, а ухаживать и кокетничать удобнее было вне стен сарая, на вольном воздухе, подальше от шума и толчеи.

Мэгги скоро заметила, что на нее смотрят с завистью. На ее рослого красивого кавалера обращено, пожалуй, не меньше манящих или томных взоров, чем обращалось, бывало, на отца Ральфа, и взоры эти гораздо откровеннее. Так привлекал когда-то все взгляды отец Ральф. Когда-то. Как ужасно, что он остался только в далеком-далеком прошлом.

Верный своему слову, Люк от нее не отходил, разве только отлучился в уборную. В толпе оказались Инек Дэвис и Лайем О'Рок, оба счастливы были бы занять место Люка подле Мэгги. Он не дал им к ней подступить, а Мэгги, ошеломленная непривычной обстановкой, просто не понимала, что имеет право танцевать со всяким, кто ее пригласит, а не только с тем, кто ее привез. Она не слышала, что говорили вокруг, на них глядя, зато Люк слышал и втайне посмеивался. Ну и наглец, простой овчар, а увел у них из-под носа такую девушку! Люк плевать хотел на них на всех, пускай злятся. Было б им раньше не зевать, а проворонили – тем хуже для них.

Напоследок танцевали вальс. Люк взял Мэгги за руку, другой рукой обхватил ее за талию и привлек к себе. Танцор он был превосходный. К своему удивлению, Мэгги убедилась, что ей ничего не надо уметь, только слушаться, когда он ее ведет. И оказалось, это чудесно – очутиться в объятиях мужчины, ощущать его мускулистую грудь и бедра, впитывать тепло его тела. Мгновения близости с отцом Ральфом были насыщены таким волнением, что Мэгги ни в каких тонкостях разобраться не успела и всерьез воображала, будто чувствовала в его объятиях нечто неповторимое. Но хотя сейчас было совсем иначе, это тоже волновало, и еще как, сердце ее забилося чаще, и она поняла, что и Люк это почувствовал: он вдруг повернул ее к себе, привлек ближе, прижался щекой к ее волосам.

Пока «роллс-ройс» с мягким урчанием катил обратно, легко скользя по ухабистой дороге, а порой и вовсе без дороги, оба почти не разговаривали. От Брейк-и-Пвла до Дрохеды семьдесят миль по выгонам, и ни одной постройки не увидишь, ничьи окна не светятся, можно начисто забыть, что где-то есть еще люди. Гряда холмов, пересекающая Дрохеду, возвышается над окрестными лугами на какую-нибудь сотню футов, но на этих бескрайних черноземных равнинах подняться на перевал – все равно что в Швейцарии достичь вершины Альп. Люк остановил «роллс-ройс», вылез, обошел машину кругом и распахнул дверцу перед Мэгги. Она вышла и не без дрожи остановилась с ним рядом. Неужели он попытается ее поцеловать и все испортит? Здесь так тихо и ни души вокруг.

По гребню холма тянулся полуразвалившийся деревянный забор, и Люк повел туда Мэгги, осторожно поддерживая под локоть, чтобы она не споткнулась в легких туфельках на кочке и не попала в кроличью нору. Она ухватилась за край ограды и молча смотрела вниз, на равнину; сначала она онемела от ужаса, но Люк вовсе не пытался до нее дотронуться, и страх понемногу сменился недоумением.

В бледном свете луны почти так же внятно, как днем, распахнулась перед глазами даль и ширь, мерцали белые, серые, серебристые травы, колыхались, будто дышали тревожно. Вдруг вспыхивали искрами листья деревьев, стоило ветру повернуть их гладкой стороной кверху; а под купами деревьев таинственно зияли густые тени, точно разверзались провалы в преисподнюю. Запрокинув голову, Мэгги пробовала считать звезды, но куда там – словно мельчайшие росинки на исполинской кружащейся паутине, вспыхивали и гасли, вспыхивали и гасли огненные точки, все в том же ритме, вечном, как сам Бог. Они раскинулись над ней, словно сеть, прекрасные, невообразимо безмолвные, зоркие, проникающие прямо в душу, – так драгоценными камнями вспыхивают в луче фонаря глаза насекомых, в них не прочтешь ничего, они же видят все. Только и слышно, как шелестит в траве, в листве деревьев жаркий ветер, изредка что-то щелкнет в остывающем моторе «роллс-ройса» да где-то совсем близко жалуется на незваных гостей, что потревожили ее покой, сонная птица; только и пахнет душистым непередаваемым дыханием зарослей. Люк повернулся спиной к этой ночи, достал из кармана кисет, книжечку рисовой бумаги и собрался курить.

– Вы здесь и родились, Мэгген? – спросил он, лениво растирая на ладони табак.

– Нет, в Новой Зеландии. А в Дрохеду мы переехали тринадцать лет назад.

Он ссыпал табак на бумажку, ловко свернул ее двумя пальцами, лизнул, заклеил, засунул поглубже концом спички в бумажную трубочку несколько торчащих волокон табака, чиркнул спичкой и закурил.

– Вам сегодня было весело, верно?

– Да, очень!

– С удовольствием всегда буду водить вас на танцы.

– Спасибо.

Люк опять замолчал, спокойно курил, поглядывал поверх крыши «роллс-ройса» на кучку деревьев, где еще досадливо чирикала рассерженная птаха. Окурок обжег ему желтые от табака пальцы. Люк уронил его и намертво затоптал в землю каблуком. Никто не расправляется

с окурками так беспощадно, как жители австралийских зарослей.

Мэгги со вздохом отвернулась от залитого луной простора, и Люк помог ей дойти до машины. Он не станет торопиться с поцелуями, не так он глуп; жениться на ней – вот чего ему надо, так что пускай сама первая захочет, чтобы он ее целовал.

Но лето шло и шло как положено, во всем своем ярком, пыльном великолепии, немало было других танцулек и вечеров, и постепенно в усадьбе привыкли к тому, что Мэгги нашла себе красавца дружка. Братья не поддразнивали ее, они любили сестру и ничего не имели против Люка О'Нила. Никогда еще у них не было работника усерднее и неутомимее, а это – самая лучшая рекомендация. Братья Клири, по существу, были не столько землевладельцами, сколько тружениками, им в голову не приходило судить О'Нила исходя из того, что у него за душой ни гроша. Фиа могла бы мерить более тонкой и точной меркой, не будь ей это безразлично. Притом на всех действовала спокойная самоуверенность Люка, словно говорящая: «Я вам не простой овчар», – и с ним обращались почти как с членом семьи.

У него вошло в привычку вечерами, если он не ночевал на дальних выгонах, заходить в Большой дом; спустя недолгое время Боб сказал, что глупо Люку есть одному, когда у них стол чуть не ломится, и он стал ужинать с семейством Клири. А потом показалось – глупо отсылать его на ночь восвояси, за целую милю, если он так любезен, что не прочь допоздна болтать с Мэгги, и ему предложили переселиться в один из домиков для гостей, тут же за Большим домом.

К этому времени Мэгги думала о нем постоянно и уже не столь пренебрежительно, как вначале, когда поминутно сравнивала его с отцом Ральфом. Старая рана заживала. Понемногу забылось, что совсем такими же губами отец Ральф улыбался так, а Люк улыбается эдак, что ярко-синие глаза отца Ральфа смотрели покойно, отрешенно, а в глазах Люка – беспокойный, неумный блеск. Мэгги была молода и еще не успела насладиться любовью, лишь на краткий миг ее отведала. И теперь ей хотелось по-настоящему узнать вкус любви, полной грудью вдохнуть ее аромат, погрузиться в нее до головокружения. Отец Ральф стал епископом Ральфом; никогда, никогда он к ней не вернется. Он продал ее за тринадцать миллионов сребреников, думать об этом мучительно. Не скажи он этих слов в памятную ночь у Водоема, ей не пришлось бы теряться в догадках, но он так сказал – и не счесть, сколько ночей с тех пор она лежала без сна, недоумевая, что же это значило.

А в ладонях у нее жило ощущение плеч Люка в минуты, когда он,

танцуя, притягивал ее к себе; он волновал ее, волновали его прикосновения, кипящие в нем жизненные силы. Нет, никогда из-за него все ее существо не расплавлял неведомый темный огонь и не думала она, что ей незачем жить и дышать, если она больше его не увидит, не вздрагивала и не трепетала под его взглядом. Но Люк возил ее на вечера и танцы, она лучше узнала молодых людей вроде Инека Дэвиса, Лайема О'Рока, Аластера Маккуина, и, однако, ни к одному из них ее так не влекло, как к Люку О'Нилу. Если кто достаточно высок и тоже надо смотреть на него снизу вверх, у него не такие глаза, как у Люка, а если глаза похожи, так волосы не такие. Всегда чего-то не хватает, что есть в Люке, а чем же, в сущности, от всех отличается Люк – непонятно. Разве что очень напоминает отца Ральфа... но Мэгги не желала признавать, что ее только это в нем и привлекает.

Они много разговаривали, но всегда как-то вообще: об овцах и стрижке, о земле, о том, чего он хочет добиться в жизни, о разных местах, где он побывал. Иногда о каком-нибудь политическом событии. Люку случалось иной раз прочесть книжку, но он не пристрастился к чтению с детства, как Мэгги, и, сколько она ни старалась, ей не удавалось уговорить его что-то прочесть лишь потому, что ей, Мэгги, эта книга показалась интересной. Не заводил он и каких-либо умных, глубоких разговоров и, что всего любопытнее и досаднее, нимало не интересовался тем, как живет ей, Мэгги, и чего она хочет в жизни. Подчас ее так и подмывало поговорить о чем-нибудь, что задевало ее куда сильнее, чем овцы или дождь, но стоило ей попытаться – и он ловко переводил разговор на какую-нибудь накатанную дорожку.

Люк О'Нил был умен, самоуверен, на редкость неугомонен в работе и жаждал разбогатеть. Родился он в глинобитной лачуге на окраине города Лонгрич в Западном Квинсленде, на самом тропике Козерога. Отец его был блудным сыном состоятельного, но сурового ирландского семейства, в котором грехов не прощали, мать – дочерью немца, торговца мясом в Уинтоне; когда ей непременно вздумалось выйти замуж за Люка-старшего, от нее тоже отреклись родители. В глинобитной лачуге ютились десятеро детишек, и на всех – ни единой пары башмаков, а впрочем, в раскаленном Лонгриче вполне можно было бегать босиком. Люк-старший, когда приходила охота заработать кусок хлеба, нанимался стригалем, но чаще всего у него была охота пить дешевый ром – и только; когда Люку-младшему исполнилось двенадцать, отец погиб во время пожара в блэколском трактире. И сын при первой возможности ступил на стезю стригалю, поначалу – мальчишкой-смольщиком: мазал растопленной смолой зияющие раны, если стригаль по оплошности вместе с шерстью

отхватывал у овцы клочок мяса.

Одно никогда не пугало Люка – тяжелая работа: он наслаждался ею, как иные наслаждаются бездельем, потому ли, что отец его был пьяница и посмешище всего города, или потому, что унаследовал трудолюбие матери-немки, – причина никого никогда не интересовала.

Он подросток и получил работу чуть посложнее – бегал по сараю, подхватывал взлетающие из-под «ящерок», словно воздушные змеи, широкие сплошные полосы шерсти и относил к столу для подрубки. Потом научился «подрубать» – отщипывать слипшиеся от грязи края – и относил настриженную шерсть в лари, где ее оценит наметанным глазом аристократ среди мастеров овцеводческого дела – сортировщик; сортировщик шерсти подобен дегустатору вин или парфюмеру – он не научится своему искусству, если не обладает еще и особым врожденным чутьем. У Люка такого чутья не было, значит, чтобы зарабатывать побольше – а он непременно этого хотел, – надо было стать либо прессовщиком, либо стригалем. У него вполне хватило бы силы работать прессом, сжимать уже рассортированную шерсть в тюки, но первоклассный стригаль может заработать больше.

Его уже знали во всем Западном Квинсленде как отличного работника, и он без особого труда получил право на опыте учиться стрижке. В нем счастливо сочетались ловкость и уверенность движений, сила и выносливость – все, что нужно, чтобы стать первоклассным стригалем. Вскоре Люк уже стриг двести с лишком овец за день, шесть дней в неделю, получая по фунту за сотню; и это – узкими длинными ножницами, похожими на болотных ящериц, их так и называют – «ящерки». Инструмент новозеландских стригалей – большие ножницы с широким редким гребнем – в Австралии запрещен, хоть он и удваивает выработку стригалья.

Тяжкий это труд: сгибаешься вдвое, овцу зажал между колен и быстро ведешь ножницы вдоль тела овцы, стараясь снимать шерсть одной длинной полосой, чтобы как можно меньше оставалось достригать, да еще снимать ее надо вплотную к шероховатой, обвислой коже, чтоб угодить владельцу, – ведь он мгновенно коршуном накинется на стригалья, посмеявшегося нарушить стандарты стрижки. Но Люк был не против жары, и пота, и жажды, что заставляла выпивать за день по меньшей мере три галлона воды, и не против несчетных, неотвязных мучительниц – мух, к мухам он привык с колыбели. Он был даже не против овец – самой страшной пытки стригалья: овцы бывают разные, у иных кожа бугристая или влажная, шерсть чересчур длинная или клочковатая, или сбилась комьями, или полна мух, но все они

мериносы, а значит, заросли шерстью до самых носов и копыт, и у всех эта бугристая тонкая кожа скользит под пальцами, как промасленная бумага.

Нет, Люк был не против самой работы – чем напористее он работал, тем веселее ему становилось; досаждало другое – шум, зловоние, тошно запахло, в четырех стенах. Сарай для стрижки овец – сущий ад, другого такого не сыщешь. Нет, ему нужно иное, он намерен сам стать хозяином, расхаживать взад и вперед вдоль рядов согнувшихся в три погибели стригалей и следить, как из-под их быстрых, ловких ножниц струится его богатство, шерсть его собственных овец.

Хозяин, шишка важная, в креслице сидит,
И всякую промашку он мигом углядит, –

так поется в старой песне стригалей, и вот эту-то роль избрал для себя на будущее Люк О’Нил. Он станет хозяином, важной шишкой, землевладельцем и овцеводом. Весь век стригалить на других, чтобы согнулась спина и руки стали неестественно длинные, – нет, это не по нем; он желает работать в свое удовольствие на чистом воздухе и смотреть, как к нему рекой текут денежки. Он не бросал работу стригая только в расчете выдвинуться в первейшие знаменитые мастера, каких можно перечесать по пальцам, – такой мастер умудряется обработать за день больше трехсот мериносов, и все строго по стандарту и только узкими «ящерками». Такие нередко бьются об заклад, сколько успеют остричь, и выигрывают на этом немалые деньги сверх заработка. На беду из-за чересчур высокого роста Люку приходилось тратить лишние доли секунды, наклоняясь к овцам, и это мешало ему возвыситься из первоклассных мастеров в сверхмастера.

Тогда его довольно ограниченный ум стал изыскивать другие способы достичь вожденной цели; примерно в эту пору Люк заметил, что нравится женщинам. Первую попытку он проделал, нанявшись овчаром в Гнарлунгу – у этой фермы была только одна наследница, притом почти молодая и почти недурная собой. Но как назло она предпочла Помми-желторотика, иначе говоря – новичка, только-только из Англии, о чьих необычайных похождениях уже складывались в лесном краю легенды. После Гнарлунги Люк взялся объезжать лошадей в Бингелли, здесь он нацелился на уже немолодую и некрасивую наследницу фермы, коротавшую свои дни в обществе папаши-вдовца. Он чуть не завоевал сердце и руку бедняжки Дот, но под конец она покорила отцовской воле и вышла за шестидесятилетнего бодрячка – владельца соседних земель.

На эти две неудачные попытки у Люка ушло больше трех лет жизни, после чего он решил, что тратить двадцать месяцев на каждую наследницу слишком долго и скучно. Куда приятнее бродить по стране, нигде надолго не задерживаясь, – шире станет поле поисков, и в конце концов наткнешься на что-нибудь подходящее. И он с истинным наслаждением начал перегонять гурты по дорогам Западного Квинсленда, вдоль Купера и Дайамантины, к Барку, к Разливу Буллу, вплоть до западного края Нового Южного Уэльса. Ему уже минуло тридцать – самое время подыскать курочку, способную снести для него хоть подобие желанного золотого яичка.

О Дрохеде кто же не слышал, но Люк наострил уши, прослышав, что там имеется единственная дочка. Всему имению она, конечно, не наследница, но можно надеяться, что ей дадут в приданое скромную сотню тысяч акров где-нибудь около Кайнуны или Уинтона. В джиленбоунской округе места хорошие, но, на вкус Люка, уж слишком лесистые, простора маловато. Его манили необъятные дали Западного Квинсленда, там, сколько хватает глаз, колышется море трав, и про деревья только смутно вспоминаешь – есть что-то такое где-то на востоке. А тут трава, трава, куда ни глянь, без конца и края, и, если повезет, можно прокормить по овце на каждые десять акров своей земли. Ведь бывает порой и так, что нигде ни травинки, просто голая ровная пустыня, черная, иссохшая, потрескавшаяся от жажды земля. У каждого свой рай; трава, солнце, зной и мухи – вот рай, о каком мечтал Люк О’Нил.

Он подробно расспросил про Дрохеду Джимми Стронга, агента по продаже движимого и недвижимого имущества, который подвез его сюда в первый день, и тот нанес ему тяжкий удар, объяснив, что настоящий владелец Дрохеды – католическая церковь. Но теперь Люк уже знал, что женщины – наследницы богатых имений встречаются не часто; и когда Джимми Стронг прибавил, что у единственной дочки имеется кругленькая сумма на счету в банке и несколько любящих братьев, он решил действовать, как задумано.

Однако хотя Люк давно поставил себе цель – заполучить сто тысяч акров где-нибудь около Кайнуны или Уинтона и упорно к этому стремился, в глубине души он любил звонкую монету куда нежнее, чем все, что в конце концов можно купить за деньги; всего неодолимее влекла его не земля и не скрытые в ней силы, но будущий собственный счет в банке, аккуратные ряды цифр, что станут расти и множиться, означая сумму, положенную на его, Люка, имя. Не земель Гнарлунги или Бингелли он жаждал всем своим существом, но их стоимости в звонкой монете.

Человек, который и вправду жаждет заделаться важной шишкой, хозяином и землевладельцем, не стал бы добиваться Мэгги Клири, у которой ни акра земли за душой. И такой человек не ощутит каждой жилкой, каждой мышцей наслаждения от тяжелой работы, как ощущал Люк О'Нил.

Вечер танцев в Джилли был тринадцатым, на который Люк повез Мэгги за тринадцать недель. Как он разузнавал, где они состоятся, и как умудрялся добыть иные приглашения, Мэгги по своей наивности не догадывалась, но аккуратно каждую субботу он просил у Боба ключи от «роллс-ройса» и вез ее иной раз за полтора ста миль.

Этот вечер был холодным, Мэгги стояла у ограды, глядя на сумрачные под безлунным небом дали, и чувствовала, как похрустывает под ногами схваченная морозцем земля. Надвигалась зима. Люк взял ее одной рукой за плечи, притянул к себе.

– Вы замерзли, – сказал он. – Сейчас я отвезу вас домой.

– Нет, ничего, теперь мне теплее, – чуть задохнувшись, ответила Мэгги.

И ощутила в нем какую-то перемену, что-то новое в руке, которая легко, равнодушно придерживала ее за плечи. Но так приятно было прислониться к его боку, ощущать тепло, идущее от его тела, скроенного по-другому, чем ее тело. Даже сквозь толстый шерстяной джемпер она чувствовала – его ладонь принялась ласково, осторожно и словно испытующе неширокими кругами поглаживать ей спину. Скажи она в эту минуту, что замерзла, он бы тотчас перестал; промолчи она, он бы понял это как молчаливое поощрение. Она была молода, ей так хотелось по-настоящему изведать, что такое любовь! Вот он, единственный привлекательный для нее мужчина, кроме отца Ральфа, почему же не попробовать и его поцелуи? Только пусть они будут другие! Пусть не напомнят поцелуев отца Ральфа!

Люк счел молчание знаком согласия, взял Мэгги свободной рукой за плечо, повернул лицом к себе, наклонил голову. Так вот как на самом деле чувствуешь чужие губы? Они давят на твои, только и всего! А как полагается показать, что тебе это приятно? Мэгги слегка шевельнула губами и тотчас об этом пожалела. Люк сильнее надавил на них своими, раскрыл рот, зубами и языком раздвинул ее губы, она ощутила во рту его язык. Отвратительно. Почему чувство было совсем иное, когда ее целовал Ральф? Тогда поцелуи ничуть не казались мокрыми и даже противными, тогда у нее вовсе не было никаких мыслей, она открывалась ему навстречу, словно шкатулка с секретом, когда умелая рука нажала потайную пружинку... Да что же он делает? Почему все ее тело встрепенулось и

льнет к нему, хотя умом она отчаянно хочет вырваться?

Люк нащупал у нее на боку чувствительное местечко и уже не отнимал руки, стараясь ее растормошить; до сих пор она отвечала не слишком восторженно. Он прервал поцелуй и прижался губами к ее шее под ухом. Это ей, видно, понравилось больше, она ахнула, обхватила его обеими руками, но, когда губы его скользнули ниже, а рука попыталась стянуть платье с плеча, Мэгги резко оттолкнула его и отступила на шаг.

– Довольно, Люк!

В ней поднялось разочарование, почти отвращение. Люк прекрасно это понял; он отвел ее к машине и с жадностью закурил. Он считал себя неотразимым любовником, еще ни одна девчонка на него не обижалась... но те ведь были не из благородных, как Мэгги. Даже Дот Макферсон, наследница Бингелли, хоть и куда богаче, сама была неотесанная, не обучалась в сиднейских шикарных пансионах, никакой такой чепухи за ней не водилось. Несмотря на свою наружность, Люк по части сексуального опыта недалеко ушел от простого работника с фермы, понимал в этой технике только то, что нравилось ему самому, и ничего не смыслил в теории. Многочисленные его возлюбленные охотно уверяли, что им с ним хорошо и прекрасно, но тем самым ему оставалось верить им на слово, а слово не всегда было искренним. С таким красивым и трудолюбивым парнем, как Люк О'Нил, любая девушка сходится в надежде выйти за него замуж – и, понятно, будет врать напропалую, лишь бы ему угодить. А для мужчины самое приятное – слышать, что он лучше всех. Люк и не подозревал, сколько мужчин, кроме него, попадались на эту удочку.

Все еще вспоминая старушку Дот, которая покорила и вышла за соседа, после того как отец неделю продержал ее под замком в сарае для стрижки наедине с облепленной мухами дохлой овцой, Люк мысленно только пожал плечами. Мэгги – твердый орешек, нелегко будет ее одолеть и опасно напугать или вызвать у нее отвращение. Что ж, игры и забавы придется отложить, только и всего. Будем за ней ухаживать, как ей того хочется, побольше цветов и любезностей, поменьше воли рукам.

Долгие минуты длилось неловкое молчание, потом Мэгги со вздохом откинулась на спинку сиденья.

– Извините, Люк.

– И вы меня извините. Я не хотел вас обидеть.

– Нет-нет, я совсем не обиделась! Просто, наверное, я не привыкла... Я не обиделась, а испугалась.

– Мэгенн! – Он снял одну руку с баранки и накрыл ею стиснутые руки Мэгги. – Послушайте, не надо огорчаться. Просто вы еще почти девочка, а

я малость поторопился. Не будем про это вспоминать.

– Не будем, – согласилась Мэгги.

– А он разве вас не целовал? – с любопытством спросил Люк.

– Кто?

Не страх ли слышался в ее голосе? Но чего ей бояться?

– Ну, вы же говорили, что были один раз влюблены, вот я и думал, вы уже знаете, что к чему. Извините меня, Мэггенн. Мне надо бы понимать, в таком семействе, ясное дело, по-другому быть не могло, вы, верно, просто по-девчоночьи влюбились в какого-нибудь дядю, а он про это и не догадывался.

«Да, да, да! Пускай он так и думает!»

– Вы совершенно правы, Люк, я тогда просто по-девчоночьи влюбилась.

У порога Люк снова привлек ее к себе и поцеловал долгим, ласковым поцелуем в сомкнутые губы, ничего больше. Она, в общем, не ответила, но ей явно было приятно, и Люк пошел к себе в домик для гостей несколько успокоенный – еще не все потеряно.

Мэгги дотащилась до постели и долго лежала, глядя в потолок, на расплывчатый круг света от лампы. Что ж, одно теперь ясно: поцелуи Люка несколько не похожи на поцелуи Ральфа. Раз два в ней вспыхивала искорка пугающего волнения – когда он поглаживал ей бок и когда целовал шею. Бессмысленно сравнивать его и Ральфа, да, пожалуй, больше и не хочется. Ральфа лучше забыть, он все равно не может стать ей мужем. А Люк может.

Когда Люк второй раз поцеловал Мэгги, она вела себя совсем иначе. Они чудесно повеселились на танцах в Радней-Ханиш, самом дальнем из всех мест, какие отвел Боб для их увеселительных прогулок, – в этот вечер все складывалось на редкость удачно с первой минуты. Люк был в ударе, едва они выехали из дому, принялся острить так, что Мэгги хохотала до упаду, и все время оставался необыкновенно нежным и предупредительным. А мисс Кармайкл так старалась его переманить! Ни Аластер Маккуин, ни Инек Дэвис не решались им навязываться, а вот она не постеснялась, начала без зазрения совести кокетничать с Люком, и ему пришлось приличия ради пригласить ее на танец. То был вечер церемонных городских танцев, как на балу, и Люк чинно кружил мисс Кармайкл в медлительном вальсе. Но едва музыка смолкла, он тотчас вернулся к Мэгги и молча возвел глаза к потолку с таким видом, что у нее не осталось ни малейшего сомнения: эта Кармайкл до смерти ему надоела. И Мэгги

посмотрела на него с нежностью – она невзлюбила мисс Кармайлк еще с того дня, когда сия особа пыталась испортить ей удовольствие от праздника в Джилли. И хорошо помнила, как отец Ральф когда-то, не обращая внимания на эту важную барышню, перенес десятилетнюю девочку через лужу, и вот сегодня Люк показал себя таким же рыцарем. Браво, Люк, ты великолепен!

Обратный путь был очень длинный, а вечер очень холодный. Подольстившись к старику Энгусу Маккуину, Люк получил на дорогу сэндвичи, бутылку шампанского, и когда до дому оставалось примерно треть пути, остановил машину. В те времена (впрочем, так оно и сейчас) автомобили в Австралии, как правило, были без обогрева, но «роллс-ройс» Боба снабжен был нагревателем; в ту ночь это пришлось очень кстати – землю на добрых два дюйма покрывал иней.

– Как приятно, что в такой вечер можно сидеть без пальто, правда? – с улыбкой сказала Мэгги, взяла из рук Люка складной серебряный стаканчик с шампанским и принялась за кусок хлеба с ветчиной.

– Да, очень. Вы сегодня такая хорошенькая, Мэггенн.

Какого-то необыкновенного цвета у нее глаза, в чем тут секрет? Вообще-то ему серые глаза не нравятся, слишком бледные, но, глядя в серые глаза Мэгги, он готов голову дать на отсечение, что они отливают всеми оттенками голубого, и фиалковым, и густой синевой, цветом неба в ясный солнечный день, бархатной зеленью мха и даже чуть заметно – смуглой желтизной. И они мягко светятся, точно матовые драгоценные камни, в оправе длинных загнутых ресниц, таких блестящих, как будто их омыли золотом.

Люк осторожно провел пальцем по ее ресницам, потом пресерьезно осмотрел кончик пальца.

– Что такое, Люк? В чем дело?

– Хотел убедиться, что вы не держите на туалетном столике золотую пудру. Знаете, до вас я ни разу не встречал девушки с настоящими золотыми ресницами.

– Вот как! – Мэгги тоже тронула свои ресницы, посмотрела на палец и засмеялась – А ведь верно! Золото совсем не стирается.

От шампанского у нее щекотало в носу и что-то весело дрожало в желудке, ей было на диво хорошо.

– И брови у вас чистое золото, изогнутые, как своды в церкви, и такие красивые золотые волосы... Я всегда думал, они жесткие, как проволока, а они мягкие, тоненькие, как у малого ребенка... И кожа так и светится, наверное, вы пудритесь золотой пудрой... И рот такой красивый, прямо

создан, чтобы целовать...

Мэгги сидела и смотрела на него во все глаза, нежные розовые губы ее приоткрылись, как тогда, в день их первой встречи; Люк взял у нее из рук пустой стаканчик.

– По-моему, вам полезно выпить еще глоток шампанского, – сказал он и наполнил стаканчик.

– Должна признать, что это очень славно – остановиться на полпути и немножко передохнуть. И спасибо, что вы догадались попросить у мистера Маккуина шампанское и сандвичи.

Мощный мотор «роллс-ройса» мягко постукивал в тишине, от него еле слышно струился в машину теплый воздух – два отдельных звука, ровные, убаюкивающие. Люк развязал галстук, снял, расстегнул ворот рубашки. Его куртка и жакет Мэгги лежали на заднем сиденье – в машине так тепло, что они ни к чему.

– Вот хорошо! И кто только изобрел галстуки да еще выдумал, будто без галстука мужчине ходить неприлично! Попался бы мне этот выдумщик, я бы его этим самым изобретением и удавил!

Люк круто обернулся, наклонил голову, и его губы сошлись с губами Мэгги, изгиб в изгиб, будто частицы головоломки; он не обнял ее, не коснулся руками, и, однако, она почувствовала – не оторваться, и потянулась за ним, губами к губам, когда он отклонился на спинку сиденья и притянул ее к себе на грудь. Сжал ладонями ее виски, чтобы полнее, до головокружения упиваться этими удивительно отзывчивыми губами. Глубоко вздохнул, безраздельно отдался единственному ощущению: наконец-то эти младенчески нежные губы по-настоящему слились с его губами. Рука Мэгги обвила его шею, дрожащие пальцы погрузились в его волосы, ладонь другой руки легла на смуглую гладкую кожу у горла. В этот раз он не стал торопиться, хотя пришел в полную боевую готовность еще прежде, чем дал Мэгги второй стаканчик шампанского, только оттого, что смотрел на нее. Все еще сжимая ладонями голову Мэгги, он стал целовать ее щеки, ее сомкнутые веки, дуги бровей, снова щеки – такие шелковистые, снова губы – их младенчески нежный изгиб сводил его с ума, всегда сводил с ума, с того самого дня, когда он увидел ее впервые.

И вот ее шея, впадинка у горла, плечо – кожа такая нежная, гладкая, прохладная... Не в силах остановиться, вне себя от страха, как бы она не заставила его остановиться, Люк одной рукой начал расстегивать длинный ряд пуговиц сзади у нее на платье, стянул рукава с ее послушных рук, спустил с плеч свободную шелковую сорочку. Зарылся лицом в ямку между ее шеей и плечом, провел кончиками пальцев по обнаженной спине,

почувствовал, как прошла по ней пугливая дрожь, как напряглись кончики грудей. Он скользнул щекой, приоткрытыми губами ниже по нежному прохладному телу в слепой, неодолимой тяге, и наконец губы нашли, сомкнулись вокруг тугого сборчатого комочка плоти. Коснулся его кончиком языка, ошеломленно помедлил, с мучительной радостью вдавил ладони в спину Мэгги и между поцелуями опять и опять, как младенец, прикивал губами к ее груди... извечная тяга, его излюбленное, самое верное наслаждение. Ах, до чего хорошо, хорошо, хорошо-о-о! Он не вскрикнул, только содрогнулся в нестерпимой истоме и судорожно сглотнул.

Потом, как насытившийся младенец, разжал губы, бесконечно ласково, благодарно поцеловал грудь и лежал не шевелясь, только дышал тяжело. Почувствовал, что Мэгги касается губами его волос, рукой – кожи под распахнутым воротом, и вдруг разом опомнился, открыл глаза. Порывисто поднялся, натянул ей на плечи бретельки сорочки, ловко застегнул все пуговицы на платье.

– Давай лучше поженимся, Мэггенн. – Он смотрел ласково, глаза его смеялись. – Уж верно, твои братья нас не похвалят, если узнают, чем мы с тобой тут занимались.

– Да, наверное, так будет лучше, – согласилась Мэгги, опустив глаза, и залилась румянцем.

– Завтра же утром и скажем им.

– Почему бы нет? Чем скорей, тем лучше.

– В ту субботу я свезу тебя в Джилли. Потолкуем с преподобным Томасом – ты ж, верно, захочешь венчаться в церкви, – договоримся насчет оглашения, и я тебе куплю обручальное кольцо.

– Спасибо, Люк.

Ну, вот и все. Она связала себя, отступать некуда. Недели через три, через месяц, сколько там времени требуется для оглашения, она выйдет за Люка О'Нила. Она станет... миссис О'Нил! Как странно! Почему она согласилась? «Потому что он тогда сказал – я должна выйти замуж, он говорил – так надо. Но почему? Чтобы избавить от опасности его? Кого он хотел оберечь – себя или меня? Ральф де Брикассар, иногда мне кажется, я тебя ненавижу...»

То, что произошло в машине, поразило ее и встревожило. Ничего похожего на тот, первый, случай. Сколько прекрасных и пугающих ощущений! Его жаркие ладони! И губы, льнущие к груди, от чего кругами ширится волнение во всем теле! И ведь он сделал это в ту самую минуту, когда в голове у нее прояснилось и она, которая перед тем словно бы обо

всем позабыла, вдруг очнулась: он раздевает ее, надо кричать, дать ему пощечину, бежать... Больше не убаюкивали, не оглушали шампанское, и тепло, и открытие, как это сладко, если тебя целуют по-настоящему, и тут-то он с жадностью присосался к ее груди – и она оцепенела, умолкли здравый смысл, и угрызения совести, и мысль о бегстве. Плечи ее отстранились от его груди, его руки изо всей силы надавили ей на поясницу, так что бедра и самый безымянный уголок ее тела прижались к его телу, к чему-то твердому, как камень, и теперь, потрясенная до глубины души, она только и хотела бы остаться так навсегда, и с ощущением странной пустоты ждала и жаждала... чего? Она и сама не знала. В тот миг, когда Люк отодвинул ее от себя, ей вовсе не хотелось отодвигаться, она готова была снова неистово к нему прильнуть. Но этот миг окончательно скрепил ее решение выйти замуж за Люка О'Нила. Не говоря уже ни о чем другом, она не сомневалась: от того, что он с ней сделал, и начинаются дети.

Новость никого особенно не удивила, и никому в мысль не пришло возражать. Только одно изумило близких – Мэгги наотрез отказалась написать епископу Ральфу и чуть ли не истерически запротестовала, когда Боб предложил пригласить епископа Ральфа в Дрохеду, чтобы он торжественно обвенчал их с Люком в Большом доме. «Нет, нет, нет!» – кричала родным Мэгги, та самая Мэгги, которая никогда не возвышала голоса. Она словно бы разобиделась, как это он ни разу их не навестил, и вот твердит, что ее свадьба – ее личное дело и если епископ Ральф из приличия не приехал хоть раз в Дрохеду просто так, не станет она навязывать ему долг, от которого ему невозможно будет уклониться.

Итак, Фиа обещала в письмах епископу ни словом о свадьбе не упоминать; ей, видно, все это безразлично, и столь же мало, по-видимому, занимало ее, что за мужа выбрала себе Мэгги. Вести отчетность по такому огромному имению, как Дрохеда, – работа нешуточная. Записи, которые делала в своих книгах Фиа, дали бы историку исчерпывающую картину жизни овцеводческой фермы, потому что они состояли не из одних цифр и счетов. Неукоснительно отмечались каждое передвижение каждой отары, смена времен года, погода в каждый день, даже все, что миссис Смит готовила на обед. Запись в этом своеобразном вахтенном журнале за воскресенье 22 июля 1934 года гласила: «Ясно, безоблачно, температура на рассвете 34°. Мессу не служили. Боб дома, Джек с двумя овчарами на Марримбейском выгоне, Хьюги с одним овчаром на Западной плотине. Пит Пивная Бочка перегоняет трехлеток с Баджинского выгона на Уиннемурский. В 3 часа дня температура 85°. Барометр держится на 30,6

дьюма. Ветер восточный. На обед солонина, отварной картофель, морковь и капуста, на третье пудинг с коринкой. Мэгенн Клири в субботу 25 августа обвенчается в храме Креста Господня в Джилли с мистером Люком О'Нилом, овчаром. Записано в 9 часов вечера, температура 45°, луна в последней четверти».

Люк купил для Мэгги обручальное колечко, скромное, но хорошенькое, с двумя одинаковыми бриллиантками по четверть карата, оправленными в два платиновых сердечка. Объявлено было, что венчание состоится в полдень субботы 25 августа, в храме Креста Господня. За этим последует семейный обед в гостинице «Империял»; на обед, понятно, приглашены были миссис Смит, Минни и Кэт, но Джимса и Пэтси из Сиднея не вызвали – Мэгги решительно заявила, что незачем мальчикам тащиться за шестьсот миль, лишь бы посмотреть на церемонию, в которой они мало что смыслят. Они поздравили сестру письменно – Джимс прислал длинное, несвязное, совсем ребяческое письмо, а Пэтси всего три слова: «Желаю большого счастья». Люка они, конечно, знали, в дни каникул немало поездили с ним по выгонам Дрохеды.

Миссис Смит очень огорчилась, что Мэгги непременно хочет отпраздновать свадьбу как можно скромнее, она-то надеялась, что в Дрохеде единственную девушку будут выдавать замуж при развевающихся флагах, под звуки оркестра и праздновать это событие не день и не два. Но Мэгги решительно не желала никакой пышности, она даже отказалась от положенного невесте наряда – она намерена венчаться в обычном платье и простой шляпке, и не надо будет переодеваться для свадебного путешествия.

В воскресенье, когда они уже обсудили свои свадебные планы, Люк уселся в кресло напротив Мэгги.

– Дорогая, я знаю, куда повезу тебя в наш медовый месяц, – сказал он.

– Куда же?

– В Северный Квинсленд. Пока ты была у портнихи, я потолковал кое с кем в баре, эти ребята говорят, если есть силенка и не боишься тяжелой работы, там на плантациях сахарного тростника отлично платят.

– Но ведь у тебя здесь хорошая работа, Люк!

– Неудобно мужчине кормиться за счет жениной родни. Я хочу заработать сколько надо и купить для нас с тобой участок в Западном

Квинсленде, да поскорей, покуда я еще молодой и могу сам приложить руки к этой земле. Сейчас кризис, без образования не так-то просто найти хороший заработок, а там, в Северном Квинсленде, рук нехватка и работник получает вдесятеро против дрохедского овчара.

– А что там надо делать?

– Рубить сахарный тростник.

– Да ведь это самая черная работа! На нее нанимаются китайцы!

– Ошибаешься. Китайцы малорослые, им с белыми в этом деле не сравниться, и потом, ты не хуже меня знаешь, по закону запрещено ввозить в Австралию негров и желтых для тяжелых работ и платить им меньше, чем белым, чтоб не отнимали кусок хлеба у белых австралийцев. Так что рубщики наперечет и платят им здорово. Не у всякого парня хватает росту и силы для такой работенки. А у меня хватит! Я с чем хочешь справлюсь.

– Люк, разве ты хочешь, чтобы мы совсем переехали в Северный Квинсленд?

– Ну да.

Мэгги смотрела поверх его плеча в огромные окна Большого дома, за окнами открывалась Дрохеда – призрачные эвкалипты. Главная усадьба, ряд деревьев по ее границе. Не жить больше в Дрохеде! Уехать куда-то, где епископу Ральфу ее уже не найти, никогда его больше не видеть, непоправимо, безвозвратно прилепиться к этому чужому человеку, что сидит напротив... Ее серые глаза вновь обратились на полное жизни, полное нетерпения лицо Люка и стали еще прекраснее, но и много печальнее. Он все-таки почуял это, хотя не увидел ни слезинки и она не опустила глаз и не дрогнули, не опустились углы губ. Но его мало трогало, какие там у нее горести, он вовсе не намерен был отвести для Мэгги в душе столько места, чтобы приходилось из-за нее тревожиться. Спору нет, она – немалый выигрыш для человека, который готов был жениться на Дот Макферсон из Бингелли, но как раз оттого, что она так прелестна и у нее такой кроткий нрав, Люк окончательно решил не впускать ее в сердце. Ни одна женщина, пусть даже такая милая и красивая, как Мэгги Клири, не заберет над ним власть и не станет им командовать!

Итак, верный себе, он без околичностей приступил к тому, что было для него важнее всего. В иных случаях без хитрости не обойтись, но в таком деле полезнее идти напролом.

– Мэгенн, я человек старомодный, – сказал он.

Мэгги изумленно посмотрела на него:

– Разве?

В этом вопросе ясно слышалось: а какое это имеет значение?

– Да, – подтвердил Люк. – Я так полагаю, когда люди женятся, все имущество жены должно перейти в руки мужа. Вроде как приданое в прежние времена. Я знаю, у тебя есть кое-какие деньги, так вот, прямо сейчас тебе говорю: когда мы поженимся, надо тебе их переписать на мое имя. По справедливости ты должна знать заранее, как я про это думаю, покуда ты еще сама по себе и можешь решать, согласна ты на это или нет.

Мэгги никогда и в голову не приходило оставить свои деньги при себе; казалось, это само собой разумеется – когда она станет женой Люка, деньги тоже перейдут к нему. В Австралии все женщины, кроме самых образованных и умудренных опытом, воспитаны в сознании, что они чуть ли не рабыни своих мужей, а уж Мэгги и вовсе не могла думать по-другому. Ее отец всегда был для жены и детей господином и повелителем, а после его смерти главным в семье, его преемником, Фиа признала Боба. Мужчине принадлежит вся власть над деньгами и домом, над женой и детьми. Мэгги никогда не сомневалась в этих хозяйских правах.

– А я и не знала, что надо что-то подписывать, Люк! – воскликнула она. – Я думала, все, что у меня есть, сразу станет твоим, раз мы поженимся.

– Прежде так оно и было, а потом безмозглые трепачи там, в Канберре, все это отменили, дали женщинам право голоса. Я хочу, Мэггенн, чтоб между нами все шло открыто, по-честному, вот и предупреждаю загодя.

Мэгги засмеялась:

– Да ты не беспокойся, Люк, я же не против.

Она приняла это, как положено хорошей старомодной жене, Дот так легко не сдалась бы.

– Сколько у тебя денег? – спросил он.

– Сейчас четырнадцать тысяч фунтов. И каждый год я получаю еще две тысячи.

Люк присвистнул.

– Четырнадцать тысяч фунтов! Ого! Это куча денег, Мэггенн. Давай уж лучше я сам буду о них заботиться. На той неделе съездим к директору банка, и напомни мне договориться, чтобы вперед все записывали на мое имя. Ты же знаешь, я ни гроша не трону. Мы потом на эти деньги купим ферму. Теперь мы с тобой несколько лет попотеем, будем беречь, откладывать каждый грош. Идет?

Мэгги кивнула:

– Хорошо, Люк.

Но кое о чем Люк забыл, и свадьба едва не сорвалась. Он не был католиком. Узнав об этом, отец Уотти в ужасе воздел руки к небесам:

– Да как же это, Люк, почему вы мне раньше не сказали?! Бог свидетель, нам придется лезть вон из кожи, чтобы успеть вас обратить в католическую веру и окрестить до свадьбы!

Люк в изумлении уставился на священника:

– Да какое обращение, святой отец? Я никакой веры не исповедую, мне и так хорошо, ну, а если вас это беспокоит, считайте меня хоть баптистом, хоть адвентистом, мне все едино. А вот в католики не пойду, и не просите.

Напрасно его уговаривали. Люк и слушать не хотел ни о каком обращении.

– Я не против католической веры и не против Эйре, и, конечно, в Ольстере с католиками обходятся круто. Но я-то оранжист и от своих отступаться не желаю. Будь я католик и зови вы меня в методисты, я бы вам то же самое сказал. Мне не католиком противно стать, а перебежчиком. Так что вы уж обойдитесь, святой отец, у вас паствы без меня довольно.

– Тогда вам нельзя жениться.

– Да почему? Если вы не хотите нас обвенчать, так наверно преподобный отец в протестантской церкви согласится, или хоть мировой судья Гарри Гоф.

Фиа хмуро улыбнулась, ей вспомнились давние споры с Пэдди и священником, который их венчал; тогда она вышла победительницей.

– Но я должна венчаться в церкви, Люк! – испуганно запротестовала Мэгги. – Иначе мне придется жить во грехе!

– Ну, по мне куда лучше жить во грехе, чем стать отступником, – заявил Люк; иногда он становился на диво несговорчивым: как ни манили его деньги Мэгги, прирожденное упрямство заставляло стоять на своем.

– Да бросьте вы глупостями заниматься! – Фиа сказала это не Люку, а священнику. И продолжала: – Сделайте так, как сделали мы с Пэдди, и не о чем будет спорить. Если отец Томас не желает осквернить свою церковь, пускай обвенчает вас у себя в доме.

Все удивленно уставились на нее, но узел был разрублен: отец Уотти уступил и согласился обвенчать Мэгги с Люком в доме при церкви, хотя и отказался благословить кольцо Люка.

Получив одобрение церкви, пусть и не полное, Мэгги почувствовала, что грешит, конечно, но не столь тяжело, чтобы попасть в ад, а старушка Энни, домоправительница отца Уотти, постаралась придать его кабинету наивозможное сходство с храмом, всюду понаставила большущие вазы с цветами и медные подсвечники. И все же обряд получился тягостный, пастырь ничуть не скрывал неудовольствия и всем дал почувствовать: он уступил, только чтобы не попасть в неловкое положение, если эта пара

сочетается браком просто в мэрии. Нет им свадебной мессы, нет настоящего благословения.

И все же свершилось. Мэгги стала миссис О'Нил и едет в Северный Квинсленд, там ее ждет медовый месяц, отложенный на то время, какое требуется на дорогу. Люк не пожелал в субботу вечером остановиться в гостинице «Империял»; только раз в неделю, субботним вечером, по ветке до Гундивинди идет поезд, который как раз поспевает к воскресному почтовому Гундивинди – Брисбен. Тогда они прибудут в Брисбен в понедельник как раз вовремя, чтобы поспеть на скорый до Кэрнса.

Поезд до Гундивинди оказался переполнен. И в нем не было спальных вагонов, пришлось всю ночь сидеть, всю ночь быть на людях. Час за часом, дергаясь, грохоча и раскачиваясь, состав тащился на северо-восток, и счету не было остановкам – то машинисту пришла охота вскипятить себе чайку, то ему надо пропустить забредшую на рельсы отару овец, то вдруг захотелось поболтать с гуртовщиком.

– Не понимаю, пишут «Гундивинди», а почему же говорят «Гандивинди»? – от нечего делать спросила Мэгги, пока они сидели на этой станции в зале ожидания. Оказалось, в воскресенье там податься больше некуда, все закрыто, а зал был ужасен, стены выкрашены мутно-зеленой казенной краской, деревянные черные скамьи жесткие и неудобные. Бедняжке Мэгги было тревожно и неудобно.

– Почем я знаю? – вздохнул в ответ Люк.

Говорить ему не хотелось, да еще сосало под ложечкой от голода. По случаю воскресенья даже чашку чая выпить было негде; только в понедельник утром, когда уже ехали брисбенским почтовым, на одной станции удалось перекусить и утолить жажду. Потом был Брисбен, переход через весь город с Южного вокзала до вокзала на Рома-стрит и, наконец, поезд на Кэрнс. Тут оказалось, что Люк взял два билета на сидячие места в вагоне второго класса. От усталости и досады Мэгги не выдержала:

– Не такие уж мы бедные, Люк! Может быть, ты забыл зайти в банк, так у меня с собой в сумочке сто фунтов, которые дал Боб. Почему ты не взял билеты в спальное купе, в первом классе?

Люк ошарашенно уставился на нее:

– Да ведь до Данглоу только трое суток езды! Мы же с тобой молодые, здоровые, крепкие, чего ради тратить деньги на спальный вагон? В поезде можно и посидеть немножко, от этого не помирают, Мэггенн! Пора тебе понять, что твой муж простой рабочий человек, не какой-нибудь барин.

Итак, Мэгги притулилась в уголке у окна – это место успел занять для нее Люк, – оперлась дрожащим подбородком на руку, отвернулась и стала

смотреть в окно, чтобы Люк не увидел ее слез. Он говорил с ней точно взрослый с неразумным ребенком, и она впервые подумала – может быть, он и вправду считает ее такой. В ней шевельнулось что-то вроде желания взбунтоваться, но только так, чуть-чуть, а неистовая гордость не позволила опуститься до пререканий. И она сказала себе: она ему жена, но для него это ново, непривычно. Нужно дать ему время освоиться. Они заживут вдвоем, она будет готовить ему еду, чинить его одежду, заботиться о нем, у них будут дети, она будет ему хорошей женой. Ведь вот папа – он так высоко ценил маму, обожал ее. Нужно дать Люку время.

Они ехали в город Данглоу, всего в пятидесяти милях не доезжая Кэрнса – самого северного конечного пункта железной дороги, идущей вдоль всего квинслендского побережья. Тысяча с лишком миль узкоколейки, на которой вагон качает и мотает, и все места в купе заняты, никакой возможности лечь или хотя бы вытянуть ноги. За окном лежал край гораздо более заселенный, чем джилленбоунский, и несравнимо более живописный, но у Мэгги не осталось сил для любопытства.

Голова болела, мутило, и жара была нестерпимая, куда хуже, чем в Джилли. Премилое свадебное платье розового шелка покрылось сажей и копотью, летящей в окна, кожа стала липкая от непрсыхающего пота, и, что мучительнее всех внешних неудобств, Мэгги чувствовала – она вот-вот возненавидит Люка. Его, видно, ничуть не утомляет и не тяготит эта поездка, сидит себе и как ни в чем не бывало болтает с двумя попутчиками, которые едут в Кардуэл. Он только и взглянул раза два в ее сторону, когда вставал, и, наклонясь мимо нее к окну, так небрежно, что она съежилась, швырял свернутую газету каким-то жадным до новостей оборванцам – они выстроились вдоль полотна со стальными молотками в руках и выкрикивали:

– Газет! Газет!

– Артельщики, чинят путь, – пояснил он в первый раз, садясь на место.

Он, видно, ничуть не сомневался, что она тоже всем довольна, прекрасно себя чувствует и любит проносящейся за окном прибрежной равниной, оторваться не может. А Мэгги смотрела и не видела и уже люто невзлюбила эту землю, не успев еще на нее ступить.

В Кардуэле те двое сошли, а Люк сбегал в лавочку через дорогу от станции и принес в газетном кульке рыбы с жареным картофелем.

– Говорят, в Кардуэле рыбка сказочная, не отведаешь – не поверишь, Мэггенн, лапочка. Лучшая рыба на свете. На, погрызи. Ты ведь еще не пробовала настоящей квинслендской еды. Вот он, Банановый край, нет в мире места лучше, верно тебе говорю.

Мэгги мельком глянула на сочащиеся жиром куски жареной рыбы, зажала рот носовым платком и кинулась за дверь. Когда через несколько минут, бледная, еле держась на ногах, она вышла из уборной, Люк ждал ее в коридоре.

– Что с тобой? Нездоровится?

– Мне все время нехорошо, от самого Гунди-винди.

– Боже милостивый! Что ж ты мне не сказала?

– Что ж ты сам не заметил?

– С виду ты была вроде ничего.

Нет, не стоило с ним об этом говорить. И Мэгги спросила:

– Нам еще далеко?

– Часа три езды, а может, и все шесть. Тут не больно глядят на расписание. Слушай, те парни сошли, места много – ты ложись на бочок, а ножки давай мне на колени.

– Не сюсюкай со мной, я не маленькая! – сердито оборвала его Мэгги. – Жаль, что твои парни не сошли два дня назад в Бандаберге!

– Ну-ну, Мэгенн, не раскисай. Осталось всего ничего. Талли, Иннисфейл, а там и Данглоу.

Уже под вечер они сошли с поезда. Мэгги отчаянно уцепилась за локоть Люка, из гордости не желая признаться, что еле держится на ногах. Люк спросил у начальника станции, где тут есть гостиница попроще, подхватил чемоданы и вышел на улицу, Мэгги, шатаясь как пьяная, поплелась за ним.

– Тут два шага, – утешил он. – В конце квартала, на той стороне. Белая коробка в два этажа.

Номер оказался маленький и тесный, да еще заставлен громоздкой старомодной мебелью, но Мэгги он показался раем, и она без сил опустилась на край двуспальной кровати.

– Ложись, полежи немного до ужина, лапочка. А я пойду погляжу, где что.

И Люк неторопливо вышел, бодрый, свеженький, с виду совсем такой, как был в утро их свадьбы. То была суббота, и вот уже четверг на исходе, пять дней они просидели в битком набитых поездах, в духоте, в табачном дыму и копоту.

Кровать все еще мерно покачивалась в лад перестуку колес, но Мэгги с благодарностью уткнулась лицом в подушку и спала, спала...

Кто-то снял с нее туфли, чулки и укрыл простыней; Мэгги зашевелилась, открыла глаза и осмотрелась. На подоконнике, поставив на

него одну ногу, колено торчком, сидел Люк и курил. Заслышав ее, повернул голову и улыбнулся:

– Ай да новобрачная! Я жду не дождусь медового месяца, а моя женушка дрыхнет без малого два дня кряду! Добудиться не мог, даже малость испугался, спасибо, хозяин в баре сказал – мол, с женщинами это бывает, от тряски в поезде да от влажности. Сказал, просто надо тебе отоспаться. Ну, как ты сейчас?

Мэгги села, потянулась негибким со сна телом, зевнула.

– Мне гораздо лучше, спасибо. Ты, конечно, прав, Люк, я молодая и крепкая, но все-таки я женщина! Не всякая пытка мне по силам, как тебе.

Он подошел, сел на край кровати, очень мило, покаянно погладил ее по руке:

– Виноват, Мэггенн, право слово, виноват. Я как-то не подумал, что ты женщина. Не привык, понимаешь, что у меня есть жена. Есть хочешь, моя хорошая?

– Умираю с голоду. Ты подумай, ведь я почти целую неделю ничего не ела!

– Тогда искупайся, надень чистое платье и пойдем поглядим на Данглоу, ладно?

Люк повел Мэгги в китайское кафе по соседству с гостиницей, и она впервые в жизни отведала восточной кухни. Она зверски проголодалась, и ей что угодно пришлось бы по вкусу, но это и впрямь была пища богов. И не все ли равно, из чего приготовлено, пускай хоть из крысиных хвостов, акульих плавников и куриных кишок, как поговаривали в Джиленбоуне, где в единственном кафе хозяева-греки только и подавали бифштексы с жареной картошкой. Люк прихватил из гостиницы в бумажном пакете две бутылки пива и заставил Мэгги, хоть она и не любила пива, выпить полный стакан.

– Ты пока с водой поосторожнее, – посоветовал он. – А от пива так бегать не станешь.

Потом взял ее под руку и повел показывать Данглоу, да с такой гордостью, словно он – хозяин всему городу. Так ведь он, Люк, в Квинсленде родился. И Данглоу – замечательное место! Ни с виду, ни по духу ничего похожего на западные города. Он, пожалуй, не больше Джилли, но не тянется без конца и без толку единственной «главной» улицей, а выстроен ровными, аккуратными кварталами, и все дома и магазины выкрашены не в буро-коричневый цвет, а в белый. Окна забраны деревянными жалюзи, прорези в них вертикальные, наверное, чтобы лучше проветривалось, и всюду, где можно, дома обходятся без крыш, к примеру

кинотеатр: есть экран, стены с такими вот окнами, есть ряды складных парусиновых стульев, точно на палубе корабля, а крыши вовсе нет.

И вплотную к городу подступают самые настоящие джунгли. Везде вьются лианы и разные ползучие растения взбираются по телеграфным столбам, по стенам и крышам. Деревья растут, где им вздумается, даже посреди мостовой, и есть дома, построенные вокруг дерева – или, может быть, дерево выросло внутри дома и пробило крышу. Не поймешь, что появилось прежде – дерево или человеческое жилье, главное, всюду буйно, неудержимо разрастается зелень. Кокосовые пальмы много выше и стройнее дрохедских призрачных эвкалиптов, их широкие листья колышутся в густой, головокружительной синеве неба; куда ни глянь, все ослепительно яркое, разноцветное. Ничего похожего на привычные глазу Мэгги желтовато-серые дали. И все деревья в цвету – на одних цветы лиловые, на других белые, оранжевые, алые, розовые, голубые.

На улицах много китайцев и китайенок в черных шелковых штанах, белых носках и крохотных черных, с белым, башмачках, в белых рубашках со стоячим воротом, по спине спадает длинная коса. Мужчины и женщины одеты одинаково и сами одинаковые. Мэгги не всегда могла отличить, кто – кто. И, похоже, чуть не вся здешняя торговля в руках у китайцев; на вывеске универсального магазина – большого, с богатыми витринами, в Джилли ничего подобного не выдывали – выведено китайское имя: А Вонг.

Все дома – на высоких столбах, как жилище старшего овчара в Дрохеде. Это нужно, чтобы было больше воздуха, пояснил Люк, и чтобы не подточили термиты, они за один год могут свалить новый дом. Каждый столб поверху обведен листом жести с краями, загнутыми книзу, – туловище термитов не сгибается посередине, и они не могут переползти жестяную преграду и добраться до деревянных полов и стен. Конечно, они грызут столбы, но истонченный столб заменяют новым. Это куда проще и дешевле, чем строить новый дом. Почти все сады у домов мало отличаются от джунглей – те же пальмы да бамбук, видно, хозяева отчаялись обуздать эту буйную зелень.

Здешние жители и жительницы возмутили Мэгги своим видом. Собираясь поужинать и погулять с Люком, она оделась как полагается: туфли на высоких каблуках, шелковые чулки, атласная комбинация, свободное шелковое платье с поясом и рукавами до локтей. И конечно, соломенная шляпа с большими полями, и конечно, перчатки. И подумать только, ей же пришлось чувствовать себя неловко, на нее так пялили глаза, будто это она одета неприлично!

А мужчины тут разгуливают босиком, с голыми ногами, многие с

голой грудью, в одних только мутно-зеленого цвета штанах до колен; те немногие, что не вовсе раздеты до пояса, носят не рубашки, а спортивные безрукавки. Женщины и того хуже. Некоторые в коротких и узких хлопчатобумажных платишках, причем снизу явно больше ничего не надето, без чулок, в расшлепанных сандалиях. А большинство – просто в коротеньких штанишках, босиком, и грудь едва прикрыта неприлично короткой кофточкой-безрукавкой. Тут ведь не пляж, Данглоу – самый настоящий город. И однако, белые коренные жители бесстыдно разгуливают чуть ли не нагишом, китайцы одеты гораздо приличнее.

И повсюду велосипеды, сотни велосипедов; автомобилей почти не видно, и ни одной лошади. Да, совсем, совсем непохоже на Джилли. И жара, жара, какая жара! На одном доме висел уличный градусник, и Мэгги глазам не поверила – только девяносто, в Джилли, кажется, и при ста пятнадцати прохладнее. А тут насилу идешь, воздух плотный, пробиваешься сквозь него, словно сквозь размякшее, исходящее паром масло, и вдыхаешь словно не воздух, а воду.

Не прошли и мили, как Мэгги не выдержала.

– Люк, я не могу! Пожалуйста, вернемся! – задыхаясь, еле выговорила она.

– Как хочешь. Влажно, ты не привыкла. Тут влажность почти всегда девяносто процентов, а то и больше, что зимой, что летом, а температура почти всегда ровная, восемьдесят пять – девяносто пять. Круглый год примерно одно и то же, только летом муссоны обычно догоняют влажность до ста, будь она неладна.

– Тут дожди летом, не зимой?

– Круглый год. Все время дуют муссоны, а не муссоны, так просто ветер с юго-востока. И дождя они наносят прорву. В Данглоу за год выпадает от ста до трехсот дюймов.

На триста дюймов дождя в год!!! Злосчастная джиленбоунская округа не нарадуется, если получит царский подарок – пятнадцать дюймов, а тут, за две тысячи миль от Джилли, выпадает дождей до трехсот дюймов.

– Но хоть ночи здесь прохладнее? – спросила Мэгги уже у дверей гостиницы: ей вспомнились жаркие ночи в Джилли, насколько же они легче этой парилки.

– Ну, не очень. Но ты привыкнешь. – Люк отворил дверь их номера и посторонился, пропуская Мэгги. – Я спущусь в бар, выпью еще пива, через полчаса вернусь. Тебе времени хватит.

Мэгги вскинула на него испуганные глаза:

– Хорошо, Люк.

Данглоу лежит всего в семнадцати градусах южнее экватора, и ночь внезапна, как удар грома: кажется, не успело сесть солнце – и вмиг все заливают густой теплой патокой непроглядная темень. Когда Люк вернулся, Мэгги уже погасила свет и лежала в постели, натянув простыню до подбородка. Люк со смехом протянул руку, сдернул простыню и швырнул на пол.

– Не замерзнешь, лапочка! Укрываться нам ни к чему.

Она слышала, как он ходит по комнате, видела смутный силуэт – он раздевался – и прошептала:

– Я положила твою пижаму на туалетный столик.

– Пижаму? В такую жару? Ну да, в Джилли всех хватил бы удар – как можно спать без пижамы! Но тут ведь не Джилли. Неужто ты надела ночную рубашку?

– Да.

– Так сними. Все равно эта дрянь только помешает.

Мэгги кое-как высвободилась из длинной батистовой ночной рубашки, которую заботливо вышила ей к брачной ночи миссис Смит; слава Богу, совсем темно, и Люк ее не видит. Но он прав, гораздо прохладнее лежать без всего, ветерок из раскрытых жалюзи слегка овеивает кожу. Только неприятно, что в той же постели будет еще одно горячее тело.

Пружины скрипнули; влажная кожа коснулась ее плеча, и Мэгги вздрогнула. Люк повернулся на бок, притянул ее к себе и стал целовать. Сначала она покорно лежала в его объятиях, стараясь не замечать его раскрытых жадных губ и неприлично назойливого языка, потом попыталась высвободиться, не желает она обниматься в такую жару, не нужны ей его поцелуи, не нужен ей Люк. Сейчас все совсем не так, как было тогда, в «роллс-ройсе». И она чувствует – сейчас он несколько не думает о ней, коротко обрезанные острые ногти впились в нее сзади... Чего он хочет? Испуг перешел в безмерный ужас, не только тело ее оказалось беспомощно перед его силой и упорством, сейчас он словно и не помнит, что она живой человек. И вдруг он выпустил ее, сел и непонятно закопошился, что-то тихонько щелкнуло.

– Надо поосторожнее, – выдохнул он. – Ляг, как надо, пора. Да не так! Ты что, вовсе ничего не понимаешь?

«Нет, нет, Люк, ничего я не понимаю, – хотелось ей закричать. – Это отвратительно, непристойно, что ты со мной делаешь, уж наверно это против всех законов божеских и человеческих!» Он навалился на нее всем телом, одной рукой давил на нее, другой так вцепился ей в волосы, что она не смела шевельнуть головой. Вздрагивая от чуждого, неведомого, она

пыталась подчиниться Люку, но он был много крупнее и шире, и от его тяжести и непривычной позы ей свело бедра судорогой. Даже сквозь туман страха и усталости она ощутила – надвигается неодолимое, неотвратимое, потом у нее вырвался громкий, протяжный крик.

– Тише ты! – глухо простонал он, выпустил ее волосы и поспешно зажал ей рот ладонью. – Ты что, хочешь всю гостиницу переполошить, черт возьми? Подумают, я тебя режу! Лежи смирно, больно будет сколько полагается, и все. Лежи смирно, смирно лежи, слышишь!

Как безумная, она отбивалась от чего-то жестокого, непонятного, но Люк придавил ее всей тяжестью, ладонью заглушил ее крики, и пытка все длилась, длилась без конца. Люк не пробудил волнения в ее теле, и она чисто физически совершенно не готова была к происходящему, а Люк не унимался и все чаще, все громче, со свистом дышал сквозь стиснутые зубы; и вдруг что-то изменилось, он затих, вздрогнул всем телом, передернулся, и трудно глотнул. И наконец-то, слава Богу, оставил ее, задыхаясь, вытянувшись рядом на спине, и жгучая боль стала глуше.

– В следующий раз тебе уже не будет худо, – еле выговорил Люк. – Женщине всегда больно в первый раз.

«Так что же ты мне заранее не сказал!» – в ярости хотела бы крикнуть Мэгги, но не хватало сил вымолвить хоть слово, всем своим существом она жаждала одного – умереть. Не только от боли, но оттого, что поняла: для Люка она сама ничто, всего лишь приспособление для его удовольствия.

Во второй раз боль была ничуть не меньше, и в третий тоже; Люк злился, он воображал, что некоторое неудобство (так он определял ощущения Мэгги) чудом пройдет после первого же раза, и понять не мог, с какой стати она отбивается и кричит; в сердцах он повернулся к ней спиной и уснул. А Мэгги лежала на спине, слезы катились по вискам, смачивали густые волосы; умереть бы, умереть или вернуться к прежней жизни в Дрохеде...

Так вот о чем говорил отец Ральф, когда несколько лет назад сказал ей, что тот потаенный путь в ее теле связан с рождением детей? Приятным же образом открылся ей смысл его слов. Неудивительно, что он предпочел не объяснять подробнее. А Люку такое очень нравится, вот он и проделал все это три раза подряд. Ему-то явно не больно. И потому она ненавидит, да, ненавидит и все это, и его самого.

Она совсем измучилась, пыткой было малейшее движение; медленно, с трудом повернулась на бок, спиной к Люку, зарылась лицом в подушку и заплакала. Сон не шел, а вот Люк спал крепким сном, от ее робких, осторожных движений даже не изменился ни разу ритм его спокойного

дыхания. Спал он очень спокойно и тихо, не храпел, не ворочался, и Мэгги, дожидаясь позднего рассвета, думала: если б достаточно было просто лежать рядом в постели, она бы, пожалуй, ничего не имела против такого мужа. А потом рассвело – так же внезапно и нерадостно, как с вечера стемнело; и так странно было, что не поют петухи и не слышно других голосов пробуждающейся Дрохеды, где утро шумно встречали овцы и лошади, свиньи и собаки.

Проснулся Люк, повернулся к ней, Мэгги почувствовала – он целует ее плечо, но она так устала, так затосковала по дому, что уже не думала о стыдливости, не стала укрываться.

– А ну, Мэгенн, дай-ка на тебя поглядеть, – скомандовал он и положил ей руку на бедро. – Будь паинькой, повернись ко мне.

Сегодня утром ей было все равно; морщась, она повернулась на другой бок и подняла на Люка погасшие глаза.

– Мне не нравится имя Мэгенн. – Только на такой протест ее и хватило. – Лучше зови меня Мэгги.

– А мне не нравится Мэгги. Но если тебе уж так не по вкусу Мэгенн, давай буду звать тебя Мэг. – Он мечтательно обвел всю ее взглядом. – До чего ж ты складненькая. – Коснулся ее груди, мягкого, равнодушного розового соска. – Вот что лучше всего. – Взбил повыше подушки, откинулся на них, улыбнулся. – Ну, Мэг, поцелуй меня. Теперь твой черед за мной поухаживать, может, тебе это придется больше по вкусу, а?

«Никогда, до самой смерти не захочу тебя целовать», – подумала Мэгги и посмотрела на его длинное мускулистое тело, поросшее темной шерстью на груди и на животе. А какие волосатые у него ноги! Мэгги росла среди мужчин, которые при женщинах никогда не снимали ничего из одежды, но в жару в открытом вороте рубашки видно было, что на груди у них растут волосы. Однако отец и братья были светловолосые, и в этом не было ничего отталкивающего; а этот, темноволосый, оказался чужим, отвратительным. У Ральфа голова была такая же темная, но Мэгги хорошо помнила, что грудь у него гладкая, смуглая, безволосая.

– Слышишь, что я говорю, Мэг! Поцелуй меня.

Она перегнулась и поцеловала его; он подставил ладони чашками ей под груди и потребовал еще и еще поцелуев, потом потянул одну ее руку книзу. Она оторвала губы от подневольного поцелуя и в испуге посмотрела на то, что росло и менялось у нее под рукой.

– Нет-нет, Люк, больше не надо! – вскрикнула она. – Пожалуйста, прошу тебя, не надо!

Синие глаза оглядели ее пристально, испытующе.

– Так уж было больно? Ладно, поступим по-другому, только сделай милость, не будь такой деревяшкой.

Он притянул ее к себе и припал губами к груди, как в машине в тот вечер, когда она обрекла себя на это замужество. Тело Мэгги терпело, а мысли были далеко; хорошо хоть, что он не повторяет вчерашнего и нет той боли, больно просто потому, что все ноет от каждого движения. Мужчин невозможно понять, что за удовольствие они в этом находят. Это отвратительно, какая-то насмешка над любовью. Не надейся Мэгги, что все это завершится появлением ребенка, она раз и навсегда отказалась бы этим заниматься.

* * *

– Я нашел тебе работу, – сказал Люк, когда они завтракали в столовой гостиницы.

– Что ты, Люк? Ведь сначала я должна устроить для нас хороший, уютный дом. А у нас еще и нет никакого дома!

– Нам вовсе не к чему брать в аренду дом, Мэг. Я отправляюсь рубить сахарный тростник, все уже улажено. Лучшая артель рубщиков во всем Квинсленде – под началом одного малого по имени Арне Свенсон, у него там и шведы, и поляки, и ирландцы; покуда ты отсыпалась после поезда, я ходил к этому Свенсону. Ему не хватает одного работника, и он согласен взять меня на пробу. А стало быть, я поселюсь с ними со всеми в бараке. Работать будем шесть дней в неделю, от зари до зари. Мало того, мы будем разъезжать по всему побережью, смотря где найдется работа. Чем больше я нарублю, тем больше получу денег, а если справлюсь и Арне оставит меня в артели, буду выгонять в неделю не меньше двадцати фунтов. Двадцать кругляков! Представляешь?

– Я не понимаю, Люк, разве мы будем жить врозь?

– Иначе нельзя, Мэг! Артельные не согласятся, чтоб тут же в бараке жила женщина, а для тебя одной на что снимать дом? И ты вполне можешь работать, все деньги нам пригодятся для фермы.

– А где же мне жить? И на какую работу я пойду? Я умею пасти овец, так ведь тут их нет.

– Да, вот это жалко. Потому я и подыскал тебе работу с жильем, Мэг. И стол задаром, не будет у меня расхода на твою кормежку. Пойдешь служить горничной в Химмельхох, в дом Людвига Мюллера. У этого Мюллера богатейшие плантации сахарного тростника на всю округу, а жена хвора,

не управляется одна по дому. Завтра утром я тебя к ним свезу.

– Когда же мы будем видеться, Люк?

– По воскресеньям. Людвиг знает, что мы женаты, он не против на воскресные дни тебя отпускать.

– Да, что и говорить, ты все устроил очень для себя удобно!

– Надо думать. Послушай, Мэг, мы же разбогатеем! Будем вкалывать вовсю и откладывать каждую монетку и очень скоро сможем купить лучший участок в Западном Квинсленде. У меня в джилленбоунском банке четырнадцать тысяч, да каждый год прибавляется по две тысячи, да тысячу триста, а то и побольше мы вдвоем в год заработаем. Это ненадолго, лапочка, верно тебе говорю. Ну, улыбнись и расстарайся ради меня, ладно? Какая радость снимать дом, лучше сейчас потрудимся в полную силу, зато ты скорей начнешь хозяйничать в собственной кухне, верно?

– Что ж, если ты так хочешь... – Мэгги заглянула в свою сумочку. – Люк, ты взял мои сто фунтов?

– Я их положил в банк. Такие деньги с собой не носят, Мэг.

– Но ты взял их все! У меня не осталось ни пенни! А если мне надо будет что-нибудь купить?

– Да что тебе покупать, скажи на милость? Завтра утром ты будешь в Химмельхохе, там деньги тратить не на что. За номер в гостинице я сам заплачу. Пойми ты наконец, твой муж рабочий человек, и ты ж не балованная господская дочка, чтоб сорить деньгами. Твое жалованье Мюллер будет вносить прямо на мой счет в банке, и мой заработок пойдет туда же. На себя я ничего не трачу, Мэг, сама знаешь. К тому, что в банке, ни ты, ни я не притронемся, потому как это наше с тобой будущее, наша ферма.

– Хорошо, я понимаю. Ты очень здраво рассуждаешь, Люк. Ну, а если у меня будет ребенок?

На миг ему захотелось сказать ей правду – никакого ребенка не будет, пока они не обзаведутся фермой, но что-то в выражении лица Мэгги заставило его об этом умолчать.

– Ну, тогда видно будет, раньше времени что беспокоиться, верно? По-моему, хорошо бы нам сперва завести ферму, а уж потом ребенка, будем надеяться, что так оно и получится.

Ни дома, ни денег, ни ребенка. Да и мужа, в сущности, нет. Мэгги вдруг засмеялась. И Люк тоже засмеялся, поднял чашку чаю, словно провозглашая тост.

– Пью за «французские подарочки»! – сказал он.

Наутро они пригородным автобусом – дряхлым «фордом» всего на

двенадцать мест, без единого стекла в окнах – отправились в Химмельхох. Мэгги чувствовала себя лучше, потому что Люк не мучил ее: она сама подставила ему грудь, ему, видно, это нравилось ничуть не меньше, чем тот, другой, ужас. А ей, несмотря на то что она больше всего на свете хотела детей, попросту изменило мужество. В первое же воскресенье, когда все внутри заживет, можно будет снова попробовать, думала она. А может быть, ребенок уже и так будет, и тогда незачем больше маяться, пока она не захочет второго. Глаза Мэгги засветились оживлением, и она с любопытством посмотрела в окно автобуса, тяжело ползущего по ярко-красной проселочной дороге.

Удивительный край, совсем не похожий на Джилли, и, надо признаться, есть в нем величие и красота, каких там нет и в помине. Сразу видно, засухи здесь не бывает. Почва совсем красная, цвета свежeproлитой крови, и там, где земля не отдыхает под паром, сахарный тростник на ее фоне особенно хорош, длинные и узкие ярко-зеленые листья колышутся в пятнадцати – двадцати футах над землей на красноватых стеблях толщиной в руку. И Люк с восторгом объясняет – нигде в мире тростник не растет такой высоченный и такой богатый, не дает столько сахара. Слой этой красной почвы толстый, до ста футов, и состав ее самый питательный, в точности как надо, и дождя всегда хватает, поневоле тростник растет самолучший. И потом, больше нигде в мире не работают рубщиками белые, а белый, которому охота заработать побольше, самый быстрый работник.

– Из тебя вышел бы прекрасный уличный оратор, – усмехнулась Мэгги.

Люк подозрительно покосился на нее, но смолчал: автобус как раз остановился у обочины, где им надо было выйти.

Мюллеры недаром назвали свой большой белый дом Химмельхох – Поднебесье, – он стоял на самой вершине крутого холма, вокруг росли банановые и кокосовые пальмы и еще красивые пальмы пониже, их широкие листья раскрывались веерами, словно павлиньи хвосты. Роцца исполинского, в сорок футов вышиной, бамбука отчасти защищала дом от ярости северо-западного ветра; и хотя дом построили высоко на холме, он все равно стоял еще и на пятнадцатифутовых столбах.

Люк подхватил чемодан Мэгги, и она, тяжело дыша, с трудом зашагала рядом с ним по немощеной дороге, такая чинная, в чулках и туфлях на каблуке, поникшие поля шляпы уныло обрамляют лицо. Тростникового туза дома не было, но когда Люк с Мэгги поднимались по ступеням, его жена, опираясь на костыли, вышла на веранду им навстречу. Она улыбалась, Мэгги посмотрела на это доброе, милое лицо, и на сердце у нее

сразу полегчало.

– Заходите, заходите! – сказала хозяйка говором коренной австралийки.

Тут Мэгги совсем повеселела, она ведь готовилась услышать полунемецкую речь. Люк поставил чемодан на пол, обменялся рукопожатием с хозяйкой, которая на минуту сняла правую руку с костыля, и сбежал с лестницы – он торопился к обратному рейсу автобуса. В десять утра Арне Свенсон будет его ждать возле пивной.

– Как ваше имя, миссис О’Нил?

– Мэгги.

– Как славно. А я – Энн, и вы лучше зовите меня просто по имени. Мне целый месяц было очень одиноко, с тех пор, как прежняя девушка ушла, но сейчас нелегко найти хорошую помощницу, пришлось кое-как управляться своими силами. Мы тут только вдвоем, я и Людвиг, детей у нас нет, хлопот вам будет не так уж много. Надеюсь, вам у нас понравится, Мэгги.

– Да, конечно, миссис Мюллер... Энн...

– Пойдемте, я вам покажу вашу комнату. С чемоданом справитесь? Я, к сожалению, в носильщики не гожусь.

Комната была обставлена строго и просто, как и весь дом, но выходила на ту единственную сторону, где глаз не упирался в стену деревьев – заслон от ветра, и притом на ту же длинную веранду, что и гостиная; гостиная эта показалась Мэгги очень голой: легкая дачная мебель, никаких занавесок.

– Для бархата и даже ситца тут слишком жарко, – пояснила Энн. – Так мы и живем – с плетеной мебелью и одеваемся как можно легче, лишь бы соблюсти приличия. Придется мне и вас этому обучить, не то пропадете. На вас ужасно много всего надето.

Сама она была в блузе-безрукавке с большим вырезом и в куцых штанишках, из которых жалко свисали изуродованные недугом ноги. Не успела Мэгги опомниться, как и на ней оказался такой же наряд, пришлось принять займы у Энн, а там, может быть, она убедит Люка, что ей надо купить самое необходимое. Унизительно было объяснять, что муж не дает ей ни гроша, но пришлось стерпеть, зато Мэгги не так сильно смутилась от того, как мало на ней теперь надето.

– Да, на вас мои шорты выглядят гораздо лучше, чем на мне, – сказала Энн. И весело продолжала свои объяснения: – Людвиг принесет вам дров, вам не надо самой их колоть и таскать вверх по лестнице. Жаль, что у нас нет электричества, как у всех, кто живет поближе к городу, но наши власти уж очень медленно раскачиваются. Может быть, на следующий год линию

дотянут до Химмельхоха, а пока надо, увы, мучиться с этой скверной старой печкой. Но подождите, Мэгги! Вот дадут нам ток, и мы в два счета заведем электрическую плиту, и освещение, и холодильник.

– Я привыкла обходиться без этого.

– Да, но в ваших местах жара сухая. Здесь гораздо тяжелей, не сравнить. Я даже побаиваюсь за ваше здоровье. Здешний климат многим женщинам вреден, если они с колыбели к нему не привыкли, это как-то связано с кровообращением. Знаете, мы на той же широте к югу от экватора, как Бомбей и Рангун – к северу, ни для зверя, ни для человека, если он тут не родился, места неподходящие. – Она улыбнулась. – Я ужасно вам рада! Мы с вами очень славно проживем! Вы читать любите? Мы с Людвигом просто помешаны на книгах.

Мэгги просияла:

– И я тоже!

– Чудесно! И вы будете не так скучать без вашего красавца мужа.

Мэгги промолчала. Скучать без Люка? И разве он красавец? Если бы никогда больше его не видеть, вот было бы счастье! Да только ведь он ей муж, и по закону ее жизнь связана с его жизнью. И некого винить, кроме себя, она ведь сама на это пошла. Но может быть, когда наберется достаточно денег и сбудется мечта о ферме в Западном Квинсленде, они станут жить вместе, и лучше узнают друг друга, и все уладится.

Люк не плохой человек и не противный, просто он долгие годы был сам по себе и не умеет ни с кем делить свою жизнь. И он устроен несложно, поглощен одной-единственной задачей, вот и не знает ни жалости, ни сомнений. То, к чему он стремится, о чем мечтает, – цель простая, осязаемая, он ждет вполне ощутимой награды за то, что работает не щадя сил и во всем себе отказывает. И за это его поневоле уважаешь. Ни минуты Мэгги не думала, что он потратит деньги на какие-то свои удовольствия. Он именно так и решил: деньги будут лежать в банке.

Одна беда, у него никогда не было ни времени, ни охоты понять женщину, он, видно, не подозревает, что женщина устроена по-другому и ей нужно такое, что ему совсем не нужно, как ему нужно то, что не нужно женщине. Что ж, могло быть и хуже. Вдруг бы он заставил ее работать у людей куда менее славных и внимательных, чем Энн Мюллер. Здесь, в доме на холме, с ней не случится ничего худого. Но как далеко осталась Дрохеда!

Мэгги вновь подумала о Дрохеде, когда они обошли весь дом и остановились на веранде перед гостиной, оглядывая землю Химмельхоха. Обширные поля сахарного тростника (все же не такие огромные, как

выгоны Дрохеды, которых не охватить взглядом) зыбились на ветру щедрой, блестящей, омытой дождями зеленью и по отлогому склону холма спускались к заросшему густой чащей берегу реки – большой, широкой, много шире Баруона. За рекой вновь полого поднимались тростниковые плантации, меж квадратами ядовито-яркой зелени кроваво краснели участки, оставленные под паром, а дальше, у подножия громадной горы, возделанные земли обрывались и вступали в свои права дикие заросли. За остроконечной вершиной этой горы вставали новые горные пики и, лиловея, растворялись в дальней дали. Синева неба здесь была ярче, гуще, чем над Джилли, по ней разбросаны белые пушистые клубки облаков, и все краски вокруг – живые, яркие.

– Эта гора называется Бартл-Фрир, – сказала Энн, показывая на одинокую вершину. – Шесть тысяч футов над уровнем моря. Говорят, она вся сплошь – чистое олово, а добывать его невозможно, там настоящие джунгли.

Нежданный порыв ветра обдал их тяжким, тошнотворным запахом, который преследовал Мэгги с той минуты, как она сошла с поезда. Пахло словно бы гнилью, но не совсем – слащаво, въедливо, неотступно, и запах этот не рассеивался, как бы сильно ни дул ветер.

– Это пахнет черной патокой, – сказала Энн, заметив, как вздрагивают ноздри Мэгги, и закурила сигарету.

– Очень неприятный запах.

– Да, правда. Потому я и курю. Но в какой-то мере к нему привыкаешь, только в отличие от других запахов он никогда не исчезает. Днем ли, ночью, всегда приходится дышать этой патокой.

– А что там за постройки у реки, с черными трубами?

– Та самая фабрика, откуда запах. Там из тростника варят сахар-сырец. Сухие остатки тростника называются выжимками. И эти выжимки, и сахар-сырец отправляют на юг, в Сидней, для очистки. Из сырца делают светлую и черную патоку, сироп, сахарный песок, рафинад и жидкую глюкозу. А из выжимок – строительный материал, прессованные плиты для строительства вроде фанеры. Ничто не пропадает зря, ни одна крупинка. Поэтому выращивать сахарный тростник выгодно, даже сейчас, несмотря на кризис.

Арне Свенсон был шести футов двух дюймов ростом, в точности как Люк, и тоже очень хорош собой. Тело, всегда открытое солнечным лучам, позолочено смуглым загаром, голова – в крутых золотых кудрях; точеные, правильные черты на удивление схожи с чертами Люка, сразу видно, как

много в жилах шведов и ирландцев одной и той же северной крови.

Люк успел сменить привычные молескиновые штаны с белой рубашкой на шорты. И теперь они с Арне забрались в дряхлый, одышливый грузовичок и покатали к Гундивинди, где артель рубила тростник. Подержанный велосипед – свою недавнюю покупку – Люк вместе с чемоданом забросил в кузов; его жгло нетерпение – скорее бы взяться за работу!

Остальные члены артели работали с рассвета и даже головы не подняли, когда от барака к ним зашагал Арне и за ним по пятам Люк. Одежда на всех рубщиках одна и та же: шорты, башмаки с толстыми шерстяными носками, на голове полотняная панама. Люк, прищурясь, разглядывал этих людей – престранно они выглядели. С головы до пят в угольно-черной грязи, и на груди, на руках, на спине светятся розовые полосы, промытые струйками пота.

– Это от грязи и копоты, – пояснил Арне. – Тростник просто так не срубишь, сперва надо опалить.

Он нагнулся, подобрал два больших ножа, один протянул Люку.

– Вот, получай резак, – сказал он, взвешивая в руке второй нож. – Этим и рубят тростник. Невелика хитрость, если умеючи.

И он, улыбаясь, показал, как это делается, – словно бы шутя, на самом деле уж наверно не так это легко и просто...

Люк посмотрел на свирепое орудие, зажатое в руке, – ничего похожего на индейский мачете. Нож не заканчивался острием, напротив, треугольное лезвие становилось много шире, и в одном углу широкого конца загибался коварного вида крюк, подобие петушиной шпоры.

– Мачете слишком мал, им здешний тростник не возьмешь, – сказал Арне, показав Люку все приемы. – А вот эта игрушка подходящая, сам увидишь. Только точить надо почаще. Ну, счастливо!

И он пошел на свой участок, а Люк мгновение стоял в нерешительности. Потом пожал плечами и принялся за работу. И в считанные минуты понял, почему это занятие предоставляли рабам и цветным, кому невдомек, что можно подыскать заработок и полегче; вроде стрижки овец, криво усмехнулся он про себя. Наклониться, ударить резак, выпрямиться, крепко ухватить неуклюжий, с чересчур тяжелой макушкой стебель, пройти по всей его длине ладонями, сбивая листья, положить к другим стеблям, ровно, один к одному, шагнуть дальше, наклониться, ударить резак, выпрямиться, прибавить к той гряде еще стебель...

В тростнике полно всякой живности: кишмя кишат мелкие и крупные

крысы, тараканы, жабы, пауки, змеи, осы, мухи, пчелы. Вдоволь любой твари, способной свирепо укусить или жестоко ужалить. Потому-то рубщики сначала опалают урожай – уж лучше работать в грязи и саже, чем в зеленом тростнике среди этой хищной дряни. И все равно не обходится без укусов и царапин. Не будь башмаков, ноги Люка пострадали бы еще сильнее, чем руки, но рукавиц ни один рубщик не наденет. В рукавицах работаешь медленнее, а в этой игре время – деньги. И потом, рукавицы – это для неженков.

Перед заходом солнца Арне крикнул всем, чтоб кончали, и подошел посмотреть, много ли успел Люк.

– Ого, приятель, неплохо! – закричал он и хлопнул Люка по спине. – Пять тонн, для первого дня совсем неплохо!

До бараков было недалеко, но тропическая ночь настала мгновенно, и пришли туда уже в темноте. Не заходя внутрь, все забрались нагишом в душевую и уже оттуда, с полотенцами вокруг бедер, двинулись в барак, где на столе ждали горы еды: кто-нибудь из рубщиков по очереди неделю стряпал на всю артель, каждый – то блюдо, какое умел. Сегодня приготовлены были говядина с картофелем, испеченные в золе пресные лепешки и пудинг с джемом; люди жадно накинулись на еду и уплели все до последней крошки.

В бараке, сколоченном из листов рифленого железа, вдоль стен тянулись два длинных ряда железных коек; вздыхая и кляня сахарный тростник на чем свет стоит с такой изобретательностью, что им позавидовал бы любой погонщик волов, рубщики нагишом повалились на простыни небеленого холста, опустили москитные сетки и в два счета уснули крепким сном, только и виднелась на каждой койке за марлевым пологом смутная, неподвижная тень.

Люка задержал Арне.

– Покажи-ка руки. – Он осмотрел ладони в кровотокающих ссадинах, волдырях и уколах. – Первым делом отмой их получше, потом намажь, вот мазь. И мой тебе совет, каждый вечер втирай кокосовое масло, ни дня не пропускай. Ручищи у тебя что надо, если еще и спина выдержит, станешь неплохим рубщиком. За неделю приспособишься, будет не так больно.

В великолепном крепком теле Люка болела и ныла каждая мышца; он только и чувствовал безмерную, нестерпимую боль. Смазал и перевязал руки, задернув москитную сетку, растянулся на отведенной ему койке среди других таких же тесных и душных клеток и закрыл глаза. Догадайся он заранее, в какой попадет переплет, нипочем не растрачивал бы себя на Мэгги; ее образ – поблекший, нежеланный, никчемный – отодвинулся куда-

то в дальний угол сознания. Уже ясно: пока он работает рубщиком, ему будет не до нее.

Как и предсказывал Арне, прошла неделя, пока Люк освоился с работой и стал рубить обязательные восемь тонн за день – норма, которую спрашивал швед с каждого члена артели. И тогда он решил перещеголять самого Арне. Зарабатывать больше других, а то и стать партнером старшего. Но главное, ему хотелось, чтобы и на него смотрели так же почтительно и восторженно: Арне тут для всех почти бог, ведь он лучший рубщик в Квинсленде, а значит, пожалуй, во всем белом свете. Когда субботним вечером артель отправилась в город, тамошние жители наперебой угощали Арне ромом и пивом, а женщины так и вились вокруг него пестрым роем. У Арне с Люком оказалось очень много общего. Оба тщеславны, обоим льстят восхищенные женские взгляды, но восхищением все и кончается. На женщин их не хватает – все силы отданы тростнику.

Для Люка в этой работе заключались и красота, и мучение, каких он словно бы жаждал всю жизнь. Наклониться, выпрямиться, вновь наклониться... особый ритм, некий обряд, словно участвуешь в таинстве, которое доступно лишь избранным. Ибо, как растолковал Люку, присматриваясь к нему, Арне, достичь совершенства в этой работе – значит стать лучшим из лучших в отборном отряде самых первоклассных работников на свете: куда бы ты ни попал, можешь гордиться собой, потому что знаешь – за редчайшими исключениями никто из окружающих и дня не выдержал бы на плантации сахарного тростника. Сам английский король – и тот не выше тебя, и, узнай он тебя, сам английский король восхищался бы тобой. Ты вправе с жалостью и презрением смотреть на докторов и адвокатов, на бумагомарак и прочих гордецов. Рубить сахарный тростник, как умеет только охочий до денег белый человек, – вот подвиг из подвигов, величайшее достижение.

Люк садится на край койки, чувствует, как вздуваются на руках бугры мускулов, оглядывает свои мозолистые, в рубцах и шрамах, ладони, длинные, стройные, темные от загара ноги и улыбается. Кто может справиться с такой работой и не только выжить, но и полюбить ее, тот поистине настоящий мужчина. Еще неизвестно, может ли английский король сказать то же самое о себе.

Мэгги не видела Люка целый месяц. Каждое воскресенье она пудрила блестящий от жары нос, надевала нарядное шелковое платье (впрочем, от пытки чулками и комбинацией она отказалась) и ждала супруга, а он все не являлся. Энн и Людвиг Мюллер молча смотрели, как угасает ее оживление

вместе с еще одним воскресным днем, когда разом опускается ночная тьма, словно падает занавес, скрывая ярко освещенную, но пустую сцену. Не то чтобы Мэгги очень жаждала его видеть, но как-никак он принадлежит ей, или она ему, или как бы это поточнее сказать... Стоило вообразить, что он вовсе о ней и не думает, тогда как она все время, дни и недели напролет, в мыслях ждет его, стоило вообразить такое – и ее захлестывали гнев, разочарование, горечь унижения, стыд, печаль. Как ни отвратительны были те две ночи в данглоуской гостинице, тогда по крайней мере она была для Люка на первом месте; и вот, оказывается, лучше бы ей тогда не кричать от боли, а прикусить язык. Да, конечно, в этом вся беда. Ее мучения досадили ему, отравили удовольствие. Она уже не сердилась на него за равнодушие к ее страданиям, а раскаивалась и под конец решила, что сама во всем виновата.

На четвертое воскресенье она не стала наряжаться и шлепала по кухне босиком, в безрукавке и шортах, готовила горячий завтрак для Энн и Людвиг – раз в неделю они позволяли себе столь несообразную роскошь. Заслышала шаги на заднем крыльце, обернулась, хотя на сковороде брызгалось и шипело сало, и растерянно уставилась на громадного косматого детину в дверях. Люк? Неужели это Люк? Он и на человека не похож, будто вырублен из камня. Но каменный идол прошел по кухне, смачно поцеловал Мэгги и подсел к столу. Она разбила яйца, вылила на сковороду и подбавила еще сала.

Вошла Энн Мюллер, учтиво улыбнулась, ничем не показывая, что зла на него. Ужасный человек, о чем он только думал, на столько времени забросил молодую жену!

– Наконец-то вы вспомнили, что вы человек женатый, – сказала она. – Пойдемте на веранду, позавтракайте с нами. Помогите Мэгги, Люк, отнесите яичницу. А корзинку с поджаренным хлебом я, пожалуй, и в зубах снесу.

Людвиг Мюллер родился в Австралии, но в нем ясно чувствовалась немецкая кровь: лицо побагровело под дружным натиском солнца и пива, почти квадратная сидящая голова, бледно-голубые глаза истинного прибалтийца. И ему, и его жене Мэгги пришлось очень по душе, и они радовались, что им так повезло с помощницей. Особенно благодарил судьбу Людвиг, он видел, как повеселела Энн с тех пор, как в доме засияла эта золотая головка.

– Каково рубится тростник? – спросил он, накладывая на тарелку яичницу с салом.

– Хотите верьте, хотите нет, а мне это дело очень нравится! –

засмеялся Люк и тоже взял солидную порцию.

Людвиг остановил на этом красивом лице пронизательный взгляд и кивнул:

– Охотно верю. По-моему, у вас для этого и нрав самый подходящий, и сложены вы как надо. Можете опередить других и чувствуете свое превосходство.

Связанный своим наследством – плантациями сахарного тростника, делом, весьма далеким от науки, не имея никакой надежды сменить одно на другое, Людвиг страстно увлекался изучением природы человеческой и перечитал немало толстых томов в сафьяновых переплетах с такими именами на корешках, как Фрейд и Юнг, Гексли и Рассел.

– Я уж думала, вы никогда не приедете повидаться с Мэгги, – сказала Энн, смазывая ломтик поджаренного хлеба кисточкой, смоченной в жидком топленом масле: только в таком виде и можно в этом краю есть масло, а все же лучше, чем ничего.

– Ну, мы с Арне решили некоторое время работать и по воскресеньям. Завтра едем в Ингем.

– Значит, бедняжка Мэгги совсем редко будет вас видеть.

– Мэг понимает, что к чему. Это ведь только годика на два, и летом будет перерыв в работе. Арне говорит, он на это время пристроит меня на рафинадную фабрику в Сиднее, и я смогу взять Мэг с собой.

– Почему вам приходится так много работать, Люк? – спросила Энн.

– Надо, чтоб хватило денег купить землю на западе, где-нибудь в Кайнуне. Мэг вам разве не говорила?

– К сожалению, наша Мэгги мало говорит о своих делах. Расскажите нам сами, Люк.

И они втроем слушали его и следили за живой игрой загорелого, энергичного лица, за блеском синих-синих глаз; с той минуты, когда перед завтраком Люк появился на пороге кухни, Мэгги не вымолвила ни слова. А он, не умолкая, расписывал яркими красками расчудесный край света: какие там сочные травы, как разгуливают, красуясь, по единственной в Кайнуне пыльной дороге огромные серые птицы – бrolга и, словно птицы, проносятся тысячные стада кенгуру, и как там сухо и жарко печет солнце.

– И в один прекрасный день солидный кус этой распрекрасной земли станет моим. Мэг тоже вкладывает кое-какие деньги, и мы работаем полным ходом, так что на все про все уйдет годика четыре-пять, не больше. Можно бы справиться быстрее, если мне взять участок похуже, но я теперь знаю, сколько могу наработать рубщиком, так что охота поработать дольше, зато уж участок будет что надо. – Люк наклонился над столом, обхватил

чашку чаю широкими, в рубцах и шрамах, ладонями. – Я ведь вчера почти что обогнал Арне, скажу я вам! Нарубил одиннадцать тонн за один только день!

Людвиг присвистнул с искренним восхищением, и они заговорили о том, сколько можно нарубить за день. Мэгги маленькими глотками пила крепкий, почти черный, чай без молока. Ох, Люк, Люк! Сначала говорил, годика два, теперь уже четыре-пять, и кто знает, сколько лет он назовет, заговорив о сроках в следующий раз? Люк от всего этого в восторге, сразу видно. Так откажется ли он от этой работы, когда настанет срок? Захочет ли отказаться? И еще вопрос, есть ли у нее желание ждать так долго, чтобы это выяснить? Мюллеры – люди очень добрые и вовсе не изнуряют ее работой, но если уж надо жить без мужа, так нет места лучше Дрохеды. За месяц, что Мэгги провела в Химмельхохе, она ни дня не чувствовала себя по-настоящему здоровой – совсем не хотелось есть, то и дело невесть что творилось с желудком, она ходила сонная, вялая и никак не могла встряхнуться. А ведь она привыкла всегда быть бодрой и свежей, и это невесть откуда взявшееся недомогание пугало ее.

После завтрака Люк помог ей перемыть посуду, потом повел прогуляться к ближнему полю сахарного тростника и все время только и говорил про сахар и про рубку, и что жить на свежем воздухе красотища, и какие в артели у Арне отличные парни – красотища, и вообще работать рубщиком куда лучше, чем, например, стригалем, не сравнить!

Потом они опять поднялись на холм; Люк повел Мэгги в чудесно прохладный уголок под домом, между столбами-опорами. Энн устроила здесь оранжерею: повсюду расставлены были обрезки глиняных труб разной вышины и ширины, а в них насыпана земля и посажены всякие выющиеся или раскидистые растения – орхидеи всевозможных пород и расцветок, папоротники, диковинные выюнки и кусты. Под ногами земля была мягкая, смолисто пахла свежей щепой; сверху, с балок, свисали огромные проволочные корзины, и в них тоже – папоротник, орхидеи, клуберозы; в гнездах из древесной коры, прикрепленных к столбам, росли еще выюнки, а у оснований труб цвела великолепная, яркая, всех оттенков, бегония. Здесь было любимое убежище Мэгги, единственное, что полюбилось ей в Химмельхохе, как ни один уголок в Дрохеде. Ведь в Дрохеде на такой крохотной площадке никогда не выросло бы столько всякой всячины – слишком сухой там воздух.

– Смотри, Люк, правда, прелесть? Как ты думаешь, может быть, года через два мы могли бы снять для меня домик? Мне ужасно хочется самой устроить что-нибудь в этом роде.

– Да на какого беса тебе жить одной в целом доме? Слушай, Мэг, тут ведь не Джилли, в здешних местах женщине опасно жить одной. У Мюллеров тебе куда лучше, верно тебе говорю. Разве тебе у них плохо?

– Мне хорошо – насколько может быть хорошо в чужом доме.

– Знаешь, Мэг, ты уж мирись с тем, что есть, покуда мы не переселимся на запад. Нельзя нам так тратить деньги – снимать дом, и чтоб ты жила ничего не делая, и еще откладывать. Понятно тебе?

– Да, Люк.

Он так разволновался, что даже забыл, чего ради повел ее в этот уголок под домом – хотел поцеловать ее. Вместо этого он словно бы небрежно ее шлепнул – пожалуй, слишком крепко, слишком больно для небрежного шлепка – и пошел прочь к тому месту на дороге, где оставил, прислонив к дереву, свой велосипед. Чтобы повидаться с ней, он двадцать миль крутил педали, лишь бы не тратиться на поезд и автобус, и теперь надо было снова крутить педали, одолевая двадцать миль обратного пути.

– Бедная девочка! – сказала мужу Энн. – Убить его мало!

Настал и прошел январь, месяц, когда у рубщиков меньше всего работы, но Люк не показывался. Тогда, навестив Мэгги, он что-то пробормотал о том, как захватит ее с собой в Сидней, а вместо этого поехал в Сидней с Арне. Арне – человек холостой, и у него есть тетка, а у тетки свой дом в Розелле, откуда можно дойти пешком (не тратиться на трамвай, опять же выгода) до рафинадной фабрики. В этих исполинских цементных стенах, встающих на холме, точно крепость, для рубщика со знакомствами всегда найдется работа. Люк и Арне складывали мешки с сахаром в ровные штабеля, а в свободное время купались, плавали, носились, балансируя на доске, по волнам прибоя.

А Мэгги осталась в Данглоу, у Мюллеров, и не чаяла дожждаться конца мокряди (так тут называли время дождей и муссонов). Сушь здесь длилась с марта до ноября и в этой части австралийского материка была не таким уж сухим временем, но по сравнению с мокредью казалась блаженной порой. Во время мокреди небеса поистине разверзались и низвергали настоящие водопады – лило не целыми днями напролет, а порывами, приступами, и между этими потопами все вокруг словно дымилось, белые клубы пара поднимались над плантациями сахарного тростника, над землей, над зарослями кустарника, над горами.

Время шло, и Мэгги все сильнее тосковала по родным местам. Она уже знала, в Северном Квинсленде никогда она не будет чувствовать себя как дома. Прежде всего она плохо переносит здешний климат, возможно,

потому, что почти всю жизнь провела в сухих, даже засушливых, краях. И ей тошно от того, как вокруг безлюдно, неприветливо, все дышит гнетущим сонным оцепенением. Тошно от того, что вокруг кишмя кишат насекомые и всякие ползучие твари, каждая ночь – пытка: наводят страх громадные жабы, тарантулы, тараканы, крысы; никакими силами не удастся выгнать их из дому, а она смертельно их боится. Такие они все огромные, наглые, такие... голодные! Больше всего ей были ненавистны «данни» – так на местном жаргоне назывались уборные, и этим же уменьшительным именем называли Данглоу – неизменный повод для шуточек и острот. Но мерзостнее этих «данни» в округе Данни и вообразить ничего невозможно: в здешнем климате немыслимо копать ямы в земле, тогда не миновать бы брюшного тифа и прочего в том же роде. И такую яму заменял обмазанный дегтем жестяной бак, он источал зловоние, привлекал гудящие рои мух, кишел всякой насекомой нечистью. Раз в неделю бак вывозили, а взамен ставили пустой, но раз в неделю – это очень, очень редко.

Все существо Мэгги восставало против способности здешних жителей преспокойно относиться к такой мерзости как к чему-то понятному и естественному; да проживи она в Северном Квинсленде хоть всю жизнь, она и тогда с этим не примирится! И однако она в отчаянии думала – пожалуй, это и правда на всю жизнь, во всяком случае, до тех пор, пока Люк не станет слишком стар для работы рубщика. Как ни тосковала она по Дрохеде, как ни мечтала о ней, гордость не позволяла признаться родным, что муж совсем ее забросил; чем признать такое, яростно твердила себе Мэгги, лучше уж терпеть эту пожизненную каторгу.

Проходил месяц за месяцем, прошел год, подползал к концу второй. Только неизменная доброта Мюллеров удерживала Мэгги в Химмельхохе, и она все ломала голову над той же неразрешимой задачей. Напиши она Бобу, он тотчас телеграфом выслал бы ей денег на дорогу домой, но несчастная Мэгги просто не могла объяснить родным, что Люк ее оставил без гроша. Если уж она им это скажет, придется в тот же день расстаться с Люком навсегда, а она еще не решалась на такой шаг. Все правила, в которых она воспитывалась с детства, не давали ей уйти от Люка: и вера в святость брачного обета, и надежда, что рано или поздно у нее появится ребенок, и убеждение, что Люк по праву мужа волен распоряжаться ее судьбой. Да еще и собственный характер мешал – и упрямая, неодолимая гордость, и досадная мыслишка, что ведь во всем не один Люк, а и она сама виновата. Что-то с ней не так, а то бы Люк уж наверно вел себя по-другому.

За полтора года изгнания она его видела только шесть раз и,

даже не подозревая, что есть на свете такая штука – гомосексуализм, часто думала: надо было бы Люку венчаться с Арне, ведь они наверняка живут вместе и Люку общество Арне куда приятнее. Они уже стали партнерами на равных и разъезжают взад и вперед по всему тысячемильному побережью, куда позовет поспевший сахарный тростник, и, видно, ничего им не интересно, кроме работы. Когда Люк все же навещает жену, он и не думает ни о какой близости – посидит час-другой, поболтает с Людвигом и Энн, потом пойдет с Мэгги прогуляться, дружески поцелует на прощание – и опять поминай как звали.

Все свободное время Людвиг, Энн и Мэгги проводили за чтением. Библиотека в Химмельхохе оказалась богатая, не то что несколько книжных полок в Дрохеде, несравненно больше давала разнообразных сведений, в том числе и «неприличных», и Мэгги из книг многое почерпнула.

Однажды воскресным июньским днем 1936 года Люк приехал вместе с Арне, оба явно были очень довольны собой. И объяснили: они решили отменно побаловать Мэгги – приглашают ее на силид.

Почти повсюду в Австралии разношерстные и разноплеменные переселенцы рассеиваются по стране и становятся заправскими австралийцами, а вот в Северном Квинсленде выходцы из разных стран цепко держатся за национальные обычаи и традиции; больше всего здесь китайцев, итальянцев, немцев и шотландцев с ирландцами. И когда затевается силид, съезжаются все до единого шотландцы за многие мили.

К изумлению Мэгги, Люк с Арне явились в шотландских юбках и выглядели в этом наряде, решила она, когда опомнилась и перевела дух, просто великолепно. Для человека мужественной внешности не придумаешь более мужественной одежды: юбка отлично гармонирует с широким ровным шагом, сзади развеваются складки, спереди не шелохнутся, кожаная сумка мехом наружу прикрывает чресла, подол доходит до середины колена, открывает крепкие стройные ноги, обтянутые тугим трико в косую клетку, в туфлях с пряжками. Надеть плед и куртку в такую жару было невозможно – Арне и Люк ограничились белыми рубашками, до середины распахнутыми на груди, рукава засучили выше локтя.

– А что это такое – силид? – спросила Мэгги, когда они пустились в путь.

– Это гэльское слово, значит сборище, вечеринка с танцами.

– Почему же вы в юбках?

– На силид иначе нельзя, а нас всегда зовут, где ни празднуют, от Брисбена до Кэрнса.

– Вот как? Да, наверное, вам часто приходится ходить на эти праздники, не то не представляю, как бы Люк выложил деньги на такой костюм. Правда, Арне?

– Надо же человеку и отдохнуть немножко, – не без вызова ответил Люк.

Силид справляли в каком-то полуразвалившемся сарае посреди гнилой, болотистой, поросшей мангровыми деревьями низины, что тянется вдоль устья реки Данглоу. «Ну и запахи же в этих краях, – с отчаянием подумала Мэгги, морщась от этой неопишуемой смеси. – И так разит черной патокой, сыростью, уборными, а тут еще и мангровым болотом. Все гнилостные испарения побережья слились воедино».

Мужчины и впрямь все, как один, явились на силид в национальных костюмах; Мэгги со спутниками вошла в сарай, огляделась и поняла, какой серенькой должна чувствовать себя пава, ослепленная многоцветным великолепием павлина. Мужчины совсем затмили женщин – те с каждым часом словно становились еще бесцветнее и незаметнее.

В одном конце сарая, на шатком помосте, стояли два музыканта, одетые одинаково и особенно пестро – многоцветная клетка на голубом фоне, – и дружно дудели на волынках развеселую мелодию хороводного танца – рила, светло-рыжие волосы их стояли дыбом, по багровым лицам градом катился пот.

Иные пары плясали, но всего шумнее и оживленнее было там, где какие-то мужчины раздавали окружающим стаканы – наверняка с шотландским виски. Не успела Мэгги опомниться, как ее и еще нескольких женщин оттеснили в угол, и она с удовольствием осталась тут, замороженно глядя на происходящее. Ни на одной женщине не видно было клетчатой ткани цветов клана, ведь шотландские женщины не носят складчатой юбки, только плед, а в такую жару немислимо кутать плечи большущим куском плотной тяжелой материи. И женщины были в обычных для Северного Квинсленда безвкусных ситцевых платьях, совсем тусклых и жалких рядом с пышным национальным одеянием мужчин. Эти щеголяли кто в огненно-красном с белым – цвета клана Мензис, кто в угольно-черном с ярко-желтым – цвета клана Мак-Лауда из Льюиса, были тут и нежнейший голубой, в красную клетку, клан Скен, и многоцветная яркая клетка клана Оуглви, и очень славная, красно-черно-серая – клана Макферсон. Люк носил цвета клана Мак-Нил, Арне – якобитов Сэсенеков. До чего красиво!

Люка и Арне тут, несомненно, хорошо знали и любили. Как же часто они тут бывали без нее? И что на них нашло, почему они взяли ее с собой сегодня? Мэгги вздохнула, прислонилась к стене. Другие женщины с

любопытством ее разглядывали, и особенное внимание привлекало обручальное кольцо: Люком и Арне все они явно восхищались, а ей, Мэгги, явно завидовали. «Что бы они сказали, признайся я им, что этот темноволосый великан, мой муж, за последние восемь месяцев навещал меня ровным счетом два раза и, когда уж навещал, ни разу даже не подумал лечь со мной в постель? Нет, вы только посмотрите на эту парочку самодовольных франтов! И ведь никакие они, в сущности, не горцы и не шотландцы, просто ломают комедию, потому что знают, до чего они ослепительны в этих своих юбках, и обожают, чтобы все на них глазели. Ну и мошенники же вы оба! До того самовлюбленные, что больше ничьей любви вам не требуется».

В полночь уже всех женщин без исключения отправили подпирать стены: волынщики во всю мочь заиграли «Кейбер Фейд», и пошел танец всерьез. Потом всю свою жизнь, стоило ей заслышать звук волынки, Мэгги вновь мысленно переносилась в этот сарай. Довольно было и взмаха клетчатой юбки; как во сне, слились в единой гармонии звуки и краски, живая жизнь, стремительность и сила – и все это, пронзительное, колдовское, неизгладимое, осталось в памяти навсегда.

На пол легли скрещенные мечи, и двое, одетые в цвета клана Мак-Доналда из Слита, вскинули руки над головой, кисти рук затрепетали, точно у балетных танцоров, и сурово, словно остриям мечей под конец суждено вонзиться им в грудь, эти двое пошли кружить, скользить, виться среди лезвий.

Потом над высоким, дрожащим напевом волынок взлетел громкий, пронзительный вопль, зазвучала новая мелодия – «Обороняй свой край, шотландец!», оружие сгребли в кучи, и все мужчины, сколько их тут было, ринулись в хоровод, то сплетая, то разнимая руки, только развевались пестрые клетчатые юбки. Рил, стреспей, флинг – неистово буйные, стремительные шотландские танцы сменяли друг друга, топот ног по дощатому полу гулко отдавался под стрехами, сверкали пряжки туфель, и каждый раз, как начинался новый танец, кто-нибудь, запрокинув голову, выпускал тот же протяжный, залиvistый вопль, и ему откликались восторженным кличем десятки глоток. А женщины, забытые, стояли и смотрели.

Все кончилось уже под утро, около четырех; за дверями вместо морозной свежести Блэр-Атолла или Ская их встретило вялое отупение тропической ночи, огромная тяжелая луна лениво тащилась по блестящей пустыне небес, и все дышало зловонными мангровыми испарениями. Но когда Арне повез их прочь в своем пыхтящем старом «форде», Мэгги

напоследок услышала замирающий жалобный напев «Цветы родных лесов», песня звала с веселого праздника домой. Домой. А где он, дом?

– Ну как, понравилось тебе? – спросил Люк.

– Понравилось бы больше, если бы я больше танцевала, – сказала Мэгги.

– Как? На силиде? Брось, Мэг! Тут полагается танцевать одним мужчинам, скажи спасибо, что мы и вам хоть немного дали поплясать.

– Мне кажется, на свете много такого, чем занимаются одни мужчины, особенно если это весело и доставляет удовольствие.

– Ну уж извини, – сухо отозвался Люк. – Я думал, тебе приятно будет малость развлечься, потому тебя сюда и взял. Мог, знаешь ли, и не брать! А раз ты не ценишь, больше не возьму.

– Ты, наверное, все равно больше не собираешься меня никуда брать, – сказала Мэгги. – Тебе вовсе незачем впускать меня в свою жизнь. Я за эти несколько часов много чего узнала, только, думаю, не то, чему ты хотел меня научить. Теперь меня уже не так легко одурачить, Люк. По правде говоря, мне это опостылело – и ты, и моя теперешняя жизнь, все!

– Ш-ш! – возмущенно зашипел он. – Мы не одни!

– Так приходи один! – резко ответила Мэгги. – Ты же со мной никогда не остаешься один, разве что на минуту!

Арне остановил машину у подножия химмельхохского холма, сочувственно улыбнулся Люку:

– Валяй, приятель, проводи ее наверх, я тут обожду. Спешить некуда.

– Я говорю серьезно, Люк, – сказала Мэгги, едва они отошли настолько, что Арне не мог слышать. – Всякому терпению приходит конец, понятно тебе? Я знаю, я дала обет быть послушной женой, но ведь и ты дал обет любить меня и заботиться обо мне, выходит, мы оба солгали! Я хочу вернуться домой, в Дрохеду!

«И ее две тысячи фунтов в год больше не будут поступать на мой банковский счет», – подумал Люк.

– Что ты, Мэг! – беспомощно сказал он. – Послушай, миленькая, это же не навек, верно тебе говорю! А нынешним летом я возьму тебя с собой в Сидней, даю слово О’Нила! В доме у тетки Арне освободится квартирка, мы с тобой сможем там жить целых три месяца, чудно проведем времечко! Ты потерпи, обожди немного, я еще годик поработаю рубщиком, и тогда мы купим землю и заживем своим домом, ладно?

Лунный свет упал на его лицо, казалось, он так искренне огорчен, встревожен, полон раскаяния. И так похож на Ральфа де Брикассара...

И Мэгги смягчилась: ей все еще хотелось от него детей.

– Хорошо, – сказала она. – Еще год. Но я ловлю тебя на слове, Люк, ты обещал взять меня в Сидней, смотри не забудь!

Раз в месяц Мэгги добросовестно писала матери и братьям – рассказывала про Северный Квинсленд, старательно и в меру шутила и ни разу не обмолвилась о каких-либо неладах с Люком. Все та же гордость. В Дрохеде только и знали: Мюллеры – друзья Люка, и Мэгги живет у них потому, что он постоянно в разъездах. По всему чувствовалось, что Мэгги искренне привязана к этим милым людям, и в Дрохеде за нее не тревожились. Огорчало одно: отчего она никогда не навестит своих? Но не могла же она им написать, что у нее нет денег на дорогу, ведь тогда пришлось бы объяснить, как несчастливо сложилась ее семейная жизнь с Люком О’Нилом.

Изредка она осмеливалась будто между прочим спросить, как поживает епископ Ральф, и еще того реже Боб вспоминал передать ей то небольшое, что слышал о епископе от матери. А потом пришло письмо, в котором только и говорилось, что о преподобном де Брикассаре.

«Он как с неба свалился, – писал Боб. – Приехал неожиданно и какой-то был невеселый, прямо как в воду опущенный. А оттого, что тебя не застал, и вовсе расстроился. Сперва напустился на нас, отчего мы ему не сообщили, что ты выходишь за Люка, ну, мама ему объяснила, что ты сама не велела, такая на тебя напала блажь, тут он и замолчал, словечка больше про это не сказал. Но, по-моему, он по тебе соскучился больше, чем по всем нам, да оно и понятно, ведь никто из нас так много с ним не бывал, как ты, и, по-моему, он всегда тебя любил, как родную сестричку. Он тут, бедняга, бродил неприкаянный, будто ждал – ты вот-вот выскочишь из-за угла. У нас и карточек-то не нашлось ему показать, раньше мне было ни к чему, а как он спросил, я подумал – и правда, чудно, почему у тебя нет свадебной фотографии. Он спросил, есть ли у тебя дети, и я сказал, вроде нету. Ведь нету, верно, Мэгги? Сколько уже времени ты замужем? Скоро два года? Да, конечно, ведь нынче уже июль на дворе. До чего быстро время летит! Надеюсь, у тебя скоро будут дети, по-моему, наш епископ обрадуется, когда узнает. Я хотел дать ему

твой адрес, но он не взял. Сказал, это ему без пользы, потому как он едет на время в Грецию, в Афины, с архиепископом, при котором служит. Архиепископ, видно, из италяшек, имя длинное-предлинное, никак не запомню. Представляешь, Мэгги, они туда полетят на аэроплане! Честное слово! Ну вот, он, как узнал, что тебя нет и некому с ним гулять по Дрохеде, особо задерживаться не стал, только и побыл неделю, раза два поездил верхом, каждый день служил для нас мессу, а потом взял да и уехал».

Мэгги отложила письмо. Он знает, знает! Наконец-то он знает. Что он подумал, сильно ли огорчился? Почему, почему он толкнул ее на это? Ничего хорошего из этого не вышло. Она не любит Люка, и никогда не полюбит. Люк – просто подмена, у нее от него будут дети, похожие на тех, каких дал бы ей Ральф де Брикассар. Господи, ну и запуталась же она!

Архиепископ ди Контини-Верчезе отклонил предложенные ему покои в афинской резиденции высших церковных властей, предпочел обыкновенную гостиницу для мирян. В Афины он приехал по делу важному и весьма щекотливому: давно уже следовало обсудить кое-какие вопросы с князьями греческой православной церкви – к ней, как и к русской православной церкви, Ватикан относился несравненно благосклоннее, нежели к церкви протестантской. В конце концов, православие – это течение, но не ересь; в православии, как и в римской католической церкви, архиепископы наследуют свой сан по прямой линии от самого святого Петра.

Архиепископ знал, что эта поездка – своего рода испытание: в случае успеха она станет новой ступенькой его карьеры, и в Риме его ждет пост более высокий. Немалым преимуществом оказались и его способности к языкам, ведь он свободно говорит по-гречески, это и перетянуло чашу весов в его пользу. Его вызвали из такой дали, из Австралии, и в Афины доставили самолетом.

И конечно, немыслимо было бы не взять с собой епископа де Брикассара: за минувшие годы ди Контини-Верчезе привык все больше полагаться на этого удивительного человека. Ведь это поистине второй Мазарини! Сравнение весьма лестное, ибо архиепископ восхищался кардиналом Мазарини гораздо больше, чем кардиналом Ришелье. Ральф олицетворяет все, что ценит святая римская церковь в своих высших сановниках. Он неколебимо тверд как в вере, так и в нравственности;

у него живой, гибкий ум и непроницаемое лицо; и притом особый дар: он всегда умеет понравиться окружающим, независимо от того, приятны они ему или отвратительны, согласен он с ними или расходится во мнениях. Он не льстец, но истинный дипломат. Если почаще о нем напоминать тем, кто стоит у власти в Ватикане, он, без сомнения, далеко пойдет. И это весьма приятно будет его высокопреосвященству ди Контини-Верчезе, который отнюдь не желает расставаться с преподобным де Брикассаром.

Было очень жарко, но после влажной духоты Сиднея сухой зной Афин ничуть не тяготил епископа Ральфа. Как всегда, в сутане, в бриджах и сапогах для верховой езды, он быстрым шагом поднимался по каменистой дороге в гору, к Акрополю, через хмурые Пропилеи, мимо Эрехтейона, еще выше, по камню, на котором скользила нога, к Парфенону и дальше, к остаткам ограждавшей Акрополь стены.

Здесь, на вершине, где ветер развеивал его черные, теперь уже с проседью на висках, кудри, он остановился и окинул взглядом белый город и за ним – залитые солнцем холмы и чистую, несравненную синеву Эгейского моря. У ног отца Ральфа лежала Плака с кофейнями на плоских крышах домов и колониями художников, сбоку, на скале, раскинулись ярусы громадного амфитеатра. Вдали виднелись римские колонны, крепости крестоносцев, венецианские замки, но ни единого следа турок. Поразительный народ эти греки. Надо ж было так ненавидеть тех, кто правил ими семь столетий подряд, чтобы, едва освободясь, бесследно стереть с лица земли все их мечети и минареты. И какой древний народ, какое великолепное прошлое! Когда Перикл одел мрамором вершину этой скалы, норманны – его, Ральфа де Брикассара, пращур – были еще дикарями в звериных шкурах, а Рим – просто-напросто деревней.

Лишь теперь, на расстоянии одиннадцати тысяч миль, при мысли о Мэгги впервые к горлу не подступили рыдания. Да и то вершины дальних гор на миг расплылись перед глазами, и он не вдруг овладел собой. Как же мог он ее винить, ведь он сам сказал ей, чтобы она выходила замуж! И он сразу понял, почему она решила это от него скрыть: не желала, чтобы он встретился с ее мужем, стал причастен к ее новой жизни. Он-то прежде воображал, что она, выйдя замуж, поселится если не в самой Дрохеде, так в Джиленбоуне, будет и впредь жить неподалеку, и он будет знать, что она жива и здорова, ни в чем не нуждается и ничто ей не грозит. Но стоило задуматься – и ясно стало: как раз этого она и не хотела. Нет, конечно же, не могла она не уехать – и, пока она замужем за этим Люком О'Нилом, она не вернется. Боб сказал, они копят деньги, хотят купить землю в Западном Квинсленде, и эта новость прозвучала как похоронный звон. Мэгги решила

не возвращаться. Для него, для Ральфа де Брикассара, она умерла.

«Но счастлива ли ты, Мэгги? Не обижает ли тебя муж? Любишь ли ты его, этого Люка О’Нила? Что он за человек, почему ты променяла меня на него? Чем он, простой овчар, так тебе понравился, что ты предпочла его Инеку Дэвису, и Лайему О’Року, и Аластеру Маккуину? Быть может, ты не хотела, чтобы его узнал я, чтобы именно я мог сравнивать? Или хотела причинить мне боль, хотела мне отплатить? Но почему у вас нет детей? В чем дело, почему твой муж колесит по всему Квинсленду, как бродяга, а тебя поселил у своих друзей? Неудивительно, что у тебя еще нет детей, – муж с тобой почти не бывает. Почему так, Мэгги? Почему ты вышла за этого Люка О’Нила?»

Он повернулся, спустился с Акрополя, зашагал по шумным, людным улицам Афин. Неподалеку от улицы Еврипида раскинулся под открытым небом рынок; здесь он помедлил, завороженный этим зрелищем: пестрая толпа, огромные корзины остро пахнувшей на солнце рыбы, бок о бок вывешены связки овощей и расшитые блестками туфли; его забавляли женщины – дочери совсем иной культуры, по самому существу своему отличной от пуританства, в котором воспитан был он, епископ де Брикассар, они откровенно, без стеснения, им восхищались. Будь в этих восторженных взглядах и воркующих голосах примесь похоти (он не умел подобрать иного слова), его бы это безмерно смущало, но нет, восторги вызваны иным чувством, тут просто отдают дань восхищения редкой красоте.

Гостиница, где они остановились, роскошная и дорогая, находилась на площади Омония. Архиепископ ди Контини-Верчезе сидел у раскрытой двери на балкон, погруженный в раздумье; когда вошел епископ де Брикассар, он поднял голову и улыбнулся:

– Как раз вовремя, Ральф. Я хотел бы помолиться.

– Я думал, что все улажено. Разве возникли какие-то неожиданные осложнения, ваше высокопреосвященство?

– Несколько иного рода. Я получил сегодня письмо от кардинала Монтеверди, он передает пожелания его святейшества папы.

У епископа Ральфа от волнения напряглись плечи и похолодел затылок.

– О чем же?

– Как только переговоры здесь закончатся – а они уже закончены, – мне надлежит явиться в Рим.

Меня ожидает кардинальский сан, и далее мне предстоит служить в Риме, непосредственно при его святейшестве.

– А я?

– Вы становитесь архиепископом де Брикассаром и возвращаетесь в Австралию, дабы заменить меня на посту наместника папы.

Теперь отца Ральфа бросило в жар, даже уши покраснели. Его, неитальянца, удостоивают поста папского легата! Неслыханная честь! О, можете не сомневаться, он еще станет кардиналом!

– Разумеется, сначала вы получите некоторую подготовку и наставления в Риме. На это уйдет около полугода, и эти полгода я буду с вами, представлю вас моим друзьям. Я хочу, чтобы они узнали вас, потому что придет время, когда я вас вызову, Ральф, и вы станете моим помощником в Ватикане.

– Как мне вас благодарить, ваше высокопреосвященство! Ведь это вам я обязан столь высокой честью!

– Слава Богу, у меня хватает ума разглядеть человека одаренного, кому не следует прозябать в неизвестности. А теперь преклоним колена, Ральф, и помолимся. Велика милость Божия.

Четки и требник епископа Ральфа лежали на соседнем столике; дрожащей рукой он потянулся за четками и нечаянно сбросил требник на пол. Требник раскрылся на середине. Архиепископ оказался ближе – он поднял книжку и с любопытством посмотрел на нечто коричневое, сухое и тонкое, что было некогда розой.

– Как странно! Почему вы это храните? Что это, память о родине или, может быть, о матери?

Проницательные глаза, глаза, которых не обмануть хитростью и увертками, смотрели на Ральфа в упор, и уже не успеть было скрыть волнение и испуг.

– Нет, – сказал он и поморщился. – О матери я вспоминать не хочу.

– Но должно быть, этот цветок много значит для вас, если вы так бережно храните его в самой дорогой для вас книге. Так о чем же он вам говорит?

– О любви столь же чистой, как моя любовь к Господу, Витторио. Она делает только честь этим страницам.

– Я так и подумал, ибо знаю вас. Но не умаляет ли она, эта любовь, вашей любви к святой церкви?

– Нет. Ради церкви я от нее и отказался и всегда буду отказываться. Я далеко ушел от нее и никогда к ней не вернусь.

– Так вот откуда ваша печаль, наконец-то я понял! Дорогой Ральф, это не так дурно, как вам кажется, право. В своей жизни вы принесете много добра многим людям, и многие люди вас будут любить. И та, кому отдана

любовь, заключенная в этой старой благоуханной памятке, никогда не будет обделена любовью. Ибо вы вместе с розой сохранили и любовь.

– Я думаю, ей этого не понять.

– О нет. Если вы так сильно ее любили, значит, она настолько женщина, что способна это понять. Иначе вы давно бы ее забыли и не хранили бы так долго эту реликвию.

– Иногда так сильно было во мне желание оставить свой пост и возвратиться к ней, что лишь долгие часы, проведенные в молитве, меня удерживали.

Архиепископ поднялся с кресла, подошел и преклонил колена рядом с другом, рядом с этим красавцем, которого он полюбил, как мало что любил, кроме Господа Бога и церкви – любовь к Богу и церкви для него была едина и нераздельна.

– Вы не оставите свой пост, Ральф, вы и сами хорошо это знаете. Вы принадлежите святой церкви, всегда ей принадлежали и всегда будете ей принадлежать. Это – истинное ваше призвание. Помолимся же вместе, и отныне до конца жизни я стану молиться и за вашу розу. Господь ниспосылает нам многие скорби и страдания на нашем пути к жизни вечной. И мы – я так же, как и вы, – должны учиться смиренно их переносить.

В конце августа Мэгги получила от Люка письмо: он писал, что лежит в таунсвиллской больнице, у него болезнь Вейля, но никакой опасности нет, скоро его уже выпишут.

«Так что, похоже, нам не придется ждать конца года, чтоб отдохнуть вместе, Мэг. Рубить тростник я пока не могу, сперва надо совсем поправиться, а для этого самое верное – как следует отдохнуть. Так что примерно через неделю я за тобой приеду. Поживем недели две на озере Ичем, на Этертон-Тэйбленд, за это время я наберусь сил и пойду опять работать».

Мэгги как-то не верилось, что они наконец будут вместе, она и сама не понимала – может быть, ей этого больше и не хочется? Конечно, «медовый месяц» на постоялом дворе в Данни оказался для нее пыткой, и душевная боль не проходила много дольше, чем телесная, но Мэгги так давно и так старательно отгоняла эти воспоминания, что теперь они уже не страшили; притом она с тех пор много читала, и ей стало понятно, что во многом виновато было просто-напросто невежество: и она, и Люк слишком мало

знали. Дай-то Бог, чтобы от этой встречи родился ребенок! Будет у нее маленький, будет кого любить, и тогда ей станет несравнимо легче. Энн будет не против малыша в доме, она его полюбит. И Людвиг тоже. Они ей сто раз это говорили, все надеялись, что Люк в какой-нибудь свой приезд побудет подольше и пустое, одинокое существование его жены получит новый смысл.

Она рассказала им, что пишет Люк, и они вслух порадовались, но втайне приняли новость недоверчиво.

– Голову даю на отсечение, этот негодяй опять под каким-нибудь предлогом укатит без нее, – сказала мужу Энн.

Люк взял у кого-то взаймы машину и рано утром заехал за Мэгги. Он сильно похудел, пожелтел и сморщился, будто вымоченный в уксусе. Мэгги была поражена; она отдала ему чемодан и села в машину с ним рядом.

– Что это за болезнь Вейля, Люк? Ты писал, ничего опасного, а по тебе сразу видно, что ты болел очень серьезно.

– Да нет, это вроде желтухи, рано или поздно ее каждый рубщик подхватит. Ее разносят тростниковые крысы; если у тебя порез или царапина, заразы не миновать. Я парень здоровый, так что отделался легко, другие куда тяжелей болеют. Доктора говорят, я в два счета буду опять молодцом.

По глубокому, густо заросшему лесом ущелью дорога взбиралась в гору, в глубь материка; на дне ущелья ревела и грохотала набухшая, полноводная река, а в одном месте откуда-то сверху в нее низвергался, пересекая дорогу, великолепный водопад. И они проехали между отвесной скалой и падающим вкось потоком, под влажно мерцающей аркой – причудливым сплетением света и теней. Чем выше в гору, тем становилось прохладнее, в воздухе разливалась чудесная свежесть – а Мэгги уже и забыла, как легко дышится, когда прохладно. Джунгли клонились над дорогой, вставляли сбоку сплошной пугающей, непроницаемой стеной. Древесных стволов было не разглядеть под тяжелым покровом густолистных лиан, они перекидывались с вершины на вершину, тянулись непрерывно, нескончаемо, будто на весь лес наброшена исполинская завеса зеленого бархата. Но под этими зелеными сводами перед глазами Мэгги мелькали то изумительный цветок, то бабочка, то колесо паутины и, точно ее неподвижная ось, большущий, в нарядных крапинках, паук, то невиданные грибы, въедающиеся в поросший мхом ствол, то птицы с длинными развевающимися алыми и золотистыми хвостами.

Озеро Ичем лежало на плоскогорье, прелестное в безупречной рамке незатоптанных берегов. Перед заходом солнца Мэгги с Люком вышли на

веранду пансиона посмотреть на эти тихие воды. Мэгги хотелось досмотреть, как большие летучие мыши, пожирательницы плодов (еще их называют летающими лисицами), слетаясь на кормежку, кружат в небе, точно вестницы Страшного суда. С виду они страшны и отвратительны, но на удивление робки и совершенно безвредны. При виде темной стаи, трепещущей в расплавленном золоте заката, замирало сердце; в Химмельхохе Мэгги каждый вечер выходила на веранду посмотреть на них.

А какое это блаженство – мягкая прохладная постель, здесь-то не страшно шевельнуться, простыня не промокнет от пота и не надо будет осторожно передвигаться на другое место, зная, что прежнее все равно не просохнет. Люк достал из своего чемодана плоский коричневый пакет, вынул пригоршню каких-то круглых вещей и разложил в ряд на ночном столике.

Мэгги взяла одну такую штучку, повертела в руке. Спросила с любопытством:

– Это что?

– «Французский подарочек». – Люк успел забыть свое решение двухлетней давности не говорить ей, что он пользуется противозачаточными средствами. – Я сперва надеваю эту штуку, а уж потом можно и к тебе. Иначе, пожалуй, еще заведешь ребенка, а нам нельзя себе этого позволить, пока у нас нет своего дома. – Он сидел на краю кровати голый, исхудалый, кожа да кости. Но синие глаза его блестели, он потянулся к Мэгги, сжал руку, в которой она все еще держала «французский подарочек». – Мы уже почти у цели, Мэг, почти у цели! По моим расчетам, еще пять тысяч – и мы сможем купить лучший участок, какой найдется к западу от Чартерс-Тауэрс.

– Тогда считай, что мы его уже купили, – очень спокойно, ровным голосом сказала Мэгги. – Я напишу епископу де Брикассару и попрошу у него эти пять тысяч взаймы. Он не станет брать с нас проценты.

– И не думай! – прикрикнул Люк. – Черт подери, Мэг, есть у тебя гордость? Мы свое заработаем, а одалживаться ни у кого не станем! Сроду я ни у кого в долг ни гроша не брал и брать не стану.

Она не слушала, только смотрела на него, глаза заволокло красным туманом. Еще никогда в жизни не испытывала она такой ярости! Врун, жулик, эгоист! Да как он смел так обмануть ее, лишить ребенка, морочить басней, будто он хочет стать скотоводом! Ему и так прекрасно живется с этим Арне Свенсоном на рубке тростника.

Она и сама удивилась, как сумела скрыть бешенство, и опять

заговорила о том, что лежало у нее на ладони.

– Объясни, что такое эти «подарочки». Почему из-за них у меня нет ребенка?

Люк подошел, остановился у нее за спиной, и Мэгги вздрогнула; он подумал, что его прикосновение ее волнует, но Мэгги понимала – ей противно.

– Ты что же, совсем ничего не знаешь, Мэг?

– Ничего, – солгала она; впрочем, о таком она и правда ничего не знала, не помнила, чтобы о таких штуках говорилось хоть в одной книге.

Его беспокойные руки мяли ей грудь.

– Понимаешь, когда я... готов... без этого все остается в тебе, и тогда получается ребенок.

Так вот оно что! Нашел защиту от детей! Жулик!

Люк погасил свет, увлек Мэгги на кровать, и очень скоро Мэгги услышала те же звуки, что тогда в гостинице в Данни, и теперь поняла: он готовится. Жулик! Но как его перехитрить?

Она терпела, стараясь не показать, как ей больно. Почему должно быть так больно, если то, что они делают, вполне естественно?

– Тебе это не нравится, а, Мэг? – спросил потом Люк. – Видно, ты совсем для этого не выросла, если тебе и сейчас так больно, а не только в первый раз. Ладно, больше не буду. Ты ж не против, когда мне хватает твоих грудей, верно?

– Ох, не все ли равно? – устало отозвалась Мэгги. – Если ты не будешь делать мне больно, пусть будет так.

– Маловато в тебе пылу, Мэг!

– Для этого-то?!

Но он уже опять воспламенился; целых два года у него не было на это ни времени, ни сил. Да, здорово это – быть с женщиной, волнующее и запретное удовольствие. Он вовсе не чувствует себя мужем Мэг, нет, это все равно что развлекаться с девчонкой на выгоне где-нибудь за кайнунским постоянным двором или прижать к стенке стригальни заносчивую гордячку мисс Кармайкл. Грудки у Мэг что надо, крепенькие, как раз ему по вкусу, не зря она столько ездила верхом, и, честное слово, так даже лучше, пристроишься между ними – и не нужны никакие «подарочки». Эти французские штучки сильно мешают наслаждаться, а без них нельзя: того и гляди нарвешься.

Лежа навзничь, он привлек к себе Мэгги, присосался к ее груди. Невыразимое презрение поднялось в Мэгги; мужчины просто смешны, в такие минуты они и на людей-то не похожи. Вот он совсем себя не помнит,

мнет ее лапами и урчит, точно какой-то громадный котенок сосет кошку... И вдруг она ощутила бедром то самое, на сей раз ничем не защищенное.

Все, что происходило, ничуть не волновало Мэгги, мысли оставались ясными. И ее осенило. Медленно, незаметно она передвинулась поближе к нему – и, стиснув зубы, задержав дыхание, чтобы не изменило мужество, соединилась с ним. Да, больно, но, оказывается, и вполтину не так больно, как прежде. Так все гораздо легче и терпимее.

Люк открыл глаза. Попытался оттолкнуть Мэгги, но... Боже милостивый, ничего подобного он еще не испытывал! Никогда прежде он не был с женщиной без этой помехи, он и не подозревал, как велика разница. И у него неостало сил ее оттолкнуть, ему было уже не до прежнего удовольствия, под конец он даже обнял ее и крепче прижал к себе. Мужчине не к лицу стонать и кричать, но он не удержался и после всего нежно поцеловал жену.

– Люк...

– Что?

– Почему нельзя всегда так?

– Нам и сейчас нельзя было так делать, Мэг, и, уж конечно, больше нельзя. Я не успел удрать...

Мэгги наклонилась над ним, погладила его по груди.

– Ох, Люк, пожалуйста! Так гораздо лучше и почти не больно. Я осторожна, все обойдется. Пожалуйста!

Найдется ли на свете человек, способный устоять, когда ему так убедительно предлагают вновь испытать несказанное наслаждение? Люк кивнул, уступая соблазну, точно праотец Адам, ибо в эту минуту он знал гораздо меньше, чем Мэгги: она уже понимала, как его перехитрить.

– Наверное, ты права, а мне куда приятней, когда ты не против. Ладно, Мэг, вперед будем делать по-твоему.

И Мэгги, довольная, улынулась в темноте. «Так-то, мой милый, я тебе покажу! Ты у меня дождеешься, Люк О’Нил! Осторожна, ха! Жива не буду, а ребеночка рожу!»

Здесь, вдали от жаркой, удушливой сырости прибрежных равнин, Люк быстро поправлялся. Он ел с аппетитом, начал прибавлять в весе и уже не пугал неестественной худобой, с кожи слиняла болезненная желтизна, и она снова стала смуглой. И при том, как пылко и охотно отвечала теперь Мэгги на его ласки, оказалось не слишком трудно уговорить его вместо двух недель, как было задумано, провести на отдыхе еще и третью неделю, а там и четвертую. Но на исходе месяца он взбунтовался:

– Хватит, Мэг. Я опять здоров как бык. А мы с тобой ведем роскошную

жизнь и зря тратим деньги. И я нужен Арне Свенсону.

– Может быть, передумаешь, Люк? Если ты всерьез хочешь купить ферму, можешь купить ее хоть сейчас.

– Давай еще малость потерпим, Мэг.

И конечно, он умолчал о другом: его неодолимо тянуло на плантации тростника, то была присущая иным мужчинам странная тяга к самой трудной, самой тяжелой работе, которая забирает человека всего, без остатка. Пока он молод и силен, Люк тростнику не изменит. У Мэгги оставалась одна надежда – может быть, она заставит его передумать, если родит ему ребенка, наследника их земли в округе Кайнуна.

И вот она снова в Химмельхохе, ждет и надеется. Ей очень, очень нужен ребенок! Если будет ребенок, распутаются все узлы, только бы ей ребенка! И выяснилось: ребенок будет. Она сказала Энн и Людвигу, и оба возликовали. Людвиг, тот был просто неоценим. Оказалось, он превосходно шьет и вышивает – ни тому ни другому Мэгги так и не успела научиться, – и вот мозолистыми искусными руками он колдует над крохотной иголочкой и тонкой, нежной тканью, а Энн с помощью Мэгги готовит детскую.

Одна беда, малыш еще до рождения вел себя плохо – то ли из-за жары, то ли оттого, что мать не была счастлива, этого Мэгги и сама не понимала. Ее тошнило не только по утрам, но целыми днями, и пора бы давно прекратиться этой тошноте, а ей конца не видно; в весе Мэгги прибавляла мало и медленно, а между тем ее сильно мучили отеки и так поднялось давление, что доктор Смит всерьез забеспокоился. Сначала он хотел до самых родов уложить ее в больницу в Кэрнсе, но после долгого раздумья решил: раз около нее нет ни мужа, ни друзей, лучше ей оставаться в доме Энн и Людвига, они-то о ней заботятся. Но уж на последние три недели ей, безусловно, надо поехать в Кэрнс.

– И постарайтесь вызвать мужа, пускай приедет, повидается с ней! – сердито крикнул он Людвигу.

Мэгги сразу же написала Люку о своей беременности, она чисто по-женски воображала, будто, узнав, что нежеланное уже совершилось, Люк не просто примирится с неизбежным, но придет в восторг. Его ответное письмо мигом рассеяло эти розовые мечты. Люк пришел в ярость. Стать отцом – для него это только и означало, что раньше надо было лишь прокормиться самому, а теперь будут на шее два едока. Горькая это была пилюля для Мэгги, но пришлось проглотить – выбора не оставалось. Будущий ребенок привязывал ее отныне к Люку так же прочно, как и гордость.

Но теперь она совсем больная, беспомощная, и ей так не хватает любви; ребенок – и тот ее не любит, он зачат против своей воли и не желает появляться на свет. Мэгги чувствовала: крохотное существо внутри протестует как может, не хочет расти и жить. Будь у нее силы проехать две тысячи миль по железной дороге, она бы вернулась домой, но доктор Смит и слышать об этом не хотел. Неделя, а то и больше в поезде, даже с перерывами, для ребенка – верная гибель. И как ни несчастна, как ни разочарована была Мэгги, сознательно повредить ребенку она не хотела. Но время шло – и меркла ее радость, мечта о живом существе, которое принадлежало бы ей одной, которое можно бы любить без оглядки: еще не рожденный младенец давался все тяжелее, все хуже с ней ладил.

Доктор Смит начал поговаривать о том, чтобы пораньше отправить ее в Кэрнс; он далеко не уверен, что роды в Данглоу сойдут благополучно, ведь тут не больница, а так, домишко-изолятор. Кровяное давление у Мэгги то и дело подскакивает, отечность усиливается; доктор Смит заговорил о токсикозе, об эклампсии, произносил еще какие-то мудреные слова и так напугал Энн с Людвигом, что они согласились на Кэрнс, как ни хотелось им, чтобы ребенок родился у них, в Химмельхохе.

Май был на исходе, оставалось ждать еще месяц, через месяц Мэгги наконец избавится от этой невыносимой обузы, от этого неблагоприятного младенца. Она уже начала его ненавидеть – того самого малыша, которого так жаждала, пока не испытала, сколько от него неприятностей. Ну с чего она взяла, будто Люк обрадуется, когда узнает, что ребенок уже существует и должен родиться? По всему его поведению с тех пор, как они женаты, могла бы понять – на это надеяться нечего.

Да, пора признать: все рухнуло, пора отбросить дурацкую гордыню и попытаться спасти из развалин, что еще можно спасти. Они поженились из ложных побуждений – Люк польстился на ее деньги, а она хотела убежать от Ральфа де Брикассара и в то же время пыталась его для себя сохранить. Они ведь и не притворялись, будто любят друг друга, а между тем только любовь могла бы помочь им одолеть тяжкую путаницу, возникшую оттого, что они совсем разного хотели и к разному стремились.

И вот что странно: Мэгги не чувствовала настоящей ненависти к Люку, но все чаще, все сильнее ненавидела Ральфа де Брикассара. А ведь, в сущности, Ральф поступал с ней много добрее и честнее, чем Люк. Он всегда старался, чтобы она видела в нем только друга и духовного пастыря, не больше, и хоть он дважды ее поцеловал, но ведь оба раза первый шаг сделала она.

Тогда с чего же так на него злиться? С чего ненавидеть Ральфа, а не

Люка? Виновата она сама, ничего не смыслит в жизни, ее страхи виноваты и непомерная злая обида на него за то, что он упорно ее отталкивал, а она так любила его, так жаждала его любви. И еще виноват дурацкий порыв, что толкнул ее выйти за Люка О'Нила. Она предала и себя, и Ральфа. Что за важность, если ей и нельзя было стать его женой, спать с ним, родить от него ребенка. Что за важность, если он и не хотел ее, а он и вправду ее не хотел. Важно одно: ей нужен только он, и нечего было мириться с меньшим.

Но понять, в чем ошибка, еще не значит ее исправить. Она остается женой Люка О'Нила и ребенка родит от Люка О'Нила. Как же ей радоваться будущему ребенку Люка, если сам Люк этого ребенка не желает? Бедный малыш. Но по крайней мере, когда он родится, он будет сам по себе, совсем новый человек, и можно будет любить его самого. Да только... Вот если бы это был ребенок Ральфа де Брикассара! А это невозможно, этому не бывать. Ральф служит церкви, а церковь требует его всего без остатка, требует даже и то, в чем не нуждается, – его мужское начало. Святая церковь требует, чтобы оно принесено было ей в жертву, этим она утверждает свою власть над своим слугой – и уничтожает его, вычеркивает из жизни, ибо, когда он перестанет дышать, он никого не оставит после себя. Но придет день, и она поплатится за свою жадность. Придет день – и не останется больше Ральфов де Брикасаров, ибо они начнут ценить в себе мужское начало и поймут, что церковь требует от них жертвы напрасной, совершенно бессмысленной...

Мэгги резко поднялась, тяжелой походкой прошла в гостиную – там Энн читала запрещенный роман Нормана Линдсея, явно наслаждаясь каждым запретным словом.

– Энн, кажется, выйдет по-вашему.

Энн рассеянно подняла голову:

– О чем вы, дорогая?

– Позвоните доктору Смит. Я рожу этого несчастного младенца тут, у вас, и очень скоро.

– О Господи! Идите в спальню и ложитесь – не к себе, в нашу спальню!

Кляня капризы судьбы и решимость младенцев, доктор Смит примчался из Данглоу на своей старой, расхлябанной машине, прихватив местную акушерку и все инструменты и лекарства, какие нашлись в его захолустной больничке. Укладывать Мэгги в эту жалкую больничку нет ни малейшего смысла: все, что можно сделать там, он сделает и в Химмельхохе. Вот если бы в Кэрнс – другое дело.

– Мужа известили? – спросил он, взбежав на крыльцо в сопровождении акушерки.

– Послали телеграмму. Мэгги в моей комнате; я подумала, там вам будет просторнее.

И Энн заковыляла за приезжими в спальню. Мэгги лежала на кровати, смотрела широко раскрытыми глазами, но ничем не показывала, что ей больно, лишь изредка судорожно стискивала руки и корчилась. Она повернула голову, улыбнулась Энн – и в этих широко раскрытых глазах Энн увидела безмерный испуг.

– Я рада, что не попала в Кэрнс, – сказала Мэгги. – Моя мама никогда не ложилась для этого в больницу, а папа как-то сказал, что из-за Хэла она ужасно намучилась. Но она осталась жива, и я тоже не умру. В семье Клири женщины живучие.

Несколько часов спустя доктор Смит вышел на веранду к Энн:

– У бедняжки очень затяжные и тяжелые роды. Первый ребенок почти всегда трудно дается, а у этого еще и положение неправильное, и она только мучается, а дело не движется. Будь она в кэрнской больнице, мы бы сделали кесарево сечение, а здесь об этом и думать нечего. Она должна разродиться сама.

– Она в сознании?

– Да, в полном сознании. Храбрая малютка, не кричит, не жалуется. Самым лучшим женщинам приходится тяжелей всех, вот что я вам скажу. Она все спрашивает, приехал ли уже Ральф, пришлось что-то сочинить, я ей сказал, что дорогу размыло. Мне казалось, ее мужа зовут Люк?

– Да.

– Хм-м! Ну, может быть, потому ей и понадобился Ральф, кто он там ни есть. От этого Люка, видно, радости мало?

– Он негодяй.

Энн оперлась обеими руками на перила веранды, наклонилась. С дороги, ведущей из Данглоу, свернуло такси, вот оно поднимается в гору, к Химмельхоху. Зоркие глаза Энн издали различили темные волосы пассажира на заднем сиденье, и у нее вырвался возглас радости и облегчения.

– Просто глазам не верю, но, кажется, Люк все-таки вспомнил, что у него есть жена!

– Я лучше пойду к ней, а вы с ним сами справляйтесь, Энн. Я ей пока ничего не скажу, вдруг вы обознались. А если это он, прежде чем огоршить, дайте ему чашку чаю. Пускай сперва подкрепитя.

Такси остановилось; к удивлению Энн, шофер вышел и сам распахнул

дверцу перед пассажиром. У Джо Кастильоне, водителя единственного в Данни такси, такая любезность была не в обычае.

– Приехали, ваше преосвященство, – сказал он и низко поклонился.

Из машины вышел человек в длинной развевающейся черной сутане, перепоясанной лиловым шелком, повернулся – и на миг ошеломленной Энн почудилось, что Люк О’Нил разыгрывает с ней какую-то непостижимую шутку. Потом она увидела, что это совсем другой человек, по крайней мере лет на десять старше Люка. «Господи, – подумала она, пока он, высокий, стройный, поднимался к ней, шагая через две ступеньки, – в жизни не видела такого красавца! Архиепископ, не больше и не меньше! Что понадобилось католическому архиепископу от нас с Людвигом, старых лютеран?»

– Миссис Мюллер? – спросил он с улыбкой, глядя на нее сверху вниз синими глазами; взгляд был добрый, но какой-то отрешенный, словно этот человек против воли слишком много видел на своем веку и давным-давно умудрился заглушить в себе способность что-либо чувствовать.

– Да, я Энн Мюллер.

– Я архиепископ Ральф де Брикассар, легат его святейшества папы в Австралии. Насколько я знаю, у вас живет жена Люка О’Нила?

– Да, сэр.

«Ральф? Ральф?! Так это и есть Ральф?!»

– Я ее старинный друг. Скажите, нельзя ли мне ее повидать?

– Видите ли, архиепископ... – нет, так не говорят, к архиепископу надо обращаться «ваше преосвященство», как Джо Кастильоне, – я уверена, при обычных обстоятельствах Мэгги была бы очень рада вас видеть, но сейчас она рожает, и роды очень тяжелые.

И тут Энн увидела, что этот человек не сумел до конца подавить в себе способность чувствовать, а лишь силою рассудка загнал ее в самый дальний угол сознания, точно забитого пса. Глаза у него были синие-синие, Энн совсем потонула в них, а на дне увидела такое... и с недоумением спросила себя: что Мэгги для этого архиепископа и что он для Мэгги?

– Я знал, знал, что с ней что-то случилось! Давно это чувствовал, а в последнее время тревожился до безумия. Я должен был приехать, убедиться своими глазами. Пожалуйста, позвольте мне повидать ее! Хотя бы потому, что я священник.

Энн вовсе и не думала ему отказывать.

– Идемте, ваше преосвященство. Сюда, пожалуйста.

И она медленно заковыляла, опираясь на костыли, а мысли обгоняли одна другую: «Чисто ли в доме, прибрано ли? Вытерла ли я сегодня пыль?

Не забыли мы выкинуть протухшую баранью ногу, вдруг ею все пропахло? Надо ж было такому важному гостю явиться в самое неподходящее время! Людвиг, увалень несчастный, хоть бы ты слез наконец с трактора и пришел домой! За тобой сто лет назад послано!»

Гость прошел мимо доктора Смита и акушерки, словно их тут и не было, опустился на колени у постели, взял больную за руку.

– Мэгги!

Через силу она всплыла из страшного сна, куда погрузилась, точно в омут, уже ко всему равнодушная, и увидела совсем близко любимое лицо, густые черные волосы, в которых теперь двумя белыми крыльями светилась седина, и тонкое аристократическое лицо, в котором чуть больше стало морщин и – что, казалось бы, невозможно – еще больше терпения, и синие глаза заглянули ей в глаза с бесконечной любовью и нежностью. Как могла она вообразить, будто Люк на него похож? Другого такого нет на свете и не будет, а она предала свое чувство к нему. Люк – отражение в темном стекле, а Ральф ослепителен, точно солнце, и, точно солнце, недостижим. Какое счастье видеть его!

– Помоги мне, Ральф, – сказала она.

Он пылко поцеловал ее руку, потом прижал к своей щеке.

– Я всегда готов тебе помочь, моя Мэгги, ты же знаешь.

– Помолись за меня и за маленького. Только ты можешь нас спасти. Ты ближе нас к Богу. Мы никому не нужны, мы никогда никому не были нужны, даже тебе.

– А где Люк?

– Не знаю, мне все равно.

Мэгги закрыла глаза, голова ее метнулась на подушке – вправо, влево, но пальцы все так же крепко, не отпуская, сжимали его руку.

Доктор Смит коснулся его плеча:

– Теперь вам лучше уйти отсюда, ваше преосвященство.

– Если ее жизнь будет в опасности, вы меня позовете?

– Непременно.

С плантации наконец примчался Людвиг, вне себя от тревоги: кругом ни души, а в спальню он войти не смел. Наконец на веранду вышли Энн с архиепископом.

– Как она, Энн?

– Пока ничего. Доктор не говорит прямо, но, по-моему, у него появилась надежда. Познакомься, Людвиг, у нас гость. Это архиепископ Ральф де Брикассар, старый друг Мэгги.

Людвиг, более сведущий в подобных делах, чем его жена, опустился на

одно колено и поцеловал кольцо на руке, которую протянул ему архиепископ.

– Присядьте, ваше преосвященство, поговорите с Энн. Я пойду приготовлю чай.

– Так вы и есть Ральф, – сказала Энн.

Она прислонила костыли к бамбуковому столику, гость сел напротив; живописно спадали складки сутаны, из-под них виднелись начищенные до блеска черные сапоги для верховой езды – он закинул ногу на ногу. Не очень-то мужская поза, а впрочем, это не важно, ведь он священник, и, однако, такая ли поза, другая ли, а чувствуется в нем что-то очень мужественное. И пожалуй, он моложе, чем ей сначала показалось; должно быть, едва-едва за сорок. Такой великолепный образчик силы и красоты – и пропадает понапрасну!

– Да, я Ральф.

– С той минуты, как у Мэгги начались схватки, она не переставала звать какого-то Ральфа. Признаться, я ничего не понимала. Прежде она ни разу не упоминала при мне ни о каком Ральфе.

– Очень на нее похоже.

– Откуда вы знаете Мэгги, ваше преосвященство? И давно ли?

Священник натянуто улыбнулся, сложил тонкие, необыкновенно красивые руки шатром, так что касались друг друга лишь кончики пальцев.

– Я познакомился с Мэгги, когда ей было десять лет, через несколько дней после ее приезда из Новой Зеландии. По справедливости можно сказать, что я знал Мэгги в дни потопа и пожара, в дни душевного голода, в дни жизни и смерти. Все это нам пришлось претерпеть. Мэгги – это зеркало, в котором мне суждено видеть, что я обыкновенный смертный.

– Вы ее любите! – с удивлением сказала Энн.

– Всегда любил.

– Какое несчастье для вас обоих.

– Я надеялся, что только для меня. Расскажите мне о ней, что с ней было с тех пор, как она вышла замуж. Уже много лет я ее не видел, но всегда за нее тревожился.

– Я вам все про нее расскажу, но сначала расскажите вы. Нет-нет, я спрашиваю не о личном, просто – как она жила до переезда в Данни? Ведь нам с Людвигом совсем ничего про нее не известно, мы только и знаем, что прежде она жила где-то под Джилленбоуном. Нам хотелось бы знать больше, потому что мы очень ее полюбили. Но она никогда ничего не рассказывала, наверное, из гордости.

Вошел Людвиг, притащил поднос с чаем и всякой едой, сел к столу, и

архиепископ коротко рассказал Мюллерам, как жила Мэгги, прежде чем стала женой Люка.

– Вовек бы ничего такого не подумала! Чтобы у Люка О’Нила хватило наглости оторвать ее от всего этого и превратить в прислугу! И еще с условием, чтобы мы ее жалование клали на его текущий счет! А вы знаете, что у бедняжки за все время, пока она здесь, ни гроша в кармане не было? На Рождество я велела Людвигу дать ей кое-какие деньги наличными, но к этому времени она уже так обносилась, что пришлось их сразу потратить, а больше она у нас ничего брать не захотела.

– Не жалейте Мэгги, – резковато сказал архиепископ Ральф. – Я думаю, сама она о своей судьбе не жалеет, уж во всяком случае, не из-за того, что у нее нет денег. В конце концов, от денег-то она видела мало радости. А если бы ей понадобились деньги, она знает, где их взять. Думаю, явное равнодушие Люка ранит ее гораздо больней, чем безденежье. Несчастливая моя Мэгги!

Потом Энн и Людвиг стали рассказывать, как живет Мэгги у них в доме, а де Брикассар слушал, все так же сведя руки шатром, кончиками пальцев одна к другой, и неотрывно смотрел на раскинувшиеся широкими веерами листья красавицы пальмы перед домом. Ни разу ничто не дрогнуло в его лице, ничто не переменилось в отрешенном взоре прекрасных синих глаз. Да, он многому научился за годы службы при Витторио Скарбанца, кардинале ди Контини-Верчезе.

Дослушав этот рассказ, Ральф де Брикассар вздохнул и перевел взгляд на озабоченные лица Мюллеров.

– Что ж, очевидно, мы должны ей помочь, раз этого не делает Люк. Если она и в самом деле ему не нужна, лучше ей вернуться в Дрохеду. Я понимаю, вам жаль с ней расставаться, но ради блага Мэгги постарайтесь уговорить ее вернуться домой. Я вышлю ей из Сиднея чек, чтобы ей не пришлось просить денег у брата. А дома она все объяснит своим так, как сама пожелает. – Он взглянул в сторону спальни, тревожно покачал головой: – Боже милостивый, дай младенцу родиться благополучно!

Но ребенок родился только через сутки, и Мэгги, обессиленная, измученная, едва не умерла. Доктор Смит щедро давал ей опий, по старинке полагая, что это в подобных случаях самое верное, и ее затягивало и кружило в водовороте непрестанных кошмаров, мерещились чудища, которые набрасывались на нее извне и изнутри, царапали, грызли, рвали клыками и когтями, выли, скулили, рычали. Порой на миг перед глазами отчетливо возникало лицо Ральфа – и вновь его смывало нахлынувшей болью; но она все равно помнила о нем и знала: пока он ее

охраняет, ни она, ни ребенок не умрут.

Порой доктору Смиту удавалось урвать минуту, чтобы перекусить, подкрепиться ромом и удостовериться, что никто из других его пациентов по собственной опрометчивости не умер; он оставлял акушерку справляться своими силами и за это время узнал кое-что из истории Мэгги – ровно столько, сколько Энн и Людвиг сочли уместным ему рассказать.

– Вы правы, Энн, – сказал он, выслушав все это. – Вероятно, в ее теперешних мучениях виновата, среди прочего, верховая езда. Для женщин, которым приходится много ездить верхом, очень плохо, что дамское седло вышло из моды. От мужской посадки развиваются не те мышцы, какие нужны для родов.

– Я слышал, что это просто предрассудок, – мягко заметил архиепископ.

Доктор Смит окинул его недобрый взглядом. Доктор Смит отнюдь не питал нежных чувств к католическим священникам, полагая, что они все до единого – безмозглые ханжи и лицемеры.

– Думайте как угодно, – сказал он, – но ответьте мне на один вопрос, ваше преосвященство: если встанет выбор, сохранить ли жизнь Мэгги или ребенку, что подскажет вам ваша совесть?

– В этом вопросе церковь непреклонна, доктор. Она не допускает никакого выбора. Нельзя погубить младенца ради спасения матери, и нельзя погубить мать ради спасения младенца. – Он ответил доктору Смиту такой же недоброй улыбкой. – Но если бы до этого дошло, доктор, я сказал бы вам без колебаний: спасите Мэгги и черт с ним, с младенцем.

Доктор Смит изумленно ахнул, рассмеялся и хлопнул архиепископа по спине.

– Да вы молодчина! Будьте спокойны, я не разболтаю, что вы сказали. Но пока что ребенок жив, и, по-моему, сейчас нет никакого смысла его убивать.

А Энн подумала: «Хотела бы я знать, что бы вы ответили, архиепископ, если бы это был ваш ребенок».

Часа через три, когда предвечернее солнце уже печально клонилось к окутанной туманом громаде горы Бартл-Фрир, доктор Смит вышел из спальни.

– Ну вот, кончилось, – сказал он, явно довольный. – У Мэгги еще много всякого впереди, но, даст Бог, все будет хорошо. А родилась девчонка, тощенькая, слабенькая, всего пяти фунтов весом, до безобразия головастая и с бешеным нравом, под стать ее огненно-рыжим волосам. Я в жизни еще не принимал такого огненно-рыжего младенца. Эту кроху даже

топором не прикончишь, я-то знаю, я почти что попробовал.

Сияющий Людвиг откупорил давно припасенную бутылку шампанского, наполнил бокалы, и все пятеро – священник, врач, акушерка, фермер и его калека жена стоя выпили за здоровье и счастье молодой матери и громко вопящего злонравного младенца. Было первое июня, первый день австралийской зимы.

На смену акушерке приехала сиделка, она должна была оставаться в Химмельхохе, пока Мэгги не окажется вне опасности. Врач и акушерка отбыли, а Энн, Людвиг и архиепископ пошли взглянуть на Мэгги.

На этой двуспальной кровати она казалась такой крохотной, такой худенькой, что архиепископу Ральфу пришлось запрянуть в дальний уголок памяти еще и эту боль – позднее надо будет извлечь ее на свет, и обдумать, и стерпеть. «Мэгги, бедная моя, страдавшаяся, потерпевшая крушение Мэгги... я всегда буду тебя любить, но я не могу дать тебе того, что дал, хоть и против своей воли, Люк О'Нил».

А причина всего – крикливый комочек мяса – лежала в плетеной колыбели у дальней стены и знать не знала тех, что обступили ее и разглядывали. Новорожденная сердито кричала, кричала без умолку. Наконец сиделка подняла ее вместе с колыбелью и унесла в комнату, которая отныне стала детской.

– Что-что, а легкие у нее здоровые, – сказал архиепископ Ральф, сел на край кровати и взял бескровную руку Мэгги в свои.

– По-моему, жизнь ей не очень понравилась, – улыбнулась в ответ Мэгги. «Как он постарел! По-прежнему крепкий и стройный, но как будто прожил сто лет». Мэгги повернула голову к Энн и Людвигу, протянула им свободную руку: – Милые, добрые мои друзья! Что бы я делала без вас? А от Люка нет вестей?

– Пришла телеграмма, он очень занят, приехать не может, но шлет вам наилучшие пожелания.

– Очень великодушно с его стороны, – сказала Мэгги.

Энн быстро наклонилась, поцеловала ее в щеку.

– Мы пойдем, дорогая, не будем мешать. Уж наверно вам с архиепископом есть что порассказать друг другу. – Энн оперлась на руку мужа, пальцем поманила сиделку: та изумленно разглядывала священника, будто глазам своим не верила. – Пойдемте, Нетти, выпейте с нами чаю. Если вы понадобится Мэгги, его преосвященство вас позовет.

– Как же ты назовешь свою крикунью дочку? – спросил архиепископ, когда дверь затворилась и они с Мэгги остались вдвоем.

– Джастина.

- Очень хорошее имя, но почему ты его выбрала?
- Вычитала где-то, и мне понравилось.
- Она нежеланный ребенок, Мэгги?

Мэгги страшно осунулась, на исхудалом лице остались, кажется, одни глаза; глаза эти, кроткие, затуманенные, тихо светились, в них не было ненависти, но не было и любви.

– Наверное, желанный. Да, желанный. Я столько хитрила, чтобы заполучить ее. Но пока я ее носила, я к ней никаких чувств не испытывала, только и чувствовала: я-то ей нежеланна. Мне кажется, она никогда не будет моим ребенком или дочерью Люка, она будет ничья. Мне кажется, она всегда будет сама по себе.

– Мне пора, Мэгги, – негромко сказал Ральф.

Ее глаза холодно блеснули, губы искривила недобрая гримаса.

– Так я и знала! Забавно, как мужчины всегда спешат удрать от меня и забиться в щель!

Он поморщился:

– Не надо так зло, Мэгги. Мне невыносимо уехать и помнить тебя такой. Прежде, что бы с тобой ни случилось, ты всегда оставалась милой и нежной, и это было мне в тебе всего дороже. Не изменяй себе, пусть все, что произошло, тебя не ожесточит. Я понимаю: наверное, это ужасно, что Люк так невнимателен, даже не приехал, но не изменяй себе. Тогда бы ты перестала быть моей Мэгги.

Но она все смотрела на него чуть ли не с ненавистью.

– А, перестаньте, Ральф! Совсем я не ваша Мэгги и никогда вашей не была. Вы меня не хотели, это вы толкнули меня к нему, к Люку. Что я, по-вашему, святая? Или, может, монахиня? Ничего подобного! Я самая обыкновенная женщина, и вы испортили мне жизнь! Сколько лет я вас любила, и никто больше не был мне нужен, и я вас ждала... я изо всех сил старалась вас забыть, а потом вышла за него замуж, потому что мне показалось – он немножко похож на вас, а он вовсе меня не хочет, и я ему не нужна. Неужели это такие уж непомерные требования к мужчине, когда хочешь быть ему нужной и желанной?

Она всхлипнула, но тотчас овладела собой; впервые он заметил на ее лице страдальческие морщинки и понял: этих следов не изгладят ни отдых, ни возвращенное здоровье.

– Люк неплохой человек и даже не без обаяния, – продолжала Мэгги. – Мужчина как мужчина. Все вы одинаковы, такие огромные волосатые мотыльки, изо всех сил рветесь к какому-нибудь дурацкому огоньку, бьетесь о прозрачное стекло и никак его не разглядите. А уж если

ухитритесь пробраться сквозь стекло, так лезете прямо в огонь и сгораете, и конец. А ведь рядом тень и прохлада, есть и еда, и любовь, и можно завести новых маленьких мотыльков. Но разве вы это видите, разве вы этого хотите? Ничего подобного! Вас опять тянет к огню, и вы бьетесь, бьетесь до бесчувствия, пока не сгорите!

Он не знал, что сказать, она вдруг повернулась к нему новой, прежде неведомой стороной. Было в ней это всегда или появилось оттого, что она исстрадалась, несчастна, брошена? Мэгги – и вдруг говорит такое? Он почти и не слышал ее слов, его слишком потрясло, что она способна так говорить, и потому он не понял, что это кричит в ней одиночество и сознание вины.

– А помнишь, в тот вечер, когда я уезжал из Дрохеды, ты подарила мне розу? – спросил он с нежностью.

– Да, помню.

Голос ее прозвучал безжизненно, гневный огонь в глазах погас. Теперь она смотрела как человек, который уже ни на что не надеется, глазами, ничего не говорящими, стеклянными, как глаза ее матери.

– Эта роза и сейчас со мной, в моем требнике. И каждый раз, как я вижу розу такого цвета, я думаю о тебе. Я люблю тебя, Мэгги. Ты – моя роза, твой прекрасный человеческий образ и мысль о тебе всегда со мной.

И опять опустились углы ее губ, а глаза вспыхнули гневно, почти ненавидяще.

– Образ, мысль! Че-ло-веческий образ и мысль! Вот именно, только это я для вас и значу! Вы просто романтик, глупый мечтатель, вот вы кто, Ральф де Брикассар! Вы ровно ничего не смыслите в жизни, вы ничуть не лучше этого самого мотылька! То-то вы и стали священником! Будь вы обыкновенный человек, вы бы не умели жить обыкновенной жизнью, вот как Люк не умеет, хотя он-то и обыкновенный! Говорите – любите меня, а сами понятия не имеете, что значит любить, просто повторяете заученные слова, потому что воображаете – это красиво звучит! Ума не приложу, почему вы, мужчины, еще не исхитрились совсем избавиться от нас, женщин? Вам ведь без нас было бы куда приятней, правда? Надо бы вам изобрести способ жениться друг на друге, вот тогда бы вы блаженствовали!

– Не говори так, Мэгги! Прошу тебя, дорогая, не надо!

– Уходите! Видеть вас не хочу! И вы кое-что забыли про ваши драгоценные розы, Ральф: у них есть еще и острые, колющие шипы!

Он вышел не оглядываясь.

На телеграмму с известием, что он стал отцом и может гордиться

дочерью весом в пять фунтов по имени Джастина, Люк даже не потрудился ответить.

Мэгги медленно поправлялась, стала прибавлять в весе и дочка. Быть может, если бы Мэгги кормила сама, ее соединили бы с этим тощеньким капризным созданием более прочные узы, но в пышной груди, к которой с наслаждением льнул Люк, не оказалось ни капли молока. Вот такая насмешка судьбы, а впрочем, это справедливо, думала Мэгги. Она добросовестно, как оно и полагается, пеленала и поила из бутылочки крохотное существо с красной рожицей и огненно-рыжим пухом на голове и все ждала, что внутри всколыхнется какая-то чудесная, всепоглощающая нежность. Но ничего такого не случилось; не было ни малейшего желания осыпать эту крохотную рожицу поцелуями, тихонько кусать крохотные пальцы и проделывать еще тысячу глупостей, что так любят проделывать матери со своими младенцами. Не было ощущения, что это ее ребенок, и он так же мало тянулся к ней, так же мало в ней нуждался, как и она в нем. Он, он! Мэгги даже не вспоминала, что о дочке надо говорить – она.

Людвиг с Энн и помыслить не могли, что Мэгги вовсе не обожает свою Джастину и привязана к ней куда меньше, чем была привязана ко всем своим младшим братишкам. Стоит Джастине заплакать – и Мэгги уже тут как тут, берет на руки, воркует над ней, укачивает, малышка всегда чистенькая, ухоженная. Странно только, что она как будто вовсе не желает, чтобы ее брали на руки и ворковали над ней, и гораздо быстрее затихает, если ее оставить в покое.

Понемногу она становилась приятнее с виду. Кожа не красная уже, а белая, прозрачная, как часто бывает у рыжих, и сквозь нее чуть просвечивают голубые жилки, крохотные руки и ноги теперь младенчески пухлые. Волосы стали гуще, кудрявее и навсегда обрели ту же вызывающе яркую окраску, что отличала малышкиного деда Пэдди. Все с нетерпением ждали, какого цвета будут у девочки глаза. Людвиг спорил, что в отца – синие, Энн уверяла – серые, материнские, Мэгги ничего не предугадывала, просто ждала. Но оказалось, глаза у Джастины совсем особенные, ни на чьи больше не похожие и, пожалуй, страшноватые. Когда девочке минуло полтора месяца, они стали терять младенческую молочную голубизну, а на третий месяц окончательно определились и разрез их, и цвет. Необыкновенные, поразительные глаза. По краю радужной оболочки – очень темное серое кольцо, а сама она такая светлая, что даже не разобрать, серая или голубая, точнее всего бы сказать – темно-белая. Какие-то странные, нечеловеческие глаза, от них нельзя оторваться, они вселяют тревогу, а смотрят словно не видя; но со временем стало ясно, что видит

Джастина превосходно.

Хотя доктор Смит и не говорил об этом вслух, его сильно беспокоило, что девочка родилась неестественно большеголовая, и первые полгода он пристально следил за ее развитием; особенно встревожили его эти странные глаза: уж нет ли у нее, как он все еще называл это по старинке, головной водянки (в учебниках медицины таких детей теперь именуют гидроцефалами). Но нет, судя по всему, мозг у Джастины вполне нормальный и работает как полагается; просто голова великовата, но девочка растет, выравнивается, и голова уже не кажется такой несоразмерно огромной.

Люк все не появлялся. Мэгги несколько раз ему писала, но он не отвечал и ни разу не приехал посмотреть на своего ребенка. Отчасти Мэгги это даже радовало: она бы просто не знала, что ему сказать, и сильно сомневалась, чтобы это странное существо – их дочка – привела его в восторг. Родись у них большой, крепкий мальчишка, Люк, возможно, оттаял бы, но Мэгги несказанно радовалась, что Джастина не мальчишка. Вот оно, живое доказательство, что распрекрасный Люк О’Нил далеко не совершенство: будь он настоящим мужчиной, от него бы, конечно, рождались только сыновья!

Дочка чувствовала себя гораздо лучше, чем Мэгги, быстрее поправлялась после великого испытания – появления на свет. К четверем месяцам она уже не так много плакала и, лежа в колыбели, развлекалась самостоятельно: хватала и дергала висящие перед ней яркие разноцветные шарики. Но она никогда никому не улыбалась, не видели у нее даже бессознательной «желудочной» улыбки, свойственной всем младенцам.

В октябре настала мокраядь, время дождей, – и это было до невозможности дождливое время. Влажность воздуха дошла до ста процентов и уже не уменьшалась; изо дня в день часами лило как из ведра, потоки воды с шумом низвергались на Химмельхох, красная почва совсем раскисла, сахарный тростник размок, широкая и глубокая река Данглоу вздулась, но из берегов выйти не успела – она слишком коротка, воды ее слишком быстро вливаются в море. Джастина лежала в колыбели и странными своими глазами созерцала мир, а Мэгги сидела и тупо смотрела, как за сплошной стеной дождя исчезает и вновь появляется гора Бартл-Фрир.

Выглянет солнце – и земля начинает куриться трепетными струйками пара, в мокрых стеблях тростника искрятся влажные алмазы, река становится исполинской золотой змеей. И в небе от края до края встает безукоризненно вычерченная двойная радуга, такая яркая на фоне

сумрачных сизых туч, что краски любой земли, кроме Северного Квинсленда, показались бы тусклыми и жалкими. Но Северный Квинсленд ничуть не меркнет даже перед этим божественным сиянием, и Мэгги кажется, что теперь она понимает, отчего так бесцветна серо-бурая Джилленбоунская равнина: Северный Квинсленд присвоил и ее долю ярких красок.

Однажды в начале декабря Энн вышла на веранду, села рядом с Мэгги, внимательно на нее посмотрела. До чего же она худая, угасшая! Даже чудесные золотые волосы – и те утратили прежний блеск.

– Не знаю, Мэгги, может быть, я неправильно поступила, но дело сделано, и вы не говорите «нет», сначала выслушайте меня.

Мэгги отвела глаза от радуги, улыбнулась:

– Как торжественно это звучит, Энн! Что же я должна выслушать?

– Мы с Людвигом очень за вас беспокоимся. Вы плохо поправлялись после родов, а теперь, когда начались дожди, выглядите и того хуже. Плохо едите, худеете. Я всегда думала, что здешний климат вам не подходит, но, пока не прибавилось тягот, вы кое-как справлялись. А теперь, мы оба считаем, со здоровьем у вас плохо, и если так и оставить, вы заболете всерьез.

Энн перевела дух.

– Ну и вот, две недели назад я написала одной приятельнице в бюро обслуживания туристов, и мы устроили вам каникулы. И не говорите о расходах: ни карман Люка, ни наш от этого не пострадают. Архиепископ прислал для вас очень солидный чек, и ваш брат тоже прислал денег для вас и для маленькой, это от всех ваших в Дрохеде, и мне кажется, брат хочет, чтобы вы приехали домой погостить. Мы с Людвигом все это обсудили и решили, что самое разумное – потратить часть этих денег на хорошие каникулы для вас. По-моему, поехать домой в Дрохеду для вас далеко не лучший отдых. Мы с Людвигом уверены, вам сейчас нужней всего побыть одной и собраться с мыслями. Чтобы никто не мешал: ни Джастина, ни мы, ни Люк, ни Дрохеда. Вы когда-нибудь оставались одна, на свободе, Мэгги? Давно пора. Так вот, мы сняли для вас на два месяца домик на острове Матлок, с начала января до начала марта. Мы с Людвигом присмотрим за Джастиной. Вы же знаете, ничего плохого с ней не случится, а уж если появится малейший повод для беспокойства, вот вам слово, мы вас в ту же минуту известим, с Матлоком есть телефонная связь, и вы сразу вернетесь.

Двойная радуга исчезла, солнце тоже скрылось, опять собирался дождь.

– Энн, если б не вы и не Людвиг, за эти три года я бы сошла с ума. Вы и сами это знаете. Иной раз ночью проснусь и думаю, что бы со мной стало, если б Люк устроил меня не к таким добрым людям. Вы всегда обо мне заботились гораздо больше, чем Люк.

– Чепуха! Если б Люк устроил вас к недобрым людям, вы бы уехали назад в свою Дрохеду – и как знать, возможно, это было бы к лучшему.

– Нет. С Люком у меня вышло нескладно, но так гораздо лучше – что я осталась и во всем разобралась.

По плантации медленно приближался дождь – и уже потускневший без солнца тростник скрывался из глаз, словно отрезанный громадным серым ножом.

– Вы правы, мне нездоровится, – сказала Мэгги. – Я нездорова с тех самых пор, как зачата Джастина. Я все время старалась справиться с силами, но, видно, доходишь до какого-то предела – и тебя уже на это не хватает. Ох, Энн, я так устала и уже ни на что не надеюсь! Я и мать плохая, а ведь это мой долг перед Джестиной. Она не по своей воле родилась на свет, это я виновата. А главное, я ни на что не надеюсь, потому что Люк никак не дает мне сделать его счастливым. У нас был бы дом, уют, но он не хочет жить со мной под одной крышей, не хочет, чтобы у нас были дети. Я его не люблю, никогда я его не любила, как надо любить, когда выходишь замуж, может быть, он с первой минуты это почувствовал. Может быть, если б я его любила, он бы вел себя по-другому. Как же мне его винить? Наверное, я одна во всем виновата.

– А любите вы архиепископа.

– Да, люблю, еще совсем девчонкой полюбила. Я плохо с ним обошлась, когда он в этот раз приехал. Бедный Ральф! Я не имела права так с ним говорить, он ведь меня нисколько не поощрял. Надеюсь, он все-таки понял, что мне в этот раз было очень худо, я измучилась, я была такая несчастная. Только об одном и думала, что должна бы родить ребенка от него, а это невозможно и никогда этому не бывать. Как несправедливо! У протестантов священники женятся, а католикам почему нельзя? И не уговаривайте меня, что католические священники больше заботятся о своей пастве, все равно не поверю. Видела я и бессердечных патеров, и добрейших пасторов. А вот из-за этого обета безбрачия мне пришлось уехать от Ральфа, связать свою жизнь с другим, от другого родить ребенка. И знаете, что я вам скажу, Энн? Это такой же гнусный грех, как если бы Ральф нарушил свой обет целомудрия, а то и похуже. По законам католической церкви выходит, будто мне грешно любить Ральфа, а ему грешно любить меня – простить ей этого не могу!

– Уезжайте, Мэгги. Отдыхайте, ешьте, спите и перестаньте изводить себя. Может быть, когда вернетесь, вы сумеете уговорить Люка взять и купить эту самую ферму. Я знаю, вы его не любите, но, может быть, если он даст вам хоть малейшую возможность, вы еще будете с ним счастливы.

Серые глаза Мэгги казались того же цвета, что и сплошная стена дождя вокруг дома; обеим приходилось почти кричать – так гремел он по железной крыше.

– Да ведь в этом все дело, Энн! Когда мы с Люком ездили в Этертон, я наконец поняла: пока у него есть силы, нипочем он не уйдет с тростниковых плантаций. Ему нравится такая жизнь, очень нравится. Нравится, когда кругом мужчины, такие же крепкие, независимые, нравится вечно странствовать. Теперь я понимаю: он всегда был бродягой. А женщина ему не нужна даже и для удовольствия, тростник отнимает у него все силы. И потом, как бы вам объяснить... Люк такой, ему совершенно все равно, он может есть, сидя не за столом, а за фанерным ящиком, и спать прямо на полу. Понимаете? Его не заманишь уютом, какими-то милыми, красивыми вещами, ему все это ни к чему. Иногда мне кажется, он просто презирает все милое, красивое. В них – слабость, от них он и сам станет слабым. Его ничуть не тянет переменить образ жизни, и мне нечем его соблазнить.

Мэгги с досадой посмотрела на потолок веранды, словно устала перекрикивать шум дождя.

– Не знаю, Энн, хватит ли у меня сил на такую вот одинокую бездомную жизнь – еще на десять, пятнадцать лет или сколько там пройдет, пока Люк наконец не выдохнется. У вас мне очень хорошо, не думайте, что я неблагодарная. Но мне нужен дом, свой дом! Я хочу, чтобы у Джастины были братья и сестры, хочу вытирать пыль со своей мебели, шить занавески на свои окна, готовить на своей плите, для своего мужа. Ох, Энн! Я самая обыкновенная женщина, вы же знаете, я не честолюбивая, и не такая уж умная, и не очень-то образованная. И мне не так много надо: мужа, детей и свой дом. И чтобы меня немножко любили – хоть кто-нибудь!

Энн достала носовой платок, вытерла глаза и попыталась засмеяться.

– Ну и размазни же мы с вами! Но я понимаю, Мэгги, прекрасно понимаю. Мы с Людвигом женаты десять лет, и это единственно счастливые годы в моей жизни. Пяти лет я заболела детским параличом – и вот осталась калекой. Была уверена, что никто на меня никогда и не посмотрит. Никто и не смотрел, Бог свидетель. Когда мы встретились с Людвигом, мне исполнилось тридцать, я была учительницей, этим

зарабатывала на жизнь. Он на десять лет моложе меня, и когда он сказал, что любит, что хочет на мне жениться, я просто не приняла это всерьез. Испортить жизнь совсем молодому человеку, Мэгги, – что может быть ужаснее! Пять лет я обращалась с ним хуже некуда, и насмехалась, и злилась, а он все равно приходил опять. И я вышла за него и счастлива. Людвиг говорит, что и он счастлив, не знаю, не уверена. Ему пришлось от многого отказаться, и от детей в том числе, и с виду он теперь старше меня, бедняжка.

– Это все здешняя жизнь, Энн, и здешний климат.

Дождь перестал так же внезапно, как начался; выглянуло солнце, в небе, еще затянутом дымкой, заиграла яркая радуга, из стремительно уносящихся туч лиловой громадой выплыла гора Бартл-Фрир.

– Я поеду, – снова заговорила Мэгги. – Большое вам спасибо, что вы это придумали, наверное, мне это необходимо. Только ведь вам будет так хлопотно с Джастинной...

– Да нет же! Людвиг все обдумал. Мне до вас помогала по хозяйству такая Анна-Мария, у нее есть младшая сестра Аннунциата, она хочет поехать в Таунсвилл, служить няней. Но она через несколько дней кончает школу, а ей только в марте исполнится шестнадцать. Так что, пока вы в отъезде, она будет к нам ходить. И она прекрасно умеет обращаться с маленькими. В семействе Тезорьеро куча малышей.

– А где этот остров Матлок?

– У Большого Барьерного рифа, как раз у пролива Уитсанди. Очень тихий, уединенный островок, по-моему, туда обычно ездят новобрачные на медовый месяц. Вы знаете, как бывает в таких местах – не одна большая гостиница, а отдельные домики. Вам не придется выходить к общему столу, за которым полно народу, быть любезной с людьми, на которых и смотреть не хочется. Да в это время года там, наверное, и нет никого – боятся летних циклонов. Мокрядь с дождями никого не пугает, а летом ехать на риф охотников нет. Наверное, дело в том, что туда ездят больше из Сиднея и Мельбурна, а летом и в Сиднее, и в Мельбурне чудесно, уезжать незачем. Вот на зиму, на июнь, июль и август южане снимают домики загодя, за три года вперед.

В последний день 1937 года Мэгги села на поезд до Таунсвилла. Ее каникулы едва начались, а она уже чувствовала себя гораздо лучше, потому

что позади остался опостылевший ей в Данглоу тошнотворный запах патоки. Таунсвилл, крупнейший и процветающий город Северного Квинсленда, насчитывал несколько тысяч жителей, белые деревянные дома стояли на сваях. От поезда до парохода почти не оставалось времени, и Мэгги некогда было осматривать город, но она даже обрадовалась, что и задумываться некогда, надо сразу бежать на пристань: после незабываемых ужасов плавания по Тасманову морю шестнадцать лет назад ей совсем не улыбалось провести тридцать шесть часов на суденышке гораздо меньше «Уэхайна».

Но оказалось на этот раз все по-другому, пароходик чуть слышно, будто нашептывая что-то, скользит по зеркальной водной глади, да и ей уже не десять, а двадцать шесть. В воздухе затишье между двумя циклонами, усталое море спокойно; и хоть до вечера было еще далеко, Мэгги прилегла и уснула крепким сном без сновидений, только назавтра в шесть утра ее разбудил стюард – принес чай и тарелку печенья.

Она вышла на палубу и увидела новую, незнакомую, Австралию. В прозрачном, нежном, лишенном красок небе медленно разливалось, поднималось все выше жемчужно-розовое сияние, и вот уже на востоке, на краю океана, взошло солнце, новорожденный алый свет превратился в белый день. Пароход неслышно скользил по чистейшей воде, такой прозрачной, что за бортом, глубоко внизу, можно было разглядеть сумрачные лиловые пещеры и проносящихся мимо ярких рыб. Вдали море густо синело, порой отсвечивало зеленым, а местами, там, где дно покрывали водоросли или кораллы, темнели пятна цвета густого вина – и повсюду, словно сами собой, как кристаллы в кварце, возникали острова – то ослепительно белые песчаные, поросшие пальмами, то гористые, сплошь покрытые джунглями, то плоские, в зелени кустарника, едва приподнятые над водой.

– Вот эти плоские и есть настоящие коралловые острова, – объяснил какой-то матрос. – Которые кольцом, а в середине вода, лагуна, те называются атоллы, а если просто из моря торчит кусок рифа, он риф и есть. Которые повыше, это макушки подводных гор, но вокруг них все равно есть коралловые рифы, а посередине лагуны.

– А где остров Матлок? – спросила Мэгги.

Он посмотрел с любопытством: женщина едет одна на остров, где новобрачные празднуют медовый месяц? Как-то несообразно получается.

– Мы сейчас идем по Уитсандийскому проливу, а там выйдем к тихоокеанской стороне Большого Барьерного. На Матлоке с той стороны такой грохот, своих мыслей – и то не слышно: громадные валы накатывают

с океана за сотню миль что твои курьерские поезда. На одной такой волнище можно сотню миль пролететь, представляете? – Матрос мечтательно вздохнул. – К Матлоку придем до захода солнца.

И за час до захода солнца пароход пробился сквозь откатывающиеся от берега волны прибоя, от которого вставала стена пенных брызг, затуманивая небо на востоке. Навстречу над рифом, обнаженным в этот час отлива, добрые полмили тянулась пристань на тощих сваях, а дальше вставал крутой скалистый берег – ничего похожего на тропическую пышность, какая рисовалась воображению Мэгги. На пристани ждал очень немолодой человек, он помог Мэгги сойти, взял у матроса ее чемоданы.

– Здравствуйте, миссис О’Нил, – сказал он. – Я Роб Уолтер. Надеюсь, ваш супруг все-таки тоже сможет приехать. На Матлоке в эту пору и поговорить почти что не с кем, у нас ведь курорт зимний.

Они пошли рядом по шатким доскам пристани, обнаженный отливом коралл словно плавился в лучах заходящего солнца, грозное вспененное море отсвечивало тревожным багрянцем.

– Сейчас отлив, а то бы вам было не так спокойно плыть. Видите, какой туман на востоке? Там самый край Большого Барьерного. Тут, на Матлоке, мы только тем и живы, что он нас заслоняет; там у прибоя такая силища, у нас все время отдается, чувствуем, как остров под ногами дрожит. – Он помог Мэгги сесть в автомобиль. – Это наветренная сторона Матлока – диковато выглядит и не больно приветливо, а? Ничего, вот увидите его с подветренной стороны, там есть на что поглядеть!

С бешеной скоростью, что вполне естественно, когда машина одна-единственная на весь остров, они пронеслись, должно быть, мили четыре по узкой дороге, устланной хрустящим под колесами раздробленным кораллом, среди пальм и густого кустарника, вдоль крутого горного откоса и перевалили через хребет острова.

– Как красиво! – вырвалось у Мэгги.

Выехали на другую дорогу, она плавно повторяла все изгибы песчаного берега, что полумесяцем окаймлял неглубокую лагуну. Вдалеке, там, где волны океана разбивались о края рифа, вновь ослепительно сверкало кружево белой пены, но воды, охваченные коралловой рамой, были тихи и спокойны, точно серебряное зеркало с чуть заметным бронзовым отсветом.

– Остров наш в длину восемь миль, поперек четыре, – объяснил Мэгги провожатый. Они проехали мимо нескладного, расплзающегося вширь белого дома с огромной верандой и окнами точно витрины. – Универсальный магазин, – с хозяйской гордостью повел рукой Роб

Уолтер. – Тут я живу с моей благоверной, и, скажу я вам, она не больно рада, что к нам приезжает женщина одна, без мужа. Боится, вдруг меня совратят с пути истинного, вон как. Спасибо, в бюро сказали, вам нужен отдых и полный покой, и я вам отвел самый дальний наш домик, так что хозяйка моя тоже малость поуспокоилась. В той стороне, где вы, больше нет ни души; сейчас у нас только и отдыхает еще одна пара, но они в другой стороне. Можете хоть нагишом разгуливать, никто вас не увидит. Покуда вы здесь, хозяйка меня из виду не выпустит. Если вам что надо, прямо звоните по телефону, и я принесу. Незачем вам самой ходить в такую даль. И там хозяйка, не хозяйка, а раз в день, под вечер, всегда вас проведу, надо ж знать, все ли у вас ладно. Так вы уж в эту пору, когда солнце заходит, будьте дома и одетая как полагается, а то не ровен час хозяйка моя нагрянет.

Домик – одноэтажный, в три комнаты, при нем совсем отдельный серпик белого берега между двумя вдающимися в море гористыми выступами, и дальше дороги нет. Внутри все очень просто, но удобно. На острове своя электростанция, так что в распоряжении Мэгги и маленький холодильник, и электрический свет, и обещанный телефон, и даже радиоприемник. В уборную и ванную проведена вода – удобства более современные, чем в Дрохеде и Химмельхохе, усмехнулась про себя Мэгги. Сразу видно, что приезжают сюда жители Сиднея и Мельбурна, они-то привыкли к цивилизации и не могут без нее обходиться.

Роб поспешил обратно к ревливой «хозяйке», а Мэгги на свободе разобрала чемоданы и подробнее осмотрела свои владения. Просторная двуспальная кровать несравнимо удобнее, чем было ее свадебное ложе. Что ж, тут ведь и устроен рай для новобрачных, стало быть, приезжим прежде всего требуется приличная постель; а постояльцы той гостиницы в Данглоу обычно слишком пьяны и не замечают выпирающих пружин. В холодильнике и на полках над ним полно съестных припасов, на столике в огромной корзине – ананасы, бананы, манго и гренадиллы. Отчего бы ей и правда тут не есть и не спать вволю.

Первую неделю Мэгги, кажется, только и делала, что ела и спала; раньше она и сама не понимала, что устала до смерти и что климат Данглоу отбил у нее всякую охоту к еде. На этой великолепной постели она засыпает, едва опустив голову на подушку, и спит по десять – двенадцать часов кряду, а ест с таким аппетитом, какого у нее не бывало со времен Дрохеды. Ест, кажется, без передышки, все время, когда не спит, и даже входя в воду берет с собой манго. По правде сказать, плоды манго разумнее всего есть в море, да еще в ванне: они просто истекают соком. Лагуна перед

крохотным пляжиком зеркально спокойная, никаких течений, совсем мелко. Все – как нарочно для Мэгги, ведь она совсем не умеет плавать. Но вода, очень соленая, словно сама поднимает ее, и она решила попробовать, и пришла в восторг, когда ей удалось продержаться на плаву сразу целых десять секунд. Так славно почувствовать себя свободной от земного тяготения, таким счастьем было бы плавать как рыба.

Пожалуй, только поэтому ее и огорчало одиночество – жаль, что некому научить ее плавать. Но все-таки до чего хорошо, когда ни от кого не зависишь! Как права была Энн! Сколько Мэгги себя помнит, никогда она не оставалась одна в доме. А это такое облегчение, такой покой! И ничуть она не чувствует одиночества, нимало не скучает без Энн и Людвиг, без Джастины и Люка, впервые за три года она даже не тоскует по Дрохеде. Старик Роб никогда ей не мешает: подкатит перед заходом солнца, остановится поодаль на дороге, и когда она приветливо махнет ему с веранды – мол, жива и здорова, – поворачивает машину и катит восвояси, а рядом сидит его на удивление миловидная «хозяйка», мрачная и грозная, точно готовый к стрельбе пулемет. Однажды Роб позвонил Мэгги по телефону: он везет чету других постояльцев кататься на лодке с застекленным дном, не соблазнит ли и ее такая прогулка?

Это было как путешествие на другую, незнакомую, планету – сквозь стекло она заглянула в изумительный, хрупкий, полный жизни мир, где, обласканные водой, росли, поднимались со дна чудеса тончайшей, невиданной красоты. Оказалось, живые кораллы окрашены совсем не так грубо и крикливо, как сувениры, выставленные в витринах магазинов. В воде они нежно-розовые, или серо-голубые, или цвета кофе с молоком, и вокруг каждой веточки, каждого бугорка трепещет чудесная яркая радуга, словно некое зримое дуновение. Большущие морские анемоны, добрых двенадцати дюймов в поперечнике, колышут бахромой голубых, красных, оранжевых, лиловых щупалец; белые рубчатые раковины, громадные, как бульжники, приоткрывают опушенные губы, манят неосторожных пловцов заглянуть внутрь, где соблазнительно мерцает что-то яркое, беспокойное; точно на ветру, развеваются в воде какие-то красные кружевные веера; плещут, колеблются ярко-зеленые ленты водорослей. Никто из четверых в лодке нимало не удивился бы, заведя русалку – почему бы и не мелькнуть шелковистой груди, быстрому хвосту в блестящей чешуе, размычатому облаку волос, манящей улыбке, что завораживает моряков... А рыбы! Тысячами проносятся они под прозрачным дном, точно живые драгоценные камни – круглые, как китайские фонарики, удлинённые, как пуля, нарядные, сверкающие всеми красками, которым вода придает

несравненную живость, блеск и чистоту, – одни горят золотой и алой чешуей, другие, серебристо-голубые, прохладны на вид, третьи – яркие плавучие лоскуты, раскрашенные пестро и грубо, как попугаи. Тут и морская щука с носом острым, как игла, и тупорылая фахака, и зубастая барракуда, в коралловой пещере смутно виден затаившийся морской окунь с огромной пастью, а один раз под лодкой неторопливо, неслышной гибкой тенью проплыла громадная серая акула.

– Вы не пугайтесь, – сказал Роб. – Которые опасные, те так далеко на юг не забираются, у нас на рифе только один убийца и есть – скорпена. Так что по кораллам босиком не ходите.

Да, Мэгги радовалась, что поехала. Но вовсе не жаждала еще раз отправиться на такую прогулку или заводить дружбу с четой, с которой катал ее на лодке Роб. Купалась, гуляла, грелась на солнышке. Странно, она не скучала даже по книгам, читать не хотелось – вокруг и без того немало интересного, есть на что поглядеть.

Она вспомнила совет Роба и стала обходиться без платья. И на первых порах вела себя точно кролик, который в каждом дуновении ветерка чувствует запах динго: хрустнет сучок, грохнется оземь кокосовый орех с высокой пальмы – и она кидается в укрытие. Но прошло несколько дней нерушимого уединения, и Мэгги успокоилась – да, никто близко не подойдет. Уолтер говорил правду, этот уголок принадлежит ей одной. И она забыла всякую робость. Бродила по тропинкам, лежала на песке, плескалась в теплой соленой воде и чувствовала себя зверьком, который родился и вырос в клетке и вдруг очутился на воле, в тихом, солнечном, просторном и приветливом мире.

Вдали от матери, от братьев и Люка, от всего того, что бездумно и безжалостно распоряжалось ее жизнью, Мэгги сделала открытие: есть на свете досуг, свобода, праздность; и точно в калейдоскопе, в ее сознании стали складываться, сменяя друг друга, совсем новые мысли и представления. Впервые ум ее поглощен был не только работой. И она с удивлением поняла, что непрерывный чисто физический труд – самая прочная преграда, какую способны воздвигнуть люди, чтобы не давать себе по-настоящему мыслить.

Много лет назад отец Ральф однажды спросил ее, о чем она думает, и она ответила – о папе с мамой, о Бобе, Джеке, Хьюги и Стюарте, о младших братишках и Фрэнке, о доме, о работе, о дожде. Она умолчала о том, что первое место в ее мыслях неизменно занимает он, Ральф. Теперь к этому списку прибавились Джастина и Люк, Людвиг и Энн, сахарный тростник, тоска по дому и опять-таки дождь. И конечно, облегчение, нет,

больше – спасение приносили книги. Но всегда мысли возникали и пропадали вне всякой связи и последовательности, обрывались, путались; не было ни случая, ни умения, ибо никто ее этому не учил, спокойно сесть и подумать – а что же, в сущности, такое она, Мэгги Клири, Мэгги О’Нил? Чего ей надо? Для чего она живет на свете? Теперь она горько жалела, что ей не хватает такого умения, этого пробела не возместить, сколько бы досуга у нее ни оказалось. И все же вот он есть, досуг, покой, праздность, ощущение здоровья и чисто физического благополучия – можно лежать на песке и попробовать собраться с мыслями.

Итак, Ральф. Невеселый, горький смешок. Не очень приятно с этого начинать, но ведь Ральф подобен Богу, он – начало и конец всему. С того дня, когда в красной от заходящего солнца пыли на джиленбоунском вокзале он опустился на колени и взял ее за плечи, он всегда был в ее мыслях – и если даже она никогда больше, до самой смерти, его не увидит, ее последняя мысль на краю могилы будет о нем, о Ральфе. Как это страшно, что один-единственный человек так много значит, так много в себе воплощает.

Как она тогда сказала Энн? Нужно ей и хочет она всего самого обыкновенного – чтоб были муж, дети, свой дом и кто-то, кого любишь! Как будто довольно скромные желания, в конце концов, почти у всех женщин все это есть. Но многим ли женщинам, у которых все это есть, этого и впрямь довольно? Ей-то, кажется, было бы довольно, но, может быть, она так думает потому, что ей все это не дается.

Смотри правде в глаза, Мэгги Клири, Мэгги О’Нил. Тебе нужен только один человек – Ральф де Брикассар, а его тебе вовеки не получить. И однако, похоже, по его милости ты потеряна для всех других мужчин. Что ж, ладно. Будем считать, что мужчины, любимого человека, нам не дано. Остается любить детей и примириться с тем, что любить тебя будут только дети. А значит, остаются Люк и дети Люка.

«О Господи, милостивый Боже! Нет, никакой не милостивый! Что дал мне Господь Бог? Отнял у меня Ральфа – и только. Нет, мы с Господом Богом не слишком любим друг друга. И знаешь что, Господи? Ты уже не пугаешь меня, как прежде. Ох, как я боялась тебя, твоей кары! Всю свою жизнь из страха перед тобой я не сходила со стези добродетели. А куда она меня привела? Было бы ничуть не хуже, если б я нарушила все твои заповеди до единой. Ты обманщик, Господи, ты дух устрашения. Обращаешься с нами как с малыми детьми, только и знаешь, что грозить наказанием. Но больше я тебя не боюсь. И совсем не Ральфа мне надо ненавидеть, а тебя. Несчастный Ральф ни в чем не виноват, это все твоя

вина. А он просто живет в страхе Божиим, как всегда жила я. Никогда я не могла понять, как он может тебя любить. Не понимаю, за что тебя любить.

Но как же мне разлюбить человека, который любит Бога? Сколько ни стараюсь, ничего у меня не выходит. Он недосыгаем, а я никак этого в толк не возьму. Что ж, Мэгги О'Нил, как ни крути, а пора взяться за ум. Хватит с тебя Люка и детей Люка. Всеми правдами и неправдами надо будет оторвать Люка от проклятого сахарного тростника и поселиться с ним в краю, где даже деревья не растут. Надо будет заявить управляющему Джиленбоунским банком, чтобы впредь все твои деньги вносились не на имя Люка, а на твое, и свой дом, не осененный ни единым деревцем, ты сделаешь на эти деньги удобным и уютным, потому что сам Люк об этом и не подумает. И еще на эти деньги ты дашь детям Люка настоящее образование и позаботишься, чтобы они ни в чем не нуждались.

Вот и все, Мэгги О'Нил. Потому что я Мэгги О'Нил, а не Мэгги де Брикассар. Мэгги де Брикассар – и звучит-то глупо. Надо было бы называться Мэггенн де Брикассар, а я всегда терпеть не могла имя Мэггенн. Ох, наверное, я никогда не перестану жалеть, что у меня нет детей от Ральфа! В этом вся суть, не так ли? Повторяй себе, повторяй без конца: у тебя своя жизнь, Мэгги О'Нил, и нечего тратить ее на пустопорожние мечты о том, кого ты не получишь в мужа, и о детях, которых у тебя не будет.

Вот то-то! Изволь это усвоить! Никакого смысла думать о том, что прошло, пора поставить на этом крест. Будущее – вот что важно, а будущее – это Люк и дети Люка. В будущем нет места Ральфу де Брикассару. Он остался в прошлом».

Мэгги повернулась, легла ничком, уткнулась лицом в песок и заплакала, как не плакала с тех пор, когда ей минуло четыре года, – громко, навзрыд, и только крабы да птицы слышали этот взрыв отчаяния.

Энн Мюллер нарочно выбрала для Мэгги остров Матлок и собиралась при первой возможности послать туда Люка. Не успела Мэгги уехать, Энн дала Люку телеграмму: он срочно необходим Мэгги, пожалуйста, пускай скорее приезжает. Совсем не в характере Энн было вмешиваться в чужие дела, но она любила и жалела Мэгги и обожала капризную упрямую кроху – дочку Мэгги и Люка. Маленькой Джастине нужен дом, нужны и отец, и мать. Тяжело будет с ней расстаться, но лучше разлука, чем теперешняя жизнь Мэгги и ребенка.

Люк явился через два дня. Он как раз направлялся в Сидней, на рафинадную фабрику, недолго было сделать по пути небольшой крюк. Пора увидеть своего ребенка; родись у него сын, Люк сразу бы приехал на

него посмотреть, но весть, что родилась девочка, была для него жестоким разочарованием. Уж если Мэг непременно нужны дети, пускай по крайней мере рожают будущих работников для кайнунской фермы. От девчонок толку ни на грош, черт бы их побрал, одни расходы да убытки: поишь, кормишь, а как вырастут, их и след простыл, будут работать на кого-то другого, нет чтобы сидеть на месте, как сыновья, и помогать отцу на старости лет.

– Как Мэг? – спросил Люк, поднимаясь на веранду. – Надеюсь, не хворает?

– Надеетесь? Нет, она не хворает. Сейчас все расскажу. Но сперва подите посмотрите на свою красавицу дочку.

Люк посмотрел сверху вниз на малышку, как показалось Энн, с любопытством, может быть, даже с интересом, но без малейшей нежности.

– Какие-то у нее глаза чудные, сроду таких не видал, – сказал он. – В кого бы это?

– Мэгги говорит, в ее семье ни у кого таких нет.

– И в моей тоже. Странная девчоночка. Может, в какую-нибудь прабабку пошла. Не больно она с виду веселая, а?

– А с чего ей быть веселой? – еле сдерживая гнев, оборвала Энн. – Она даже ни разу не видела собственного отца, у нее нет настоящего дома, и, видно, не будет, пока она не вырастет, если вы не возьметесь за ум!

– Да ведь я откладываю деньги, Энн! – запротестовал Люк.

– Чепуха! Я же знаю, сколько у вас денег. Мои друзья из Чартерс-Тауэрс иногда мне присылают тамошнюю газету, я видела объявления, знаю, почем продается земля на западе, много ближе вашей Кайнуны и много плодороднее. Сейчас ведь кризис, Люк! Вы можете купить задешево самый распрекрасный участок, на это совсем не нужно столько денег, сколько у вас в банке, и вы это отлично знаете.

– В том-то и дело! Сейчас кризис, а западнее гор, от Джуни до Айсы, страшная засуха. Уже второй год дождей нет, ни капли не выпало. Голову даю на отсечение, сейчас и в Дрохеде худо, а каково, по-вашему, вокруг Блэколла и Уинтона? Нет, мне надо обождать.

– Ждать хороших дождей, чтоб земля подорожала? Бросьте, Люк! Сейчас самое время покупать. При том, что у Мэгги верных две тысячи в год, вы можете продержаться хоть десять лет засухи. Просто пока не заводите скота. Живите на деньги Мэгги, а когда начнутся дожди, тогда и купите овец.

– Рано еще мне уходить с плантаций, – упрямо сказал Люк, по-прежнему глядя в странные светлые глаза дочери.

– А, вот в том-то и соль! Почему не сказать прямо, начистоту? Вам не нужна ни жена, ни семья, Люк, вы предпочитаете жить, как живете, безо всякого уюта, без женщин, и надрываться на работе, как каторжный, половина австралийцев такие, я знаю. И что за страна такая проклятая, что здесь за мужчины – не желают жить дома, с женами и детьми, а признают только мужскую компанию! Если хотите оставаться весь век холостяком, на кой черт вам жениться? Знаете, сколько брошенных жен в одной нашей округе, в Данни? Как они бьются, чтоб свести концы с концами и вырастить детей без отцов? Он, видите ли, только поработает на плантации, это недолго, он скоро вернется! Ха! И каждый раз, как приходит почта, несчастные жены торчат у ворот, все надеются, может, негодяй послал им хоть немножко денег. А он не шлет, а если иной раз и пришлет, так гроши, только для виду, чтоб жена не вовсе от него отказалась.

Энн дрожала от ярости, всегда кроткие карие глаза ее сверкали.

– Я читала в «Брисбен мэйл», Австралия занимает первое место в цивилизованном мире по числу брошенных жен, известно это вам? Только в этом мы и опередили все страны, недурен рекорд, есть чем гордиться!

– Полегче, Энн! Я же не бросил Мэг, она цела и невредима и не помирает с голоду. Чего вы разъярились?

– Мне тошно смотреть, как вы обращаетесь с женой, вот чего! Ради всего святого, Люк, станьте наконец взрослым человеком, вспомните хоть на время о своих обязанностях! У вас жена и ребенок. Дайте им дом, будьте мужем и отцом, а не чужим дядей, черт вас побери!

– Сделаю, все сделаю! Только не сейчас, мне надо еще годика два для верности поработать на плантациях. Не хочу я жить на деньги Мэг, а так оно получится, если не обождать лучших времен.

Энн презрительно скривила губы:

– А, бред собачий! Вы же на ней женились из-за денег, что, неправда?

Загорелое лицо Люка густо, пятнами покраснело. Не глядя на Энн, он сказал:

– Ну, верно, я и про деньги тоже думал, а только женился потому, что она мне больше всех нравилась.

– Нравилась! Да вы ее любили?!

– Любовь! Что это за штука такая – любовь? Выдумки, бабьи сказки, вот и все. – Он отвернулся от колыбели, от странных, почти пугающих, глаз: почем знать, может быть, с такими глазами и малый ребенок понимает все, что при нем говорят. – Кончили вы меня отчитывать? Тогда скажите на милость, где Мэг?

– Она была нездорова. Я отправила ее немного отдохнуть. Да не

пугайтесь вы, не на ваши деньги! Я надеялась вас уговорить, чтоб вы поехали к ней, но, видно, это безнадежно.

– И думать нечего. Мы с Арне сегодня же едем в Сидней.

– Что сказать Мэгги, когда она вернется?

Он пожал плечами, ему до смерти хотелось поскорее унести ноги.

– Что хотите, то и говорите. Скажите, пускай еще малость потерпит. Теперь, раз уж ей понадобились дети, я не прочь получить сына.

Опираясь о стену, Энн подошла к плетеной колыбели, вынула малышку, с трудом добралась до кровати и села. Люк и не пытался ей помочь или взять ребенка на руки, казалось, он боится дочки.

– Уходите, Люк! Вы не стоите того, что у вас есть. Мне противно на вас смотреть. Убирайтесь к вашему окаянному Арне и к треклятому тростнику и гните там спину сколько влезет!

На пороге он приостановился.

– Как ее назвали? Я забыл.

– Джастина, Джастина, ее зовут Джастина!

– Дурацкое имя, – сказал Люк и вышел.

Энн положила девочку на кровать и залилась слезами. Да будут прокляты мужчины, все мужчины, кроме Людвига! Может быть, Людвиг потому и умеет любить, что он почти по-женски нежный и чувствительный? Может быть, Люк прав, и любовь – просто выдумка, бабьи сказки? Или любить способны только женщины да те мужчины, в которых есть что-то женское? Ни одной женщине не удержать Люка, ни одна и не могла его удержать. Того, чего ему надо, женщина дать не может.

Однако на другой день Энн успокоилась и уже не думала, что старалась напрасно. Утром пришла восторженная открытка от Мэгги: ей так нравится остров Матлок и она уже совсем здорова! Стало быть, из этой затеи все же вышел толк. Мэгги чувствует себя лучше. Она вернется, когда утихнут муссоны, и у нее хватит сил жить дальше. Но Энн решила не рассказывать ей про разговор с Люком.

Итак, Аннунциата, в обиходе Нэнси, вынесла Джастину на веранду, Энн проковыляла за ней, прихватив зубами корзиночку, где умещалось все, что надо ребенку, – пеленка на смену, коробочка с тальком, игрушки. Она села в плетеное кресло, взяла у Нэнси малышку и стала поить из бутылочки подогретой молочной смесью. Это славно, и жить славно; она сделала все возможное, чтобы вразумить Люка, и если это не удалось, что ж, зато Мэгги с Джастиной подольше проживут в Химмельхохе. Без сомнения, в конце концов Мэгги поймет, что нет никакой надежды

сохранить человеческие отношения с Люком, и тогда она вернется в Дрохеду. Но Энн думала об этом дне с ужасом.

Красный спортивный автомобиль на бешеной скорости свернул с Данглоуской дороги и теперь поднимался в гору; это была новехонькая и очень роскошная английская машина с полосками кожи на капоте, она так и сверкала пунцовым лаком и серебром выхлопных труб. Не сразу Энн узнала, кто, пригнувшись, вылез из низкой распахнутой дверцы, потому что на нем была обычная летняя одежда жителей Северного Квинсленда – одни только шорты. «До чего хорош! – подумала Энн, одобрительно оглядывая гостя, а он поднимался к ней, перескакивая через две ступеньки, и у нее шевельнулось смутное воспоминание. – Жаль, что Людвиг так много ест, куда здоровее было бы не полнеть, вон в какой отличной форме этот красавец. И ведь тоже не мальчик, виски совсем серебряные, но такого стройного рубщика я еще не видывала».

И только встретив невозмутимый, отрешенный взгляд приезжего, она поняла, кто перед ней.

– Господи! – Она уронила бутылочку.

Он поднял бутылочку, подал ей и прислонился к перилам веранды напротив ее кресла.

– Ничего, – сказал он, – соска не коснулась пола, можете спокойно дать ее ребенку.

Малышка, у которой отняли еду, как раз тревожно заерзала. Энн сунула ей соску и наконец перевела дух.

– Вот так неожиданность, ваше преосвященство! – Она окинула его смеющимся взглядом. – По правде говоря, сейчас вы не очень-то похожи на архиепископа. Впрочем, и раньше не очень были похожи, даже в подобающем облачении. Мне всегда представлялось, что архиепископы, к какой бы они церкви ни принадлежали, – толстые и самодовольные.

– В данную минуту я не архиепископ, а всего лишь священник, который честно заработал возможность отдохнуть, так что зовите меня просто Ральф. А это и есть малютка, которая доставила Мэгги столько мучений, когда я тут был в прошлый раз? Можно мне взять ее на руки? Думаю, что сумею держать бутылочку так, как надо.

Он уселся в кресло рядом с Энн, небрежно закинул ногу на ногу, взял ребенка и бутылочку, и кормление продолжалось.

– Значит, Мэгги назвала дочку Джастиной? – Да.

– Имя мне нравится. Нет, вы только посмотрите, какого цвета у нее волосы! Вся в дедушку.

– Вот и Мэгги то же говорит. Надеюсь, когда крошка подрастет, ее не

обсыплют веснушки, но это вполне может случиться.

– Ну, Мэгги ведь тоже рыжая, а у нее никаких веснушек нет. Правда, кожа у Мэгги другого цвета и матовая. – Он поставил пустую бутылочку на пол, посадил девочку на колено к себе лицом, пригнул ее как бы в поклоне и начал крепко, размеренно растирать ей спинку. – Среди прочих обязанностей мне полагается часто бывать в католических сиротских приютах, так что я вполне опытная нянька. Мать Гонзага, которая ведает моим любимым приютом, говорит, что это лучший способ избавить младенца от отрыжки. Когда просто прислоняешь ребенка к плечу, он слишком мало наклоняется вперед, газы так легко не отходят, а уж когда поднимаются, так с ними ребенок срыгивает и много молока. А вот при таком способе он перегнулся в пояс, для молока получилась пробка, а газы отходят. – Слово в подтверждение Джастина несколько раз громко икнула, но все, что съела, осталось при ней. Ральф засмеялся, еще потер ей спинку и, когда за этим ничего больше не последовало, удобно пристроил девочку на согнутой руке. – Какие поразительные, колдовские глаза! Великолепные, правда? Ну ясно, она же дочь Мэгги, как ей не быть необыкновенным ребенком.

– Не то чтобы я старалась перевести разговор, но вы были бы прекрасным отцом, отец Ральф.

– Я люблю детей, и совсем маленьких, всегда любил. Мне гораздо легче радоваться детям, ведь при этом не приходится нести никаких неприятных отцовских обязанностей.

– Не в том дело, просто вы – как Людвиг. У вас в характере есть что-то женское.

Джастина, обычно нелюдимая, явно отвечала ему симпатией – она уснула у него на руках. Ральф уложил ее поудобнее и вытащил из кармана пачку «Кэпстен».

– Дайте я вам зажгу, – предложила Энн.

Ральф взял у нее зажженную сигарету.

– А где Мэгги? – спросил он. – Спасибо. Простите, не догадался, курите, пожалуйста, и вы.

– Мэгги в отъезде. Она ведь так и не оправилась после родов, а когда начались дожди, ей стало совсем худо. И мы с Людвигот отослали ее на два месяца отдыхать. Она вернется примерно к первому марта, еще семь недель осталось.

С первых слов Энн заметила в нем резкую перемену: будто разом рассеялись его надежды, обманула долгожданная радость. Он тяжело вздохнул:

– Уже второй раз я приезжаю проститься – и не застаю ее. Тогда, перед Афинами, и вот опять. Тогда я уезжал на год, а могло случиться, что задержался бы много дольше, в то время я и сам не знал. С тех пор как погибли Пэдди и Стюарт, я ни разу не был в Дрохеде, а тут понял: не могу я уехать из Австралии, не повидав Мэгги. И оказалось, она вышла замуж и ее уже нет в Дрохеде. Хотел поехать за ней, но ведь это было бы нечестно по отношению к ней и к Люку. А теперь я приехал, потому что знаю: не могу я повредить тому, чего не существует.

– Куда вы уезжаете?

– В Рим, в Ватикан. Кардинал ди Контини-Верчезе теперь занимает пост недавно скончавшегося кардинала Монтеверди. И, как я и предвидел, он берет меня к себе. Это большая честь, но и не только честь. Я не могу отказаться.

– И надолго вы едете?

– Боюсь, очень надолго. В Европе полыхает война, хоть отсюда нам и кажется, что это очень далеко. Римская католическая церковь нуждается в каждом своем дипломате, а благодаря кардиналу ди Контини-Верчезе меня считают дипломатом. Муссолини тесно связан с Гитлером, один другого стоит, и Ватикан вынужден как-то объединять противоположные мировоззрения – католическую веру и фашизм. Задача не из легких. Я свободно говорю по-немецки, пока был в Афинах, овладел греческим, пока жил в Риме, овладел итальянским. Вдобавок бегло говорю по-французски и по-испански. – Он вздохнул. – У меня всегда были способности к языкам, и я сознательно их развивал. И теперь меня неизбежно переведут отсюда.

– Что ж, ваше преосвященство, если только вам не завтра на пароход, вы еще можете повидаться с Мэгги.

Слова эти вырвались у Энн прежде, чем она успела подумать, что говорит; да и почему бы Мэгги не увидаться с ним разок перед его отъездом, тем более если он и правда уезжает надолго?

Ральф повернул голову и посмотрел на нее. Красивые синие глаза смотрят отрешенно, но так умно, так проникательно, этого человека не проведешь. О да, он прирожденный дипломат! И прекрасно понимает смысл ее слов и все ее тайные побуждения. Затаив дыхание, Энн ждала ответа, но он долго молчал – сидел и смотрел поверх изумрудной чащи тростника на полноводную реку и, кажется, забыл о спящей у него на руках малышке. Энн зачарованно разглядывала его сбоку – линию века, прямой нос, загадочно сомкнутые губы, упрямый подбородок. Какие силы собирал он в душе, созерцая эту даль? Какой сложною мерой измерял любовь, желание, долг, благоразумие, волю, страстную тоску, что перевесит в этом

противоборстве? Он поднес к губам сигарету, пальцы его дрожали – и Энн неслышно перевела дух. Так, значит, ему не все равно.

Ральф молчал, должно быть, минут десять; Энн зажгла еще одну сигарету, подала ему взамен погасшего окурка. Он и эту докурил до конца и все не сводил глаз с далеких гор, с хмурых туч, что снова сгущались в небе, грозя дождем. Потом швырнул второй окурочек вслед за первым через перила веранды и спросил самым обычным ровным голосом:

– Где она сейчас?

Теперь был ее черед задуматься – ведь от того, что она ответит, зависит его решение. Вправе ли человек толкать других на путь, который неведомо куда ведет и неведомо чем кончится? У нее одна забота – Мэгги, и, честно говоря, ее нимало не волнует, что станется с этим архиепископом. На свой лад он не лучше Люка. Рвется к какой-то своей сугубо мужской цели, и некогда ему или нет охоты поставить на первое место женщину; цепляется за мечту, гонится за призраком, который, должно быть, только и существует в его сумасбродной голове. Жаждет чего-то не более прочного, чем вот этот дым сахарного завода, что рассеивается в душном, пропахшем патокой воздухе. А ему больше ничего не надо, и он растратит себя и всю свою жизнь на эту напрасную погоню.

Как бы много ни значила для него Мэгги, здравый смысл ему не изменил. Даже ради Мэгги – а Энн уже начинала верить, что он любит Мэгги больше всего на свете, кроме этой своей непонятной мечты, – не поставит он на карту возможность рано или поздно овладеть тем, чего так жаждет. Нет, от этого он не откажется даже ради Мэгги. И значит, если сказать ему, что Мэгги сейчас в каком-нибудь многолюдном курортном отеле, где его, Ральфа де Брикассара, могут узнать, он к ней не поедет. Уж онто лучше всех понимает, что не останется незамеченным в любой толпе.

Энн облизнула пересохшие губы.

– У Мэгги домик на острове Матлок.

– Где?

– На острове Матлок. Это курорт возле пролива Уитсанди, очень уединенное место. А в это время года там и вовсе не бывает ни души. – И не удержалась, прибавила: – Не беспокойтесь, вас никто не увидит!

– Очень утешительно. – Тихонько, осторожно он передал Энн спящего ребенка. – Благодарю вас. – Он пошел к лестнице. Потом обернулся, посмотрел с волнением, почти с мольбой: – Вы глубоко ошибаетесь. Я хочу только увидеть Мэгги, не более того. Никогда бы я не сделал ничего такого, что может погубить ее душу.

– И вашу тоже, да? Что ж, поезжайте под видом Люка О’Нила, его там

ждут. Тогда ни вам, ни Мэгги наверняка нечего бояться скандала.

– А вдруг он тоже приедет?

– И не подумает. Он отправился в Сидней и не вернется раньше марта. О том, что Мэгги на Матлоке, он мог узнать только от меня, а я ему об этом не сказала, ваше преосвященство.

– А Мэгги ждет Люка?

– О нет! – Энн невесело улыбнулась.

– Я ничем не хочу ей повредить, – настойчиво сказал Ральф. – Я только хочу ненадолго увидеть ее, вот и все.

– Я прекрасно это знаю, ваше преосвященство. Но на самом-то деле вы повредили бы ей неизмеримо меньше, если бы хотели большего, – сказала Энн.

Когда старая машина Роба, треща и фыркая, подкатила по дороге, Мэгги, как всегда, стояла на веранде и помахала ему рукой – знак, что все в порядке и ей ничего не нужно. Роб остановил машину на обычном месте и только начал разворачиваться, как из нее выскочил человек в рубашке, шортах и сандалиях, с чемоданом в руке.

– Счастливо, мистер О’Нил! – крикнул, отъезжая, Роб.

Но никогда больше Мэгги не спутает Люка О’Нила и Ральфа де Брикассара. Это не Люк – даже на расстоянии, в быстро меркнущем вечернем свете нельзя ошибиться. И вот она стоит, ошеломленная, и смотрит, как идет к ней по дороге Ральф де Брикассар. Так, значит, все-таки она ему желанна? Иначе зачем бы ему приезжать к ней в такое место под именем Люка О’Нила.

Она оцепенела, не слушались ни ноги, ни разум, ни сердце. Вот он, Ральф, он пришел за ней, почему же она ничего не чувствует? Почему не бежит навстречу, не кидается ему на шею, почему нет той безмерной радости, когда забываешь обо всем на свете? Вот он, Ральф, а ведь только он ей в жизни и нужен – разве она не старалась целую неделю внушить себе обратное? Будь он проклят, будь проклят! Какого черта он заявляется как раз теперь, когда она стала наконец вытеснять его если не из сердца, то хоть из мыслей? А теперь все начнется сызнова! Оглушенная, злая, вся в испарине, она стояла и тупо ждала и смотрела, как он, высокий, стройный, подходит ближе.

– Здравствуй, Ральф, – сказала она сквозь зубы, не глядя ему в лицо.

– Здравствуй, Мэгги.

– Отнеси свой чемодан в комнату. Хочешь чаю? – сказала она, все так же не глядя, и пошла впереди него в гостиную.

– С удовольствием выпью, – таким же неестественным, натянутым тоном отозвался Ральф.

Он прошел за ней в кухню и смотрел, как она хлопочет: налила из-под крана горячей воды в чайник для заварки, включила электрический чайник, достала из буфета чашки, блюдца. Подала ему большую пятифунтовую коробку печенья, он высыпал на тарелку пригоршню, другую. Электрический чайник закипел, Мэгги выплеснула воду из маленького чайника, заварила свежий чай. И пошла с чайником и тарелкой печенья в гостиную, Ральф понес за ней блюдца и чашки.

Все три комнаты шли подряд: спальня – по одну сторону гостиной, кухня – по другую, за кухней – ванная. Поэтому в домике имелись две веранды, одна обращена к дороге, другая – к берегу. И, сидя друг против друга, каждый мог смотреть не в лицо другому, а куда-то вдаль. Стемнело внезапно, как всегда в тропиках, но в раздвижные двери вливались мягкое теплое дыхание ветра, негромкий плеск волн, отдаленный шум прибоя у рифа.

Они молча пили чай, к печенью не притронулись – кусок не шел в горло; допив чай, Ральф перевел глаза на Мэгги, а она все так же упорно смотрела, как шаловливо машет листьями молоденькая пальма у веранды, выходящей на дорогу.

– Что с тобой, Мэгги? – спросил он так ласково, нежно, что сердце ее неистово заколотилось и едва не разорвалось от боли: спросил, как бывало когда-то, как спрашивает взрослый человек малого ребенка. Совсем не для того он приехал на Матлок, чтобы увидеть взрослую женщину. Он приехал повидать маленькую девочку. И любит он маленькую девочку, а не взрослую женщину. Женщину в ней он возненавидел с первой минуты, едва Мэгги перестала быть ребенком.

И она отвернулась от пальмы, подняла на него изумленные, оскорбленные, гневные глаза – даже сейчас, даже в эту минуту! Время остановилось, она смотрела на него в упор, и у него перехватило дыхание; ошеломленный, он поневоле встретился со взрослым, женским взглядом этих прозрачных глаз. Глаза Мэгги. О Господи, глаза Мэгги!

Он сказал Энн Мюллер то, что думал, – он и вправду хотел только повидать Мэгги, не более того. Он любит ее, но вовсе не затем он приехал, чтобы стать ее любовником. Только увидеть ее, поговорить с ней, быть ей другом, переночевать на кушетке в гостиной и еще раз попытаться вырвать с корнем вечную тягу к ней – он издавна ею околдован, но, быть может, если извлечь это странное очарование на свет Божий, он сумеет собраться с духом и навсегда освободиться.

Нелегко освоиться с этой новой Мэгги, у которой высокая грудь, тонкая талия и пышные бедра, но он освоился, потому что заглянул ей в глаза, и там, словно лампада в святилище, сияла его прежняя Мэгги. В неузнаваемом, тревожно переменившемся теле – тот же разум и та же душа, что неодолимо притягивали его с первой встречи; и пока он узнает их в ее взгляде, можно примириться с новой оболочкой, победить влечение к ней.

Он и ей приписывал те же скромные желания и мечты и не сомневался, что ничего иного ей от него не нужно. Так он думал вплоть до рождения Джастины, когда Мэгги вдруг накинулась на него, точно разъяренная кошка. Да и тогда, едва утихли гнев и обида, он объяснил эту вспышку ее страданиями, больше духовными, чем телесными. Сейчас он наконец увидел ее такой, какой она стала, и теперь с точностью до секунды мог сказать, когда же совершилась перемена и Мэгги впервые посмотрела на него глазами не ребенка, а женщины – в ту встречу на дрохедском кладбище, в день рождения Мэри Карсон. В тот вечер, когда он объяснял, что не мог на балу быть к ней внимательнее – вдруг подумают, будто он по-мужски ею увлекся. Она как-то странно посмотрела на него тогда и отвернулась, а когда опять посмотрела, непонятого выражения в глазах уже не было. И лишь теперь он понял, что с тех пор она видела его в ином свете; и ее тогдашний поцелуй был не мимолетной слабостью, после чего она вновь стала относиться к нему по-прежнему, – это ему только чудилось. Он старательно обманывал себя, тешился этим самообманом, изо всех сил прилаживал его к своему раз навсегда избранному пути, облачался в самообман, как во власяницу. А она тем временем чисто по-женски обставляла и украшала свою любовь, будто вила гнездо.

Надо признаться, телом он желал ее еще после того первого поцелуя, но желание никогда не было в нем так остро, так неотступно, как любовь; и ему казалось, это не две стороны одного и того же чувства, одно с другим не связано. А она, бедняжка, оставалась непонятой, на нее-то не напала такая безрассудная слепота.

Будь у него в эту минуту хоть какой-то способ умчаться с острова Матлок, он бежал бы от Мэгги, точно Орест от эвменид. Но бежать было нельзя – и у него хватило мужества остаться с Мэгги, а не пуститься бессмысленно бродить всю ночь по острову. «Что же мне делать, как искупить свою вину? Ведь я и правда ее люблю! А если люблю, так, уж конечно, потому, что она вот такая, как сейчас, а вовсе не в краткую пору ее полудетской влюбленности. Я всегда любил то, что есть в ней женского: бесконечное терпение, с каким несет она бремя своей судьбы. Итак, Ральф

де Брикассар, сбрось шоры, пора увидеть ее такой, как она есть, а не какой была когда-то. Шестнадцать лет назад, шестнадцать долгих, неправдоподобных лет... Мне сорок четыре, ей двадцать шесть; оба мы уже не дети, но мне несравнимо дальше до зрелости.

В ту минуту, как я вылез из машины Роба, ты решила, что все ясно, все само собой разумеется, не так ли, Мэгги? Подумала: наконец-то я сдался. И еще не успела опомниться, как мне пришлось показать тебе, что ты ошиблась. Я разорвал твою розовую надежду в клочья, словно грязную тряпку. Ох, Мэгги, что же я с тобой сделал? Как я мог быть таким слепым, таким черствым себялюбцем? Вот приехал тебя повидать – и ровно ничего не достиг, только истерзал тебя. Все эти годы мы любили друг друга по-разному и совсем друг друга не понимали».

А Мэгги смотрела ему в глаза, и в ее глазах все явственнее сквозили стыд и унижение; а по его лицу проносились тени самых разных чувств, под конец оно выразило безмерную жалость, и тут она поняла, как страшно, как жестоко ошиблась. Хуже того, поняла, что он это знает.

Прочь отсюда, беги! Беги от него, Мэгги, сохрани последние жалкие остатки гордости! Едва подумав так, она вскочила и в самом деле кинулась бежать.

Она не успела выбежать на веранду – Ральф перехватил ее, она с размаху налетела на него с такой силой, что закружилась сама и едва не сбила его с ног. И все оказалось напрасным: изнурительная внутренняя борьба, долгие старания сохранить душу в чистоте и силой воли подавить желание; в один миг Ральф пережил десять жизней. Все силы, что дремали в нем, заглушенные, подавленные, только и ждали малого толчка – и вот взрыв, хаос, и разум раболепно склоняется перед страстью, и воля разума гаснет перед волей плоти.

Руки Мэгги взлетели и обвили его шею, его руки судорожно сжались у нее за спиной; наклонив голову, он искал губами ее губы, нашел. Ее губы – живые, теплые, уже не просто непрошеное, нежеланное воспоминание; она обвила его руками, словно никогда больше не выпустит; сейчас казалось, она – воск в его руках, и темна как ночь, и в ней сплетены память и желание, нежеланная память и непрошеное желание. Наверное, долгие годы он жаждал вот этой минуты, жаждал ее, Мэгги, и отвергал ее власть, и попросту не позволял себе видеть в ней женщину!

Донес ли он ее до постели на руках, или они шли вместе? Ему казалось – он ее отнес, а может быть, и нет; но вот они оба на постели, и он ощущает ладонями ее тело и ее ладони на своей коже. О Господи! Мэгги, моя Мэгги! Как же меня с младенчества приучили думать, будто ты –

скверна?

Время уже не отсчитывало секунды, но хлынуло потоком, и захлестнуло его, и потеряло смысл, осталась лишь глубина неведомого доныне измерения, более подлинная, чем подлинное время. Ральф еще ощущал Мэгги, но не как нечто отдельное, пусть же окончательно и навсегда она станет неотделимой частью его существа, единой тканью, которая и есть он сам, а не что-то, что с ним спаяно – и все же иное, особое. Никогда уже ему не забыть встречного порыва этой груди, живота, бедер, всех сокровенных линий и складок этого тела. Поистине она создана для него, ведь он сам ее создал; шестнадцать лет он лепил и ваял ее и сам того не подозревал, и уж вовсе не подозревал, почему он это делает. Сейчас он не помнил, что отказался от нее когда-то, что другой провел ее до конца по пути, которому он положил начало, который сам избрал для нее и для себя, ведь она – его гибель, его роза, его творение. Сон, от которого ему уже не пробудиться, пока он – человек из плоти и крови. «О Господи, милостивый Боже! Я знаю, знаю! Я знаю, отчего так долго, так упорно думал о ней как о бесплотном образе, о ребенке, когда она давно уже выросла из этой тесной оболочки, но почему через такой жестокий урок открылось мне это знание?»

Ибо только теперь он наконец понял, что всегда стремился не быть всего лишь человеком, мужчиной, – он желал большего, судьбы несравненно более великой, чем дается обыкновенным смертным. И вот чем все кончилось – вот она, его судьба, под его ладонями, пылает и трепещет вместе с ним, женщина – с мужчиной. Человек остается человеком. «Боже милостивый, неужели ты не мог избавить меня от этого? Я – человек и вовеки не стану Богом, и моя жизнь, искания, попытки возвыситься до божества – все это был самообман. Неужели все мы, слуги церкви, одинаковы и каждый жаждет сам стать Богом? И поэтому отрекаемся мы от единственного акта, который неопровержимо доказывает нашу человеческую суть?»

Он крепче обнял ее, глазами, полными слез, при слабом свете сумерек всмотрелся – лицо у нее тихое, нежные губы приоткрылись, вздохнули изумленно и счастливо. Она оплела его руками и ногами – живыми, гибкими шелковистыми узами, мучительно, нерасторжимо; он зарылся лицом ей в плечо, прильнул щекой к ее нежной щеке и отдался сводящему с ума отчаянному порыву, словно боролся с самой судьбой. Мысли кружились, мешались, сознание померкло, и вновь ослепительная вспышка; на миг он очутился внутри солнца, и вот блеск тускнеет, серые сумерки, тьма. Это и значит быть человеком, мужчиной. Большого не дано.

Но боль не от этого. Боль – в последнем миге развязки, в бесповоротном, опустошающем, безнадежном сознании: блаженство ускользает. Невыносимо с ней расстаться – расстаться теперь, когда она ему принадлежит, ведь он сам создал ее для себя. И он отчаянно, поистине как утопающий за соломинку, цепляется за нее, и вскоре новый вал, прилив, так быстро ставший знакомым, поднимает его, и он покоряется неисповедимому человеческому жребию – жребию мужчины.

Что такое сон? – спрашивала себя Мэгги. Благословение ли, передышка в жизни, отголосок смерти или докучная необходимость? Как бы там ни было, Ральф покорился и спит, прислонясь головой к ее плечу, обхватив ее одной рукой, словно даже во сне утверждая, что она принадлежит ему. Она тоже устала, но не позволит себе уснуть. Будто опасается дать поблажку сознанию: вдруг, когда вернешься к действительности, Ральфа уже не окажется рядом. Спать она может после, когда проснется он и эти загадочно сомкнутые красивые губы вымолвят первые слова. Что он ей скажет? Пожалеет ли о том, что произошло? Доставила ли она ему такую радость, что стоило ради этого от всего отказаться? Сколько лет он боролся, не поддавался этой радости, и ее заставил бороться; и трудно поверить, что вот наконец он лежит в ее объятиях – но ведь ночью, терзаясь своей болью, он говорил ей слова, которыми зачеркнул то долгое от нее отречение.

А она несказанно счастлива, за всю жизнь ей не припомнить такого полного счастья. С той минуты, как он перехватил ее в дверях, все стало поэмой плоти – объятия, руки, тела, невыразимое наслаждение. «Я создана для него, для него одного... Вот почему я почти ничего не чувствовала с Люком!» Ее несло девятым валом почти уже нестерпимой страсти, и оставалась только одна мысль: отдать ему все, всю себя – это важнее самой жизни. Пусть никогда, никогда он ни о чем не пожалеет. Какой болью он терзался! В иные мгновения она и сама ощущала эту боль. И оттого становилась еще счастливее: есть же и справедливость в том, что ему больно!

Ральф проснулся. Она заглянула ему в глаза – и в их синеве увидела все ту же любовь, что согревала ее с детства, придавала смысл ее существованию, и с любовью – безмерную, беспросветную усталость. Ту, что означает: утомлено не тело, без сил осталась душа.

Он думал о том, что впервые проснулся в постели не один; и такое пробуждение, пожалуй, еще сокровеннее, чем близость, которая ему предшествовала, знак, что их с Мэгги связуют узы более глубокого чувства,

что он с ней – одно. Вольный, невесомый, как волшебный здешний воздух, напоенный соленым дыханием моря и ароматом пропитанной солнцем листвы, он некоторое время парил на крыльях неведомой ему прежде свободы: какое облегчение – отказаться от борьбы, к которой он вечно себя принуждал, как спокойно на душе, когда проиграл наконец долгую, невообразимо жестокую войну и оказывается, поражение много сладостнее, чем битва. «Да, я отчаянно воевал с тобой, моя Мэгги! И все же под конец не тебя, разбитую вдребезги, надо мне склеивать по кусочкам, а кое-как собирать собственные обломки.

Ты поставлена была на моем пути, дабы я понял: лжива и пуста гордыня пастырей таких, как я; подобно Люциферу, возжаждал я сравняться с Богом, и, подобно Люциферу, я пал. Я жил в целомудрии, а до Мэри Карсон и в бедности. Но до нынешнего утра никогда я не знал смирения. Боже, не будь она мне дорога, было бы не так тяжело, но в иные минуты мне кажется, я люблю ее много сильнее, чем тебя, – и этим тоже ты меня караешь. В ней я не сомневаюсь – а в тебе? Какой-то обман, призрак, насмешка. Можно ли любить насмешку? И однако же я люблю».

– Если бы мне удалось собраться с силами, я пошел бы искупаться, а потом приготовил бы завтрак, – сказал он, надо ж было наконец что-то сказать, и почувствовал, как дрогнули в улыбке ее губы у его груди.

– Иди искупайся, завтрак я приготовлю сама. И незачем ничего на себя надевать. Сюда никто не придет.

– Настоящий рай! – Он сел на постели, спустил ноги на пол, потянулся. – Чудесное утро. Может быть, это предзнаменование?

И уже боль разлуки, оттого лишь, что он встал с постели; Мэгги лежала и смотрела, как он идет к дверям, ведущим в сторону лагуны; шагнул на порог, остановился. Обернулся, протянул руку.

– Пойдешь со мной? А потом вместе приготовим завтрак.

Был прилив, риф скрылся под водой, раннее солнце уже припекало, но беспокойный летний ветерок нес прохладу; жесткие травы тянули усики по мельчайшему песку, где сновали в поисках добычи крабы и всякие букашки. Ральф смотрел вокруг широко раскрытыми глазами.

– У меня такое чувство, словно я вижу мир впервые, – сказал он.

Мэгги стиснула его руку; вот и награда за все, это солнечное пробуждение еще непостижимее, чем неправдоподобная, как сон, подлинность минувшей ночи. Она смотрела на него и не могла наглядеться. Время, которое не уместается в сознании, неведомый мир.

И она сказала:

– Да ты и не видел его раньше. Не мог видеть. Это наш мир, пока мы

здесь.

– А что такое Люк? – спросил он за завтраком.

Мэгги склонила голову набок, подумала.

– С виду он не очень на тебя похож, тогда мне просто казалось, потому что я страшно скучала, еще не привыкла без тебя. Наверное, я потому за него и вышла, что он напоминал мне тебя. Ведь все равно я решила выйти замуж, а он был на голову выше других. Не то что достойнее, или милее, или какие там еще качества женщинам полагается ценить в мужьях. Тут что-то другое, сама толком не понимаю. Разве что, пожалуй, в одном смысле он и правда на тебя похож. Ему тоже не нужны женщины.

Ральф болезненно поморщился:

– Вот как ты обо мне думаешь, Мэгги?

– Если по правде – да. Я никогда не понимала, отчего это, но, по моему, так и есть. И ты, и Люк в глубине души почему-то уверены, что нуждаться в женщине – слабость. Я не про то, чтобы спать с женщиной, я о том, когда женщина по-настоящему нужна.

– И с такими мыслями ты все-таки не отказываешься от нас?

Она пожалала плечами, улыбнулась чуть ли не с жалостью.

– Ох, Ральф, я ведь не говорю, что это не важно, и, конечно же, из-за этого я много мучилась, но так уж оно есть. Глупо было бы мне зря тратить силы – бороться с тем, чего все равно не одолеть. В лучшем случае я могу воспользоваться этой слабостью, но не закрывать на нее глаза. Мне ведь тоже чего-то хочется, и что-то мне нужно. Очевидно, мне желанны и нужны такие, как ты и Люк, иначе я не изводилась бы так из-за вас обоих. Вышла бы за хорошего, доброго, простого человека, вот как был мой отец, за такого, кому была бы желанна и нужна. Но наверное, в каждом мужчине есть что-то от Самсона^[8]. А в таких, как ты и Люк, это особенно сильно.

Он как будто ничуть не оскорбился, только улыбнулся:

– Мудрая моя Мэгги!

– Это не мудрость, Ральф. Просто здравый смысл. Никакая я не мудрая, ты и сам это знаешь. Но посмотри на моих братьев. Подозреваю, что старшие, уж во всяком случае, никогда не женятся, даже подружек не заводят. Они до невозможности робкие, им страшно – вдруг женщина получит над ними власть, и они без памяти любят маму.

Проходили день за днем, ночь за ночью. Даже летний ливень – и тот был прекрасен, хорошо было гулять, ощущая его на обнаженной коже, теплый и ласковый, как само солнце, хорошо слушать, как он шумит по железной крыше. И в солнечные часы они тоже гуляли, грелись, лежа на

песке, плавали – Ральф учил ее плавать.

Порой, незаметно для Ральфа, Мэгги смотрела на него и отчаянно старалась запечатлеть в мозгу каждую черточку его лица – ведь как она любила Фрэнка, а меж тем с годами его облик все тускнел в памяти, и уже не удавалось мысленно его увидеть. И вот она силится запомнить глаза Ральфа, и нос, и губы, и ослепительные серебряные пряди – крыльями в черных волосах, и все это крепкое тело, еще помолодому стройное, упругое, только, пожалуй, не такое гибкое, как прежде. А потом он обернется, поймает на себе ее взгляд, а у самого в глазах тревога, скорбь, обреченность. И она понимала, или ей казалось, будто понимает, о чем говорят эти глаза, – он должен уехать, возвратиться к церкви, к своим обязанностям. Быть может, у него уже не будет отныне прежнего пыла, зато он станет лучшим, чем прежде, слугою церкви. Ведь только тому, кто хоть раз поскользнулся и упал, ведомы превратности пути.

Однажды, когда они лежали на берегу и закатное солнце уже обагрило волны и набросило на коралловый песок золотистую дымку, Ральф сказал:

– Мэгги, никогда прежде я не был так счастлив и так несчастен.

– Знаю, Ральф.

– Я так и думал. Может быть, за это я и люблю тебя? Ты не такая уж необыкновенная, Мэгги, и все-таки необыкновенная. Может быть, это я и почувствовал тогда, много лет назад? Да, наверное. Всегда обожал тициановский цвет волос! Знал бы я, куда меня заведет эта страсть... Я люблю тебя, Мэгги.

– Ты уезжаешь?

– Завтра. Надо. Я должен успеть на пароход до Генуи, осталось меньше недели.

– Едешь в Геную?

– В Рим. Надолго, может быть, до конца жизни. Не знаю.

– Не бойся, Ральф, я тебя отпущу без всякого крика. Мне тоже скоро пора. Я ухожу от Люка, вернусь домой, в Дрохеду.

– О Господи, Мэгги! Неужели из-за этого? Из-за меня?

– Ну конечно, нет, – солгала Мэгги. – Я это решила еще до твоего приезда. Люку я не нужна, я ему совсем ни к чему, скучать не станет. А мне нужен дом, хоть какой-то свой угол, и теперь я думаю, лучше Дрохеды нигде не будет. Не годится бедной Джастине расти в доме, где я прислуга, хотя, конечно, для Энн и Людвиг я почти как родная. Но я-то про это помню, и Джастина, когда подрастет и поймет, что у нее нет настоящего дома, тоже станет считать меня просто прислугой. В каком-то смысле ей и от дома будет мало радости, но я должна для нее сделать все, что могу. Вот

и вернусь в Дрохеду.

– Я буду тебе писать, Мэгги.

– Не надо. Неужели, по-твоему, после всего, что сейчас было, мне нужны письма? Еще проведает про нас какой-нибудь негодяй, вдруг тебе это повредит. Нет, не надо писем. Если опять попадешь когда-нибудь в Австралию, будет вполне понятно и естественно тебе съездить в Дрохеду, хотя предупреждаю тебя, Ральф, сперва хорошенько подумай. Есть только два места на свете, где ты прежде всего мой, а уж потом – слуга Божий: здесь, на Матлоке, и в Дрохеде.

Он крепко обнял ее, стал гладить ее волосы.

– Мэгги, Мэгги, если б я мог на тебе жениться, если б никогда больше не расставаться... Не хочу я от тебя уезжать. В каком-то смысле ты никогда уже меня и не отпустишь. Пожалуй, напрасно я приехал на Матлок. Но себя не переменишь – и, может быть, так лучше. Теперь я знаю себя, как без этого не узнал бы, не посмел бы посмотреть правде в глаза. А со знакомым противником бороться легче, чем с неизвестным. Я люблю тебя. Всегда любил и всегда буду любить. Ты это помни.

Назавтра впервые с того дня, как он подвез сюда Ральфа, явился Роб и терпеливо ждал, пока они прощались. Ясное дело, они не молодожены, думал Роб, ведь он приехал позже ее и уезжает раньше. Но и не тайные любовники. Женаты, сразу видно. Но любят друг дружку, очень даже любят. Вроде как он сам, Роб, со своей хозяйкой; муж много старше жены, вот и получается хорошая пара.

– До свидания, Мэгги.

– До свидания, Ральф. Береги себя.

– Да, хорошо. И ты.

Он наклонился, поцеловал ее; наперекор всем своим решениям она обвила руками его шею, прильнула к нему, но он разнял ее руки – и она тотчас заложила их за спину, сцепила пальцы.

Ральф сел в машину и, когда Роб развернул ее, стал смотреть вперед сквозь ветровое стекло, ни разу не оглянувшись. Редкий человек так может, подумал Роб, хоть и не слыхивал про Орфея. Молча катили они сквозь струи дождя и наконец выехали на морской берег Матлока, на длинный причал. Пожимая на прощание руку гостя, Роб посмотрел ему в лицо и удивился. Никогда еще не видел таких выразительных, таких печальных глаз. Взор архиепископа Ральфа навсегда утратил былую отрешенность.

Когда Мэгги вернулась в Химмельхох, Энн тотчас поняла, что теряет

ее. Да, перед ней прежняя Мэгги – но и другая. Что бы ни говорил себе архиепископ Ральф перед поездкой на Матлок, там, на острове, все наконец повернулось не по его воле, но по воле Мэгги. Что ж, давно пора.

Мэгги взяла дочку на руки, словно только теперь поняла, что значит для нее Джастина, и стоит, укачивает девочку, и с улыбкой оглядывает комнату. Встретилась взглядом с Энн, и столько жизни, столько радости в ее сияющих глазах, что и на глазах Энн выступили слезы радостного волнения.

– Не знаю, как вас благодарить, Энн.

– Пф-ф, за что это?

– За то, что вы прислали ко мне Ральфа. Уж наверно вы понимали, что после этого я уйду от Люка, за это вам тоже спасибо огромное. Вы даже не представляете, что это для меня! Я ведь уже собиралась на всю жизнь остаться с Люком. А теперь вернусь в Дрохеду и оттуда ни на шаг!

– Мне тяжело с вами расставаться, Мэгги, а с Джестиной и того тяжелее, но я рада за вас обеих. Люк бы вам ничего не принес, кроме горя.

– Вы не знаете, где он сейчас?

– Был на рафинадной фабрике в Сиднее. А теперь рубит тростник под Ингемом.

– Придется мне съездить к нему, сказать ему. И, как ни гнусно и ни противно, переспать с ним.

– Что-о?!

Глаза Мэгги сияют.

– У меня две недели задержки, а никогда и на день опозданий не бывало. Только раз так было, перед Джестиной. У меня будет ребенок, Энн, я точно знаю!

– Боже милостивый! – Энн смотрит на Мэгги во все глаза, будто видит впервые; да, пожалуй, так оно и есть. Облизывает разом пересохшие губы, говорит заикаясь: – Может быть, это ложная тревога.

Но Мэгги качает головой:

– Нет, нет. Будет ребенок. Я уж знаю.

– Вот ужас, если правда, – пробормотала Энн.

– Да что вы, Энн, слепая? Неужели вы не понимаете? Ральф не может быть моим, я всегда это знала. А теперь он мой, мой! – Она рассмеялась и так крепко прижала к себе Джастину, что Энн даже испугалась, но, к ее удивлению, малышка не заплакала. – Я взяла у Ральфа то, чего церкви не получить, что останется в поколениях. Теперь он будет жить вечно, потому что – я знаю – у меня будет сын! А у сына будут свои сыновья, а потом и у них будут сыновья... Я еще возьму верх над Господом Богом. Я полюбила

Ральфа в десять лет и, наверное, если доживу до ста, все равно буду его любить. Но он не мой, а вот его ребенок будет мой. Мой, Энн, мой!

– Ох, Мэгги, – беспомощно вздохнула Энн.

Вспышка бурного ликования миновала, Энн узнавала прежнюю Мэгги, спокойную и ласковую, только теперь чувствовался в ней железный стерженек, способность многое вынести. Однако Энн стала осторожнее: чего она, в сущности, добилась, послав Ральфа де Брикассара на остров Матлок? Неужели человек может так перемениться? Навряд ли. Значит, это было в Мэгги всегда, только так глубоко запрятано, что и не заподозришь. И не просто железный стерженек, нет, оказывается, Мэгги тверда как сталь.

– Мэгги, если вы меня хоть немножко любите, я попрошу вас кое-что вспомнить, хорошо?

Серые глаза улыбнулись.

– Постараюсь!

– Я давно перечитала все свои книги и в последние годы читаю книги Людвиг. Особенно про Древнюю Грецию, эти греки меня просто заворожили. Говорят, они понимали все на свете, нет такого человеческого чувства и поступка, которого не встретишь в их литературе.

– Да, знаю. Я тоже прочла кое-какие книги Людвиг.

– Так неужели вы не помните? Древние греки считали: безрассудная любовь – грех перед богами. И еще, помните: если кого-то вот так безрассудно полюбить, боги ревнуют и непременно губят любимого во цвете лет. Это всем нам урок, Мэгги. Любить свыше меры – кощунство.

– Вот это верно, Энн, именно кощунство. Нет, я буду любить ребенка Ральфа не кощунственной любовью, а чистейшей, как сама Богоматерь.

Карие глаза Энн смотрели с глубокой печалью.

– Но так ли чиста была ее любовь? Разве тот, кого она любила, не погиб во цвете лет?

Мэгги положила дочь в кроватку.

– Чему быть, того не миновать. Ральфа я получить не могу, а его ребенок у меня будет. У меня такое чувство... как будто мне наконец есть для чего жить! Вот что было хуже всего в эти три с половиной года, Энн: я уже думала, жить незачем. – Мэгги коротко, решительно, улыбнулась. – Я хочу всячески защитить и оберечь этого ребенка любой ценой. И прежде всего надо, чтоб никому, даже Люку, и во сне не снилось, будто малыш не имеет права на единственное имя, какое я ему могу дать. Лечь в постель с Люком – меня от одной мысли тошнит, но я это сделаю. Я и с дьяволом легла бы, если б это помогло малышу жить. А потом я вернусь домой, в Дрохеду, и, надеюсь, никогда больше Люка не увижу. – Она отошла от

кроватки. – Вы с Людвигом будете нас навещать, правда? В Дрохеде всегда найдется место для гостей.

– Будем навещать раз в год, каждый год, пока вам не надоест! Мы с Людвигом хотим видеть, как растет Джастина.

Только мысль о ребенке Ральфа поддерживала гаснущее мужество Мэгги, и мили до Ингема в тряском и шатком вагончике показались ей нескончаемо длинными. Если бы не сознание того, что в ней зреет новая жизнь, еще раз лечь в постель с Люком было бы смертным грехом против самой себя; но ради ребенка Ральфа она и впрямь продала бы душу дьяволу.

Понятно, что и чисто практически это будет непросто. Но она старательно все обдумала и предусмотрела – и, как ни странно, ей помог Людвиг. От него редко удавалось что-либо скрыть, слишком он был проникательный, да и Энн во всем ему доверялась. Он с грустью смотрел на Мэгги, качал головой и всякий раз давал отличный дельный совет. Об истинной цели ее поездки не упоминалось, но, как всякий, кто прочел на своем веку немало солидных томов, Людвиг Мюллер был человек сообразительный.

– Совсем незачем говорить Люку, что вы от него уходите, когда он будет усталый, вымотанный после рубки, – мягко подсказывал он. – В хорошем настроении он будет податливей, так? Самое лучшее – повидайтесь с ним в субботу вечером или в воскресенье после того, как пройдет его неделя на кухне. По слухам, на всех плантациях не сыскать другого такого повара, как Люк. Он выучился стряпать, еще когда был подручным в артели стригалей, а стригали народ куда более разборчивый в еде, чем рубщики тростника. Так что, понимаете, после стряпни он в духе. Для него такая работа, наверное, легче легкого. И тут мешкать не надо, Мэгги. Застанете его после недели на артельной кухне довольного, веселого, и сразу выкладывайте свои новости.

В последнее время Мэгги казалось, что она совсем уже разучилась краснеть; она встретила взгляд Людвиг и ничуть не порозовела.

– Людвиг, а вы не можете узнать, в какую неделю он на кухне? Или мне самой можно как-то разведать?

– Молодец, девочка! – сказал он весело. – Ничего, у меня есть свои источники. Я разведу.

В субботу среди дня Мэгги сняла номер в ингемской гостинице, которая показалась ей всего приличнее. Надо отдать справедливость Северному Квинсленду – там в каждом городе на каждом углу по

гостинице. Мэгги оставила свой небольшой чемодан в номере и опять вышла в неприглядный вестибюль к телефону. В Ингем как раз приехали для очередной товарищеской встречи какие-то футбольные команды, и в коридорах полно было полуголых пьяных парней – они приветствовали Мэгги радостными воплями и шлепками по спине и пониже. Когда ей все-таки удалось добраться до телефона, ее трясло от страха; похоже, вся эта затея с начала и до конца будет пыткой. Но, несмотря на шум и гам и пьяные рожи вокруг, она все же ухитрилась дозвониться до фермы некоего Брауна, где работала сейчас артель Люка, и попросила передать О’Нилу, что его жена в Ингеме и хочет с ним повидаться. Хозяин гостиницы заметил, до чего она перепугана, проводил ее обратно к номеру и ушел, только услышав, как она заперлась на ключ.

А Мэгги со вздохом облегчения прислонилась к двери, ноги не держали ее; в ресторан она уже не пойдет, хотя бы пришлось сидеть голодной до самого возвращения в Данглоу. Спасибо, хозяин отвел ей номер рядом с дамской комнатой, туда, если надо, она доберется. Наконец ноги стали как будто не такие ватные, Мэгги пошатываясь добрела до кровати, села и, опустив голову, смотрела на свои трясущиеся руки.

Всю дорогу до Ингема она мысленно искала наилучший способ действий, и внутренний голос кричал: скорей, скорей! Прежде ей никогда не случалось читать о совращениях и соблазнительницах, впервые такие книги попались ей в Химмельхохе, однако и теперь, вооруженная кое-какими сведениями, она не слишком верила, что сумеет и сама это проделать. Но раз надо – значит, надо, ведь как только она заговорит с Люком, всему конец. Язык чешется высказать ему все, что она о нем думает. Но еще сильнее жжет нетерпение вернуться в Дрохеду и знать, что ребенку Ральфа уже ничто не грозит.

Несмотря на зной и духоту, ее охватила дрожь, но она разделась и легла, закрыла глаза и заставила себя думать только об одном: ребенку Ральфа ничто не должно грозить.

Люк явился в гостиницу один, было около девяти вечера, и футболисты нисколько ему не помешали: почти все успели допить до беспамятства, а те, что еще не свалились, уже ничего не видели и не замечали, кроме своих пивных кружек.

Людвиг был прав: за неделю на кухне Люк недурно отдохнул, был исполнен благодушия и рад поразвлечься. Когда сынишка Брауна прибежал в барак и сказал о звонке Мэгги, Люк как раз домывал тарелки после ужина и собирался съездить на велосипеде в Ингем для обычной субботней выпивки в компании Арне и других рубщиков. Приезд жены оказался

приятным разнообразием: после того месяца в Этертоне, как ни выматывала работа на плантациях, Люка порой тянуло к Мэгги. Только страх, что она опять начнет требовать: «Бросай тростник, пора обзавестись своим домом», – мешал ему заглянуть в Химмельхох всякий раз, как он бывал поблизости. Но сейчас она сама к нему приехала – и он совсем не прочь провести с ней ночь в постели. Итак, он поскорее покончил с посудой, и, на счастье, пришлось крутить педали всего каких-нибудь полмили, дальше подвез попутный грузовик. Но пока он шагал с велосипедом оставшиеся три квартала до гостиницы, радость предвкушения поостыла. Все аптеки уже закрыты, а «французских подарочков» у него нет. Он постоял перед витриной, полной старого, размякшего от жары шоколада идохлых мух, и пожал плечами. «Ничего не поделаешь, рискнем. Впереди только одна ночь, а если будет ребенок, так, может, на этот раз больше повезет и родится мальчишка».

Заслышав стук в дверь, Мэгги испуганно вскочила, босиком прошлепала к двери.

– Кто там?

– Люк, – отозвался голос.

Она отперла, приотворила дверь и спряталась за ней, когда Люк распахнул дверь пошире. И едва он вошел, захлопнула дверь и остановилась, глядя на него. А Люк смотрел на нее: после рождения ребенка груди у нее стали полнее, круглее, соблазнительнее прежнего, и соски уже не чуть розовые, а яркие, алые. Если б Люка требовалось подогреть, одного этого было сверхдостаточно; он подхватил Мэгги на руки и отнес на кровать.

Рассвело, а она еще не промолвила ни слова, хотя ее прикосновения доводили его до исступленных порывов, никогда прежде не испытанных. И вот она отодвинулась от него и лежит, какая-то вдруг странно чужая.

Люк с наслаждением потянулся, зевнул, откашлялся. Спросил:

– С чего это ты вдруг прикатила в Ингем, Мэг?

Она повернула голову, большие глаза смотрят презрительно. Это его задело.

– Так с чего ты сюда прикатила? – повторил он.

И опять молчание, только все тот же язвительный взгляд в упор, похоже, она просто не желает отвечать. Довольно смешно после такой ночи.

Но вот ее губы дрогнули в улыбке.

– Я приехала сказать тебе, что уезжаю домой, в Дрохеду.

Сначала он не поверил, но посмотрел внимательнее в лицо ей и понял:

да, это всерьез.

– Почему? – спросил он.

– Я ведь предупреждала тебя, чем кончится, если ты не возьмешь меня в Сидней, – сказала Мэгги.

Люк искренне изумился:

– Да ты что, Мэг! Это ж было полтора года назад, черт подери! И ведь я же возил тебя отдыхать! Месяц в Этертоне – это, знаешь ли, стоило недешево! Я не миллионер, еще и в Сидней тебя возить!

– Ты два раза ездил в Сидней, и оба раза без меня, – упрямо сказала Мэгги. – Первый раз я еще могу понять, я тогда ждала Джастину, но в этом году, в январе, когда лило как из ведра, мне тоже не мешало бы отдохнуть и погреться на солнышке.

– Фу, черт!

– Ну и скряга же ты, Люк, – негромко продолжала Мэгги. – Ты получил от меня двадцать тысяч фунтов, это мои собственные деньги, и все равно тебе жалко потратить несчастных несколько фунтов, чтобы свозить меня в Сидней. Только и знаешь что деньги! Противно на тебя смотреть.

– Я твоих денег не трогал, – растерянно промямлил Люк. – Они все целы, лежат в банке, и еще сколько прибавилось.

– Что верно, то верно. Они так в банке и останутся. Ты же вовсе не собираешься их тратить, что, неправда? Ты на них молишься, поклоняешься им, как золотому тельцу. Признайся по совести, Люк, ты просто сквалыга. И в придачу безнадежный болван. Надо же – обращался с женой и дочерью хуже, чем с собаками, не то что не заботился – думать о них забыл! Самодовольный, самовлюбленный, бессердечный негодяй, вот ты кто!

Люк весь побелел, его трясло, он не находил слов: чтобы Мэг так яростно на него набросилась, да еще после такой ночи... это все равно как если бы тебя насмерть ужалил какой-нибудь мотылек. Ошеломленный столь несправедливыми обвинениями, он не знал, как ей растолковать, что совесть его совершенно чиста. Как всякая женщина, она судит только по видимости, где уж ей оценить все величие его замысла.

– Ох, Мэг! – выговорил он наконец растерянно, покорно, почти с отчаянием. – Ну разве я когда-нибудь худо с тобой обращался! Да ничего подобного! Никто не может сказать, что я с тобой хоть раз жестоко обошелся. Никто этого не скажет! У тебя и еда была, и крыша над головой, ты жила в тепле...

– Еще бы! – перебила Мэгги. – Вот это золотые слова. Никогда в жизни мне не бывало теплей. – Она покачала головой и засмеялась. – Что

толку с тобой говорить? Как со стенкой...

– И с тобой то же самое!

– Сделай милость, думай, как хочешь, – холодно сказала Мэгги, встала, натянула трусики. – Я не собираюсь с тобой разводиться, – сказала она. – Больше я замуж не выйду. А если тебе понадобится развод, ты знаешь, где меня найти. По закону виновата получаюсь я, так? Ведь это я тебя покидаю – во всяком случае, так посмотрит на дело австралийский суд. Можете оба с судьей поплакать друг другу в жилетку – мол, какие все женщины вероломные и неблагодарные.

– Я-то тебя вовсе не покидал, – заявил Люк.

– Можешь оставить себе мои двадцать тысяч фунтов, Люк. Но больше ты от меня не получишь ни гроша. На свои деньги я буду растить и воспитывать Джастину, а может быть, если посчастливится, и еще одного ребенка.

– А, вот оно что! Значит, тебе от меня только и надо было еще одного младенца, черт бы его побрал? Вот, значит, для чего ты сюда прикатила – за этакой лебединой песней, за последней памяткой от меня, чтоб было что увезти в Дрохеду! Не я тебе понадобился, а еще один ребенок! Я сам никогда тебе и не был нужен, так? Для тебя я племенной бык, больше ничего! Ну и влип же я!

– Почти всегда так оно и есть: мужчины для женщин просто племенные быки, – зло сказала Мэгги. – Ты разбудил во мне все самое плохое, Люк, тебе этого даже не понять. Можешь радоваться! За три с половиной года я тебе принесла куда больше денег, чем твой тростник. Если я рожу еще ребенка, тебя это не касается. Больше я не желаю тебя видеть – никогда, до самой своей смерти.

Она была уже совсем одета. Взяла сумочку, чемодан, у двери обернулась:

– Я дам тебе один совет, Люк. На случай если под старость ты больше не сможешь рубить тростник и вдруг опять найдешь себе женщину. Ты ведь не умеешь целоваться. Уж слишком разеваешь рот, заглатываешь женщину, как удав. Слюна – это еще ничего, пока в ней не тонешь. – Она брезгливо вытерла губы тыльной стороной кисти. – Меня тошнит от тебя! Великий самовлюбленный Люк О’Нил, пуп земли! Ничтожество!

Она ушла, а Люк еще долго сидел на краю кровати и тупо смотрел на дверь. Потом пожал плечами и оделся. В Северном Квинсленде это делается быстро. Натянул шорты – и вся недолга. Если поторопиться, он еще успеет к автобусу, чтобы вернуться на плантацию вместе с Арне и остальными ребятами. Славный малый Арне. Настоящий товарищ, парень

что надо. Жениться – одна дурость. Постель постелью, а мужская дружба – это совсем другое дело.

V

1938–1953

Фиа

Мэгги не хотелось никого предупреждать о своем приезде, и в Дрохеде ее подвез старый почтальон Непоседа Уильямс, рядом с ней на сиденье машины спала в плетеной колыбельке Джастина. Уильямс очень ей обрадовался, все расспрашивал, как она жила эти четыре года, но поближе к дому догадался замолчать и оставить ее в покое.

И снова вокруг все светло-коричневое и серебристое, и снова пыль, и во всем чудесная чистота и сдержанность, чего так не хватает Северному Квинсленду. Тут не растет без удержу буйная зелень и не спешит сгнить, уступая место новой поросли; тут в природе свершается неторопливый и неотвратимый круговорот, подобный движению созвездий. Кажется, еще больше развелось кенгуру. Стоят невысокие, ровные, аккуратные деревья вилга, округлые, почтенные и скромные, будто славные хозяйшки. Взлетают стаи попугаев гала, над головой колышутся розовые облака их подкрылий. Со всех ног удирают долгоязыые эму. Соскакивают с дороги кролики, вызываяще мелькают белые пушистые хвостики. Среди трав встают тусклые скелеты мертвых, сухих деревьев. Когда проезжали равнину Диббен-Диббена, далеко на изогнувшемся дугой горизонте замаячили рощи – только по дрожащим голубым линиям в самом низу можно распознать, что это не настоящие деревья, а мираж. Уныло каркают вороны – Мэгги и не подозревала, что соскучилась по этому карканью. Сухой осенний ветер гонит мимо бурую косую завесу пыли, словно какой-то грязный дождь. И травы, серебряные и светло-желтые травы Великого Северо-Запада, точно благословение, раскинулись до самого края небес.

Дрохеда, Дрохеда! Призрачные эвкалипты и сонные исполины – перечные деревья так и гудят, полные пчелиным жужжанием. Вот и скотные дворы, амбары и сараи, сложенные из желтого, как масло, песчаника, чересчур яркая зелень газона вокруг Большого дома, осенние цветы в саду – желтофиоль и цинния, астры и георгины, бархатцы и

ноготки, хризантемы и розы, розы... Усыпанный песком задний двор, миссис Смит стоит на крыльце, изумленно раскрыла рот, засмеялась, заплакала, подбегают Минни и Кэт, старые жилистые руки цепями обвиваются вокруг Мэгги, вокруг самого сердца. Да, здесь, в Дрохеде, ее родной дом, и здесь ее сердце – навсегда.

Вышла Фиа посмотреть, что за шум.

– Здравствуй, мама, я вернулась.

Взгляд серых глаз не изменился, но повзрослевшей своей душой Мэгги поняла: мама рада ей, просто не умеет это показать.

– Ты ушла от Люка? – спросила Фиа, для нее само собой разумелось, что миссис Смит и Минни с Кэт ничуть не меньше ее вправе это знать.

– Ушла. И никогда к нему не вернусь. Ему ничего не нужно: ни дом, ни я, ни дети.

– Дети?

– Да. У меня будет еще ребенок.

Три женщины заохали, заохали, а Фиа тем же ровным голосом, что прикрывал затаенную радость, произнесла свой приговор:

– Раз ты ему не нужна, правильно сделала, что вернулась домой. Мы тут сумеем о тебе позаботиться.

Вот и ее прежняя комната, из окна видны сад и Главная усадьба. А рядом комната для Джастины и для того, кто еще родится. Как хорошо дома!

Боб тоже ей обрадовался. Жилистый, уже немного сутулый, он стал еще больше похож на Пэдди, кажется, солнце досуха прокалило и кожу его, и кости. В нем ощутима та же спокойная сила духа, но, быть может, потому, что сам он не обзавелся большим семейством, в лице его нет, как у Пэдди, отеческой снисходительности. Похож он и на мать. Молчаливый, сдержанный, отнюдь не склонный делиться своими чувствами и мыслями. А ведь ему уже сильно за тридцать, вдруг с удивлением подумала Мэгги, и он все еще не женился. Потом пришли Джек и Хьюги, оба – точная копия Боба, только помягче, и застенчиво заулыбались, увидев сестру. «Наверное, в этом все дело, – подумала Мэгги, – земля сделала их застенчивыми, земля ведь не нуждается в красноречии, в светской обходительности. Земле нужно только то, что они ей дают, – молчаливая любовь, безраздельная преданность».

В этот вечер дома собрались все братья Клири, надо было разгрузить фургон с зерном, которое Джимс и Пэтси купили в Джиленбоуне.

– Знаешь, Мэгги, я сроду не видал такой суши, – сказал Боб. – Два года не было дождя, ни капли. И еще напасть – кролики, они хуже кенг: жрут

больше травы, чем овцы и кенги, вместе взятые. Мы пробуем отказаться от подножного корма, но ты же знаешь, что такое овцы.

Да, Мэгги отлично это знала. Безмозглые твари начисто лишены способности прожить без нянек. Если их предки и обладали хоть каким-то подобием мозгов, то породистые аристократы, выведенные ради наилучшей шерсти, растеряли последний умишко. Они ничего не станут есть, кроме травы под ногами да веток, срезанных с привычного, растущего вокруг кустарника. Но в Дрохеде не хватит рук нарезать довольно ветвей, чтобы наполнить кормушки на сто тысяч овец.

– Наверное, я могу вам пригодиться? – спросила Мэгги.

– Еще как! Если ты сможешь, как прежде, объезжать ближние выгоны, у нас освободится человек на резку.

Близнецы, как и обещали когда-то, окончательно вернулись домой. В четырнадцать лет они распростились с учением: им не терпелось поскорее вернуться на черноземные равнины Дрохеды. Уже сейчас они удивительно похожи на старших братьев, так же одеты, на манер всех скотоводов Великого Северо-Запада: фланелевая рубаша и грубые серые штаны постепенно отжили свое, их сменили белые молескиновые бриджи, белая рубашка, широкополая серая фетровая шляпа с плоской тульей, невысокие сапожки для верховой езды с резинками на боку и почти без каблуков. Лишь горсточка полукровок – жителей джилленбоунских окраин, подражая ковбоям американского Дикого Запада, щеголяет в сапогах на высоченных каблуках и в стетсоне с тульей размером ведра на полтора. Овцеводу черноземных равнин такая мода только помеха, никчемное подражание чужим обычаям. На высоких каблуках через заросли кустарника не продерешься, а по зарослям ходить надо нередко. И в шляпе с ведерной тульей чересчур тяжело и жарко.

Каурой кобылки и вороного мерина давно не стало, их стойла в конюшне опустели. Мэгги уверяла, что с нее вполне довольно и простой рабочей лошади, но Боб съездил к Мартину Кингу и купил для нее двух попородистее – буланую кобылу с темной гривой и хвостом и длинноногого каурого мерина. Почему-то потеря той каурой кобылки потрясла Мэгги чуть ли не сильнее, чем разлука с Ральфом, должно быть, только теперь она по-настоящему ощутила эту разлуку; словно тут-то и стало окончательно ясно – он уехал, его больше с ней нет. Но как хорошо снова ездить по выгонам, когда рядом скачут собаки, и глотать пыль, поднятую bleющей отарой, и смотреть на птиц, на небо, на земной простор.

Сушь стояла страшная. Сколько помнила Мэгги, луга Дрохеды всегда

умудрялись пережить засуху, но на этот раз вышло по-другому. Между уцелевшими пучками травы виднелась голая земля, она спеклась в темную корку, изрезанную частой сеткой трещин, и они зияли, точно жаждущие пересохшие рты. И все это больше по милости кроликов. За четыре года после отъезда Мэгги они вдруг невероятно расплодились, хотя, думала она, и в прежние годы от них было немало вреда. А тут, будто в одночасье, совсем житья не стало. Они кишмя кишели на выгонах и пожирали драгоценную траву.

Мэгги научилась ставить капканы на кроликов; не очень-то приятно смотреть, как стальные зубья увечат милых пушистых зверьков, но Мэгги с детства работала на земле и не привыкла уваливать: раз надо, значит, надо. Убивать ради того, чтобы выжить, не жестокость.

– Проклятые помми, патриоты слюнявые, дернула их нелегкая притащить к нам кроликов! – ворчал Боб.

Прежде кролики в Австралии не водились, англичане завезли их сюда как некое лирическое напоминание о родине, и они совершенно разрушили экологическое равновесие континента; с овцами и коровами этого не произошло, потому что их с самого начала разводили по всем правилам науки. В Австралии не было своих хищников, которые помешали бы кроликам плодиться без удержу, привозные лисицы не прижились. Волей-неволей человек сам взял на себя роль хищника, но людей оказалось слишком мало, а кроликов – слишком много.

А потом ей трудно стало ездить верхом, и она все дни проводила дома, с миссис Смит, Минни и Кэт, шила и вязала вещички для того, кто шевелится внутри. Носить этого мальчишку (Мэгги не сомневалась, что у нее родится сын) было гораздо легче, чем Джастину, – ни тошноты, ни приступов слабости и уныния, и только хочется, чтобы он поскорее родился. Пожалуй, отчасти в этом нетерпении повинна Джастина: крохотное существо со странными светлыми глазами не по дням, а по часам преобразается из несмышленного младенца в умницу девчурку, и следить за этим волшебным превращением необыкновенно интересно. Прежде Мэгги была равнодушна к дочке, а тут страстно захотелось излить на нее материнскую нежность, обнимать, целовать, смеяться с ней вместе. И Мэгги была потрясена, когда убедилась, что Джастина всякий раз вежливо уклоняется от ее ласк.

Когда Джимс и Пэтси, покончив с учением, вернулись в Дрохеду, миссис Смит собиралась опять взять их под крылышко, но, к немалому ее разочарованию, они целыми днями стали пропадать на выгонах. Миссис

Смит готова была отдать свое сердце маленькой Джастине, но и ее отвергли столь же решительно, как Мэгги. Видно, Джастина вовсе не желала, чтобы ее обнимали, целовали и смешили.

И ходить, и говорить она начала очень рано, девяти месяцев. А едва став на ноги и заговорив (да еще как бойко!), эта независимая особа делала теперь только то, что ей вздумается. Не то чтобы она много шумела или дерзила, просто уж очень твердый и неподатливый оказался у нее нрав. Имей Мэгги хоть малейшее понятие о генах, она, пожалуй, призадумалась бы о том, что может дать сочетание Клири, Армстронгов и О'Нила. Довольно взрывчатая смесь, иначе и не могло быть.

Окружающих особенно огорчало, что Джастина упрямо не желала ни смеяться, ни хотя бы улыбнуться. Все и каждый в Дрохеде из кожи вон лезли, пробуя разными фокусами и ужимками ее позабавить, но тщетно. По части врожденной серьезности эта не улыбка перещеголяла даже бабушку.

Первого октября, в тот самый день, когда Джастине исполнился год и четыре месяца, в Дрохеде родился сын Мэгги. Родился неожиданно, почти на месяц раньше срока: две-три сильнейшие схватки, разом отошли воды – и, едва успев позвонить доктору, Фиа с миссис Смит уже приняли новорожденного. Мэгги и оглянуться не успела. Она почти не почувствовала боли – так быстро кончилось это испытание; и хотя из-за поспешности, с какой младенец появился на свет, пришлось ей наложить швы, Мэгги чувствовала себя прекрасно. Для Джастины у нее в свое время не было ни капли молока, теперь его, кажется, хватило бы на двоих. Не понадобились ни бутылочки, ни искусственное питание.

А какой чудесный родился малыш! Длинненький, но складный, безупречной формы голова с хохолком золотистых волос и ярко-синие глаза, такой яркой синевы, что ясно – цвет их никогда не изменится. И отчего бы ему меняться? Ведь это глаза Ральфа, и руки у него в точности как у Ральфа, и нос, и рот, и даже ноги. Бессовестная Мэгги в душе возблагодарила Бога за сходство Люка и Ральфа: как хорошо, что они одинаково сложены, и оба темноволосые, и даже черты лица похожи. Но вот кисти рук, рисунок бровей, мысок волос на лбу, даже сейчас ясно очерченный младенческим золотистым пухом, крохотные пальцы на руках и на ногах – это все от Ральфа, ничего общего с Люком. Одна надежда, что никто этого не заметит.

– Ты уже решила, как его назовешь? – спросила Фиа; казалось, малыш сразу ее очаровал.

Мэгги смотрела, как она стоит с внуком на руках, и в душе радовалась – наконец-то мама снова сумеет полюбить; наверное, не так, как любила

Фрэнка, а все-таки закаменевшее сердце ее смягчится.

– Я хочу назвать его Дэн.

– Странное имя! Что тебе вздумалось? Или это в О’Нилов? Мне казалось, ты с О’Нилами покончила?

– Люк тут ни при чем. Это будет только его имя, больше ничье. Терпеть не могу, когда и дедов, и внуков зовут одинаково. Я Джастину назвала Джастиной просто потому, что мне понравилось имя, вот и Дэна назову Дэном потому, что мне так нравится.

– Ну что ж, славное имя, – согласилась Фиа.

Мэгги поморщилась – тяжело, слишком много молока.

– Дай-ка мне его, мама. Надеюсь, он голодный! И надеюсь, старик Непоседа не забудет привезти отсос, не то тебе придется самой съездить в Джилли.

Он был голодный, он сосал так жадно, что от крохотных настойчивых губ ей стало больно. А Мэгги смотрела на его сомкнутые веки в темных, золотящихся по краю ресницах, на пушистые брови, на крохотные, деловитодвигающиеся щеки – и чувствовала, что любит его пронзительной любовью, до боли, которая куда сильнее, чем боль от жадно сосущих губ.

«Сын – этого довольно; этого должно быть довольно, больше у меня ничего не будет. Но клянусь Богом, Ральф де Брикассар, клянусь Богом, который тебе дороже меня, никогда ты не узнаешь, что я украла у тебя и у твоего Бога! Никогда я не расскажу тебе про Дэна. Маленький мой! – Мэгги подвинулась на подушках, уложила ребенка на руке поудобнее, и лучше стало видно точеное личико. – Маленький мой! Ты – мой, и никогда никому я тебя не отдам. Уж во всяком случае, не твоему отцу, ведь он священник и не может тебя признать сыном. Чудесно, правда?»

Пароход вошел в генуэзский порт в начале апреля. Архиепископ Ральф прибыл в Италию в самый разгар пышной южной весны и как раз поспел к поезду на Рим. Пожелай он предупредить о приезде, его бы встретили, прислали за ним машину из Ватикана, но он страшился минуты, когда вновь станет узником святой церкви, и, как мог, оттягивал эту минуту. Вечный город. «Да, поистине вечный», – думал Ральф де Брикассар, глядя из окна такси на купола и колокольни, на усеянные стаями голубей площади, на великолепные фонтаны и римские колонны, чьи основания уходили в глубь веков. Нет, для него все это лишнее. Ему важно в Риме одно – Ватикан, его роскошные залы, открытые для всех, и отнюдь не роскошные кабинеты, недоступные посторонним.

Монах-доминиканец в черно-белом облачении провел его по высоким

мраморным коридорам, среди бронзовых и каменных изваяний, которые украсили бы любой музей мира, мимо великолепных картин в стиле Джотто и Рафаэля, Боттичелли и Фра Анжелико. Он был сейчас в кардинальских парадных залах – и, конечно, богатое семейство Контини-Верчезе постаралось еще прибавить блеска окружению своего столь высоко вознесенного отпрыска.

Стены отделаны слоновой костью с золотом, всюду красочные гобелены, многоцветные полотна, изысканная мебель французской работы, французские ковры на полу, там и тут пламенеют алые мазки, и среди всего этого великолепия сидит Витторио Скарбанца, кардинал ди Контини-Верчезе. Приветливо протянута навстречу вошедшему маленькая мягкая рука со сверкающим рубиновым перстнем; радуясь, что можно опустить глаза, архиепископ Ральф пересек комнату, преклонил колена и поцеловал перстень. И приник щекой к руке кардинала – нет, он не сумеет солгать, хотя и намерен был солгать, готов был лгать – до той самой минуты, пока губы не коснулись этого символа духовной власти и мирского могущества.

Кардинал Витторио положил другую руку ему на плечо, кивком отпустил монаха, а когда тот неслышно притворил за собой дверь, снял руку с плеча Ральфа, лица которого все еще не было видно, и погладил густые темные волосы, ласково отвел их со лба. Волосы уже не такие черные, как прежде, проседь быстро меняет их цвет. Склоненная спина напряглась, плечи расправились, архиепископ Ральф поднял голову и посмотрел прямо в глаза своему духовному наставнику.

Вот где перемена – в лице! Губы скорбно сжаты – верный признак пережитого страдания; и глаза удивительной красоты (эти необыкновенные глаза, и цвет их, и разрез, кардинал помнил так ясно, будто их обладатель ни на час с ним не расставался) изменились неузнаваемо. Кардиналу Витторио всегда чудилось, что такими, как у Ральфа, были глаза Христа: синие, спокойные, отрешенные от всего, что представало взору, и потому-то взор его смог все объять и все постичь. Но пожалуй, представление это было ложным. У того, кто сострадал человечеству и страдал сам, разве не отразится это в глазах?

– Встаньте, Ральф.

– Ваше высокопреосвященство, я хотел бы исповедаться.

– После, после! Сначала побеседуем, и притом на вашем родном языке. Вокруг в последнее время слишком много ушей, но, благодарение Богу, ушей, не привычных к английской речи. Пожалуйста, Ральф, садитесь. Как же я рад вас видеть! Мне не хватало ваших мудрых советов, вашей рассудительности, вашего приятного общества. Здесь для меня не

нашлось и вполонину столь дотойного и приятного помощника.

И Ральф де Брикассар ощутил, что мозг его уже настраивается на должный лад и мысли, даже еще не высказанные, облакаются в слова более высокопарные; лучше многих он знал, как меняется человек, смотря по тому, кто его собеседник, поневоле меняешь даже манеру говорить. Нет, беглость обыденной лондонской речи не для этих ушей. И он сел чуть поодаль, напротив маленького худоцавого человека в алом муаровом одеянии особенного, как бы переливчатого и все же неизменного оттенка, так что оно не противоречило всему окружающему, а словно с ним сливалось.

Безмерная усталость, что давила его последние недели, вдруг показалась не столь тяжелой: почему, в сущности, он так страшился этой встречи, ведь знал же в глубине души, что его поймут и простят? Нет, вовсе не это страшит, а совсем иное. Ужасно сознание вины, ибо он пал, не достиг совершенства, к которому стремился, не оправдал доверия того, кто всегда был ему истинным, заботливым, бесконечно добрым другом. Ужасно сознание вины, ибо стоишь перед тем, кто чист духом, а сам ты утратил чистоту.

– Ральф, мы – пастыри, но это не все: мы были еще чем-то до того, как приняли сан, и нам от этого не уйти, несмотря на избранность нашу. Мы – люди и не свободны от прегрешений и слабостей людских. В чем бы вы ни признались, ничто не переменит мнения, какое сложилось у меня о вас за все эти годы, ничто не побудит меня думать о вас хуже и любить вас меньше. Многие годы я знал, что вам еще не пришлось испытать на себе, сколь слаба наша человеческая природа, и знал также, что вам неминуемо придется это испытать, как испытали все мы. Даже сам святейший папа, смиреннейший и человечнейший из нас.

– Я нарушил обет, ваше высокопреосвященство. Этот грех нелегко прощается. Это святотатство.

– Обет бедности вы нарушили много лет назад, когда приняли наследство Мэри Карсон. Остаются обеты целомудрия и смирения, не так ли?

– Значит, я нарушил все три, ваше высокопреосвященство.

– Я предпочел бы, чтобы вы называли меня, как прежде, просто по имени. Нет, я не возмущен, Ральф, и не разочарован. На все воля Божия, и, мне кажется, тем самым вы получили важнейший урок и постигли истину, которую нельзя постичь способом менее жестоким. Бог есть тайна, и пути его выше нашего жалкого понимания. Однако, думаю, то, что вы совершили, совершенно не по легкомыслию и не просто отбросили вы

священный обет, точно пустые слова. Слишком хорошо я вас знаю. Знаю, что вы горды, и всей душою преданы своему сану, и сознаете свою исключительность. Быть может, вы как раз и нуждались в таком уроке, дабы умерилась ваша гордость и вы поняли, что прежде всего вы – человек, а потому и не столь велика ваша исключительность, как вам казалось прежде. Не так ли?

– Так. Мне не хватало смирения, и в каком-то смысле я стремился стать самым Богом. Грех мой – тягчайший и непростимый. Я и сам не могу себе простить, как же мне надеяться на прощение Господне?

– Гордыня, Ральф, опять гордыня! Не ваше дело прощать, неужели и сейчас вы еще не поняли? Только Господь дарует прощение! Только один Господь! А он прощает, если искренне раскаяние. Он, как вы знаете, прощал грехи гораздо более тяжкие тем, кто далеко превзошел вас в святости, а также и тем, кто далеко превзошел вас в пороках. Не думаете ли вы, что сам Люцифер, князь тьмы, не получил прощения? Он был прощен в тот же миг, как восстал против Господа. И участь правителя преисподней не Господь ему определил, а избрал он сам. Не он ли сказал: «Лучше править в аду, чем служить в небесах»? Ибо не мог он смирить свою гордыню и покориться чьей-то воле, даже и воле Господа Бога. И я не желаю, чтобы вы совершили ту же ошибку, дорогой мой друг. Смирения – вот чего вам недостает, а ведь именно смирение и создает великих святых – и великих людей тоже. Доколе вы не предоставите прощать Господу, не обрести вам истинного смирения.

Суровые черты Ральфа исказило страдание.

– Да, я знаю, вы правы. Я должен примириться с тем, каков я есть, и стараться стать лучше, но отбросить гордыню. Я раскаиваюсь и готов исповедаться и ждать прощения. О, как горько я раскаиваюсь!

Он вздохнул, и взгляд его выдал внутреннюю борьбу, которую не мог он высказать тщательно взвешенными словами и, уж конечно, не в этих стенах.

– И все же, Витторио, я не мог поступить иначе. Мне оставалось либо погубить ее, либо навлечь гибель на себя. И в тот час мне казалось, выбор ясен, ведь я ее люблю. Не ее вина, что я никогда не желал уступить любви плотской. Но поймите, ее судьба стала для меня важнее моей собственной судьбы. До той минуты я всегда думал прежде о себе, себя ставил выше, ведь я служитель церкви, а она всего лишь одна из малых сих. А тут мне стало ясно: это я в ответе за то, какую она стала... Мне следовало отказаться от нее, пока она была еще ребенком, а я этого не сделал. Она прочно занимала место в моем сердце и понимала это. А выбрось я ее из

сердца, она бы и это поняла и стала бы совсем иной, и тогда бы я не мог быть ей духовным наставником. – Ральф улыбнулся. – Вы видите, мне должно во многом раскаиваться. Я пытался и сам сотворить одну живую душу.

– Это и есть та роза?

Архиепископ Ральф запрокинул голову, посмотрел на сложные узоры лепного, с позолотой, потолка, на причудливую люстру.

– Кто же еще это мог быть? Она – единственная моя попытка творения.

– А с ней не случится беды, с вашей розой? Не причинили вы ей большего зла, чем если бы вы ее отвергли?

– Не знаю, Витторио! Если бы знать! Тогда мне казалось, иначе поступить невозможно. Я не наделен Прометеевым провидческим даром, а чувства мешают рассуждать здраво. И потом... это случилось само собой! Но, мне кажется, в том, что я ей дал, она нуждалась больше всего: надо было признать в ней женщину. Нет, сама она, конечно, сознавала себя женщиной. Но этого не знал я. Если бы впервые я встретил ее уже взрослой, наверное, все сложилось бы по-другому, но я многие годы знал ее ребенком.

– Я слышу в ваших словах самодовольство, Ральф, вы еще не готовы для прощения. Вас это уязвляет – не так ли? – открытие, что вы не сверхчеловек и подвержены обыкновенным человеческим слабостям. Подлинно ли в своем поступке вы движимы были столь благородным духом самопожертвования?

Ральф вздрогнул, взглянул в лучистые карие глаза – оттуда на него смотрели два его крохотных отражения, два ничтожных пигмея.

– Нет, – сказал он. – Я всего лишь человек, и она дала мне наслаждение, какого я прежде и вообразить не мог. Я не знал, что с женщиной можно испытать подобное, что она дарит такую огромную радость. Я жаждал никогда больше с ней не расставаться, и не только ради ее плоти, но ради счастья просто быть подле нее, говорить с ней и молчать, есть обед, приготовленный ее руками, улыбаться ей, разделять ее мысли. Я буду тосковать по ней до последнего вздоха.

В смуглом лице Витторио, лице аскета, ему вдруг почудилось какое-то сходство с лицом Мэгги в минуты их расставания – словно снят с души тяжкий гнет и торжествуют воля и решимость идти своим путем, несмотря на все тяготы, и скорби, и мучения. Что же он изведal в жизни, этот кардинал в красном шелку, который, казалось, только и питает нежность к ленивой абиссинской кошке?

Но кардинал молчал, и Ральф снова заговорил:

– Я не могу раскаиваться в том, что у меня с ней было. Раскаиваюсь в ином – что преступил обет, священный и нерушимый, данный на всю жизнь. Никогда уже я не сумею исполнять долг пастыря с прежним, ничем не омраченным усердием. Вот о чем я горько сожалею. Но о Мэгги?..

И такое стало у него лицо, когда он произнес ее имя, что кардинал Витторио отвернулся, пытаясь совладать с собственными мыслями.

– Раскаиваться в том, что было с Мэгги, значило бы ее убить. – Ральф устало провел рукой по глазам. – Не знаю, понятно ли я говорю, право, не знаю, как высказать мою мысль. Кажется, мне и под страхом смерти не выразить всего, что я чувствую к Мэгги. – Он наклонился вперед и в глазах кардинала, который вновь обернулся к нему, опять увидел два своих отражения, теперь они стали чуть больше. Глаза Витторио были подобны зеркалам: они отражали все, что видели, но никому ни на миг не позволяли увидеть, что происходит за этой ровной преградой. Не то с Мэгги, в ее глаза погружаешься все глубже и глубже, на самое дно души. – Мэгги сама – благословение, – сказал Ральф. – Для меня она нечто священное, наподобие святого причастия.

– Понимаю, – со вздохом сказал кардинал. – Хорошо, что у вас такое чувство. Думаю, перед лицом Господа этим смягчается ваш великий грех. Однако лучше вам исповедаться не отцу Гильермо, но отцу Джордже. Он не истолкует ложно ваши чувства и ваши рассуждения. Он прозрит истину. Отец Гильермо не столь восприимчив и, пожалуй, усомнится в вашем раскаянии. – Слабая улыбка едва заметной тенью скользнула по тонким губам кардинала Витторио. – Они тоже люди, мой Ральф, те, кто выслушивает исповедь великих. Никогда об этом не забывайте. Лишь отправляя службу, пастырь являет собою сосуд Господень. В остальном он просто человек. Через него отпускает грехи, дарует прощение сам Господь, но выслушивает грешника и суд свой выносит человек.

В дверь осторожно постучали; пока внесли и поставили на инкрустированный перламутром столик чайный поднос, кардинал не промолвил ни слова.

– Видите, Ральф, – сказал он затем, – со времен пребывания в Австралии я пристрастился к дневному чаепитию. Теперь у меня на кухне готовят отменный чай, хотя усвоили это искусство не сразу. – Ральф уже хотел взяться за чайник, но кардинал предостерегающе поднял руку: – Нет-нет! Я налью сам. Хозяйничать – для меня развлечение.

– Я видел, улицы Генуи и Рима кишат черными рубашками, – заметил Ральф.

– Это особые войска самого дуче. Нам предстоят тяжелые времена, мой Ральф. Его святейшество полагает, что не должно быть ни малейших трений между церковью и светскими властями Италии, в этом он непреклонен и, как всегда, прав. Как бы ни повернулись события, ничто не должно мешать нам нести свет и помощь всей нашей пастве, даже если разразится война и разделит католиков и они станут сражаться друг с другом во имя Божие. На чьей бы стороне ни оказались наши сердца и наши чувства, долг наш не вмешивать церковь в политику, в борьбу идей и международные распри. Я вызвал вас к себе, потому что могу на вас положиться, лицо ваше останется непроницаемым, что бы вы ни увидели и что бы ни думали об увиденном, и по складу ума вы прирожденный дипломат, другого такого я еще не встречал.

Архиепископ Ральф хмуро улыбнулся:

– Вы содействуете моей карьере даже помимо моей воли, не так ли? Что было бы со мной, если бы мы с вами не встретились?

– Что ж, вы стали бы архиепископом Сиднейским, пост недурной и весьма значительный, – с лучезарной улыбкой ответил кардинал. – Но судьба наша не в наших руках. Мы встретились, ибо так было суждено, и точно так же суждено нам обоим теперь служить его святейшеству папе.

– Боюсь, в конце этого пути нас не ждет успех, – сказал архиепископ. – Плоды беспристрастности всегда одни и те же. Все одинаково будут нами недовольны, и все одинаково будут нас осуждать.

– Да, я знаю это, и его святейшество также знает. Но мы не можем поступать иначе. И ведь ничто не мешает каждому из нас в отдельности молиться о скорейшем падении дуче и фюрера, не так ли?

– Значит, вы полагаете, война неминуема?

– Не вижу никакой возможности ее избежать.

Из угла, где она спала на солнцепеке, вышла кошка – любимица кардинала и немного неуклюже, потому что уже состарилась, вспрыгнула на обтянутые мерцающим алым шелком колени.

– А, Царица Савская! Поздоровайся же со своим старым другом Ральфом, ведь раньше ты даже отдавала ему предпочтение передо мной.

Сатанинские желтые глаза окинули архиепископа надменным взглядом и равнодушно закрылись. Хозяин и гость рассмеялись.

Дрохеда теперь обзавелась радиоприемником. Прогресс во образе

Австралийского радиовещания добрался и до джиленбоунской округи, и наконец-то появился еще один источник новостей и общее развлечение, кроме телефонной линии со многими отводными трубками. Сам приемник был довольно уродлив – грубая коробка орехового дерева, установленная на изящном шкафчике в гостиной; питание он получал от автомобильного аккумулятора, спрятанного в нижнем ящике шкафчика.

По утрам миссис Смит, Фиа и Мэгги слушали по радио джиленбоунские местные новости и сводку погоды, а по вечерам Фиа и Мэгги слушали последние известия Центрального австралийского радиовещания. Странное чувство – не дожидаясь Непоседы Уильямса и его устаревших газет, в один миг обретаешь связь с внешним миром, узнаешь о наводнениях, пожарах и ливнях в любой части страны, о политике правительства, о неурядицах в Европе.

Вечером в пятницу первого сентября, когда радио сообщило, что войска Гитлера вторглись в Польшу, дома были только Фиа с Мэгги, и обе пропустили новость мимо ушей. Уже сколько месяцев идут об этом толки; и потом, Европа так далеко, на краю света. Что общего с ней у Дрохеды, Дрохеда – вот средоточие вселенной. Однако в воскресенье третьего сентября мужчины съехались с выгонов, чтобы послушать мессу и проповедь преподобного Уотти Томаса, а мужчин Европа интересовала. Но ни Фиа, ни Мэгги не подумали рассказать им о том, что слышали в пятницу, а преподобный Уотти, который, наверное, рассказал бы, спешно уехал в Нарранганг.

Вечером, в час последних известий, как обычно, включили радио. Но вместо отчетливой истинно оксфордской речи постоянного диктора послышался мягкий, с доподлинно австралийским произношением голос премьер-министра Роберта Гордона Мензиса:

– Сograждане австралийцы! Печальный долг обязывает меня сообщить вам, что, поскольку Германия отказывается вывести свои войска из Польши, Великобритания объявила ей войну, а тем самым вступает в войну с Германией и наша страна...

Не остается сомнений в том, что Гитлер стремится не только объединить под своей властью всех немцев, но и подчинить этой власти все страны, какие он сумеет покорить силой. Если так будет продолжаться, не станет безопасности в Европе, не станет мира на всей земле... Совершенно очевидно, что позицию Великобритании разделяют все части Британской империи...

Лучший способ проявить нашу стойкость и оказать поддержку метрополии заключается в том, чтобы каждый оставался на своем посту и

делал свое дело, мы должны трудиться на полях и плантациях, на пастбищах и фабриках и плодами трудов наших укреплять нашу силу. Я уверен: каковы бы ни были сейчас наши чувства, Австралия готова до конца выполнить свой долг.

Да смилуется над нами Господь и да пошлет всему миру скорейшее избавление от постигшего нас бедствия.

В гостиной долго молчали, потом в тишину ворвалась громогласная речь Невилла Чемберлена – он обращался к английскому народу. Фиа и Мэгги посмотрели на мужчин.

– Если считать Фрэнка, нас шестеро, – заговорил наконец Боб. – Все мы, кроме Фрэнка, работаем на земле, а значит, в армию нас не возьмут. Из наших нынешних овчаров, так я думаю, шестеро захотят пойти воевать, а двое останутся.

– Я пойду в армию! – заявил Джек, глаза его блестели.

– И я! – подхватил Хьюги.

– И мы, – сказал Джимс за себя и за вечного молчальника Пэтси.

И все посмотрели на Боба: решающее слово за ним.

– Давайте рассуждать здраво, – сказал Боб. – Для войны нужна шерсть, и не только на обмундирование. Она и на патроны идет, и на взрывчатку, и еще невесть что из нее делают, мы, наверное, про это и не слышали. И еще у нас быки, стало быть, мы поставляем говядину, а валухи и старые овцы – это шкуры, клей, сало и ланолин, все тоже необходимое для войны. Ну и вот, стало быть, мало ли кому из нас чего хочется, а Дрохеду бросать нельзя. Раз война, кое-кто из овчаров уйдет, а попробуй-ка найди теперь замену. Да еще засуха третий год, мы рубим кусты на корм, опять же руки нужны, и от кроликов тоже спасу нет. Стало быть, сейчас наше дело – Дрохеда. Не больно увлекательно, не то что в бою, а все равно надо. Этак от нас будет больше пользы.

У мужчин лица вытянулись, у женщин посветлели.

– А вдруг война затянется дольше, чем думает Чугунный Боб? – сказал Хьюги, называя премьер-министра общеизвестным прозвищем.

Старший брат задумался, глубже прорезались морщины на обветренном лице, суровая складка меж бровей.

– Уж если все пойдет худо и война затянется, а два овчара у нас будут, пожалуй что двоим Клири можно и в армию. Только это если б Мэгги опять взяла на себя ближние выгоны, иначе не выкрутимся. Нам ох как туго придется, по хорошей погоде и вовсе не совладать бы, ну, а в такую сушь, думаю, пятеро мужчин да еще Мэгги – мы бы с Дрохедой управились. Но ведь как с Мэгги такое спросишь, у нее ж на руках двое малышей.

– Раз надо, Боб, значит, надо, – сказала Мэгги. – Миссис Смит не откажется присмотреть за Джастиной и Дэном. Когда понадобится моя помощь, чтобы Дрохеда давала все, что может, ты только скажи – и я начну объезжать ближние выгоны.

– Значит, мы – в армию, без нас двоих вы тут обойдетесь, – улыбаясь, сказал Джимс.

– Нет, пойдем мы с Хьюги, – тотчас возразил Джек.

– По справедливости надо бы идти Джимсу и Пэтси, – медленно произнес Боб. – Вы двое – младшие, овчары покуда еще неопытные, а солдатского опыта и у нас, у старших, никакого нету. Только лет вам мало, ребята, всего-то шестнадцать.

– Когда все станет худо, нам будет уже семнадцать, – просительно сказал Джимс. – А на вид нам и сейчас больше, если б ты написал бумагу, а Гарри Гоф бы заверил, мы бы сразу пошли добровольцами.

– Ну, пока никто из нас не пойдет. Лучше постараемся получать в Дрохеде побольше всего: и мяса, и шерсти, не глядя ни на сушь, ни на кроликов.

Мэгги тихо вышла из комнаты, поднялась в детскую. Дэн и Джастина спали в своих белых кроватках. Мэгги прошла мимо дочери, остановилась подле сына и долго стояла и смотрела на него.

– Слава Богу, ты еще малыш, – сказала она.

Почти год минул, прежде чем война вторглась в уединенный мирок Дрохеды; за этот год поодиночке ушли все наемные овчары, а кролики плодились и плодились без удержу, но Боб, не щадя сил, добивался, чтобы Дрохеда давала больше и больше продукции, как того требовало военное время. Но в начале июня 1940 года стало известно, что английским войскам пришлось оставить Дюнкерк, и тогда тысячи добровольцев хлынули на призывные пункты, чтобы записаться во Второй Австралийский экспедиционный корпус; среди них были и Джимс, и Пэтси.

Четыре года, проведенные в седле, в разъездах по выгонам в любую погоду, наложили свою печать на лица и тела близнецов – они не казались юнцами, спокойно не по возрасту смотрели глаза, а в уголках глаз и от крыльев носа к углам губ уже наметились морщинки. Братья предъявили документы, и обоих взяли без разговоров. Жители австралийских равнин высоко ценились в армии. Это народ крепкий, как правило, меткие стрелки и умеют повиноваться приказу.

Джимс и Пэтси записались добровольцами в Даббо, но получили направление в воинские части, что формировались под Сиднеем, в

Инглберне, и вечером все пошли провожать их на почтовый поезд. Тем же поездом и, как выяснилось, в тот же лагерь ехал Кермак Кармайкл, младший сын Идена. Итак, оба семейства усадили своих отпрысков в удобное купе первого класса и смущенно теснились вокруг – так бы хотелось всплакнуть, поцелуями, каким-то порывом нежности согреть минуты прощания, чтоб было после о чем вспомнить, но всех сковала истинно британская сдержанность. Заунывно взвыл огромный паровоз, начальник дал свисток.

Мэгги наклонилась, застенчиво чмокнула в щеку Джимса, Пэтси, а потом и Кермака – он как две капли воды похож был на своего старшего брата Коннора; Боб, Джек и Хьюги по очереди стиснули руки всем троим; одна только миссис Смит решилась на то, чего до смерти хотелось всем провожающим, – заливаясь слезами, сжала в объятиях и по-настоящему расцеловала троих пареньков. Иден Кармайкл, его жена и уже не столь молодая, но еще красивая дочь тоже простились церемонно, сдержанно. Потом все вышли на джиленбоунскую платформу, а поезд дернулся, лязгнул буферами и медленно двинулся прочь.

– До свидания, до свидания! – закричали провожающие и махали большими белыми платками, пока поезд не превратился в далекую полосу дыма, едва различимую в знойном мареве.

Вместе, как они и просили, Джимс и Пэтси направлены были в недавно созданную, еще толком не обученную Девятую Австралийскую дивизию и в начале 1941-го переправлены в Египет – как раз вовремя, чтобы попасть в разгром при Бенгази. Только что прибывший сюда генерал Эрвин Роммель дал огромный перевес силам оси Берлин – Рим и отбросил союзников вспять – так начались размахи гигантского маятника, прорезавшие Северную Африку. Остальные британские войска с позором отступили перед новым Африканским корпусом Роммеля обратно в Египет, а Девятой Австралийской дивизии в это время приказано было занять и удерживать Тобрук – передовой пост союзников на территории, занятой войсками оси. План этот возможно было осуществить только потому, что в Тобрук еще оставался доступ с моря и туда удавалось доставлять боеприпасы и пополнения, пока Средиземное море открыто было для британских судов. Осажденный Тобрук держался восемь месяцев, Роммель опять и опять бросал все силы на штурм этой крепости, но так и не сумел ее взять.

– А знаете, почему мы с вами тут торчим? – спросил рядовой Кол Стюарт, лениво свертывая самокрутку.

Сержант Боб Мэллой сдвинул шляпу на затылок, чтобы широкие поля не заслоняли лицо собеседника, и ухмыльнулся – вопрос этот звучал не впервые.

– Ни шиша я не знаю, – сказал он.

– Ну, лучше тут сидеть, чем за решеткой, – сказал рядовой Джимс Клири и, оттянув немного пониже шорты своего брата-близнеца, с удобством пристроился головой у него на теплом мягком животе.

– Да-а, но за решеткой в тебя не стреляют все время, – возразил Кол и метко запустил погасшей спичкой в ящерицу, которая грелась поблизости на солнышке.

– Это я и сам знаю, приятель, – сказал Боб и опять заслонил глаза полями шляпы. – А по мне, чем помирать со скуки, черт подери, пускай уж в меня стреляют.

Они с удобством расположились в сухом песчаном окопе как раз напротив минного поля и колючей проволоки, ограждающих юго-западный угол их территории; по ту сторону границы Роммель упрямо цеплялся за единственный захваченный им клочок тобрукской земли. Тут же в окопе разместились крупнокалиберный пулемет «браунинг» и подле него – аккуратно составленные ящики с патронами, но, похоже, никто не был начеку и не ждал атаки. Винтовки стояли, прислоненные к земляной стенке, штыки блестели в слепящих лучах африканского солнца. Вокруг жужжали мухи, но все четверо были коренные австралийцы – жарой, пылью и мухами Тобрука и вообще Северной Африки их не удивишь.

– Ваше счастье, что вы близнецы, Джиме, – сказал Кол, швыряя камешками в ящерицу, которая явно не намерена была сдвинуться с места. – А то поглядеть – неразлучная парочка, прямо любовнички.

– Ты просто завидуешь, – усмехнулся Джимс и потрепал брата по животу. – Лучшей подушки во всем Тобруке не найти.

– Да-а, тебе хорошо, а каково бедняжке Пэтси? Эй, Харпо, скажи хоть словечко! – подзадорил Боб.

Пэтси ответил белозубой улыбкой, но, по обыкновению, промолчал. Все и каждый пытались его «разговорить», но от него только и можно было добиться «да» или «нет», потому его и прозвали Харпо – именем брата-молчуна из тройки комиков – братьев Макс.

– Слышали новость? – вдруг спросил Кол.

– Какую?

– Седьмую бригаду «матильд» разделили под орех при Халфайе, обстреляли из восьмидесят восьмого калибра. Самая крупная пушка тут, в пустыне, только она и берет «матильду». Здоровенные танки пробило

насквозь.

– Еще чего расскажешь... – недоверчиво протянул Боб. – Я сержант, и то ничего про это не слышал, а ты рядовой – и все знаешь. Так вот, приятель, нет у немцев такого оружия, чтоб уничтожить целую бригаду «матильд».

– А я тебе говорю, это чистая правда, – стоял на своем Кол. – Я ходил к Морсхеду в палатку с поручением от командира и сам это слышал по радио.

Все примолкли: в осажденной крепости каждому необходимо твердо верить – у своих довольно сил и вооружения, чтобы в конечном счете его вызволить. И рассказ Кола не радовал, тем более что здесь, в Тобруке, все до последнего солдата понимали: Роммель – враг опасный. Отражать его атаки им помогала искренняя уверенность, что с австралийцем в бою может сравниться разве только индийский воин гурка, и если вера составляет девять десятых силы, то здесь они твердой верой, несомненно, доказали свою мощь.

– Размазни эти помми, – сказал Джимс. – Сюда бы, в Северную Африку, побольше наших австралийцев.

С ним дружно согласились, и тут на самом краю окопа грянул взрыв – от ящерицы не осталось и следа, а четверо солдат кинулись к пулемету и ружьям.

– Паршивенькая итальянская граната, никакой силы, одни осколки, – со вздохом облегчения сказал Боб. – Будь это подарочек от Гитлера, мы бы уж играли на арфах в раю с праведниками – тебе, верно, это будет по вкусу, а, Пэтси?

После тягостных, с большими потерями, месяцев в осаде, которые словно бы ничего не дали, с началом операции «Крестоносец» Девятую Австралийскую дивизию эвакуировали морем в Каир. Однако за то время, пока она удерживала Тобрук, британские войска в Северной Африке неуклонно пополнялись и наконец превратились в Восьмую армию, во главе которой встал новый командир – генерал Бернارد Лоу Монтгомери.

Фиа носила теперь серебряную брошку – эмблему Австралийских вооруженных сил: восходящее солнце, а под ним, на двойной цепочке, серебряная планка с двумя золотыми звездочками, знак, что у нее в армии двое сыновей. И каждый встречный видел, что и она тоже исполнила свой долг перед родиной. Мэгги такую брошь носить не полагалось, ведь она не проводила в армию ни мужа, ни сына. От Люка пришло письмо – он намерен и дальше работать на плантациях, сообщает ей об этом на случай,

если она беспокоится, не воюет ли он. Судя по всему, он начисто забыл, что она сказала ему в то памятное утро в ингемской гостинице. Мэгги устало засмеялась, покачала головой, кинула письмо в корзинку под письменным столом матери и при этом подумала: а тревожится ли Фиа о сыновьях, которые сейчас воюют? Что она, в сущности, думает о войне? Но Фиа ни разу ни словом об этом не обмолвилась, хотя брошку надевала каждый день, с самого утра, и не снимала до ночи.

Изредка приходило письмо из Египта, раскроешь – рассыпается на клочки, потому что всюду, где упомянуты были названия мест или воинских частей, ножницы цензора вырезали аккуратные прямоугольные отверстия. Читать эти письма значило, в сущности, извлекать что-то из ничего; но они приносили самую главную, самую важную весть: раз они приходят, значит, мальчики еще живы.

Дождя давно уже не было. Словно стихии небесные сговорились лишить людей всякой надежды: 1941-й был уже пятым годом жестокой засухи. Бобом, Джеком и Хьюги, Мэгги и Фионой овладело отчаяние. У Дрохеды на счету в банке лежало довольно денег, чтобы закупить корма для овец, беда в том, что овцы есть не станут. В каждой отаре есть свой вожак, только если соблазнить кормом вожака, можно надеяться, что его примеру последуют и остальные; но нередко даже вид жующего вожака не действовал на остальных овец, и они не притрагивались к корму.

И вот, как ни тошно им это было, не удалось и обитателям Дрохеды обойтись без кровопролития. Травы совсем не осталось, земля на выгонах обратилась в темную, спекшуюся, всю в трещинах, корку, и лишь кое-где эту пустыню немного оживляли серые и светло-коричневые рощицы. Пришлось взяться за ружья и ножи; овца падала от слабости, кто-нибудь перерезал ей горло, чтобы избавить от долгой, мучительной смерти, когда вороны еще заживо выклюют бедняге глаза. Боб купил побольше коров, их можно было кормить и в стойлах, так что Дрохеда не переставала снабжать армию. Никакого дохода это не приносило: слишком дорого обходились корма, ведь поля страны пострадали от засухи не меньше, чем пастбища. Земля почти не давала урожая. Однако из Рима сообщили: для армии надо и впредь делать все возможное, не считаясь с расходами.

Для Мэгги работа на выгонах была теперь всего ненавистнее. В Дрохеде удалось удержать только одного наемного овчара, и замены ему не находилось: Австралии всегда больше всего не хватало рабочих рук. И пока Боб не замечал, что Мэгги выбилась из сил и стала раздражительна, и не велел ей в воскресенье отдохнуть, она работала на выгонах целыми неделями без передышки. Но если он давал ей передышку, это значило, что

самому ему придется еще тяжелее, и потому Мэгги старалась не показывать, до чего измучилась. У нее и в мыслях не было, что она может просто-напросто отказаться разъезжать по выгонам как простой овчар, ведь у нее малые дети. Она знала: о детях в доме заботятся, она им нужна гораздо меньше, чем Бобу. Она не умела понять, что малыши все равно в ней нуждаются; ведь она отдала их в хорошо знакомые, любящие руки, думалось ей, и если ей так хочется с ними побыть, это с ее стороны чистейший эгоизм. Да-да, эгоизм, уговаривала она себя. Притом ей не хватало уверенности в себе, которая подсказала бы, что для малышей она такая же единственная и незаменимая, как они для нее. И вот она ездит по выгонам и неделями не видит детей, возвращается домой лишь поздно вечером, когда они уже спят.

Стоило Мэгги взглянуть на Дэна – и у нее всякий раз щемило сердце. Красивый малыш, даже чужие люди на улицах Джилли замечают это, когда Фиа берет его с собой в город. Почти всегда он улыбается, и нрав у него своеобразный – удивительная смесь спокойствия и глубокой, тихой радости; похоже, этот человечек уже сложился как личность и познал самого себя, и далось ему это без мучений, какие обычно испытывает растущий ребенок; почти всегда он безошибочно разбирается в людях и в том, что его окружает, никогда и ни от чего не злится и не теряется. В иные минуты мать по-настоящему пугалась, видя, до чего он похож на Ральфа, но остальные явно не замечали сходства. Ральф давно уже уехал из Джилли, и притом, хотя у Дэна то же сложение и те же черты лица, одно существенное различие затуманивает истину. Волосы у него не черные, как у Ральфа, а золотистые – не цвета заката или спелой пшеницы, но цвета дрохедских трав: бледное золото с кремовым и серебристым отливом.

Джастина обожает братишку, полюбила его с первой минуты. Готова отдать ему все самое лучшее, в лепешку расшибется, лишь бы его порадовать. С тех пор как он научился ходить, она никогда не оставляет его одного, к немалому облегчению Мэгги, – ведь миссис Смит и Кэт с Минни уже немолоды, могут и не уследить за проворным малышом. В одно из редких своих свободных воскресений Мэгги взяла дочку на колени к себе и очень серьезно попросила хорошенько присматривать за Дэном.

– Мне никак нельзя оставаться дома и самой за ним смотреть, – сказала она, – так что я полагаюсь на тебя, Джастина. Дэн – твой маленький братик, и ты должна все время следить, чтобы с ним не случилось никакой беды.

Светлые глаза дочери смотрели понимающе, внимательно, она слушала сосредоточенно, совсем не как четырехлетний ребенок, которого

поминутно что-нибудь отвлекает.

– Не беспокойся, мам, – живо сказала она. – Я всегда буду о нем заботиться вместо тебя.

– Жаль, что я сама не могу о нем заботиться, – вздохнула Мэгги.

– А мне не жаль, – самоуверенно заявила дочь. – Лучше пускай Дэн будет мой. Не бойся. Я приглажу. С ним ничего плохого не случится, – заверила она.

Эти заверения, конечно, успокаивали, но как-то не утешали. Мэгги чувствовала, что смышленная не по годам девчурка готова отнять у нее сына, и никак этому не помешаешь. И надо возвращаться на выгоны, оставляя Дэна под бдительной охраной Джастины. Ее обокрала собственная дочь, маленькое чудовище. В кого она, спрашивается, такая уродилась? Не в мать, не в Люка, не в Фиону.

Но теперь она по крайней мере и улыбается, и смеется. До четырех лет ее никогда ничто не забавляло, научилась она этому, должно быть, благодаря Дэну, он-то умел смеяться еще в колыбели. А когда смеется Дэн, с ним смеется и Джастина. Дети Мэгги все время чему-то учатся друг у друга. Но до чего обидно, что они прекрасно обходятся без матери. «К тому времени как кончится эта мерзкая война, – думала Мэгги, – Дэн уже станет большой и не будет любить меня, как надо, Джастина всегда будет ему ближе. Ну почему, чуть только мне покажется, что я начинаю устраивать свою жизнь по-своему, каждый раз что-нибудь да случается? Мне совсем ни к чему ни эта война, ни засуха, и вот надо ж было им разразиться...»

Пожалуй, вышло даже к лучшему, что для Дрохеды настали тяжелые времена. Если б не это, Джек и Хьюги тоже в два счета ушли бы в армию. А так выбора не было – пришлось им остаться и лезть из кожи вон, чтобы спасти все, что можно, от засухи, которую позже назовут Великой Сушью. От нее пострадало свыше миллиона квадратных миль посевов и пастбищ, от юга штата Виктория до лугов Митчелла на Северной территории, где обычно трава стояла человеку по пояс.

Но война требовала не меньше внимания, чем засуха. Близнецы воевали в Северной Африке, и потому обитатели Дрохеды жадно следили за каждым приливом и отливом в сражении, которое прокатывалось взад и вперед по Ливии. Исконные труженики, они всей душой стояли за лейбористов и терпеть не могли нынешнее правительство, лейбористское по названию, но консервативное по существу. Когда в августе 1941-го Роберт Гордон Мензис признал свою несостоятельность и подал в отставку, они возликовали, а когда 3 октября возглавить правительство предложено

было лидеру лейбористов Джону Кёртину, для Дрохеды это был самый большой праздник за многие годы.

В сороковом и сорок первом все возрастающую тревогу вызывала Япония, особенно после того как Рузвельт и Черчилль лишили ее нефти. Европа далеко, и, чтобы вторгнуться в Австралию, Гитлеру пришлось бы перебросить свои войска за двенадцать тысяч миль, а вот Япония – это Азия, часть Желтой Опасности; точно неотвратимо спускающийся маятник в рассказе Эдгара По, нависает она над богатым, пустынным, малолюдным колодцем Австралии. И никто в Австралии ничуть не удивился, когда японцы напали на Пёрл-Харбор: все давно этого ждали, не в Пёрл-Харбор – так где-нибудь еще. Внезапно война придвинулась вплотную, не сегодня-завтра она ворвется в каждый двор. Австралию от Японии отделяет не океан, между ними лежат всего лишь большие острова да малые моря.

На Рождество 1941-го пал Гонконг; но уж Сингапура япошкам вовек не взять, говорили австралийцы себе в утешение. А потом пришла весть о высадке японцев в Малайе и на Филиппинах; мощная военно-морская база в нижнем конце Малайского полуострова держала море под постоянным прицелом своих огромных пушек, и флот ее стоял наготове. Но 8 февраля 1942-го японцы пересекли узкий Джохорский пролив, высадились в северной части острова Сингапур и подошли к городу с тыла, где все его пушки были бессильны. Сингапур был взят даже без боя.

А потом – замечательная новость! Все австралийские войска из Северной Африки возвращаются на родину! Премьер-министр Кёртин преспокойно выдержал бурю гнева Черчилля и твердо заявил, что австралийские войска должны прежде всего защищать свою родину. Шестая и Седьмая австралийские дивизии немедленно погрузились на корабли в Александрии; Девятая дивизия, которая пока что набиралась сил в Каире после тяжелых боев при Тобруке, должна была отправиться следом, как только прибудут еще суда. Фиа улыбалась, Мэгги неудержимо ликовала. Джимс и Пэтси возвращаются домой!

Однако они не вернулись. Пока Девятая дивизия ждала транспортных судов, чаши весов опять качнулись в другую сторону: Восьмая армия поспешно отступала от Бенгази. И премьер Черчилль заключил сделку с премьером Кёртином. Девятая Австралийская дивизия останется в Северной Африке, а взамен для обороны Австралии морем доставлена будет одна американская дивизия. Бедняг солдат перебрасывали взад и вперед по решению, принятому правителями даже не их, а чужих стран. Небольшая уступка здесь – небольшой выигрыш там.

Но для Австралии это был тяжкий удар, когда Англия вытряхнула из

гнезда на дальневосточном краю Британской империи разом всех цыплят, пусть даже Австралия – птичий двор, щедрый и многообещающий.

Вечер 23 октября 1942 года в пустыне выдался на редкость тихий. Пэтси немного подвинулся в темноте и, как маленький, уютно прильнул головой к плечу брата. Джимс одной рукой обнял его за плечи, и они затихли, без слов понимая друг друга.

Сержант Боб Мэллой подтолкнул рядового Кола Стюарта.

– Парочка гомиков, – сказал он с усмешкой.

– Так тебя растак, – отозвался Джимс.

– Ну же, Харпо, скажи словечко, – пробормотал Кол.

Пэтси ответил обычной своей ангельской улыбкой, едва различимой в потемках, и, раскрыв рот, в точности изобразил, как трубит Харпо Макс. Со всех сторон за десяток шагов зашикали на него: на фронте тревожно, велено соблюдать тишину.

– Фу, черт, ждешь и ждешь, меня это прикончит, – вздохнул Боб.

– А меня прикончит, что надо молчать! – вдруг крикнул Пэтси.

– Заткнись, шут гороховый, не то я сам тебя прикончу! – хрипло рявкнул Кол и потянулся за винтовкой с примкнутым штыком.

– Тише вы! – донесся громкий шепот капитана. – Какой болван там разорался?

– Это Пэтси! – хором отозвался десяток голосов.

Дружный бодрящий хохот прокатился над минными полями и замер, перебитый негромкой, яростной руганью капитана. Сержант Мэллой посмотрел на часы: 21.40.

Восемьсот семьдесят две английские пушки и гаубицы заговорили разом. Небо качнулось, земля поднялась, вспучилась и уже не успокаивалась, пальба не утихала ни на миг, грохот сводил с ума. Бесполезно было затыкать уши: оглушающий гром сотрясал под тобой почву и по костям передавался в мозг. Можно было только вообразить себе, как все это подействовало на войска Роммеля в окопах напротив. Обычно удается различить, какие и какого калибра стреляют орудия, но сегодня все их железные глотки гремели единым дружным хором, и не было ему конца.

Пустыню озарил не свет дня, но, кажется, пламя самого солнца; огромную, все разбухающую тучу пыли, словно клубы дыма, взметенные ввысь на тысячи футов, прорезали вспышки рвущихся снарядов и мин, языки пламени взлетали, когда от сотрясения рвались собранные во множестве на этом клочке земли боеприпасы и горючее. Всю силу огня – пушек, гаубиц, мортир – генерал Монтгомери обрушил на минные поля

немцев. И все, что было в распоряжении генерала Монтгомери, обрушилось на противника с той скоростью, с какой поспевали заряжать и стрелять обливающиеся потом артиллеристы; они совали снаряды в ненасытные пасти своих орудий торопливо, лихорадочно, словно малые пичуги, пытающиеся накормить алчного кукушонка; стволы орудий раскалялись, секунды между отдачей и новым выстрелом становились все короче, артиллеристы точно одержимые заряжали и стреляли быстрее, быстрее. Как безумцы, все безумнее свершали они все тот же обряд служения своим орудиям.

Это было прекрасно, изумительно – вершина жизни артиллериста, опять и опять он будет заново переживать эти памятные минуты, во сне и наяву, до конца оставшихся ему мирных дней. И всегда его будет томить желание вновь пережить эти пятнадцать минут возле пушек генерала Монтгомери.

Тишина. Глубокая, нерушимая тишина волнами прибоя ударила в натянутые до отказа барабанные перепонки; тишина нестерпимая. Ровно без пяти десять. Девятая дивизия поднялась из окопов и двинулась вперед по ничьей земле, кто на ходу примкнул штык, кто нащупал обойму – на месте ли патроны, кто спустил предохранитель, проверил, есть ли вода во фляжке, НЗ, в порядке ли часы, каска, хорошо ли зашнурованы башмаки, далеко ли справа или слева тащат пулемет. В зловещем отсвете пожара и докрасна раскаленного, сплавленного в стекло песка видно все отлично; но туча пыли еще висит между ними и противником, и они пока в безопасности. Пока, на минуту. На самом краю минного поля они остановились в ожидании.

Ровно десять. Сержант Мэллой поднес к губам свисток – пронзительный свист разнесся по роте от правого до левого фланга; и капитан выкрикнул команду. На фронте шириною в две мили Девятая дивизия шагнула вперед, на минные поля, и за ее спиной разом опять взревели орудия. Солдаты отлично видели, куда идут, светло было как днем, снаряды гаубиц, нацеленных на самое короткое расстояние, рвались всего лишь в нескольких ярдах впереди. Каждые три минуты прицел отодвигался еще на сотню ярдов, и надо было пройти эту сотню ярдов и молить Бога, чтобы под ногами оказывались всего лишь противотанковые мины, а осколочные, противопехотные, уже уничтожила артиллерия генерала Монтгомери. Впереди ждали еще и немцы, и итальянцы, пулеметные точки, 50-миллиметровые пушки и минометы. И случилось – человек ступал на еще не разорвавшуюся осколочную мину, успевал увидеть взметнувшийся из песка огонь, и тут же его самого разрывало в

ключья.

Некогда думать, все некогда, только поспевай перебегать за огневым валом, каждые три минуты – сто ярдов, да молись. Грохот, вспышки, пыль, дым, тошный, расслабляющий ужас. Минным полям нет конца, шагать по ним еще две, а то и три мили, и отступать некуда. Изредка, в считанные секунды затишья между огневыми валами, обжигающий воздух, полный песка, прорезают доносящиеся издалека дикие, пронзительные звуки волынки: слева от Девятой Австралийской дивизии шагает по минным полям Пятьдесят первая Горская, и при каждом ротном командире – свой волынщик. Для шотландского солдата нет в мире музыки сладостнее, чем зовущий на битву рожок, добрым дружеским приветом звучит его песня и для австралийца. А вот итальянца и немца он приводит в бешенство.

Бой длился двенадцать дней, а двенадцать дней – это очень долгий бой. Поначалу Девятой дивизии везло – при переходе по минным полям и в первые дни наступления по территории Роммеля потери оказались сравнительно невелики.

– По мне, чем быть сапером, уж лучше я останусь солдатом и пускай в меня стреляют, вот что я вам скажу, – заявил, опираясь на лопату, Кол Стюарт.

– Ну, не знаю, приятель, – проворчал в ответ сержант. – По-моему, они совсем неплохо управляют, черт подери. Сперва ждут позади окопов, покуда мы проделаем всю сволочную работенку, а потом топают потихонечку с миноискателями и прокладывают дорожки для этих сволочных танков.

– Танки ни в чем не виноваты, Боб, просто наверху больно умно ими распоряжаются, – сказал Джимс и плашмя похлопал лопатой, приминая верхний край только что отрытого окопа. – Фу, черт, хоть бы дали нам задержаться малость на одном месте! Я за эти пять дней столько земли перекопал – почище всякого муравьяда.

– Ну и давай, копай дальше, – без малейшего сочувствия оборвал Боб.

– Эй, глядите! – Кол показал на небо.

Восемнадцать английских легких бомбардировщиков аккуратнейшим строем, будто на параде, пронесли над долиной и с безукоризненной точностью сбросили бомбы на немецкие и итальянские позиции.

– Очень даже красиво, – заметил сержант Боб Мэллой, вывернув длинную шею и глядя в небо.

Через три дня он был мертв – при новом наступлении огромный осколок шрапнели срезал ему руку и половину бока, но задерживаться возле него было некогда, кто-то успел лишь вытащить свисток из его

искромсанных губ. Теперь люди гибли как мухи, слишком они вымотались, стали уже не такими проворными и осмотрительными; но за каждый захваченный клочок этой несчастной бесплодной пустыни они держались цепко, наперекор яростному сопротивлению отборных войск противника. Теперь в них говорило лишь одно тупое, упрямое чувство – они ни о чем не желали потерпеть поражение.

Девятая дивизия держалась против войск фон Шпонека и Люнгерхаузена, а тем временем на юге оборону немцев прорвали танки, и наконец-то Роммель был разгромлен. К 8 ноября он еще пытался вновь собрать свои силы за границей Египта, но Монтгомери завладел всей Сахарой. Одержана была весьма важная тактическая победа, второй Эль-Аламейн; Роммелю пришлось, отступая, бросить большое количество танков, пушек и прочей техники. Теперь можно было увереннее начинать операцию «Факел» – наступление из Марокко и Алжира на восток. «Лис пустыни» еще полон был боевого пыла, а все же не тот, слишком его потрепали под Эль-Аламейном. Самое крупное и решающее сражение в Северной Африке теперь было позади, и победу в нем одержал фельдмаршал Монтгомери.

Второй Эль-Аламейн оказался лебединой песней Девятой Австралийской дивизии в Северной Африке. Наконец-то ее посылали в родные края, отбивать у японцев Новую Гвинею. С марта 1941 года дивизия почти непрерывно была на передовых позициях – прибыла она на фронт плохо снаряженная и плохо обученная, возвращалась же овеванная славой, которую превзошла разве только слава Четвертой Индийской дивизии. И в рядах Девятой целыми и невредимыми возвращались на родину Джимс и Пэтси.

Конечно же, им дали отпуск, чтобы съездить домой, в Дрохеду. Боб поехал за ними на машине в Джилли к поезду из Гундивинди: Девятая пока обосновалась в Брисбене для обучения боевым действиям в условиях джунглей, после чего ей предстояло отправиться на Новую Гвинею. Когда «роллс-ройс» подкатил к Большому дому, все женщины уже стояли на лужайке и ждали; Джек и Хьюги держались чуть позади, но и им не терпелось увидеть младших братьев. Все овцы, сколько их еще уцелело в Дрохеде, могут, если угодно, испустить дух – все равно сегодня праздник и никто не работает.

Но и когда машина остановилась и Пэтси с Джимсом вышли, никто не шелохнулся. Как изменились близнецы! За два года в пустыне прежняя их форма изорвалась в клочья; их обрядили в новую, зеленую, под цвет

джунглей, и вообще их было не узнать. Они казались куда выше прежнего, да и вправду выросли; последние два года они выросли и мужали вдали от Дрохеды и намного обогнали старших братьев. И вот они уже не мальчики, но мужчины, только мужчины совсем иного склада, чем Боб, Джек и Хьюги, – тяжкие испытания, пьянящий жар битвы и ежечасная близость смерти сделали их такими, какими никогда бы не сделала Дрохеда. Солнце Северной Африки высушило их, опалило кожу до цвета красного дерева, выжгло последние следы ребячества. Да, вполне можно поверить, что эти двое, в простой военной форме и шляпах с полями, приколотыми над левым ухом кокардой австралийских вооруженных сил – восходящим солнцем, убивали своих ближних. Это видно по их глазам – глаза у них голубые, как были у Пэдди, но много печальнее, и нет во взгляде отцовской кротости.

– Мальчики, мальчики мои! – закричала миссис Смит и, заливаясь слезами, бегом бросилась к ним. Нет, что бы они ни делали, как бы ни переменились, все равно они – ее малыши, те самые, которых она купала, пеленала, кормила, чьи слезы осушала, чьи синяки и царапины целовала, чтобы скорее прошла боль. Вот только новые их раны, не видные глазу, исцелить уже не в ее власти.

И тут рухнули преграды истинно британской сдержанности – смеясь и плача, все окружили близнецов, даже несчастная Фиа похлопывала их по плечам и силилась улыбнуться. После миссис Смит надо было поцеловать Мэгги, поцеловать и Минни, и Кэт, и застенчиво обнять маму, без слов стиснуть руки Джека и Хьюги. Здесь, в Дрохеде, никому не понять, что это значит – вернуться домой, не понять, как жаждали и как боялись они оба этой минуты.

А как они набросились на еду! «В армии так не кормят», – со смехом говорили они. Пирожные с белой и розовой глазурью, ореховый рулет в шоколаде, горячий сливовый пудинг, гренадиллы, сливки от дрохедских коров. Помня, как они в детстве маялись животиками, миссис Смит не сомневалась – и теперь промаются неделю, но они, видно, не опасались несварения желудка, лишь бы можно было все эти горы еды запивать несчетными стаканами чаю.

– Это вам не вогохины лепехи, а, Пэтси?

– Угу.

– Что значит «вогохины»? – спросила миссис Смит.

– Вогохи – это арабы, а то есть еще вопохи – это итальяшки, верно, Пэтси?

– Угу.

Удивительное дело, близнецы могли часами говорить про Северную Африку – вернее, говорил Джимс: какие там города и люди, и как там едят, и какой музей в Каире, и как жилось на борту транспорта и в лагере на отдыхе. Но никакими силами нельзя было добиться, чтобы они рассказали о настоящих боях, о сражениях за Газалу, Бенгази, Тобрук и Эль-Аламейн, – тут они на все вопросы отвечали уклончиво и спешили заговорить о другом. Позже, когда война кончилась, женщинам приходилось опять и опять в этом убеждаться: мужчины, которые побывали в самом пекле, никогда об этом не рассказывали, не вступали в общества и клубы ветеранов и вообще не желали связываться с организациями, что старались увековечить память войны.

В честь близнецов в Дрохеду созвали гостей. Устроили, конечно, прием и в Радней-Ханиш, ведь Аластер Маккуин тоже воевал в Девятой дивизии и тоже приехал в отпуск. Двое младших сыновей Доминика О’Рока были с Шестой дивизией на Новой Гвинее, и, хоть сами они приехать не могли, праздник состоялся и в Диббен-Диббене. Во всей джилленбоунской округе каждая семья, у которой сын был в армии, хотела непременно отметить благополучное возвращение троих парней из Девятой дивизии. Женщины и девушки ходили за ними по пятам, но храбрецам Клири женское внимание внушало страх, какого они никогда не испытывали в бою, и оба всякий раз старались улизнуть.

Похоже, Джимс и Пэтси вообще не желали знаться с женщинами, их тянуло только к Бобу, Джеку и Хьюги. Наступала ночь, женщины Дрохеды отправлялись спать, а они все еще сидели с братьями (и тем волей-неволей приходилось засиживаться допоздна) и раскрывали перед ними наблевшие, израненные сердца. А днем разъезжали по раскаленным выгонам Дрохеды (шел седьмой год засухи) и счастливы были хоть ненадолго вновь почувствовать себя штатскими людьми.

Да, и такая иссохшая, истерзанная земля Дрохеды была для них обоих полна несказанной прелести, один вид овец – утешением, запах поздних роз в саду – райским благоуханием. И необходимо было как-то впитать все это и навсегда сохранить в самых глубинах памяти: ведь в первый раз оба вылетели из родного гнезда так легко, беззаботно, даже не представляя себе, чем станет разлука с ним. А вот теперь, уезжая, они бережно увезут с собой драгоценный запас воспоминаний, каждую милую, незабвенную минуту, и в бумажнике – по засушенной дрохедской розе и по несколько былинкам со скудных дрохедских пастбищ. С Фионой оба неизменно были добры и полны сочувствия, а с Мэгги, миссис Смит, Минни и Кэт – сама любовь и нежность. Ведь это они с самого начала стали для близнецов

подлинными матерями.

А Мэгги всего больше радовало, что близнецы очень полюбили Дэна, часами с ним играли, смеялись, брали его в поездки верхом, неугомонно резвились с ним на лужайке перед домом. Джастину они словно бы побаивались – но ведь они робели перед всеми женщинами любого возраста, если не знали их с колыбели. Вдобавок бедняжка Джастина отчаянно ревновала – Джимс и Пэтси совсем завладели Дэном, и ей теперь не с кем было играть.

– Малыш у тебя, Мэгги, первый сорт, – сказал ей однажды Джимс; она как раз вышла на веранду, а он сидел в плетеном кресле и смотрел, как Пэтси с Дэном играют на лужайке.

– Да, он прелесть, правда? – Мэгги улыбнулась, села напротив, чтобы лучше видеть лицо младшего брата. И посмотрела на него, как когда-то, с материнской нежностью и жалостью. – Что с тобой, Джимс? Может, скажешь мне?

Джимс поднял на нее глаза, полные какой-то затаенной муки, но только головой покачал, словно его ничуть не соблазняла возможность излить душу.

– Нет, Мэгги. Женщине такого не расскажешь.

– Ну а когда все это останется позади и ты женишься? Неужели ты не захочешь поделиться с женой?

– Нам – жениться? Нет, это вряд ли. Война слишком много отнимает у человека. Мы тогда рвались на фронт, но теперь-то мы стали умнее. Ну, женились бы, наплодили сыновей, а для чего? Чтобы глядеть, как они вырастут и их толкнут туда же, и им придется делать то же самое, что нам, и видеть, чего мы насмотрелись?

– Молчи, Джимс, молчи!

Джимс проследил за ее взглядом – Пэтси перекувырнул Дэна, и малыш, вверх ногами, захлебывался ликующим смехом.

– Никуда не отпускай его из Дрохеды, Мэгги, – сказал Джимс. – Пока он в Дрохеде, с ним ничего худого не случится.

* * *

Не обращая внимания на изумленные взгляды, архиепископ де Брикассар промчался по прекрасному светлому коридору, ворвался в кабинет кардинала и остановился как вкопанный. Кардинал беседовал с господином Папэ, послом польского эмигрантского правительства в

Ватикане.

– Ральф, вы? Что случилось?

– Свершилось, Витторио. Муссолини свергнут.

– Боже правый! А его святейшество уже знает?

– Я сам звонил по телефону в Кастель-Гандольфо, но с минуты на минуту надо ждать сообщения по радио. Мне звонил один приятель из германского штаба.

– Надеюсь, святой отец заранее собрал все необходимое в дорогу, – с едва уловимой ноткой удовольствия промолвил господин Папэ.

– Ему, пожалуй, удалось бы выбраться, если бы мы переодели его нищенствующим францисканцем, не иначе, – резко ответил архиепископ Ральф. – Кессельринг держит город в таком кольце, что и мышь не ускользнет.

– Да он и не захочет бежать, – сказал кардинал Витторио.

Посол поднялся:

– Я должен вас покинуть, монсеньор. Я – представитель правительства, враждебного Германии. Если уж сам его святейшество папа не в безопасности, что говорить обо мне. У меня в кабинете есть бумаги, о которых я должен позаботиться.

Чопорный, сдержанный – истинный дипломат, он откланялся, и кардинал с архиепископом остались вдвоем.

– Зачем он приходил – вступаться за преследуемых поляков?

– Да. Несчастный, он так болеет душой за своих соотечественников.

– А мы разве не болеем?

– Разумеется, болеем, Ральф! Но он не представляет себе, какое трудное создалось положение.

– Вся беда в том, что ему не верят.

– Ральф!

– А разве я не правду говорю? Святой отец провел годы юности в Мюнхене, влюбился в немцев и наперекор всему любит их по сей день. Предъявите ему доказательства: тела несчастных, замученных, обтянутые кожей скелеты – и он скажет, что уж наверно это сделали русские. Только не милые его сердцу немцы, нет-нет, ведь они такой культурный, такой цивилизованный народ!

– Ральф, вы не принадлежите к ордену иезуитов, но вы находитесь здесь, в Ватикане, только потому, что лично поклялись в верности его святейшеству папе римскому. В жилах у вас течет горячая кровь ваших ирландских и норманнских предков, но, заклинаю вас, будьте благоразумны! Начиная с сентября мы только и ждали: вот-вот обрушится

последний удар – и молили Бога, чтобы дуче уцелел и защитил нас от германских репрессий. Адольф Гитлер – личность на удивление непоследовательная, почему-то ему очень хотелось сохранить двух своих заведомых врагов – Британскую империю и Римскую католическую церковь. Но когда его подтолкнули обстоятельства, он сделал все, что только мог, чтобы сокрушить Британскую империю. Так неужели, по-вашему, если мы его подтолкнем, он не постарается сокрушить нас? Попробуй мы хоть единым словом обвинить его в том, что творится с Польшей, – и он наверняка нас раздавит. А что хорошего, по-вашему, принесут наши обвинения и обличения, чего мы этим достигнем, друг мой? У нас нет армии, нет солдат, репрессии последуют немедленно, и его святейшество папу отправят в Берлин, а как раз этого он и опасается. Разве вам не памятен тот папа, что много веков назад был марионеткой в Авиньоне?

Неужели вы хотите, чтобы наш папа стал марионеткой в Берлине?

– Простите меня, Витторио, но я смотрю на это иначе. Мы должны, мы обязаны обличить Гитлера, кричать о его зверствах на весь мир! А если он нас расстреляет, мы примем мученическую смерть – и это подействует еще сильнее всяких обличений.

– Вы сегодня на редкость туго соображаете, Ральф! Вовсе он не станет нас посылать на расстрел. Он не хуже нас понимает, как потрясает сердца пример мучеников. Святейшего отца переправят в Берлин, а нас с вами безо всякого шума – в Польшу. В Польшу, Ральф, в Польшу! Неужели вы хотите умереть в Польше? От этого будет гораздо меньше пользы, чем вы приносите сейчас.

Архиепископ сел, зажал стиснутые руки между колен и устремил непокорный взгляд в окно, за которым, золотистые в лучах заката, взлетали голуби, собираясь на ночлег. В свои сорок девять лет Ральф де Брикассар стал худощавее, чем был в юности, но он и стареть начинал так же великолепно, как великолепен бывал почти во всем, что бы ни делал.

– Ральф, не забывайте, кто мы. То, что мы люди, второстепенно. Прежде всего мы – слуги церкви, духовные пастыри.

– Когда я вернулся из Австралии, вы располагали наши качества в ином порядке, Витторио.

– Тогда речь шла о другом, и вы это знаете. С вами сегодня трудно. Я говорю о том, что мы не можем сейчас рассуждать просто как люди. Мы обязаны рассуждать как духовные пастыри, ибо это в нашей жизни превыше всего. Что бы каждый из нас ни думал сам по себе, как бы ни хотел поступать, мы обязаны сохранить верность не какой бы то ни было

мирской власти, но церкви! Мы должны быть верны его святейшеству папе – и никому другому! Вы дали обет послушания, Ральф. Неужели вы снова хотите его нарушить? Во всем, что касается блага церкви, святой отец непогрешим.

– Он ошибается! Его суждения предвзяты. Все его усилия направлены на борьбу с коммунизмом. Германия для него – самый надежный враг коммунизма, единственная препона продвижению коммунизма на запад, и он хочет, чтобы Гитлер прочно держался у власти в Германии, так же как его вполне устраивает Муссолини в роли правителя Италии.

– Поверьте, Ральф, вам известно не все. А он – папа, и он непогрешим. Если вы отрицаете это, вы отрицаете самую веру свою.

Дверь скромно, но поспешно отворили.

– Ваше высокопреосвященство, к вам генерал Кессельринг.

Оба прелата встали, следов горячего спора на лицах как не бывало, оба улыбались.

– Очень приятно вас видеть, ваше превосходительство. Садитесь, пожалуйста. Не выпьете ли чаю?

Беседа продолжалась по-немецки – в ватиканских верхах многие свободно изъяснялись на этом языке. Сам папа очень любил и говорить по-немецки, и слышать немецкую речь.

– Спасибо, монсеньор, с удовольствием выпью. Во всем Риме только у вас и можно отведать такого превосходного, настоящего английского чаю.

Кардинал Витторио простодушно улыбнулся:

– Я приобрел эту привычку в бытность мою папским легатом в Австралии – и так и не смог от нее отучиться, несмотря на то что я истинный итальянец.

– А вы, святой отец?

– Я родом ирландец, господин генерал. Ирландцы тоже с детства привычны к чаю.

Генерал Альберт Кессельринг всегда смотрел на архиепископа де Брикассара с симпатией – среди мелкотравчатых елейных прелатов-итальянцев так приятно встретить человека прямого, безо всякой изворотливости и хитрости.

– Всегда поражаюсь, как чисто вы говорите по-немецки, святой отец, – сказал он.

– Просто у меня есть способности к языкам, господин генерал, а это, как и всякие другие способности, не стоит похвалы.

– Чем можем мы служить вашему превосходительству? – любезно осведомился кардинал.

– Вероятно, вы уже слышали о судьбе дуче?
– Да, ваше превосходительство, слышали.
– Тогда вам отчасти понятно, почему я пришел. Пришел заверить вас, что все в порядке, и узнать – может быть, вы передадите от меня сообщение в летнюю резиденцию папы, в Кастель-Гандольфо? Я сейчас слишком занят и не имею возможности отправиться туда сам.

– Сообщение мы передадим. Так вы очень заняты?
– Естественно. Должно быть, вам понятно, что теперь мы, немцы, оказались здесь во враждебной стране?

– Здесь, господин генерал? Здесь вы не на итальянской земле, и ни один человек здесь не враг, если он не носитель зла.

– Прошу меня извинить, монсеньор. Естественно, я имел в виду не Ватикан, но Италию. А в отношении Италии я должен действовать так, как приказывает мой фюрер. Италия будет оккупирована, и мои солдаты, которые до сих пор были союзниками, возьмут на себя обязанности полицейских.

Архиепископ Ральф сидел в непринужденной позе, по лицу его никак нельзя было предположить, что ему ведомы какие-либо столкновения идеологий; он внимательно присматривался к посетителю. Неужели тот не знает, что творит его фюрер в Польше? Как он может не знать?

Кардинал Витторио изобразил на своем лице тревогу.

– Дорогой генерал, но вы же не введете войска в Рим? Нет-нет, только не в Рим – подумайте о его истории, о бесценных памятниках старины! Войска на наших семи холмах – ведь это будет означать борьбу, разрушения. Заклинаю вас, не делайте этого!

Генерал Кессельринг, казалось, смутился.

– Надеюсь, до этого не дойдет, монсеньор. Но я ведь тоже принес присягу и должен повиноваться приказу. Я должен исполнять то, чего пожелает мой фюрер.

– Но вы попытаетесь вступить за нас, генерал? Прошу вас, вы должны попытаться! – быстро заговорил архиепископ Ральф, он подался вперед в кресле, взгляд широко раскрытых глаз завораживал, прядь чуть посеребренных сединой волос упала на лоб; он отлично понимал, как действует на генерала его обаяние, и без зазрения совести этим пользовался. – Знаете, несколько лет назад я ездил в Афины. Вы бывали в Афинах, сэр?

– Да, был, – сухо ответил генерал.

– Тогда вы, конечно, знаете эту историю. Как случилось, что в не столь уж давние времена люди решились разрушить здания на вершине

Акрополя? Господин генерал, Рим был и остается памятником двух тысячелетий бережного внимания, заботы, любви. Прошу вас, заклинаю: не подвергайте Рим опасности!

Генерал не сводил глаз с говорящего, и во взгляде этом сквозило почти испуганное восхищение; ему самому была очень к лицу генеральская форма, но еще больше украшала архиепископа де Брикассара сутана с примесью царственного пурпура. Он тоже казался солдатом, воином с худощавым стройным телом и с ликом ангела. Должно быть, таков архангел Михаил – не милый юноша с полотен эпохи Возрождения, но великолепный зрелый муж, тот, кто любил Люцифера и поборол его, тот, кто изгнал из рая Адама и Еву, сразил змия, кто стоял по правую руку Господа Бога. Знает ли Ральф, каков его облик? Что и говорить, такого человека не забудешь.

– Я сделаю все, что только в моих силах, монсеньор, обещаю вам. Признаться, до некоторой степени тут решает и мой голос. Как вам известно, я человек культурный. Но вы многого хотите. Если я объявлю Рим открытым городом, значит, мне уже нельзя будет взорвать мосты или обратить здания в крепости, а это в конечном счете может оказаться невыгодно для Германии. Какие у меня гарантии, что Рим не отплатит мне за мою доброту предательством?

Кардинал Витторио, причмокивая губами, что звучало как поцелуй, гладил свою очередную любимицу – теперь это была изящная сиамская кошка; после слов Кессельринга он кротко улыбнулся и посмотрел на архиепископа:

– Рим никогда не платит предательством за доброту, господин генерал. Я уверен, когда у вас найдется время навестить летнюю резиденцию папы в Кастель-Гандольфо, вам дадут те же гарантии. Ну-ну, Хенси, прелесть моя! Ах ты, красавица!

Он погладил привставшую было кошку, прижал ее к коленям, обтянутым алой сутаной.

– Необыкновенная у вас кошка, монсеньор.

– Аристократка, господин генерал. Мы оба, архиепископ де Брикассар и я, принадлежим к старинным и почитаемым фамилиям, но перед родословной этой красавицы наша – ничто. А как вам нравится ее имя? По-китайски оно означает «шелковый цветок». Очень ей подходит, не правда ли?

Принесли чай; пока послушница не подала все, что нужно, и не вышла из комнаты, мужчины молчали.

– Вам не придется сожалеть о решении объявить Рим открытым

городом, ваше превосходительство, – с чарующей улыбкой сказал архиепископ Ральф новому повелителю Италии. Потом повернулся к кардиналу, отбросил улыбку, словно плащ: к человеку так глубоко любимому обращать ее незачем. – Ваше высокопреосвященство, будете «хозяйюшкой» сами или доверите эту честь мне?

– Хозяйюшкой? – На лице генерала Кессельринга выразилось недоумение.

Кардинал ди Контини-Верчезе рассмеялся:

– Такая у нас, холостяков, шутка. Тот, кто разливает чай, зовется «хозяйюшкой». Чисто английское словечко, господин генерал.

В этот вечер архиепископ Ральф, усталый, раздосадованный, не находил себе места. Видно, ничего ему не удастся сделать, чтобы скорее кончилась эта война, разве только торговаться по мелочам, помогая сохранить памятники старины, и он уже всеми силами души возненавидел бездействие тяжелого на подъем Ватикана. Он и сам человек осторожный, но черепашья опасливая медлительность высших правителей Римской церкви подчас просто невыносима! Если не считать смиренных монахинь и священников, которые здесь прислуживают, он уже многие недели, даже месяцы, не разговаривал с простыми, обыкновенными людьми, которые не заняты изо дня в день политикой, делами – духовными или военными. Даже молиться ему теперь нелегко, сам Бог, казалось, отошел в даль многих световых лет, будто отстранился от людей – пусть, раз им так вздумалось, разрушают мир, который он для них сотворил. И Ральф как о самом целительном снадобье тосковал о встрече с Мэгги – побыть бы вдоволь с ней, с Фионой или хоть с кем-то, кого не занимают судьбы Ватикана и Рима.

Он бродил беспокойно, бесцельно и наконец внутренней лестницей прошел в величественную базилику – собор Святого Петра. Вход ныне запирали с наступлением сумерек, и это еще красноречивее, чем марширующие по римским улицам роты солдат в серой немецкой форме, говорило о том, сколь ненадежно, тревожно спокойствие Рима. Зияющую пустоту громадной апсиды едва освещал слабый призрачный отблеск; архиепископ шел по каменным плитам, и шаги его гулко отдавались в тишине, замерли, когда он преклонил колена пред алтарем, потом зазвучали вновь. И вдруг, в миг затишья меж двумя отзвуками шагов, он услышал короткий вздох. Тотчас в руке его вспыхнул электрический фонарик, луч устремился в сторону звука – архиепископ ощутил не столько испуг, скорее, любопытство. Здесь он у себя и этот свой мир может защищать без страха.

В луче фонаря перед ним предстало прекраснейшее, что создал за

многие века резец ваятеля, – «Пиета» Микеланджело. А ниже этих двух недвижных, ошеломленных светом лиц – еще одно лицо, не мрамор, но живая плоть, изможденная, прочерченная резкими тенями, словно лик мертвеца.

– Ciao^[9], – с улыбкой сказал архиепископ.

Ответа не было, но по одежде он понял, что перед ним немецкий солдат, рядовой пехотинец – вот он, простой, обыкновенный человек, которого ему не хватало! Не важно, что это немец.

– Wie geht's?^[10] – спросил он, все еще улыбаясь.

Тот шевельнулся – в полумраке выступил высокий, прекрасной лепки, лоб, и на нем блеснули капли пота.

– Du bist krank?^[11] – спросил архиепископ, ему показалось, что паренек (это был почти мальчик) болен.

– Nein^[12], – послышался наконец тихий голос.

Архиепископ Ральф положил фонарик на пол, подошел, взял солдата за подбородок, приподнял ему голову, заглянул в темные глаза, в темноте они казались черными.

– Что случилось? – спросил он по-немецки и засмеялся. – Вот так-то! – продолжал он по-немецки. – Ты этого не знаешь, но я всю жизнь только тем и занимаюсь: спрашиваю людей, что с ними случилось. И, к твоему сведению, из-за этого вопроса я когда-то навлек на себя немало неприятностей.

– Я пришел помолиться, – сказал паренек низким и глубоким не по возрасту голосом с явственным баварским акцентом.

– И что же, ты не успел выйти и тебя тут заперли?

– Да, но случилось кое-что поважнее.

Архиепископ подобрал с полу фонарик.

– Что ж, всю ночь тебе здесь оставаться нельзя, а ключа от наружной двери у меня нет. Идем. – Он направился обратно к внутренней лестнице в папские покои, продолжая мягко, негромко: – Я и сам пришел сюда помолиться. По милости твоего верховного командования день сегодня выдался не из приятных. Сюда, вот так... Будем надеяться, слуги святейшего папы не вообразят, будто меня арестовали, и поймут, что я сопровождаю тебя, а не ты меня.

Еще минут десять они шли молча – по коридорам, во двор, через сад, вновь внутренними переходами, вверх по лестнице; молодой немец, видно, вовсе не стремился избавиться от своего спутника, напротив, жался поближе к нему. Наконец архиепископ отворил еще одну дверь, впустил

найденуша в маленькую гостиную, скромно и скудно обставленную, повернул выключатель и закрыл дверь.

Они стояли – и теперь, при ярком свете, разглядели друг друга по-настоящему. Немецкий солдат увидел очень высокого человека с прекрасным лицом и пронизательными синими глазами; архиепископ Ральф увидел мальчика, которого обманом заставили надеть солдатскую форму, внушающую страх и ужас всей Европе. Да, это мальчик – никак не старше шестнадцати. Среднего роста, еще по-мальчишески худощавый, но длиннорукий, и по всему сложению видно: из него выйдет крепкий, сильный мужчина. Лицо итальянского типа, смуглое, с благородными чертами, на редкость привлекательное; большие темно-карие глаза, опущенные длинными черными ресницами, великолепная грива черных волнистых волос. Оказалось, вовсе он не обыкновенный и не заурядный, несмотря на свою заурядную солдатскую профессию; и как ни хотелось сейчас де Брикассару поговорить именно со средним, обыкновенным человеком, этот мальчик его заинтересовал.

– Садись, – сказал он, подошел к шкафчику и достал бутылку марсалы. Налил понемногу в два стакана, один дал гостю, с другим опустился в кресло, сел так, чтобы спокойно разглядывать это удивительное лицо. – Что ж, так плохи дела, что на фронт посылают детей? – спросил он и закинул ногу на ногу.

– Не знаю, – сказал мальчик. – Я приютский, так что меня все равно бы скоро взяли.

– Как тебя зовут, дружок?

– Лион Мёрлинг Хартгейм, – гордо ответил мальчик.

– Прекрасное имя, – серьезно сказал священник.

– Да, правда? Я сам его себе выбрал. В приюте меня звали Лион Шмидт, а когда я пошел в армию, я назвался по-другому, мне всегда нравилось это имя.

– Ты сирота?

– Монахини меня называли «дитя любви».

Архиепископ с трудом удержался от улыбки; теперь, когда испуг прошел, мальчик держался с удивительным достоинством и самообладанием. Но отчего он прежде так испугался? Явно не оттого, что оказался заперт в соборе и что его там застали.

– Почему ты прежде так испугался, Лион?

Мальчик осторожно отпил вино, и лицо его осветилось удовольствием.

– Хорошо, сладко. – Он сел поудобнее. – Мне хотелось поглядеть храм Святого Петра, монахини много про него рассказывали нам и фотографии

показывали. Так что, когда нас послали в Рим, я обрадовался. Мы приехали сегодня утром. И я сразу сюда пошел, как только сумел вырваться. – Брови его сдвинулись. – Только все получилось не так. Я думал, приду в самый главный храм и почувствую, что Господь Бог тут, совсем близко. А собор такой огромный, пусто, холодно. Я совсем не чувствовал, что Бог близко.

Архиепископ Ральф улыбнулся:

– Я тебя понимаю. Но, видишь ли, собор Святого Петра ведь не церковь. Не такая, как другие церкви. Это главный римский храм. Помню, я сам очень не скоро к нему привык.

Мальчик кивнул в знак, что слышал, но ждал не этих слов.

– Я хотел помолиться о двух вещах, – сказал Лион Мёрлинг Хартгейм.

– О том, что тебя пугает?

– Да. Я думал, в соборе Святого Петра моя молитва будет услышана.

– Чего же ты боишься, Лион?

– Что меня примут за еврея и что мой полк все-таки пошлют в Россию.

– Понимаю. Неудивительно, что тебе страшно. А тебя и в самом деле могут принять за еврея?

– Да вы поглядите на меня! – просто сказал мальчик. – Когда меня записывали в армию, сказали, надо будет все проверить. Я не знаю, могут ли они проверить, но, может быть, монахини в приюте что-нибудь такое про меня знают, а мне не говорили.

– Если и знают, так никому не скажут, – успокоил архиепископ. – Они поймут, почему их спрашивают.

– Вы правда так думаете? Ой, дал бы Бог!

– А тебя очень смущает, что в твоих жилах, может быть, течет еврейская кровь?

– Какая у меня там кровь, это все равно. Я родился немцем, вот что важно.

– Но у вас на это смотрят по-другому, не так ли?

– Да.

– А что насчет России? Уж наверно сейчас нечего опасаться, что твой полк пошлют в Россию. Вы же в Риме, совсем в другой стороне.

– Сегодня утром я услышал, наш командир говорил, может быть, нас все-таки туда отправят. Там дела идут не очень хорошо.

– Ты еще ребенок, – резко сказал архиепископ Ральф. – Тебе место в школе.

– Я бы все равно больше в школу не ходил, – с улыбкой возразил мальчик. – Мне уже шестнадцать, я бы теперь работал. – Он вздохнул. – А хорошо бы еще походить в школу. Учиться – это очень важно.

Архиепископ коротко засмеялся, потом встал и налил себе и мальчику еще вина.

– Не обращай на меня внимания, Лион. Я говорю вздор. Просто разные мысли приходят в голову. Это у меня такой час – для разных мыслей. Плоховат из меня хозяин, а?

– Нет, вы ничего, – сказал мальчик.

– Так. – Архиепископ снова сел в кресло. – Нука объясни, что ты за человек, Лион Мёрлинг Хартгейм.

Странная гордость отразилась в полудетских чертах.

– Я немец и католик. Я хочу, чтобы Германия стала страной, где за национальность и веру никого не преследуют, и, если я останусь жив, я всеми силами стану этого добиваться.

– Я стану молиться за тебя – за то, чтобы ты остался жив и достиг своей цели.

– Правда, будете молиться? – застенчиво спросил мальчик. – Прямо за меня, за Лиона Мёрлинга Хартгейма?

– Ну конечно. В сущности, ты меня кое-чему научил. Что в моей деятельности здесь я располагаю только одним оружием – молитвой. Иного назначения у меня нет.

– А вы кто? – спросил Лион и сонно моргнул: от вина веки его отяжелели.

– Я – архиепископ Ральф де Брикассар.

– О-о! Я думал, вы просто священник.

– Я и есть просто священник. Не более того.

– Давайте уговор! – вдруг сказал мальчик, глаза его блеснули. – Вы за меня молитесь, ваше преподобие, а если я буду живой и добьюсь, чего хочу, я вернусь в Рим, и вы увидите, как помогли ваши молитвы.

Синие глаза ласково улыбнулись ему.

– Хорошо, уговорились. И когда ты вернешься, я скажу тебе, что случилось с моими молитвами, по моему мнению. – Архиепископ поднялся. – Посиди здесь, маленький политик. Я принесу тебе чего-нибудь поесть.

Они проговорили до поры, когда колокольни и купола позолотил рассвет и зашумели за окном голубиные крылья. Тогда архиепископ, которому благоговейный восторг гостя доставлял истинное удовольствие, провел его по залам папского дворца и выпустил в прохладную утреннюю свежесть. Он этого не знал, но мальчику и впрямь суждено было отправиться в Россию и увезти с собой странно отрадное и утешительное воспоминание: что есть на свете человек, который в Риме, в самом главном храме, каждый день молится за него – за Лиона Мёрлинга Хартгейма.

Пока Девятую дивизию подготовили к отправке на Новую Гвинею, противника там уже успели разбить наголову. К немалому разочарованию этого отборного войска, лучшего во всей истории австралийской армии, оставалось только надеяться, что дивизия еще покроет себя славой в других боях, выбивая японцев из Индонезии. После разгрома при Гуадалканале у японцев не осталось никакой надежды захватить Австралию. И однако, так же как и немцы, отступали они нехотя, яростно сопротивлялись. Все их резервы истощились, потрепанным армиям отчаянно не хватало боеприпасов и пополнения, и все же они заставляли австралийцев и американцев дорого платить за каждый дюйм отвоеванной обратно земли. Японцы уже оставили порт Буна, Гону, Саламауа и отошли по северному побережью к Лаэ и Финшафену.

Пятого сентября 1943 года Девятая дивизия высадилась на берег чуть восточнее Лаэ. Стояла жара, влажность достигала ста процентов, и лило каждый день, хотя до сезона дождей оставалось еще добрых два месяца. Во избежание малярии солдат пичкали атабрином – от этих маленьких желтых таблеток всех мутило и слабость одолевала не меньше, чем при настоящей малярии. В здешней вечной сырости никогда не просыхали обувь и носки, ступни ног набухали, как губка, а между пальцами появлялись кровоточащие трещины. Укусы мух и москитов обращались в зудящие воспаленные язвы.

Еще в порту Морсби австралийцы нагляделись на жалких, замученных болезнями местных жителей – если уж сами новогвинейцы в этом невыносимом климате страдали фрамбезией, бери-бери и малярией, болезнями печени и селезенки, на что тут было надеяться белым? Встретили они в Морсби и тех немногих, кто уцелел после сражения при Кокоде, – это были жертвы не столько японцев, сколько самой Новой Гвинеи, живые скелеты, все в болячках, измученные жаром и бредом. На высоте девяти тысяч футов, где легкая тропическая форма не защищала от пронизывающего холода, пневмония унесла вдесятеро больше жизней, чем японские пули и снаряды. В таинственных чащах, где по ночам чуть светили призрачным фосфорическим светом странные грибы, где надо было карабкаться по кручам, по скользкой, липкой грязи, а под ногами сплетались и путались, выползая из земли, узловатые корни и нельзя было ни на миг поднять головы, каждый оказывался отличной мишенью для вражеского снайпера. Да, это было совсем, совсем не похоже на Северную Африку, и Девятая дивизия ничуть не жалела, что оставалась и выдержала два сражения за Эль-Аламейн – зато ей не пришлось пройти путь на

Кокоду.

Город Лаэ расположен на прибрежной лесистой равнине, далеко от срединной гористой части острова, которая возвышается на одиннадцать тысяч футов над уровнем моря, и места эти гораздо удобнее для военных действий, чем Кокода. В городе всего-то несколько европейских домов, заправочная станция да мешанина туземных лачуг. Японцы и здесь, как всегда, дрались храбро, но их было мало. Новая Гвинея изнурила и вымотала их не меньше, чем их противников австралийцев, и они так же страдали от всяческих болезней. В Северной Африке воевали при поддержке мощной артиллерии и всевозможной техники, и странно показалось, что здесь, на Новой Гвинее, нет ни минометов, ни полевых орудий, только пулеметы да винтовки с постоянно примкнутыми штыками. Джимсу и Пэтси даже нравился рукопашный бой, нравилось идти на противника плечом к плечу, оберегая друг друга. Но, что и говорить, после сражений с немецким Африканским корпусом все это выглядело ужасно жалко. Желтокожие вражеские солдаты – мелкие, щуплые, чуть ли не все в очках и с беличьими торчащими зубами. Ни красоты, ни выправки, не то что бравые вояки Роммеля.

Через две недели после того, как Девятая дивизия высадилась в Лаэ, японцев на острове не осталось. День для новогвинейской весны выдался чудесный. Влажность уменьшилась на двадцать процентов, белесое, как бы затянутое пеленой пара небо вдруг поглубело, и засияло солнце, и водная гладь за городом заиграла яркими красками – зеленой, лиловой, сиреневой. Дисциплина соблюдалась не так строго, словно всем сразу дали увольнительную и можно играть в крикет, гулять где вздумается и подшучивать над местными жителями – те, смеясь, показывали багровые беззубые десны, изуродованные вечным жеванием бетеля. Джимс и Пэтси пошли бродить за городом, в высокой траве, она им напоминала Дрохеду – такая же золотистая, будто выцветшая, и такая же высокая, словно в Дрохеде после долгих дождей.

– Теперь мы уже скоро будем дома, – сказал Джимс. – Япошек поколотили, фрицев тоже. Вернемся домой, Пэтси, домой, в Дрохеду! Хотя бы уж скорей, верно?

– Ага, – сказал Пэтси.

Они шагали плечом к плечу, теснее, чем это обычно принято между мужчинами, и порой касались друг друга – бессознательно, как человек тронет место, которое вдруг зачесалось, или рассеянно проверит, зажила ли царапина. Как славно, когда в лицо тебе светит настоящее яркое солнце, а не какой-то мутный шар, словно в парной турецкой бане! Опять и опять

близнецы задирали головы, жмурились на солнце, раздували ноздри, вдыхая запах разогретых, так напоминающих Дрохеду трав, и им чудилось, что они уже там, дома, в полуденный зной идут прилечь в тени вилги, переждать самое пекло, почитать книжку, подремать. Перекатишься с боку на бок, ощутишь всей кожей милую, дружелюбную землю – и почувешь: где-то в ее недрах словно бьется могучее сердце, так слышит сердце матери спящий младенец...

– Джимс, смотри! Полосатик! Самый настоящий, дрохедский! – У Пэтси от изумления даже язык развязался.

Быть может, совсем не диво, что полосатые попугаи водятся и вокруг Лаэ, но уж очень счастливый выдался день, очень неожиданно было это напоминание о родине – и в Пэтси вдруг выиграла буйная радость. Он рассмеялся и, с наслаждением чувствуя, как высокая трава щекочет голые колени, сорвал с головы потрепанную широкополую шляпу и пустился вдогонку за птицей, будто и впрямь надеялся поймать ее шляпой, словно бабочку.

Джимс стоял и с улыбкой смотрел на брата.

Пэтси отбежал ярдов на двадцать, и тут трава вокруг него взметнулась ключьями, срезанная пулеметной очередью; Джимс видел: брат круто повернулся на одном месте, вскинул руки к небу, точно умолая. От пояса до колен весь он залился яркой алой кровью.

– Пэтси, Пэтси! – отчаянно закричал Джимс.

Каждой клеточкой тела он в себе ощутил пули, поразившие брата, – это он сам теряет живую кровь, это он умирает. Он рванулся – прыгнуть, бежать, но солдатская выучка напомнила об осторожности, он с размаху растянулся в траве, и тут снова застрочил пулемет.

– Пэтси, Пэтси, ты цел? – закричал он как дурак, он ведь видел, сколько хлынуло крови.

Но вот чудо – в ответ слабо донеслось:

– Ага.

И Джимс медленно пополз в высокой душистой траве, прислушиваясь, как она шуршит на ветру, как шуршит, расступаясь перед ним.

Наконец он дополз до Пэтси, припал головой к его обнаженному плечу и заплакал.

– Брось, – сказал Пэтси. – Я еще живой.

– Очень худо? – спросил Джимс, весь дрожа, стянул с брата пропитанные кровью шорты и посмотрел на окровавленное тело.

– Во всяком случае, помереть я вроде не помру.

Со всех сторон подбегали товарищи, те, что играли в крикет, не успели

снять наколенники и перчатки; кто-то побежал обратно за носилками, остальные молча двинулись в дальний конец прогалины, на тот пулемет. С пулеметчиком расправились без пощады – все любили молчуна Харпо. Если с ним будет худо, Джиме тоже никогда не оправится.

А день выдался такой чудесный, полосатый попугайчик давно улетел, но другие пичуги чирикали и щебетали вовсю, их заставляла замолчать только настоящая стрельба.

– Твоему Пэтси дьявольски повезло, – немного погодя сказал Джимсу врач. – В него попало с десятков пуль, но почти все засели в мякоти бедер. Две или три угодили повыше, но, видимо, застряли в тазовой кости или в мышце. Насколько могу сейчас судить, ни кишки, ни мочевого пузыря не задеты. Вот только...

– Ну что там? – нетерпеливо прервал Джимс; его все еще трясло, он был бледен до синевы.

– Сейчас еще трудно сказать наверняка, и я не такой гениальный хирург, как некоторые в Морсби. Те разберутся и скажут тебе. Дело в том, что поврежден мочевой канал и мелкие нервы в паху. Безусловно, его можно залатать и заштопать, будет как новенький, кроме этих самых нервов. Их, к сожалению, не очень-то залатаешь. – Врач откашлялся. – Я что хочу сказать, возможно, он навсегда останется нечувствительным в детородной области.

Джимс опустил голову, слезы застлали ему глаза.

– По крайней мере он остался жив.

Он получил отпуск, чтобы лететь с братом в порт Морсби и оставаться при нем, пока врачи не решат, что Пэтси вне опасности. Ранение оказалось такое, что поистине это можно считать чудом. Пули рассеялись по нижней части живота, но ни одна не пробила брюшину. Однако дивизионный врач оказался прав: область таза стала почти нечувствительной. И никто не мог предсказать, насколько чувствительность восстановится.

– Не так уж это важно, – сказал Пэтси с носилок, когда его несли к самолету на Сидней. – Все равно я никогда особенно не жаждал жениться. А ты смотри, Джиме, береги себя, слышишь? До чего мне неохота оставлять тебя одного.

– Не бойся, Пэтси, я не пропаду, – усмехнулся Джиме и крепко стиснул руку брата. – Черт, надо же, до конца войны остаюсь без лучшего товарища. Я напишу тебе, как оно дальше пойдет. А ты кланяйся за меня миссис Смит, и Мэгги, и маме, и всем братьям, ладно? Все-таки тебе повезло – возвращаешься в нашу Дрохеду.

Фиа и миссис Смит вылетели в Сидней встречать американский

самолет, который доставил туда Пэтси из Таунсвилла; Фиа провела в Сиднее всего несколько дней, но миссис Смит поселилась в гостинице по соседству с военным госпиталем. Пэтси пролежал здесь три месяца. Он свое отвоевал. Много слез пролила миссис Смит; но можно было кое-чему и порадоваться. В известном смысле он никогда не сможет жить полной жизнью, но все остальное доступно ему – он будет ходить, бегать, ездить верхом. А к женитьбе, похоже, мужчины в семействе Клири не склонны. Когда Пэтси выписали из госпиталя, Мэгги приехала за ним из Джилли в «роллс-ройсе», и вдвоем с миссис Смит они удобно устроили его на заднем сиденье, среди кучи газет и журналов, и укутали одеялами; теперь они молили судьбу еще об одной милости: пусть и Джимс тоже вернется домой.

Только когда полномочный представитель императора Хирохито подписал документ о капитуляции Японии, в Джилленбоуне поверили, что война и в самом деле кончена. Это стало известно в воскресенье, второго сентября 1945-го, ровно через шесть лет после ее начала. Шесть мучительных лет. Столько невосполнимых утрат: никогда уже не вернутся ни Рори, сын Доминика О’Рока, ни сын Хорри Хоуптона Джон, ни Кермак, сын Клена Кармайка. Младший сын Росса Маккуина Энгус никогда больше не сможет ходить; сын Энтони Кинга Дэвид будет ходить, но уже не увидит, куда идет; у Пэтси, сына Пэдди Клири, никогда не будет детей. А сколько есть таких, чьи раны не видимы глазом, но столь же глубоки, таких, что покинули свой дом веселые, жизнерадостные, смеющиеся, а с войны возвратились притихшие, скупые на слова и почти разучились смеяться. Когда война началась, разве снилось кому-нибудь, что это так надолго и так тяжки будут потери?

Джилленбоунцы не слишком суеверны, но даже самых отъявленных вольнодумцев в воскресенье, второго сентября, пробрала дрожь. Ибо в тот же день, как кончилась война, кончилась и самая долгая за всю историю Австралии засуха. Почти десять лет не выпало ни одного настоящего дождя, а в этот день небо сплошь заволось чернейшими, непроглядными тучами, с громом разверзлось и покрыло жаждущую землю потоками в двенадцать дюймов глубиной. Если осадков выпадает на дюйм, это еще не обязательно конец засухи, второго дождя может и не быть, но двенадцать дюймов – это значит, что вырастет трава!

Мэгги, Фиа, Боб, Джек, Хьюги и Пэтси стояли на веранде и в грозовой

тьме смотрели на этот ливень и вдыхали его несказанно сладостный аромат, запах иссохшей, растрескавшейся земли, наконец-то утоляющей жажду. Лошади, овцы, коровы и свиньи упирались потверже ногами в расползающуюся жидкую грязь и, вздрагивая всей кожей, с наслаждением подставлялись под живительные струи; почти все они с самого рождения не знали, что такое дождь. На кладбище смыло всю пыль, вновь забелел мрамор, омылись от пыли распростертые крылья невозмутимого ангела Боттичелли. Речка вздулась, забурилась, шум ее смешался с барабанной дробью ливня. Дождь, дождь! Дождь. Словно исполинская непостижимая рука даровала наконец долгожданную благодать. Дождь – благословение и чудо. Ибо дождь – это значит трава, а трава – это жизнь.

Из земли пророс нежно-зеленый пушок, крохотные ростки потянулись к небу, пошли куститься, набухать почками, поднимались все выше, зеленели все гуще, потом посветлели, налились соками – и вновь она стоит по колено людям, то серебристая, то матовая, цвета кофе с молоком, трава Дрохеды. Главная усадьба – совсем как пшеничное поле, по которому пробегает рябь от малейшего озорного ветерка, цветники вокруг дома пылают ярчайшими красками, раскрываются огромные бутоны, призрачные эвкалипты, что девять лет кряду стояли угрюмые, серые, пропыленные, разом опять засветились белизной и золотисто-зеленым. Да, в цистернах, поставленных расточительным сумасбродом Майклом Карсоном, хватило воды, чтобы цветники не погибли, но пыль давно покрыла каждый лист и лепесток, приглушила и омрачила их краски. Старое поверье подтвердилось: запасы воды в Дрохедде такие, что можно пережить и десять лет засухи – но это верно лишь для Большого дома.

Боб, Джек, Хьюги и Пэтси вернулись на выгоны, начали прикидывать, как бы лучше восстановить отары; Фиа открыла новенький пузырек черных чернил и намертво заткнула пробкой пузырек красных, которыми записывались убытки; а Мэгги поняла, что для нее жизнь в седле подходит к концу: скоро вернется Джимс и появятся мужчины, которым нужна работа.

После тяжелых девяти лет скота осталось ничтожно мало – уцелели только породистые производители, которых во все времена содержали в стойлах, горсточка отборных, первоклассных быков и баранов. Боб отправился на восток, в края, не так сильно пострадавшие от засухи, закупать лучших чистокровных ярок. Вернулся Джимс. Наняли восьмерых овчаров. И Мэгги распрощалась со своим седлом.

А вскоре она получила письмо от Люка – второе с тех пор, как ушла от него.

«Я так думаю, осталось уже недолго, – писал Люк. – Еще несколько лет на плантациях, и у меня наберется довольно денег. Иногда побаливает спина, но я еще могу потягаться с самыми классными ребятами, рублю за день восемь, а то и девять тонн. У нас с Арне под началом еще двенадцать артелей, и все отличный народ. Деньги сейчас достаются куда легче, в Европе такой спрос на сахар, что только поспевай подавать. Я зарабатываю больше пяти тысяч фунтов в год и почти все откладываю. Теперь уже скоро я поселюсь в Кайнуне, Мэг. Может, когда я там устроюсь, ты захочешь ко мне приехать. Заполучила ты от меня тогда ребятенка? Чудно, до чего женщинам охота нарожать ребятшек. Я так думаю, от этого у нас с тобой все и разладилось, верно? Напиши, как твои дела и как Дрохеда выдержала засуху.

Твой Люк».

Мэгги сидела на веранде с этим письмом в руке, устремив невидящий взгляд на ярко-зеленую лужайку, и тут из дома вышла Фиа.

– Ну, что Люк?

– Все то же, мама. Ничуть не переменялся. Опять пишет, что ему надо еще немного поработать на этих окаянных сахарных плантациях, а потом он купит землю где-нибудь в Кайнуне.

– По-твоему, и правда это когда-нибудь сбудется?

– Да, пожалуй... в конце концов придет такой день.

– И ты к нему вернешься, Мэгги?

– Ни за что на свете.

Фиа повернула плетеное кресло и села напротив дочери, внимательно на нее посмотрела. Поодаль перекликались мужчины, стучали молотки – наконец-то верхние веранды затягивали густой сеткой для защиты от мух. Многие годы Фиа упрямо на это не соглашалась. Мухи мухами, а она не желала изуродовать дом безобразной провололочной сетью. Но чем дольше тянулась засуха, тем сильнее одолевали несносные мухи – и наконец за две недели до дождя Фиа сдалась и наняла подрядчика с артелью, пускай защитят от этой напасти всю Главную усадьбу. Не только Большой дом, но и жилище постоянных работников, и бараки сезонников.

А вот провести в дом электричество она не соглашалась, хотя с 1915 года рядом уже стучала «тарактелка» – так стригали называли движок, который давал ток в стригальню. Но представить себе Дрохеду без мягкого, рассеянного света старых ламп? Нет, немыслимо. Впрочем, кое-какие

новшества на усадьбе появились: газовая плита, для которой по заказу доставляли газ в баллонах, и с десяток керосиновых холодильников; промышленность Австралии еще не совсем перестроилась на мирный лад, но скоро и сюда придут новомодные изобретения.

– Мэгги, а может быть, тебе развестись с Люком и выйти опять замуж? – спросила вдруг Фиа. – Инек Дэвис будет рад и счастлив на тебе жениться, он никогда ни на одну девушку, кроме тебя, и не смотрел.

Чудесные серые глаза с изумлением обратились на мать.

– Мама, да неужели ты и правда заговорила со мной как со взрослой?

Фиа даже не улыбнулась; она по-прежнему улыбалась не часто.

– Ну, если ты до сих пор не стала взрослой, так и не станешь никогда. По-моему, ты уже настоящая взрослая женщина. А я, видно, старею. Становлюсь болтливой.

Мэгги засмеялась от радости – как хорошо, что мать заговорила по-дружески, только бы ее не спугнуть!

– Это на тебя дождь подействовал, мама. Уж наверно дождь. Какое счастье, что всюду опять растет трава и лужайки наши опять зазеленели! Правда, счастье?

– Да, конечно. Но ты мне не ответила. Почему бы тебе не развестись с Люком и не выйти снова замуж?

– Церковь не допускает развода.

– Чепуха! – прикрикнула Фиа, но прикрикнула не сердито. – Ты наполовину моя дочь, а я ведь не католичка. Не говори глупостей, Мэгги. Если б ты всерьез хотела выйти опять замуж, ты бы прекрасно развелась с Люком.

– Да, наверное. Но я больше не хочу замуж. У меня есть дети, есть Дрохеда, а больше мне ничего не надо.

В кустах неподалеку звонко засмеялся кто-то совсем таким же смехом, как Мэгги, но за густо свисающими алыми соцветиями не видно было, кто там смеется.

– Слышишь? Это Дэн там, в кустах. Знаешь, этот малыш уже держится на лошади ничуть не хуже меня. Дэн! – крикнула Мэгги. – Ты чего там прячешься, проказник? Вылезай сию минуту!

И он выполз из-под ближнего куста – руки черные, все в земле, и губы тоже подозрительно перепачканы черным.

– Мам, а знаешь, земля какая вкусная? Правда, мам, вкусная, честное слово!

Он подошел и стал перед Мэгги; в свои семь лет он был высокий, изящный и тоненький, но крепкий, с точеным фарфоровым личиком.

Появилась Джастина и встала рядом с братом. Тоже для своих лет высокая, но не то чтобы тоненькая, просто худая и вся в веснушках. Под этой густой коричневой россыпью не разобрать, какое же у нее лицо, от веснушек совсем незаметны золотистые брови и ресницы, но странные глаза все такие же чересчур светлые, и взгляд их вызывает то же тревожное чувство, что и прежде, чуть не с колыбели. Рожицу эльфа обрамляет масса буйных кудрей, огненно-рыжих, совсем как были у Пэдди. Хорошенькой девочку никак не назовешь, но и забыть ее, увидев хоть раз, невозможно – поражают не только глаза, но редкостная внутренняя сила. Суровая, решительная, умная и резкая, Джастина и в восемь лет так же мало, как в младенчестве, считается с тем, что о ней подумают. По-настоящему близок ей лишь один человек на свете – Дэн. Его она по-прежнему обожает и по-прежнему полагает, будто он безраздельная ее собственность.

Из-за этого у них с матерью постоянно бывают стычки. Для Джестины было тяжким ударом, что Мэгги перестала ездить по выгонам и вернулась к материнским обязанностям. Начать с того, что девочка, всегда и при всех обстоятельствах уверенная в своей правоте, словно бы ничуть не нуждается в матери. И не тот у нее характер, чтобы изливать кому-то душу или ждать похвал и ласкового одобрения. Мэгги для нее прежде всего соперница, которая отнимает у нее Дэна. Куда лучше Джастина ладит с бабушкой: вот это человек стоящий, не путается не в свои дела, понимает, что у тебя и у самой есть голова на плечах.

– Я ему не велела есть землю, – сказала Джастина.

– Ну, от этого не умирают, Джастина, но пользы тоже нет. – Мэгги посмотрела на сына. – Что это тебе вздумалось, Дэн?

Минуту он серьезно размышлял над ее вопросом.

– Земля тут, вот я ее и попробовал. Если б она была вредная, она и на вкус была бы плохая, правда? А она хорошая, вкусная.

– Это ничего не значит, – надменно перебила Джастина. – Беда мне с тобой, Дэн, ничего ты не понимаешь. Иногда самые вкусные вещи как раз самые ядовитые.

– Ну да! Какие это? – с вызовом спросил Дэн.

– Патока! – торжествующе объявила Джастина.

Удар попал в цель, был с Дэном однажды такой случай – он нашел в кладовой у миссис Смит банку с патокой, объелся, и потом ему было очень худо.

Все-таки он возразил:

– Я ведь еще живой, значит, не такая она ядовитая.

– Потому что тебя тогда вырвало. А если б не вырвало, ты бы умер.

Тут уж возражать было нечего. Дэн дружески взял сестру под руку – они были почти одного роста, – и оба неспешно зашагали по лужайке к домику, который по их точным указаниям соорудили любящие дядюшки под нависшими ветвями перечного дерева. Сначала взрослые очень протестовали против такого выбора, опасаясь пчел, но дети оказались правы. Пчелы отлично с ними уживались. Перечные деревья самые уютные, лучше всех, объясняли Дэн и Джастина. Такие свежие, душистые, а когда сожмешь в руке гроздь крохотных розовых шариков вроде мелкого-мелкого винограда, получаютсЯ очень славные хрусткие и пахучие розовые хлопья.

– До чего они разные, Дэн и Джастина, а ведь прекрасно ладят, – сказала Мэгги. – Просто удивительно. Кажется, я ни разу не видела, чтобы они поссорились, хотя она уж до того настойчивая и упрямая... Просто непостижимо, как Дэн умудряется с ней не ссориться.

Но Фиа думала совсем о другом.

– Что и говорить, вылитый отец, – сказала она, провожая глазами Дэна, он как раз нырнул под низко нависшие ветви и скрылся из виду.

Мэгги похолодела, как всегда при этих словах, хотя за многие годы опять и опять слышала их от самых разных людей. Конечно же, у нее просто совесть нечиста. Люди всегда подразумевают сходство Дэна с Люком. Почему бы и нет? В чем-то существенном Люк О'Нил с виду очень похож на Ральфа де Брикассара. Но сколько ни старалась Мэгги держаться как ни в чем не бывало, от замечаний о сходстве Дэна с отцом ей всегда становилось не по себе.

Она осторожно перевела дух, сказала как могла небрежно:

– Ну разве, мама? – и продолжала, беззаботно покачивая ногой: – Право, я этого не вижу. У Дэна ни в характере, ни в поведении ничего нет общего с Люком.

Фиа засмеялась. словно бы фыркнула пренебрежительно, но это был самый настоящий смех. Глаза ее с годами поблекли, да еще начиналась катаракта, но сейчас она в упор хмуро и насмешливо разглядывала испуганное лицо дочери.

– Ты что же, Мэгги, круглой душой меня считаешь? Я говорю не про Люка О'Нила. Я сказала, что Дэн – вылитый Ральф де Брикассар.

Свинец. Нога, тяжелая, свинцовая, опустилась на вымощенный испанской плиткой пол веранды, налитое свинцом тело сникло в кресле, не хватает сил биться непомерно тяжелому свинцовому сердцу. Бейся, будь ты проклято, бейся! Ты должно биться ради моего сына!

– Что ты, мама! – Голос тоже свинцовый. – Что ты такое говоришь!

Преподобный Ральф де Брикассар?!

– А ты знаешь и других Ральфов де Брикасаров? Люк О’Нил не имеет никакого отношения к этому мальчонке, Ральф де Брикассар – вот кто его отец. Я это знаю с первой минуты, когда ты родила его, а я приняла.

– Но... но тогда почему ты молчала? Ждала семь лет, а теперь бросаешь мне такое нелепое, сумасшедшее обвинение?

Фиа вытянула ноги, изящно скрестила их в лодыжках.

– Наконец-то я старею, Мэгги. И уже не так близко все принимаю к сердцу. Как отрадна иногда бывает старость! С удовольствием смотрю, как оживает Дрохеда, от этого у меня и на сердце легче. Вот и поговорить захотелось, в первый раз за столько лет.

– Ну, знаешь, когда уж ты решила поговорить, так нашла о чем! Слушай, мама, ты никакого права не имеешь такое говорить! Это неправда! – с отчаянием сказала Мэгги, она понять не могла, жалеет ее мать или хочет помучить.

И вдруг Фиа положила руку ей на колено и улыбнулась – не с горечью и не презрительно, а с каким-то странным сочувствием.

– Не лги мне, Мэгги. Можешь лгать кому угодно, только не мне. Никогда ты меня не убедишь, что этот малыш – сын Люка О’Нила. Я не дура и не слепая. В нем нет ничего от Люка и никогда не было, потому что и не могло быть. Он весь пошел в его преподобие. И руки те же, и волосы так же растут – тот же мысок надо лбом, и овал лица тот же, и брови, и рот. Даже ходит так же. Ральф де Брикассар, вылитый Ральф де Брикассар.

И Мэгги сдалась, и непомерная тяжесть скатилась с души, во всем ее облике теперь чувствовалось облегчение и покой.

– Главное – глаза, он словно смотрит откуда-то издалека. Вот что меня поражает больше всего. Но неужели так заметно? Неужели все знают, мама?

– Нет, конечно, – уверенно сказала Фиа. – Люди замечают только цвет глаз, форму носа, сложение. А в этом достаточно сходства и с Люком. Я знаю, потому что годами наблюдала за тобой и Ральфом де Брикасаром. Ему бы только пальцем тебя поманить, и ты побежала бы за ним на край света, и не болтай, что церковь не допускает развода, этим вздором меня не проведешь. Тебе до смерти хотелось преступить куда более серьезный запрет церкви, чем этот, насчет развода. Ты тогда всякий стыд потеряла, Мэгги, всякий стыд потеряла, – сказала Фиа пожестче. – Но он был упрям. Во что бы то ни стало решил оставаться безупречным пастырем, а ты у него была где-то там, на втором плане. Экая глупость! Не очень-то ему помогло его дурацкое упрямство, а? Рано или поздно это все равно должно

было случиться.

За углом веранды кто-то уронил молоток и длинно выругался. Фиа вздрогнула, поморщилась:

– Фу, хоть бы уж они скорее покончили с этими сетками! – И снова заговорила о том же: – Неужели ты воображаешь, что одурачила меня, когда не захотела, чтобы Ральф де Брикассар обвинял тебя с Люком? Я-то знала. Ты не желала, чтобы он венчал тебя с другим, ты с ним самим хотела идти под венец. А когда он явился в Дрохеду перед отъездом в Афины, а тебя здесь уже не было, я поняла – рано или поздно он не выдержит и разыщет тебя. Он бродил по всей усадьбе как неприкаянный, будто малый ребенок потерялся на Сиднейской выставке. Твое замужество – это был твой самый хитроумный ход, Мэгги. Покуда Ральф знал, что ты по нем сохнешь, ты была ему не нужна, а вот стоило тебе выйти за другого, тут он сразу и выдал себя – суцая собака на сене. Разумеется, он убедил себя, что питает к тебе чистейшие платонические чувства, но как ни крути, а оказалось, ты ему нужна. Нужна, необходима, как никогда не была и, подозреваю, не будет необходима больше ни одна женщина на свете. Странно, – прибавила Фиа с искренним недоумением, – для меня всегда было загадкой, что он в тебе особенное нашел... Что ж, наверное, все матери немножко слепы и не понимают своих дочерей, пока не состарятся и не перестанут завидовать их молодости. Ты так же плохо понимаешь Джастину, как я плохо понимала тебя.

Она откинулась на спинку кресла-качалки и слегка покачивалась, прикрыв глаза, но из-под опущенных ресниц зорко присматривалась к Мэгги, как ученый к подопытному кролику.

– Что бы он ни нашел в тебе, он это заметил с первого взгляда и этим ты его околдовала раз и навсегда. Тяжелей всего ему было понять, что ты становишься взрослой, но пришлось понять, когда он приехал и оказалось – тебя нет, ты вышла замуж. Бедняга Ральф! Ничего не поделаешь, ему только оставалось пуститься на поиски. И он тебя разыскал, не так ли? Я это поняла еще раньше, чем родился Дэн, как только ты вернулась домой. Раз ты заполучила Ральфа де Брикассара, тебе уже незачем было оставаться с Люком.

– Да, – вздохнула Мэгги, – Ральф меня разыскал. Только ведь это ничему не помогло, правда? Я знала, он никогда не откажется от своего Бога. Потому и решила – пускай у меня останется хоть частица его, единственное, чем я могу завладеть. Его ребенок, Дэн.

– Я как будто эхо слышу. – Фиа засмеялась невеселым своим смехом. – Ты говоришь моими словами.

– Фрэнк?

Скрипнуло кресло; Фиа встала, прошлась взад и вперед по звонким плиткам веранды, потом остановилась перед дочерью, посмотрела на нее в упор:

– Так, так! Мы квиты, а, Мэгги? Ну а ты давно узнала?

– Еще когда была маленькая. Когда Фрэнк убежал из дому.

– Его отец был женатый человек. Много старше меня, видный политический деятель. Имя известное, даже ты, наверное, слышала. В Новой Зеландии полно улиц, названных в его честь, найдутся даже два-три города. Но на сей раз я стану его называть Пакеха. На языке маори это значит «белый человек» – ничего, сойдет. Он уже умер, конечно. Во мне и самой есть капля маорийской крови, а отец Фрэнка был наполовину маори. По Фрэнку это было очень видно, ведь наследственность получилась с двух сторон. Ох, как я любила этого человека! Может быть, это был зов крови, не знаю. Он был красавец. Высокий, грива черных волос и черные, сияющие, смеющиеся глаза. В нем было все, чего не хватало Пэдди, – культура, утонченность, редкостное обаяние. Я его любила до безумия. И думала, что уж никогда больше никого не полюблю; и упивалась этим самообманом долго, очень долго, и протрезвела слишком поздно... – Голос изменил ей. Она отвернулась, несколько минут смотрела в сад. – Я во многом виновата, Мэгги, можешь мне поверить.

– Значит, вот почему ты любила Фрэнка больше всех нас, – сказала Мэгги.

– Я и сама так думала – потому что он сын Пакехи, а все остальные – дети Пэдди. – Фиа опустилась в кресло, странный скорбный не то стон, не то вздох сорвался с ее губ. – Итак, история повторяется. Да, я посмеялась про себя, когда увидела Дэна, можешь мне поверить.

– Ты необыкновенная женщина, мама!

– Разве? – Кресло скрипнуло; Фиа подалась вперед. – Скажу тебе на ушко маленький секрет, Мэгги. Необыкновенная там или самая обыкновенная, но я очень несчастная женщина. По той ли, по другой ли причине, но я была несчастна с того самого дня, как встретила Пакеху. Прежде всего по своей же вине. Я его любила, но не дай Бог ни одной женщине испытать в жизни то, что выпало мне из-за него. И потом, Фрэнк... я дорожила одним Фрэнком, а обо всех вас и не думала. Не думала о Пэдди, а он – лучшее, что мне дано было в жизни. Но я тогда этого не понимала. Только тем и занималась, что сравнивала его с Пакехой. Нет, конечно же, я была ему благодарна, и я не могла не видеть, что он прекрасный человек... – Фиа пожала плечами. – Ну ладно, что было, то

прошло. Просто я хотела сказать: ты виновата, Мэгги. Разве ты сама не понимаешь, что виновата?

– Нет, не понимаю. По-моему, виновата церковь, когда отнимает у священников еще и это.

– Забавно, мы всегда говорим о церкви как о сопернице. Ты украла мужчину у соперницы, Мэгги, совсем как я когда-то.

– Ральф ничем не связан был ни с одной женщиной, только со мной. Церковь – не женщина, мама. Это не человек, просто такой институт.

– Зря ты передо мной оправдываешься. Я знаю все, что тут можно сказать. Когда-то я и сама так рассуждала. О том, чтобы Пакеха развелся с женой, нечего было и думать. Он один из первых среди маори стал большим политическим деятелем; ему пришлось выбирать между мной и своим народом. Какой мужчина устоит перед таким соблазном, откажется от величия? Вот и твой Ральф выбрал церковь, ведь так? Что ж, я решила – пусть, мне все равно. Возьму от Пакехи что могу, по крайней мере у меня будет от него ребенок, ребенка мне ничто не помешает любить.

И вдруг в Мэгги вскипела ненависть, дикая обида вытеснила жалость к матери – значит, та считает, что и она, Мэгги, так же все испортила, загубила жизнь и себе, и сыну?! И она сказала:

– Ну нет, мама, я гораздо хитрее тебя. У моего сына есть законное имя, этого у него никто не отнимет, даже Люк.

Фиона Клири задохнулась, проговорила не сразу, сквозь зубы:

– Ядовито сказано! Так вот ты какая, Мэгги! А поглядеть – сама кротость, мухи не обидишь. Что ж, верно, мой отец попросту купил мне мужа, чтобы дать Фрэнку имя и сплавить меня подальше. Я готова была головой поручиться, что ты об этом не знаешь. Откуда ты узнала?

– Это мое дело.

– Но и ты заплатишься, Мэгги. Поверь, расплаты не миновать. Тебе это не пройдет даром, как не прошло мне. Я потеряла Фрэнка, для матери не может быть утраты более жестокой – мне даже увидеть его нельзя, а я так по нему тоскую... Но подожди! Ты тоже потеряешь Дэна.

– Нет уж, постараюсь не потерять. Ты потеряла Фрэнка потому, что он не мог ужиться с папой. А я позаботилась, чтоб у Дэна не было никакого папы, чтоб никто не мог его взнудать и запрячь. Я сама его взнуждаю и запрягу накрепко – в Дрохеду. Ты думаешь, почему я уже понемножку делаю из него овчара? В Дрохеде он в безопасности, тут ему ничто не грозит.

– А папе грозило? А Стюарту? Безопасности на свете нет. И если Дэн захочет отсюда уехать, ты его не удержишь. Папа вовсе не взнуждывал

Фрэнка. Ничего подобного. Фрэнка нельзя было взнудать. И если ты воображаешь, будто ты, женщина, сумеешь взнудать сына Ральфа де Брикассара, ты глубоко ошибаешься. Сама подумай, это так ясно. Если ни я, ни ты не сумели удержать отцов, где нам удержать сыновей?

– Я потеряю Дэна только в одном случае, мама, – если ты проболтаешься. Но прежде я тебя убью, так и знай.

– Не волнуйся, из-за меня тебе вовсе незачем идти на виселицу. Я не собираюсь выдавать твой секрет; просто мне любопытно посмотреть на это со стороны. Да, только этим я и занимаюсь, дочка. На все смотрю со стороны.

– Ох, мама! Ну отчего ты стала такая? Такая всему посторонняя, закрытая, ничем не хочешь поделиться!

Фиа вздохнула.

– Оттого, что случилось очень давно, за много лет до твоего рождения, – сказала она горько.

Но Мэгги яростно затрясла сжатым кулаком:

– Ну нет, и слышать не хочу! После всего, что ты мне тут рассказала? Больше ты меня не разжалобишь этой старой историей! Вздор, вздор, чепуха! Слышишь, мама? Ты полжизни смаковала эти свои страдания, хватит!

Фиа улыбнулась ей – весело, от души.

– Прежде я думала, дочь – это так, между прочим, важно, что у меня есть сыновья, но я ошибалась. Ты мне доставляешь совсем особенное удовольствие, Мэгги, от сыновей мне такого не получить. С дочерьми мы равны, понимаешь ли. Сыновья не то. Сыновья – просто беззащитные куклы, мы их расставляем, как хотим, и сшибаем одним щелчком, когда вздумается.

Мэгги смотрела на мать во все глаза.

– До чего ты безжалостная. Тогда скажи мне, ну а мы-то в чем виноваты?

– В том, что родились на свет, – сказала Фиа.

Тысячи и тысячи мужчин возвращались по домам, сбрасывали форму цвета хаки, широкополые шляпы и вновь надевали все штатское. И лейбористское правительство, все еще стоявшее у власти, начало всерьез присматриваться к огромным поместьям на западных равнинах, к крупнейшим владениям в глубине страны. Несправедливо, чтобы столько земли принадлежало какой-то одной семье, ведь очень многим австралийцам, которые честно исполняли свой долг перед родиной, негде

голову приклонить вместе с их семьями, да и государство заинтересовано в том, чтобы люди старательнее хозяйничали на земле. Простору много, страна не меньше США, а населения всего шесть миллионов, и на шесть миллионов – горсточка земельных тузов, горсточка таких, кому принадлежат громадные угодья. Нет, крупнейшие поместья должны уступить долю земли, поделиться своими несчетными акрами с ветеранами войны.

В Бугеле из ста пятидесяти тысяч акров осталось семьдесят: двое солдат, возвратившись с фронта, получили от Мартина Кинга по сорок тысяч акров. Радней-Ханиш насчитывала сто двадцать тысяч акров, а потому Росс Маккуин лишился шестидесяти тысяч – ими наделили еще двоих вчерашних воинов. Так оно и шло. Конечно, правительство как-то возмещало овцеводам потери, но платило много дешевле, чем если бы они сами продавали свою землю. И это было обидно. Еще как обидно! Но власти в Канберре не слушали никаких доводов: такие огромные владения, как Бугела и Радней-Ханиш, следует делить. Ясно и понятно, что одному владельцу вовсе не требуется столько земли, ведь в джиленбоунской округе очень многие фермеры имеют меньше чем по пятьдесят тысяч акров – и, однако, процветают.

И вот что всего обиднее: похоже, теперь бывшие солдаты не отступятся. После Первой мировой войны у большинства крупных поместий тоже отрезали часть земли, но тогда новоявленные хозяева, не имея ни знаний, ни опыта, не сумели с толком и выгодой разводить на ней скот; постепенно ветераны отчаялись в успехе, и прежние владельцы за гроши вновь скупили отнятые у них участки. Однако на сей раз правительство намерено за свой счет подучить и наставить начинающих фермеров.

Почти все хозяева старых имений были ярыми приверженцами Земельной партии и убежденными ненавистниками лейбористов, полагали, что это сплошь горожане, рабочие крупных промышленных центров, профсоюзные заправилы да никчемные интеллигенты-марксисты. Тем более жестоко уязвило открытие, что у семейства Клири, заведомо голосующего за лейбористов, не отрежут ни единого акра от необъятных дрохедских земель. Ведь Дрохеда – собственность Римской католической церкви, а стало быть, разделу не подлежит. Вопль протеста достиг Канберры, но услышан не был. Землевладельцам было нелегко снести такое пренебрежение, ведь они всегда считали себя самой влиятельной силой в кулуарах парламента, а оказалось, столичные власти их в грош не ставят. Вся сила – за федеральным правительством, и представители

штатов ничего не могут от него добиться.

Итак, Дрохеда сохранила все свои четверть миллиона акров и осталась великаном в мире лилипутов.

Выпадали и кончались дожди, то в меру, то побольше, то поменьше, но, к счастью, такой страшной засухи больше не было. Постепенно росло поголовье овец, и много лучше стала шерсть, Дрохеда превзошла даже все, чего достигла перед засухой, – подвиг нешуточный. Все помешались на улучшении породы. Поговаривали, что некий Хэддон Риг состязается с владельцем соседней фермы Максом Фокинером и намерен получить на Сиднейской выставке призы за лучшего барана-производителя и лучшую овцу. Цены на шерсть понемногу росли, потом небывало, стремительно поднялись. Европа, Соединенные Штаты и Япония жадно хватали всю до последнего волоконца австралийскую тонкую шерсть. Более грубую шерсть, годную на плотные материи, на ковры и фетр, поставляют и другие страны, но только из длинной шелковистой шерсти австралийских тонкорунных мериносов можно изготовить тончайшие ткани, мягкие, как самый нежный батист. И лучшую шерсть таких сортов получают на черноземных равнинах, что лежат на северо-западе Нового Южного Уэльса и на юго-западе Квинсленда.

Казалось, после долголетних тяжких испытаний пришла заслуженная награда. Никогда еще Дрохеда не давала таких неслыханных доходов. Год за годом – миллионы фунтов стерлингов. Фиа подсчитывала и сияла от удовольствия. Боб нанял еще двух овчаров. Все шло бы как нельзя лучше, если б не эта напасть – кролики, они, как и прежде, оставались бичом пастбищ.

И на Главной усадьбе вдруг стало славно, как никогда. После того как все вокруг затянули сетками, в комнатах уже не было мух; а к сеткам все привыкли и уже не понимали, как без них можно было существовать. Конечно, не бог весть какое украшение, зато насколько эти сетки облегчили жизнь; к примеру, в самую жару прекрасно можно пообедать на свежем воздухе, на веранде, увитой густолистыми, шелестящими под ветром плетями глицинии.

Древесным лягушкам сетка тоже пришлась по вкусу. Маленькие, зеленые, с золотистым отливом, на цепких лапках они взбирались по наружной стороне сетки и застывали и подолгу важно и серьезно созерцали людей за столом. А потом вдруг какая-нибудь прыгнет, ухватит бабочку чуть ли не больше ее самой и опять сидит неподвижно, с полным ртом, из которого больше чем наполовину торчит и неистово трепещет жертва. Дэн

и Джастина с любопытством смотрели, как долго лягушка управляется со своей добычей – сидит и пресерьезно смотрит сквозь сетку и каждые десять минут понемногу заглатывает все больше. Насекомое удивляло живучестью, иной раз уже и кончики крыльев исчезли в лягушачьей пасти, а ножки все еще дергаются.

– Бр-р! Вот так участь! – смеялся Дэн. – Представляешь, ты еще наполовину живая, а другую половину уже кто-то переваривает.

Как и все в Дрохеде, маленькие О’Нилы рано пристрастились к чтению и словарем обладали богатым не по возрасту. Они росли живыми, смысленными, и все на свете им было интересно. Кому-кому, а им жилось совсем славно. Они умели ездить на породистых пони и, подрастая, получали лошадку покрупнее; они учились заочно и терпеливо готовили уроки на кухне за зеленым столом миссис Смит; играли в домике под перечным деревом; у них были свои любимцы – кошки, собаки и даже ручная ящерица гоанна, которая послушно ходила на поводке и знала свое имя. А главным любимцем был крошечный розовый поросенок, умница, ничуть не глупее собаки, по кличке Свинкин-Корзинкин.

В Дрохеде, вдали от городской скученности, дети почти никогда не болели, не знали никаких гриппов и простуд. Мэгги панически боялась детского паралича, дифтерии, всякой инфекции – вдруг что-нибудь такое громом с ясного неба поразит ее детей – и потому им делали все возможные прививки. И Дэн с Джестиной жили прекрасной здоровой жизнью, вдоволь было и упражнений для мускулов, и пищи для ума.

Когда Дэну минуло десять, а Джестине – одиннадцать, их отправили учиться в Сидней – Дэна, по традиции, в Ривервью-колледж, а его сестру – в Кинкоппелский пансион. Впервые Мэгги усадила их в самолет и не отрываясь смотрела, как они машут платками на прощание; оба побледнели, но храбро сохраняли на лицах спокойствие, а ведь им никогда еще не приходилось уезжать из дому. Ей отчаянно хотелось их проводить, своими глазами убедиться, что им хорошо на новом месте, но вся семья решительно запротестовала – и Мэгги покорилась. Все, начиная с Фионы и кончая Джимсом и Пэтси, считали, что малышам куда полезнее самостоятельность.

– Довольно тебе кудахтать над ними, – сурово сказала Фиа.

Но когда самолет взлетел, подняв тучу пыли, и начал взбираться в мерцающую знойную высь, Мэгги словно раздвоилась. Сердце разрывалось от разлуки с Дэном, но разлука с Джестиной была облегчением. В чувстве Мэгги к сыну не было двойственности: ведь он от природы такой веселый, спокойный и любящий, отвечает нежностью на

нежность так же естественно, как дышит. А Джастина – очаровательное, но и несносное чудовище. Ее поневоле тоже любишь, нельзя не любить – такая в этой девчонке сила, и внутренняя цельность, и уверенность в себе, и еще немало достоинств. Одна беда: она не принимает любви, как принимает Дэн, и ни разу не дала Мэгги высшей материнской радости – почувствовать, что дочери она нужна. Ни тебе дружелюбной общительности, ни легких шалостей, и убийственная манера обращаться со всеми, а главное, с матерью, холодно и надменно. Мэгги узнавала в дочери немало такого, что когда-то бесило ее в Люке О’Ниле, но Джастина по крайней мере не скупая. И на том спасибо.

Воздушная линия до Сиднея процветала, и все каникулы, даже самые короткие, дети могли проводить в Дрохеде. Но оба очень быстро освоились со школой и вошли во вкус новой жизни. После поездок домой Дэн всякий раз немного скучал, но Джастина чувствовала себя в Сиднее как рыба в воде, и, когда попадала в Дрохеду, ее все время тянуло назад в город. Отцы-иезуиты из Ривервью-колледжа, в восторге от Дэна, не могли им нахвалиться – не воспитанник, а чудо, первый в учении и в спорте. Кинкоппелских монахинь Джастина отнюдь не приводила в восторг – тех, у кого такой зоркий глаз и злой язык, обычно недолюбливают. Джастина была классом старше Дэна и училась, пожалуй, еще лучше, но первенствовала только в учении.

Номер «Сидней морнинг гералд» от 4 августа 1952 года оказался весьма примечательным. На первой странице, как правило, печатали только одну фотографию – наверху, на самой середине, как иллюстрацию к самой выдающейся новости. И в этот день в газете появился превосходный портрет Ральфа де Брикассара.

* * *

«Его святейшество папа Пий XII сегодня возвел в сан кардинала архиепископа Ральфа де Брикассара, который в настоящее время является помощником государственного секретаря в Ватикане.

Его высокопреосвященство Ральф Рауль де Брикассар долгое время был ревностным слугою католической церкви у нас в Австралии; он начал свою деятельность в июле 1919 года, едва приняв сан, и неутомимо трудился здесь вплоть до марта 1938-го, когда его призвали в Ватикан.

Кардинал де Брикассар родился 23 сентября 1893 года в Ирландии; он

– второй сын в семье, ведущей начало от барона Ранульфа де Брикассара, прибывшего в Англию со свитой Вильгельма Завоевателя. По семейной традиции кардинал избрал для себя духовное поприще. Семнадцати лет он поступил в духовную семинарию, а по рукоположении послан был в Австралию. Первые месяцы здесь он служил при ныне покойном епископе Майкле Клэбби, в Уиннемарской епархии.

В июне 1920 года он был переведен на пост священника в приход Джилленбоун, на северо-западе Нового Южного Уэльса. Позднее получил сан прелата и оставался в Джилленбоуне до декабря 1928 года. Затем стал личным секретарем его преосвященства архиепископа Дарка и, наконец, личным секретарем тогдашнего папского легата, его высокопреосвященства кардинала ди Контини-Верчезе. Произведен был в епископы. Когда же кардинал переведен был в Рим и началась его блистательная карьера в Ватикане, епископ де Брикассар, поставленный архиепископом, возвратился в Австралию и, в свою очередь, занял пост папского легата. Здесь он оставался важнейшим доверенным лицом Ватикана вплоть до перевода в Рим в 1938 году; с тех пор он необычайно возвысился в правящих сферах святой церкви. Ныне, в возрасте 58 лет, его считают одним из немногих деятелей, определяющих политику Ватикана.

Наш корреспондент беседовал вчера с некоторыми из бывших прихожан кардинала де Брикассара в Джилленбоуне. О нем здесь сохранились самые теплые воспоминания. В большинстве своем население этой богатой овцеводческой округи исповедует католическую веру.

«Преподобный отец де Брикассар основал в наших краях Общество книголюбов, когда был у нас пастырем, – сказал мистер Гарри Гоф, нынешний мэр Джилленбуна. – Это было, особенно по тем давним временам, весьма ценное начинание, которому оказывали щедрую помощь сначала миссис Мэри Карсон, а после ее кончины сам кардинал, никогда не забывавший о наших нуждах».

«Преподобный отец де Брикассар необыкновенно хорош собой, – сказала миссис Фиона Клири, нынешняя управительница Дрохеды, одной из крупнейших и самых процветающих овцеводческих ферм в Новом Южном Уэльсе. – Все годы в Джилли он был великой духовной опорой для своих прихожан, особенно у нас, в Дрохедке, которая, как вы знаете, принадлежит теперь католической церкви. Он помогал нам перегонять отары во время наводнения, приходил на помощь во время пожара – по крайней мере помогал хоронить погибших. Да, это во всех отношениях замечательный человек, и я ни в ком больше не встречала такого обаяния. Сразу видно было, что ему уготовано великое будущее. Разумеется, мы его

не забыли, хотя прошло уже больше двадцати лет с тех пор, как он нас покинул. Думаю, я не погрешу против истины, если скажу, что есть в наших краях люди, которым еще и сейчас очень его не хватает».

В дни войны преподобный де Брикассар, тогда еще архиепископ, был верным и стойким слугой его святейшества папы; как полагают, когда Италия оказалась в лагере врагов Германии, именно он убедил фельдмаршала Альберта Кессельринга объявить Рим открытым городом. Флоренция тщетно добивалась того же преимущества и лишилась многих ценностей, которые впоследствии ей были возвращены только потому, что Германия проиграла войну. В годы непосредственно после войны кардинал де Брикассар помог тысячам перемещенных лиц обрести новую родину и особенно много сил отдал, содействуя программе иммиграции в нашу страну.

Хотя кардинал де Брикассар родом ирландец и хотя он, видимо, не стремится, используя свое высокое положение, влиять на наши внутренние дела, нам кажется, Австралия по справедливости может считать этого замечательного человека до известной степени и своим сыном».

Мэгги вернула газету Фионе и невесело ей улыбнулась.

– Что ж, надо его поздравить, я так и сказала репортеру «Гералда». Только этого они ведь не напечатали? А твою хвалебную речь, я вижу, привели почти слово в слово. Ну и злой же у тебя язык, мама! По крайней мере понятно, в кого Джастина такая язва. Хотела бы я знать, у многих ли хватит ума прочесть между строк, куда ты тут метишь?

– У него-то уж наверное хватит, если газета попадется ему на глаза.

– Хотела бы я знать, помнит ли он нас, – вздохнула Мэгги.

– Можешь не сомневаться. Как-никак, он и теперь находит время самолично следить за делами Дрохеда. Конечно же, он нас помнит, Мэгги. Как бы он мог забыть?

– Да, правильно, Дрохеда. Шутка ли, от нас поступают такие доходы. Он, наверное, очень доволен. На аукционах наша шерсть идет по фунту стерлингов за фунт, в этом году мы за нее столько выручили, никакие золотые жилы столько не принесут. А еще говорят, золотое руно. Мы с одних только ягнят настригли больше чем на четыре миллиона фунтов.

– Не ехидничай, Мэгги, тебе это не идет, – сказала Фиа; последнее время она говорила с дочерью хоть и резковато, но не без уважения, а пожалуй, и не без нежности. – Согласись, нам живется недурно. Не забывай, деньги свои мы получаем, все равно, плохой ли выдался год или хороший. И разве он не выплатил Бобу премию в сто тысяч и всем нам еще

по пятьдесят? Если даже он завтра выгонит нас из Дрохеды, у нас хватит денег, чтобы купить Бугелу, хоть цена на землю сейчас и подскочила. А сколько он дает твоим детям? Тысячи и тысячи. Так что не будь к нему несправедлива.

– Но мои дети не знают, что он там для них делает, и знать не должны. Нет, пускай Дэн и Джастина растут с сознанием, что им надо самим пробивать себе дорогу в жизни, а не рассчитывают на милейшего благодетеля Ральфа Рауля, кардинала де Брикассара. Не угодно ли, он еще и Рауль! Самое норманнское имя, а?

Фиа поднялась, подошла к камину и швырнула первый лист «Гералда» в огонь. Ральф Рауль кардинал де Брикассар вздрогнул, подмигнул ей и обратился в пепел.

– Что ты станешь делать, если он вернется, Мэгги?

Мэгги презрительно фыркнула:

– Вернется он, как же.

– Все может быть, – загадочно сказала Фиа.

И в декабре он вернулся. Без шума, никого не предупредив, приехал на спортивной машине, сам вел ее всю дорогу от Сиднея. Ни слова о его приезде в Австралию не проникло в печать, никому в Дрохедде и не снилось, что он вдруг явится. Когда машина остановилась на посыпанной песком площадке сбоку от Большого дома, тут не было ни души и никто, очевидно, не слышал, как она подъехала, никто не вышел на веранду.

Всем своим существом, всем телом Ральф узнавал каждую милую дорожку от Джилли, вдыхал запахи кустарника, овец, переменчиво поблескивающих на солнце сухих трав. Кенгуру и эму, гала с розовыми подкрыльями и ящерицы гоанны; жужжат, гудят, трепещут крыльями мириады насекомых, потоками темной патоки пересекают дорожку муравьиные походные колонны; и повсюду – тучные сытые овцы. Как ему все это дорого, ведь в известном смысле этот мир и покой – воплощение всего, чем он дорожит. Минувшие годы словно бы ничего здесь ни на волос не переменили.

Вот только сетка от мух – это новость, но Ральф с усмешкой отметил про себя, что веранду, обращенную к Джилленбоунской дорожке, Фиа закрыть сеткой не позволила, затянута лишь выходящая на эту веранду окна. Что ж, правильно, ведь громадное полотнище мелкой проволочной сетки непоправимо изуродовало бы чудесный фасад в георгианском стиле. Интересно, сколько лет могут жить призрачные эвкалипты? Сажены здешних, должно быть, привезены были из глубины Мертвой пустыни восемьдесят лет назад. Верхние ветки бугенвиллеи гнутся под сплошной

массой медно-красных и лиловых цветов.

Уже лето, всего две недели осталось до Рождества, и розы Дрохеды в самом цвету. Розы повсюду – белые и розовые, чайные, кроваво-красные и алые, словно кардинальская сутана. Вьющиеся розы сплетаются с зелеными в эту пору ветвями глицинии, дремотно спокойные, белые и розовые, свисают с крыши веранды, закрывая проволочную сетку, любовно льнут к черным ставням второго этажа, тянут зеленые усики еще выше, к небу. Опоры громадных водяных цистерн теперь уже совсем скрыты этим цветущим покровом, не видны и сами цистерны. А больше всего роз одного цвета – нежно-розовых, с серебристым отливом. Пепел розы? Да, так называется этот цвет. Должно быть, их посадила Мэгги, конечно, Мэгги, больше никому.

Тут он услышал смех Мэгги и замер, застыл в ужасе, потом через силу двинулся в ту сторону, где звенел этот залиvistый смех. Так она смеялась, когда была еще маленькая. Вот это где! За огромным пышным кустом пепельных роз, возле перечного дерева. Ральф рукой отвел усыпанные розами ветви, голова кружилась от их аромата и от этого смеха.

Но нет, это не Мэгги – в густой зеленой траве сидит на корточках мальчик и дразнит крошечного розового поросенка, а тот вдруг нелепо насккивает на него, галопом кидается прочь и снова бочком, бочком к нему подбирается. Не замечая свидетеля, мальчик запрокинул золотистую голову и опять засмеялся. С незнакомых губ слетает смех Мэгги. Невольно кардинал отпустил ветки и, не замечая шипов, напрямик шагнул вперед. Мальчик – почти подросток, на вид ему можно дать лет двенадцать – четырнадцать – испуганно поднял глаза; поросенок взвизгнул, вздернул хвостик-закорючку и пустился наутек.

Мальчик – босой, почти обнаженный, в одних только старых шортах цвета хаки, очень загорелый, гладкая, чистая кожа чуть золотится; в гибком мальчишеском теле уже угадывается будущая сила: широко развернуты прямые плечи, мускулистые ноги с крепкими икрами, впалый живот, узкие бедра. Палевые, точно того же цвета, что выгоревшая на солнце трава Дрохеды, волосы длинноваты и мягко вьются, а глаза в неожиданно черных, небывало густых ресницах синие-синие. Как будто сбежал на землю очень юный ангел.

– Привет, – с улыбкой сказал мальчик.

– Привет, – отозвался кардинал Ральф, невозможно было устоять перед обаянием этой улыбки. – Кто ты?

– Я Дэн О’Нил, – сказал мальчик. – А вы кто?

– Меня зовут Ральф де Брикассар.

Дэн О'Нил. Так это сын Мэгги. Значит, она все же не ушла от Люка О'Нила, вернулась к нему и родила этого красивого паренька, который мог бы быть сыном его, Ральфа, не сочетай он прежде свою судьбу с церковью. А сколько лет ему было, когда он посвятил себя церкви? Он был не намного старше, не намного взрослее этого мальчика. Подожди он еще немного – и мальчик мог бы быть его сыном. Что за вздор, кардинал де Брикассар! Не посвяти ты себя церкви, ты остался бы в Ирландии, разводил бы лошадей и никогда не узнал бы своей судьбы, не знал бы ни Дрохеды, ни Мэгги Клири.

– Могу я вам чем-нибудь помочь? – вежливо спросил мальчик и поднялся; какая-то очень знакомая гибкая грация в его движениях, должно быть, и это от Мэгги.

– Твой отец дома, Дэн?

– Отец? – Тонко очерченные темные брови сдвинулись. – Нет, его нету. Он здесь не живет.

– А, понимаю. Ну а мама дома?

– Она поехала в Джилли, скоро вернется. А бабушка дома. Хотите ее видеть? Я вас провожу. – Синие-синие, васильковые глаза, устремленные на приезжего, вдруг распахнулись и снова наполовину скрылись под ресницами. – Ральф де Брикассар. Я что-то про вас слышал. О, вы – кардинал де Брикассар! Простите меня, святой отец! Я не хотел быть невежливым.

Хотя Ральф и сменил кардинальское облачение на белую рубашку, бриджи и сапоги для верховой езды, на пальце его и сейчас сверкал рубиновый перстень, который ему не полагалось снимать до самой смерти. Дэн О'Нил опустил на колени, тонкими руками взял тонкую руку кардинала и почтительно поцеловал перстень.

– Ничего, Дэн. Я приехал сюда не в качестве кардинала. Я здесь просто как друг твоей матери и твоей бабушки.

– Простите, святой отец, мне следовало сразу понять, как только вы назвали себя. Мы здесь часто про вас говорим. Но вы сказали это немного по-другому, и меня сбило имя Ральф. Мама будет очень рада вас видеть.

– Дэн, Дэн, где ты? – нетерпеливо позвал низкий, звучный, с обворожительной хрипотцой, голос.

Свисающие чуть не до земли ветви перечного дерева раздвинулись, из-под них, наклонясь, вышла девушка лет пятнадцати, порывисто выпрямилась. И Ральф мгновенно узнал эти необыкновенные глаза. Дочь Мэгги. А тонкое личико с резкими чертами – все в веснушках, до обидного не похоже на Мэгги.

– А, привет. Извините, я и не знала, что у нас гость. Меня зовут Джастина О’Нил.

– Джасси, это кардинал де Брикассар, – громко прошептал Дэн. – Поцелуй кольцо, скорее!

Слишком светлые, словно бы невидящие глаза сверкнули презрением.

– Ты совсем обалдел, святоша! – Она даже не потрудилась понизить голос. – Не стану я целовать кольцо, это негигиенично. И потом, откуда мы знаем, что это кардинал де Брикассар? По-моему, он похож на самого обыкновенного фермера. Точь-в-точь мистер Гордон.

– Да нет же, это кардинал! – настаивал Дэн. – Ну пожалуйста, Джасси, ну будь умницей! Я тебя очень прошу!

– Ладно, буду умницей, раз уж ты просишь. А кольцо все равно не поцелую, даже ради тебя. Это противно. Почему я знаю, кто его целовал до меня? Может, кто-нибудь с насморком?

– Тебе совсем не обязательно целовать мой перстень, Джастина. Я здесь на отдыхе, в данную минуту я не кардинал.

– Вот и хорошо, потому что, скажу вам честно, я неверующая, – невозмутимо заявила дочь Мэгги Клири. – Я проучилась четыре года у монахинь в Кинкоппеле и считаю, что вся эта болтовня о Боге – совершенная бредятина.

– Ты имеешь полное право не верить, – сказал кардинал Ральф, из всех сил стараясь держаться с такой же исполненной достоинства серьезностью, как эта девочка. – Можно мне пойти поговорить с вашей бабушкой?

– Конечно, – разрешила Джастина. – Проводить вас?

– Спасибо, не нужно. Я знаю дорогу.

– Вот и хорошо. – Она обернулась к брату, который по-прежнему во все глаза смотрел на кардинала. – Идем, Дэн, помоги мне. Да идем же!

Она больно стиснула его плечо, дернула, но Дэн стоял и смотрел вслед кардиналу, пока тот, высокий, прямой, не скрылся за кустами роз.

– Балда ты, Дэн, святоша несчастный! Ну что ты в нем такого увидел?

– Он кардинал, – сказал Дэн. – Ты только подумай! У нас в Дрохеде – настоящий живой кардинал!

– Кардиналы – князья церкви, – сказала Джастина. – Наверное, ты прав, в нашем доме это довольно редкое явление. Но он мне не нравится.

Где может быть Фиа, если не за своим письменным столом? Прямо с веранды Ральф шагнул в гостиную, но теперь для этого надо было открыть затянутую сеткой раму. Должно быть, Фиа услышала шаги, но продолжала писать, склонясь над столом, ее чудесные золотистые волосы густо

посеребрила седина. С трудом он припомнил, что ей, должно быть, уже семьдесят два, не меньше.

– Здравствуйте, Фиа, – сказал он.

Фиа подняла голову, и он увидел, что она изменилась, хотя и не понял сразу, в чем же перемена; он узнал прежнее отрешенное равнодушие, но было в ее лице и что-то еще. Словно она и смягчилась, и в то же время очерствела, стала не столь чужда человеческих чувств, но как-то наподобие Мэри Карсон. Уж эти владычицы Дрохеды! Неужели та же участь постигнет и Мэгги, когда настанет ее черед?

– Здравствуйте, Ральф, – сказала Фиона так, будто он приходил к ней каждый день. – Очень рада вас видеть.

– Я тоже рад вас видеть.

– А я и не знала, что вы в Австралии.

– Никто не знает. У меня около месяца отпуска.

– Погостите у нас, надеюсь?

– Где же еще? – Он обвел взглядом великолепную комнату, внимание его привлек портрет Мэри Карсон. – Право, Фиа, у вас прекрасный вкус, безупречный. Ваша гостиная не уступит красивейшим комнатам Ватиканского дворца. Черные овалы с розами на стенах – гениальная находка.

– Благодарю, вы очень любезны. Мы стараемся, в меру наших скромных сил. Мне-то больше нравится столовая; с тех пор, как вы побывали у нас в последний раз, я ее отделала заново. Белые, розовые и зеленые цвета. Звучит ужасно, но подождите, сами увидите. Впрочем, право, не понимаю, чего ради я так стараюсь. Ведь этот дом принадлежит вам, не так ли?

– Нет, Фиа, он не мой, пока есть на свете хоть один Клири, – негромко ответил Ральф.

– Очень утешительно. Да, что и говорить, с джиленбоунских времен вы изрядно преуспели. Видели статью в «Геральде» по поводу вашего нового повышения?

Ральф поморщился.

– Да, видел. Вы научились язвить, Фиа.

– Да, и притом получаю от этого удовольствие. Сколько лет я держала язык за зубами! И даже не понимала, как много теряю! – Она улыбнулась. – Мэгги поехала в Джилли, но скоро вернется.

С веранды вошли Дэн и Джастина.

– Бабушка, можно, мы возьмем лошадей и съездим к Водоему?

– Вы же знаете порядок. Ездить верхом можно только с маминого

разрешения. Прошу извинить, но так распорядилась мама. И как вы себя ведете? Подойдите, поздоровайтесь с гостем.

– Я с ними уже познакомился.

– Ах вот как.

Ральф улыбнулся Дэну:

– Я думал, ты учишься в Сиднее.

– Так ведь сейчас декабрь, святой отец. Летом нас отпускают на каникулы, на целых два месяца.

Слишком много лет прошло, он уже и забыл, что в Южном полушарии у детей самые длинные, самые счастливые каникулы приходятся на декабрь и январь.

– А вы долго у нас поживете, святой отец? – спросил Дэн, по-прежнему замороженно глядя на кардинала.

– Святой отец побудет у нас так долго, как только сможет, Дэн, – сказала бабушка. – Но, мне кажется, ему будет довольно утомительно слушать, как его все время величают святым отцом. Может быть, можно попроще? Хотя бы дядя Ральф?

– Дядя?! – воскликнула Джастина – Ты же знаешь, бабушка, чужих мы дядями не называем. Наши дяди – только Боб, Джек, Хьюги, Джимс и Пэтси. А он будет просто Ральф.

– Не груби, Джастина! Ты что, вдруг разучилась вести себя прилично? – строго спросила Фиа.

– Ничего страшного, Фиа. Мне, право, будет гораздо приятнее, если все станут называть меня просто Ральф, – поспешно вмешался кардинал де Брикассар. Почему она сразу так его невзлюбила, эта странная малышка?

– Я не могу! – ахнул Дэн. – Не могу я вас звать просто Ральфом!

Кардинал перешел комнату, положил руки на обнаженные смуглые плечи, улыбнулся, глядя сверху вниз на мальчика, синие глаза его в защищенной от солнца комнате казались очень яркими и смотрели очень по-доброму.

– Конечно, можешь, Дэн. Греха в этом нет.

– Пошли, Дэн, нам надо назад в наш домик, – приказала Джастина.

Кардинал Ральф и его сын обернулись к Фионе, разом посмотрели на нее.

– О Боже милостивый! – сказала Фиа. – Ступай, Дэн, беги играть в сад, слышишь? – Она хлопнула в ладоши. – Брысь!

Мальчик пустился бежать со всех ног, а Фиа нетерпеливо покосилась на свои гроссбухи. Ральфу стало ее жаль, и он сказал, что пройдет на кухню. Как мало изменилась Дрохеда! В дом, видно, даже электричество до

сих пор не провели. И по-прежнему густо пахнет воском и розами, что стоят повсюду в больших вазах.

Ральф долго сидел на кухне, разговаривал с миссис Смит, Минни и Кэт. Все они сильно постарели за эти годы, но почему-то старость оказалась им больше к лицу, чем Фионе. Они явно счастливы. Да, в этом все дело. По-настоящему, чуть ли не безоблачно счастливы. Бедная Фиа, она-то отнюдь не счастлива. И ему страстно захотелось скорее увидеть Мэгги – а как она, она-то счастлива?

Но когда он вышел из кухни, Мэгги еще не вернулась, и, чтобы убить время, он неторопливо пошел к реке. Как тихо, спокойно старое кладбище Дрохеды, и на стене склепа шесть бронзовых табличек, те же, что и много лет назад. Пусть и его тоже похоронят здесь, надо не забыть распорядиться на этот счет, как только он вернется в Рим. А вот неподалеку от склепа появились две новые могилы, умер старый садовник Том, и еще жена одного овчара, который служит в Дрохеде с 1946 года. Немалый срок, своего рода рекорд. По мнению миссис Смит, этот овчар оттого и не уходит, что здесь могила жены. А зонтик с колокольчиками на могиле повара-китайца за долгие годы совсем выгорел под яростным австралийским солнцем – помнится, был он такой великолепный, ярко-красный, но постепенно выцветал, менялись оттенки, и теперь он совсем блеклый, чуть розоватый, почти как пепел розы. «Мэгги, Мэгги. После меня ты все-таки вернулась к нему, родила ему сына».

Очень жарко; чуть дохнул ветерок, всколыхнул ветви плакучих ив на берегу, тоненько зазвенели крохотные жестяные колокольцы на китайском зонтике, завели свою скорбную песенку: Хи Синг, Хи Синг, Хи Синг. «Чарли с Тэнкстенда, хороший был парень». Эта надгробная надпись тоже поблекла, ее уже почти не разобрать. Что ж, все правильно. Кладбища и должны вновь погружаться в материнское лоно земли, волны времени понемногу унесут в пучину их людской груз, и под конец исчезнут все следы, помнить и вздыхать будет один лишь ветер. Нет, не желает он после смерти лежать в каком-нибудь ватиканском мавзолее, среди таких же, как он сам. Пусть его похоронят здесь, среди людей, которые жили настоящей жизнью.

Он обернулся и встретил тусклый взгляд мраморного ангела. Ральф приветственно махнул ему рукой. Потом посмотрел в сторону Большого дома. И вот по лугу к нему идет она, Мэгги. Тоненькая, золотистая, в бриджах и мужской белой рубашке, такой же, как на нем самом, серая мужская фетровая шляпа сдвинута на затылок, ноги обуты в светлокоричневые сапожки. Она похожа на мальчика, на своего сына,

которому бы следовало быть и его, Ральфа, сыном. Он ведь был мужчиной, но когда и его тоже заруют в эту землю, в доказательство не останется после него ни одного живого существа.

Она подошла, перешагнула через низенькую белую ограду, так близко подошла, что он уже ничего не видит – одни глаза ее, серые, полные света глаза, все такие же прекрасные, и все та же у них власть над его сердцем. Ее руки обвили его шею, опять он коснулся своей судьбы, словно никогда с ней не расставался, опять под его губами не во сне, а наяву ее живые теплые губы; так долго, так давно он этого жаждал. Вновь он причастился святых тайн – совсем иное причастие, темное, как сама земля, не имеющее никакого касательства к небесам.

– Мэгги, Мэгги, – сказал он, держа ее в объятиях, зарываясь лицом в ее волосы, широкополая шляпа ее упала на траву.

– Наверное, все остальное не важно, правда? – сказала она, закрыв глаза. – Ничто не меняется, все по-старому.

– Да, ничто не меняется. – Он и сам в это верил.

– Ты в Дрохеде, Ральф. Помни, в Дрохеде ты принадлежишь не Богу, здесь ты мой.

– Да, знаю. Согласен. Но я приехал. – Он опустился на траву, притянул ее, усадил рядом. – Зачем, Мэгги, зачем?

– Что зачем? – Она гладила его по волосам, по-прежнему густым и красивым, только седины в них теперь больше, чем у Фионы.

– Зачем ты вернулась к Люку? И родила ему сына? – спросил он ревниво.

Душа ее глянула на него из сияющих серых зеркал, но ее мыслей они не выдали.

– Он меня заставил, – мягко сказала Мэгги. – Это случилось только раз. Но я не жалею, ведь теперь у меня есть Дэн. Дэн стоит всего, что мне пришлось ради него пережить.

– Прости, я не имел права спрашивать. Я ведь с самого начала отдал тебя Люку, правда?

– Да, верно, отдал.

– Чудесный мальчик. Очень он похож на Люка?

Мэгги затаенно улыбнулась, выдернула какую-то травинку, потом коснулась ладонью груди Ральфа под рубашкой.

– Да нет, не очень. Мои дети не слишком похожи ни на меня, ни на Люка.

– Мне они оба милы, потому что они твои.

– Ты все такой же чувствительный. Годы тебя красят, Ральф. Я знала,

что так будет, я надеялась увидеть тебя таким. Уже тридцать лет я тебя знаю! А кажется, пронеслось тридцать дней.

– Тридцать лет? Неужели так долго?

– Да, ничего не поделаешь, милый, ведь мне уже сорок один. – Мэгги поднялась. – Меня послали пригласить тебя в дом. Миссис Смит устраивает роскошное чаепитие в твою честь, а потом, когда станет прохладнее, нас накормят отлично поджаренным окороком с кучей шкварок.

Ральф медленно пошел с ней к дому.

– Твой сын смеется совсем как ты, Мэгги. Его смех – первое, что я услышал здесь, в Дрохеде. Я думал, это смеешься ты, пошел искать – и вместо тебя увидел твоего сына.

– Значит, он первый, кого ты встретил в Дрохеде.

– Да, очевидно.

– Ну и что ты о нем скажешь, Ральф? – с жадным нетерпением спросила Мэгги.

– Он мне очень понравился. Как могло быть иначе? Ведь он твой сын. Но он сразу пришелся мне по душе, гораздо больше, чем твоя дочь. И я ей тоже не понравился.

– Ну, Джастина хоть и моя дочь, но первоклассная стерва. Под старость я выучилась ругаться, главным образом по ее милости. И по твоей отчасти. И отчасти из-за Люка. И отчасти из-за войны. Чудно, как все одно за другое цепляется.

– Ты очень изменилась, Мэгги.

– Разве? – Мягкие пухлые губы дрогнули в улыбке. – Нет, не думаю. Просто Великий Северо-Запад меня потрепал, все лишнее слетело, будто семь покрывал Саломеи. Или шелуха с луковицы – наверное, так бы выразилась Джастина. Эта девочка никакой поэзии не признает. Нет, Ральф, я все та же прежняя Мэгги, только откровенности побольше.

– Ну, может быть.

– А вот ты и правда переменялся, Ральф.

– В чем же, моя Мэгги?

– Похоже, ты поднялся на пьедестал, а он качается от каждого ветерка, да и вид с этой высоты тебя разочаровал.

– Так и есть. – Ральф беззвучно засмеялся. – А ведь я когда-то опрометчиво заявил, что ты очень обыкновенная! Беру свои слова обратно. Ты единственная на свете, Мэгги! Единственная и неповторимая!

– Что случилось?

– Не знаю. Может быть, я сделал открытие, что святая церковь –

колосс на глиняных ногах? Может быть, я продался за чечевичную похлебку? Гоняюсь за призраками? – Он сдвинул брови, поморщился, словно от боли. – Вот, пожалуй, в этом вся суть. Я и сам – только собрание избитых фраз. Это Ватикан виноват, там все очерствело и одряхлело, там нет жизни.

– А я была живая, настоящая, но ты этого не понимал.

– Но поверь, я не мог поступить иначе. Я знал, какую надо бы выбрать дорогу, но не мог по ней пойти. С тобой я, наверное, стал бы лучше как человек, хотя и не поднялся бы столь высоко. Но я просто не мог иначе, Мэгги, не мог. Как же мне объяснить, чтобы ты поняла!

Она ласково погладила его обнаженную до локтя руку.

– Ральф, милый, я понимаю. Знаю, все знаю... в каждом из нас есть что-то такое – хоть кричи, хоть плачь, а с этим не совладать. Мы такие как есть, и ничего тут не поделаешь. Знаешь, как та птица в старой кельтской легенде: бросается грудью на терновый шип и с пронзенным сердцем исходит песней и умирает. Она не может иначе, такая ее судьба. Пусть мы и сами знаем, что оступаемся, знаем даже раньше, чем сделали первый шаг, но ведь это сознание все равно ничему не может помешать, ничего не может изменить, правда? Каждый поет свою песенку и уверен, что никогда мир не слышал ничего прекраснее. Неужели ты не понимаешь? Мы сами создаем для себя тернии и даже не задумываемся, чего нам это будет стоить. А потом только и остается терпеть и уверять себя, что мучаемся не напрасно.

– Вот этого я и не понимаю. Мучений. – Он опустил глаза, посмотрел на маленькую руку – она так нежно поглаживала его по руке, и от этого так нестерпимо больно. – Зачем эти мучения, Мэгги?

– Спроси Господа Бога, Ральф, – сказала Мэгги. – Он-то знаток по части мучений, не так ли? Это он сотворил нас такими. Он сотворил наш мир. Стало быть, он сотворил и мучения.

Был субботний вечер, а потому Боб, Джек, Хьюги, Джимс и Пэтси съехались к ужину. Наутро должен был приехать отец Уотти отслужить мессу, но Боб позвонил ему и сказал, что никого не будет дома. Невинная ложь ради того, чтобы приезд кардинала не получил огласки. Пятеро братьев Клири с годами стали больше прежнего похожи на Пэдди – неречистые, стойкие и выносливые, как сама земля. А как они любят Дэна! Глаз с него не сводят, даже проводили взглядами до дверей, когда он пошел спать. Сразу видно, они только и мечтают о той поре, когда он станет постарше и вместе с ними начнет хозяйничать в Дрохеде.

Кардинал Ральф понял также, почему так враждебно смотрит на него Джастина. Дэн всей душой потянулся к нему, ловит каждое его слово, не отходит ни на шаг, и сестра попросту ревнует.

Когда дети ушли наверх, Ральф обвел глазами оставшихся – пятерых братьев, Мэгги, Фиону.

– Оставьте-ка на минуту свои бумаги, Фиа, – сказал он. – Идите сюда, посидите с нами. Я хочу поговорить с вами со всеми.

Фиа все еще держалась прямо, сохранила и осанку, и фигуру, лишь не такая высокая стала грудь и не такая тонкая талия – она не располнела, просто сказывался возраст. Молча села она в глубокое, обитое кремовой тканью кресло напротив кардинала, Мэгги сидела рядом, братья, плечом к плечу, тут же, на одной из мраморных скамей.

– Это касается Фрэнка.

Имя словно повисло над ними в воздухе, отдалось дальним эхом.

– Что касается Фрэнка? – спокойно спросила Фиа.

Мэгги опустила вязанье на колени, взглянула на мать, потом на кардинала. Сил нет ни минуты больше выносить это спокойствие.

– Говорите же, Ральф, – поспешно сказала она.

– Фрэнк провел в тюрьме почти тридцать лет, вы понимаете, что это такое? – сказал де Брикассар. – Я знаю, мои помощники извещали вас о нем, как было условлено, но я просил их не доставлять вам лишних огорчений. Право, не вижу, что пользы было бы для Фрэнка или для вас, если бы вы знали во всех тягостных подробностях, как безрадостно и одиноко ему жилось, ведь тут никто из нас ничем не мог помочь. Я думаю, его бы выпустили еще несколько лет назад, но в свои первые годы в гоулбернской тюрьме он заслужил дурную славу: слишком он был буйный, неукротимый. Даже во время войны, когда иных заключенных отпустили на фронт, бедняге Фрэнку в этом отказали.

Фиа подняла голову.

– Такой у него нрав, – по-прежнему спокойно сказала она.

Ральф помолчал, казалось, он не знает, как продолжать, и, пока он подыскивал нужные слова, все смотрели на него со страхом и надеждой, но не за Фрэнка они тревожились.

– Должно быть, вы недоумеваете, что после стольких лет привело меня в Австралию, – заговорил наконец кардинал, не глядя на Мэгги. – Знаю, я не всегда должным образом заботился о том, как складывается ваша жизнь. Еще с тех дней, когда я впервые познакомился с вашей семьей, я думал больше о себе, прежде всего о себе. А когда святейший папа в награду за мои труды на благо церкви удостоил меня кардинальской мантии, я

спросил себя: что могу я сделать для семейства Клири, чем доказать, что судьбы их я принимаю близко к сердцу. – Ральф перевел дух, глаза его были прикованы не к Мэгги, но к Фионе. – Я вернулся в Австралию, чтобы сделать все, что в моих силах, для Фрэнка. Помните, Фиа, что я вам говорил, когда умерли Пэдди и Стюарт? Двадцать лет прошло, а я все не мог забыть, какие у вас тогда были глаза. Такая живая душа, такая сила духа загублена.

– Верно, – вырвалось у Боба, он неотрывно смотрел в лицо матери. – Это верно.

– Сейчас Фрэнка условно освобождают, – сказал де Брикассар. – Только этим я и мог доказать вам, как близко к сердцу я все принимаю.

Если он надеялся, что во тьме, в которую долгие годы погружена была Фиа, разом вспыхнет ослепительный свет, его ждало разочарование: сначала замерцала лишь слабая искорка, быть может, под гнетом прожитой жизни ей никогда уже по-настоящему и не разгореться. Но таким великолепным, неудержимым светом засияли глаза сыновей, что Ральф понял – он живет не напрасно, подобного чувства он не испытывал со времен войны, когда всю ночь проговорил с юным немецким солдатом, носящим необыкновенно громкое, звучное имя.

– Спасибо вам, – сказала Фиа.

– Вы примете его, если он вернется в Дрохеду? – спросил Ральф братьев Клири.

– Здесь его дом, где же еще ему быть? – сказал Боб, как говорят о том, что само собой разумеется.

Все согласно закивали, только Фиа словно поглощена была чем-то, видимым ей одной.

– Фрэнк стал совсем другой, – мягко продолжал Ральф. – Прежде чем приехать сюда, я побывал в Гоулберне, сказал, что его выпускают, и дал понять, что в Дрохеде все давным-давно знают, где он и почему. Он не был ни возмущен, ни огорчен, по одному этому вы можете понять, как сильно он изменился. Он только... признателен. И очень хочет опять увидеть всех родных, особенно вас, Фиа.

– Когда его выпускают? – спросил Боб и откашлялся. Видно было: он и рад за мать, и опасается – что-то принесет им возвращение Фрэнка.

– Через неделю или две. Он приедет вечерним почтовым. Я предлагал ему лететь, но он сказал, что предпочитает приехать поездом.

– Мы с Пэтси его встретим, – с жаром вызвался Джимс, но тотчас разочарованно прибавил: – Ох, мы же не знаем его в лицо!

– Нет, я сама его встречу, – сказала Фиа. – Я поеду одна. Не такая уж я

дряхлая старуха, вполне могу довести машину до Джилли.

– Мама права, – решительно вмешалась Мэгги, перебивая братьев, которые попытались было хором запротестовать. – Пускай мама одна его встречает. Ей надо первой его увидеть.

– Ну, мне нужно еще поработать, – хмуро сказала Фиа, поднялась и отошла к письменному столу.

Пятеро братьев встали разом, как один человек. Боб старательно зевнул.

– А нам пора спать, так я полагаю, – сказал он. Потом застенчиво улыбнулся Ральфу: – Утром вы отслужите мессу, а мы послушаем, прямо как в прежние времена.

Мэгги сложила вязанье и поднялась.

– Я тоже иду спать, Ральф. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, Мэгги. – Он проводил ее взглядом, потом обернулся к Фионе, которая уже склонилась над письменным столом: – Спокойной ночи, Фиа.

– Что? Вы мне? Простите, я не слышала.

– Я сказал, спокойной ночи.

– А-а... Спокойной ночи, Ральф.

Ему не хотелось подниматься наверх сразу вслед за Мэгги.

– Я, пожалуй, немного пройдусь перед сном. Знаете что, Фиа?

– Да? – рассеянно уронила она.

– Вам ни на минуту не удалось меня провести.

Она презрительно фыркнула, жутковато прозвучал этот короткий смешок.

– Вот как? Не знаю, не знаю.

Поздний час, небо полно звезд. Южные звезды свершают свой путь в вышине. Он навсегда их утратил, а они все те же, слишком далекие, они не греют, недостижимые – не утешают. Они ближе к Богу, что затерялся меж ними неуловимым облачком пара. Долго стоял Ральф под звездами, запрокинув голову, слушал шепот ветра в листве деревьев, улыбался.

Ему не хотелось проходить мимо Фионы, и он поднялся наверх по лестнице в другом крыле дома; а ее лампа все горела, темный силуэт склонился над письменным столом – она еще работала. Бедная Фиа. Как страшно ей, наверное, сейчас лечь в постель, но, быть может, когда Фрэнк будет уже дома, ей полегчает. Быть может...

Наверху Ральфа оглушило глубокой тишиной; для тех, кому вздумается бродить среди ночи, горела на столике у окна маленькая керосиновая лампа; в окно залетал ночной ветерок, парусом вздувал

занавески, и слабое пламя вздрагивало под хрустальным абажуром. Ральф прошел мимо, под ногами лежал плотный ковер, и шаги были неслышны.

Дверь Мэгги оказалась распахнутой, оттуда в коридор тоже падал свет; мгновение Ральф стоял на пороге, заслоняя свет, потом шагнул в комнату, притворил и запер за собой дверь. Мэгги в свободном халатике сидела у окна, глядя в темноту, но тотчас повернула голову и смотрела, как он вошел и сел на край кровати. Потом медленно поднялась, подошла.

– Дай-ка я помогу тебе снять сапоги. Вот потому я никогда и не езжу в высоких. Самой их не снять без рожка, а от рожка хорошая обувь портится.

– Ты нарочно носишь этот цвет, Мэгги?

– Пепел розы? – Она улыбнулась. – Это всегда был мой любимый цвет. И он подходит к моим волосам.

Он оперся на ее плечо, и она стянула с него сапог, потом другой.

– Так ты не сомневалась, что я к тебе приду, Мэгги?

– Я же тебе сказала. В Дрохеде ты мой. Если б ты не пришел, будь уверен, я сама бы пришла к тебе.

Мэгги через голову стянула с него рубашку, на минуту ладонь ее с чувственным наслаждением легла на его обнаженную спину; потом она отошла, погасила свет, а Ральф повесил свою одежду на спинку стула. Он слышал ее движения в темноте, зашелестел сброшенный халатик. «А завтра утром я стану служить мессу. Но до утра еще далеко, и волшебства в службе давно не осталось. А сейчас – только ночь и Мэгги. Желанная. И это тоже – святое причастие».

* * *

Дэн был разочарован.

– Я думал, вы наденете красную сутану! – сказал он.

– Иногда я ее надеваю, Дэн, но только если служу мессу у себя во дворце. А когда я не в Ватикане, надеваю черную сутану и только препоясываюсь красным, вот как сейчас.

– У вас там и правда дворец?

– Да.

– И там всюду зажигают свечи?

– Да, но ведь их и в Дрохеде зажигают.

– Ну, в Дрохеде... – недовольно повторил Дэн. – Уж конечно, нашим до тех далеко. Вот бы мне увидеть ваш дворец и вас в красной сутане.

Кардинал де Брикассар улыбнулся:

– Как знать, Дэн, может быть, когда-нибудь и увидишь.

Странное выражение затаилось в глазах у этого мальчика, словно он всегда смотрит откуда-то издалека. Оборачиваясь к слушателям во время мессы, Ральф заметил – это странное выражение стало еще явственнее, но не узнал его, только почувствовал что-то очень знакомое. Ни один человек на свете, будь то мужчина или женщина, не видит себя в зеркале таким, каков он на самом деле.

К Рождеству в Дрохеде, как, впрочем, и на каждое Рождество, ждали в гости Людвиг и Энн Мюллер. Все в доме готовились отпраздновать этот день беззаботно и весело, как не бывало уже многие годы; Минни с Кэт за работой довольно немзыкально напевали, пухлое лицо миссис Смит поминутно расплывалось в улыбке, Мэгги молчаливо предоставила Дэна в распоряжение Ральфа, даже Фиа словно повеселела и не все время сидела, точно прикованная, за письменным столом. Мужчины под любым предлогом старались теперь ночевать дома, потому что вечерами, после позднего ужина, в гостиной не смолкали оживленные разговоры, и миссис Смит с удовольствием угощала на ночь глядя поджаренным хлебом с сыром, сдобными, с пылу с жару, лепешками и плюшками с изюмом. Ральф протестовал – слишком сытно его кормят, как бы не растолстеть – но за первые же три дня самый воздух Дрохеды, ее трапезы и ее обитатели преобразили его, и он уже не казался таким изможденным и измученным, каким сюда приехал.

Четвертый день выдался очень жаркий. Ральф с Дэном поехали пригнать с выгона одну из отар, Джастина мрачно укрылась одна в убежище под перечным деревом, а Мэгги прилегла отдохнуть на веранде. Ее разморило, во всем теле и на душе – блаженная легкость. Женщина может прекрасно без этого обходиться годами, но как это славно, когда с тобой – тот, единственный. В часы, когда с ней Ральф, трепетно живет все ее существо, неприкосновенна лишь та ее часть, которая принадлежит Дэну; но вот беда, когда с ней Дэн, трепетно живет все ее существо, кроме той части, что принадлежит Ральфу. И лишь когда они с ней оба сразу, вот как теперь, она поистине живет полной жизнью. Что ж, очень понятно. Дэн – ее сын, но Ральф – ее возлюбленный.

Только одна тень омрачает ее счастье – Ральф ничего не понял. И она молчит, не желая выдать тайну. Если он не видит сам, чего ради ему говорить? Чем он это заслужил? Как мог он хоть на минуту вообразить, будто она по доброй воле вернулась тогда к Люку? Нет, эта капля переполнила чашу. Не заслуживает он, чтобы она открыла ему правду, если

мог так о ней подумать. В иные минуты она чувствовала на себе насмешливый взгляд матери, но в ответ смотрела в эти светлые, чуть поблекшие глаза со спокойным вызовом. Фиа понимает, она-то все понимает. Понимает, что есть во всем этом и доля ненависти, обида, желание отплатить за долгие одинокие годы. Вечно этот Ральф де Брикассар гонялся за призраками, за сияющей радугой, за луной с неба – так что же, поднести ему самый прекрасный, самый лучезарный подарок – сына? С какой стати? Пускай остается нищим. Пускай даже не знает, как горька его утрата.

Раздались телефонные звонки – условный вызов Дрохеды; Мэгги лениво прислушивалась, потом спохватилась, что матери, видно, нет поблизости, нехотя встала и подошла.

– Пожалуйста, миссис Фиону Клири, – попросил мужской голос.

Мэгги позвала ее, и Фиона взяла трубку.

– Фиона Клири у телефона, – сказала она и минуту-другую молча стояла и слушала, кровь медленно отливала от ее лица, и оно стало какое-то маленькое, беззащитное, как в те уже далекие дни после гибели Пэдди и Стюарта. – Благодарю вас, – сказала она и повесила трубку.

– Что там такое, мама?

– Фрэнк освободили. Он приезжает сегодня, сиднейским ночным почтовым. – Фиа посмотрела на часы. – Уже третий час, мне скоро надо ехать.

– Дай, я поеду с тобой, – предложила Мэгги; когда сама так счастлива, нестерпимо видеть мать огорченной, а ведь эта встреча уж наверно несет ей не только радость.

– Нет, Мэгги, я справлюсь одна. Присмотри за домом, и подождите нас с ужином.

– А ведь это замечательно, что Фрэнк возвращается как раз на Рождество, правда, мама?

– Да, – сказала Фиа, – замечательно.

Мало кто теперь ездил ночным почтовым, если можно было лететь, и когда поезд, высаживая на захолустных станциях и полустанках по нескольку пассажиров, больше все второго класса, с пыхтеньем одолел шестьсот миль от Сиднея до Джилли, в нем почти уже никого не осталось.

Начальник станции был шапочно знаком с миссис Клири, но ему и в голову не пришло бы первым с ней заговорить, он только издали смотрел, как она спустилась по деревянным ступенькам с моста, перекинутого над путями, и одиноко застыла на перроне. Не молоденькая, а элегантная, подумал он; модные платье и шляпа и туфли на высоком каблуке. Еще

стройная, и морщин на лице не много для ее возраста; вот что значит богатая фермерша, легко ей живется, от легкой жизни женщины не стареют.

Потому-то и Фрэнк быстрее признал мать в лицо, чем она его, хотя сердцем она мгновенно его узнала. Фрэнку было уже пятьдесят два, и ту пору, когда миновала молодость, и почти все зрелые свои годы он провел вдали от дома. И вот он стоит под ярким джиленбоунским солнцем, очень бледный и худой, почти костлявый; волосы сильно поредели, лоб залысый; мешковатый костюм висит на сухопаром теле, в котором, несмотря на малый рост, еще угадывается сила; красивые руки с длинными пальцами стиснули поля серой фетровой шляпы. Он не сутулится и не выглядит больным, но вот стоит, беспомощно вертит в руках шляпу и, видно, не ждет, что его встретят, и не знает, что делать дальше.

Фиа, сдержанная, спокойная, быстро прошла по перрону.

– Здравствуй, Фрэнк.

Он поднял глаза, когда-то они сверкали таким живым, жарким огнем. Теперь с постаревшего лица смотрели совсем другие глаза. Погасшие, покорные, безмерно усталые. Они устремились на Фиону, и странен стал этот взгляд – страдальческий, беззащитный, полный мольбы, словно взгляд умирающего.

– Ох, Фрэнк! – Фиона обняла его, прижала голову сына к своему плечу, укачивая, как маленького. – Ну, ничего, ничего, ничего, – сказала она еще тише, еще нежнее. – Ничего.

* * *

Поначалу он сидел в машине молча, понуро, но «роллс-ройс», набирая скорость, вырвался из города, и вот уже Фрэнк стал с интересом поглядывать в окно.

– С виду тут все по-старому, – прошептал он.

– Надо полагать. В наших краях время идет медленно.

По гулкому дощатому мосту переехали жалкую мутную речонку, она совсем обмелела, между бурными лужицами обнажилась галька на дне, путаница корней, по берегам клонились плакучие ивы, кругом на каменистых пустошах повсюду вставали эвкалипты.

– Баруон, – сказал Фрэнк. – Я и не думал, что когда-нибудь опять его увижу.

За машиной клубилась туча пыли, впереди по травянистой, без

единого дерева равнине дорога убегала вдаль, такая прямая, будто ее прочертили по линейке, изучая законы перспективы.

– Это новая дорога, мама? – Он отчаянно искал, о чем бы можно поговорить, чтобы все казалось просто и естественно.

– Да, ее провели от Джилли до Милпаринки сразу после войны.

– Покрыли бы асфальтом, а то что же, оставили пыль и грязь, как на старом проселке.

– А зачем нужен асфальт? Мы тут привыкли глотать пыль, и подумай, во что бы это обошлось – уложить такое прочное полотно, чтобы выдержало нашу грязь. Дорога совсем прямая, никаких петель, подъемы и спуски содержатся в порядке, и она избавляет нас от тринадцати ворот из двадцати семи. От Джилли до Главной усадьбы приходится проезжать только четырнадцать, и ты сейчас увидишь, что мы с ними сделали, Фрэнк. Теперь уже незачем вылезать перед каждым воротами, открывать и опять закрывать.

«Роллс-ройс» въехал на пандус перед стальными воротами, и они неторопливо поднялись; машина проскользнула под этой металлической шторой, и, едва успела отъехать на несколько шагов, штора снова опустилась.

– Чудеса, да и только! – сказал Фрэнк.

– Мы первые на всю округу поставили автоматические ворота, но, конечно, только от милпаринкской дороги до Главной усадьбы. Ворота на выгонах и сейчас надо открывать и закрывать вручную.

– Наверное, тому умнику-изобретателю до смерти надоело канителиться с простыми воротами, вот он и придумал автоматические, а? – усмехнулся Фрэнк.

Это был первый робкий проблеск оживления, но потом он снова умолк; мать не хотела его торопить и продолжала сосредоточенно вести машину. Миновали последние ворота, въехали на Главную усадьбу.

– Я и забыл, как тут хорошо! – ахнул Фрэнк.

– Это наш дом, – сказала Фиа. – Мы о нем заботимся.

Она отвела машину к гаражу, потом они с Фрэнком пошли обратно к дому, он нес свой чемоданчик.

– Как тебе удобнее, Фрэнк, – хочешь комнату в Большом доме или поселишься отдельно, в одном из тех, что для гостей? – спросила Фиа.

– Спасибо, лучше отдельно. – Фрэнк поднял на мать погасшие глаза. – Приятно, что можно будет побыть одному, – пояснил он. И никогда больше ни словом не упоминал о том, как ему жилось в тюрьме.

– Да, я думаю, так тебе будет лучше, – согласилась Фиа, идя впереди

Фрэнка к себе в гостиную. – В Большом доме сейчас полно народу, приехал кардинал, у Дэна и Джастины каникулы, послезавтра на Рождество приезжают Людвиг и Энн Мюллер.

Фиа потянула шнурок звонка – знак, чтобы подавали чай, – и неспешно пошла по комнате, зажигая керосиновые лампы.

– Мюллеры? – переспросил Фрэнк.

Фиа как раз вывертывала фитиль; не кончив, обернулась, посмотрела на сына.

– Много времени прошло, Фрэнк. Мюллеры – старые друзья Мэгги. – Прибавила огня в лампе и села в свое глубокое кресло. – Через час ужин, но сначала мы с тобой выпьем по чашке чаю. За дорогу я наглоталась пыли, совсем в горле пересохло.

Фрэнк неловко сел на краешек обитой кремовым шелком тахты, почти с благоговением оглядел комнату.

– Все стало совсем не так, как было при тетушке Мэри.

Фиа улыбнулась.

– Надо думать, – сказала она.

Тут вошла Мэгги, и оказалось, освоиться с тем, что она уже не малышка Мэгги, а взрослая женщина, гораздо труднее, чем увидеть, как постарела мать. Сестра обнимала и целовала его, а Фрэнк отвернулся, съезжился в своем мешковатом пиджаке и поверх сестриного плеча растерянно смотрел на мать; Фиона ответила взглядом, который говорил: ничего, подожди немного, скоро все станет проще. А через минуту, когда он все еще искал какие-то слова, которые можно бы сказать этой незнакомой женщине, вошла дочь Мэгги – высокая, худенькая, чопорно села, крупными руками перебирая складки платья, оглядела всех по очереди очень светлыми глазами. А ведь она старше, чем была Мэгги, когда он сбежал из дому, подумал Фрэнк. Потом вошли кардинал и сын Мэгги – красивый мальчик, лицо спокойное, даже холодноватое; подошел к сестре и сел подле нее на пол.

– Ужасно рад вас видеть, Фрэнк. – Кардинал де Брикассар крепко пожал ему руку, потом обернулся к Фионе, приподнял левую бровь: – Чай? Прекрасная мысль!

Все вместе, впятером, вошли братья Клири, и вот это было тяжело, они-то ничего ему не простили. Фрэнк знал почему: слишком жестокую рану он нанес матери. Но какими словами хоть что-то им объяснить, как рассказать о своей боли и одиночестве, как просить прощения – этого он не знал. И ведь по-настоящему важно только одно – мама, а она никогда не думала, что его нужно за что-то прощать.

Не кто-нибудь, а кардинал де Брикассар старался, чтобы вечер прошел гладко, поддерживал беседу за столом и после, когда опять перешли в гостиную, с непринужденностью истинного дипломата болтал о пустяках и особенно заботился о том, чтобы в общий разговор втянуть и Фрэнка.

– Я все хотел спросить, Боб, куда подевались кролики? Нор кругом без числа, но я еще не видел ни одного кролика.

– Кролики все передохли, – сказал Боб.

– Передохли?

– Ну да, от какой-то штуки, которая называется миксоматоз. К сорок седьмому году кролики заодно с той долгой сушью нас, можно сказать, прикончили, земля во всей Австралии уже ничего не давала. Хоть караул кричи, – оживленно продолжал Боб, он рад был поговорить о чем-то таком, что Фрэнка не касается.

Но тут Фрэнк нечаянно еще больше подогрел враждебность брата.

– А я не знал, что дело уж так плохо, – вставил он и выпрямился на стуле; он надеялся, что кардинал будет доволен этой крупницей его участия в беседе.

– Ну, я ничего не преувеличиваю, можешь мне поверить! – отрезал Боб: с какой стати Фрэнк вмешивается, он-то почему знает?

– А что же случилось? – поспешно спросил де Брикассар.

– В Австралийском обществе научных и технических исследований вывели какой-то вирус и в позапрошлом году начали в штате Виктория опыты, взялись заражать кроликов. Уж не знаю, что за штука такая вирус, вроде микробов, что ли. Этот называется миксоматозный. Сначала зараза не очень распространилась, хотя кролики, которые заболели, все передохли. А вот через год после тех первых опытов как пошло косить, думают, эту штуку переносят москиты, и шафран тоже как-то помогает. Ну, и кролики сталидохнуть миллионами, как метлой вымело. Редко-редко теперь увидишь больного, морда вся опухшая, в каких-то шишках, страх смотреть. Но это было отлично сработано, Ральф, право слово. Миксоматозом никто больше не болеет, даже самая близкая кроличья родня. Так что великое спасибо ученым, от этой напасти мы избавились.

Кардинал широко раскрытыми глазами посмотрел на Фрэнка.

– Представляете, Фрэнк? Нет, вы понимаете, что это значит?

Несчастный Фрэнк покачал головой. Хоть бы его оставили в покое!

– Это же бактериологическая война, уничтожение целого вида. Хотел бы я знать, известно ли остальному миру, что здесь, в Австралии, между сорок девятым и пятьдесят вторым годом затеяли вирусную войну и благополучно истребили миллиарды населявших эту землю живых

созданий. Недурно! Итак, это вполне осуществимо. Уже не просто выдумки «желтой» прессы, а открытие, примененное на практике. Теперь они могут преспокойно похоронить свои атомные и водородные бомбы. Я понимаю, от кроликов необходимо было избавиться, но это великое достижение науки уж наверно не принесет ей славы. И невозможно без ужаса об этом думать.

Дэн с самого начала внимательно прислушивался к разговору.

– Бактериологическая война? – спросил он. – Первый раз слышу. А что это такое, Ральф?

– Это звучит непривычно, Дэн, но я ватиканский дипломат и потому, увы, обязан не отставать от таких словесных новшеств, как «бактериологическая война». Коротко говоря, это и означает миксоматоз. Когда в лаборатории выводится микроб, способный убивать или калечить живые существа одного определенного вида.

Дэн бессознательно осенил себя крестным знамением и прижался к коленям Ральфа де Брикассара.

– Наверное, нам надо помолиться, правда?

Кардинал посмотрел сверху вниз на светловолосую голову мальчика и улыбнулся.

Если в конце концов Фрэнк как-то приспособился к жизни в Дрохеде, то лишь благодаря Фионе – наперекор упрямому недовольству остальных сыновей она держалась так, словно старший был в отлучке совсем недолго, ничем не опозорил семью и не доставил матери столько горя. Исподволь, незаметно она отвела ему в Дрохеде место, где ему, видно, и хотелось укрыться, подальше от братьев; и она не стремилась возродить в нем былую пылкость. Живой огонь угас навсегда, мать поняла это с первой же минуты, когда на джиленбоунском перроне он посмотрел ей в глаза. Все сгинуло за те годы, о которых он не хотел ей ничего рассказать. Ей оставалось лишь по возможности облегчить ему жизнь, а для этого был только один верный путь – принимать теперешнего Фрэнка так, словно в Дрохеду вернулся все тот же прежний Фрэнк.

О том, чтобы он работал на выгонах, не могло быть и речи, братья не желали иметь с ним дела, да и он издавна терпеть не мог бродячую жизнь овчара. Он любил смотреть на все, что прорастает из земли и цветет, а потому Фиа поручила ему копаться на клумбах Главной усадьбы и оставила в покое. И мало-помалу братья Клири освоились с тем, что Фрэнк вернулся к семейному очагу, и стали понимать, что он вовсе не угрожает, как в былые времена, их благополучию. Ничто вовек не изменит

отношения к нему матери – в тюрьме ли Фрэнк, здесь ли, ее любовь все та же. Важно одно: мать счастлива, что он здесь, в Дрохеде. А к жизни братьев он касательства не имеет, для них он значит не больше и не меньше, чем прежде.

А меж тем Фиа совсем не радовалась, глядя на Фрэнка, да и как могло быть иначе? Каждый день видеть его в доме тоже мучительно, хоть и по-иному, чем мучилась она, когда совсем нельзя было его видеть. Горько и страшно это, когда видишь – загублена жизнь, загублен человек. Тот, кто был любимым ее сыном и, должно быть, выстрадал такое, чего она и вообразить не в силах.

Однажды, примерно через полгода после возвращения Фрэнка, Мэгги вошла в гостиную и застала мать в кресле у окна – Фиа смотрела в сад, там Фрэнк подрезал розовые кусты. Она обернулась на звук шагов, и что-то в ее невозмутимом лице пронзило сердце дочери... Мэгги порывисто прижала руки к груди.

– Ох, мама! – беспомощно прошептала она.

Фиа посмотрела на нее, покачала головой и улыбнулась:

– Ничего, Мэгги, ничего.

– Если бы я хоть что-нибудь могла сделать!

– А ты можешь. Просто вот так держись и дальше. Я тебе очень благодарна. Теперь ты мне союзница.

VI

1954–1965

Дэн

– Так вот, – сказала матери Джастина, – я решила, что буду делать дальше.

– Я думала, все давно решено. Ты же собиралась поступить в Сиднейский университет, заниматься живописью.

– Ну, это я просто заговаривала тебе зубы, чтобы ты не мешала мне все как следует обдумать. А теперь мой план окончательный, и я могу тебе сказать, что и как.

Мэгги вскинула голову от работы (она вырезала тесто для печенья формой-елочкой: миссис Смит прихварывала, и они с Джастиной помогали на кухне). Устало, нетерпеливо, беспомощно посмотрела она на дочь. Ну что поделаешь, если девчонка с таким норовом. Вот заявит сейчас, что едет в сиднейский бордель изучать на практике профессию шлюхи – и то ее, пожалуй, не отговоришь. Ох уж это милейшее чудовище Джастина, суцая казнь египетская.

– Говори, говори, я вся обратилась в слух. – И Мэгги опять стала нарезать елочки из теста.

– Я буду актрисой.

– Что? Кем?!

– Актрисой.

– Боже милостивый! – Тесто для печенья снова было забыто. – Слушай, Джастина, я терпеть не могу портить людям настроение и совсем не хочу тебя обижать, но... ты уверена, что у тебя есть для этого... мм... внешние данные?

– Ох, мама! – презрительно уронила Джастина. – Я же не кинозвездой стану, а актрисой. Я не собираюсь вертеть задом, и щеголять в декольте до пупа, и надувать губки! Я хочу играть по-настоящему, – говорила она, накладывая в бочонок куски постной говядины для засола. – У меня как будто достаточно денег, хватит на время, пока я буду учиться, чему

пожелаю, верно?

– Да, скажи спасибо кардиналу де Брикассару.

– Значит, все в порядке. Я еду в Каллоуденский театр Альберта Джонса учиться актерскому мастерству и уже написала в Лондон, в Королевскую академию театрального искусства, попросила занести меня в список кандидатов.

– Ты уверена, что выбрала правильно, Джасси?

– Вполне. Я давно это решила. – Последний кусок окаянного мяса скрылся в рассоле; Джастина захлопнула крышку. – Все! Надеюсь, больше никогда в жизни не увижу ни куска солонины!

Мэгги подала ей полный противень нарезанного елочками теста.

– На, сунь, пожалуйста, в духовку. И поставь стрелку на четыреста градусов. Да, признаться, это несколько неожиданно. Я думала, девочки, которым хочется стать актрисами, всегда что-то такое изображают, а ты, кажется единственная, никогда никаких ролей не разыгрывала.

– Ох, мама, опять ты все путаешь, кинозвезда – одно дело, актриса – совсем другое. Право, ты безнадежна.

– А разве кинозвезды не актрисы?

– Самого последнего разбора. Разве что кроме тех, кто начинал на сцене. Ведь и Лоуренс Оливье иногда снимается в кино.

Фотография Лоуренса Оливье с его автографом давно уже появилась на туалетном столике Джестины; Мэгги считала, что это просто девчоночье увлечение, а впрочем, как ей сейчас вспомнилось, подумала тогда, что у дочери хотя бы неплохой вкус. Подружки, которых Джастина изредка привозила в Дрохеду погостить, обычно хвастали фотографиями Тэба Хантера и Рори Кэлхоуна.

– И все-таки я не понимаю. – Мэгги покачала головой. – Ты – и вдруг актриса!

Джастина пожала плечами:

– Ну а где еще я могу орать, выть и вопить, если не на сцене? Мне ничего такого не позволят ни здесь, ни в школе – нигде! А я люблю орать, выть и вопить, черт подери совсем!

– Но ведь ты так хорошо рисуешь, Джасси! Почему бы тебе и правда не стать художницей, – настаивала Мэгги.

Джастина отвернулась от громадной газовой печи, постучала пальцем по баллону.

– Надо сказать работнику, пускай сменит баллон, газа почти не осталось; хотя на сегодня хватит. – В светлых глазах, устремленных на Мэгги, сквозила жалость. – Право, мама, ты очень непрактичная женщина.

А ведь предполагается, что как раз дети, когда выбирают себе профессию, не думают о практической стороне. Так вот, имей в виду, я не намерена подыхать с голоду где-нибудь на чердаке и прославиться только после смерти. Я намерена вкусить славу, пока жива, и ни в чем не нуждаться. Так что живопись будет для души, а сцена – для заработка. Ясно?

– Но ведь Дрохеда тебе дает немалые деньги! – С отчаяния Мэгги нарушила зарок, который сама же себе дала – что бы ни было, держать язык за зубами. – Тебе вовсе не пришлось бы подыхать с голоду где-то на чердаке. Хочешь заниматься живописью – сделай одолжение. Ничто не мешает.

Джастина встрепелулась, спросила с живостью:

– А сколько у меня на счету денег, мама?

– Больше чем достаточно – если захочешь, можешь хоть всю жизнь сидеть сложа руки.

– Вот скущица! Под конец я бы с утра до ночи только трепалась по телефону да играла в бридж; по крайней мере матери почти всех моих школьных подруг больше ничем не занимаются. Я ведь в Дрохеде жить не стану, перееду в Сидней. В Сиднее мне куда больше нравится, чем в Дрохеде. – В светлых глазах блеснула надежда. – А хватит у меня денег на новое лечение электричеством от веснушек?

– Да, наверное. А зачем тебе это?

– Затем, что тогда на меня не страшно будет смотреть.

– Так ведь, кажется, для актрисы внешность не имеет значения?

– Перестань, мама. Мне эти веснушки вот как осточертели.

– И ты решительно не хочешь стать художницей?

– Еще как решительно, благодарю покорно. – Джастина, пританцовывая, прошла по кухне. – Я создана для подмостков, сударыня!

– А как ты попала в Каллоуденский театр?

– Меня прослушали.

– И приняли?!

– Твоя вера в таланты собственной дочери просто умирительна, мама. Конечно, меня приняли! К твоему сведению, я великолепна. И когда-нибудь стану знаменитостью.

Мэгги развела в миске зеленую глазурь и начала осторожно покрывать ею готовое печенье.

– Для тебя это так важно, Джас? Так хочется славы?

– Надо думать. – Джастина посыпала сахаром масло, до того размякшее, что оно заполнило миску, точно сметана: хотя старую дровяную плиту и сменили на газовую, в кухне было очень жарко. – Мое решение

твердо и непоколебимо, я должна прославиться.

– А замуж ты не собираешься?

Джастина презрительно скривила губы.

– Черта с два! Всю жизнь утирать мокрые носы и грязные попки? И в ножки кланяться какому-нибудь обалдую, который подметки моей не стоит, а воображает себя моим господином и повелителем? Дудки, это не для меня!

– Нет, Джастина, ты просто невыносима! Где ты научилась так разговаривать?

– В нашем изысканном колледже, разумеется. – Джастина быстро и ловко одной рукой раскалывала над миской яйцо за яйцом. Потом принялась яростно сбивать их мутовкой. – Мы все там весьма благопристойные девицы. И очень образованные. Не всякое стадо безмозглых девчонок способно оценить всю прелесть таких, к примеру, латинских стишков:

Некий римлянин из Винидиума

Носил рубашку из иридиума.

Говорят ему: «Не странно ль ты одет?»

А он в ответ: «Id est bonum sanguinem praesidium»^[13].

Губы Мэгги нетерпеливо дрогнули.

– Конечно, очень неприятно признаваться в своем невежестве, но все-таки объясни, что же сказал этот римлянин?

– Что это чертовски надежный костюм.

– Только-то? Я думала, услышу что-нибудь похуже. Ты меня удивляешь. Но хоть ты и очень стараешься переменить разговор, дорогая дочка, давай вернемся к прежней теме. Чем плохо выйти замуж?

Джастина насмешливо фыркнула, довольно похоже подражая бабушке:

– Ну, мама! Надо же! Кому бы спрашивать!

Мэгги почувствовала – кровь прихлынула к щекам, опустила глаза на противень с ярко-зелеными сдобными елочками.

– Конечно, ты очень взрослая в свои семнадцать лет, а все-таки не дерзи.

– Только попробуй ступить на родительскую территорию, сразу тебя обвиняют в дерзости – правда, удивительно? – осведомилась Джастина у миски со сбитыми яйцами. – А что я такого сказала? Кому бы спрашивать? Ну и правильно сказала, в самую точку, черт возьми! Я же не говорю, что

ты неудачница, или грешница, или что-нибудь похуже. Наоборот, по-моему, ты на редкость разумно поступила, что избавилась от своего муженька. На что тебе дался муж? Денег на жизнь тебе хватает, мужского влияния на твоих детей хоть отбавляй – вон сколько у нас дядюшек. Нет, ты очень правильно сделала! Замужество – это, знаешь ли, для безмозглых девчонок.

– Ты вся в отца.

– Опять увертки. Если я тебе чем-то не угодила, значит, я вся в отца. Что ж, приходится верить на слово, я-то сего достойного джентльмена сроду не видела.

– Когда ты уезжаешь? – в отчаянии спросила Мэгги.

– Жаждешь поскорей от меня избавиться? – усмехнулась Джастина. – Ничего, мама, я тебя ни капельки не осуждаю. Но что поделаешь, обожаю смущать людей, а тебя особенно. Отвезешь меня завтра к сиднейскому самолету?

– Давай лучше послезавтра. А завтра возьму тебя в банк. Сама посмотришь, что у тебя на текущем счету. И вот что, Джастина...

Джастина подбавляла муку и ловко управлялась с тестом, но, услышав что-то новое в голосе матери, подняла голову:

– Да?

– Если у тебя что-нибудь не заладится, прошу тебя, возвращайся домой. Помни, в Дрохеде для тебя всегда найдется место. Что бы ты ни натворила, чем бы ни провинилась, ты всегда можешь вернуться домой.

Взгляд Джестины смягчился.

– Спасибо, мам. В глубине души ты старушка неплохая, верно?

– Старушка? – ахнула Мэгги. – Какая же я старуха! Мне только сорок три.

– О Господи! Так много?

Мэгги запустила в нее печеньем-елочкой и угодила по носу.

– Вот негодяйка! – Она засмеялась. – Ты просто чудовище! Теперь я чувствую, что мне уже все сто.

Дочь широко улыбнулась.

Тут вошла Фиа проведать, что делается на кухне; Мэгги обрадовалась ей как спасению.

– Знаешь, мама, что мне сейчас заявила Джастина?

Зрение Фионы ослабло, немало труда ей стоило теперь вести счета, но за потускневшими зрачками ум сохранился по-прежнему зоркий.

– Откуда же мне знать? – спокойно заметила она и не без испуга посмотрела на зеленое печенье.

– Ну, иногда мне кажется, у вас с ней есть от меня кое-какие секреты.

Вот только что моя дочь ошарашила меня новостью, и сразу являешься ты, а ведь тебя в кухне целую вечность не видели.

– Мм... хоть с виду и страшно, а на вкус недурно, – оценила Фиа зеленое печенье. – Право, Мэгги, я вовсе не затеваю у тебя за спиной заговоров с твоей дочкой. Что ты на этот раз натворила? – обернулась она к Джастине, которая опять заполняла тестом масляные и посыпанные мукой противни.

– Я сказала маме, что буду актрисой, бабушка, только и всего.

– Только и всего, а? Это правда или просто еще одна твоя сомнительная шуточка?

– Чистая правда. Я вступаю в Каллоуденскую труппу.

– Ну и ну. – Фиа оперлась на стол, насмешливо посмотрела в лицо дочери. – До чего дети любят жить своим умом, не спросясь старших, а, Мэгги?

Мэгги промолчала.

– А ты что, меня не одобряешь, бабушка? – повысила голос Джастина, уже готовая ринуться в бой.

– Не одобряю? Я? Живи как хочешь, Джастина, это не мое дело. А кстати, по-моему, из тебя выйдет неплохая актриса.

– Ты так думаешь? – изумилась Мэгги.

– Да, конечно, – подтвердила Фиа. – Джастина ведь не из тех, кто поступает наобум – верно я говорю, внучка?

– Верно, – усмехнулась та, отвела влажную прядь, упавшую на глаза, посмотрела на бабушку с нежностью, и матери подумалось, что к ней-то Джастина никакой нежности не питает.

– Ты у нас умница, Джастина. – Фиа покончила с печеньем, за которое принялась было с такой опаской. – Совсем недурно, но я предпочла бы не зеленую глазурь, а белую.

– Деревья белые не бывают, – возразила Джастина.

– Отчего же? Если это елка, на ней может лежать снег, – сказала Мэгги.

– Ну, теперь поздно, всех будет рвать зеленым! – засмеялась Джастина.

– Джастина!!!

– Ух! Извини, мам, я не в обиду тебе. Всегда забываю, что тебя от каждого пустяка тошнит.

– Ничего подобного! – вспылила Мэгги.

– А я пришла в надежде на чашечку чаю, – вмешалась Фиа, придвинула стул и села. – Поставь чайник, Джастина, будь умницей.

Мэгги тоже села.

– По-твоему, у Джестины правда что-то получится, мама? – с тревогой

спросила она.

– А почему бы нет? – отозвалась Фиа, следя за тем, как внучка истово, по всем правилам готовит чай.

– Может быть, у нее это просто случайное увлечение.

– Это у тебя случайное увлечение, Джастина? – осведомилась Фиа.

– Нет, – отрезала Джастина, расставляя на старом зеленом кухонном столе чашки с блюдцами.

– Выложи печенье на тарелку, Джастина, не ставь на стол всю миску, – машинально заметила Мэгги. – И весь кувшин молока тоже не ставь, ради Бога, налей, как полагается, в молочник.

– Да, мама, хорошо, мама, – так же машинально откликнулась Джастина. – Не понимаю, зачем на кухне разводить такие церемонии. Мне только придется потом возвращать все остатки по местам и мыть лишние тарелки.

– Делай, как тебе говорят. Так куда приятнее.

– Ладно, разговор у нас не о том, – напомнила Фиа. – Я думаю, тут и обсуждать нечего. По-моему, надо дать Джастине попытаться, и скорее всего попытка будет удачная.

– Вот бы мне твою уверенность, – хмуро промолвила Мэгги.

– А ты что, рассуждала насчет лавров и славы, Джастина? – резко спросила бабушка.

– От лавров и славы я тоже не откажусь. – Джастина вызывающе водрузила на кухонный стол старый коричневый чайник и поспешно села. – Уж не взыщи, мама, как хочешь, а подавать на кухне чай в серебряном чайнике я не стану.

– И этот вполне годится, – улыбнулась Мэгги.

– А, славно! Что может быть лучше чашечки чаю, – блаженно вздохнула Фиа. – Зачем ты все выставлешь перед матерью в самом невыгодном свете, Джастина? Ты же прекрасно знаешь, суть не в богатстве и не в славе, а в том, чтобы раскрыть себя.

– Раскрыть себя, бабушка?

– Ну, ясно. Суть в тебе самой. Ты чувствуешь, что создана для сцены, правильно?

– Да.

– Тогда почему бы так маме прямо и не сказать? Чего ради ты ее расстраиваешь какой-то дурацкой болтовней?

Джастина пожала плечами, залпом допила чай и протянула матери пустую чашку.

– Почем я знаю? – буркнула она.

– Сама не знаю почему, – поправила Фиа. – Надо полагать, на сцене говорят ясно и разборчиво. Но в актрисы ты идешь, чтобы раскрыть то, что в тебе есть, так?

– Ну, наверное, – нехотя согласилась Джастина.

– Фу-ты! Все Клири одинаковы – вечная гордыня и ослиное упрямство. Смотри, Джастина, научись обуздывать свой норов, не то он тебя погубит. Экая глупость – боишься, вдруг тебя поднимут на смех? А с чего, собственно, ты взяла, что твоя мать уж такая бессердечная? – Фиа легонько похлопала внучку по руке. – Будь помягче, Джастина. Не надо так от всех отгораживаться.

Но Джастина покачала головой:

– Не могу иначе.

Фиа вздохнула:

– Что ж, девочка, в добрый путь, благословляю тебя, только много ли пользы будет от моего благословения...

– Спасибо, бабушка, очень тебе признательна.

– Тогда будь добра, докажи свою признательность делом – поищи дядю Фрэнка и скажи ему, что в кухне готов чай.

Джастина вышла; Мэгги во все глаза смотрела на мать.

– Честное слово, мама, ты просто изумительна.

Фиа улыбнулась:

– Что ж, согласишься, я никогда не пыталась поучать моих детей, как им жить и что делать.

– Да, правда, – с нежностью отозвалась Мэгги, – и мы тоже всегда были тебе за это признательны.

Возвратясь в Сидней, Джастина прежде всего постаралась вывести веснушки. К несчастью, оказалось, это долгая работа, слишком их у нее много – придется потратить чуть не целый год и потом всю жизнь не выходить на солнце, чтоб веснушки не высыпали снова. Вторая забота была – подыскать себе жилье, задача не из легких в Сиднее в ту пору, когда люди строили себе отдельные дома, а поселиться в какой-нибудь многоэтажной махине под одной крышей с кучей соседей считалось сущим проклятием. Но в конце концов Джастина нашла квартиру из двух комнат на набережной Ньютрел-Бей, в одном из огромных старых зданий, которые давно утратили викторианское величие, пришли в упадок и обращены были в сомнительные меблирашки. За квартирку эту брали пять фунтов и десять шиллингов в неделю – при общей для всех постояльцев ванной и кухне дороговизна несусветная. Но Джастину новое жилище вполне устраивало.

Хотя ее с детства и приучили хозяйничать, она вовсе не склонна была вить себе уютное гнездышко.

Жизнь в этом доме, носящем название Босуэл-гарденс, оказалась куда интереснее, чем ученичество в Каллоуденском театре, где Джастина, кажется, только и делала, что пряталась в кулисах, смотрела, как репетируют другие, изредка участвовала в массовых сценах и заучивала наизусть огромные куски из Шекспира, Шоу и Шеридана.

В Босуэл-гарденс было шесть квартир, считая ту, что снимала Джастина, да еще комнаты, где обитала сама хозяйка, миссис Дивайн. Эта особа шестидесяти пяти лет, родом из Лондона, с глазами навывкате и привычкой жалостно сопеть носом, до крайности презирала Австралию и австралийцев, однако не считала ниже своего достоинства драть с них за квартиру втридорога. Кажется, самым большим огорчением в ее жизни были расходы на газ и электричество, а самой большой слабостью – нежные чувства к соседу Джестины, молодому англичанину, который превесело пользовался этим преимуществом своей национальности.

– Я не прочь потешить старую гусыню, повспоминать с ней иногда родные края, – сказал он как-то Джастине. – Зато она ко мне не придирается. Вам-то, милые девицы, не разрешено зимой включать электрические камины, а мне она сама дала камин и позволила жечь его хоть зимой, хоть летом, если вздумается.

– Свинья, – равнодушно заметила Джастина.

Англичанина звали Питер Уилкинс, он был коммивояжер. Загадочные светлые глаза соседки пробудили в нем живейший интерес.

– Заглядывайте ко мне, я вас чайком напою, – крикнул он ей вдогонку.

Джастина стала заглядывать, выбирая время, когда ревнивая миссис Дивайн не шныряла поблизости, и очень быстро наловчилась отбиваться от нежностей Питера. Годы, проведенные в Дрохеде, верховая езда и физическая работа наделили ее крепкими мускулами, и она нисколько не смущалась тем, что бить ниже пояса не полагается.

– Черт тебя подери, Джастина! – Питер задохнулся от боли, вытер невольные слезы. – Брось ты разыгрывать недотрогу! Чему быть, того не миновать. Мы, знаешь ли, не в Англии времен королевы Виктории, вовсе не требуется блюсти невинность до самого замужества.

– А я и не собираюсь, – заметила Джастина, оправляя платье. – Просто еще не решила, кого удостоить сей чести.

– Не такое уж ты сокровище! – злобно огрызнулся Питер: она его ударила очень больно.

– Верно, не сокровище, Пит. Меня такими шпильками не проймешь. И

на свете полным-полно охотников до любой девчонки, была бы только нетронутая.

– И охотниц тоже полно. Погляди хоть на нижнюю квартиру.

– Гляжу, гляжу, – сказала Джастина.

В нижней квартире жили две лесбиянки, они восторженно встретили появление в доме Джестины и не сразу сообразили, что нимало ее не привлекают и попросту не интересуют. Сначала она не совсем понимала их намеки, когда же они всеми словами объяснили, что к чему, только равнодушно пожала плечами. Довольно скоро отношения наладились – Джастина стала для этих девиц жилеткой, в которую плачут, беспристрастным судьей и надежной гаванью при всякой буре; она взяла Билли на поруки, когда та угодила в тюрьму; свезла Бобби в больницу, чтоб ей сделали промывание желудка, когда та после особенно жестокой ссоры с Билли наглоталась чего не надо; наотрез отказывалась принять чью-либо сторону, если на горизонте которой-нибудь из подружек вдруг замаячит какая-нибудь Пэт, Эл, Джорджи или Ронни. Но до чего беспокойна такая любовь, думалось ей. Мужчины тоже дрянь, но все-таки другой породы, это хотя бы занятно.

Итак, подруг хватало – и прежних, школьных, и новых, по дому и театру, а сама она была неплохим другом. Она ни с кем не делилась своими горестями, как другие делились с ней, – на то у нее имелся Дэн, – хотя немногие горести, в которых она все же признавалась, как будто не слишком ее терзали. А подруг больше всего поражало в Джестине редкостное самообладание – ничто не могло выбить ее из колеи, казалось, она выучилась этому с младенчества.

Пуще всего так называемых подруг занимало – как, когда и с чьей помощью Джастина решится наконец стать настоящей женщиной, но она не спешила.

Артур Лестрендж необычайно долго держался в театре Альберта Джонса на ролях героев-любовников, хотя еще за год до прихода в труппу Джестины он не без грусти простился с молодостью: ему стукнуло сорок. Лестрендж был опытный, неплохой актер, недурен собой – ладная фигура, мужественное, с правильными чертами лицо в рамке светлых кудрей, – и зрители неизменно награждали его аплодисментами. В первый год он просто не замечал Джестину – новенькая была тиха, скромна и послушно исполняла, что велели. Но к исходу года она окончательно избавилась от веснушек и уже не сливалась с декорациями, а становилась все заметнее.

Исчезли веснушки, потемнели с помощью косметики брови и ресницы, и в Джестине появилась неброская, таинственная прелесть. Она

не обладала ни яркой красотой Люка О'Нила, ни утонченным изяществом матери. Фигурка недурна, но не из ряда вон, пожалуй, чересчур худенькая. Только огненнорыжие волосы сразу привлекают внимание. Но вот на сцене она становилась неузнаваема – то поистине Елена Прекрасная, то безобразнее злейшей ведьмы.

Артур впервые заметил ее, когда ей в учебном порядке велено было как бы от лица совсем разных людей прочесть отрывок из «Лорда Джима» Конрада. Она была просто великолепна; Артур видел, что Альберт Джонс в восторге, и понял наконец, почему режиссер тратит на новенькую столько времени. Мало того что у нее редкостный врожденный дар подражания – необыкновенно выразительно каждое ее слово. Да еще голос, драгоценнейший дар для актрисы, – низкий, с хрипотцой, проникающий прямо в душу.

Вот почему позже, увидев ее с чашкой чаю в руке и с раскрытой книгой на коленях, Артур подошел и сел рядом.

– Что вы читаете?

Джастина подняла глаза, улыбнулась:

– Пруста.

– А вы не находите, что он скучноват?

– Пруст скучноват? Ну разве что для тех, кто не любит сплетен. Ведь Пруст, он такой. Завзятый старый сплетник.

Артур Лестрендж внутренне поежился – похоже, эта умница смотрит на него свысока, но он решил не обижаться. Просто уж очень молода.

– Я слышал, как вы читали Конрада. Блистательно.

– Благодарю вас.

– Может быть, выпьем как-нибудь вместе кофе и обсудим ваши планы на будущее?

– Что ж, можно, – сказала Джастина и опять взялась за Пруста.

Он порадовался, что предложил не ужин, а всего лишь кофе: жена держит его в строгости, а ужин предполагает такую меру благодарности, какой от Джастины вряд ли дождешься. Однако он не забыл об этом случайном приглашении и повел ее в захудалое маленькое кафе подальше от центра – уж наверно жене и в голову не придет искать его в таком месте.

Джастине давно надоело, будто пай-девочке, отказываться, когда предлагают сигарету, и она выучилась курить. И теперь, когда они сели за столик, она вынула из сумки нераспечатанную пачку сигарет, аккуратно отвернула край целлофановой обертки, чтобы не слетела прочь – только-только открыть клапан и достать сигарету. Артур с насмешливым любопытством следил за этой истовой аккуратностью.

– Охота вам возиться, Джастина? Содрали бы обертку, и дело с концом.

– Терпеть не могу неряшества.

Он взял у нее сигареты, задумчиво погладил оставленную в целости оболочку.

– Ну-с, будь я учеником знаменитого Зигмунда Фрейда...

– Будь вы Фрейд – что дальше? – Джастина подняла голову, рядом стояла официантка. – Мне капучино, пожалуйста.

Он подосадовал, что она распорядилась сама, но не стал придирааться, поглощенный другими мыслями.

– Мне, пожалуйста, кофе по-венски. Да, так вот о Фрейде. Хотел бы я знать, как бы он это расценил? Сказал бы, пожалуй...

Джастина отняла у него пачку, открыла, вынула сигарету и закурила, прежде чем он успел достать из кармана спички.

– Итак?..

– Фрейд решил бы, что вы предпочитаете сберечь себя в целости и сохранности, верно?

Несколько мужчин с любопытством обернулись на неожиданный в этом прокуренном кафе залиvistый смех.

– Вот как? Это что же, Артур, попытка окольным путем выяснить, сохранила ли я девственность?

Он сердито прищелкнул языком.

– Джастина! Я вижу, кроме всего прочего, мне придется научить вас тонкому искусству уклончивости.

– Кроме чего такого прочего, Артур? – Она облокотилась на стол, глаза ее поблескивали в полутьме.

– Ну, чему там вам еще надо учиться?

– Вообще-то я довольно грамотная.

– Во всех отношениях?

– Ого, как выразительно вы умеете подчеркнуть нужное слово! Великолепно, я непременно запомню, как вы это произнесли.

– Есть вещи, которым можно научиться только на опыте, – сказал он мягко, протянул руку и заправил завиток волос ей за ухо.

– Вот как? Мне всегда хватало обыкновенной наблюдательности.

– Да, но если это касается любви? – Слово это он произнес с чувством, но не пережимая. – Как вы можете сыграть Джульетту, не зная, что такое любовь?

– Весьма убедительный довод. Согласна.

– Были вы когда-нибудь влюблены?

– Нет.

– Но вы знаете хоть что-нибудь о любви? – На сей раз он всего выразительнее произнес не «любовь», а «хоть что-нибудь».

– Ровно ничего.

– Ага! Значит, Фрейд был бы прав?

Джастина взяла со стола свои сигареты, с улыбкой посмотрела на целлофановую обертку.

– В каком-то смысле – пожалуй.

Он быстрым движением ухватил снизу целлофан, сдернул, мгновение подержал, потом истинно актерским жестом скомкал и кинул в пепельницу; прозрачный комок зашуршал, зашевелился, расправляясь.

– С вашего разрешения, я хотел бы научить вас, что значит быть женщиной.

Минуту Джастина молча смотрела, как причудливо корчится и выгибается в пепельнице смятая прозрачная обертка, потом чиркнула спичкой и осторожно подожгла целлофан.

– Почему бы и нет? – спросила она у вспыхнувшего на мгновение огня. – В самом деле, почему бы и нет?

– Так быть ли тут волшебным прогулкам при луне, и розам, и нежным и страстным речам, или да будет все кратко и пронзительно, как стрела? – продекламировал он, прижав руку к сердцу.

Джастина рассмеялась:

– Ну что вы, Артур! Я-то надеюсь, что будет скорее длинно и пронзительно. Только, уж пожалуйста, без луны и роз. Я не создана для нежностей, меня от них тошнит.

Он посмотрел на нее изумленно и не без грусти покачал головой:

– Ох, Джастина! Все на свете созданы для нежностей, даже вы, бесчувственная весталка. Когда-нибудь вы в этом убедитесь. Вам еще как захочется этих самых нежностей.

– Пф-ф! – Она встала. – Идемте, Артур, покончим с этим, пока я не передумала.

– Как? Прямо сейчас?!

– А почему же нет? Если у вас не хватает денег на номер в гостинице, так у меня полно.

До отеля «Метрополь» было совсем недалеко; Джастина непринужденно взяла Артура под руку, и они, смеясь, пошли по дремотно тихим улицам. В этот час, слишком поздний для тех, кто отправляется ужинать в ресторан, но еще ранний для театрального разезда, на улицах было почти безлюдно, лишь кое-где – кучки отпущенных на берег

американских матросов да стайки девчонок, которые словно бы разглядывают витрины, но целются на тех же матросов. На Артура с его спутницей никто не обращал внимания, и это его вполне устраивало. Оставив Джастину у дверей, он забежал в аптеку и через минуту вышел, очень довольный.

– Ну вот, все в порядке, моя дорогая.

– Чем это вы запаслись? «Французскими подарочками»?

Он поморщился:

– Боже упаси. Эта гадость отравляет все удовольствие. Нет, я взял для тебя пасту. А откуда тебе известно про «французские подарочки»?

– После семи лет обучения в католическом пансионе? По-вашему, мы там только и делали, что читали молитвы? – Джастина усмехнулась. – Делать-то мало что делали, но говорено было обо всем.

Мистер и миссис Смит осмотрели свои владения, которые для сиднейской гостиницы тех времен оказались не так уж плохи. Эпоха роскошных отелей «Хилтон» еще не настала. Номер был просторный, с великолепным видом на гавань и Сиднейский мост. Без ванной, разумеется, но, под стать прочей обстановке – мастодонтом в викторианском стиле, – имелся громоздкий мраморный умывальник с кувшином и тазом.

– Ну, а теперь что я должна делать? – спросила Джастина и раздернула занавески. – Красивый вид, правда?

– Красивый. А что делать... Ну конечно, снять с себя лишнее.

– Только лишнее? – ехидно спросила Джастина.

Он вздохнул.

– Скинь все! Надо чувствовать другого всей кожей.

Быстро, аккуратно, без малейшей застенчивости Джастина разделась, подошла к кровати и раскинулась на ней.

– Так, Артур?

– О Боже милостивый! – выдохнул он, тщательно складывая брюки: жена всегда проверяла, не помяты ли они.

– А что? В чем дело?

– Вот что значит настоящая рыжая девчонка.

– А вы думали, на мне красные перья?

– Перестань острить, детка, сейчас это совсем некстати. – Он втянул живот, повернулся, молодцевато подошел и, пристроясь рядом, принялся умело осыпать короткими поцелуями щеку Джестины, шею, левую грудь. – Мм, какая ты приятная. – Он обнял ее. – Вот так! Приятно, а?

– Да, пожалуй. Да, очень даже приятно.

И наступило молчание, слышались только поцелуи да изредка

невнятный шепот. В ногах кровати возвышался старомодный туалетный столик, какой-то эротически настроенный их предшественник наклонил зеркало так, что в нем отражалась арена любовных битв.

– Погаси свет, Артур.

– Нет-нет, моя прелесть! Урок номер один: в любви нет таких поворотов, которые не выносили бы света.

Умело ее подготовив, Артур приступил к главному. Джастина не ощутила особого неудобства – немного больно и никаких таких восторгов, а впрочем, какое-то ласково-снисходительное чувство; поверх плеча Артура взгляд ее уперся в зеркало в ногах кровати... Зрелище оказалось презабавное.

Она взглянула раз, другой. Порывисто прижала к губам кулак, закусила костяшки пальцев, как-то захлебнулась стоном.

– Ну-ну, ничего, моя прелесть! Все позади, теперь уже не может быть слишком больно, – шепнул Артур.

Грудь ее судорожно сотрясалась, словно от рыданий; он обнял ее крепче, невнятно забормотал какие-то ласковые слова.

Вдруг Джастина откинула голову, жалобно простонала и закатилась громким, заливистым, неудержимым смехом. И чем бессильнее злился растерянный, взбешенный Артур, тем отчаяннее она хохотала, хохотала до слез и только слабо показывала пальцем на зеркало в ногах кровати. Все тело ее содрогалось – но, увы, несколько по-иному, чем предвкушал злосчастный Артур.

* * *

Во многих отношениях Джастина была гораздо ближе Дэну, чем мать, но то, что оба они чувствовали к матери, оставалось само по себе. Чувство это нисколько не мешало и не противоречило тому, что связывало брата и сестру. То, другое, соединило их очень рано и прочно и с годами только крепло. Когда Мэгги освободилась наконец от работы на выгонах, которая годами не давала ей ни отдыха, ни срока, дети уже подросли настолько, что учились писать за кухонным столом миссис Смит, а поддержку и утешение навсегда привыкли находить друг в друге.

Характеры у них были очень разные, но немало общих вкусов и склонностей, а когда они во вкусах расходились, то относились к этому терпимо: чутье подсказывало уважать странности другого и даже ценить несходство, иначе друг с другом стало бы, пожалуй, скучновато. Они

отлично изучили друг друга. Для Джастины было естественно осуждать изъяны в других и не замечать их в себе, для Дэна же естественно понимать и прощать чужие изъяны, но беспощадно судить свои. Джастина в себе ощущала непобедимую силу, Дэн себя считал безнадежно слабым.

И каким-то образом из всего этого родилась едва ли не идеальная дружба, та, для которой нет на свете невозможного. Но Джастина была куда разговорчивее, а потому Дэн узнавал про нее и про ее чувства гораздо больше, чем она про него. В нравственном смысле она была подчас туповата, не признавала ничего святого, и Дэн считал, что должен пробудить в сестре дремлющую совесть. А потому он кротко выслушивал все, что бы она ни говорила, с нежностью и состраданием, которые злили бы Джастину безмерно, подозревай она о них. Но она ничего такого не подозревала; она выкладывала терпеливому слушателю решительно все с тех давних пор, когда малыш только-только научился слушать и что-то понимать.

– Угадай, чем я занималась вчера вечером? – спросила она, заботливо поправляя широкополую соломенную шляпу, чтобы лицо и шея оставались в тени.

– В первый раз выступала в главной роли? – сказал Дэн.

– Балда! Неужели я тебя не позвала бы, чтоб ты посмотрел! Отгадывай еще.

– Изловчилась наконец – не дала Бобби поколотить Билли?

– Холодно, холодно.

Дэн пожал плечами, ему уже немного надоело.

– Понятия не имею.

Они сидели на траве в церковном саду, под сенью исполинского готического храма Пресвятой Девы. Дэн по телефону предупредил сестру, что будет слушать какую-то особенную службу – не придет ли Джастина к храму немного раньше, они бы повидались? Джастина, конечно, согласилась, ей не терпелось рассказать о своем приключении.

Дэн учился в Ривервью-колледже последний год, до окончания оставалось совсем недолго; он был теперь староста школы, капитан крикетной команды, и регби, и теннисной, и по ручному мячу. И вдобавок еще первый ученик в классе. Ему минуло семнадцать, рост – шесть футов и два дюйма, звонкий мальчишеский голос давно перешел в баритон, и при этом Дэн счастливо избежал напастей переходного возраста: ни прыщей, ни неуклюжести, ни выпирающего кадыка. Пушок на щеках такой светлый, что бриться еще не обязательно, но в остальном это уже не мальчишка, а взрослый юноша. Только по форменной одежде и узнаешь, что он еще

школьник.

День выдался солнечный. Дэн снял соломенную шляпу, растянулся на траве; Джастина, сидя рядом, согнулась, обхватила колени руками, из страха перед веснушками надо прятать от солнца каждый клочок обнаженной кожи. Дэн лениво приоткрыл один синий глаз, посмотрел на сестру.

– Чем же ты вчера вечером занималась, Джас?

– Потеряла свою девственность. По крайней мере так я думаю.

Оба глаза широко раскрылись.

– Вот балда!

– Пф-ф! И давно пора. Ну как я стану хорошей актрисой, если понятия не имею, что происходит между мужчиной и женщиной?

– Надо бы побережь себя для того, за кого ты выйдешь замуж.

Джастина досадливо сморщилась:

– Ты какое-то ископаемое, Дэн, иногда просто неловко слушать. Может, с тем, за кого я выйду замуж, я встречусь только в сорок лет. А до тех пор что прикажешь делать? Замариновать себя, что ли? Ты что же, сам собираешься хранить невинность до женитьбы?

– Вряд ли я когда-нибудь женюсь.

– Ну и я вряд ли выйду замуж. И что тогда? Перевязать невинность голубой ленточкой и запрятать в сундук с приданым, которого у меня вовсе и нет? Я не желаю до самой смерти только гадать, что да как.

Дэн широко улыбнулся:

– Ну, теперь тебе уже не придется гадать.

Он перевернулся на живот, подпер подбородок ладонью и внимательно посмотрел на сестру, лицо у него стало кроткое, озабоченное.

– И как, ничего? Или ужасно? Очень было противно?

Губы ее дрогнули, она чуть помолчала, вспоминая.

– Нет, совсем не противно. Да и не ужасно. Но, право, не понимаю, почему все так захлебываются от восторга. Довольно приятно, и не более того. А ведь я не кинулась к первому встречному, выбрала с толком – он очень привлекательный и далеко не мальчишка, человек с опытом.

Дэн вздохнул:

– Ты и правда балда, Джастина. Мне куда спокойней было бы, если б ты сказала: «С виду он не бог весть что, но мы познакомились, и я просто не устояла». Я даже могу понять, что ты не хочешь ждать замужества, но все-таки этого надо захотеть потому, что тебя потянуло к человеку, Джас. А не просто чтобы попробовать, как это делается. Неудивительно, что ты не получила никакой радости.

Веселое торжество слиняло с лица Джастины.

– О, черт тебя побери, ты все испортил, теперь я и правда чувствую себя ужасно. Если б я тебя не знала, я бы подумала, ты хочешь втоптать меня в грязь... ну, не меня, так мои теории.

– Но ты меня знаешь, правда? Никогда я не стану втоптывать тебя в грязь, но рассуждаешь ты иногда просто по-дурацки, глупей некуда. – И Дэн dokonчил медленно, торжественно: – Я – голос твоей совести, Джастина О’Нил.

– Вот это верно, балда. – Забыв, что надо прятаться от солнца, Джастина откинулась на траву рядом с братом, так, чтобы он не видел ее лица. – Слушай, ты ведь понимаешь, почему я это сделала? Правда?

– Ох, Джасси, – начал он с грустью, но она не дала ему договорить, перебила горячо, сердито:

– Я никогда, никогда, никогда никого не полюблю! Только попробуй полюбить человека – и он тебя убивает. Только почувствуй, что без кого-то жить не можешь, – и он тебя убивает. Говорю тебе, в этом люди все одинаковы!

Его всегда мучило, что она чувствует – судьба обделила ее любовью, мучило тем сильнее, что он знал – это из-за него. Если можно назвать какую-то самую вескую причину, по которой сестра так много для него значила, главным, наверное, было одно – ее любовь к нему ни разу, ни на миг не омрачили ни зависть, ни ревность. Дэн жестоко страдал: его-то любят все, он – средоточие Дрохеды, а Джастина где-то в стороне, в тени. Сколько он молился, чтобы стало по-другому, но молитвы ничего не меняли. Вера его от этого не уменьшалась, только еще острее стало сознание, что придется когда-нибудь заплатить за эту любовь, так щедро изливаемую на него в ущерб Джастине. Она держалась молодцом, она даже сама себя убедила, будто ей и так хорошо – на отшибе, в тени, но Дэн чувствовал, как ей больно. Он знал. В ней очень, очень многое достойно любви, а в нем – так мало. Бездна было доискиваться иных причин, и Дэн решил: львиная доля дается ему за то, что он красивый и куда покладистее, легче ладит с матерью и со всеми в Дрохеде. И еще потому, что он мужчина. От него почти ничего не ускользало – разве лишь то, чего он просто не мог знать; никогда и никому Джастина так не доверялась, за всю жизнь никто больше не стал ей так душевно близок. Да, мама значит для нее много больше, чем она признается самой себе.

«Но я все искуплю, – думал Дэн. – Я-то ничем не обделен. Надо как-то за это заплатить, как-то ей все возместить».

Он нечаянно глянул на часы, гибким движением поднялся; как ни

огромен его долг сестре, еще больше долг перед Богом.

– Мне пора, Джас.

– Уж эта твоя паршивая церковь! Перерастешь ты когда-нибудь эту дурацкую игру?

– Надеюсь, что нет.

– Когда мы теперь увидимся?

– Ну, сегодня пятница, так что как всегда – завтра в одиннадцать здесь.

– Ладно. Будь паинькой.

Он уже надел соломенную шляпу и зашагал прочь, но, услышав эти слова, с улыбкой обернулся:

– Да разве я не паинька?

Джастина весело улыбнулась в ответ:

– Ну что ты! Ты сказочно хорош, таких на свете не бывает! Это я вечно что-нибудь да натворю. До завтра!

Громадные двери храма Пресвятой Девы были обиты красной кожей; Дэн неслышно отворил одну и проскользнул внутрь. Можно бы и еще несколько минут побыть с Джастиной, но Дэн любил приходить в церковь пораньше, пока ее еще не заполнили молящиеся и не перекатываются по ней вздохи и кашель, шуршание одежды и шепот. Насколько лучше одному! Только ризничий зажигает свечи на главном алтаре – диакон, сразу безошибочно определил Дэн. Преклонил колена перед алтарем, перекрестился и тихо прошел между скамьями.

Он опустил на колени, оперся лбом на сложенные руки и отдался течению мыслей. То не была осознанная молитва, просто весь он слился с тем неуловимым и, однако, явственно, осязаемо ощутимым, несказанным, священным, чем, казалось ему, напоен здесь самый воздух. Будто он, Дэн, обратился в огонек одной из маленьких лампад, что трепещут за красным стеклом и, кажется, вот-вот погаснут, но, поддерживаемые немногими живительными каплями, неустанно излучают далеко в сумрак свой малый, но надежный свет. В церкви Дэну всегда становилось покойно, он растворялся в тишине, забывал о своем человеческом «я». Только в церкви он на месте и не в разладе с самим собой и его оставляет боль. Ресницы его опустились, он закрыл глаза.

С галереи, от органа, послышалось шарканье ног, шумно вздохнули мехи – готовился к своей работе органист. Мальчики из хора собирались заранее, надо было еще раз прорепетировать перед началом. Предстояла, как всегда по пятницам, лишь обычная дневная служба, но отправлял ее один из преподавателей Ривервью-колледжа, он дружен был с Дэном, и Дэн хотел его послушать.

Орган выдохнул несколько мощных аккордов, потом, все тише, тише, зазвучали переливы аккомпанемента, и в сумрак, под каменное кружево сводов, взлетел одинокий детский голос, слабый, высокий, нежный, голос бесконечной, неземной чистоты, – те немногие, кто был сейчас в огромном пустом храме, невольно закрыли глаза, скорбя об утраченной чистоте, о невинности, которая уже не вернется.

Panis angelicus,
Fit panis hominum,
Dat panis coelicus
Figuris terminum,
O res mirabilis,
Manducat Dominus
Pauper, pauper,
Servus et humilis...

«Хлеб ангелов, небесный хлеб, о чудо. Из пучины скорбей взываю к тебе, о Господи, услышь меня! Приклони слух твой, внимли моей мольбе. Не оставь меня, Господи, не оставь меня. Ибо ты мой владыка и повелитель, а я смиренный твой слуга. В глазах твоих возвышает одна лишь добродетель. Ты не смотришь, красивы или уродливы лицом твои слуги. Для тебя важно одно лишь сердце. Только в тебе исцеление, только в тебе я обретаю покой.

Одиноко мне, Господи. Молю тебя, да кончится скорей жизнь, потому что жизнь – это боль. Никто не понимает, что мне, так щедро одаренному, так мучительно больно жить. Но ты понимаешь, и только твое утешение поддерживает меня. Чего бы ни спросил ты с меня, Господи, я все отдам, ибо люблю тебя. И если могу о чем-то просить тебя, прошу лишь об одном – все иное позабыть навеки, в тебе обрести забвение...»

* * *

– Что ты притихла, мама? – спросил Дэн. – О чем задумалась? О Дрохеде?

– Нет, – сонно отозвалась Мэгги. – О том, что я старею. Сегодня утром нашла у себя с полдюжины седых волос, и кости ноют.

– Ты никогда не будешь старая, мама, – спокойно заверил Дэн.

– Хорошо бы, если б так, милый, только, к сожалению, ты ошибаешься. Меня стало тянуть сюда, к воде, а это верный признак старости.

Они лежали под теплым зимним солнцем на траве у Водоема, на разостланных полотенцах. У дальнего края широкой чаши вода шумела, бурлила, кипела ключом, от нее шел едкий запах серы и понемногу слабел, растворялся в воздухе. Плавать здесь, в пруду, зимой – это было одно из самых больших наслаждений. Все хвори и немощи надвигающейся старости как рукой снимает, подумала Мэгги, повернулась, легла на спину, головой в тень огромного поваленного ствола, на котором давным-давно сидела она с отцом Ральфом. Очень давно это было; не удалось пробудить в себе хотя бы самый слабый отзвук того, что уж наверное чувствовала она, когда Ральф ее поцеловал.

Она услышала, что Дэн встает, и открыла глаза. Он всегда был ее крошка, милый, прелестный малыш; с гордостью следила она, как он растет и меняется, но все перемены, день ото дня более заметные признаки зрелости виделись ей сквозь прежний облик все того же ее собственного смеющегося малыша. Ни разу еще ей не приходило в голову, что он во всех отношениях уже давно не ребенок.

И лишь сейчас, когда он стоял перед ней во весь рост в одних купальных трусах, на фоне яркого неба, она вдруг поняла.

Боже правый, все кончилось! И детство, и отрочество. Он взрослый, он мужчина. Гордость, досада, затаенное истинно женское умиление, пугающее сознание какой-то неминуемой беды, гнев, восхищение, печаль – все это и еще много чего ощутила Мэгги, глядя на сына. Страшно это – породить мужчину, много страшнее породить его таким. Таким поразительно мужественным, таким поразительно красивым.

Вылитый Ральф де Брикассар, и что-то от нее тоже. Как могла она не ощутить волнения, узнав в этом еще очень юном теле другое, с которым ее соединяли когда-то любовные объятия? Она закрыла глаза, смутилась, обозлилась на себя за то, что увидела в сыне мужчину. Неужели и он теперь видит в ней женщину, или она для него по-прежнему всего лишь загадочный символ – мама?

О, черт его возьми, черт возьми! Как он смел стать взрослым?

Она опять открыла глаза и вдруг спросила:

– Ты уже что-нибудь знаешь о женщинах, Дэн?

Он улыбнулся:

– Откуда берутся пчелки и птички?

– Ну, имея сестрицей Джастину, простейшие сведения ты, конечно,

получил. Стоило ей впервые раскрыть учебник физиологии – и она пошла выкладывать свои познания каждому встречному и поперечному. Нет, я о другом – ты уже пробовал следовать ее лекциям на практике?

Дэн коротко покачал головой, опустился на траву подле матери, заглянул ей в лицо.

– Как странно, что ты об этом спросила, мам. Я давно хотел с тобой об этом поговорить, но все не знал, как начать.

– Тебе еще только восемнадцать, милый. Не рановато ли переходить от теории к практике? – «Только восемнадцать. Только. Но ведь он – мужчина, не так ли?»

– Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. О том, чтобы совсем не переходить к практике.

Какой ледяной ветер дует с гор! Почему-то она только сейчас это заметила. Где же ее халат?

– Совсем не переходить к практике, – повторила она глухо, и это был не вопрос.

– Вот именно. Не хочу этого, никогда. Не то чтобы я совсем про это не думал и мне не хотелось бы жены и детей. Хочется. Но я не могу. Потому что нельзя вместить сразу любовь к жене и детям и любовь к Богу – такую, какой я хочу его любить. Я давно это понял. Даже не помню, когда я этого не понимал, и чем становлюсь старше, тем огромней моя любовь к Богу. Это огромно и непостижимо – любить Бога.

Мэгги лежала и смотрела в эти спокойные, отрешенные синие глаза. Такими когда-то были глаза Ральфа. Но горит в них какой-то огонь, которого в глазах Ральфа не было. А быть может, он пылал и в глазах Ральфа, но только в восемнадцать лет? Было ли это? Быть может, такое только в восемнадцать и бывает? Когда она вошла в жизнь Ральфа, он был уже десятью годами старше. Но ведь ее сын – мистик, она всегда это знала. А Ральф и в юности навряд ли склонен был к мистике. Мэгги проглотила застрявший в горле ком, плотнее завернулась в халат, холод одиночества пробирал до костей.

– Вот я и спросил себя, чем покажу я Богу всю силу моей любви? Я долго бился, уходил от ответа, я не хотел его видеть. Потому что мне хотелось и обыкновенной человеческой жизни, очень хотелось. И все-таки я знал, чем должен пожертвовать, знал... Только одно могу я принести в дар Господу, только этим показать, что в сердце моем ничто и никогда не станет превыше его. Отдать единственное, что с ним соперничает, – вот жертва, которой Господь от меня требует. Я Господень слуга, и соперников у него не будет. Я должен был выбирать. Всем позволит он мне обладать и

наслаждаться, кроме одного. – Дэн вздохнул, теребя золотистое перышко дрожедской травы. – Я должен показать ему, что понимаю, почему при рождении он дал мне так много. Должен показать, что сознаю, как мало значит моя жизнь вне его.

– Это невозможно, я тебе не позволю! – вскрикнула Мэгги. Потянулась, стиснула его руку выше локтя. Какая гладкая кожа, и под ней – скрытая сила, совсем как у Ральфа. Совсем как у Ральфа! И потерять право ощутить на этой коже прикосновение нежной девичьей руки?

– Я стану священником, – сказал Дэн. – Стану служить Богу безраздельно, отдам ему все, что у меня есть и что есть я сам. Дам обет бедности, целомудрия и смирения. От избранных своих слуг он требует преданности безраздельной. Это будет нелегко, но я готов.

Какие у нее стали глаза! словно он убил ее, втоптал в пыль и прах. Он не подозревал, что придется вынести и это, он мечтал, что она станет им гордиться, что рада будет отдать сына Богу. Ему говорили, что для матери это восторг, высокое счастье, конечно же, она согласится. А она смотрит на него так, словно, становясь священником, он подписывает ей смертный приговор.

– Я всегда только этого и хотел, – сказал Дэн с отчаянием, глядя в ее глаза, полные смертной муки. – Ох, мама, неужели ты не понимаешь? Никогда, никогда я ничего другого не хотел, только стать священником! Я иначе не могу!

Пальцы ее разжались; Дэн опустил глаза – там, где мать сжимала его руку, остались белые пятна и тонкие полумесяцы на коже – следы впившихся в нее ногтей. Мэгги запрокинула голову и засмеялась – громко, неудержимо, истерически, и казалось, никогда не смолкнет этот горький, язвительный смех.

– Прекрасно, просто не верится! – задыхаясь, выговорила она наконец, дрожащей рукой утерла навернувшиеся слезы. – Нет, какая насмешка! Пепел розы, сказал он в тот вечер, когда мы поехали к Водоему. И я не поняла, о чем он. Пепел, прах. Прах еси и во прах обратишься. Церкви принадлежишь и церкви отдан будешь. Великолепно, превосходно! Будь проклят Бог, гнусный, подлый Господь Бог! Злейший враг всех женщин, вот он кто! Мы стараемся что-то создать, а он только и знает что разрушать!

– Не надо, мама! Не надо, молчи! – рыданием вырвалось у Дэна.

Его ужасала боль матери, но он не понимал ни этой боли, ни того, что она говорит. Слезы текли по его лицу, сердце рвалось, вот уже и начинаешь приносить жертвы, да такие, что и во сне не снилось. Но хоть он и плачет о

матери, даже ради нее не может он отказаться от жертвы. Он должен принести свой дар – и чем тяжелее его принести, тем дороже этот дар Господу.

Она заставила его плакать – впервые за всю его жизнь. И тотчас задавила в себе гнев и горе. Нет, это несправедливо – вымещать что-то на нем. Он такой, каким его сделали полученные гены. Или его Бог. Или Бог Ральфа. Он свет ее жизни, ее сын. Из-за матери он не должен страдать – никогда.

– Не плачь, Дэн, – зашептала Мэгги и погладила его руку, на которой краснели следы ее недавней гневной вспышки. – Извини, я не хотела так говорить. Просто ты меня ошарашил. Конечно, я рада за тебя, правда, рада. Как же иначе? Просто я этого не ждала. – Она слабо засмеялась. – Ты меня вдруг оглушил, будто камнем по голове.

Дэн смигнул слезы, неуверенно посмотрел на мать. С чего ему померещилось, будто он ее убил? Вот они, мамины глаза, такие же, как всегда, такие живые, столько в них любви. Крепкие молодые руки сына обхватили ее, обняли сильно и нежно.

– Ты правда не против, мама?

– Против? Может ли добрая католичка быть против, когда сын становится священником? Так не бывает! – Мэгги вскочила. – Брр! Как холодно стало! Поедем-ка домой.

Они приехали сюда не верхом, а на вездеходе; и теперь Дэн устроился на высоком сиденье за рулем, Мэгги села рядом. Прерывисто вздохнула, почти всхлипнула, отвела спутанные волосы, упавшие на глаза.

– Ты уже решил, куда поступишь?

– Наверное, в колледж Святого Патрика. По крайней мере для начала. А потом уже вступлю в монашеский орден. Я хотел бы в орден Иисуса, но еще не совсем уверен, поэтому мне рано идти прямо к иезуитам.

Широко раскрытыми глазами смотрела Мэгги на рыжеватый луг за рябым от разбившейся мошкары ветровым стеклом ныряющей на ухабах машины.

– Я придумала кое-что получше, Дэн.

– Да? – Он сосредоточенно правил; дорога с годами становилась все хуже, и каждый раз поперек валились какие-нибудь стволы и колоды.

– Я пошлю тебя в Рим, к кардиналу де Брикассару. Помнишь его?

– Помню ли! Что за вопрос, мама! Я его, наверное, и за миллион лет не забыл бы. Для меня он – совершенство, идеал пастыря. Если бы мне стать таким, это будет счастье.

– Идеал – тот, чьи дела идеальны, – резко сказала Мэгги. – Но я могу

вверить тебя его попечению, я знаю, ради меня он о тебе позаботится. Ты можешь поступить в семинарию в Риме.

– Ты серьезно, мама? Правда? – Радость на лице Дэна сменилась тревогой. – А денег хватит? Это обойдется гораздо дешевле, если я останусь в Австралии.

– По милости упомянутого кардинала де Брикассара у тебя всегда будет вполне достаточно денег, мой дорогой.

Они поравнялись с кухней, и Мэгги втокнула сына в дверь.

– Поди скажи миссис Смит и остальным. Они будут в восторге.

А сама через силу, еле волоча ноги, поплелась к Большому дому, в гостиную, где – чудо из чудес! – Фиа не работала, а разговаривала за чаем с Энн Мюллер. Когда вошла Мэгги, они обернулись и по ее лицу сразу поняли: что-то стряслось.

Восемнадцать лет кряду Мюллеры приезжали в Дрохеду погостить, и казалось, так будет всегда. Но минувшей осенью Людвиг скорпостижно умер, и Мэгги тотчас написала Энн, предлагая ей совсем переселиться в Дрохеду. Места сколько угодно, в домике для гостей можно жить самой по себе, и никто не помешает; если гордость иначе не позволяет, пускай Энн платит за жилье, хотя, право слово, у Клири хватит денег и на тысячу постоянных гостей. Для Мэгги это был случай отблагодарить Энн за памятные одинокие годы в Квинсленде, а для Энн – поистине спасение. В Химмельхохе ей без Людвига стало невыносимо одиноко. Впрочем, Химмельхох она не продала, а оставила там управляющего: после ее смерти все унаследует Джастина.

– Что случилось, Мэгги? – спросила Энн.

Мэгги опустилась в кресло.

– Похоже, меня поразил карающий гром небесный.

– Что такое?

– Обе вы были правы. Вы говорили, я его потеряю. А я не верила, я всерьез воображала, что одолею Господа Бога. Но ни одной женщине на свете не одолеть Бога. Ведь он мужчина.

Фиа налила дочери чаю.

– На, выпей, – сказала она, словно чай подкрепляет не хуже коньяка. – Почему это ты его потеряла?

– Он собирается стать священником.

Она засмеялась и заплакала.

Энн взялась за свои костыли, проковыляла к Мэгги, неловко села на ручку ее кресла и принялась гладить чудесные огненно-золотые волосы.

– Ну-ну, родная! Не так уж это страшно.

– Вы знаете про Дэна? – спросила Фиа.

– Всегда знала, – ответила Энн.

Мэгги сдержала слезы.

– По-вашему, это не так страшно? Это начало конца, неужели вы не понимаете? Возмездие. Я украла Ральфа у Бога – и расплачиваюсь сыном. Ты мне сказала, что это кража, мама, помнишь? Я не хотела тебе верить, но ты, как всегда, была права.

– Он поступит в колледж Святого Патрика? – деловито осведомилась Фиа.

Мэгги засмеялась – теперь почти уже обычным своим смехом.

– Это была бы еще не полная расплата, мама. Нет, конечно, я отошлю его к Ральфу. Половина в нем от Ральфа, вот пускай Ральф и радуется. – Она пожала плечами. – Он для меня больше значит, чем Ральф, и я знала, что он захочет поехать в Рим.

– А вы сказали Ральфу про Дэна? – спросила Энн; об этом заговорили впервые.

– Нет, и никогда не скажу. Никогда!

– Они так похожи, он может и сам догадаться.

– Кто, Ральф? Никогда он не догадается! Это уж во всяком случае останется при мне. Я посылаю ему моего сына – моего, и только. Своего сына он от меня не получит.

– Берегитесь богов, Мэгги, боги ревнивы, – мягко сказала Энн. – Может быть, они еще не покончили свои счета с вами.

– Что еще они могут мне сделать? – горько возразила Мэгги.

Джастина, услышав новость, пришла в бешенство, хотя в последние три-четыре года она втайне подозревала, что это может случиться. На Мэгги решение Дэна обрушилось как гром с ясного неба, но для Джастины это был ледяной душ, которого она давно ждала.

Ведь они вместе учились в сиднейской школе, и еще тогда Дэн поверил ей многое, о чем никогда не заговаривал с матерью. Джастина знала, как много значит для Дэна религия – и не только Бог, но мистический смысл католических обрядов. Будь он даже воспитан как протестант, думала она, он неизбежно перешел бы в католическую веру, которая одна может утолить что-то, заложенное в его душе, таков уж он по самой природе своей. Суровый Бог кальвинистов не для Дэна. Бог Дэна озарен бликами разноцветных витражей, окутан курящимся ладаном, обряжен в кружева и золотые вышивки, воспет в изысканной музыке, и мольбы к нему возносятся в звучных латинских стихах.

И еще злая насмешка судьбы: человек одарен редкой красотой, а горюет об этом, как о жестокой помехе, словно он – калека. Именно так относится к своей наружности Дэн. Всякое упоминание о ней его коробит; похоже, он бы предпочел быть уродом и уж никак не привлекать людей своим видом. Сестра отчасти его понимала и, может быть, потому, что ее-то профессия неотделима от известного самолюбования, даже одобряла, что у Дэна этого нет. Но никак не могла понять, почему он не просто равнодушен к своей внешности, а относится к ней с каким-то яростным отвращением.

И голос пола в нем явно приглушен, а почему – тоже неясно: то ли он великолепно научился сублимировать свои страсти, то ли в этом прекрасном теле не хватает чего-то существенного, что вырабатывается только мозгом. Вероятнее первая причина, недаром Дэн постоянно занимается каким-нибудь спортом, требующим много сил, и к ночи валится в постель, изнемогая от усталости. Джастина хорошо знала, что от природы брат вполне «нормален», иначе говоря, отнюдь не склонен к однополый любви, знала даже, какие девушки ему нравятся – высокие, пышные, темноволосые. Но все чувства в нем приглушены; он не замечает, каковы на ощупь вещи, которые он держит в руках, не ощущает запахов, не испытывает особого удовольствия от форм и красок того, что его окружает. Уж очень внезапно и сильно надо его поразить, чтобы его потянуло к женщине, и лишь в такие редчайшие минуты он как будто сознает, что есть на свете вполне земные ощущения и переживания, с которыми почти все люди стараются не расставаться как можно дольше.

Дэн обо всем сказал сестре после спектакля, за кулисами Каллоуденского театра. В тот день получено было согласие Рима; Дэну не терпелось поделиться новостью с Джестиной, хоть он и знал, что ей это совсем не понравится. Прежде он говорил ей о своих мечтах и стремлениях гораздо меньше, чем хотел бы, ведь она сразу начинала сердиться. Но в тот вечер, за кулисами, он уже не в силах был сдержать радость.

– Балда, – с отвращением сказала Джастина.

– Ничего другого я не хочу.

– Болван.

– От того, что ты меня ругаешь, ничего не изменится, Джас.

– Думаешь, я этого не понимаю? Просто ругань помогает немного отвести душу, мне необходима хоть какая-то разрядка.

– Я думал, ты неплохо разрядила свои чувства на сцене в роли Электры. Ты очень хорошо играла, Джас.

– После нынешней новости сыграю еще лучше, – мрачно пообещала Джастина. – Ты что же, пойдешь в колледж Святого Патрика?

– Нет, я еду в Рим, к кардиналу де Брикассару. Мама уже все устроила.
– Что ты, Дэн! В такую даль!
– А почему бы и тебе не поехать, ну хоть в Англию? При твоей подготовке и способностях уж наверно не так трудно поступить в какую-нибудь труппу.

Джастина сидела перед зеркалом, еще в наряде Электры, снимала грим; причудливо подведенные, в черных кругах, необыкновенные глаза ее казались еще необыкновеннее. Она медленно кивнула.

– Да, наверное, и я могу уехать, правда? – задумчиво сказала она. – Давно пора... в Австралии становится тесновато... Правильно, друг! Ты попал в точку! Англия так Англия!

– Великолепно! Ты только подумай! У меня ведь будут каникулы, в духовных семинариях учащихся отпускают, все равно как в университете. Мы подгадаем так, чтобы отдохнуть вместе, попутешествуем немного по Европе, а потом съездим домой, в Дрохеду. Я все-все обдумал, Джас! Если еще и ты будешь поблизости, все просто превосходно!

Джастина заулыбалась:

– Ну еще бы! Если я не смогу с тобой поболтать, разве это жизнь?

– Вот-вот, недаром я боялся, что ты так скажешь. – Дэн тоже улыбнулся. – Нет, серьезно, Джас, ты меня беспокоишь. Предпочитаю, чтобы ты была поближе и нам можно было бы хоть изредка видеться. А то кто же станет для тебя голосом совести?

Он скользнул между шлемом античного воина и устрашающей маской Пифии, сел на пол, собрался в комок, чтобы занимать поменьше места, – теперь он видел лицо сестры и притом ни у кого не путался под ногами. В Каллоуденском театре только у двух звезд были отдельные уборные, а Джастина пока еще не стала звездой. Она одевалась в общей артистической комнате, где непрерывно сновали взад и вперед ее подруги.

– Черт подери этого кардинала де Брикассара! – сказала она со злостью. – Я его с первого взгляда возненавидела.

Дэн засмеялся:

– Ничего подобного, это ты выдумываешь.

– Нет, возненавидела!

– Ничего подобного. Тетя Энн мне раз на Рождество рассказала, а ты не знаешь.

– Чего я не знаю? – опасливо спросила Джастина.

– Когда ты была маленькая, он поил тебя из бутылочки и укачал, и ты уснула у него на руках. Тетя Энн говорит, маленькая ты была ужасная капризуля и терпеть не могла, когда тебя брали на руки, а когда он тебя

взял, тебе очень даже понравилось.

– Враки!

– Нет, не враки. – Дэн улыбался. – А теперь, собственно, с чего ты его уж так ненавидишь?

– Ненавижу, и все. Тощий старый священник, меня от него тошнит.

– А мне он нравится. И всегда нравился. Отец Уотти называет его – истинный пастырь. И я тоже так думаю.

– Ну и так его разэтак...

– Джастина!!!

– Ага, наконец-то ты оскорблен в своих лучших чувствах! Пари держу, ты думал, я и слов таких не знаю.

Глаза Дэна заискрились смехом.

– А ты знаешь, что это значит? Ну-ка, Джасси, давай объясни мне!

Когда Дэн начинал ее поддразнивать, Джастина устоять не могла, ее глаза тоже весело заблестели.

– Ну, может, ты собираешься стать святым, балда несчастная, но если ты до сих пор не знаешь, что это такое, лучше уж и не узнавай.

Дэн стал серьезен.

– Не беспокойся, не стану.

Около него возникла пара стройных женских ножек, круто повернулась. Дэн поднял глаза, багрово покраснел, отвел глаза, сказал небрежно:

– А, Марта, привет.

– Привет.

Девушка была на диво хороша собой, талантом не отличалась, но одним своим появлением на сцене украшала любой спектакль; притом она была будто создана для Дэна, и Джастина не раз слышала, как он ею восхищался. Высокая, то, что кинокритики называют секс-бомба – очень черные волосы, черные глаза, белоснежная кожа, высокая грудь.

Марта уселась на край стола Джестины, вызываяще закинула ногу на ногу перед самым носом Дэна и устремила на него откровенно одобрительный взгляд, что его явно смущало. Господи, до чего хорош мальчик! Непостижимо, откуда у дурнушки Джас взялся такой красавчик брат? Ему, пожалуй, не больше восемнадцати, и это, пожалуй, будет совращение младенца – ну и наплевать!

– Может, зайдете ко мне, выпьете кофе и еще чего-нибудь? – предложила Марта, глядя сверху вниз на Дэна. – Я вам обоим говорю, – нехотя прибавила она.

Джастина решительно покачала головой, в глазах ее вспыхнула некая

невысказанная мысль.

– Нет, спасибо, мне некогда. Придется тебе удовольствоваться одним Дэном.

Но и Дэн покачал головой так же решительно, однако не без сожаления, видно, соблазн и правда был велик.

– Спасибо, Марта, но мне некогда. – Он глянул на часы, как на якорь спасения. – Ох, мне надо бежать. Ты скоро, Джас?

– Минут через десять буду готова.

– Я подожду на улице, ладно?

– Трусишка! – усмехнулась Джастина.

Марта проводила его задумчивым взглядом черных глаз.

– Просто великолепен. Только почему он на меня не смотрит?

Джастина криво усмехнулась, наконец-то она сняла грим. Опять вылезли на свет веснушки. Может быть, хоть Лондон поможет от них избавиться, там нет солнца.

– Смотрит, не беспокойся. И он бы не прочь. Да только не станет. Это ж Дэн.

– А почему? Что с ним, собственно, такое? Только не говори мне, что он гомик! Черт, почему, сколько я ни встречаю великолепных мужчин, все оказываются гомиками? Но про Дэна я никогда не думала, по-моему, совсем не похоже.

– Придержи язык, дуреха несчастная! Никакой он не гомик. Попробовал бы он поглядеть на душку Уильяма, на нашего героя-любовничка, я им живо обоим головы оторву.

– Ну хорошо, если он не такой и если не прочь, за чем дело стало? Может, он меня не понял? Или, может, он думает, я для него стара?

– Деточка, не волнуйся, для обыкновенного мужчины ты и в сто лет не будешь стара. Нет, этот дурак на всю жизнь отказался от секса. Он намерен стать священником.

Пухлые губы Марты изумленно приоткрылись, она отбросила свою черную гриву за спину.

– Брось шутки шутить!

– Я правду говорю.

– Так что же, все это пропадет понапрасну?

– Боюсь, что да. Он все отдаст Господу Богу.

– Тогда Господь Бог сам гомик, почище душки Уилли.

– Пожалуй, ты права, – сказала Джастина. – Женщины ему, во всяком случае, не по вкусу. Мы же второй сорт, галерка. Ложи и первые ряды партера – только для мужчин.

– О-о.

Джастина выпуталась из одеяний Электры, натянула легкое ситцевое платьишко; вспомнив, что на улице холод, надела сверху джемпер и снисходительно погладила Марту по голове:

– Не расстраивайся, деточка. С тобой Господь Бог обошелся очень великодушно – не дал мозгов. Поверь, без них куда удобнее. Ты никогда не будешь соперницей сильного пола.

– Ну, не знаю, я совсем не прочь посоперничать с Господом Богом из-за твоего брата.

– Даже не думай. Святую церковь не одолеешь, безнадежная затея. Душку Уилли – и того ты скорее соблазнишь, можешь мне поверить.

Машина, присланная из Ватикана, встретила Дэна в аэропорту и помчала по выцветшим солнечным улицам, полным красивых улыбчивых людей; он так и прилип к окну, вне себя от восторга, вот счастье – увидеть собственными глазами все, что знал лишь по картинкам: колонны Рима, роскошные дворцы и собор Святого Петра во всем великолепии Ренессанса.

И – на сей раз весь в алом с головы до ног – его ждет Ральф Рауль, кардинал де Брикассар. Протянута рука, сверкает перстень; Дэн опустил на колени, поцеловал перстень.

– Встань, Дэн, дай на тебя посмотреть.

Он встал, улыбнулся кардиналу; оба очень высокие, они были одного роста и прямо смотрели друг другу в глаза. Дэну представлялось, этот человек излучает непостижимое величие духа, он больше похож на папу, чем на святого, но вот глаза не как у папы, бесконечно печальные. Сколько же он, должно быть, выстрадал и с каким благородством возвысился над своим страданием, чтобы стать совершеннейшим из пастырей!

А кардинал Ральф смотрел на сына, не подозревая, что это его сын, и воображал, будто юноша мил ему оттого, что это сын милой Мэгги. Вот таким он хотел бы видеть своего родного сына, будь это возможно, – таким высоким, стройным, изящным, поразительно красивым. Никогда и ни у кого он не видел такого изящества в каждом движении. Но несравнимо отраднее, чем красота внешняя, открытая красота души. В этом мальчике чувствуется ангельская сила и что-то ангельски неземное. А сам он – был ли он таким в восемнадцать лет? Кардинал пытался припомнить, вернуться вспять лет на тридцать, к началу своей столь богатой событиями жизни; нет, таким он не был никогда. Быть может, потому, что этот действительно сам избрал свою судьбу? Ведь Ральф де Брикассар не выбирал сам, хотя

призвание и чувствовал, в этом он не сомневается и сейчас.

– Садись, Дэн. Начал ли ты изучать итальянский язык, как я тебя просил?

– Я уже говорю свободно, только идиомами не владею, и читаю неплохо. Наверное, я легче научился, потому что это уже мой четвертый иностранный язык. Языки мне даются очень легко. Недели через две – через месяц, думаю, я здесь сумею усвоить и живые разговорные обороты.

– Конечно, усвоишь. Мне тоже языки даются легко.

– Способности к языкам – это вообще удобно, – запинаясь выговорил Дэн. Внушительная фигура в алом облачении его смущала; вдруг показалось неправдоподобным, что этот человек ездил когда-то в Дрохеде на каурум мерине.

Кардинал наклонился к нему, всмотрелся в лицо. «Поручаю его тебе, Ральф, – писала Мэгги. – Теперь ты в ответе за его благополучие, за его счастье. Возвращаю то, что украла. Жизнь от меня этого требует. Только обещай мне две вещи, тогда я буду спокойна, буду знать, что ты действительно заботишься о его благе. Во-первых, прежде чем принять его, удостоверься, что он и в самом деле по-настоящему хочет выбрать такую судьбу. И во-вторых, если он и вправду этого хочет, следи за ним, проверяй, не изменились ли его желания. Если он разочаруется, пускай вернется ко мне. Ведь он прежде всего мой. Ведь я сама отдаю его тебе».

– Дэн, ты уверен, что не ошибся в выборе? – спросил кардинал.

– Вполне уверен.

– Почему?

Странно отрешенный взгляд у мальчика, и смущает в нем что-то очень знакомое, но словно бы из далекого прошлого.

– Потому что полон любви к Господу. И хочу служить ему всю жизнь.

– Понимаешь ли ты, чего потребует от тебя это служение, Дэн?

– Понимаю.

– Понимаешь ли, что никакая иная любовь не должна встать между тобой и Богом? Что ты всецело должен будешь принадлежать ему и от всех иных привязанностей отказаться?

– Понимаю.

– И во всем исполнять волю его, и ради служения ему похоронить свою личность, свое отдельное «я», ощущение своей единственности и неповторимости?

– Понимаю.

– Что во имя его, если надо, ты должен претерпеть и голод, и неволю, и смерть? И не должен ничем владеть, ничего ценить, что могло бы хоть

сколько-нибудь умалить твою любовь к Господу?

– Понимаю.

– Довольно ли у тебя силы, Дэн?

– Я мужчина, ваше высокопреосвященство. Прежде всего я мужчина. Я знаю, будет трудно. Но я молюсь, и Господь поможет мне найти силы.

– И ты не можешь иначе, Дэн? Никакой иной путь тебя не удовлетворит?

– Нет.

– А как ты поступишь, если потом передумаешь?

– Ну, тогда я попрошу отпустить меня из семинарии, – сказал Дэн, удивленный этим вопросом. – Если я передумаю, это будет только означать, что я ошибся, не понял своего призвания. Тогда следует просить, чтобы меня отпустили. Моя любовь к Господу ничуть не станет меньше, но тогда я буду знать, что он ждет от меня иного служения.

– А понимаешь ли ты, что, когда ты уже дашь последний обет и примешь сан, возврата больше не будет, ничто и никогда тебя не освободит?

– Понимаю, – терпеливо ответил Дэн. – Но если надо будет принять иное решение, я приму его заранее.

Ральф со вздохом откинулся на спинку кресла. Был ли он когда-то столь твердо уверен в своем выборе? Была ли в нем такая сила?

– Почему ты приехал ко мне, Дэн? Почему захотел поехать в Рим? Почему не остался в Австралии?

– Это мама предложила, но я давно мечтал о Риме. Только думал, что на это нет денег.

– Твоя мама очень мудрая женщина. Разве она не говорила тебе?

– О чем, ваше высокопреосвященство?

– О том, что у тебя пять тысяч фунтов годового дохода и еще много тысяч лежит на твоём счету в банке?

Дэн нахмурился:

– Нет. Она никогда мне не говорила.

– Очень мудро. Но деньги эти существуют, и Рим в твоём распоряжении, если хочешь. Так хочешь ты остаться в Риме?

– Да.

– А почему ты хотел приехать ко мне, Дэн?

– Потому что вы для меня – пример истинного пастыря, ваше высокопреосвященство.

Кардинал болезненно поморщился:

– Нет, Дэн, ты не должен смотреть на меня так. Я далеко не

примерный пастырь. Пойми, я нарушал все мои обеты. Тому, что ты, видно, уже знаешь, мне пришлось учиться мучительнейшим для священника путем – нарушая обеты. Ибо я не хотел признать, что я прежде всего простой смертный, а потом уже священник.

– Это ведь не важно, ваше высокопреосвященство, – тихо сказал Дэн. – Все равно вы для меня пример истинного пастыря. Просто, мне кажется, вы не поняли, о чем я говорил. Для меня идеал – совсем не какой-то бездушный автомат, недоступный слабостям человеческой плоти. Я говорил о том, что вы страдали и этим возвысились. Может быть, это звучит самоуверенно? Право, я этого не хотел. Если я оскорбил вас, простите. Очень трудно найти нужные слова! Я хотел сказать, чтобы стать истинным пастырем, нужны годы и тяжкие страдания и все время надо иметь перед собой идеал и помнить о Господе.

Зазвонил телефон; нетвердой рукой кардинал снял трубку, заговорил по-итальянски.

– Да, благодарю, мы сейчас же придем. – Он поднялся. – Время пить чай, и нас ждет мой старинный друг. Он, пожалуй, самый значительный служитель церкви после папы. Я говорил ему, что ты придешь, и он выразил желание с тобой познакомиться.

– Спасибо, ваше высокопреосвященство.

И они пошли коридорами, потом красивыми садами, совсем не такими, как в Дрохеде, мимо высоких кипарисов и тополей, мимо аккуратных прямоугольных газонов, вдоль которых вели прямые широкие галереи, мощенные мшистыми каменными плитами; шли мимо готических арок, под мостиками в стиле Возрождения. Дэн жадно все это впивал, все его восхищало. Удивительный мир, так не похожий на Австралию, древний, вечный.

Хотя шли быстро, это заняло добрых пятнадцать минут; вошли во дворец, поднялись по величественной мраморной лестнице, вдоль стен, увешанных бесценными гобеленами.

Витторио Скарбанца, кардиналу ди Контини-Верчезе, уже минуло шестьдесят шесть, он страдал ревматизмом и утратил былую стройность и подвижность, но ум его, живой и острый, был все тот же. На коленях у него, мурлыча, свернулась нынешняя любимица, сибирская дымчатая кошка Наташа. Он не мог подняться навстречу посетителям, а потому лишь приветливо улыбнулся и сделал знак войти. Взглянул на давно милое ему лицо Ральфа, потом на Дэна О’Нила... Глаза его расширились, потом сузились, неподвижным взглядом впились в юношу. Испуганно трепыхнулось сердце, рука, приветливо протянутая к гостям, невольно

прижалась к груди, словно защищая это старое сердце от боли, – кардинал сидел и оцепенело, бессмысленно смотрел на молодую копию Ральфа де Брикассара.

– Витторио, вы нездоровы? – с тревогой спросил Ральф и осторожно взялся за хрупкое запястье, нащупывая пульс.

– Нисколько. Пустяки, минутная боль. Садитесь, садитесь.

– Прежде всего позвольте представить вам Дэна О’Нила, как я вам уже рассказывал, он – сын моего очень давнего близкого друга. Дэн, это его высокопреосвященство кардинал ди Контини-Верчезе.

Дэн опустил на колено, прижался губами к кардинальскому перстню; поверх склоненной золотистой головы кардинал Витторио посмотрел на Ральфа, взгляделся в лицо так зорко, так испытующе, как не вглядывался уже много лет. И стало чуть легче: так, значит, она ничего ему не сказала. А сам он, конечно, не подозревает того, что мгновенно придет на ум всякому, кто увидит их рядом. Не догадаются, конечно, что это отец и сын, но сразу поймут – близкое кровное родство. Бедный Ральф! Он ведь никогда не видел со стороны своей походки, выражения лица, никогда не замечал, как вздергивается его левая бровь. Поистине милосерден Господь, что создает людей слепцами.

– Садитесь. Сейчас подадут чай. Итак, молодой человек, вы желаете принять сан и обратились к помощи кардинала де Брикассара?

– Да, ваше высокопреосвященство.

– Вы мудро выбрали. При таком наставнике с вами не случится ничего дурного. Но мне кажется, вас что-то тревожит, сын мой, – может быть, смущает незнакомая обстановка?

Дэн улыбнулся улыбкой Ральфа, в ней только не было, пожалуй, присущего Ральфу сознательного желания очаровать, и все же то была улыбка Ральфа, и старое усталое сердце содрогнулось, будто его мимоходом хлестнули колючей проволокой.

– Я потрясен, ваше высокопреосвященство. Раньше я не представлял по-настоящему, как высоко стоят кардиналы. Мне и не снилось, что меня встретят в аэропорту и что я буду пить чай с вами!

– Да, это не совсем обычно... может даже взволновать, понимаю. А вот и чай! – Он с удовольствием следил, как на столике расставляют все, что полагается, потом предостерегающе поднял палец: – Нет-нет! «Хозяюшкой» буду я сам. Как вам налить, Дэн?

– Так же, как Ральфу, – ответил Дэн и покраснел до ушей. – Простите, ваше высокопреосвященство, я нечаянно оговорился!

– Ничего, Дэн, кардинал ди Контини-Верчезе понимает. Мы с тобой

познакомились когда-то просто как Дэн и Ральф и оттого только лучше узнали друг друга, ведь правда? А церемонное обращение для нас еще внове. Я предпочитаю, чтобы в частной жизни мы оставались друг для друга Ральфом и Дэном. Монсеньор не станет возражать – правда, Витторио?

– Да, правда. Я и сам люблю называть людей просто по имени. Но вернемся к тому, что я говорил о высокопоставленных друзьях, сын мой. Какую бы семинарию вы ни избрали, когда вы туда поступите, старинная дружба с нашим Ральфом может поставить вас в несколько неловкое положение. Очень утомительно будет вдаваться в объяснения всякий раз, как кто-то что-то заметит по этому поводу. Господь порою разрешает нам ложь во спасение. – Кардинал Витторио улыбнулся, блеснул золотыми зубами. – И для всеобщего удобства я предпочел бы, чтобы мы прибегли к такой маленькой невинной выдумке. Объяснить просто и понятно тонкие узы дружбы – задача не из легких. Зато очень легко и просто объяснить узы кровного родства. А потому скажем всем, что кардинал де Брикассар вам приходится родным дядей, друг мой Дэн, на том и порешим, – с любезнейшей улыбкой договорил кардинал Витторио.

Дэн явно был поражен и смущен, кардинал Ральф покорно наклонил голову.

– Не разочаруйтесь в великих мира сего, сын мой, – мягко сказал кардинал Витторио. – И у них есть свои слабости, и они тоже для удобства порой прибегают к невинной лжи во спасение. Вы сейчас получили весьма полезный урок, хотя, похоже, едва ли им когда-нибудь воспользуетесь. Однако вам следует понять, что мы, господа в алом облачении, дипломаты до мозга костей. Поверьте, сын мой, я забочусь единственно о вас. Злоба и зависть обитают не только в светских институтах, но и в духовных семинариях. Вам придется терпеть недоброжелательство соучеников, оттого что они станут считать Ральфа вашим дядей, братом вашей матери, но пришлось бы вытерпеть много больше, если бы думали, что вас не соединяют узы крови. Все мы прежде всего люди – и здесь, так же как в любом ином окружении, вы будете иметь дело с людьми.

Дэн склонил голову, потом протянул руку, хотел было погладить кошку, но приостановился.

– Можно, ваше высокопреосвященство? Я люблю кошек.

Нельзя было бы найти пути вернее и короче к старому, неизменному в своих привязанностях сердцу.

– Можно. Признаюсь, для меня она становится тяжеловата. Она большая лакомка – правда, Наташа? Поди к Дэну, он помоложе и покрепче.

Джастине не так просто было перенестись со всеми своими пожитками из Южного полушария в Северное, как Дэну; он пробыл в Риме уже два месяца, когда сестра закончила сезон в Каллоуденском театре и не без сожаления простилась со своей квартиркой в Босуэл-гарденс.

– И откуда у меня набралось столько барахла? – недоумевала она, оглядывая разбросанные по комнате платья, газеты и коробки.

Мэгги, сидя на корточках на полу, подняла голову, в руках у нее оказалась коробка проволочных мочалок для кастрюль.

– А это зачем у тебя под кроватью?

На раскрасневшемся лице дочери вдруг выразилось огромное облегчение.

– Ох, слава тебе Господи! Значит, вот они где! А я думала, их слопал драгоценный пудель нашей миссис Дивайн, он уже целую неделю что-то киснет, и я просто боялась сказать, что мои мочалки куда-то подевались. Была убеждена, что он их сожрал, эта скотина лопаёт все, что не может слопать его самого. Вообще-то я ничуть бы не огорчилась, если б он отправился к праотцам, – прибавила она задумчиво.

Мэгги, все еще сидя на корточках, рассмеялась.

– Ну-ну, Джас! С тобой не соскучишься. – Она кинула коробку с мочалками на кровать, где уже громоздились кучи всякой всячины. – Ты не делаешь чести Дрохеде, милая моя. А мы-то старались, приучали тебя к чистоте и аккуратности.

– Напрасный труд, я тебе давно могла это сказать. Может, возьмешь эти мочалки обратно в Дрохеду? На пароход я могу взять багажа сколько угодно, но в Лондоне, надо полагать, мочалок хватает.

Мэгги отложила коробку в большую картонку с надписью «Миссис Д.».

– Отдадим их хозяйке, ей надо будет изрядно потрудиться, пока она сможет опять сдать эту квартиру. После тебя тут жить нельзя. – На одном конце стола высилась шаткая колонна невымытых тарелок, на них кое-где устрашающими усами топорщилась плесень. – Ты что, совсем никогда посуду не моешь?

Джастина фыркнула, не проявляя ни малейшего раскаяния:

– Дэн говорит, я посуду не мою, а брею.

– Сперва тебе придется ее подстричь. Почему не вымыть тарелку сразу после еды?

– Потому что пришлось бы лишний раз путешествовать на кухню, а я обычно ем после полуночи, в эту пору никто не восхищается моей легкой

походкой.

– Дай мне какой-нибудь пустой ящик. Я сейчас же снесу их вниз и покончу с этим, – покорно сказала Мэгги.

Когда она вызвалась приехать и помочь дочери со сборами, она предвидела, что ее ждет, и даже с удовольствием это предвкушала. Джастина не часто принимала чью-либо помощь, и всякий раз, предлагая что-нибудь для нее сделать, Мэгги под конец чувствовала себя преглупо. Но на сей раз все наоборот: в делах хозяйственных помогай, сколько душе угодно, и можно не чувствовать себя душой.

Со сборами кое-как справились, и в том же фургоне, который Мэгги привела из Джилли, они с Джестиной отбыли в отель «Австралия», где Мэгги сняла большой номер.

– Не худо бы нашему семейству купить дом на Палм-Бич или в Авалоне, – сказала Джастина, опуская чемодан на пол во второй спальне. – Тут просто ужасно, прямо над площадью, а там, представляешь, два шага – и ты на пляже. Может, тогда вы соблазнитесь и станете почаще вылезать из Джилли?

– А зачем мне выбираться хотя бы и в Сидней? За последние семь лет я тут всего второй раз, провожала Дэна, а вот теперь тебя. Если б у нас еще где-то был свой дом, он бы всегда пустовал.

– Бредятина.

– Почему?

– Почему? Да потому, что свет не сошелся клином на этой паршивой Дрохеде, черт бы ее драл! Я когда-нибудь спячу от этой дыры!

Мэгги вздохнула:

– Можешь мне поверить, Джастина, когда-нибудь тебя отчаянно потянет домой, в эту самую Дрохеду.

– И Дэна, по-твоему, тоже?

Молчание. Не глядя на дочь, Мэгги взяла со стола свою сумку.

– Мы опаздываем. Мадам Роше ждет нас в два часа. Если ты хочешь, чтобы платья были готовы до твоего отъезда, нам надо поторапливаться.

– Вот меня и поставили на место, – усмехнулась Джастина.

– Послушай, Джастина, а почему ты меня не знакомишь ни с кем из твоих подруг? Кроме миссис Дивайн, я в доме ни души не видела, – сказала Мэгги, когда они уже сидели в ателье Жермен Роше и перед ними одна за другой выступали, охорашиваясь, томные, кокетливые манекенщицы.

– Ну, они такие застенчивые... Мне нравится вон то, оранжевое, а тебе?

– К твоим волосам не подходит. Лучше это, серое.

– Пф-ф! Оранжевый прекрасно идет к моим волосам. А в сером я буду вроде дохлой мыши, которую кошка еще и по грязи проволокла. Отстаешь от века, мама. Рыжим теперь вовсе незачем одеваться только в белое, серое, черное, изумрудно-зеленое или в этот ужасный цвет, на котором ты помешана, – как бишь его, пепел розы? Викторианская древность!

– Название этого цвета ты усвоила, – подтвердила Мэгги. Повернулась, посмотрела на дочь. – Ты чудовище, – проворчала она сердито, но и с нежностью.

Джастина и глазом не моргнула, ей не впервой было это слышать.

– Я возьму оранжевое, ярко-красное, ситцевое с лиловым узором, светло-зеленое, вишневый костюм...

Мэгги не знала, злиться или смеяться – ну что поделаешь с такой вздорной девчонкой?

Пароход «Гималаи» отходил из Дарлингского порта через три дня. Это была славная, очень надежная старая посудина с широким корпусом, построенная еще в пору, когда никого не одолевала бешеная спешка и люди спокойно мирились с тем обстоятельством, что через Суэцкий канал плыть до Англии надо месяц, а вокруг мыса Доброй Надежды – и все пять недель. А в наше время даже океанским лайнерам придают обтекаемую форму, корпус у них узкий, будто у эсминцев, – все во имя скорости. Но на таком кораблике подчас несладко и заправскому морскому волку, а каково пассажиру с чувствительным желудком...

– Вот потеха! – смеялась Джастина. – В первом классе едут футболисты, целая команда, так что будет не скучно. Там есть просто ослепительные парни.

– Ну, теперь ты рада, что я заставила тебя ехать первым классом?

– Да, пожалуй.

– Джастина, вечно ты меня бесишь, я из-за тебя становлюсь сущей ведьмой! – вспылила Мэгги, ей казалось, поведение Джастины – верх неблагодарности. Скверная девчонка, хоть бы на этот раз притворилась, что ей жаль уезжать! – До чего упрямая, капризная, несносная! Никакого терпения с тобой нет!

Джастина ответила не сразу, отвернулась, будто звон колокола – сигнал провожающим сходить на берег – занимает ее куда больше, чем слова матери. Губы ее задрожали, но она прикусила их и изобразила самую что ни на есть лучезарную улыбку.

– А я знаю, что вывожу тебя из терпения! – весело обернулась она к матери. – Что поделаешь, уж такие у нас характеры. Ты сама всегда говоришь, я вся в отца.

Они смущенно обнялись, и Мэгги с облегчением нырнула в толпу на сходнях и затерялась в ней. А Джастина поднялась на верхнюю палубу и остановилась у перил, сжимая в руке клубки разноцветного серпантина. Далеко внизу, на пристани, она увидела розовато-пепельное платье и знакомую шляпу – мать отошла к условленному месту, подняла голову, козырьком приставила руку ко лбу, чтобы лучше видеть. Странно, издали заметнее, что маме уже сильно за сорок. Правда, пятидесяти еще нет, но в осанке возраст чувствуется. Они разом помахали друг другу, потом Джастина кинула первую ленту серпантина, и Мэгги ловко поймала конец. Красная, синяя, желтая, розовая, зеленая ленты вились, кружились, трепыхались на ветру.

Футболистов провожал духовой оркестр – развевались флажки, раздувались шотландские юбки, пронзительно звучали причудливые вариации шотландской песни «Наш час настал». Вдоль борта толпились пассажиры, перегибались через поручни, сжимая концы узких бумажных лент; а на пристани провожающие задирали головы, жадно всматривались на прощание в лица, почти все молодые, – в тех, кто отправлялся в другое полушарие посмотреть собственными глазами на средоточие цивилизации. Молодежь будет там жить, работать, года через два кое-кто вернется домой, иные не вернутся никогда. Все понимали это, и каждый гадал, что ждет впереди.

По синему небу катились пухлые серебристо-белые облака, дул сильный, истинно сиднейский ветер. Солнце жгло запрокинутые лица провожающих, спины тех, кто склонился над поручнями; берег и пароход соединяло несчетное множество пестрых трепещущих лент. И вдруг между бортом старого корабля и досками пристани появилась брешь; воздух взорвался криками, плачем, тысячи бумажных лент лопнули, заплескались на ветру, поникли, в беспорядке упали на воду, будто порвалась основа на огромном ткацком станке, и вперемешку с медузами и апельсиновыми корками их медленно понесло прочь.

Джастина стояла у поручней, пока от пристани не осталось лишь несколько прочерченных в отдалении прямых линий и розоватых булавочных головок; буксиры развернули пароход, провели послушную махину под гулким пролетом Сиднейского моста к выходу из великолепной, сияющей на солнце гавани.

Да, это было совсем, совсем не то, что прокатиться на пароме в Мэнли, хотя путь тот же – мимо Ньютрел-Бей и Роуз-Бей, мимо Креморна и Воклюза. Ведь теперь остались позади и вход в гавань, и свирепые скалы, и высоко взлетающие кружевные веера пены – и впереди распахнулся океан.

Путь в двенадцать тысяч миль по океану, на другой конец света. Возвратятся ли они на родину, нет ли, но отныне они не дома ни здесь ни там, потому что побывают на двух разных континентах и изведают два разных уклада жизни.

* * *

Для тех, у кого есть деньги, Лондон полон очарования, в этом Джастина не замедлила убедиться. Ей не пришлось без гроша в кармане ютиться где-нибудь на краю Эрл-Корт – в «долине кенгуру», как прозвали этот район, потому что здесь обычно селились австралийцы. Ее не ждала обычная участь австралийцев в Англии – тех, что находили приют в общежитиях для молодежи, зарабатывали на хлеб где-нибудь в конторе, в больнице или школе, дрожа от холода, жались к чуть теплым батареям в сырых, промозглых каморках. Нет, Джастина обосновалась в уютной квартирке с центральным отоплением в Кенсингтоне, возле Найтсбриджа, и поступила в Елизаветинскую группу Клайда Долтинхем-Робертса.

Настало лето, и она отправилась поездом в Рим. В последующие годы она с улыбкой будет вспоминать, как мало видела за эту поездку через всю Францию и дальше по Италии, – слишком поглощена была тем, что уж непременно надо сказать Дэну, старательно запоминала самое важное, как бы не забыть. Столько всего набралось, обо всем не расскажешь.

Но неужели это Дэн? Вот этот человек на перроне, высокий, светловолосый – это Дэн? Словно бы он ничуть не изменился – и все-таки чужой? Из другого мира. Джастина уже хотела его окликнуть, но крик замер на губах; она откачнулась назад на сиденье, присматриваясь – ее вагон остановился почти напротив того места, где стоял Дэн, синими глазами спокойно оглядывая окна. Да, однобокая будет беседа, она-то собралась рассказывать о том, как жила после его отъезда, но теперь ясно – он вовсе не жаждет делиться с ней тем, что испытал сам. О, чтоб ему! Нет у нее прежнего младшего братишки, в теперешней его жизни так же мало общего с ней, Джастиной, как было прежде с Дрохедой. Дэн, Дэн! Каково это, когда все твое существование дни и ночи, изо дня в день, отдано чему-то одному?

– Ха! Ты уж думал, я зря тебя сюда вытащила, а сама не приехала? – спросила она, незаметно подойдя к брату сзади.

Он обернулся, стиснул ее руки, с улыбкой посмотрел на нее сверху

вниз.

– Балда, – сказал он с нежностью, подхватил тот ее чемодан, что был побольше, свободной рукой взял сестру под руку. – До чего я рад тебя видеть!

Он усадил ее в красную «лагонду», на которой всюду разъезжал: он всегда помешан был на спортивных машинах, и у него была своя с тех пор, как он стал достаточно взрослым, чтобы получить права.

– И я рада. Надеюсь, ты подыскал мне уютную гостиницу, я ведь серьезно тебе писала – не желаю торчать в какой-нибудь ватиканской келье среди кучи вечных холостяков, – засмеялась Джастина.

– Тебя туда и не пустят, такую рыжую ведьму. Будешь жить в маленьком пансионе, это близко от меня, и там говорят по-английски, так что сможешь объясниться, если меня не будет под рукой. И вообще в Риме ты не пропадешь, всегда найдется кто-нибудь, кто говорит по-английски.

– В таких случаях я жалею, что у меня нет твоих способностей к языкам. А вообще справлюсь, я ведь мастерица на шарады и мимические сценки.

– У меня два месяца свободных, Джасси, правда, здорово? Мы можем поездить по Франции, по Испании, и еще останется месяц на Дрохеду. Я соскучился.

– Вот как? – Джастина повернулась, посмотрела на брата, на красивые руки, искусно ведущие машину в потоке, бурлящем на улицах Рима. – А я ничуть не соскучилась. В Лондоне очень интересно.

– Ну, меня не проведешь, – возразил Дэн. – Я-то знаю, как ты привязана к маме и к Дрохеде.

Джастина не ответила, только стиснула руки на коленях.

– Чай пить пойдем к моим друзьям, не возражаешь? – спросил Дэн, когда они были уже в пансионе. – Я заранее принял за тебя приглашение. Они очень хотят тебя повидать, а я до завтра еще не свободен и мне неудобно было отказываться.

– Балда! С чего мне возражать? Если б ты приехал в Лондон, я свела бы тебя с кучей моих друзей, почему бы тебе здесь не свести меня со своими? С удовольствием погляжу на твоих приятелей по семинарии, хотя это немножко несправедливо, ведь они все для меня под запретом – смотреть смотри, а руками не трогай.

Она подошла к окну, посмотрела на невзрачную маленькую площадь – мощный прямоугольник, на нем два чахлах платана, под платанами три столика, по одной стороне – церковь, построенная без особой заботы об изяществе и красоте, штукатурка стен облупилась.

– Дэн...

– Да?

– Я все понимаю, честное слово.

– Знаю, Джас. – Улыбка сбежала с его лица. – Вот если бы и мама меня поняла.

– Мама – другое дело. Ей кажется, что ты ей изменил, ей невдомек, что никакая это не измена. Не огорчайся. Постепенно до нее дойдет.

– Надеюсь. – Дэн засмеялся. – Кстати, ты сегодня встретишься не с моими приятелями по семинарии. Я не решился бы ни их, ни тебя подвергать такому искушению. Мы пьем чай у кардинала де Брикассара. Я знаю, ты его не любишь, но обещаю быть паинькой.

Глаза Джастины вспыхнули очаровательнейшим лукавством.

– Обещаю! Я даже перецелую все его кольца.

– А, ты не забыла! Я страшно разозлился на тебя тогда, надо ж было так меня перед ним осрамить.

– Ну, с тех пор я много чего перецеловала, и это было еще менее гигиенично, чем перстень священника. В актерском классе есть один отвратный прыщавый юнец, у него не в порядке миндалина и желудок и прмерзко пахнет изо рта, а мне пришлось его целовать ровным счетом двадцать девять раз, так что, знаешь ли, после этого мне уже ничего не страшно. – Джастина пригладила волосы, отвернулась от зеркала. – Успею я переодеться?

– Можешь не беспокоиться. Ты и так прекрасно выглядишь.

– А кто еще там будет?

Солнце уже стояло так низко, что не грело старинную площадь, стволы платанов с облупившейся корой казались больными и дряхлыми, будто пораженные проказой. Джастина вздрогнула, ей стало зябко.

– Будет еще кардинал ди Контини-Верчезе.

Имя это было знакомо Джастине, глаза у нее стали совсем круглые.

– Ого! Ты возвращаешься в таких высоких сферах?

– Да. Стараюсь это заслужить.

– А может быть, из-за этого в других кругах тебе с людьми приходится нелегко, Дэн? – проницательно заметила сестра.

– Да нет, в сущности. Не важно, кто с кем знаком. Я совсем об этом не думаю, и другие тоже.

Что за комната, что за люди в красном! Никогда еще Джастина так остро не сознавала, что есть мужчины, в чьей жизни женщинам нет места. В эти минуты она вступила в мир, куда женщины допускались лишь как смиренные прислужницы-монахини. На ней по-прежнему был помятый в

вагоне оливково-зеленый полотняный костюм, который она надела, выезжая из Турина, и, ступая по мягкому пунцовому ковру, она мысленно кляла Дэна – надо ж было ему так спешить сюда, напрасно она не переоделась с дороги!

Кардинал де Брикассар с улыбкой шагнул ей навстречу; уже очень немолод, но до чего красив!

– Джастина, дорогая! – Он протянул руку с перстнем, посмотрел не без ехидства: явно помнит ту, прежнюю, встречу; пытливо взгляделся в ее лицо, словно что-то искал, а что – непонятно. – Вы совсем не похожи на свою мать.

Она опустила на одно колено, поцеловала перстень, смиренно улыбнулась, встала, улыбнулась уже не так смиренно.

– Ничуть не похожа, правда? При моей профессии мне совсем не помешала бы мамина красота, но на сцене я кое-как справляюсь. Там ведь, знаете, совершенно не важно, какое у тебя лицо на самом деле. Важно, умеешь ли ты, актриса, убедить людей, что оно у тебя такое, как надо.

В кресле поодаль кто-то коротко засмеялся; Джастина подошла и почтительно поцеловала еще один перстень на иссохшей старческой руке, но теперь на нее смотрели черные глаза, и вот что поразительно: смотрели с любовью. С любовью к ней, хотя этот старик видел ее впервые и едва ли что-нибудь о ней слышал. И все-таки он смотрит на нее с любовью. К кардиналу де Брикассару она и сейчас отнюдь не испытывает нежных чувств, как не испытывала в пятнадцать лет, а вот этот старик сразу пришелся ей по сердцу.

– Садитесь, дорогая. – И кардинал Витторио указал ей на кресло рядом с собой.

– Здравствуй, киска, – сказала Джастина и почесала шею дымчатой кошке, расположившейся на его обтянутых алым шелком коленях. – Какая славная, правда?

– Да, очень.

– А как ее зовут?

– Наташа.

Дверь открылась, но появился не чайный столик. Вошел, слава тебе Господи, вполне обыкновенно одетый человек. «Еще одна красная сутана – и я взреву, как бык», – подумала Джастина.

Но это был не совсем обыкновенный человек, хотя и не священник. Наверное, у них тут в Ватикане есть еще и такой порядок, мелькнуло в беспорядочных мыслях Джестины, что заурядным людям сюда доступа нет. Этот не то чтобы мал ростом, но на редкость крепкого сложения и потому

кажется более коренастым, чем есть на самом деле: могучие плечи, широкая грудь, крупная львиная голова, руки длинные, точно у стригалы. Что-то в нем обезьянье, но весь облик дышит умом, и по движениям и походке чувствуется – он быстрый как молния: если чего-то захочет, тотчас схватит, опомниться не успеешь. Схватит и, может быть, стиснет в руке и раздавит, но не бесцельно, не бессмысленно, а с тончайшим расчетом. Кожа у него смуглая, а густая львиная грива – в точности цвета тонкой стальной проволоки и, пожалуй, такая же на ощупь, если стальную проволоку, пусть самую тонкую, можно уложить аккуратными мягкими волнами.

– Вы как раз вовремя, Лион, – сказал кардинал Витторио все еще по-английски и указал вошедшему на кресло по другую руку от себя. – Дорогая моя, – сказал он Джастине, когда тот поцеловал его перстень и поднялся, – познакомьтесь, это мой близкий друг, герр Лион Мёрлинг Хартгейм. Лион, это Джастина, сестра Дэна.

Хартгейм церемонно поклонился, щелкнув каблуками, коротко, довольно холодно улыбнулся Джастине и сел поодаль, так что она со своего места не могла его видеть. Джастина вздохнула с облегчением; вдобавок, по счастью, Дэн с привычной непринужденностью опустился на пол возле кресла кардинала де Брикассара, как раз напротив нее. Пока она видит хоть одно знакомое, а тем более любимое, лицо, ей ничего не страшно. Однако эта комната и люди в красном, а теперь еще и этот, смуглый и хмурый, начинали ее злить куда больше, чем успокаивало присутствие Дэна: отгородились от нее, дают знать, что она здесь чужая! Что ж, она перегнулась в кресле и опять начала чесывать кошку, чувствуя, что кардинал Витторио заметил ее досаду и это его забавляет.

– Ее обработали, котят не будет?

– Разумеется.

– Разумеется! Хотя не знаю, чего ради вы беспокоились. Довольно уже только жить в этих стенах, тут кто угодно станет бесполом.

– Напротив, моя дорогая, – с истинным удовольствием глядя на нее, возразил кардинал Витторио, – мы, люди, сами сделали себя психологически бесполом.

– Позвольте с вами не согласиться, ваше высокопреосвященство.

– Стало быть, наш скромный мирок вам пришелся не по душе?

– Ну, скажем так, я чувствую себя здесь немного лишней, ваше высокопреосвященство. Приятно побывать у вас в гостях, но жить здесь постоянно я бы не хотела.

– Не могу вас за это осуждать. Я даже не уверен, что вам приятно здесь гостить. Но вы к нам привыкнете, потому что, надеюсь, будете у нас

частой гостьей.

Джастина усмехнулась.

– Терпеть не могу быть благонаправной, – призналась она. – Во мне сразу просыпаются самые зловредные качества характера... Дэн, конечно, уже от меня в ужасе, я, и не глядя на него, это чувствую.

– Я только гадал, надолго ли хватит твоего благонаравия, – ничуть не смущаясь, отозвался Дэн. – Джастина ведь воплощенный дух непокорства и противоречия. Поэтому я и не желаю лучшей сестры. Сам я отнюдь не бунтарь, но восхищаюсь непокорными.

Хартгейм немного передвинул свое кресло, чтобы не терять Джастину из виду, когда она перестала играть с кошкой и выпрямилась. Рука с незнакомым женским запахом уже наскучила пушистой красавице – и она, не вставая, гибким движением перебралась с коленей, обтянутых красным, на серые, свернулась в клубок под лаской крепких, широких ладоней герра Хартгейма и замурлыкала так громко, что все засмеялись.

– Уж такая я уродилась, безо всякого благонаравия, – сказала Джастина, робости она не поддавалась, как бы ни было ей не по себе.

– Мотор в этом звере работает превосходно, – заметил герр Хартгейм, веселая улыбка неузнаваемо преобразила его лицо. По-английски он говорил отлично, безо всякого акцента, разве что «р» у него звучало раскатисто, на американский манер.

Общий смех еще не утих, когда подали чай, разливал его, как ни странно, Хартгейм и, подавая чашку Джастине, посмотрел на нее куда дружелюбнее, чем в первую минуту знакомства.

– У англичан чай среди дня – самая важная трапеза, правда? – сказал он ей. – За чашкой чаю многое происходит. Думаю, это потому, что посидеть за чаем, потолковать можно чуть ли не в любое время, между двумя и половиной шестого, а от разговоров жажда усиливается.

Следующие полчаса подтвердили его замечание, хотя Джастина в беседу не вступала. Речь шла о слабом здоровье папы, потом о «холодной войне», потом об экономическом спаде; все четверо мужчин говорили и слушали так живо, увлеченно, что Джастина была поражена – пожалуй, вот что объединяет их всех, даже Дэна, он теперь такой странный, совсем незнакомый. Он деятельно участвовал в разговоре, и от Джастины не ускользнуло, что трое старших прислушиваются к нему до странности внимательно, едва ли не смиренно, как бы даже с благоговением. В его словах не было незнания или наивности, но чувствовалось что-то очень свое, ни на кого не похожее... чистое. Может быть, они так серьезно, так внимательно к нему относятся потому, что есть в нем чистота? Ему она

присуща, а им – нет? Быть может, это и правда добродетель и они ею восхищаются и тоскуют по ней? Быть может, это величайшая редкость? Эти трое совсем разные, и, однако, все они гораздо ближе друг к другу, чем любой из них к Дэну. Но до чего трудно принимать Дэна так всерьез, как принимают его эти трое! Да, конечно, во многом он больше похож не на младшего, а на старшего брата; и, конечно же, она чувствует – он очень умный, даже мудрый, и поистине чистый. Но прежде они двое всегда жили одной общей жизнью. А теперь он от нее далек, и придется к этому привыкнуть.

– Если вы хотите сразу перейти к молитвам, Дэн, я провожу вашу сестру до гостиницы, – повелительно заявил Лион Мёрлинг Хартгейм, не спрашивая, что думают на этот счет другие.

И вот она спускается по мраморной лестнице с этим властным коренастым чужаком и не решается заговорить. На улице, в золотом сиянии римского заката, он берет ее под руку и ведет к черному закрытому «мерседесу», и шофер вытягивается перед ним по стойке «смирно».

– Не оставаться же вам первый вечер в Риме одной, а у Дэна другие дела, – говорит он, садясь вслед за Джастиной в машину. – Вы устали, растерялись в новой обстановке, и спутник вам не помешает.

– Вы, кажется, не оставляете мне выбора, герр Хартгейм.

– Зовите меня, пожалуйста, просто Лион.

– Вы, видно, важная персона, у вас такая шикарная машина и личный шофер.

– Вот стану канцлером Западной Германии, тогда буду еще важнее.

Джастина фыркнула:

– Неужели вы еще не канцлер?

– Какая дерзость! Для канцлера я еще молод.

– Разве? – Джастина повернулась, оглядела его сбоку внимательным взглядом: да, оказывается, смуглая кожа его – юношески гладкая и чистая, вокруг глубоко посаженных глаз – ни морщин, ни припухлости, какая приходит с годами.

– Я отяжелел и поседел, но седой я с шестнадцати лет, а растолстел с тех пор, как перестал голодать. Мне только тридцать один.

– Верю вам на слово, – сказала Джастина и сбросила туфли. – По-моему, это все равно много, мой прелестный возраст – всего лишь двадцать один.

– Вы чудовище! – улыбнулся Хартгейм.

– Надо думать. Моя мама тоже говорит, что я чудовище. Только мне не очень ясно, кто из вас что понимает под этим словом, так что, будьте

любезны, растолкуйте ваш вариант.

– А вариант вашей мамы вам уже известен?

– Она бы до смерти смутилась, если бы я стала спрашивать.

– А меня, думаете, ваш вопрос не смущает?

– Я сильно подозреваю, что вы и сами чудовище, герр Хартгейм, и вряд ли вас можно чем-либо смутить.

– Чудовище, – шепотом повторил он. – Что ж, хорошо, мисс О’Нил, постараюсь вам разъяснить, что это значит. Чудовище – это тот, кто наводит на окружающих ужас; шагает по головам; чувствует себя сильнее всех, кроме Господа Бога; не знает угрызений совести и имеет весьма слабое понятие о нравственности.

– По-моему, все это очень похоже на вас, – усмехнулась Джастина. – А я не могу не иметь понятия о совести и нравственности. Ведь я сестра Дэна.

– Вы нисколько на него не похожи.

– Тем хуже для меня.

– Такая наружность, как у него, не подошла бы к вашему характеру.

– Вы, безусловно, правы, но, будь у меня его наружность, у меня, пожалуй, и характер получился бы другой.

– Смотря что было вначале – курица или яйцо. Наденьте туфли, сейчас пойдем пешком.

Очень тепло, уже смеркается; но всюду ярко горят фонари, всюду, куда ни пойдешь, полно народу, улицы забиты машинами – пронзительно сигналият мотороллеры, маленькие напористые «фиаты» двигаются скачками, точно стада перепуганных лягушек. Наконец Хартгейм остановил свой лимузин на маленькой площади, чьи камни за века стали гладкими под несчетным множеством ног, и повел Джастину в ресторан.

– Или, может быть, предпочитаете поужинать под открытым небом? – спросил он.

– Только накормите меня, а под открытым небом, под крышей или где-нибудь посерединке, мне все равно.

– Разрешите, я сам для вас закажу?

На минуту очень светлые глаза Джестины устало закрылись, но дух непокорства в ней не совсем угомонился.

– Не понимаю, с какой стати мне потакать этой вечной мужской привычке распоряжаться. В конце концов, откуда вы знаете, чего мне сейчас захочется?

– О гордая амазонка, – пробормотал он. – Тогда скажите, что вам больше по вкусу, и я ручаюсь, что сумею вам угодить. Рыба? Телятина?

– Согласны на компромисс? Ладно, пойду вам навстречу. Я хочу паштет, креветки, солидную порцию saltimbossa^[14], а после всего пломбир и кофе с молоком. Вот теперь и сочиняйте что хотите.

– Надо бы вас поколотить, – заметил он с непоколебимым добродушием. И в точности повторил ее заказ официанту по-итальянски.

– Вы сказали, я ничуть не похожа на Дэна. Разве совсем-совсем ни в чем не похожа? – не без грусти спросила Джастина уже за кофе: она так проголодалась, что не стала терять времени на разговоры, пока не покончила с едой.

Хартгейм дал ей огня, сам затянулся сигаретой и, откинувшись в тень, чтобы свободнее за ней наблюдать, вспомнил, как несколько месяцев назад впервые познакомился с Дэном. Этот мальчик – вылитый кардинал де Брикассар, только на сорок лет моложе; Хартгейм мгновенно увидел сходство, а потом узнал, что эти двое – дядя и племянник: мать Дэна и Джастины приходится Ральфу де Брикассару сестрой.

– Да, некоторое сходство есть, – сказал он теперь. – Минутами даже в лице – не в чертах, но в выражении лица. В глазах и губах – в том, как раскрываются глаза и сомкнуты губы. Но вот что странно, на вашего дядю кардинала вы ничуть не похожи.

– На дядю кардинала? – недоуменно повторила Джастина.

– На кардинала де Брикассара. Разве он вам не дядя? Да нет же, мне определенно об этом говорили.

– Этот старый ястреб? Слава Богу, никакая он нам не родня. Просто давным-давно, еще до моего рождения, он был священником в нашем приходе.

Она очень неглупа, но и очень устала. Бедная девочка, вот что она такое, всего лишь маленькая девочка. Вдруг показалось, между ними не десять лет, а зияющая бездна, вечность. Пробудить в ней подозрение – и рухнет весь ее мир, который она так храбро защищает. А скорее, она просто не поверит, даже если сказать напрямик. Как бы сделать вид, что это не столь важно? Не углубляться в эту тему, нет, ни в коем случае, но и не переводить разговор на другое.

– Тогда понятно, – небрежно сказал Хартгейм.

– Что понятно?

– Что у Дэна с кардиналом сходство лишь самое общее – рост, сложение, цвет лица.

– А, да. Бабушка говорила, что наш отец и кардинал на первый взгляд были довольно похожи, – спокойно заметила Джастина.

– Вы отца никогда не видели?

– Не видела даже фотографии. Они с мамой расстались еще до того, как родился Дэн. – Джастина кивнула официанту: – Пожалуйста, еще кофе с молоком.

– Джастина, вы какая-то дикарка! Заказывать предоставьте мне!

– Нет уж, черт возьми! Я вполне самостоятельна и не нуждаюсь в опекунах! Не желаю никаких мужских подсказок, сама знаю, чего я хочу и когда хочу, понятно вам?

– Что ж, Дэн так и сказал, что вы – воплощенный дух непокорства и противоречия.

– Правильно сказал. Ух, ненавижу, когда вокруг меня суетятся, начинают баловать, холить и нежить! Сама знаю, что мне делать, и никто мне не указ. Ни у кого пощады не попрошу и сама никого щадить не собираюсь.

– Да, это видно, – сухо сказал Хартгейм. – Отчего вы стали такая, herzchen^[15]? Или это у вас семейное?

– Семейное? Право, не знаю. Трудно судить, у нас слишком мало женщин. Только по одной на поколение. Бабушка, мама и я. Зато мужчин полно.

– Ну, в вашем поколении не так уж полно. Один Дэн.

– Наверное, потому, что мама ушла от отца. По-моему, она никогда больше ни на кого и не смотрела. Очень жаль, знаете. Наша мама просто создана для семейного очага, ей бы нужен муж, чтоб было кого холить и нежить.

– А внешне вы с ней похожи?

– По-моему, нет.

– А близки вы с ней? Это важнее.

– Близки? Мы с мамой? – Джастина усмехнулась беззлобно, почти так же улыбнулась бы Мэгги, спроси ее кто-нибудь, близка ли ей дочь. – Не уверена, что мы друг другу близки, но что-то нас связывает. Может быть, это просто узы родства, право, не знаю. – Глаза Джестины вспыхнули. – Мне всегда хотелось, чтобы она говорила со мной, как с Дэном, хотелось ладить с ней, как ладит Дэн. Но то ли в ней, то ли во мне чего-то не хватает. Наверное, во мне. Мама прекрасный человек, гораздо лучше меня.

– Я с ней не знаком, поэтому не могу соглашаться с вами или не соглашаться. Но если вас это хоть чуточку утешит, herzchen, скажу – вы мне нравитесь именно такая, как есть. Нет, вам совсем незачем меняться, даже эта ваша смешная воинственность мне нравится.

– Как мило с вашей стороны! И вы даже не обиделись, а я вам столько всего наговорила. А на Дэна я совсем не похожа, правда?

– Дэн ни на кого во всем мире не похож.
– По-вашему, он не от мира сего?
– Да, пожалуй. – Хартгейм подался вперед, лицо его, которое до сих пор оставалось в тени, озарил слабый огонек свечи, воткнутой в бутылку из-под кьянти. – Я католик, и моя вера – единственное, что ни разу не изменило мне в жизни, хотя сам я не раз ей изменял. Мне не хочется говорить о Дэне, потому что сердце подсказывает мне – есть вещи, которые лучше не обсуждать. Конечно, вы с ним по-разному относитесь к жизни и к Богу. И не надо больше об этом, хорошо?

Джастина посмотрела на него с удивлением:

– Хорошо, Лион, как хотите. Заключаем договор: будем обсуждать с вами что угодно, только не характер Дэна и не религию.

Немало пережил Лион Мёрлинг Хартгейм после памятной встречи с Ральфом де Брикассаром в июле 1943 года. Неделей позже его полк отправили на Восточный фронт, где он и оставался до конца войны. Перед войной его, совсем еще желторотого беззаботного мальчишку, не успели напичкать идеями «гитлерюгенда» – и он пожинал плоды нацизма, растерянный и истерзанный, коченея в снегу, на фронте, где не хватало ни боеприпасов, ни людей – едва ли один немецкий солдат приходился на сотню метров. От военных лет у него сохранились два воспоминания: жестокие сражения в жестокие морозы – и лицо Ральфа де Брикассара. Ужас и красота, дьявол и Бог. Наполовину обезумев, наполовину окоченев, он беспомощно ждал – вот-вот в метель, без парашютов, с пролетающих над самой землей самолетов посыплются советские партизаны, бил себя в грудь кулаком и шептал молитвы. Но он и сам не знал, просит ли у Бога патронов для своего автомата или спасения от русских, молится о своей бессмертной душе, о новой встрече с тем человеком из римской базилики, о Германии или о том, чтобы хоть немного полегчало на сердце.

Весной сорок пятого он со своими однополчанами отступал под натиском русских через Польшу, мечтая только об одном – добраться до той части Германии, которую заняли англичане или американцы. Ведь если он попадет к русским, его расстреляют. Он изорвал и сжег свои документы, закопал в землю два своих Железных креста, украл кое-какую одежду и на датской границе явился к британским властям. Его отправили в Бельгию, в лагерь для перемещенных лиц. Здесь он жил целый год на хлебе и овсяной каше-размазне, англичанам больше нечем было кормить тысячи и тысячи людей, оказавшихся на их попечении, им и самим приходилось туго, – и только через год они догадались, что им ничего не остается, кроме как

отпустить этих людей на свободу.

Дважды лагерное начальство вызывало Хартгейма для решительного разговора. Он получит новые документы и право бесплатного проезда на пароходе в Австралию, отработает за это два года там, где найдет ему применение австралийское правительство, – и после этого может располагать собой, как ему вздумается. И это не будет рабский труд, конечно же, за работу ему будут платить что положено. Но Хартгейм оба раза ухитрился уговорить чиновников, чтобы его не отправляли с массой других эмигрантов. Он ненавидел Гитлера, но не Германию и не стыдился того, что он немец. Его родина – Германия, больше трех лет он мечтал вернуться домой. Вновь оказаться в стране, язык которой ему непонятен и где не понимают его языка, – злейшего проклятия он и вообразить не мог. И вот в начале 1947 года он очутился без гроша на улицах Аахена, готовый как-то начинать жизнь сначала – он так давно, так отчаянно этого жаждал.

Он уцелел и сохранил душу живую не для того, чтобы вновь прозябать в нищете и безвестности. Ибо Лион не просто обладал огромным честолюбием, пожалуй, он был в некотором роде гений. Он пошел работать в фирму Грундига и стал изучать область, которая увлекла его с первой минуты, как он узнал, что такое радар, – электронику. В мозгу его теснилось множество идей, но он не пожелал продать их Грундигу за миллионную долю их истинной стоимости. Нет, он тщательно изучил рынок, потом женился на вдове человека, который ухитрился сохранить две скромные фабрики радиоприемников, и сам занялся этим производством. Ему было лишь немногим больше двадцати, но что за важность. Рассуждал он как человек вполне зрелый и искушенный, а в хаосе послевоенной Германии перед теми, кто молод, открывалось немало возможностей.

Брак был гражданский, и потому католическая церковь дала ему разрешение на развод; в 1951 году он заплатил Аннелизе Хартгейм ровно вдвое против того, что стоили в это время две фабрики ее покойного супруга, и развелся с ней. Однако во второй раз не женился.

Все, что пережил мальчик Хартгейм на грозных ледяных полях России, не обратило его в бездушную карикатуру на человека; только остановилось в росте и развитии все, что было в его натуре доброго и нежного, а на первый план выступили иные качества – ум, суровость, решительность. Тот, кому нечего терять, может всего добиться, того, кто не чувствителен к боли, ничто не ранит. Во всяком случае, так говорил себе Хартгейм. А на самом деле он поразительно схож был с человеком, которого встретил в Риме в 1943 году; подобно Ральфу де Брикассару, поступая не так, как должно, он сам это понимал. Однако сознание, что он

способен на дурной поступок, ни на миг его не останавливало, он лишь молча терзался, казнил себя и этим расплачивался за успехи в делах. Многим покажется, что за это не стоит платить такой дорогой ценой, но он готов был выстрадать вдвое больше. Еще настанет день – он будет править Германией и сделает ее такой, о какой мечтает, он искоренит арийско-лютеранскую мораль, введет более терпимое мировоззрение, широту взглядов. Он не мог обещать, что перестанет грешить, и оттого ему несколько раз отказывали в исповеди и отпущении грехов, но, как ни странно, он не расстался с прежней верой, а под конец в руках его сосредоточились такие деньги и такая власть, что уже не могло быть речи о виновности, он явился на исповедь, покался и получил прощение.

В 1955 году Хартгейм – один из самых богатых и влиятельных деятелей новой Западной Германии, только что избранный депутат Боннского парламента, и вот он снова в Риме. Надо разыскать кардинала де Брикассара, пусть увидит, какие плоды принесли его молитвы. Позже Хартгейм не мог припомнить, какой заранее рисовал себе эту встречу, потому что с первой и до последней минуты сознавал одно – Ральф де Брикассар в нем разочарован. Он и сам понимал, чем разочаровал кардинала, спрашивать не было нужды. Однако слов, которые сказал ему Ральф де Брикассар на прощание, он не ждал.

– Я молился, чтобы судьба ваша оказалась лучше моей, ведь вы были совсем молоды. Нет такой цели, которая оправдывала бы любые средства. Но должно быть, семена нашей гибели посеяны еще до нашего рождения.

Возвратясь к себе в номер гостиницы, Хартгейм разрыдался, а потом подумал уже спокойно: «С прошлым покончено; отныне я стану таким, как он надеялся». Порой ему это удавалось, порой – нет. Но он старался. Дружбой, которая связала его со многими людьми в Ватикане, он стал дорожить превыше всего на свете и стремился в Рим всякий раз, когда одни лишь эти люди могли утешить его в беспросветном отчаянии. Утешить. Странное он находил у них утешение. На него не налагали рук, не говорили ему ласковых слов. Целительный бальзам вливался прямо в душу, словно друзья понимали, в чем его страдание.

И в этот теплый вечер, проводив Джастину в пансион, он бродил по улицам Рима и думал, что навсегда останется ей благодарен. Ведь когда за дневным чаепитием она у него на глазах храбро терпела сущую пытку, в душе его шевельнулась нежность. Маленькое чудовище, израненное, но не побежденное. Понимают ли они, что она им достойный противник? Ему показалось – так любоваться и гордиться он мог бы родной дочерью, жаль только, нет у него дочери. Вот он и перехватил ее у Дэна, увез, чтобы

посмотреть, как она будет держаться после встречи с подавляющим величием церкви и с Дэном, какого она никогда прежде не видела, с Дэном, который никогда больше не будет безраздельно ей близок душой.

В Боге, в которого он, Лион, верит, думалось ему, лучше всего то, что он может все простить; он простит Джастине органически присущее ей безбожие, а ему, Лиону, – что он замкнул все свои чувства на замок до поры, пока не сочтет нужным снова дать им выход. Одно время он с ужасом думал, что ключ потерян навсегда. Лион усмехнулся, отшвырнул сигарету. Ключ... Что ж, иногда ключи бывают престранной формы. Быть может, понадобился каждый завиток, каждая кудряшка этой огненно-рыжей головы, чтобы отпереть хитроумный механизм; быть может, в стенах, где рдели кардинальские одеяния, Господь Бог вручил ему рдяный огненный ключ.

День пролетел, как единый миг. Но, взглянув на часы, Лион убедился, что еще не поздно – и, конечно, теперь, когда его святейшество папа при смерти, тот, кто обладает в Ватикане огромной властью, еще не спит, как и его бодрствующая по ночам любимица кошка. В маленькой комнате замка Кастель-Гандольфо слышна страшная предсмертная икота, предсмертные судороги искажают бледное, худое, аскетическое лицо того, кто долгие годы увенчан был папской тиарой. Что бы там ни говорили, а в нем было величие. И если он любил немцев, если он и сейчас с удовольствием слушает немецкую речь, разве это что-нибудь меняет? Не Лиону Хартгейму об этом судить.

Но того, что ему сейчас необходимо узнать, в Кастель-Гандольфо не скажут. И он поднимается по мраморным ступеням, в багряные и алые покои, чтобы поговорить с Витторио Скарбанца, кардиналом ди Контини-Верчезе. С тем, кто, быть может, станет новым папой. Вот уже почти три года наблюдает Лион, как взгляд этих мудрых, ласковых темных глаз с неизменной нежностью обращается на одно и то же лицо; да, ответа лучше искать у Витторио, а не у кардинала де Брикассара.

– В жизни не думала, что скажу такие слова, но, слава Богу, наконец-то мы едем в Дрохеду! – заявила Джастина; она наотрез отказалась бросить монетку в фонтан Треви в залог непременного возвращения. – Мы же хотели побывать в Испании и во Франции, а до сих пор торчим в Риме, и я тут совершенно лишняя, прямо как пупок. Бред какой-то!

– Гм-м, вы полагаете, пупок – вещь излишняя? Впрочем, помнится, того же мнения придерживался и Сократ, – сказал Лион.

– Сократ? Разве? Не помню! Вот забавно, а я-то думала, что прочла

чуть не всего Платона.

Джастина гибко повернулась, посмотрела на него и решила, что небрежная одежда праздного туриста куда больше к лицу ему, чем строгий костюм, в котором он появляется в Ватикане.

– Да, это точно, Сократ был твердо убежден, что пупки никому не нужны. В доказательство он даже отвинтил свой собственный пупок и выбросил.

Губы Джастины насмешливо дрогнули.

– И что же из этого вышло?

– С него свалилась тога.

– Все враки! – Она засмеялась. – В Афинах тогда никто не носил тоги. Но я с ужасом чувствую, что в этом вашем анекдоте кроется какое-то нравоучение. – Улыбка сбегала с ее лица. – Чего ради вы тратите на меня время, Ливень?

– Вот упрямая! Я же вам объяснял, мое имя произносится не Ливень, а Лион.

– Да нет же, вы не поняли... – Джастина задумчиво смотрела на искрящиеся струи фонтана, на грязный бассейн, в который накидали уйму грязных монет. – Были вы когда-нибудь в Австралии?

Плечи его вздрогнули от беззвучного смеха, но ответил он не сразу.

– Дважды я чуть не поехал туда, herzchen, но мне удалось этого избежать.

– Вот побывали бы у нас там, так поняли бы. Если ваше имя произносить по-моему, оно на слух австралийца волшебное. Ливень. Проливной дождь. Он дает жизнь пустыне.

От неожиданности Лион уронил сигарету.

– Джастина, уж не собираетесь ли вы в меня влюбиться?!

– До чего самонадеянный народ мужчины! Мне жаль вас разочаровывать, но – нет, ничего похожего. – И, как будто желая искупить свою резкость, тихонько тронула его руку: – Нет, тут другое, гораздо лучше.

– Что может быть лучше, чем влюбиться?

– Да почти все. Не хочу я, чтобы без кого-то жить было невозможно. Не надо мне этого!

– Пожалуй, вы правы. Если так полюбить слишком рано, конечно, это подрезает крылышки. Ну, а что же гораздо лучше?

– Найти друга. – Она погладила его по руке. – Ведь вы мне друг, правда?

– Правда. – Он с улыбкой бросил в фонтан монетку. – Вот так! За эти годы я набросал сюда, наверное, тысячу немецких марок, потому что хочу

и дальше греться под солнцем юга. Иногда в страшных снах я снова коченею на морозе.

– Вы бы попробовали, что за штука солнце настоящего юга, – сказала Джастина. – Сто пятнадцать в тени, да еще надо эту тень найти.

– Неудивительно, что здесь вам не жарко. – Он засмеялся неизменным своим беззвучным смехом, привычка, оставшаяся от былых времен, когда засмеяться вслух значило бы искушать судьбу. – Должно быть, это от австралийской жары вы такая крутая.

– В смысле крутой нрав? Так выражаются американцы. А я-то думала, вы изучали язык в каком-нибудь шикарном английском университете.

– Нет, я начал учиться английскому в бельгийском лагере у рядовых томми, это были лондонские кокни, или шотландцы, или сельские жители, у каждого свой жаргон, каждый меня учил на свой лад, и я только его и мог понять. Одно и то же слово каждый выговаривал по-разному. Потом, когда я вернулся в Германию, я старался ходить на все английские фильмы, покупал все пластинки, сколько мог достать, а достать можно было только записи американских комиков. Но я прокручивал их дома опять и опять, без конца, пока не стал говорить по-английски хотя бы так, чтобы можно было учиться дальше.

Джастина, по обыкновению, сбросила туфли; со страхом смотрел Хартгейм, как она ступает босиком по каменным плитам, по тротуарам, раскаленным, точно сковорода на огне.

– Наденьте туфли! Настоящий уличный мальчишка!

– Я же австралийка, у нас слишком широкие ступни, туфли нам жмут. А настоящих холодов у нас почти не бывает, вот и ходим, когда только можно, босиком. Я могу пройти по выгону, прямо по репьям, и ничего не почувствую, а потом преспокойно вытащу их из подошв, – гордо сказала Джастина. – Наверное, я и по горячим угольям пройду. – И вдруг спросила: – Вы любили свою жену, Ливень?

– Нет.

– А она вас любила?

– Да. Иначе ей незачем было выходить за меня замуж.

– Бедняжка! Вы ее выжали как лимон и бросили.

– И поэтому вы во мне разочаровались?

– Пожалуй, нет. Меня это в вас даже восхищает. Но вашу жену мне очень жаль, и сама я определенно не желаю попасть в такой переплет.

– Вы мной восхищаетесь? – в полнейшем изумлении переспросил Лион.

– А почему бы и нет? Я ведь не жду от вас того, что нужно было жене,

верно? Вы мне нравитесь, мы друзья. А она вас любила, вы были ей мужем.

– Должно быть, все честолюбцы неважно обращаются с женами, herzchen, – сказал он не без грусти.

– Потому что честолубец обычно выбирает себе какую-нибудь размазню, знаю я эту породу: «Да, милый, нет, милый, я все сделала, как ты велел, милый, что прикажешь еще?» Таким, конечно, лихо. Будь я вашей женой, я бы вас послала куда подальше, а она вам наверняка ни разу слова поперек не сказала, так?

Губы его дрогнули.

– Да, так. Бедная Аннелиза. Она мученица по природе своей и не умела так постоять за себя и так очаровательно выражаться. Жаль, что-то не видно австралийских фильмов, а то бы я изучил ваш лексикон. «Да, милый» – это понятно, но что значит «лихо»?

– Ну, плохо, туго, только покрепче. – Сильными пальцами босых ног она вцепилась изнутри в край бассейна, потеряв равновесие, качнулась назад, но тотчас легко выпрямилась. – Что ж, под конец вы с ней обошлись по-хорошему. Вы от нее избавились. А ей без вас куда лучше, чем с вами, хотя она-то, наверное, так не думает. А вот я могу оставить вас при себе, потому что не собираюсь из-за вас расстраиваться.

– У вас и правда крутой нрав, Джастина. А откуда вы столько всего про меня знаете?

– Спрашивала Дэна. Понятно, Дэн есть Дэн, он мне сказал только голые факты, остальное я сама сообразила.

– Разумеется, опираясь на собственный неслыханно богатый опыт. Ну и обманщица же вы! Говорят, вы отличная актриса, но мне что-то не верится. Как вам удастся изображать чувства, которых вы ни разу не испытали? В этом смысле вы совершенно незрелое существо, пятнадцатилетние девчонки – и те умеют больше чувствовать.

Джастина прыгнула наземь, села на невысокий каменный бортик фонтана, собираясь надеть туфли, сокрушенно пошевелила пальцами ног.

– У меня ноги распухли, черт подери.

Незаметно было, чтобы ее рассердили или обидели последние слова Лиона, будто она их и не слышала. Будто, когда на нее обращались чьи-то упреки или неодобрение, она попросту выключала некое внутреннее слуховое устройство. А упреков и неодобрения наверняка ей выпадало сверхдостаточно. Чудо, что она не возненавидела Дэна.

– Трудный вопрос вы мне задали, – сказала она. – Наверное, я все-таки могу что-то такое изобразить, иначе какая же из меня актриса, верно? Но это так... как будто еще только ждешь. Я говорю о своей жизни помимо

сцены. Я заморозила себя впрок, не на сцене я не могу себя растрачивать. Мы можем отдавать только то, что в нас есть, не больше, правда? А на сцене я уже не я, или, может быть, точнее, там сменяют друг друга разные «я». Наверное, в каждом из нас намешано множество всяких «я», согласны? Для меня театр – это прежде всего разум, а уж потом чувство. Разум раскрепощает и оттачивает чувство. Надо ведь не просто плакать, или кричать, или смеяться, а так, чтобы зрители тебе поверили. Знаете, это чудесно. Мысленно представить себя совсем другим человеком, кем-то, кем я стала бы, сложись все по-другому. В этом весь секрет. Не превращаться в другую женщину, а вживаться в роль и судьбу, как будто моя героиня и есть я. И тогда она становится мной. – Джастина так увлеклась, что уже не могла усидеть спокойно и вскочила на ноги. – Вы только представьте, Ливень! Через двадцать лет я смогу сказать: я была убийцей, и самоубийцей, и помешанной, спасала людей и губила. Ого! Кем только тут не станешь!

– И все это будете вы сами. – Хартгейм встал, снова взял ее за руку. – Да, вы совершенно правы, Джастина. Вне сцены все это не растратишь. Кому-нибудь другому я сказал бы – все равно растратите, но при вашем характере – не уверен, что это возможно.

Если бы обитатели Дрохеды об этом задумались, им бы представилось, что Рим и Лондон не многим дальше Сиднея, а взрослые Дэн и Джастина – все еще дети, которые учатся там в школе. Понятно, на короткие каникулы, как прежде, им приезжать трудно, но раз в году хоть месяц они проводят дома. Приезжают обычно в августе или в сентябре, и с виду они все такие же. Совсем юные. И велика ли важность, если им уже не пятнадцать, не шестнадцать, а двадцать два и двадцать три? Обитатели Дрохеды жили ожиданием этого месяца, начала весны, но, уж конечно, не повторяли на каждом шагу: «Ну вот, еще три недели – и они будут здесь» или: «Господи, еще и месяца не прошло, как они уехали!» Нет, ничего такого не говорилось, но примерно с июля у всех пружинистее становилась походка и лица то и дело расплывались в улыбке. На кухне, на выгонах, в гостиной – всюду заранее обдумывались подарки и развлечения.

А в промежутках были письма. Обычно в них отражалась личность автора, но бывали и противоречия. К примеру, можно бы предположить, что Дэн – корреспондент обстоятельный и аккуратный, а Джастина

отделяется беглыми отписками. Что Фиа вообще писать не станет. Что братья Клири напишут от силы по два письма в год. Мэгги станет нагружать почту письмами – по крайней мере к Дэну – каждый день. Миссис Смит, Минни и Кэт ограничатся поздравительными открытками на день рождения и на Рождество. А Энн Мюллер будет часто писать Джастине и не станет переписываться с Дэном.

Дэн был полон благих намерений и в самом деле писал нередко. Одна беда – он забывал отсылать плоды своих трудов, и в Дрохеде по два, по три месяца не получали от него ни слова, а потом одной и той же почтой приходил сразу десяток писем. Болтушка Джастина писала длиннейшие послания-исповеди, это был истинный поток сознания, столь грубо откровенный, что читатели краснели и испуганно ахали, и притом необыкновенно увлекательный. Мэгги писала и сыну, и дочери всего лишь раз в две недели. Писем от бабушки Джастина не получала никогда, но Дэн получал, и даже часто. Ему постоянно писали и все дядюшки – о земле, об овцах, о здоровье всех дрохедских женщин; видно, почитали своим долгом заверять племянника, что дома все в полном порядке. Однако они не считали нужным заверять в этом и Джастину – она бы только изумилась. Что же до миссис Смит, Минни, Кэт и Энн Мюллер, их переписка с Джестиной и Дэном складывалась именно так, как и следовало ожидать.

Одно удовольствие – читать письма, тяжелая работа – писать. Тяжелая для всех, кроме Джестины, ее только досада брала, что она-то ни от кого не получает таких писем, как ей хочется, толстых, подробных и откровенных. И как раз от Джестины в Дрохеде больше всего знали про Дэна: его письма были довольно отвлеченные. А Джастина живописала самую суть.

«Сегодня в Лондон прилетел Лион, – написала она однажды, – он говорит, что на прошлой неделе виделся в Риме с Дэном. Он вообще гораздо чаще встречается с Дэном, чем со мной, Рим – цель всех его путешествий, а Лондон так только, полустанок. Признаться, главным образом из-за Лиона каждый год перед тем, как ехать домой, я встречаюсь с Дэном в Риме. Дэн не прочь бы заехать за мной в Лондон, но если Лион в Риме, я на это не соглашаюсь. Конечно, я эгоистка. Но вы не представляете, сколько удовольствия мне доставляет Лион. Он из тех моих знакомых – таких раз-два и обчелся, – кто не дает мне потачки, и мне жаль, что мы так редко видимся.

В одном смысле Лион счастливее меня. Он встречается с товарищами Дэна по семинарии там, куда мне хода нет. Наверное, Дэн боится, что я тут же на месте лишу их невинности. Или что они лишат невинности меня. Ха! Разве только они увидели бы меня в костюме Чармиан. Я в нем

сногшибательна, поглядели бы вы. Этакая современная Теда Бара. Два крохотных бронзовых щита только-только прикрывают соски, и масса всяких цепочек, и еще такая штука – по-моему, это пояс целомудрия, во всяком случае, без кусачек под него не заберешься. Да еще парик – длинные черные волосы, и все тело выкрашено под смуглый загар, и в этих двух с половиной железках я выгляжу так, что у зрителей дух захватывает.

О чем бишь я? А, да, значит, Лион в Риме на прошлой неделе встретил Дэна с его однокашниками. Они всей компанией отправились кутить. За все платил Лион, настоял на своем, чтобы Дэн не смущался. Ну и вечерок был. Никаких женщин, конечно, но все прочее – как полагается. Вы только представьте, Дэн стоит на коленях в каком-то паршивом римском баре перед вазой с желтыми нарциссами и декламирует:

Нарцисс мой милый, мы увянем,
Ведь ваша прелесть быстро плачет... [\[16\]](#)

Битых десять минут он старался толком вспомнить эти строчки и ничего не перевернуть, потом отчаялся, взял один нарцисс в зубы и пустился в пляс. Это Дэн-то, представляете?! Лион говорит, такое совсем безобидно и просто необходимо, нельзя же только все работать и совсем не развлекаться, ну и так далее. Раз женщины исключаются, надо хорошенько выпить. Так уверяет Лион. Не думайте, что это часто бывает, ничего подобного, очень редко, и, как я поняла, в таких случаях Лион верховодит и сам за ними присматривает, ведь они все просто балды желторотые. Но я здорово посмеялась – представляете, Дэн с нарциссом в зубах отплясывает фламенко, и в это время ореола святости на нем как не бывало!»

Восемь лет провел Дэн в Риме, прежде чем принял сан, и вначале всем казалось, что эти годы никогда не кончатся. И однако, восемь лет пронеслись куда быстрее, чем могли вообразить в Дрохеде. Что он будет делать потом, когда станет священником, никто себе ясно не представлял, но уж наверно вернется в Австралию. Только Мэгги и Джастина подозревали, что он захочет остаться в Италии, но Мэгги все же удавалось заглушить эти опасения – ведь Дэн с таким удовольствием каждый год приезжает домой на каникулы. Ведь он австралиец, конечно же, он захочет вернуться на родину. Джастина – дело другое. Нечего и мечтать, чтобы она навсегда вернулась домой. Она актриса, в Австралии ей на сцене не выдвинуться. А Дэн может отдаваться своему призванию где угодно.

Итак, на восьмой год никто не строил планов – как будут дети развлекаться, когда приедут на каникулы; напротив, всей семьей надумали поехать в Рим и увидеть своими глазами, как Дэн примет сан.

– Мы кончились пшиком, – заявила Мэгги.

– Простите, дорогая, как вы сказали? – переспросила Энн.

Они сидели в теплом уголке веранды и читали, но книга Мэгги давно уже лежала забытая у нее на коленях, а она рассеянно следила за двумя весело бегущими по лужайке трясогузками. Год выдался дождливый, червей – изобилие, и не упомнить, когда еще так сытно и привольно жилось птичьему народу. Разноголосое пение и щебет не смолкали с рассвета дотемна.

– Я сказала, мы кончились пшиком, – зловеще повторила Мэгги. – Как отсыревшая шутиха на фейерверке. Все надежды пошли прахом! Кто бы подумал в тысяча девятьсот двадцать первом, когда мы приехали в Дрохеду, что этим кончится?

– Я все-таки не понимаю.

– У мамы с папой было шестеро сыновей да еще я. Через год родилось еще двое сыновей. Чего надо было ждать? Будут десятки детей, полсотни внуков? А теперь смотрите. Хэл и Стюарт умерли, остальные мои братья, видно, жениться не намерены, и вот я – единственная, кто не вправе передать по наследству нашу фамилию, – одна могу дать Дрохеде наследников. Но всевышним богам и этого мало. У меня сын и дочь. Можно ждать хоть нескольких внуков. Как бы не так! Мой сын становится священником, а дочь при ее профессии весь век проживет старой девой. И опять Дрохеда остается ни с чем.

– Не вижу, что тут удивительного, – сказала Энн. – В конце концов, чего можно ждать от ваших братьев? Торчат безвылазно на выгонах, пугливы, точно кенгуру, никогда не встречаются с девушками, на которых им бы можно жениться. А Джимса с Пэтси еще и война пришибла. Можете вы себе представить, чтобы Джимс женился, раз он знает, что для Пэтси это исключено? Слишком они привязаны друг к другу. Да и работа на земле тоже делает мужчин бесполоыми, чуть не все силы отнимает, а их всего-то не так уж много. В самом прямом, чисто физическом смысле. Вы никогда об этом не задумывались, Мэгги? Грубо говоря, ваше семейство не создано для бурной сексуальной жизни. И к Дэну и Джастине тоже это относится. Я хочу сказать, иные люди только и знают, что за этим гоняются, как блудливые коты, а у вас в роду ничего такого нет. Впрочем, Джастина еще может выйти замуж. Похоже, она необыкновенно привязана к этому немцу,

к Лиону.

– Вот именно, вы попали в самую точку. – Мэгги не принимала никаких утешений. – Она необыкновенно к нему привязана. И не более того. В конце концов, они знакомы уже семь лет. Если б она собиралась за него замуж, они бы уже давным-давно поженились.

– Вы думаете? Я неплохо знаю Джастину. – Энн говорила чистую правду, в Дрохеде никто, в том числе и Фиа с Мэгги, не понимал Джастину так, как она. – Я думаю, она отчаянно боится полюбить той любовью, какую влечет за собой замужество, и, признаться, я восхищаюсь этим Лионом. Он, видно, прекрасно ее раскусил. Нет, я не могу сказать наверняка, что он в нее влюблен, но уж если влюблен, у него хватает ума ждать, пока она созреет для решительного шага. – Энн наклонилась в кресле, забытая книга упала на кафельный пол веранды. – Слышите, слышите эту птицу? Как хорошо, по-моему, соловью и то до нее далеко... – И, помедлив, высказала наконец то, что уже многие недели было у нее на душе: – Мэгги, почему бы вам не поехать в Рим? Вам бы надо быть там, когда Дэн примет сан.

– Я в Рим не поеду! – сквозь зубы ответила Мэгги. – Я никогда больше никуда не двинусь из Дрохеды.

– Ну что вы, Мэгги! Дэн так огорчится! Пожалуйста, поезжайте! Если вы не поедете, там не будет ни одной женщины из Дрохеды, вы одна еще молоды и можете лететь. Поверьте, если бы я, старая развалина, могла надеяться, что выдержу такое путешествие, я бы уж была в этом самолете.

– Отправиться в Рим и смотреть, как празднует победу Ральф де Брикассар? Да я скорее умру!

– Мэгги, Мэгги! Конечно, вы разочарованы, но зачем же отводить душу на нем и на родном сыне? Вы же однажды признали, что сами во всем виноваты. Так смирите свою гордыню и поезжайте в Рим, сделайте милость.

– Дело не в гордыне. – Мэгги вздрогнула. – Ох, Энн, мне страшно ехать! Я не верю, что это неизбежно, не могу поверить. Как подумаю, мороз по коже.

– А если, приняв сан, он не сможет приехать домой, об этом вы не подумали? Это вам в голову не приходило? У священника не будет таких долгих каникул, как у семинариста, и если он решит остаться в Риме, придется вам самой туда ездить, не то вы совсем его не увидите. Поезжайте в Рим, Мэгги!

– Не могу. Знали бы вы, как мне страшно! Дело не в гордыне и не в том, что Ральф взял надо мной верх и прочее, – это все отговорки, это я

выдумываю, чтоб ко мне не приставали с вопросами. Бог свидетель, я так по ним обоим стосковалась, на коленях поползла бы поглядеть на них, да только ни минуты не верю, что я-то им нужна. Нет, Дэн рад будет меня видеть, а вот Ральф? Он и думать забыл, что я существую на свете. Говорю вам, мне страшно. Всем нутром чувствую: если я поеду в Рим, случится несчастье. Потому и не еду.

– Да что может случиться, скажите на милость?

– Не знаю. Если б я знала, было бы с чем бороться. А тут просто ощущение – как побороть ощущение? Ничего другого. Предчувствие. Словно бессмертные боги собираются мне отплатить.

Энн засмеялась:

– Бросьте, Мэгги! Вы прямо как настоящая старуха!

– Не могу я, не могу! И я и есть старуха.

– Глупости, вы еще моложавая женщина в расцвете лет. И достаточно молоды, чтобы прокатиться в самолете.

– Ох, отвяжитесь вы от меня! – свирепо огрызнулась Мэгги и снова уткнулась в книгу.

Бывают случаи, когда Рим заполняет толпа, привлеченная совсем особой целью. Не туристы, не любопытные зеваки, что по нынешним реликвиям пытаются представить себе величие былых времен, и не перелетные птицы, наскоро осматривающие Рим в свободный час, проездом из какого-нибудь пункта А в пункт Б. Нет, эту массу людей объединяет некое общее чувство; они преисполнены гордости, они приезжают, чтобы увидеть своими глазами, как в величественной римской базилике – самом чтимом храме на свете – их сын, племянник или иной родич будет торжественно посвящен в духовный сан. Эти приезжие останавливаются кто в скромных пансионах, кто в роскошных отелях, кто у родных или друзей. Но все они заодно, в мире друг с другом и с целым светом. Как оно и подобает, они осматривают все подряд: вот Ватиканский музей и под конец, как награда за долготерпение, Сикстинская капелла, вот Форум, Колизей, Аппиева дорога, лестница на площади Испании, алчный фонтан Треви, son et lumiere^[17]. Все это заполняет время в ожидании заветного дня. Этим людям даруется особая милость – аудиенция у самого папы, Рим щедр и ничего для них не жалеет.

На этот раз в отличие от всех прошлых лет Дэн не встречал сестру на вокзале: в уединении он готовился к предстоящему. Вместо него по затоптанному перрону, точно какой-то большой зверь, рыскал Лион Мёрлинг Хартгейм. Он не поцеловал Джастину при встрече – он никогда

этого не делал, – только обнял за плечи и крепко сжал.

– Вот медведь, – сказала Джастина.

– Медведь?

– Раньше, когда мы только познакомились, я думала, вы – какое-то недостающее звено в истории происхождения человека, но потом решила, что вы ближе не к горилле, а к медведю. Горилла – нелестное сравнение.

– А медведь – лестное?

– Ну, пожалуй, медведь тоже кого угодно в два счета прикончит, но все-таки он поласковей. – Она взяла Лиона под руку и легко примерилась к его шагу, они были почти одного роста. – Как Дэн? Видели вы его, прежде чем он укрылся в уединении? Я чуть не убила Клайда, он меня раньше никак не отпускал.

– Дэн такой же, как всегда.

– Вы не совратили его с пути истинного?

– Я?! Разумеется, нет. А вы прелестно выглядите.

– Я совершенная паинька, и притом озолотила всех лондонских портных. Нравится вам моя новая юбка-коротышка? Это называется мини.

– Пройдите вперед, тогда я вам скажу.

Широкая шелковая юбка доходила примерно до середины бедер, она взметнулась вихрем, когда Джастина опять круто повернула навстречу Лиону.

– Что скажете, Ливень? Неприлично? В Париже я еще ни на одной женщине не видела такой короткой юбочки.

– Это лишь подтверждает ту истину, herzchen, что с такими стройными ножками, как у вас, совершенно неприлично носить юбку хоть на миллиметр длиннее. Римляне со мной наверняка согласятся.

– Ну, значит, у меня весь зад будет в синяках не к вечеру, а уже через час-другой. Черт бы их всех побрал! Но знаете что, Ливень?

– Да?

– Меня еще ни разу не ущипнул священник. Сколько лет я болтаюсь по Ватикану, и хоть бы разок меня удостоили щипком! Вот я и подумала, может быть, в мини-юбке я еще соблазню какого-нибудь прелата.

– Пожалуй, вы соблазните меня, – улыбнулся Хартгейм.

– Да ну? И еще в оранжевом? Я думала, вам противно видеть меня в оранжевом, при моих оранжевых волосах.

– Это воспаляет чувства, такой буйный цвет.

– Вы надо мной смеетесь, – сердито сказала Джастина, усаживаясь в его закрытый «мерседес» с развевающимся германским флажком на радиаторе. – Когда это вы обзавелись национальным флагом?

- Когда получил новый правительственный пост.
- Недаром я оценила сообщение в «Ньюс». А вы его видели?
- Вы же знаете, Джастина, я не читаю эти газетенки.

– Я тоже, но кто-то показал мне тот номер. – Тут она заговорила громче, до ужаса жеманным мнимоаристократическим тоном: – «Некая рыжеволосая восходящая звезда сцены, австралийка по происхождению, завязывает тесную дружбу с неким членом западногерманского кабинета министров».

– Они не могут знать, что мы давным-давно знакомы, – спокойно сказал Лион, вытянул ноги и уселся поудобнее.

Джастина одобрительным взглядом окинула его костюм – очень небрежный, очень итальянский. Да, Лион и сам отнюдь не отстаёт от европейской моды, и даже осмеливается носить сетчатые рубашки, позволяющие итальянцам выставлять напоказ густую поросль на груди.

– Вам совсем не следует ходить в костюмах при воротничке и галстук, – неожиданно сказала она.

– Вот как? Почему?

– Ваш стиль явно вольный, вот как сейчас: золотой медальон с цепочкой на волосатой груди. Когда вы в костюме, кажется, что у вас брюшко и никакой талии, а на самом деле ничего подобного.

Лион посмотрел на нее с удивлением, потом взгляд его стал настороженным – Джастина называла это «сосредоточенно вдумчивым взором».

– Первый случай, – сказал он.

– Первый случай чего?

– За семь лет, что мы знакомы, если вы и отзывались как-то о моей наружности, то разве что весьма неодобительно.

– Да неужели? – Джастина, кажется, была пристыжена. – Нет-нет, я о вашей наружности довольно часто думаю, и притом безо всякого неодобрения. – И почему-то поспешно прибавила: – Вроде того, к лицу ли вам костюм.

Он не ответил, только улыбался каким-то своим мыслям.

Эта поездка в машине оказалась последним мирным событием, потом пошли совсем беспокойные дни. Джастина побывала с Лионом у кардинала де Брикассара и кардинала ди Контини-Верчезе, а едва успела от них вернуться, лимузин, нанятый Лионом, доставил в их гостиницу всю компанию, приехавшую из Дрохеды. Джастина искоса следила, какое впечатление произведут на Лиона ее родные, – приехали одни мужчины. До последней минуты Джастина была убеждена, что мать передумает и

приедет в Рим, но напрасно искала ее глазами. То был жестокий удар, Джастина сама не понимала, за кого ей больнее – за себя или за Дэна. Но пока что – вот они, дядюшки, и, разумеется, она должна по-хозяйски их принять.

До чего же они робкие, стеснительные! И не поймешь, кто – который? С годами они становятся все неотличимее друг от друга. И в Риме они бросаются в глаза, как... ну, как истые австралийские фермеры, что приехали в Рим погостить. Все как один – в обычном наряде состоятельных землевладельцев, раз в кои веки собравшихся в город: коричневые высокие сапоги для верховой езды с резинками на боку, неопределенного цвета брюки, коричневые спортивные куртки из плотной ворсистой шерсти с разрезами на боках и со множеством кожаных нашлепок, белые рубашки, вязанные шерстяные галстуки, серые широкополые шляпы с плоской тульей. На улицах Сиднея в дни пасхальной выставки таким нарядом никого не удивишь, но в Риме в конце лета это редкостное зрелище.

«И скажу от чистого сердца – слава Богу, что есть Лион! До чего же он с ними хорош. Никогда бы я не поверила, что кто-то сумеет разговорить Пэтси, а вот он сумел, спасибо ему. Болтают, как завзятые кумушки, и – где он умудрился раздобыть для дядюшек австралийское пиво? Все шестеро ему по душе, и, похоже, ему с ними интересно. Видно, все идет впрок специалисту по немецкой политике и промышленности. Непостижимо, человек такого склада – и вдруг убежденный католик! Да, поистине ты загадочная личность, Ливень Мёрлинг Хартгейм. Друг папы и кардиналов, и притом друг Джастины О’Нил. До чего же я тебе сейчас благодарна, не будь ты таким уродом, я бы тебя расцеловала! Хороша бы я была тут, в Риме, со всеми дядюшками на руках, и притом без Ливня! Очень правильное у тебя имя».

Он откинулся в кресле, слушал, что рассказывает ему Боб про стрижку овец, и, поскольку обязанности хозяина он взял на себя, а ей больше нечего было делать, Джастина с любопытством к нему присматривалась. Обычно она подмечала внешние особенности в новом лице с первого же взгляда, но порой эта зоркость ей изменяла, и люди незаметно входили в ее жизнь и занимали там прочное место прежде, чем она успевала сделать первое важнейшее заключение об их облике. И тогда, бывает, пройдут годы, пока ей снова случится посмотреть на человека свежим глазом, как на незнакомого. Так смотрела она сейчас на Лиона. Всему виной, конечно, та первая встреча: среди этих кардиналов, испуганная, подавленная, она тогда только дерзила, стараясь придать себе храбрости. И успела заметить лишь самое очевидное – какой он крепкий и коренастый, какой смуглый, какие у

него густые темные волосы. А когда он повез ее ужинать, случай для более точных наблюдений был упущен: он заставил ее увидеть уже не черты его лица, а своеобразную личность; она слишком занята была тем, что произносят его губы, чтобы смотреть, как эти губы очерчены.

И совсем он не урод, решила она теперь. Пожалуй, его облик вполне отвечает сути, в нем смешалось все самое хорошее и самое плохое. Словно в каком-нибудь римском императоре. Неудивительно, что он так любит Рим. Здесь его духовная родина. Широкое лицо, глубоко посаженные глаза, резко выступающие скулы, нос небольшой, но с горбинкой. Густые черные брови не повторяют изгиб глазницы, они совсем прямые. Черные и длинные-длинные, совсем девичьи, ресницы и чудесные темные глаза, а веки почти всегда припущены и скрывают его мысли. Но лучше всего в этом лице рот – не слишком пухлый и не тонкогубый, не большой и не маленький, но на редкость красиво очерченный и как-то удивительно твердо сомкнутый; кажется, перестань Лион следить за собой, не сжимай он губы так плотно – и они выдадут все его тайны, и станет ясно, какой он на самом деле. До чего любопытно разбирать по черточкам лицо, которое уже так знакомо и которое, оказывается, совсем не знаешь.

Джастина очнулась от задумчивости, и оказалось, он внимательно смотрит, как она рассматривает его – чувство такое, словно на глазах вооруженной камнями толпы с тебя сорвали платье! Минуту он смотрел ей прямо в глаза широко раскрытыми, настороженными глазами, не то чтобы с изумлением, скорее испытующе. Потом спокойно перевел взгляд на Боба и спросил что-то вполне по существу насчет заболоченных земель. Джастина мысленно потрянула себя за шиворот – не выдумывай лишнего! Но оказалось, это очень увлекательно – в человеке, который столько лет был просто другом, вдруг увидеть возможного любовника. И мысль эта ничуть не была противна.

У Артура Лестренджа было немало преемников, и с ними ее уже не разбирал смех. «О, я прошла немалый путь после той достопамятной ночи. Только вот вопрос – продвинулась ли хоть на шаг? Это очень приятно, когда у тебя есть мужчина, и к черту рассуждения Дэна о том, что мужчина должен быть один-единственный. Я не собираюсь связать себя с одним-единственным, а потому не стану спать с Лионом – нет, ни за что. Слишком многое от этого изменится, и я потеряю друга. А друг мне нужен, необходим, без друга я не могу. Мне надо сохранить его, как я сохранила Дэна, пусть рядом будет мужчина, который физически ничего для меня не значит».

Собор этот мог бы вместить двадцать тысяч молящихся, так что тесно не было. Нет в мире другого храма Божьего, в создание которого вложили бы столько времени, и раздумий, и гения; перед ним бледнеют языческие творения древних. Да, при сравнении они кажутся ничтожными. Столько любви, столько трудов! Базилика Браманте, купол Микеланджело, колоннада Бернини. Они прославляют величие не только Бога, но и Человека. Глубоко под этим confessio^[18], в крохотной каменной усыпальнице, погребен сам святой Петр; здесь короновали когда-то Карла Великого. Чудится, эхо давно отзвучавших голосов еще дышит в потоках льющегося снаружи света, давно неживые пальцы еще гладят бронзу лучей позади главного алтаря и ласкают бронзовые витые колонны baldacchino^[19].

Он лежит ниц на ступенях точно мертвый. О чем он думает? Быть может, его мучит неуместная в этот час боль оттого, что не приехала мать? Кардинал Ральф посмотрел сквозь слезы и понял – боли сейчас нет. Больно было прежде, да, конечно; без сомнения, больно будет потом. Но сейчас боли нет. Все в мальчике сосредоточено на этой минуте, на чуде. И все его существо полно Богом. Сегодня единственный, неповторимый день в его жизни, и только одно важно – дать священный обет, всю жизнь и душу свою посвятить Богу. Вероятно, ему это по силам, но многим ли это по-настоящему удалось? Только не кардиналу Ральфу, хотя он и поныне помнит, каким священным восторгом полон был он сам в час посвящения. Он страстно пытался отдать всего себя – и, однако, нечто утаил.

«Нет, мое посвящение было не столь возвышенным, но в этом мальчике я все переживу заново. Он – истинное чудо, ведь это поразительно: он провел среди нас столько лет и наперекор всем нашим страхам за него не нажил ни одного недоброжелателя, не то что врага. Он всеми любим и всех любит. Ни разу ему не приходило в голову, что это редкий, исключительный случай. А ведь когда он попал к нам впервые, он был не столь уверен в себе; это мы дали ему уверенность, и, пожалуй, в этом наше оправдание. Многих здесь посвятили в духовный сан, тысячи и тысячи пастырей вышли из этих стен, но с ним все по-иному. О Мэгги! Ну почему ты не приехала, почему не увидишь, какой дар принесла ты Господу – дар, какого не мог принести я, потому что я сам отдан Господу? И наверное, потому-то он сегодня избавлен от боли. Потому что сегодня мне дана сила принять его боль на себя, избавить его от страдания. Я плачу его слезами, я скорблю вместо него. Так и должно быть».

Потом Ральф обернулся, посмотрел на дрохедских, они сидели бок о бок, на всех темные, непривычного здесь вида костюмы. Боб, Джек, Хьюги,

Джимс, Пэтси. Свободный стул – Мэгги нет, потом Фрэнк. Единственная женщина из семьи Клири – Джастина, пламя волос притушено черным кружевным шарфом. Рядом с ней Лион. И полно незнакомых, но они всей душой разделяют сегодня чувства тех, кто приехал из Дрохеды. А для него сегодня все по-особенному, сегодня у него день необычайный. Едва ли не такое чувство, словно он отдает родного сына. Ральф улыбнулся, вздохнул. Что-то испытывает сейчас Витторио, посвящая Дэна в сан?

Быть может, оттого, что ему сегодня так мучительно не хватало матери, на торжественном приеме, который устроили в его честь кардинал Витторио и Ральф, Дэн постарался прежде всего перекинуться хотя бы несколькими словами с Джастиной. В черной сутане, с белоснежной полосой над глухим черным воротом, он просто великолепен, подумала сестра; и, однако, ничуть не похож на священника. Скорее на актера в роли священника; но это пока не заглянешь ему в глаза. А в глазах и вправду какое-то внутреннее сияние, что-то его преобразует, и понимаешь – он не просто очень красив, он единственный, другого такого нет.

– Ваше преподобие отец О’Нил, – сказала Джастина.

– Я еще с этим не освоился, Джас.

– Легко понять. У меня никогда в жизни не было такого чувства, как сейчас в соборе Святого Петра, а уж каково это было для тебя – и представить не могу.

– Ну, наверное, можешь, где-то внутри. Если б совсем не могла, из тебя не вышла бы такая прекрасная актриса. Но у тебя, Джас, это идет от подсознания, а в сознание прорывается только тогда, когда тебе самой нужно все осмыслить.

Они сидели вдвоем на диванчике в дальнем углу, никто не подходил и не мешал им.

Помолчав, Дэн сказал:

– Я так рад, что и Фрэнк приехал. – Фрэнк в эту минуту оживленно разговаривал с Лионом, никогда еще племянник и племянница не видели его таким. – У меня есть знакомый старик священник, давний беженец из Румынии, – продолжал Дэн, – он как-то совсем по-особенному говорит иногда о человеке «несчастный», с таким состраданием... Не знаю почему, но я всегда так говорю себе про нашего Фрэнка. А правда, Джас, почему это?

Но Джастина не признавала никаких уступок и обходов, ее поглощало самое главное.

– Я готова убить маму! – сказала она сквозь зубы. – Как она смела так

с тобой поступить!

– Что ты, Джас! Я ее понимаю. И ты попробуй понять. Если бы это со злости или в отместку, мне стало бы горько, но ты же ее знаешь не хуже меня, ты и сама понимаешь, ничего такого нет. Я скоро съезжу в Дрохеду. Поговорю с ней, и тогда все объяснится.

– Наверное, сыновья терпеливее относятся к своим матерям, чем дочери. – Губы Джастины печально искривились, она пожала плечами. – Наверное, даже лучше, что я предпочитаю жить сама по себе, зато никому не навяжу себя в качестве мамыши.

В обращенных на нее синих глазах светилась бесконечная доброта и нежность; Джастина оцетинилась: уж не вздумал ли Дэн ее жалеть?!

– Почему ты не выходишь замуж за Лиона? – вдруг спросил он.

Она так и ахнула, даже рот раскрыла. Ответила растерянно:

– Он мне не предлагал.

– Только потому, что думает – ты откажешь. Но это можно уладить.

Не подумавши, она ухватила его за ухо, совсем как в детстве.

– Только попробуй, преподобный балда! Держи язык за зубами, слышишь? Я Лиона не люблю!!! Просто он мой друг, и я хочу, чтоб он оставался мне другом. Только посмей хоть свечку за это поставить, и вот честное слово, я сяду, скошу глаза и прокляну тебя – помнишь, когда-то это колдовство тебя до смерти пугало?

Дэн запрокинул голову и весело засмеялся:

– Номер больше не пройдет, Джастина! Теперь мое колдовство посильней твоего. Да ты не кипятись, злючка. Я ошибся, только и всего. Вообразил, что вы с Лионом влюблены друг в друга.

– Ничего подобного. После семи лет знакомства?! Не надейся, скорее рак свистнет и рыба запоет. – Она помолчала, будто не находя нужных слов, потом почти робко подняла глаза на брата: – Дэн, я ужасно рада за тебя. Думаю, будь тут мама, она бы тоже радовалась. Для этого ей только надо бы увидеть тебя таким, как сейчас. Подожди, она еще со всем примирится.

Дэн осторожно сжал ладонями худенькое личико сестры, улыбнулся ей так ласково, так нежно, что она, в свою очередь, стиснула его запястья, будто старалась всеми фибрами впитать его любовь. Будто разом встали в памяти бесценные, чудесные детские годы.

И однако за братской нежностью в глубине его глаз ей померещилась тень сомнения, нет, не сомнения, пожалуй, это слишком сильно сказано – скорее, тень тревоги. Чаше всего он верил, в конце концов мама поймет, но ведь и он человек, ничему человеческому не чуждый, хотя все, кроме него,

слишком легко об этом забывали.

– Джас, я о чем-то тебя попрошу – сделаешь? – спросил он, отпуская ее.

– Все на свете, – серьезно ответила Джастина.

– Мне полагается что-то вроде отсрочки для раздумья – что я стану делать дальше. Два месяца. И я намерен всерьез поразмыслить верхом на какой-нибудь дрохедской лошадке, а перед тем поговорить с мамой... У меня такое чувство, что я ничего для себя не уясню, пока с ней не потолкую. Но сначала... понимаешь, мне надо набраться храбрости, чтобы поехать домой. Так вот, если можешь, поедem со мной недели на две на Пелопоннес, ты меня там будешь шпынять и язвить за трусость, и до того мне это надоест, что я поскорей усядусь в самолет, лишь бы не слышать больше такого занудства. – Он улыбнулся ей. – И потом, Джасси, не воображай, будто теперь тебе в моей жизни нет места, ни ты, ни мама не должны так думать. Я же твоя совесть, а послушать голос совести иногда полезно.

– Да, конечно, конечно, Дэн, поедem!

– Вот и хорошо. – Он улыбнулся, посмотрел лукаво. – Ты мне правда нужна, Джас. Будешь у меня гвоздем в попе, совсем как в старые времена.

– Ну-ну! Неприлично говорить такие слова, преподобный отец О’Нил!

Дэн заложил руки за голову, удовлетворенно откинулся на спинку дивана.

– Я – преподобный отец! Чудесно, правда? Вот повидая маму и, может быть, сумею сосредоточить все мысли на Господе. Понимаешь, мне кажется, это для меня главное. Просто думать о Боге.

– Ты бы должен вступить в монашеский орден, Дэн.

– Это и теперь можно, вероятно, я так и сделаю. У меня вся жизнь впереди, спешить некуда.

С приема Джастина ушла вместе с Лионом; она ему сказала, что собирается с Дэном в Грецию, а потом он сказал, что собирается к себе в Бонн.

– Давно пора, черт возьми, – заявила Джастина. – Не очень-то вы себя утруждаете в качестве министра. Все газеты пишут, вы – бездельник, гуляка, только и знаете что развлекаться с рыжими австралийскими актрисами, старый пройдоха.

Лион погрозил ей внушительным кулаком.

– Вы и не подозреваете, как дорого я расплачиваюсь за свои немногочисленные удовольствия.

– Может быть, пройдемся пешком, Ливень, не возражаете?

– Нет, если вы не пойдете босиком.

– Босиком теперь нельзя. У мини-юбок есть свои недостатки; раньше мы ходили в чулках, их ничего не стоило скинуть. А теперь изобрели что-то вроде театрального трико, его на людях не сбросишь, это было бы величайшее потрясение нравов со времен леди Годивы. И если я не хочу погубить колготки, а они стоят пять гиней, волей-неволей надо ходить в туфлях.

– По крайней мере вы пополнили мое образование по части дамского туалета, как верхнего, так и нижнего, – кротко заметил Хартгейм.

– Бросьте! Пари держу, у вас десяток любовниц, и вы всех их раздеваете.

– У меня только одна, и, как подобает хорошей любовнице, она ждет меня в negligéе.

– Слушайте, а мы ведь, кажется, никогда еще не обсуждали ваших сексуальных дел? До чего завлекательно! Какая же у вас любовница?

– Безмозглая белобрысая болтливая сорокалетняя бочка.

Джастина остановилась как вкопанная.

– Вы меня дурачите, – медленно сказала она. – Не представляю вас рядом с такой женщиной.

– Почему же?

– Для этого у вас слишком хороший вкус.

– *Chacun a son gout*^[20], моя дорогая. Я и сам отнюдь не красавец, неужели, по-вашему, я способен настолько очаровать молодую и красивую женщину, чтобы она стала моей любовницей? Да с чего вы взяли?

– Вполне способны! – сердито возразила Джастина. – И еще как!

– Это что же, деньгами?

– Да при чем тут ваши деньги! Вы просто дразните меня, вечно вы меня дразните! Лион Мёрлинг Хартгейм, вы прекрасно знаете, сколько в вас обаяния, не то вы бы не разгуливали в сетчатых рубашках с золотыми медальонами на груди. Внешность – еще далеко не все, а если б было и все, я бы тоже призадумалась.

– Ваше участие во мне очень трогательно, *herzchen*.

– Почему с вами у меня всегда такое чувство, будто мне за вами не угнаться? – Джастина уже остыла; теперь она стояла и неуверенно смотрела на Лиона. – Вы же говорили не всерьез, правда?

– А как по-вашему?

– Нет! Вы не тщеславны, но сами прекрасно знаете, какой вы обаятельный.

– Знаю ли, нет ли – не важно. А вот что вы находите меня обаятельным, это важно.

«Конечно, нахожу, – чуть было не ответила она. – Совсем недавно я попыталась прикинуть, каков бы ты был в роли моего любовника, но решила, что ничего из этого не получится, ты мне нужнее как друг». Если бы он дал ей это сказать, то пришел бы, пожалуй, к выводу, что его время еще не настало, и действовал бы иначе. Но она не успела вымолвить ни слова – он уже схватил ее в объятия и осыпает поцелуями. На добрых шестьдесят секунд она обмерла, беспомощная, ошарашенная, одержимая одним – найти в себе силы, устоять под этим неистовым, бешеным порывом. Его губы... да это чудо! А волосы, буйные, густые, тоже – сама жизнь, зарыться в них пальцами – наслаждение! Потом он сжал ее щеки ладонями, с улыбкой заглянул в глаза.

– Я тебя люблю.

Джастина ухватила за его запястья, но не так легко и нежно, как прежде с Дэном, а вцепилась ногтями, чуть не до крови. Отступила на шаг, другой. Стояла и с силой терла губы о сгиб локтя, глаза огромные, испуганные, грудь тяжело вздымается.

– Ничего не выйдет, – еле выдохнула она. – Ничего из этого не выйдет, Ливень.

Сбросила туфли, наклонилась, подхватила их и пустилась бежать, и через три секунды этого мягкого стремительного бега уже не стало слышно.

А он вовсе не собирался ее догонять, хотя она, видно, этого опасалась. Саднили разодранные в кровь запястья. Он промокнул их по очереди носовым платком, пожал плечами, спрятал покрытый пятнами платок и постоял, прислушиваясь к боли. Немного погодя вынул портсигар, закурил и медленно пошел по улице. Ни один встречный не догадался бы по его лицу о том, что он чувствует в эти минуты. Все, чего он желал, к чему стремился, было уже в руках – и вот потеряно. Глупая девчонка. Когда она наконец повзрослеет? Все чувствовать, на все откликнуться – и от всего отказаться...

Но он был по натуре игрок, из тех, что умеют и проигрывать, и выигрывать. Долгих семь лет он выжидал, прежде чем на посвящении Дэна ощутил в ней перемену и решил попытать счастья. И, видно, поторопился. Ну, ничего. Все может еще обернуться по-другому – завтра или, при нраве Джастины, через год, через два. Что-то, а сдаваться он не намерен. Надо только быть начеку, и однажды счастье ему улыбнется.

Внутри у него все дрожало от беззвучного смеха: безмозглая

белобрысая болтливая сорокалетняя бочка! Непонятно, отчего это сорвалось с языка, разве только потому, что давным-давно эти слова сказала ему бывшая жена. У таких, мол, всегда бывают камни в печени. Она и сама страдала от этих камней, бедная Аннелиза, а впрочем, ей-то было все пятьдесят, и она темноволосая, худая и на диво сдержанная – замкнута, запечатана наглухо, точно джинн в бутылке. «Чего ради я сейчас думаю об Аннелизе? Кампания, которую я терпеливо вел столько лет, закончилась провалом, и я преуспел не больше, чем бедняжка Аннелиза. Ну ничего, фрейлейн Джастина О’Нил! Поживем – увидим».

В окнах дворца горит свет; надо подняться, поговорить несколько минут с кардиналом Ральфом, с виду он очень постарел. Явно нездоров. Пожалуй, надо бы его убедить показаться врачам. У Лиона защемило сердце, но не из-за Джестины – она молода, впереди еще довольно времени. Из-за кардинала Ральфа, на глазах у которого принял сан его родной сын, а он об этом не подозревает.

Было еще рано, в вестибюле гостиницы полно народу. Джастина, уже в туфлях, торопливо прошла к лестнице, наклонив голову, взбежала наверх. Несколько минут дрожащими руками рылась в сумочке, не находя ключа, думала уже, что надо будет спуститься к портье, опять выдержать взгляды всей этой толпы. Но ключ оказался в сумке, она его заметила, должно быть, только на двадцатый раз.

Наконец-то она у себя в номере, ощупью добрела до кровати, села на край, понемногу стала собираться с мыслями. Уверяла себя, что полна отвращения, возмущена, разочарована; мрачным неподвижным взглядом уставилась на четырехугольник слабого света – ночное небо в окне; хотелось ругаться, хотелось плакать. Никогда уже не будет по-прежнему, и это трагедия. Потерян самый близкий друг. Предательство.

Пустые, лживые слова; внезапно она поняла, почему так перепугалась, убежала от Лиона, будто он не поцеловал ее, а покушался на убийство. Это настоящее! Такое чувство, словно наконец-то она дома, а она не желает возвращаться домой – и не желает связывать себя любовью. Дом – это тупик, и любовь – тупик. Больше того, хотя признание это достаточно унижительно: пожалуй, она и не умеет любить. Будь она на это способна, уж наверно раз-другой осторожность ей изменила бы; уж наверно хоть раз-другой в ней шевельнулось бы чувство посильнее, чем снисходительное расположение к ее не слишком многочисленным любовникам... Джестине сейчас и в голову не пришло, что не случайно она выбирала любовников, ничуть не опасных для ее независимости, к которой она сама себя

приучила и с которой прочно свыклась, и уже считала, будто это у нее от природы. Впервые в жизни ей не на что опереться, не с чем сравнивать. Ничто в прошлом не утешает, ни разу там не вспыхнуло сильное, глубокое чувство – в ней ли самой или в ком-нибудь из этих мимолетных, как тени, любовников. Не помогают и воспоминания о Дрохеде, ведь там она тоже всегда от всех отгораживалась.

Правильно, от Лиона непременно надо было сбежать. Сказать «да», отдать себя в его власть, а потом видеть, как он убедится, насколько она несостоятельна, и отшатнется? Невыносимо! Он поймет, какая она на самом деле, и это убьет его любовь. Невыносимо – согласиться и под конец быть отвергнутой раз и навсегда. Куда лучше отвергнуть самой. Так по крайней мере не пострадает гордость, а гордости в Джастине ничуть не меньше, чем в ее матери.

Никогда, никогда Лион не должен узнать, какая она на самом деле, под маской дерзкого легкомыслия.

Он влюбился в ту Джастину, какую видит; она ведь не давала ему случая заподозрить, какое море сомнений скрывается под легкомысленной внешностью. Это подозревает – нет, знает – только Дэн.

Она низко наклонилась, прижалась лбом к прохладному ночному столику, по лицу ее струились слезы. Вот потому-то она так любит Дэна. Он знает настоящую Джастину и все равно ее любит. Помогают и кровные узы, и вся их жизнь, столько общих воспоминаний и сложностей, горестей и радостей. А Лион – чужой, он не связан с ней, как Дэн и даже как остальная ее родня. Он вовсе не обязан ее любить.

Джастина всхлипнула, отерла ладонью мокрые щеки, пожала плечами и принялась за нелегкую задачу – надо затолкать то, что случилось, куда-нибудь в самый дальний угол сознания – и не ворошить, не вспоминать. Она это умеет, всю жизнь она совершенствовала эту технику. Только надо вечно быть чем-то занятой, надо, чтоб тебя поглощали разные дела и недосуг было думать о том, что внутри. Джастина протянула руку, щелкнула выключателем настольной лампы.

Видно, кто-то из дядюшек занес это письмо к ней в комнату, вот оно лежит на ночном столике – голубой конверт авиапочты, в верхнем углу марка с портретом королевы Елизаветы.

«Джастина-лапонька! – писал Клайд Долтинхем-Робертс. – Возвращайся в лоно родного театра, ты нам необходима! Приезжай сейчас же! В репертуаре нового сезона есть одна беспризорная роль, и, шепну тебе на ушко, я сильно подозреваю, что ты не прочь будешь ее сыграть. Как насчет Дездемоны, лапонька? С Марком Симпсоном в роли твоего Отелло?

Репетиции для главных участников начинаются на следующей неделе – конечно, если тебе это любопытно».

Если ей это любопытно! Сыграть Дездемону! Дездемону – в Лондоне! И Отелло – сам Марк Симпсон! Такое счастье выпадает раз в жизни. Она вмиг почувствовала себя на седьмом небе; то, что произошло у нее с Лионом, уже не имеет значения, нет, вернее, обретает совсем иное значение. Пожалуй, если быть очень, очень осторожной, удастся сохранить любовь Лиона; знаменитая, прославленная актриса всегда занята, у нее остается не очень-то много времени на любовников. Стоит попытаться. Если она заметит, что он вот-вот поймет истину, всегда остается путь к отступлению. Чтобы не лишиться Лиона, тем более – этого нового Лиона, она готова на все, только маску свою ни за что не сбросит.

А меж тем такую новость не грех отпраздновать. Снова встретиться лицом к лицу с Лионом пока не хватает храбрости, но есть и еще люди, которые порадуются ее торжеству. Итак, она надела туфли, прошла по коридору к общей гостиной дядюшек и, едва Пэтси отворил ей дверь, раскинула руки, ослепительно улыбнулась и провозгласила:

– Выставляйте пиво, я буду Дездемоной!

Мгновение все молчали, потом Боб сказал ласково:

– Вот это славно, Джастина.

Но радость ее не померкла, напротив, в ней рос неудержимый восторг. Джастина со смехом уселась в кресло, внимательно оглядела дядюшек. До чего милый народ! Конечно, ее новость ничего им не говорит. Они понятия не имеют, кто такая Дездемона. Если б она сейчас объявила, что выходит замуж, Боб ответил бы примерно так же.

Сколько она себя помнит, они всегда были под боком и, увы, она всегда смотрела на них свысока, так же как и на все в Дрохеде. Дядюшки – это нечто во множественном числе, не имеющее никакого отношения к Джастине О’Нил. Просто члены некоего сообщества – то заезжают на Главную усадьбу, то вновь исчезают, застенчиво улыбаются ей, Джастине, при встрече, но увиливают от разговоров с ней. Теперь-то она понимает – не то чтобы она им не нравилась, просто они чувствуют, что она очень другая, и им с ней неловко. А вот здесь, в Риме, который им чужд, а ей уже знаком и привычен, она начинает лучше их понимать.

Ощущая, как в ней разгорается чувство к ним, которое, пожалуй, можно назвать любовью, Джастина переводила взгляд с одного улыбающегося, изрезанного морщинами лица на другое. Вот Боб – главная и всех вдохновляющая сила, хозяин Дрохеды, но как ненавязчиво, незаметно играет он эту роль; вот Джек – кажется, он только и делает, что

ходит за Бобом по пятам, а может быть, просто они отлично ладят; Хьюги – в нем в отличие от двоих старших есть какая-то озорная жилка, и все же он очень с ними схож; Джимс и Пэтси – две стороны единого целого, только один на виду, а другой – незаметный молчун; и, наконец, тихий, угасший бедняга Фрэнк, единственный среди них, кого, похоже, мучают страхи и неуверенность. Все они, кроме Джимса и Пэтси, уже сидят, у Боба и Фрэнка волосы уже совсем белые. Но все равно почти такими же на вид она помнит дядюшек с детства.

– Ну, не знаю, следует ли давать тебе пиво, – в раздумье сказал Боб; он стоял напротив Джастины с бутылкой в руке.

Еще несколько часов назад эти слова ее разозлили бы, но сейчас она слишком счастлива, чтобы обижаться.

– Послушай, милый, я понимаю, тебе просто в голову не приходило угостить и меня, когда вы тут пили с Лионом, но, ей-богу, я уже выросла большая и от пива не опьянею. Можешь мне налить, греха не будет, – закончила она с улыбкой.

– А где Лион? – спросил Джимс, принимая от Боба полный стакан и передавая племяннице.

– Я с ним разругалась.

– С Лионом?!

– Ну да. Но я сама виновата. Попозже пойду извинюсь.

Никто из дядюшек не курил. Хотя прежде Джастина никогда не просила пива, но случалось, пока все они разговаривали с Лионом, сидела и вызывающе курила; а вот сейчас не хватает мужества вытащить сигареты, довольно и этой маленькой победы, до смерти хочется выпить завоеванное пиво залпом, но под их пытливыми взглядами это рискованно. Отпивай по капельке, Джастина, как полагается благовоспитанной особе, даже если глотка у тебя суха, как плохая проповедь.

– Отличный малый этот Лион, – сказал Хьюги, глаза его лукаво блеснули.

И вдруг Джастина с испугом сообразила, почему она так выросла в их мнении: она заполучила поклонника, которого они рады бы видеть членом семьи.

– Да, ничего, – отозвалась она коротко и переменяла разговор: – Чудесный сегодня был день, правда?

Все, даже Фрэнк, дружно закивали, но, похоже, не хотели рассуждать на эту тему. Все они явно устали, но ей ничуть не жаль, что она поддалась порыву и заглянула к ним. Кое-какие чувства едва ли не отмерли, надо сызнова им учиться, и можно недурно поупражняться на дядюшках. Вот

почему плохо, когда ты остров; забываешь, что и за пределами твоих берегов что-то происходит.

– А что это – Дездемона? – спросил Фрэнк из темного угла, куда, по своему обыкновению, забился.

Джастина пустилась в красочные описания, насладились их ужасом, когда они узнали, что на каждом спектакле ее станут душить, и вспомнила, до чего они, должно быть, устали, только через полчаса, когда Пэтси зевнул.

– Мне пора. – Она отставила пустой стакан. Второго ей не предлагали, очевидно, дамам больше одной порции пива не положено. – Спасибо, что слушали мою болтовню.

Желая Бобу спокойной ночи, она его поцеловала, отчего он порядком удивился и смутился; Джек попятился, но был с легкостью пойман, а Хьюги принял такой знак внимания с превеликим удовольствием. Джимс багрово покраснел, но стерпел кротко. Пэтси она не только поцеловала на прощание, но и крепко обняла, он ведь и сам немножко остров. Фрэнк, пытаясь избежать поцелуя, круто отвернулся; но когда Джастина его обняла, ей почудился приглушенный отзвук, словно шевельнулось в нем потаенное волнение, какого у других не было и в помине. Бедный Фрэнк, ну почему он такой?

Выйдя от них, она на мгновение прислонилась к стене. Лион ее любит. Но когда она попыталась ему позвонить, телефонистка сказала – абонент выехал в Бонн.

Не важно. Пожалуй, так даже лучше – подождать до Лондона и уже там с ним встретиться. Извиниться по почте, покаянным письмом, и пригласить вместе поужинать, когда он в следующий раз попадет в Англию. Еще очень многое неясно в Лионе, но одно можно сказать наверняка: он придет, потому что совершенно чужд злопамятства. А так как он стал большим специалистом по иностранным делам, то в Англию наезжает постоянно.

– Поживем – увидим, милый друг, – сказала она, глядя в зеркало, где вместо собственного отражения ей виделось лицо Лиона. – Не будь я Джастина О’Нил, если я не сделаю Англию важнейшим из всех твоих иностранных дел.

Ей не приходило в голову, что Лион как раз и задался целью сменить ей фамилию. У нее сложились свои привычки, свой образ жизни, в котором не было места замужеству. Она не догадывалась, что Лион хочет сделать из нее Джастину Хартгейм. Только без конца вспоминала тот его поцелуй и мечтала вновь испытать такое.

Предстоит еще сказать Дэну, что она не может поехать с ним в Грецию, но это не страшно. Дэн поймет, он всегда все понимает. Вот только едва ли она скажет ему все причины, которые мешают ей поехать. Он наверняка прочтет ей самую суровую проповедь, а она, при всей своей любви к брату, просто не может ничего такого выслушивать. Он хочет, чтобы она вышла за Лиона замуж, и, если сказать, что у нее совсем другие планы, увезет ее в Грецию, хотя бы и силой. Чего Дэн не услышит, из-за того и огорчаться не станет.

«Милый Ливень, – говорилось в записке, – простите, что я в тот вечер удрала как ошалелая, сама не знаю, что на меня нашло. Наверное, издергалась, уж очень трудный выдался день. Пожалуйста, извините, я себя показала совершенной балдой. Мне совестно, что я подняла столько шуму из-за пустяка. Подозреваю, что и вы в тот день были не в себе, отсюда признание в любви и прочее. Так вот, вы меня простите, и я вас тоже прощаю. Пожалуйста, останемся друзьями. Даже думать не могу, чтобы нам с вами рассориться. Когда будете в Лондоне, приходите ко мне ужинать, и мы заключим самый настоящий мирный договор».

Подпись, как всегда, просто «Джастина». Никаких нежных слов – они у нее не в обычае. Сдвинув брови, Лион вчитывался в бесхитростные небрежные строки, словно пытался сквозь них разглядеть, что было у нее на уме, когда она их писала. Безусловно, это – предложение дружбы, но только ли? А что еще? Со вздохом он поневоле себе признался – всего вероятнее, почти ничего. Он отчаянно ее напугал; она хочет сохранить его дружбу, стало быть, он немало для нее значит, но очень, очень сомнительно, чтобы она по-настоящему понимала, что у нее к нему за чувство. Ведь теперь она уже знает: он ее любит; если б она в себе разобралась, поняла, что и сама его любит, она бы так прямо и написала. Однако почему же она не поехала с Дэном в Грецию, а вернулась в Лондон? Не надо бы обманываться надеждой, что это из-за него... но, наперекор опасениям, надежда становилась все радужнее, настроение настолько поднялось, что Лион вызвал секретаршу. Десять утра по Гринвичу, в этот час всего вернее можно застать Джастину дома.

– Соедините меня с лондонской квартирой мисс О’Нил, – распорядился он и несколько секунд ждал, брови сошлись над переносьем в одну резкую черту.

– Ливень! – В голосе Джастины откровенная радость. – Получили мое письмо?

– Только что.

Чуть помолчала, спросила:

– И вы скоро придете поужинать со мной?

– Я буду в Англии в ближайшую пятницу и в субботу. Даю вам слишком короткий срок?

– Нет, если вас устраивает субботний вечер. Пятница отпадает, я репетирую Дездемону.

– Дездемону?

– Ну да, вы же ничего не знаете! Клайд написал мне в Рим и предложил сыграть. В роли Отелло Марк Симпсон, ставит сам Клайд. Чудесно, правда? Я первым же самолетом вернулась в Лондон.

Он прикрыл глаза рукой – спасибо, секретарша у себя, в приемной перед его кабинетом, и не видит его лица.

– Джастина, *herzchen*, это просто замечательная новость. – Он постарался, чтобы голос его прозвучал восторженно. – А я удивлялся, что привело вас обратно в Лондон.

– Ну, Дэн все понял, – беззаботно сказала Джастина. – Я думаю, он даже рад побыть один. Он сочинил какую-то басню, будто я ему нужна, потому что стану шпынять его и заставлю съездить домой, но, по-моему, просто он боится, вдруг я подумаю, что теперь, когда он стал священником, я ему ни к чему.

– Очень может быть, – вежливо согласился Лион.

– Так, значит, в субботу вечером, – сказала Джастина. – Давайте к шести, тогда мы на досуге с помощью бутылочки-другой обсудим статьи мирного договора, а когда придем к соглашению, я вас накормлю. Решено?

– Да, конечно. До свидания, *herzchen*.

Она дала отбой, и все оборвалось; с минуту Лион сидел с трубкой в руке, потом, пожав плечами, положил ее на рычаг. Черт ее побери, эту Джастину! Она начинает мешать ему работать.

Она мешала ему работать и в следующие несколько дней, хотя едва ли кто-нибудь это замечал. А в субботу вечером, вскоре после шести, он явился к ней домой, как всегда, с пустыми руками – не так-то просто ей что-нибудь подарить. К цветам она равнодушна, конфет не ест, а подарок поценнее небрежно закинет куда-нибудь в угол и забудет про него. Похоже, она дорожит только подарками Дэна.

– Шампанское перед ужином? – удивился Лион.

– Ну, я думаю, по такому случаю это необходимо, вы не согласны?

Ведь это наш самый первый разрыв и самое первое примирение.

Ответ прозвучал вполне правдоподобно; Джастина указала гостю на уютное кресло, а сама устроилась на ковре из светло-коричневых шкур кенгуру, губы ее чуть приоткрылись, будто, что бы он сейчас ни сказал, у нее уже готова следующая реплика.

А он не в силах вести беседу – сначала надо хоть немного разобраться в ее настроении – и только молча к ней присматривается. Прежде ему ничего не стоило держаться словно бы равнодушно, но сейчас, при первой встрече после того поцелуя, пришлось себе признаться, что сохранять равнодушие впредь будет куда труднее.

Вероятно, даже когда она совсем состарится, в ее лице и повадках останется что-то ребяческое, словно ей не суждено обрести чего-то, что отличает зрелую женщину. Похоже, всем ее существом верховодит трезвый, эгоистичный и логичный рассудок, и, однако, Лиона неодолимо влечет к ней, кажется, никогда никакая другая женщина ее не заменит. Он даже ни разу не спросил себя, а стоит ли она того, чтобы так долго и трудно ее завоевывать? С философской точки зрения, наверное, не стоит. Но что за важность? Только ее он добивается, только к ней стремится.

– Вы сегодня очень мило выглядите, herzchen, – сказал он наконец и приподнял бокал довольно неопределенным жестом: то ли провозглашая тост, то ли приветствуя противника.

В небольшом викторианском камине алеют раскаленные уголья, экрана перед ним нет, но Джастина, видно, не против жары – пристроилась на ковре, совсем близко к огню, и не сводит глаз с Лиона. Потом со звоном отставила бокал к камину, подалась вперед, обхватив руками колени, босые ступни прячутся в складках черного, как ночь, платья.

– Не могу я ходить вокруг да около. Вы серьезно это говорили, Ливень?

Его разом отпустило, с огромным облегчением он откинулся в кресле.

– Что именно?

– То, что вы сказали в Риме... Что вы меня любите.

– Так вот что вы хотите знать, herzchen? За этим и звали?

Джастина отвела глаза, пожала плечами, опять посмотрела на Лиона и кивнула:

– Да, конечно.

– Зачем же снова это ворошить? Вы мне тогда высказали все, что думали, и я так понял, что приглашен сегодня не воскрешать прошлое, а только поразмыслить о будущем.

– Ох, Ливень! Вы так говорите, точно я бессовестное трепло. Даже

если так, уж наверно вы сами знаете почему.

– Нет, не знаю. – Он отставил бокал, наклонился, чтобы лучше видеть ее лицо. – Вы весьма выразительно дали мне понять, что моя любовь вам ни в какой мере не нужна, и я надеялся, что вы хотя бы из приличия воздержитесь от разговоров на эту тему.

Джастина никак не думала, что в этот вечер, чем бы он ни кончился, она окажется в таком неловком положении – все-таки ведь это он, Лион, выступил вначале в роли просителя, вот и ждал бы смиренно, чтобы она изменила свое решение. А он все обернул против нее. И теперь изволь чувствовать себя напроказившей девчонкой, которую отчитывают за какую-то дурацкую выходку.

– Вот что, приятель, ведь не я, а вы первый нарушили наш status quo! Я вовсе не собираюсь просить прощения за то, что уязвила самолюбие великого Хартгейма, не для того я вас нынче приглашала!

– Переходите к обороне, Джастина?

Она нетерпеливо передернулась.

– Да, черт побери! И как вы ухитряетесь меня до этого довести, Ливень? Хоть бы раз доставили мне удовольствие, дали взять над вами верх!

– Если б я хоть раз вам поддался, вы бы меня вышвырнули, как старую тряпку, – сказал он с улыбкой.

– Это я и сейчас могу, дружище!

– Чепуха! Если до сих пор не вышвырнули, так уже и не вышвырнете. Вы и впредь со мной не разнакомитесь, потому что со мной вы как на иголках.

– Поэтому вы и сказали мне, что любите? – через силу спросила Джастина. – Просто схитрили, чтоб держать меня как на иголках?..

– А как по-вашему?

– По-моему, вы просто стервец! – процедила она сквозь зубы, на коленках по ковру придвинулась к нему вплотную, пусть получше разглядит, до чего она зла. – Только попробуйте еще раз сказать, что вы меня любите, несчастный немецкий обалдуй, и я плюну вам в физиономию!

Обозлился и Лион:

– Нет, больше я этого не скажу! Вы же не для того меня приглашали, так? Мои чувства нисколько вас не интересуют, Джастина. Вы меня позвали, чтобы испытать ваши собственные чувства, а что по отношению ко мне это несправедливо, подумать не потрудились.

Она не успела отшатнуться – он нагнулся к ней, схватил за руки чуть

пониже плеч, стиснул ее коленями – не вырваться. И вмиг ее ярости как не бывало – кулаки разжались, она оперлась ладонями на его бедра, запрокинула голову. Но Лион не поцеловал ее. Разнял руки, перегнулся назад, погасил лампу за спиной и, отпустив Джастину, откинулся головой на спинку кресла, и не понять, понадобилась ли ему темнота, нарушаемая лишь отсветом камина, чтобы заняться любовью или просто чтобы Джастина не видела его лица. Растерянная, в страхе – вдруг он совсем ее оттолкнет, она ждала: что он скажет, как быть дальше? Да, следовало раньше понять, что с такими, как Лион, шутки плохи. Они непреклонны, как сама смерть. Ну почему она не может прижаться головой к его коленям и сказать: «Люби меня, Ливень, прости, я виновата, не могу я без тебя...» Наверное, если б сейчас добиться близости с ним, какая-то плотина прорвалась бы, и все хлынуло бы наружу...

Все еще замкнутый, отчужденный, он позволил ей снять с него пиджак, развязать галстук, но, расстегивая на нем рубашку, она уже понимала – все это зря. В ее репертуар не входит сноровка соблазнительницы, умеющей самыми обыденными действиями будить эротическое волнение. Такие важные минуты, а она все испортила. Пальцы ее дрогнули, губы скривились. И она заплакала навзрыд.

– Нет, нет! Herzchen, liebchen^[21], не плачь! – Лион притянул ее на колени к себе, прижал ее голову к своему плечу, обнял. – Прости меня, herzchen, я не хотел доводить тебя до слез.

– Теперь ты знаешь, – всхлипывая, выговорила Джастина. – Ни на что я не гожусь. Я же тебе сказала, все зря, ничего у нас не выйдет. Я так боялась тебя потерять, Ливень, но я же знала, если ты увидишь, какая я никчемная, ничего у нас не выйдет!

– Ну конечно, ничего бы не вышло. Как могло быть иначе? Ведь я не помогал тебе, herzchen. – Он приподнял ее голову, заглянул в лицо и стал целовать веки, мокрые щеки, уголки рта. – Это не ты, это я виноват. Я старался тебе отплатить, хотел посмотреть, далеко ли ты зайдешь, если я не сделаю ни шага навстречу. Но, видно, я не так тебя понял, nicht Wahr^[22]? – Голос его зазвучал глуше, и в нем явственнее слышался немецкий акцент. – Слушай, если ты этого хочешь, будет и это, будет и то и другое.

– Нет, Ливень, пожалуйста, давай про это забудем! Не умею я чувствовать по-человечески. Ты только во мне разочаруешься!

– Ты все прекрасно умеешь, herzchen, я это понял, когда видел тебя на сцене. Как ты можешь в себе сомневаться, когда ты со мной?

Это было так верно, что слезы ее разом высохли.

– Поцелуй меня, как поцеловал в Риме, – прошептала она. Только это было совсем, совсем не похоже на тот поцелуй в Риме. Там было что-то грубое, внезапное, опасное, здесь – глубокая истома, в нее погружаешься неспешно, и все, что ощущаешь кожей, и на запах, и на вкус, проникнуто сладострастием. Пальцы Джастины вернулись к пуговицам его рубашки, пальцы Лиона – к молнии ее платья, потом он притянул ее руку себе под рубашку, на грудь, где густо курчавилась мягкая поросль. Внезапно его губы крепче прижались к ее шее, и, беспомощная, потрясенная, Джастина едва не потеряла сознание, почудилось – она падает, и оказалось, она и вправду распростерта на шелковистом ковре и смутно различает над собой лицо Лиона. На нем уже нет рубашки, а может быть, не только рубашки, в пляшущих отсветах камина видны лишь его плечи и красивые, сурово сжатые губы. Нет, она навсегда уничтожит эту суровую складку! Она зарылась пальцами в густые волосы у него на затылке, притянула к себе его голову – пускай целует еще, крепче, крепче!

Какое это было чувство! Губами, руками, всем телом она узнавала каждую частицу его тела, словно обрела что-то извечно родное и все же сказочное, неведомое. Мир сжался до полоски у камина, где отсветы огня плещут о край темноты, и Джастина раскрывается ему навстречу и понимает наконец-то, что было его секретом все годы их знакомства: что в воображении он, должно быть, обладал ею уже тысячи раз. Это подсказывают ей и опыт, и впервые пробудившееся женское чутье. И она беспомощна, обезоружена. Со всяким другим такая беспредельная близость, такая поразительная чувственность ужаснули бы ее, но он заставил ее понять, что все это – для нее одной. И она знала, все это – только для нее. До последнего мгновения, когда она вскрикнула, не в силах больше ждать завершения, она так сжимала его в объятиях, что, казалось, ощущала каждую его косточку.

В утоленном спокойствии проходили минуты. Теперь оба дышали ровно, легко и свободно, голова его лежала у нее на плече, ее колено – на его бедре. Постепенно ее стиснутые руки разжались, она сонно, ласково стала поглаживать его по спине. Лион вздохнул, повернулся, откинулся навзничь, казалось, он отдается в ее власть, бессознательно ждет, что она еще полнее насладится их слиянием...

И все же она была застигнута врасплох, задохнулась от изумления; он сжал ее виски ладонями, притянул к себе, его лицо было совсем близко, и она увидела – в этих губах уже нет ни следа вечной суровой сдержанности, так они сложены только из-за нее и для нее одной. Вот когда в ней поистине родились и нежность, и смирение. Наверное, это отразилось на ее

лице, потому что глаза Лиона так засияли ей навстречу, что она уже не могла вынести его взгляда, наклонилась еще ниже и прильнула губами к его губам. Наконец-то мысли и чувства сплелись воедино, и у нее даже крика не вырвалось, беззвучный счастливый всхлип потряс все ее существо, она уже ничего не сознавала, только слепо наслаждалась полнотой каждого мига. Мир замкнулся в последней завершенности, и все исчезло.

Наверное, Лион поддерживал огонь в камине, потому что, когда сквозь занавеси просочился мягкий свет лондонского утра, в комнате было еще тепло. На этот раз, едва он шевельнулся, Джастина встrepенулась и пугливо сжала его локоть.

– Не уходи!

– Я не ухожу, herzchen. – Он сдернул с дивана еще одну подушку, сунул себе под голову, притянул Джастину поближе и тихонько вздохнул. – Тебе хорошо?

– Да.

– Не холодно?

– Нет, но, если тебе холодно, можно перебраться в постель.

– После того, как мы столько часов занимались любовью на меховом ковре? Какое падение! Даже если простыни у тебя из черного шелка.

– Нет, просто белые хлопчатобумажные, самые обыкновенные. А этот кусочек Дрохеды недурен, правда?

– Кусочек Дрохеды?

– Ковер. Он ведь из шкур тамошних кенгуру, – объяснила Джастина.

– Маловато экзотики и эротики. Я для тебя выпишу из Индии шкуру тигра.

– Это мне напоминает один стишок, я его когда-то слышала:

Угодно ль? Пуститесь
Вы с Элино́р Глин
В грешные игры
На шку́ре тигра.
Иль соблазнитесь
Один на один
Ввязаться с ней в грех,
Подостлав иной мех?

– Что ж, herzchen, тебе и правда пора вспоминать свои привычки, – улыбнулся Лион. – Ты уже полсуток не проявляла легкомыслия, только отдавала дань Эросу и Морфею.

– Не чувствую сейчас потребности в легкомыслии. – Джастина улыбнулась в ответ и преспокойно притянула его руку туда, куда захотелось. – Стишок про тигровую шкуру уж очень кстати, вот я и не удержалась, но теперь мне больше совсем нечего от тебя скрывать, так что и легкомыслие уже ни к чему, правда? – Она вдруг принялась, чуть потянуло запахом несвежей рыбы. – Фу, черт, ты ведь так и не поужинал, а теперь уже время завтракать. Не можешь же ты питаться одной любовью!

– Да, пожалуй, если ты хочешь, чтобы я и впредь так же убедительно ее доказывал.

– Ну, брось, ты и сам получил полное удовольствие.

– Еще бы. – Он вздохнул, потянулся, зевнул. – Любопытно, догадываешься ли ты хоть немного, до чего я счастлив.

– Кажется, догадываюсь, – негромко ответила Джастина.

Он приподнялся на локте, посмотрел внимательно:

– Скажи, ты только ради роли Дездемоны вернулась в Лондон?

Она больно ущипнула его за ухо.

– Теперь я тебе отплачу, довольно ты меня гонял вопросами, как девчонку на экзамене. Ты-то сам как думаешь?

Лион усмехнулся, легко разжал ее пальцы.

– Если ты мне не ответишь, herzchen, я тебя задушу гораздо основательней, чем твой Отелло – Марк.

– Я вернулась в Лондон играть Дездемону, но все равно из-за тебя. С той минуты, как ты меня тогда поцеловал, я была сама не своя, и ты прекрасно это знаешь. Вы очень умный человек, Лион Мёрлинг Хартгейм.

– По крайней мере у меня хватило ума понять с первой же встречи: я хочу, чтобы ты стала моей женой.

Джастина порывисто села.

– Женой?!

– Да, женой. Если б ты была мне нужна как любовница, я получил бы тебя много лет назад. Это было бы не так уж трудно, я же знаю, как у тебя голова работает. Я только потому этого не добивался, что ты мне нужна именно в жены, и я понимал, ты еще не представляла себя в такой роли.

– Пожалуй, и сейчас не представляю. – Джастина пыталась освоиться с этой мыслью.

Лион поднялся на ноги, поднял и ее.

– Ладно, поупражняйся немножко, приготовь мне что-нибудь

позавтракать. Будь мы у меня дома, я бы похозяйничал, но в своей кухне каждый стряпает сам.

– Сегодня я не прочь накормить тебя завтраком, но обречь себя на это до конца дней моих?.. – Она покачала головой. – Пожалуй, это не по мне, Ливень.

И опять перед ней властное лицо римского императора, царственно невозмутимое перед угрозой мятежа.

– Этим не шутят, Джастина, и не тот я человек, с которым уместны шутки. Спешить некуда. Ты прекрасно знаешь, терпения у меня достаточно. Но если ты воображаешь, будто тут возможно что-либо помимо брака, выбрось это из головы. Пускай все знают, что я тебе муж, а не кто-нибудь.

– Сцену я не оставлю! – вспылила Джастина.

– Verfluchte Kiste^[23], да разве я этого требую? Когда ты наконец повзрослеешь, Джастина? Можно подумать, будто я тебя приговариваю к пожизненной каторге у плиты! Мы, к твоему сведению, не так бедны. Обзаводись прислугой, няньками для детей и вообще всем, что тебе еще нужно.

– Брр! – О детях Джастина уж вовсе не думала.

Он запорокинул голову и захохотал:

– Да, herzchen, вот это и называется утреннее похмелье, и даже с избытком! Я знаю, с моей стороны глупо сразу же затевать разговор о прозе, пока достаточно, чтобы ты о ней только подумала. Но предупреждаю честно, пока ты решаешь, да или нет, помни – если я не получаю тебя в жены, ты мне вообще не нужна.

Джастина порывисто обняла его, ухватила за него отчаянно, как утопающая.

– Ливень, Ливень, не надо со мной так строго! – взмолилась она.

Дэн одиноко вел свою машину вверх по итальянскому «сапогу» – миновал Перуджу, Флоренцию, Болонью, Феррару, Падую, выбрал наиболее удобный объезд мимо Венеции, переночевал в Триесте. Триест он любил больше многих других городов и потому задержался на берегу Адриатики еще два дня, потом поднялся горной дорогой в Люблян, еще ночь провел в Загребе. И снова вниз, просторной долиной реки Савы, среди голубых полей цикория до Белграда, потом ночлег в Нише. Дальше – Македония, Скопле, еще в руинах после землетрясения, что разразилось здесь два года назад; и Титов-Велес, город-курорт, своими мечетями и минаретами странно напоминающий Турцию. В Югославии Дэн всю

дорогу был более чем скромнен в еде, стыдно было бы поставить перед собой полную тарелку мяса, когда здешние жители довольствуются хлебом.

Эвзон, греческая граница, затем Фессалоники. Итальянские газеты давно уже кричали, что в Греции назревает переворот; Дэн стоял у окна своей спальни в гостинице, смотрел, как во мраке фессалоникийской ночи беспокойно мечутся взад и вперед тысячи пылающих факелов, и радовался, что Джастина с ним не поехала.

– Па-пан-дреу! Па-пан-дреу! Па-пан-дреу! – далеко за полночь протяжно ревела толпа в свете факелов.

Но перевороты происходят в городах, в средоточии народных масс и нищеты; а иссеченные шрамами земли Фессалийской равнины, должно быть, и сейчас такие же, какими видели их легионы Цезаря, шагая по выжженному жнивью к Фарсале, навстречу войскам Помпея. Пастухи спят в тени шатров из козьих шкур, на кровлях старых-престарых белых домиков стоят на одной ноге аисты, и все вокруг иссушено, задыхается от страшной жажды. В высоком небе – ни облачка, на побуревших под палящим солнцем просторах ни деревца, все так напоминает Австралию. И Дэн вдыхал все это полной грудью, и уже улыбался при мысли, что поедет домой. Он поговорит с мамой, и она его поймет.

Над Ларисой он увидел сверху море, остановил машину и вышел. Море простиралось до изогнутого дугой горизонта, прозрачным нежным аквамарином голубело у берегов, а дальше оно было темное, точно вино, как у Гомера, с лиловыми пятнами цвета гроздьев винограда. Далеко внизу, на яркой зелени травы, ослепительно белел в солнечных лучах маленький круглый храм с колоннами, а на горном склоне позади Дэна, выстояв столетия, хмурилась крепость времен крестоносцев. «Ты прекрасна, Греция, как я ни люблю Италию, ты еще прекраснее. И ты во веки веков – колыбель всего».

Ему не терпелось попасть в Афины, и он на полной скорости погнал свою красную спортивную машину по крутым извилистым дорогам Домокос и, одолев перевал, начал спускаться в Беотию; его ошеломила, распахнувшись во всей неповторимой красе, ширь оливковых рощ, рыжих косогоров, величавых вершин. Но как ни спешил Дэн, он остановился перед памятником Леониду и его спартанцам, павшим при Фермопилах; странно, что-то в этом надгробии отдавало Голливудом. «Незнакомец, – гласила надпись на камне, – иди и поведай жителям Спарты, что здесь мы погибли, их повинувшись велению». Слова эти задели некую тайную струну в душе Дэна, показалось – он уже слышал их в какой-то иной связи; его пробрала дрожь, и он заторопился дальше.

Жара спадала, и Дэн остановился ненадолго над Камена-Воура, поплавал в прозрачной воде узкого пролива, за которым виднелась Эвбея; должно быть, здесь-то и прошла тысяча кораблей, плывущих из Олиса к Трое. Бурливое сильное течение стремилось к морю; наверное, героям Гомера не приходилось много работать веслами. В пляжной раздевалке Дэна смутила древняя старуха в черном, она восторженно заворковала и все норовила погладить его по плечу; он не знал, как бы поскорее от нее сбежать. Теперь люди уже не говорили ему в лицо, какой он красивый, и почти всегда удавалось об этом забывать. Он наскоро купил в лавчонке два больших пирожных с заварным кремом, двинулся дальше вдоль аттического берега и наконец на закате въехал в Афины; солнце золотило огромную скалу, увенчанную бесценной колоннадой.

Но в Афинах воздух насыщен был злым возбуждением, и оскорбительны были откровенные восторги женщин; римлянки все же утонченнее, сдержаннее. На улицах взбудораженные толпы, там и сям вспыхивают стычки, немало людей, настроенных мрачно и решительно – они за Папандреу. Нет, Афины на себя не похожи, лучше отсюда выбраться. Дэн поставил свою машину в платный гараж и на пароме отправился на Крит.

И здесь, среди гор, среди оливковых рощ и душистого тимьяна, он наконец нашел желанный покой. Долго трясся он в автобусе, где кудахтали связанные за ноги куры и в нос бил запах чеснока, потом нашел крохотную выбеленную известкой гостиницу с полукруглой колоннадой и тремя столиками на мощенном каменными плитами дворе перед ней, под большими парусиновыми зонтами; гирляндами, точно праздничные фонари, всюду развешаны были яркие узорные сумки. На почве, слишком сухой и скудной для европейского дерева, растут перечные деревья и австралийские эвкалипты, завезенные сюда с далекой южной земли. Оглушительно трещат цикады. Вздываются и кружат тучи рыжей пыли.

Ночами Дэн спал в крохотной, точно монашеская келья, комнатке с настезь распахнутыми ставнями; на рассвете, когда ничто не нарушало тишины, одиноко служил мессу; весь день бродил. Никто не мешал ему, и он никому не мешал. Но деревенские жители подолгу провожали его изумленными взглядами, и на лицах, изрезанных морщинами, расцветали улыбки. Было жарко, и удивительно тихо, и очень сонно. Безграничный покой. Так проходил день за днем, будто четки скользили в темных дубленых пальцах критского крестьянина.

Дэн безмолвно молился, молитва была продолжением того чувства, что его переполняло, мысли – как четки, и дни – как четки. «Господи,

воистину я твой. Благодарю тебя за все, что ты мне даровал. За великодушного кардинала, за его поддержку, за его щедрую дружбу и неизменную любовь. За Рим, за счастье приблизиться к самому сердцу твоему, пасть пред тобою ниц в излюбленном твоём храме, ощутить себя частицею церкви твоей. Ты дал мне больше, чем я стою, что же сделаю я для тебя, чем выразить всю меру моей благодарности? Я слишком мало страдал. С тех пор как я стал служить тебе, вся моя жизнь – непрерывная и неомраченная радость. Я жажду испытать страдание, ты, который столько страдал, это поймешь. Только через страдание я смогу возвыситься над собой, лучше постичь тебя. Ведь это и есть земная жизнь – лишь переход к тому, чтобы постичь тайну твою. Пронзи грудь мою своим копьем, погрузи его так глубоко, чтобы я уже не в силах был извлечь острие! Дай мне страдать... Я всех отверг ради тебя, даже мать, и сестру, и кардинала. Ты един, мука моя и радость моя. Повергни меня во прах, и стану славить твое возлюбленное имя. Уничтожь меня, и возрадуюсь. Я люблю тебя, Господи, только тебя...»

Дэн пришел к маленькой бухте, где так славно было плавать, золотистый полумесяц песчаного берега замыкали по краям два утеса; он постоял немного, глядя вдаль, поверх Средиземного моря, – там, за темной чертой горизонта, должно быть, Ливия. Легкими прыжками он спустился по ступеням на песок, скинул теннисные туфли, взял их в руки и пошел босиком по мягкому, податливому песку к тому месту, где всегда оставлял обувь, рубашку и шорты. Неподалеку лежали на солнце красные, точно вареные раки, два молодых англичанина, толковали о чем-то, по-оксфордски растягивая слова; еще дальше две женщины лениво переговаривались по-немецки. Дэн мельком глянул на женщин, застенчиво подтянул купальные трусики, поневоле заметил, что они тотчас замолчали, сели, приглаживая волосы, и заулыбались ему.

– Как вода? – спросил он англичан, хотя мысленно называл их, как все австралийцы, пренебрежительно – «помми». Эти двое, видно, прочно обосновались на Крите, на пляж приходят каждый день.

– Великолепно, старина. Только остерегайтесь течения, для нас оно слишком сильное. Должно быть, где-то штормит.

– Спасибо.

Дэн усмехнулся, побежал навстречу безобидной игривой ряби и, не поднимая брызг, как и подобает искусному пловцу, погрузился в неглубокую воду.

Поразительно, как обманчиво бывает спокойствие воды. Течение оказалось коварным, он почувствовал, его словно хватает за ноги, тянет в

глубь; но его, первоклассного пловца, это не тревожило. Низко опустив голову, он скользил по воде, наслаждался прохладой, наслаждался свободой. Потом оглянулся на берег – обе немки, натягивая резиновые шапочки, со смехом бежали к воде.

Дэн приложил руки рупором ко рту и закричал им по-немецки, чтобы оставались на мелководье, течение слишком сильное. Они, смеясь, помахали в ответ. Он снова опустил голову и поплыл, и тут ему почудился крик. Но он проплыл еще немного, потом помедлил – глубинное течение здесь было слабее – и поплыл стоя. Да, не почудилось, позади кричат – он обернулся, обе женщины отчаянно бьются, лица искажены криком, одна вскинула руки и уходит под воду. На берегу англичане поднялись и нехотя идут к кромке воды.

Дэн мигом перевернулся на живот, стремительными взмахами рванулся к тонущим, ближе, ближе. Испуганные руки протянулись к нему, вцепились, потащили на дно; он изловчился, ухватил одну женщину за талию и успел слегка ударить по подбородку, чтобы она, ошеломленная, перестала метаться, другую дернул за ляжку купальника, стукнул коленом по спине, так что у нее перехватило дыхание. Кашляя и задыхаясь – пока его чуть не утопили, он наглотался воды, – он перевернулся на спину и, точно на буксире, поволок свой беспомощный груз к берегу.

Оба англичанина стояли по плечи в воде, до того напуганные, что не решались двинуться дальше, и Дэн ничуть их за это не осуждал. Пальцами ног он коснулся дна и вздохнул с облегчением. Совершенно измучась, последним сверхчеловеческим усилием вытолкнул обеих женщин на безопасное место. Они быстро пришли в себя и опять закричали, суматошно забили руками по воде. Едва дыша, Дэн все-таки сумел улыбнуться. Он свое дело сделал, неумехи помми могут позаботиться о дальнейшем. А пока он, трудно дыша, отдыхал, его опять подхватило течением и отнесло от берега, ноги уже не доставали дна, даже когда Дэн весь вытянулся, пробуя его достать. Да, жизнь обеих женщин была на волоске. Не подвернись он, они бы наверняка утонули: у англичан не хватало то ли сил, то ли умения, они бы их не спасли. «А ведь эти женщины вздумали плыть только для того, чтобы быть поближе к тебе, – подсказало что-то. – Пока они тебя не увидели, они вовсе не собирались лезть в воду. Это твоя вина, что они оказались в опасности, твоя вина».

Он качался на волне, отдаваясь течению, и вдруг невыносимая боль вспыхнула в груди, острая, жгучая, нестерпимая, поистине словно раскаленное копьё пронзило его. Дэн вскрикнул, вскинул руки над головой, напряг все мышцы, но боль усилилась, вынудила опустить руки, потом

свела судорогой – кулаки вздернулись под мышки, согнулись колени. «Сердце! У меня что-то с сердцем, я умираю! Сердце! Я не хочу умирать! Неужели умереть так рано, мой труд даже еще не начат, я не успел себя испытать! Боже, помоги мне! Я не хочу умирать, не хочу умирать!»

Судорога отпустила; Дэн перевернулся на спину, руки его свободно раскинулись на воде, обмякшие, несмотря на боль. Сквозь мокрые ресницы он смотрел ввысь, в недостижимый купол небес. «Вот оно, твое копье, о котором я тебя молил в своей гордыне всего лишь час назад. Дай мне страдать, сказал я, заставь меня страдать. И вот приходит страдание, а я ему противлюсь, не способный на совершенную любовь. Это твоя боль, о Господи, я должен принять ее, я не должен ей противиться, не должен противиться воле твоей. Могушественна рука твоя, и эта боль – твоя, вот что ты, должно быть, испытал на кресте. Господь мой. Господь, я – твой. Если на то воля твоя, да будет так. Как младенец, в руки твои предаюсь. Ты слишком добр ко мне. Что я сделал, чем заслужил столько милостей от тебя и от людей, которые любят меня, как никого другого? Почему ты даровал мне так много, раз я недостоин? Больно, больно! Ты так добр ко мне, Господи. Пусть моя жизнь будет краткой, просил я, и она была коротка. И страдания мои будут кратки, они скоро кончатся. Скоро я увижу лицо твое, но еще в этой жизни благодарю тебя. Больно! Господи, ты слишком добр ко мне. Я люблю тебя, Господи!»

Страшная дрожь сотрясла недвижно затихшее в ожидании тело. Губы Дэна шевельнулись, прошептали имя Божие, силились улыбнуться. Потом зрачки расширились, навсегда изгнав из этих глаз синеву. Два англичанина выбрались наконец на берег, уложили на песок плачущих женщин и стояли, отыскивая глазами Дэна. Но безмятежная густая синева бескрайних вод была пустынна; играючи набегала на берег мелкая волна и вновь отступала. Дэн исчез.

Кто-то вспомнил, что неподалеку есть американский военный аэродром, и побежал за помощью. Меньше чем через полчаса после исчезновения Дэна оттуда поднялся вертолет и, яростно ввинчиваясь в воздух, пошел колесить все ширящимися кругами дальше и дальше от берега, искал. Никто не думал что-либо увидеть. Утопленники обычно погружаются на дно и не всплывают по нескольку дней. Миновал час; а потом за пятнадцать миль от берега с воздуха заметили Дэна, он мирно покачивался на груди водной пучины, руки раскинуты, лицо обращено к небу. В первую минуту подумали, что он жив, весело закричали, но когда машина опустилась так низко, что вода под ней вскипела шипящей пеной, стало ясно – он мертв. С вертолета по радио передали координаты, туда

помчался катер и три часа спустя возвратился.

Весть разнеслась по округе. Критяне любили смотреть на него, когда он проходил мимо, любили застенчиво обменяться с ним несколькими словами. Любили его, хоть и не знали. И вот они сходятся на берег, женщины все в черном, будто взъерошенные птицы, мужчины по старинке в мешковатых штанах, ворот белой рубахи расстегнут, рукава засучены. Стоят кучками, молчат, ждут.

Причалил катер, плотный сержант соскочил на песок, обернулся и принял на руки закутанное в одеяло неподвижное тело. Отошел на несколько шагов от воды и вдвоем с помощником уложил свою ношу на песок. Края одеяла распались; громкий шепот прокатился по толпе критян. Они теснились ближе, прижимали к обветренным губам нательные кресты, женщины приглушенно, без слов, голосили, то был протяжный полувздых, полустон, почти напев – горестная земная песнь многотерпеливой женской скорби.

Около пяти; солнце, клонясь к закату, наполовину скрылось за хмурым утесом, но в свете его еще видны темная кучка людей на берегу и недвижимое тело, что вытянулось на песке – золотистая кожа, сомкнутые веки, длинные ресницы слиплись стрелами от засохшей соли, на посинелых губах слабая улыбка. Появились носилки, и все вместе критские крестьяне и американские солдаты понесли Дэна прочь.

Афины бурлили, бунтующая толпа опрокинула всякий порядок, но полковник американской авиации, держа в руках австралийский паспорт Дэна в синей обложке, по радио все же связался со своим начальством. Как все подобные документы, паспорт ничего не говорил о Дэне. В графе «профессия» значилось просто «студент», а в конце среди ближайших родственников названа была Джастина и указан ее лондонский адрес. Полковника мало заботила степень родства с точки зрения закона, но Лондон куда ближе к Риму, чем Дрохеда. Никто не открыл оставленный в крохотном номере гостиницы квадратный черный чемоданчик, где лежали сутана и все остальное, что свидетельствовало о духовном звании Дэна; вместе с другим чемоданом и этот ждал указаний – куда следует переправить вещи покойного.

Когда в девять утра зазвонил телефон, Джастина заворочалась в постели, с трудом приоткрыла один глаз и лежала, свирепо ругая треклятый аппарат – честное слово, она его отключит! Пускай все воображают, что это так и надо – браться за дела с утра пораньше, но откуда они взяли, будто и она поднимается ни свет ни заря?

Но телефон все звонил и звонил. Может быть, звонит Ливень? Эта мысль вывела ее из полузабытья, и Джастина поднялась, нетвердо держась на ногах, потащилась в гостиную. Германский парламент собрался на внеочередную сессию, они с Лионом не виделись уже целую неделю, и мало надежды увидеть его раньше чем еще через неделю. Но, может быть, кризис там разрешился, и он звонит сказать ей, что приезжает.

– Да?

– Мисс Джастина О’Нил?

– Да, я слушаю.

– Вас беспокоят из австралийского консульства в Олдуиче.

Говорил явно англичанин, он назвался, но спросонок она не разобрала имя, надо было еще освоиться с тем, что звонит не Лион.

– Слушаю вас. – Она зевнула, стоя на одной ноге, почесала ее подошвой другой.

– Есть у вас брат, некий мистер Дэн О’Нил?

Глаза Джестины широко раскрылись.

– Да, есть.

– Он сейчас в Греции, мисс О’Нил?

Джастина выпрямилась, теперь она стояла обеими ногами на ковре.

– Да, правильно. – Ей не пришло в голову поправлять говорящего, объяснять, что Дэн не мистер, а его преподобие.

– Мисс О’Нил, я очень сожалею, что мне выпала тягостная обязанность сообщить вам дурную весть.

– Дурную весть? Дурную весть? Что такое? В чем дело? Что случилось?

– С прискорбием вынужден сообщить вам, что ваш брат, мистер Дэн О’Нил, утонул вчера на Крите, насколько я понял, погиб как герой, спасая утопающих. Однако, сами понимаете, в Греции сейчас государственный переворот и наши сведения отрывочны и, возможно, не очень точны.

Телефон стоял на столике у стены, и Джастина прислонилась к ней в поисках опоры. Колени подгибались, она медленно сползала вниз и под конец скорчилась на полу. Какие-то непонятные звуки срывались с ее губ, не смех и не рыдание, что-то среднее, громкие судорожные всхлипы. Дэн утонул. Вдох. Дэн умер. Вдох. Крит... Дэн... утонул... Вдох. Умер, умер.

– Мисс О’Нил? Вы слушаете, мисс О’Нил? – настойчиво повторял голос в трубке.

«Умер. Утонул. Мой брат!»

– Мисс О’Нил, вы меня слышите?

– Да, да, да, да, да! О Господи, я слушаю!

– Как я понимаю, вы – ближайшая родственница, и потому нам необходимы ваши распоряжения – как поступить с телом. Вы слушаете, мисс О’Нил?

– Да, да!

– Как вам угодно поступить с телом, мисс О’Нил?

«Тело! Он теперь – тело, хоть бы сказали его тело, нет, просто – тело. Дэн, мой Дэн. Тело».

– Ближайшая родственница? – услышала она свой тонкий, слабый голос, прерывающийся громкими всхлипами. – Ближайшая, наверное, не я. Ближайшая – мама.

Короткое молчание.

– Это очень осложняет дело, мисс О’Нил. Если вы – не ближайшая родственница, мы теряем драгоценное время. – В голосе собеседника вежливое сочувствие сменилось нетерпением. – Вы, видно, не понимаете, в Греции совершается переворот, а несчастье случилось на Крите, это еще дальше, и связь установить еще труднее. Поймите! Сообщаться с Афинами практически невозможно, и нам дано указание передать пожелания ближайших родственников касательно тела немедленно. Ваша матушка с вами? Нельзя ли мне с ней переговорить?

– Мама не здесь. Она в Австралии.

– В Австралии? О Господи, час от часу не легче! Придется давать телеграмму в Австралию, опять отсрочка. Если вы не ближайшая родственница вашего брата, мисс О’Нил, почему же так сказано в его паспорте?

– Не знаю. – Она вдруг поймала себя на том, что смеется.

– Дайте мне австралийский адрес вашей матери, мы сейчас же ей телеграфируем. Надо же нам знать, как быть с телом! Пока она получит телеграмму, пока дойдет ответ, это же еще двенадцать часов, надеюсь, вы и сами понимаете. Все достаточно сложно и без этой путаницы.

– Так позвоните ей. Не тратьте время на телеграммы.

– Наш бюджет не предусматривает расходов на международные телефонные разговоры, мисс О’Нил, – сухо ответили ей. – Так будьте любезны, не скажете ли вы мне имя и адрес вашей матери?

– Миссис Мэгги О’Нил, – продиктовала Джастина. – Джиленбоун, Австралия, Новый Южный Уэльс, Дрохеда. – Она отдельно повторила незнакомые ему названия.

– Еще раз прошу принять мое глубочайшее соболезнование, мисс О’Нил.

Щелчок отбоя, ровное однообразное гудение – линия свободна. Джастина сидит на полу, трубка соскользнула на колени. Тут какая-то ошибка, все должно разъясниться. Не мог Дэн утонуть, он же плавает, как чемпион! Конечно, это неправда. «Нет, Джастина, все правда, сама знаешь, ты с ним не поехала, не уберегла его, и он утонул. Ты всегда оберегала его с тех пор, как он был совсем крохой, тебе и теперь надо было быть с ним. Если б ты не сумела его спасти, так была бы там и утонула с ним вместе. А ты с ним не поехала только потому, что рвалась в Лондон, чтобы заполучить Лиона к себе в постель».

Как трудно думать. Все трудно. Ни с чем не сладишь, даже ноги не слушаются. Никак не подняться с полу, никогда уже ей не подняться. В сознании ни для кого нет места, кроме Дэна, все мысли теснее и теснее кружат вокруг Дэна. И вдруг она подумала о матери, обо всех дрохедских. «О Господи! Туда сообщат, сообщат маме, всем им. И мама даже не увидела на прощание, какой милый он был в тот памятный день в Риме. Наверное, дадут телеграмму джиленбоунской полиции, и старый сержант Эрн влезет в свою машину, покатит в Дрохеду и скажет моей маме, что ее единственный сын умер. Не ему бы, почти чужому человеку, приносить ей такую весть. «Примите мое искреннее глубочайшее соболезнование, миссис О’Нил, ваш сын умер». Легковесные, пустые учтивые слова... Нет! Не допущу я, чтобы и она узнала это от чужих, ведь она и моя мать! Только не так, не так, как пришлось это услышать мне».

Она дотянулась до аппарата, сняла его со столика на колени к себе, прижала к уху трубку.

– Станция? Пожалуйста, междугородную. Алло? Мне нужно срочно связаться с Австралией. Джиленбоун, двенадцать-двенадцать. И пожалуйста, пожалуйста, поскорей.

Мэгги сама сняла трубку. Час был поздний, Фиа уже легла. А Мэгги в последнее время не хотелось ложиться рано, она предпочитала подолгу сидеть, слушать сверчков и лягушек, дремать над книгой, вспоминать...

– Да?

– Вас вызывает Лондон, миссис О’Нил, – сказала Хейзел, телефонистка в Джилли.

– Здравствуй, Джастина, – спокойно сказала Мэгги. Джасси звонила, хоть и не часто, узнать, как дела.

– Мама? Мама, ты?

– Да, я слушаю, – мягко сказала Мэгги. Сразу чувствуется, Джастина чем-то расстроена.

– Мама, о мама! – Станный звук, то ли вздох, то ли рыдание. – Дэн умер, мама! Дэн умер!

Земля разверзлась под ногами. Бездонная, бездонная пропасть. Мэгги проваливается в бездну, глубже, глубже, края смыкаются над головой, и уже вовек не выбраться, до самой смерти. Что еще могли ей сделать бессмертные боги? Она не понимала, когда спрашивала об этом. Как смела она спрашивать, как смела не понимать? Не искушай богов, они этого не любят. Когда она не поехала посмотреть на него в лучшую минуту его жизни, разделить его радость, она и впрямь воображала, что расплатилась за все сполна. Дэн будет свободен и от расплаты, и от нее. Она не увидит его лица, самого дорогого на свете, и тем заплатит за все. Края бездны сомкнулись, дышать нечем. Стоишь на дне и понимаешь – слишком поздно.

– Джастина, родная, успокойся, – с силой сказала она, голос ее не дрогнул. – Успокойся и расскажи толком. Ты уверена?

– Мне позвонили из австралийского консульства... там решили, что я ближайшая родственница. Какой-то ужасный тип все добивался, как я хочу поступить с телом. Он все время говорил про Дэна «тело». Как будто оно уже не Дэна, а неизвестно чье. – Мэгги услышала рыдание. – Господи! Наверное, этому бедняге тошно было мне звонить. Мама, мама. Дэн умер!

– Но как, Джастина? Где? В Риме? Почему Ральф мне не позвонил?

– Нет, не в Риме. Кардинал, наверное, еще ничего не знает. Тот человек сказал, Дэн утонул, спасая утопающих. У него было два месяца свободных, мама, и он просил меня поехать с ним, а я не поехала, я хотела играть Дездемону и хотела быть с Лионом. Если б только я была с Дэном! Будь я там, может, ничего бы не случилось. Что же мне делать?!

– Перестань, Джастина, – сурово сказала Мэгги. – Брось эти мысли, слышишь? Дэн бы возмутился, ты и сама знаешь. Несчастье всегда может случиться, а отчего и почему, мы не знаем. Сейчас важно, что ты жива и здорова, я не потеряла обоих. Теперь ты одна у меня осталась. Ох, Джасси, Джасси, это так далеко! Мир слишком велик, слишком. Приезжай домой, в Дрохеду! Мне тошно думать, что ты там совсем одна.

– Нет, мне надо работать. Работа – единственное мое спасенье. Без работы я сойду с ума. Не надо мне никого, не надо никакого утешения. Ох, мама! – Она горько заплакала. – Как мы будем жить без него?

«В самом деле, как? И жизнь ли это? Бог дал. Бог и взял. Прах еси и в прах возвратишься. Жизнь – для нас, недостойных. Жадный Бог берет себе лучших, предоставляя этот мир нам, прочим, чтобы мы здесь пропадали».

– Никто из нас не знает, долго ли нам жить. Большое тебе спасибо, Джасси, что позвонила, что сама мне сказала.

– Мне невыносимо было думать, что тебе скажет кто-то чужой, мама. Немыслимо услышать такое от чужого. Что ты теперь будешь делать? Что ты можешь сделать?

Напрягая всю волю, Мэгги силилась через мили и мили как-то согреть и утешить в далеком Лондоне свою погибающую девочку. Сын умер, дочь еще жива. Надо ее спасти. За всю свою жизнь Джастина любила, кажется, одного только Дэна. Больше у нее никого нет, даже мать она не любит.

– Джастина, милая, не плачь. Не убивайся так. Дэн ведь этого не хотел бы, правда? Вернись домой, и тебе станет легче. И мы перевезем его домой, в Дрохеду. По закону теперь он опять мой, он уже не принадлежит церкви, и она не может мне помешать. Я сейчас же позвоню в наше консульство и в посольство в Афинах, если сумею пробиться. Он непременно должен вернуться домой! Просто думать не могу, чтобы его похоронили где-то далеко от Дрохеды. Здесь его дом, и он должен вернуться домой. Приезжай с ним, Джастина.

Но Джастина съежилась в комок на полу и только головой качала, как будто мать могла ее видеть. Домой? Никогда она не сможет вернуться домой. Если б она поехала с Дэном, он был бы жив. Вернуться домой – и чтобы приходилось изо дня в день, до конца жизни, смотреть в лицо матери? Нет, даже думать невыносимо.

– Нет, мама, – сказала она, а слезы текли по лицу и жгли, точно расплавленный металл. «Кто это выдумал, будто в самом большом горе человек не плачет? Много они понимают». – Мне надо оставаться здесь и работать. Я приеду домой с Дэном, а потом опять уеду в Лондон. Не могу я жить в Дрохеде.

Три дня длилось беспомощное ожидание, провал в пустоту; из молчания властей Джастина в Лондоне, Мэгги и вся семья в Дрохеде пытались извлечь хоть какую-то надежду. Конечно же, недаром так долго нет ответа, произошла ошибка: будь все правдой, конечно же, им бы уже сообщили! Дэн постучится у двери Джестины и с улыбкой скажет, что вышла преглупая ошибка. В Греции переворот, беспорядок страшный, наверняка там вышла уйма глупейших ошибок и недоразумений. Дэн войдет и поднимет их на смех – как могли они вообразить, будто он умер, он будет стоять здесь и смеяться, высокий, сильный, полный жизни. Они ждали, и надежда все росла, росла с каждой минутой. Ужасная, предательская надежда. Он не умер, нет! Дэн не мог утонуть, он превосходный пловец, он решался плавать даже в самом беспокойном, бурном море, и хоть бы что. Так они ждали, отвергая то, что случилось, в

надежде на ошибку. Сообщить друзьям и знакомым, написать в Рим – все успеется.

На четвертое утро Джастина получила известие. Будто разом постарев на сто лет, медленно, бессильно она сняла трубку и снова позвонила в Австралию.

– Мама?

– Джастина?

– Его уже похоронили, мама! Мы не можем взять его домой! Что же нам делать? Они твердят одно: Крит большой, название деревни неизвестно, к тому времени, как пришла их телеграмма, его уже куда-то перетащили и закопали. И он лежит бог весть где, в безымянной могиле! Я не могу добиться визы в Грецию, никто не желает помочь, там совершенный хаос. Что же нам делать, мама?

– Встречай меня в Риме, Джастина, – сказала Мэгги.

Все, кроме Энн Мюллер, собрались тут же у телефона, они еще не успели опомниться. Мужчины за эти три дня постарели на двадцать лет; Фиа, совершенно седая, по-птичьи хрупкая и сухонькая, бродила по дому и все повторяла: «Зачем не я умерла? Зачем понадобилось отнять его? Я же старая, такая старая! Я-то готова умереть, зачем было умирать ему? Зачем не я умерла? Я такая старая!» Энн слегла, миссис Смит, Минни и Кэт дни и ночи проводили в слезах.

Мэгги положила трубку и молча оглядела окружающих. Вот и все, что осталось от Дрохеды. Горсточка стариков и старух, бездетные, конченные люди.

– Дэн потерян, – сказала она. – Его не могут разыскать, он похоронен где-то на Крите. Такая даль! Как же ему покоиться так далеко от Дрохеды? Я еду в Рим, к Ральфу де Брикассару. Если кто и может нам помочь, так только он.

К кардиналу де Брикассару вошел его секретарь.

– Простите, что беспокою вас, ваше высокопреосвященство, но вас хочет видеть какая-то дама. Я объяснил, что идет конгресс, что вы очень заняты и никого не можете принять, но она сказала, что будет сидеть в вестибюле, пока у вас не найдется для нее времени.

– У нее какое-то несчастье, ваше преподобие?

– Какое-то большое несчастье, ваше высокопреосвященство, это сразу видно. Она сказала, я должен вам передать, что ее зовут Мэгги О’Нил. – Секретарь произнес чужеземное имя немного нараспев, и оно прозвучало странно, незнакомо.

Кардинал Ральф порывисто поднялся, кровь отхлынула от лица, и оно стало совсем белое, белое, как его волосы.

– Ваше высокопреосвященство! Вам нехорошо?

– Нет, спасибо, я совершенно здоров. Отмените пока все встречи, какие у меня назначены, и сейчас же проводите ко мне миссис О’Нил. Кто бы меня ни спрашивал, кроме его святейшества, я занят.

Священник поклонился и вышел. О’Нил. Ну конечно! Как же он сразу не вспомнил, это ведь фамилия молодого Дэна. Правда, в кардинальском дворце все его называют просто Дэн. Большая ошибка, не следовало заставлять ее ждать. Если Дэн – нежно любимый племянник кардинала де Брикассара, значит, миссис О’Нил – его нежно любимая сестра.

Когда Мэгги вошла, кардинал Ральф с трудом ее узнал. С последней их встречи прошло тринадцать лет; ей уже пятьдесят три, ему семьдесят один. Теперь не только он – оба они постарели. Ее лицо не то чтобы изменилось, но затвердело, застыло, и выражение его совсем иное, чем рисовал себе в мыслях Ральф. Былую нежность сменили резкость и язвительность, сквозь кротость проступила железная твердость; он воображал ее покорной и вдумчивой святой, а она больше похожа на стареющую, но сильную духом непреклонную мученицу. По-прежнему она поразительно красива, все еще ясны серебристо-серые глаза, но и в красоте, и во взгляде суровость, а некогда пламенные волосы померкли, стали коричневатые, как у Дэна, но тусклые, нет того живого блеска. И, что всего тревожнее, она слишком быстро отводит глаза, и он не успевает утолить жадное и нежное любопытство.

С этой новой Мэгги он не сумел поздороваться легко и просто.

– Прошу садиться. – Он напряженно указал ей на кресло.

– Благодарю вас, – последовал такой же чопорный ответ.

Лишь когда она села и он сверху окинул всю ее взглядом, он заметил, что у нее отекли ноги, опухли щиколотки.

– Мэгги! Неужели ты прилетела прямо из Австралии, нигде не передохнула? Что случилось?

– Да, я летела напрямик, – сказала она. – Двадцать девять часов кряду, от Джилли до Рима, я сидела в самолетах, и мне нечего было делать, только смотреть в окно на облака и думать. – Она говорила сухо, резко.

– Что же случилось? – нетерпеливо, с тревогой, со страхом повторил Ральф.

Она подняла глаза и в упор посмотрела на него. Ужасный взгляд, что-то в нем мрачное, леденящее; у Ральфа мороз пошел по коже, он невольно поднял руку, коснулся ладонью похолодевшего затылка.

– Дэн умер, – сказала Мэгги.

Его рука соскользнула, упала на колени, точно рука тряпичной куклы, он обмяк в кресле.

– Умер? – медленно переспросил он. – Умер Дэн?!

– Да. Утонул шесть дней назад на Крите, тонули какие-то женщины, он их спасал.

Ральф согнулся в кресле, закрыл лицо руками.

– Умер? – услышала Мэгги сдавленный голос. – Умер Дэн? Мой прекрасный мальчик! Не может этого быть! Дэн... истинный пастырь... каким я не сумел стать. У него было все, чего не хватало мне. – Голос пресекся. – В нем всегда это было... мы все это понимали... все мы, которые не были истинными пастырями. Умер?! О Боже милостивый!

– Брось ты своего милостивого Боженку, Ральф, – сказала незнакомка, сидевшая напротив. – У тебя есть дела поважнее. Не для того я здесь, чтобы смотреть, как ты горюешь, мне нужна твоя помощь. Я летела все эти часы в такую даль, чтобы сказать тебе об этом, все эти часы только смотрела в окно на облака и знала, что Дэна больше нет. После этого твое горе меня мало трогает.

Но когда он отнял ладони от лица и поднял голову, ее оледеневшее мертвое сердце рванулось, больно сжалось, ударило молотом. «Ведь это лицо Дэна, и на нем такое страдание, какого Дэну уже не доведется испытать. О, слава Богу! Слава Богу, что он умер и уже не пройдет через такие муки, как этот человек, как я. Хорошо, что он умер, все лучше, чем так страдать».

– Чем я могу помочь, Мэгги? – тихо спросил Ральф; он подавил свои чувства, опять надел приросшую не просто к лицу – к душе маску ее духовного наставника.

– В Греции хаос. Дэна похоронили где-то на Крите, и я не могу добиться – где, когда, почему. Может быть, дело в том, что мои просьбы, чтобы его самолетом переправили на родину, бесконечно задерживались из-за междоусобицы в стране, а на Крите жара, как в Австралии. Наверное, когда сразу никто о нем не справился, там решили, что у него и нет никого, и похоронили. – Мэгги напряженно подалась вперед. – Я хочу вернуть моего мальчика, Ральф, я хочу найти его и привезти домой, пусть он спит в родной земле. Когда-то я обещала Джимсу, что Дэн останется в Дрохеде – и похороню его в Дрохеде, хотя бы мне пришлось ползком протаскаться по всем кладбищам Крита. Не будет он лежать в Риме в каком-нибудь роскошном склепе, как ваши священники, Ральф, не будет этого, пока я жива, если надо, я его отвоюю по закону. Он должен вернуться домой.

– Никто не станет его у тебя оспаривать, Мэгги, – мягко сказал де Брикассар. – Католической церкви нужно только, чтобы он покоем в освященной земле. Я и сам завещал, чтобы меня похоронили в Дрохеде.

– Я не могу прорваться через бюрократические заслоны, – продолжала Мэгги, не слушая. – Я не знаю греческого языка, у меня нет ни власти, ни влияния. Потому я и пришла к тебе, чтобы ты пустил в ход свое влияние и свою власть. Верни мне моего сына, Ральф!

– Будь спокойна, Мэгги, мы его вернем, хотя, может быть, и не так быстро. У власти сейчас левые, а они против католической церкви. Но у меня и в Греции есть друзья, все, что надо, будет сделано. Позволь мне сейчас же пустить машину в ход и не тревожься. Он – пастырь святой церкви, и мы его вернем.

Он уже потянулся к шнуру звонка, но Мэгги посмотрела так холодно и так яростно, что рука его застыла в воздухе.

– Ты не понял, Ральф. Я не желаю пускать машину в ход. Я хочу вернуть моего сына – не через неделю, не через месяц, сейчас же! Ты говоришь по-гречески, ты можешь достать визы для себя и для меня, ты добьешься. Поедем с тобой в Грецию, поедем теперь же! И помоги мне вернуть моего сына.

Многое отразилось в его взгляде – нежность и сострадание, потрясение и скорбь. И однако это снова был взгляд служителя церкви, трезвый, благоразумный, рассудительный.

– Мэгги, я люблю твоего сына как родного, но я не могу сейчас уехать из Рима. Я не принадлежу себе – ты должна бы это понимать, как никто другой. Как бы я ни горевал за тебя, как бы ни горевал я сам, я не могу уехать из Рима в разгар важнейшего конгресса. Я – помощник его святейшества папы.

Она отшатнулась, ошеломленная, возмущенная, потом покачала головой и чуть улыбнулась, словно какой-то неодушевленный предмет вдруг вздумал не подчиниться ее воле; потом вздрогнула, провела языком по пересохшим губам и решительно выпрямилась в кресле.

– Значит, ты любишь моего сына как родного, Ральф? А что бы ты сделал для родного сына? Вот так бы и сказал матери его, твоего родного сына, – нет, мол, извините, я очень занят, у меня нет времени? Мог бы ты сказать такое матери собственного сына?

Глаза Дэна и все же не такие, как у Дэна. Смотрят на нее растерянно, беспомощно, и в них – безмерная боль.

– У меня нет сына, – говорит он, – но меня многому научил твой сын, и среди многого другого – как бы это ни было тяжело, превыше всего

ставить мой первый и единственный долг – долг перед всемогущим Богом.

– Дэн и твой сын, – сказала Мэгги.

Ральф широко раскрыл глаза, переспросил тупо:

– Что?

– Я сказала: Дэн и твой сын тоже. Когда я уехала с острова Матлок, я была беременна. Отец Дэна не Люк О’Нил, а ты.

– Это... это... неправда!

– Я не хотела, чтобы ты знал, даже сейчас не хотела. Неужели я стану тебе лгать?

– Чтобы вернуть Дэна? Возможно, – еле выговорил он.

Мэгги поднялась, подошла к его креслу, обитому красной парчой, взяла худую, пергаментную руку в свои, наклонилась и поцеловала кардинальский перстень, от ее дыхания блеск рубина помутился.

– Всем, что для тебя свято, Ральф, клянусь: Дэн – твой сын. Люк не был и не мог быть его отцом. Клянусь тебе его смертью.

Раздался горестный вопль, стон души, вступающей во врата ада. Ральф де Брикассар качнулся из кресла и сник на пунцовом ковре, словно в алой луже свежепролитой крови, и зарыдал, обхватив голову руками, вцепившись пальцами в волосы, лица его не было видно.

– Да, плачь! – сказала Мэгги. – Плачь, теперь ты знаешь! Справедливо, чтобы хоть один из родителей был в силах проливать по нем слезы. Плачь, Ральф! Двадцать шесть лет у меня был твой сын, и ты даже не понимал этого, даже не умел разглядеть. Не видел, что вы с ним похожи как две капли воды! Моя мать знала с первой же минуты, едва он родился, а ты никогда не понимал. У него твои руки и ноги, твое лицо, твои глаза, твое сложение. Он весь в тебя, только волосы другого цвета. Теперь понимаешь? Когда я послала его сюда к тебе, я написала: «Возвращаю то, что украла», – помнишь? Но мы оба украли, Ральф. Мы украли то, что ты по обету отдал Богу, и обоим пришлось расплачиваться.

Она опять села в кресло, безжалостная, беспощадная, и смотрела на поверженного страданием человека в алой сутане.

– Я любила тебя, Ральф, но ты никогда не был моим. Все, что мне от тебя досталось, я у тебя вынуждена была красть. Дэн был моей добычей, только его я и сумела у тебя взять. И я поклялась, что ты никогда не узнаешь, поклялась, что не дам тебе случая отнять его у меня. А потом он сам, по собственной воле, предался тебе. Он называл тебя истинным пастырем. Вот над чем я в досталь посмеялась! Но ни за что на свете я не дала бы тебе в руки такое оружие – знать, что он твой сын. Если б не то, что сейчас. Если б не то, что сейчас! Только ради этого я тебе и сказала. А

впрочем, теперь, наверное, все не важно. Теперь он уже не мой и не твой. Он принадлежит Богу.

Кардинал де Брикассар нанял в Афинах частный самолет; втроем – он, Мэгги и Джастина – проводили Дэна домой, в Дрохеду, – молча сидели в самолете живые, молча лежал в гробу тот, кому ничего больше не нужно было на этой земле.

«Я должен отслужить эту мессу, совершить погребальную службу по моему сыну. Сын мой, плоть от плоти моей. Да, Мэгги, я тебе верю. Едва я немного опомнился, я поверил бы и без той твоей страшной клятвы. Витторио знал с первой же минуты, как увидел нашего мальчика, а в глубине души я и сам, должно быть, знал. Когда за розовыми кустами засмеялся наш мальчик, я услышал твой смех... но он поднял голову и посмотрел на меня моими глазами, какими они у меня были в невинную пору детства. Фиа знала. Энн Мюллер знала. Но не мы, мужчины. Мы не стоили того, чтобы нам сказали. Так думаете вы, женщины, и храните свои тайны, и мстите нам за унижение, за то, что Господь не создал и вас по своему образу и подобию. Витторио знал, но молчал, ибо в нем слишком много от женщины. Великолепная месть.

Читай же молитву, Ральф де Брикассар, шевельни губами, сотвори крестное знамение, напутствуй по-латыни душу усопшего. Он был твой сын. Ты любил его больше, чем любил его мать. Да, больше! Потому что он был повторением тебя самого, только лучше, совершеннее».

In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti...^[24]

В церкви полно народу; здесь все, кто только мог приехать. Целыми семьями – Кинги, О'Роки и Дэвисы, Пью, Маккуины и Гордоны, Кармайклы и Хоуптоны. И все Клири, и все дрохедские. Надежда рухнула, свет померк. Перед ними, в большом свинцовом гробу, сплошь осыпанном розами, покоится преподобный Дэн О'Нил. Почему всякий раз, как приезжаешь в Дрохеду, цветут розы? Октябрь на дворе, весна в разгаре. Немудрено, что цветут розы. Самое время.

Sanctus... Sanctus... Sanctus...^[25]

«Знай, врата рая откроются тебе. Мой Дэн, прекрасный мой сын. Так лучше. Не хотел бы я, чтобы ты стал таким, как я. Не знаю, для чего я говорю над тобой эти слова. Ты в этом не нуждаешься, никогда не нуждался. То, чего я мучительно доискивался, давалось тебе само. И не ты несчастлив – несчастны мы, те, кто остался. Пожалей нас и помоги нам, когда настанет и наш час».

Ite, Missa est... Requiescant in pace...[\[26\]](#)

По лугу, мимо призрачных эвкалиптов, и роз, и перечных деревьев, на кладбище. «Спи спокойно, Дэн, ибо только лучшие умирают молодыми. Зачем мы скорбим? Тебе посчастливилось, что ты так рано ускользнул от этой безрадостной жизни. Быть может, это и есть ад – долгий срок земного рабства. Быть может, сужденные нам адские муки мы терпим, когда живем...»

День подошел к концу, посторонние после похорон разъехались, свои, дрохедские, точно тени бродили по дому, избегая друг друга; кардинал Ральф вначале взглянул на Мэгги – и не в силах был снова посмотреть ей в лицо. Джастина уехала с младшими Кингами, Боем и Джин, чтобы поспеть на вечерний самолет до Сиднея и потом захватить ночной самолет на Лондон. Ральф не помнил, чтобы хоть раз услышал в этот день ее низкий колдовской голос, встретил взгляд этих странных, очень светлых глаз. С той минуты, когда она встретила его и Мэгги в Афинах, и до тех пор, пока не уехала с молодыми Кингами, она была точно призрак, ни на миг не сбросила маски. Почему она не вызвала Лиона Хартгейма, не попросила его приехать? Уж наверно она знает, как он ее любит, как бы хотел быть с ней в тяжелый для нее час. Мысль эта не раз мелькала у Ральфа и перед отъездом из Рима, и после, но усталый ум не задерживался на ней, и сам он Лиону не позвонил. Странные они люди здесь, в Дрохеде. Не любят ни с кем делить свое горе, предпочитают оставаться наедине со своей болью.

После ужина, к которому никто не притронулся, только Фиа и Мэгги остались с кардиналом в гостиной. Все трое молчали; оглушительно тикали бронзовые часы на мраморной каминной доске, и Мэри Карсон с портрета взглядом бросала через всю комнату безмолвный вызов бабушке Фионы. Фиа и Мэгги сидели рядом на кремовом диване, чуть касаясь плеча плечом; кардинал Ральф не помнил, чтобы когда-нибудь прежде ему случалось видеть их так близко друг к другу. Но они не говорили ни слова, не смотрели ни друг на друга, ни на него.

Он пытался понять, в чем же виноват. Слишком много было всего, вот в чем беда. Гордость, честолюбие, подчас неразборчивость в средствах. И среди всего этого расцвела любовь к Мэгги. Но он не знал главного, чем увенчалась эта любовь. А какая разница, если бы он и знал, что Дэн – его сын? Можно ли было любить мальчика сильнее, чем он любил? И разве, знай он, что это его сын, он поступил бы иначе? «Да!» – кричало его сердце. «Нет», – насмехался рассудок.

Он ожесточенно набросился на себя: «Глупец! Как было не понять, что Мэгги не способна вернуться к Люку! Как было сразу не понять, кто отец

ребенка! Она так гордилась Дэном! Все, что она сумела у тебя взять, – вот как сказала она тебе в Риме. Что ж, Мэгги, в нем ты взяла самое лучшее. О Господи, Ральф, как ты мог не признать в нем сына? Ты должен был понять это, когда он пришел к тебе взрослым, если уж не раньше. Она ждала, чтобы ты увидел и понял, ей так мучительно хотелось, чтобы ты увидел, пойми ты это, – и она пришла бы к тебе, приползла на коленях. Но ты был слеп. Ты ничего не желал видеть. Ральф Рауль, кардинал де Брикассар – этот титул, вот что было тебе желанно, желаннее, чем она, желаннее, чем твой сын. Желаннее, чем сын!»

В комнате давно уже слышались слабые вскрики, шорохи, шепот, часы тикали в такт его сердцу. А потом уже не в такт. Он сам выбился из ритма. Мэгги и Фиа всплыли, поднялись на ноги, с испуганными лицами плавали они в густом, неосязаемом тумане, что-то говорили, а он не слышал. И вдруг понял.

– А-а-а! – крикнул он.

Он почти не сознавал боли, всем существом ощущал только руки Мэгги, что обхватили его, чувствовал, как припал к ней головой.

И все же ему удалось чуть повернуть голову и посмотреть на нее, встретиться с ней глазами. Он пытался выговорить: «Прости меня», – и увидел, что она давно простила. Она знала, что взяла самое лучшее. А потом он попытался сказать ей какие-то прекрасные слова, которые навек бы ее утешили, но понял, что и это не нужно. Она такая, она все вынесет. Все! И он закрыл глаза, и наконец-то пришло облегчение: Мэгги простила.

VII

1965–1969

Джастина

Сидя у себя в Бонне за письменным столом с чашкой утреннего кофе, Лион из газеты узнал о смерти кардинала де Брикассара. Политическая буря, что бушевала уже несколько недель, пошла наконец на убыль, и он настроился было в свое удовольствие посидеть за книгой, предвкушая радость скорой встречи с Джастиной; в последнее время он не получал от нее вестей, но не беспокоился. Это так на нее похоже, она еще отнюдь не готова признать, что накрепко с ним связана.

Но при известии о смерти кардинала мысли о Джастине разом вылетели у него из головы. Десять минут спустя он уже сидел за рулем и гнал свой «мерседес» новейшей марки к автостраде. Несчастному старику Витторио будет так одиноко, а на нем и в лучшую пору лежит тяжкое бремя. Машиной быстрее всего; пока бы он ждал рейсового самолета, пока добирался бы здесь до аэропорта, а там из аэропорта, он уже приедет в Ватикан. И по крайней мере так чем-то занят, что-то зависит от тебя самого – не последнее соображение для человека с характером Лиона Хартгейма.

От кардинала Витторио он узнал обо всем, что случилось, и потрясен был настолько, что поначалу даже не задумался, отчего Джастина его не вызвала.

– Он пришел ко мне и спросил, знал ли я, что Дэн его сын, – произнес слабый голос, а слабые руки все гладили дымчатую шерсть кошки Наташи.

– Что вы ему сказали?

– Сказал, что догадался. Большого я ему сказать не мог. Но какое у него было лицо! Какое лицо! Я не удержался от слез.

– Разумеется, это его и убило. В последний раз, когда я его видел, я так и подумал, что он нездоров, и посоветовал ему показаться врачу, но он только засмеялся.

– На все воля Божья. Думаю, я не встречал больше людей с такой истерзанной душой, как у Ральфа де Брикассара. В смерти он обретет

покой, которого не находил при жизни.

– А мальчик, Витторио! Какая трагедия!

– Вы думаете? А по-моему, это скорее прекрасно. Я уверен, Дэн встретил смерть с радостью, неудивительно, что Господь не медлил долее и поспешил принять его в лоно свое. Да, я скорблю, но не о Дэне. Скорблю о его матери – вот чьи страдания, должно быть, безмерны! И о его сестре, о дядях, о бабушке. Нет, о нем я не скорблю. Преподобный отец О’Нил всю свою жизнь сохранял едва ли не совершенную чистоту духа и помыслов. Что для него смерть? Всего лишь вступление в жизнь вечную. Для всех нас этот переход будет не столь легким.

Из своего отеля Лион послал в Лондон телеграмму, но она не должна была выдать его гнев, обиду, разочарование. В ней говорилось только:

«Вынужден вернуться Бонн буду Лондоне субботу точка
почему не сообщила мне люблю

Лион».

На столе в его кабинете в Бонне ждали спешное письмо от Джастины и заказной пакет из Рима, как пояснил секретарь, от поверенных кардинала де Брикассара. Этот пакет Лион вскрыл первым – и узнал, что в придачу к прочим своим многочисленным обязанностям он по завещанию Ральфа де Брикассара становится директором компании «Мичар лимитед». И еще – попечителем Дрохеды. Он был и раздосадован, и странно растроган – так вот каким способом кардинал говорит ему, что он, Лион, в конце концов оправдал надежды в годы войны – кардинал не напрасно за него молился. Лиону он вручил дальнейшую судьбу Мэгги О’Нил и ее родных. По крайней мере так истолковал это сам Лион: завещание кардинала составлено было в самых сухих деловых выражениях. Да оно и не смело быть иным.

Он кинул эту бумагу к обычной, несекретной, корреспонденции, требующей немедленного ответа, и распечатал письмо Джастины. Начало холодное, никакого обращения.

«Спасибо за телеграмму. Ты не представляешь, как я рада, что в последнее время мы оказались оторваны друг от друга, мне невыносимо было бы, если б ты очутился рядом. Когда я думала о тебе, у меня была только одна мысль: как хорошо, что ты ничего не знаешь. Наверное, тебе трудно это понять, но я просто

не могу тебя видеть. На горе неприятно смотреть, Ливень, и если б ты был свидетелем моего горя, мне нисколько не полегчало бы. Пожалуй, ты скажешь – это лишь доказывает, как мало я тебя люблю. Люби я тебя по-настоящему, меня бы потянуло к тебе, так? А получается все наоборот.

И потому я предпочитаю, чтобы мы раз и навсегда с этим покончили. Мне нечего дать тебе, и я ничего не хочу от тебя. Я усвоила урок, теперь я знаю, как дорог становится человек, если проведешь рядом с ним двадцать шесть лет. Я не вынесу, если придется еще раз пережить такое, а ты ведь сам сказал – помнишь? – или поженимся, или ничего не будет. Вот я и выбираю – пусть не будет ничего.

Я получила письмо от матери, старик кардинал умер через несколько часов после моего отъезда из Дрохеды. Странно. Оказалось, его смерть – большой удар для мамы. Она, конечно, ничего не говорит, но я ведь ее знаю. Хоть убей, не понимаю, почему все вы так его любили – и мама, и Дэн, и ты. Мне он всегда не нравился, по-моему, он был невыносимо елейный. И я не собираюсь отказываться от своего мнения только потому, что он умер.

Ну вот. Вот и все. Я все обдумала, Ливень. Мой выбор сделан, у нас с тобой ничего больше не будет. Всего наилучшего».

Она подписалась, как всегда, крупно, с нажимом – «Джастина», письмо написано было новым фломастером, она так радовалась этому подарку Лиона, орудие как раз по ней – каждый штрих получается такой густой, четкий, решительный.

Лион не стал складывать листок и прятать в бумажник, но и не сжег, а поступил с ним, как со всеми письмами, не требующими ответа, – едва успев дочитать, сунул в электрическую машинку – резалку для ненужных бумаг. Он был глубоко несчастен – да, думал он, смерть Дэна разом все оборвала, никакие чувства в Джастине уже не проснутся. Несправедливо это. Он так долго ждал.

На субботу и воскресенье он все же полетел в Лондон, но не затем, чтобы с ней повидаться, хоть он ее увидел. Увидел на сцене, любимой женой шекспирова мавра. Дездемоной. Потрясающе. Нет, ничего он не может ей дать, чего не дала бы сцена, во всяком случае, не теперь. «Вот так, моя умница! Все излей на сцене».

Но она не могла все излить на сцене, она была слишком молода, чтобы сыграть Гекубу. Просто лишь на сцене удавалось найти покой и забвение. И она только твердила себе: все пройдет, время исцеляет все раны – но не верила в это. Почему так больно и ничуть не становится легче? Пока Дэн был жив, она, по правде говоря, не так уж много о нем думала, когда они не бывали вместе, а ведь с тех пор, как они выросли и избрали противоположные, в сущности, призвания, они редко бывали вместе. Но вот его не стало – и в ее жизни разверзлась пропасть, и ничем никогда эту зияющую пропасть не заполнить.

Всего мучительнее всякий раз спохватываться на невольном порыве, на мысли – не забыть бы рассказать про это Дэну, вот он посмеется... А так бывает постоянно, и мучение длится, длится без конца. Если бы все, связанное с его смертью, было не так ужасно, быть может, Джастина оправилась бы скорее, но эти чудовищные несколько дней никак не тускнели в памяти. Отчаянно не хватает Дэна, невыносимо опять и опять напоминать себе то, во что невозможно поверить, – Дэн умер, Дэна не вернуть.

И еще: конечно же, она слишком мало ему помогала. Все, кроме нее, видно, думали, что он – совершенство и не ведает тревог, которые мучают других, но она-то знала, его преследовали сомнения, он терзался, воображая, будто ничего он не стоит, не понимал, что видят в нем люди, кроме красивого лица и ладного тела. Бедный Дэн, он никак не мог понять, что его любят за доброту и чистоту. Ужасно вспоминать, что ему уже не поможешь – поздно.

Джастина горевала и о матери. «Если смерть Дэна едва не убила меня, каково же маме?» Подумаешь об этом – и хоть кричи, беги на край света от мыслей, от воспоминаний. Вставали перед глазами дядя, какие они были в Риме на посвящении Дэна – прямо раздувались от гордости, словно голубидутыши. Вот это хуже всего – видеть мать и всех дрохедских навсегда безутешными, опустошенными.

Будь честной, Джастина. Если по совести, это ли хуже всего? Не точит ли тебя куда сильнее другое? Никак не удастся отогнать мысли о Лионе, а ведь этим она предает Дэна. В угоду своим желаниям она отправила Дэна в Грецию одного, а если б поехала с ним, возможно, он остался бы жив. Да, именно так. Дэн погиб оттого, что она, эгоистка, поглощена была Лионом. Брата не вернешь, поздно, но если никогда больше не видеть Лиона, этим можно хоть как-то искупить свою вину, ради этого стоит терпеть и тоску, и одиночество.

Так проходили недели, месяцы. Год, два года. Дездемона, Офелия, Порция, Клеопатра. С самого начала Джастина льстила себя надеждой – она держится как надо, ничем не выдает, что мир ее рухнул; она так тщательно следила за тем, чтобы говорить, смеяться, общаться с людьми в точности как раньше. Разве что в одном она переменилась – стала добрее, чужое горе ранило ее теперь, как свое. Но в общем с виду она осталась все той же прежней Джастиной – легкомысленная, порывистая, дерзкая, независимая, язвительная.

Дважды она пыталась заставить себя съездить в Дрохеду навестить своих; во второй раз даже взяла билет на самолет. И каждый раз в последнюю минуту что-нибудь ужасно важное и неотложное мешало поехать, но втайне она знала: подлинная помеха – сознание вины и трусость. Нет сил посмотреть в глаза матери, тогда вся горькая правда неминуемо выйдет наружу, и скорее всего – в бурном взрыве горя, чего она до сих пор умудрялась избежать. Пускай все в Дрохеде, особенно мама, и впредь утешаются верой, что хотя бы с ней, Джастиной, все хорошо, что ее рана все же не опасна. Итак, от Дрохеды лучше держаться подальше. Много лучше.

Мэгги поймала себя на том, что вздыхает, и подавила вздох. Если б так не ныли все кости, она оседлала бы лошадь, но сегодня от одной мысли о поездке верхом боль еще усиливается. Как-нибудь в другой раз, когда не так будет мучить артрит.

Она услышала – подъезжает машина, стучит молоток у парадной двери – бронзовая голова барана, доносятся невнятные голоса, голос матери, шаги. Не все ли равно, ведь это не Джастина.

– Мэгги, – позвала Фиа, выглянув на веранду, – у нас гость. Может быть, войдешь в комнаты?

У гостя вид весьма достойный, он не первой молодости, хотя, пожалуй, и моложе, чем кажется. Какой-то ни на кого не похожий, она таких никогда не встречала, вот только чувствуется в нем та же сила и уверенность, какой обладал когда-то Ральф. Когда-то. В далекие, невозвратимые времена.

– Мэгги, это мистер Лион Хартгейм, – сказала Фиа, отошла к своему креслу, но не села.

– О! – вырвалось у Мэгги, так странно вдруг увидеть того, кто занимал когда-то немалое место в письмах Джастины. Но тут же она вспомнила о приличиях: – Пожалуйста, садитесь, мистер Хартгейм.

Он тоже смотрел на нее с изумлением.

– Но вы ничуть не похожи на Джастину, – сказал он растерянно.

– Да, мы совсем не похожи. – И Мэгги села напротив него.

– Я вас оставляю, Мэгги, мистер Хартгейм сказал, что ему надо поговорить с тобой наедине. Когда вам захочется чаю, позвони, – распорядилась Фиа и вышла.

– Значит, вы и есть друг Джастины из Германии? – недоуменно сказала Мэгги.

Он достал портсигар:

– Вы позволите?

– Да, конечно.

– Не угодно ли и вам, миссис О’Нил?

– Нет, спасибо. Я не курю. – Она расправила складки платья на коленях. – Вы так далеко от родины, мистер Хартгейм. Вас привели в Австралию дела?

Он улыбнулся: что-то она сказала бы, знай она, что он, в сущности, и есть хозяин Дрохеды. Но он не намерен ей это говорить, пускай все здесь думают, что их благополучие зависит от совершенно постороннего человека, которому он поручил роль посредника.

– Пожалуйста, миссис О’Нил, называйте меня просто Лион. – Он произнес свое имя почти как Ливень, как звала его Джастина, и невесело подумал – наверное, эта женщина не скоро станет так непринужденно к нему обращаться, она явно не из тех, кто чувствует себя легко с чужими. – Нет, у меня нет никаких официальных дел в Австралии, но меня привела сюда очень веская причина. Я хотел видеть вас.

– Меня?! – изумилась Мэгги. И, словно чтобы скрыть смущение, тотчас заговорила о другом: – Мои братья часто вас вспоминают. Вы были так добры к ним, когда они приезжали в Рим на посвящение Дэна. – Имя Дэна прозвучало естественно, без надрыва, словно она нередко его произносила. – Надеюсь, вы погостите у нас несколько дней и повидаетесь с ними?

– Охотно, миссис О’Нил, – с легкостью согласился он.

Встреча оборачивалась как-то неожиданно, Мэгги почувствовала себя неловко: чужой человек прямо говорит, что явился за двенадцать тысяч миль только ради того, чтобы повидаться с ней, и, однако, не торопится объяснить, зачем это ему понадобилось. В конце концов, он, пожалуй, даже ничего, но почему-то перед ним немного робеешь. Быть может, он вывел ее из равновесия просто оттого, что она таких никогда еще не встречала. Внезапно Джастина представилась ей в совершенно новом свете – ее дочь запросто водит знакомство с такими людьми, как этот Лион Мёрлинг

Хартгейм! Впервые Мэгги наконец подумала о Джастине как о равной.

Хоть она и немолода, и совсем седая, а все еще очень красива, думал Лион, встречая ее вежливо-внимательный взгляд; и все же странно, до чего не похожа на Джастину, вот Дэн – тот был вылитый кардинал де Брикассар! Как ей, должно быть, одиноко! И все же ее не так жаль, как Джастину: она явно сумела вновь обрести некоторое душевное равновесие.

– Что Джастина? – спросила Мэгги.

Он пожал плечами:

– К сожалению, не знаю. В последний раз мы виделись еще до гибели Дэна.

Мэгги ничем не показала, что удивлена.

– Я и сама после похорон Дэна ее не видела. – Она вздохнула. – Я все надеялась, что она приедет домой, но, похоже, она никогда уже не вернется.

Он пробормотал что-то невнятно-утешительное, но Мэгги словно не услышала, продолжала говорить, но как-то по-другому, будто не ему, а самой себе:

– Дрохеда теперь точно приют для престарелых. Нам нужна молодежь, а молодых только и осталась одна Джастина.

Жалости как не бывало. Лион порывисто наклонился к Мэгги, глаза его блеснули.

– Вы говорите о ней так, будто она принадлежит Дрохеде, – сказал он резко. – Предупреждаю вас, миссис О’Нил, вы ошибаетесь!

– Какое у вас право судить, что такое Джастина и где ей место? – вспыхнула Мэгги. – Вы же сами сказали, что видели ее в последний раз, еще когда жив был Дэн, с тех пор два года прошло!

– Да, правда, прошло два года. – Он заговорил мягче, заново ощутив, во что, должно быть, превратилась ее жизнь. – Вы мужественно переносите свое горе, миссис О’Нил.

– Вот как? – Она силилась улыбнуться, по-прежнему глядя ему прямо в глаза.

Вдруг ему стало понятнее, что, должно быть, нашел в ней кардинал Ральф, почему так ее любил. В Джастине этого нет, но и он ведь не Ральф, он ищет совсем другого.

– Да, вы мужественно все это переносите, – повторил он.

Она мгновенно уловила скрытый смысл его слов, болезненно поморщилась. Спросила дрогнувшим голосом:

– Откуда вы знаете про Дэна и Ральфа?

– Догадался. Не беспокойтесь, миссис О’Нил, больше никто ничего не знает. Я догадался потому, что знал кардинала очень давно, задолго до

знакомства с Дэном. В Риме все думали, что кардинал – ваш брат, дядя Дэна, но Джастина раскрыла мне глаза в первый же день, когда я ее встретил.

– Джастина? – вскрикнула Мэгги. – Только не Джастина!

Она яростно ударила себя кулаком по колену, Лион наклонился, перехватил ее руку.

– Нет-нет, миссис О’Нил! Джастина понятия ни о чем не имеет, и дай Бог, чтобы она никогда не узнала правду! Поверьте, это была просто нечаянная обмолвка.

– Вы уверены?

– Клянусь.

– Тогда объясните, ради всего святого, почему она не едет домой? Почему избегает меня? Неужели ей так невыносимо меня видеть?

Не только слова, но и смертельная тоска в ее голосе открыли ему, какой пыткой было для нее, что дочь за эти два года ни разу ее не навестила. Задача, что привела его сюда, казалась уже не столь важной, появилась другая: успокоить страхи матери.

– Это моя вина, – решительно сказал он.

– Ваша? – с недоумением переспросила Мэгги.

– Джастина собиралась поехать с Дэном в Грецию и убеждена, что, если бы поехала, Дэн остался бы жив.

– Чепуха! – сказала Мэгги.

– Вот именно. Нам с вами совершенно ясно, что это чепуха, а ей – нет. И только вы можете ей это объяснить.

– Я? Вы не понимаете, мистер Хартгейм. Джастина никогда, за всю свою жизнь, не прислушивалась к моим словам. В прежние времена я еще могла хоть как-то на нее повлиять, но теперь об этом и думать нечего. Она даже видеть меня не желает.

Это прозвучало безнадежно, но не униженно.

– Я попала в ту же ловушку, что и моя мать, – просто, почти сухо, продолжала Мэгги. – Дрохеда – это вся моя жизнь... этот дом, книги... Здесь я нужна, здесь в моем существовании еще есть какой-то смысл. Здесь люди, для которых я – опора. Моим детям я никогда не была опорой. Никогда.

– Вы не правы, миссис О’Нил, будь это правдой, Джастина преспокойно, безо всяких угрызений совести, могла бы приехать домой. Вы недооцениваете ее любовь к вам. Я сказал, что Джастина теперь мучается угрызениями совести по моей вине, это из-за меня она осталась в Лондоне, она хотела быть со мной. Но терзается она из-за вас, а не из-за меня.

От Мэгги дохнуло холодом.

– Она не имеет права терзаться из-за меня! Пускай страдает за себя, если не может иначе, но не за меня! Только не за меня!

– Значит, вы мне верите, что она понятия не имела о Дэне и кардинале?

Ожесточение Мэгги схлынуло, словно он напомнил, что тут еще многое поставлено на карту, о чем она позабыла.

– Да, – ответила она, – я вам верю.

– Я приехал к вам потому, что Джастина нуждается в вашей помощи, но не может вас об этом просить, – сказал Лион. – Вы должны ее убедить, что надо опять жить настоящей, полной жизнью... и не в Дрохеде, у Джестины своя, отдельная, жизнь, с Дрохедой никак не связанная.

Он откинулся в кресле, положил ногу на ногу, снова закурил.

– Джастина сейчас носит некую власяницу, казнит себя и кается в несуществующих грехах. Только вы одна и можете ей это растолковать. Но предупреждаю вас, если вы решите раскрыть ей глаза, она уже не вернется домой, а вот если станет продолжать в том же духе, так, пожалуй, вернется навсегда.

Лион чуть помолчал.

– Для женщины с ее характером сцена – еще не все и уже недалек тот день, когда она это поймет. Ей станут нужны близкие люди, и придется выбирать: либо родные и Дрохеда, либо я. – Он улыбнулся, глядя на Мэгги все понимающими глазами. – Но только близкие люди – это для Джестины тоже недостаточно. Если она выберет меня, она может сохранить и сцену, и вот этого преимущества Дрохеда ей не даст. – Теперь он смотрел на Мэгги сурово, как на противника. – Я приехал просить вас постараться, чтобы она выбрала меня. Возможно, мои слова покажутся жестокими, но мне она гораздо нужнее, чем вам.

Но и к Мэгги вернулась обычная твердость.

– Дрохеда тоже не такой плохой выбор, – возразила она. – Вы говорите так, будто на этом для Джестины все кончится, но вы сильно ошибаетесь. Она и сцену сможет сохранить. У нас тут есть отличная любительская труппа. Даже если Джастина выйдет замуж за Боя Кинга – мы с его дедом много лет на это надеемся, – пока она будет в разъездах, о ее детях позаботятся не хуже, чем если бы она вышла за вас. Здесь ее родной дом! Наша здешняя жизнь ей знакома и понятна. Если она выберет Дрохеду, так не вслепую, а прекрасно зная, что ее ждет. А можете ли вы сказать то же самое о жизни, которая ждет ее с вами?

– Нет, – невозмутимо ответил Лион. – Но Джастина среди

неожиданностей как рыба в воде. В Дрохеде она задохнется от однообразия.

– Вы хотите сказать, что здесь она будет несчастна?

– Нет, не совсем. Я не сомневаюсь – если она решит вернуться и выйдет за этого Боя Кинга... Кстати, кто он такой?

– Наследник соседнего имения, Бугелы, друг детства Джастины, но хотел бы стать не только другом. Его дед желает этого брака, так сказать, из династических соображений, а я – потому что, на мой взгляд, именно это Джастине и нужно.

– Понимаю. Что ж, если она вернется сюда и выйдет за Боя Кинга, она научится быть счастливой. Но ведь и счастье относительно. Едва ли та жизнь принесет ей такое удовлетворение, какое она нашла бы со мной. Потому что Джастина любит не Боя Кинга, миссис О’Нил, она любит меня.

– Тогда она выбрала очень странный способ доказывать свою любовь, – заметила Мэгги и позвонила, чтобы подали чай. – И потом, мистер Хартгейм, я уже говорила, вы переоцениваете мое влияние на дочь. Джастина никогда ни в грош не ставила мои слова и тем более – мои желания.

– Вы умная женщина, – сказал Лион. – Вы и сами знаете, что можете повлиять на нее, если захотите. Единственная моя просьба – подумайте о том, что я сказал. Не торопитесь, время терпит, и я тоже человек терпеливый и умею ждать.

– Тогда вы просто музейная редкость, – улыбнулась Мэгги.

Больше ни он, ни она об этом не заговаривали. Хартгейм провел в Дрохеде неделю и все время держался просто как гость, хотя Мэгги чувствовала – он старается, чтобы она поняла, что он за человек. Братьям он очень по душе, это ясно – едва на выгонах прослышали о его приезде, все они собрались на Главной усадьбе и оставались дома, пока он не уехал обратно в Германию.

И Фионе он тоже по душе; глаза отказываются ей служить, и она больше не ведет отчетность Дрохеды, но ум у нее по-прежнему ясный, ни намек на дряхлость. Минувшей зимой, достигнув глубокой старости, умерла во сне миссис Смит – и, не желая навязать Минни и Кэт, тоже далеко не молоденьким, но еще полным сил, новую экономку, Фиа передала дочери все книги и счета, а сама довольно успешно стала справляться с обязанностями миссис Смит. Не кто-нибудь, а Фиа первая поняла, что Лион – свидетель той жизни Дэна, которая была неведома никому из дрохедских, и попросила рассказать про эти последние годы. Лион охотно согласился и очень быстро увидел, что обитатели Дрохеды вовсе не избегают говорить о

Дэне, напротив, рады услышать каждый новый рассказ о нем, каждую мелочь.

А Мэгги, сохраняя маску учтивости, не могла забыть о том, что сказал ей Лион, ее преследовал предложенный им выбор. Она давно уже потеряла всякую надежду на то, что Джастина вернется, – и вдруг он почти поручился за такую возможность и даже признал, что Джастина может здесь быть счастливой. И еще за одно она безмерно ему благодарна: он избавил ее от вечного неотвязного страха, что Джастина каким-то образом узнала, кем приходился Дэну Ральф.

Но что до брака с Лионом... непонятно, как подтолкнуть Джастину на то, чего она, судя по всему, не желает. Или сама она, Мэгги, не желает понять, как это сделать? Теперь уже она никак не против него, но, разумеется, его счастье не так ей дорого, как благополучие дочери и всех дрохедских и самой Дрохеды. Главное – так ли необходим этот Лион для будущего счастья Джастины? Хоть он и заявил, будто Джастина его любит, Мэгги что-то не припоминала ни единого слова дочери, из которого можно бы понять, что Лион так же много значит для нее, как значил когда-то Ральф для Мэгги.

– Надо полагать, рано или поздно вы с Джестиной увидите, – сказала она Лиону, отвозя его в аэропорт. – Я предпочла бы, чтобы вы не говорили ей об этой вашей поездке в Дрохеду.

– Как вам угодно. Я только прошу вас, подумайте о том, что я тогда сказал, и не торопитесь.

Но, повторяя эту свою просьбу, он невольно почувствовал, что Мэгги извлекла из его приезда много больше, чем он сам.

В середине апреля, когда минуло два с половиной года после смерти Дэна, Джастину охватило неодолимое желание увидеть что-то еще, кроме бесконечных городских улиц и угрюмых бесчисленных толп. В ясный день, когда солнце еще не грело, но в воздухе ласково повеяло весной, каменный центр Лондона вдруг стал невыносим. И она отправилась на метро в Кью-Гарденс, очень довольная тем, что нынче вторник и парк будет почти безлюден. В этот вечер она не играет, незачем бояться усталости и можно бродить по глухим тропинкам, пока держат ноги.

Разумеется, парк был ей хорошо знаком. Всякого, кто приехал из Дрохеды, Лондон радуется своими великолепными цветниками и клумбами, но Кью-Гарденс – парк совсем особенный. Прежде она с апреля по октябрь ходила сюда постоянно, ведь, что ни месяц, тут можно любоваться иными цветами.

Середина апреля – ее любимая пора: время желтых нарциссов и азалий, и все деревья тоже в цвету. И есть там один уголок, милее и уютнее которого, пожалуй, не много найдется на свете, – здесь Джастина уселась прямо на еще не просохшей земле, чтобы в одиночестве наглядеться на всю эту прелесть. Сколько хватает глаз, тянется сплошной ковер золотистых нарциссов; посередине этой массы кивающих желтых колокольчиков высится миндальное дерево, ветви его отяжелели от цветов и плавными изгибами клонятся к земле, словно белые водопады цветения, изящные и недвижимые, как на японской картине. Покой. Так трудно его найти!

Она запрокинула голову, пытаясь запечатлеть в памяти совершенную красоту цветущего миндаля среди зыблущегося золотого моря, и вдруг картину нарушило нечто далеко не столь прекрасное. Не кто иной, как Лион Мёрлинг Хартгейм, собственной персоной осторожно шагает меж нарциссов, коренастую фигуру защищает от холодного ветерка неизбежное немецкое кожаное пальто, солнце отсвечивает в посеребренных сединой волосах.

– Ты застудишь почки, – сказал он, снял пальто и расстелил на земле подкладкой кверху, так, чтобы они оба могли сесть.

– Как ты меня отыскал? – спросила Джастина, передвигаясь на край, подбитый коричневым шелком.

– Миссис Келли сказала мне, что ты поехала сюда. Остальное несложно. Шел, шел – и нашел.

– И воображал, наверное, что я одурею от радости и кинусь тебе на шею?

– Ну и как? Рада?

– Верен себе – вечно отвечаешь вопросом на вопрос. Нет, я не рада тебя видеть, Ливень. Я думала, что сумею от тебя отделаться.

– Не так-то просто отделаться от хорошего человека. Как ты живешь?

– Нормально.

– Оправилась от всего, что было?

– Нет.

– Что ж, этого следовало ждать. Но я начал понимать, что, раз уж ты от меня отказалась, гордость нипочем не позволит тебе сделать первый шаг к примирению. А у меня, *herzchen*, хватает мудрости понять, что гордость – не лучший спутник одинокой жизни.

– Не воображай, будто ты выставишь ее за дверь и займешь ее место, Лион, предупреждаю, в качестве спутника жизни ты мне не нужен.

– Ты мне тоже больше не нужна в этом качестве.

Этот мгновенный, без запинки, ответ раздосадовал Джастину, но она

изобразила на лице облегчение.

– Честно?

– А иначе неужели, по-твоему, я вытерпел бы такую долгую разлуку с тобой? В этом смысле ты была для меня временным увлечением, но я по-прежнему дорожу твоей дружбой, и мне тебя не хватало как близкого друга.

– Ох, Ливень, и мне тоже!

– Вот и хорошо. Значит, как друга ты меня принимаешь?

– Конечно!

Он откинулся на пальто, заложил руки за голову, лениво улыбнулся Джастине.

– Сколько тебе лет, тридцать? В этом несуразном костюме ты больше похожа на девчонку. Может быть, для чего другого я тебе и не нужен, Джастина, но уж как судья и советник по части умения одеваться просто необходим.

Она засмеялась.

– Признаться, в те времена, когда ты в любую минуту мог ко мне как с неба свалиться, я больше следила за своей наружностью. Но если мне тридцать, так и ты уже не юноша, тебе, должно быть, все сорок, не меньше. Теперь разница уже не кажется такой огромной, правда? А ты похудел. Ты здоров, Лион?

– Я ведь не был толстым, только плотным, потому от вечного сидения за письменным столом и не раздался вширь, а, наоборот, усох.

Джастина тоже улеглась на пальто, повернулась на живот, с улыбкой совсем близко заглянула ему в лицо:

– Как славно опять тебя видеть, Ливень! Ты один умеешь не давать мне потачки.

– Бедная ты, бедная. Кстати, ты ведь теперь богатая женщина?

– Деньгами? – Джастина кивнула. – Странно, что кардинал де Брикассар оставил свои деньги мне. То есть он все завещал нам поровну, мне и Дэну, но ведь по закону я – единственная наследница Дэна. – Невольная судорога исказила ее лицо. Она поспешно отвернулась и сделала вид, будто разглядывает какой-то единственный нарцисс в золотистом море, пока не почувствовала, что опять сумеет сладить со своим голосом. – Знаешь, Ливень, я дорого бы дала, чтоб понять, что связывало этого кардинала с нашей семьей. Кто он нам был, друг, и только? Тут что-то загадочное, больше, чем простая дружба. А что – не знаю. Очень хотелось бы знать.

– Незачем. – Лион поднялся, протянул ей руку. – Идем, herzchen, я

угощу тебя ужином в любом месте, где, по-твоему, достаточно любопытных глаз заметят, что некая рыжая австралийская актриса и некий германский министр заключили мир. Моя репутация шалопая и донжуана сильно пострадала с тех пор, как ты дала мне отставку.

– Полегче на поворотах, мой друг. Меня больше не называют рыжей австралийской актрисой, теперь, когда я создала незабываемый образ Клеопатры, я – роскошная, великолепная английская актриса с тициановскими волосами. Или, может быть, вам не известно, сэр, что критики именуют меня самой экзотической Клеопатрой за последние десятилетия?

И она расправила плечи, угловато согнула руки, выставив кисти, точь-в-точь изображение на египетских фресках.

Глаза Лиона весело блеснули.

– Экзотической? – с сомнением переспросил он.

– Да, экзотической! – решительно подтвердила Джастина.

Кардинала Витторио уже не было в живых, и Лион теперь не так часто бывал в Риме. Вместо этого он ездил в Лондон. Поначалу Джастина была в восторге и ничего не загадывала сверх предложенной им дружбы, но проходили месяцы. Лион ни словом, ни взглядом не напоминал о былых отношениях, и ей понемногу становилось досадно, а чем дальше, тем сильнее не по себе. Опять и опять она уверяла себя, что и не думает начинать все сначала – нет, с этим покончено, ничего такого она вовсе не желает. И она не впускала в сознание образ того, другого, Лиона, так успешно забытый, что он возникал снова только в предательских снах.

Первые месяцы после гибели Дэна были ужасны, тянуло кинуться к Лиону, ощутить его рядом телом и душой, ведь только позволить – и он будет с ней, и так трудно противиться этой тяге. Но не могла она позволить, позвать: заслоняя его лицо, перед ней стояло лицо Дэна. Нет, это было правильно – отказаться от него, бороться с собой, затоптать в себе каждую искорку влечения к нему. Время шло, и казалось – он навсегда ушел из ее жизни и тело ее погрузилось в какое-то оцепенение, в спячку, а ум послушно все позабыл.

Но теперь, когда Лион вернулся, становилось день ото дня труднее. Джастину так и подмывало спросить – помнит ли он все, что было между ними... неужели он мог забыть?! Она-то, разумеется, со всякими этими чувствами покончила, но приятно было бы узнать, что он – не покончил; понятно, при условии, что «эти чувства» означают для него Джастину, и только Джастину.

И все это завиральщина. Ничуть не похоже, чтобы душу или тело Лиона иссушала безответная любовь, и он не проявляет ни малейшего желания воскресить прошлое. Он хотел ее дружбы, радуется, что они опять друзья. Вот и прекрасно! Она и сама этого хотела. Только... неужели он мог забыть?! Нет, невозможно... но, черт его побери, вдруг он и вправду забыл!

В тот вечер, когда мысли Джастины приняли такой оборот, она играла леди Макбет как-то особенно яростно, совсем не похоже на обычную свою трактовку этой роли. Потом провела почти бессонную ночь, а наутро пришло письмо от матери, и у нее стало совсем смутно и беспокойно на душе.

Мэгги теперь писала не часто, долгая разлука сказалась на них обеих, а уж если приходили письма, то какие-то безжизненные, натянутые. А это было совсем другое, в нем слышался голос надвигающейся старости, сквозь ничего не значащие фразы, будто вершина айсберга, проступили на поверхность два-три слова глубоко скрытой усталости. Джастине это очень не понравилось. Старость. Мама – и старость?!

Что же там происходит, в Дрохеде? Может быть, мама старается скрыть какое-то несчастье? Может быть, больна бабушка? Или кто-то из дядей? Или, не ровен час, сама же мама? Вот уже три года она никого из них не видела, с ней-то, с Джастиной О'Нил, за это время ничего не случилось, а там, у них, мало ли что могло случиться за три года! У нее жизнь скучная, однообразная, но это совсем не значит, что и у других все застыло на месте и ничего не меняется.

Вечер у Джастины свободный, и «Макбета» в этом сезоне надо будет играть еще только один раз. День тянется нескончаемо, вечером предстоит ужин с Лионом, но и это сегодня не радует. «Эта наша дружба выдохлась, бессмысленно все и ни к чему», – думала Джастина, натягивая на себя платье того самого оранжевого цвета, который Лион терпеть не мог. Старый брюзга с допотопными вкусами! Мало ли что ему там не нравится, пускай терпит ее такую, какая есть. Джастина взбила оборки на низком корсаже, обтянувшем мальчишески худощавый торс, встретила взглядом со своим отражением в зеркале и сердито усмехнулась: «Подумаешь, буря в стакане воды! Ведешь себя как пустейшая дамочка, сама же эту породу больше всего презираешь. Должно быть, все очень просто. Выдохлась, надо встряхнуться, переменить обстановку. Слава Богу, моей леди Макбет скоро конец. *Но что же все-таки с мамой?!*»

Лион все больше времени проводит в Лондоне, только диву даешься, с какой легкостью он носится из Бонна в Лондон и обратно. Конечно, если в твоём распоряжении личный самолет, это упрощает дело, но все-таки,

наверное, утомительно.

– Чего ради ты так часто приезжаешь со мной повидаться? – ни с того ни с сего спросила она. – Газетные сплетники всей Европы тобой за это восхищаются, а я, признаться, начинаю подозревать, что я для тебя просто предлог бывать почаще в Лондоне.

– Это верно, иногда я пользуюсь тобой как ширмой, – преспокойно согласился Лион. – По правде сказать, благодаря тебе я давно уже кое-кому втирал очки. Но встречаться с тобой не такой тяжелый труд, ведь это мне приятно. – Темные глаза его пытливо смотрели в лицо Джастине. – Ты сегодня какая-то очень тихая, *herzchen*. Тебя что-то тревожит?

– Да нет, не очень. – Джастина поковыряла ложкой сладкое и отодвинула не притронувшись. – Так только, пустяк, глупость. Мы с мамой больше не переписываемся раз в неделю... так давно не виделись, что и писать друг другу уже не о чем... но сегодня от нее пришло какое-то странное письмо. Совсем на нее не похожее.

Сердце у него упало; что и говорить, Мэгги долго думала, но чутье подсказывает ему – она начинает действовать, и первый ход не в его пользу. Она решила отыграть дочь, вернуть ее, чтобы Дрохеда не осталась без наследника.

Он потянулся через стол, взял Джастину за руку; к зрелости она стала красивее, подумал он, несмотря на это ужасное платье. На лице уже чуть-чуть намечаются морщинки и придают этому лицу озорного мальчишки достоинство, которого прежде так не хватало, выдают своеобразный и сильный характер – характера-то и прежде, конечно, было не занимать. Но подлинная ли это, глубинная зрелость или только видимость? Вот в чем главная беда с Джестиной, сама она даже не желает заглянуть вглубь.

– Твоей матери очень одиноко, *herzchen*, – сказал он, сжигая свои корабли. Значит, вот чего хочет Мэгги, так может ли он и дальше считать ее неправой, а правым себя? Она – мать, уж наверно она лучше знает собственную дочь.

– Да, пожалуй. – Джастина нахмурилась. – Но у меня такое чувство, что тут еще что-то кроется. Ведь ей, должно быть, многие годы жилось очень одиноко, почему же вдруг возникло что-то новое? Я никак не пойму, в чем тут дело, Ливень, может быть, от этого мне особенно тревожно.

– Мне кажется, ты забываешь – она ведь стареет. Должно быть, для нее становится мучительно многое, с чем она раньше справлялась без особого труда. – Взгляд Лиона вдруг стал отрешенным, словно он напряженно, сосредоточенно думал совсем не о том, что говорил. – Джастина, три года назад она потеряла единственного сына. Ты думаешь, время лечит? А по-

моему, чем дальше, тем больней. Она потеряла его, а теперь наверняка думает, что и ты для нее потеряна. Ты ведь даже ни разу не съездила повидаться с ней.

Джастина зажмурилась.

– Я поеду, Ливень, поеду! Честное слово, поеду, и очень скоро! Конечно, ты прав, ты всегда прав. Никогда не думала, что заскучаю по Дрохеде, а последнее время что-то стала думать о ней с нежностью. Как будто и правда я с ней кровно связана.

Лион вдруг посмотрел на часы, хмуро улыбнулся.

– Извини, пожалуйста, herzchen, но сегодня я тоже воспользовался тобой как ширмой. Мне очень неприятно, что я не могу проводить тебя до дому, но меньше чем через час надо встретиться с неким весьма важным деятелем в одном сверхсекретном месте, и поехать туда придется на своей машине, за рулем которой сидит трижды проверенный сверхнадежный Фриц.

– Сверхтаинственный Лион! – весело поддразнила Джастина, стараясь не выдать, что огорчена. – Теперь понятно, почему вдруг мне надо кататься на такси! Меня-то вполне можно доверить и таксисту, а вот судьбы Общего рынка – ни в коем случае, так, что ли? Ладно, не нужны мне ни такси, ни твой трижды проверенный Фриц, вот возьму и поеду просто на метро. Время еще детское. – Она подняла безучастную руку Лиона, прижалась к ней щекой и вдруг поцеловала. – Ох, Лион, не знаю, что бы я без тебя делала!

Лион сунул руку в карман, поднялся, повернулся и другой рукой отодвинул стул Джастины, давая ей встать.

– Я тебе друг, – сказал он. – На то и друзья, чтоб без них нельзя было обойтись.

Но едва они расстались, по дороге Джастина вновь невесело задумалась, и озабоченность эта быстро перешла в совершенное уныние. Сегодня впервые он заговорил о чем-то более или менее личном – и разговор свелся к тому, что, по его мнению, ее мать страшно одинока, стареет и Джастине надо бы поехать домой. Навестить маму, сказал он, а на самом деле, кажется, считает, что надо вернуться совсем. А значит, какие бы там чувства он ни питал к ней в прошлом, они и впрямь – прошлое, и у него нет никакой охоты все это воскрешать.

Прежде ей и в голову не приходило, что она могла стать для него докукой и помехой, частицей прошлого, которую он не прочь бы похоронить в благопристойной безвестности где-нибудь в Дрохеде или вроде того, – а вдруг?.. Но тогда зачем девять месяцев назад он опять вошел

в ее жизнь? Пожалел ее? Или считал, будто он ей чем-то обязан? Или решил, что в память Дэна надо как-то подтолкнуть ее к матери? Он ведь очень любил Дэна, и как знать, о чем они говорили во время тех долгих встреч в Риме, когда ее с ними не было? Может быть, Дэн просил Лиона о ней заботиться, вот он и заботится. Выждал для верности, чтобы быть спокойным, что она не выставит его за дверь, и опять заявился, чтобы исполнить то, что он там пообещал Дэну. Да, очень похоже на правду. Ясно же, он больше ее не любит. Чем бы она его прежде ни привлекала, давным-давно всему пришел конец; и потом, она ведь чудовищно с ним обращалась. Сама виновата, больше никто!

От этой мысли она горько расплакалась, потом кое-как совладала с собой – хватит дурака валять! – долго ворочалась с боку на бок и взбивала подушку в напрасных попытках заснуть, потом отчаялась, попробовала, лежа в постели, читать какую-то пьесу. Через несколько страниц слова предательски слились, поплыли перед глазами, и как ни пыталась Джастина, прибегая к старой, привычной уловке, загнать отчаяние в самый дальний угол сознания, оно все-таки обрушилось на нее всей тяжестью. Наконец, когда в окна просочился поздний, мутный лондонский рассвет, она подсела к письменному столу; зябко, вдалеке на улицах рычат моторы, тянет сыростью, во рту горечь. И вдруг подумалось: а ведь Дрохеда – это чудесно! Чистейший воздух, тишина, которую нарушают только голоса природы. Покой.

Она взяла один из своих фломастеров и принялась за письмо к матери, и, пока писала, слезы высохли.

«Я все-таки надеюсь, что ты понимаешь, почему после смерти Дэна я ни разу не была дома, – писала она. – Но что бы ты обо мне ни думала, я знаю, ты будешь довольна, что я собираюсь раз и навсегда исправить ошибку.

Да, вот именно. Я возвращаюсь домой совсем, мама. Ты была права, пришло время, когда я затосковала по Дрохеде. Порезвилась, попрыгала и увидела – пустое это и мне ни к чему. Что же, так весь век и мотаться по сцене? А кроме сцены, тут для меня и вовсе ничего нет. Хочется чего-то верного, надежного, неизменного, все это воплощено в Дрохеде, и потому я возвращаюсь домой. Хватит с меня воздушных замков. Как знать, может, я выйду замуж за Боя Кинга, если он еще не раздумал, и наконец сделаю в жизни что-то полезное, к примеру, нарожаю новых фермеров для нашей Северо-Западной равнины. Я устала,

мама, так устала, сама не знаю, что говорю, и нет у меня сил выложить на бумаге все, что чувствую.

Ладно, попытаюсь справиться с этим в другой раз. С леди Макбет покончено, роль на будущий сезон у меня еще не подобрана, и я никого в театре не подведу, если теперь откланяюсь. В Лондоне актрис хоть пруд пруди, Клайд в два счета найдет мне замену, а тебе ведь нечем меня заменить, правда? Извини, что мне понадобился тридцать один год жизни, чтобы это понять.

Пожалуй, до меня и посейчас еще не дошло бы, если б не помог Лион, но он умница, весьма проницательный малый. Хотя он с тобой и не знаком, но, похоже, понимает тебя куда лучше, чем я. Правда, говорят, со стороны виднее. Во всяком случае, он со стороны отлично все видит. Мне он опротивел, вечно следит за мной со своих олимпийских высот. Наверное, воображает, будто это его долг перед Дэном, или что-то такое ему обещал, каждый раз сваливается ко мне как снег на голову, надоело; хотя в конце концов я поняла, что это я ему надоела. А если я благополучно вернусь в Дрохеду, все его долги и обещания отменяются, правда? По крайней мере пускай спасибо скажет, что ему не придется больше летать из-за меня в Лондон.

Как только улажу тут все дела, напишу, когда меня ждать. А пока не забывай, что я хоть и по-своему, не по-людски, тебя люблю».

Она подписалась, против обыкновения, не размашисто, почти так же аккуратно подписывались когда-то обязательные послания домой под орлиным взором суровой монахини. Джастина сложила листки, сунула в конверт авиапочты, надписала адрес. И по дороге в театр, где вечером в последний раз играли «Макбета», отослала.

И сразу же начала готовиться к отъезду. Клайд, услышав такую новость, разогорчился до того, что закатил настоящую истерику, от которой Джастину бросило в дрожь, однако наутро круто переменял фронт и ворчливо, но добродушно сдался. Переуступить квартиру, которую она снимала близ Черинг-Кросс, оказалось проще простого – квартал модный, охотников сразу нашлось множество, телефон звонил каждые пять минут, и под конец Джастина просто переложила трубку с рычага на стол. Миссис Келли, которая прибирала квартирку с тех давних времен, когда Джастина только-только поселилась в Лондоне, грустно бродила среди хаоса ящиков

и стружек, оплакивая свою судьбу, и украдкой опять клала трубку на рычаг в робкой надежде: вдруг позвонит кто-нибудь, кого Джастина слушается, и уговорит ее остаться.

И среди всей этой суматохи действительно позвонил некто, кого Джастина слушалась, но не затем, чтобы уговорить ее остаться; Лион даже не знал, что она уезжает. Он только попросил ее взять на себя обязанности хозяйки, он дает у себя в доме на Парк-лейн званый ужин.

– Какой дом на Парк-лейн? – изумилась Джастина.

– Видишь ли, Англия все деятельней участвует в Европейском экономическом сообществе. И я провожу здесь столько времени, что удобней обзавестись в Лондоне каким-то pied-a-terre^[27], вот я и снял дом на Парк-лейн, – объяснил Лион.

– Вот негодяй! Какого же черта ты секретничал? И давно у тебя этот дом?

– Около месяца.

– И ты мне в тот раз загадывал какие-то дурацкие загадки и ничего не сказал?! Черт тебя возьми совсем! – Она даже запинаясь от злости.

– Я хотел тебе сказать, но уж очень забавно ты вообразила, что я все время летаю взад-вперед, слишком велик был соблазн еще немножко поводить тебя за нос. – В голосе Лиона слышался смех.

– Убить тебя мало! – сквозь зубы процедила Джастина, на глаза ее навернулись слезы.

– Нет-нет, herzchen! Пожалуйста, не сердись! Помоги мне принять гостей и осматривай мое новое жилище, сколько душе угодно.

– Ну конечно, самый подходящий случай – в сопровождении тысячи других гостей! Ты что, боишься остаться со мной вдвоем? Кого ты, собственно, опасаясь, себя или меня?

– Ты будешь не гостя, – ответил он на первую половину ее гневной речи. – Ты будешь хозяйка, это совсем не одно и то же. Так поможешь мне?

Тыльной стороной кисти Джастина утерла слезы.

– Ладно, – буркнула она в трубку.

Она никак не ждала, что будет так хорошо и весело: дом оказался просто прелесть, а сам Лион в наилучшем настроении, которым поневоле заразилась и Джастина. Она явилась в подобающем случае, хотя, на его вкус, немного слишком ярком наряде, и в первую секунду он невольно поморщился, посмотрев на это ослепительно розовое шелковое платье, но тотчас взял ее под руку и до появления гостей провел по всему дому. И потом целый вечер был безупречен, на глазах у всех держался с ней так естественно, непринужденно, что она чувствовала себя и нужной, и

желанной. Гости сплошь были важные персоны, ей даже не хотелось думать о том, какие политические решения должны принимать эти люди. Самые заурядные люди. Тем хуже.

– Это бы еще ничего, будь хоть в одном из них какая-то искра, что-то от значительной личности, – сказала Джастина Лиону, когда все разошлись; она рада была случаю побыть с ним вдвоем и только спрашивала себя, скоро ли он отправит ее восвояси. – Знаешь, как в Наполеоне или Черчилле. Если уж человек стал государственным деятелем, наверное, не вредно считать себя избранником судьбы. А ты веришь, что ты – избранник судьбы?

Лион поморщился.

– Хорошо бы немного обдуманней выбирать слова, когда задаешь вопросы немцу, Джастина. Нет, я не считаю себя избранником судьбы, и это очень плохо, когда политик такое о себе возомнит. Может быть, в редчайших случаях оно и верно, хотя я сильно в этом сомневаюсь, но в огромном большинстве такие люди навлекают и на себя, и на свою страну неисчислимы бедствия.

Джастине вовсе не хотелось с этим спорить. Важно было как-то завязать разговор, а перевести его не слишком резко на другое уже проще.

– А их жены довольно разношерстная компания, правда? – заметила она простодушно. – Почти все выглядели еще менее пристойно, чем я, хоть ты и не одобряешь ярко-розовые платья. Миссис Как-бишь-ее еще туда-сюда, а миссис Как-тебя – ничтожество, не отличить от обоев, но миссис Динозавриха просто мерзость. Непостижимо, как муж ее выносит? Нет, мужчины ужасно бездарно выбирают себе жен!

– Джастина! Когда ты научишься запоминать фамилии? Еще спасибо, что ты мне отказала, хороша бы вышла из тебя жена для политика. Я ведь слышал, как ты бормотала и мычала и не могла сообразить, кого как зовут. Кстати, очень многие мужья мерзких жен недурно преуспевают, а очень многие мужья прекраснейших жен отнюдь не преуспели. В конечном счете это не важно, все решают качества самого человека. Очень мало кто из них женится по чисто политическим соображениям.

По-прежнему он умеет поставить ее на место, и это все так же обидно; чтобы Лион не увидел ее лица, она, словно бы шутя, низко, на восточный лад, поклонилась ему, потом уселась на ковре.

– Не сиди на полу, Джастина!

Но она не встала, а вызывающе поджала ноги и прислонилась к стене возле камина, поглаживая кошку Наташу. Оказывается, после смерти кардинала Витторио Лион взял к себе его любимицу и, видно, очень к ней

привязан, хотя она уже старая и довольно капризная.

– Говорила я тебе, что уезжаю насовсем в Дрохеду? – спросила вдруг Джастина.

Лион как раз открывал портсигар; крупные руки его не дрогнули, не приостановились, он спокойно достал сигарету.

– Ты прекрасно знаешь, что не говорила, – сказал он.

– Значит, теперь говорю.

– Давно ты это решила?

– Пять дней назад. Надеюсь уехать в конце этой недели. Чем скорее, тем лучше.

– Понятно.

– Это все, что ты можешь мне сказать?

– Что ж тут еще говорить? Ну, разумеется, я желаю тебе счастья и удачи, как бы ты ни поступала, – произнес он уж до того невозмутимо, что Джастина поморщилась.

– Ладно, и на том спасибо, – беспечно отозвалась она. – А разве ты не рад, что я больше не буду въедаться тебе в печенки?

– Ты вовсе не въедаешься мне в печенки, – был ответ.

Джастина оставила в покое Наташу, взяла кочергу и принялась свирепо ворошить перегоревшие поленья в камине; они с шорохом рухнули кучкой легких раскаленных угольев, мгновенным фейерверком взметнулись искры – и жар, пышущий от камина, разом спал.

– Наверное, в нас живет демон разрушения, всегда хочется переворошить огонь. Это лишь ускоряет конец. Но какой красивый конец, правда, Ливень?

Но Лиона, видно, не занимало, что происходит с огнем, когда его переворошат, он только спросил:

– Так, значит, уже в конце недели? Ты времени даром не теряешь.

– К чему откладывать?

– А как же сцена?

– Меня уже тошнит от сцены. Да мне там после леди Макбет и делать нечего.

– Ох, довольно ребячиться, Джастина! Когда ты несешь такой вздор, я готов тебя поколотить. Сказала бы просто, что театр больше тебя не привлекает и ты соскучилась по дому.

– Хорошо, хорошо, *хорошо!!!* Считай, как тебе угодно, черт подери! Просто я легкомысленна, как всегда. Извини за резкость! – Она вскочила. – Где мои туфли, черт бы их побрал? Куда девалось мое пальто?

Появился Фриц, подал туфли и пальто и отвез ее домой. Лион

извинился, что не может сам ее проводить, у него еще много дел, но потом долго сидел с Наташей на коленях у разведенного заново огня и, судя по его лицу, поглощен был чем угодно, только не делами.

– Что ж, – сказала Мэгги матери, – надеюсь, мы поступили правильно.

Фиа, щурясь, посмотрела на нее и кивнула:

– Да, я уверена. С Джастиной беда в том, что она просто не способна сама принять такое решение, поэтому у нас не осталось выбора. Приходится решать за нее.

– Не слишком приятно разыгрывать роль Господа Бога. Я-то, думается, знаю, чего ей на самом деле надо, но даже если б я могла сказать ей это напрямик, она бы все равно увильнула от ответа.

– Гордость в крови у всех Клири, – слабо улыбнулась Фиа. – Вдруг вылезает в тех, от кого ничего такого и не ждешь.

– Брось, тут не одни Клири! Я всегда подозревала, что тут есть кое-что и от Армстронгов.

Но Фиа покачала головой:

– Нет. Почему бы я ни сделала то, что сделала, гордость тут была ни при чем. В старости тоже есть смысл, Мэгги. Она дает нам перед смертью передышку, чтобы мы успели сообразить, почему жили так, а не иначе.

– Если мы вначале не впадем в детство и не перестанем вообще что-либо соображать, – сухо заметила Мэгги. – Тебе это, правда, не грозит. И мне, надеюсь, тоже.

– Может быть, старческое слабоумие дается как милость тем, кто не в силах посмотреть в лицо своему прошлому. А тебе покуда рано ручаться, что ты не впадешь в детство. Подожди еще годиков двадцать, тогда видно будет.

– Еще двадцать лет! – с испугом повторила Мэгги. – Так страшно долго!

– Ну, это ведь было в твоей воле – сделать эти двадцать лет не столь одинокими, правда? – заметила Фиа, не отрываясь от вязанья.

– Да. Только овчинка выделки не стоила, мама. Правда? – сказала Мэгги с едва уловимой ноткой сомнения в голосе, постукивая головкой старинной вязальной спицы по письму Джастины. – Довольно я трепыхалась в нерешительности. С тех самых пор, как приезжал Лион, все тянула, надеялась – может, и не придется ничего делать, может, все решится без меня. Но он был прав. В конце концов это легло на меня.

– Ну, согласись, без меня тоже не обошлось, – возразила уязвленная Фиа. – Конечно, после того, как ты немножко обуздала свою гордость и

рассказала мне, что происходит.

– Да, ты мне помогла, – мягко сказала Мэгги.

Тикали старинные часы; все так же проворно мелькали в двух парах рук черепаховые вязальные спицы.

– Скажи, мама, – спросила вдруг Мэгги, – почему тебя сломила именно смерть Дэна? Ни из-за Фрэнка, ни из-за папы и Стюарта так не было.

– Сломила? – Фиа опустила спицы; вязала она и теперь не хуже, чем во времена, когда видела превосходно. – О чем ты говоришь?

– Ну, это ведь тебя совсем убило.

– Меня и тогда каждый раз убивало, Мэгги. Но я была моложе, и у меня хватало сил лучше это скрывать. И разум был подтверже. Вот как у тебя теперь. Но Ральф знал, что со мной сделалось, когда погибли папа и Стюарт. Ты была еще девчонкой и не понимала. – Она чуть улыбнулась. – Знаешь, Ральфом я восхищалась. Он был такой... необыкновенный. Совсем как Дэн.

– Да, правда. А я не знала, что ты это понимаешь, мама... то есть какие они оба по природе своей. Чудно. Ты для меня загадка, мама, темный лес. Столько в тебе всякого, чего я не знаю.

– Надо надеяться! – усмехнулась Фиа. Руки ее все еще праздно лежали на коленях. – Так вот, вернемся к главному – если ты сумеешь сейчас помочь Джастине, значит, твои беды тебя научили большему, чем мои – меня. Я не позаботилась о тебе, как советовал Ральф. Ни о чем не хотела думать, только вспоминать... А ведь у тебя и выбора все равно нет. Только воспоминания и остаются.

– Что ж, когда боль немного притупится, и воспоминания утешают. Разве не так? Двадцать шесть лет у меня был Дэн, и я приучила себя к мысли, что, наверное, все к лучшему, наверное, он избежал какого-нибудь совсем уже страшного испытания, такого, что и не вынес бы, сломился. Как Фрэнк, только от чего-то другого. Есть немало такого, что хуже смерти, мы с тобой обе это знаем.

– И ты совсем не ожесточилась? – спросила Фиа.

– Сначала – да, а потом ради них я себя переломила.

Фиа опять принялась за вязанье.

– Значит, после нас никого не останется, – тихо сказала она. – И не будет больше Дрохеды. Ну, напишут про нее несколько строчек в книгах по истории, и придет в Джилли какой-нибудь серьезный молодой человек, станет разыскивать и расспрашивать всех, кто еще что-то помнит, и напишет о Дрохеде книжку. Последнее из громадных землевладений

Нового Южного Уэльса. Но читатели никогда не поймут, что это было на самом деле, просто не смогут понять. Для этого надо было разделить ее судьбу.

– Да, – сказала Мэгги – она ни на минуту не переставала вязать, – для этого надо было разделить ее судьбу.

В дни, когда Джастина была вне себя от потрясения и горя, прощальное письмо к Лиону далось ей без особого труда и даже доставило какое-то жестокое удовольствие, ведь она тогда наносила ответный удар: я мучаюсь, так мучайся же и ты. Но на сей раз Лион поставил себя не в такое положение, чтобы можно было письменно дать ему отставку. Итак, не миновать ужина в их излюбленном ресторане. Он не пригласил ее к себе в дом на Парк-лейн, это ее огорчило, но не удивило. Ну разумеется, он даже прощаться намерен под благосклонным надзором верного Фрица. Уж конечно, он не намерен рисковать.

Впервые за все годы она постаралась одеться по его вкусу; видно, бесенку, что неизменно подстрекал ее щеголять в оранжевых оборках, пришлось, отругиваясь, убраться восвояси. Лион предпочитал строгий стиль, а потому Джастина надела длинное, до полу, платье шелкового трикотажа – темно-красное, матовое, с закрытым воротом и длинными узкими рукавами. К нему – широкое кольцо из витой золотой нити с гранатами и жемчужинами и такие же браслеты. Но что за несносные волосы! Никакого сладу с ними, и никак не угодишь Лиону. Подкраситься больше обычного, чтоб не так заметно было, какое у нее расстроенное лицо. Вот так. Сойдет, лишь бы он не стал слишком присматриваться.

Он как будто и не присматривался, во всяком случае, не спросил – устала она или, может быть, ей нездоровится, даже ни слова не сказал о том, какое нудное занятие – укладывать чемоданы. Совсем на него не похоже. Он был уж до того на себя не похож, что Джастине стало казаться – наступает конец света.

Она старалась, чтобы ужин проходил славно и весело, пускай потом в письмах будет о чем вспоминать, но Лион и не думал ей помочь. Если б можно было внушить себе, что просто он огорчен ее отъездом, тогда бы еще ничего. Но и это ей не удавалось. Явно не то у него настроение. Какой-то он отсутствующий, будто сидишь с плоскостным изображением, вырезанным из бумаги, и оно только и ждет, чтоб подул ветерок и унес его куда-нибудь от нее подальше. Точно Лион с ней уже простился и эта встреча совершенно лишняя.

– Ты получила ответ от матери? – вежливо осведомился он.

– Нет, да, по совести говоря, и не жду. Она, верно, от радости все слова растеряла.

– Хочешь, Фриц завтра отвезет тебя в аэропорт?

– Нет, спасибо, могу доехать и на такси, – нелюбезно ответила Джастина. – Не хочу тебя лишать его услуг.

– У меня завтра весь день разные заседания, так что, уверяю тебя, Фриц мне не понадобится.

– Я же сказала, возьму такси!

Лион поднял брови.

– Незачем повышать голос, Джастина. Поступай как хочешь, я спорить не стану.

Он больше не называл ее *herzchen*; в последнее время она все реже слышала это давно привычное ласковое слово, а сегодня Лион не произнес его ни разу. До чего унылый, гнетущий получился вечер! Хоть бы он скорее кончился! Джастина поймала себя на том, что смотрит на руки Лиона и пытается вспомнить их прикосновение – и не может. Зачем жизнь так запутана и так скверно устроена, зачем это нужно, чтобы случалось вот такое, как с Дэном?! Быть может, именно от мысли о Дэне ей стало совсем уж невыносимо тяжело, ни минуты больше не высидеть, и она оперлась ладонями на ручки кресла.

– Пойдем отсюда, если не возражаешь. У меня отчаянно разболелась голова.

На перекрестке у проулка Джестины Лион помог ей выйти из машины. Велел Фрицу объехать квартал и вернуться за ним и учтиво, как чужую, взял ее под руку. Под ледящей лондонской моросью они медленно шли по каменным плитам, шаги отдавались гулким эхом. Мрачные, одинокие шаги, точно на кладбище.

– Итак, мы прощаемся, Джастина, – сказал Лион.

– Во всяком случае, пока, – бодро откликнулась Джастина. – Это же не навек. Я изредка буду наезжать в Лондон, и, надеюсь, ты когда-нибудь выберешь время навестить нас в Дрохеде.

Он покачал головой:

– Нет, Джастина. Это прощание навсегда. Думаю, мы больше не нужны друг другу.

– То есть это я больше не нужна тебе. – Она выдавила из себя довольно правдоподобный смешок. – Ничего, Ливень! Можешь меня не щадить, я стерплю!

Он наклонился, поцеловал ее руку, выпрямился, посмотрел ей в глаза, улыбнулся и пошел прочь.

На коврике у двери ждало письмо от матери. Джастина нагнулась, подняла письмо, тут же кинула сумочку, пальто, сбросила туфли и прошла в гостиную. Тяжело села на какой-то ящик, закусила губу и минуту-другую задумчиво, с недоумением и жалостью разглядывала великолепную поясную фотографию Дэна, снятую на память о дне его посвящения в сан. Вдруг заметила, что пальцами босых ног безотчетно гладит свернутый ковер из шкур кенгуру, досадливо поморщилась, порывисто встала.

Пройтись на кухню – вот что ей сейчас требуется. И она прошла на кухню, достала банку растворимого кофе и сливки из холодильника. Наливала холодную воду из крана и вдруг замерла, широко раскрытыми глазами обвела кухню, будто видела ее впервые. Пятна и царапины на обоях, щеголеватый филодендрон в корзинке, подвешенной к потолку, стенные часы – черный котенок виляет маятником-хвостом и ворочает глазами, провожая беспечно убегающие минуты. На грифельной доске крупно выведено: *не забыть щетку для волос*. На столе – карандашный набросок, недели три назад она нарисовала Лиона. И пачка сигарет. Джастина закурила, поставила на огонь воду для кофе и заметила, что в кулаке все еще зажат смятый конверт – письмо матери. Можно и прочитать, пока греется вода. Подсела к кухонному столу, щелчком сбросила на пол карандашный портрет Лиона и поставила на него ноги. «Вот так-то. Лион Мёрлинг Хартгейм! Больно ты мне нужен, важная шишка, чиновничья душа, немецкая колбаса в кожаном пальто. Так, значит, я тебе уже без надобности, да? Ну и ты мне без надобности!»

«Дорогая моя Джастина, – писала Мэгги. – Несомненно, ты, по своему обыкновению, все решала сгоряча, но я надеюсь, что мое письмо дойдет вовремя. Если что-нибудь в моих последних письмах оказалось причиной такого скоропалительного решения, пожалуйста, извини. У меня и в мыслях не было подтолкнуть тебя на такое сумасбродство. Наверное, мне просто захотелось толики сочувствия, но я вечно забываю, что ты очень уязвима и только с виду толстокожая. Да, конечно, мне очень одиноко, до ужаса. Но ведь если ты и вернешься домой, этим ничего не поправить. Подумай немножко – и поймешь, что это правда. Чему поможет твой приезд? Не в твоей власти ни вернуть мне то, что я потеряла, ни возместить утрату. И потом, это ведь не только моя утрата, но и твоя, бабушкина, всех. Ты, кажется, вообразила, что в чем-то виновата? Сильно ошибаешься. Подозреваю, ты вздумала вернуться потому, что каешься и хочешь что-то такое искупить.

Это все гордость и самонадеянность, Джастина. Дэн был не дитя малое, а взрослый человек. Не забудь, я-то его отпустила. Дай я себе волю, как ты, я бы до сих пор кляла себя за то, что позволила ему жить, как он хотел, пока не угодила бы в сумасшедший дом. Но я себя не клянусь. Никто из нас не Господь Бог – правда, у меня было больше возможностей в этом убедиться, чем у тебя.

Возвращаясь домой, ты приносишь мне в жертву свою жизнь. Я *не желаю такой жертвы*. Никогда не желала. И сейчас ее не приму. Жизнь в Дрохеде не по тебе и всегда была не по тебе. Если ты еще не разобралась, где твое настоящее место, сядь-ка прямо сейчас и задумайся всерьез. Право, иногда ты ужасно туго соображаешь. Лион очень милый человек, но я что-то никогда ни в одном мужчине не встречала такого бескорыстия, какое тебе в нем мерещится. Ради Дэна он о тебе заботится, как бы не так! Пора стать взрослой, Джастина!

Родная моя, свет померк. Во всех нас погас некий свет. И ничем, ничем ты тут не можешь помочь, неужели сама не понимаешь? Не стану притворяться, будто я вполне счастлива, этим я только оскорбила бы тебя. Да и невозможно для человека полное счастье. Но если ты думаешь, что мы здесь с утра до ночи плачем и рыдаем, ты глубоко ошибаешься. В нашей жизни есть и радости, и едва ли не самая большая – что для тебя свет в нас еще горит. А свет Дэна погас навсегда. Пожалуйста, Джастина, милая, постарайся с этим примириться.

Конечно же, приезжай в Дрохеду, мы будем тебе очень-очень рады. Но – не насовсем. Ты не будешь счастлива, если тут останешься. Мало того, что незачем тебе приносить такую жертву, – она была бы еще и напрасной. Если ты, актриса, оторвешься от театра хотя бы на год, это будет тебе слишком дорого стоить. Так что оставайся там, где твое настоящее место, где ты всего полезнее».

«Как больно. Словно в первые дни после смерти Дэна. Та же напрасная, бесплодная, неотвратимая боль. То же мучительное бессилие. Да, конечно, я ничем не могу помочь. Ничего нельзя поправить, ничего.

Что за свист? Это кофейник кипит. Тише, кофейник, тише! Не тревожь мамочку! Каково это – быть единственным ребенком своей мамочки, а, кофейник? Спроси Джастину, она-то знает. Да,

Джастина хорошо знает, что значит быть единственным ребенком. Но я – не тот ребенок, который ей нужен, несчастной, увядающей, стареющей женщине на далекой овцеводческой ферме. Ох, мама, мама... Неужели ты думаешь, будь это в человеческих силах, я бы не поменялась? Моя жизнь взамен его жизни, новые лампы взамен старых, вернуть бы волшебный свет... Как несправедливо, что умер Дэн, а не я... Она права. Если я и вернусь в Дрохеду, этим Дэна не вернешь. Свет угас, и мне его не зажечь снова. Но я понимаю, что она хочет сказать. Мой свет еще горит в ней. Но возвращаться в Дрохеду не надо».

Дверь ей открыл Фриц, на сей раз не в щегольской темно-синей форме шофера, а в щегольской утренней форме дворецкого. Улыбнулся, церемонно поклонился, старомодно, на истинно немецкий манер, щелкнув каблуками, и Джастина вдруг подумала – может быть, он и в Бонне исполняет двойные обязанности.

– Скажите, Фриц, вы всего лишь скромный слуга герра Хартгейма или его страж и телохранитель? – спросила она, отдавая ему пальто.

– Герр Хартгейм у себя в кабинете, мисс О’Нил, – был бесстрастный ответ.

Лион сидел, чуть наклонясь вперед, и смотрел в огонь, Наташа спала, свернувшись на ковре перед камином. Когда отворилась дверь, он поднял глаза, но ничего не сказал и, видно, ничуть не обрадовался.

Джастина пересекла комнату, опустилась на колени и уткнулась лбом в колени Лиона.

– Ливень, я так виновата, – прошептала она. – Мне нет прощения за все эти годы.

Он не встал на ноги и не поднял ее, но опустился рядом с ней на колени.

– Это чудо, – сказал он.

Джастина улыбнулась ему:

– Ты ведь не разлюбил меня, правда?

– Конечно, нет, *herzchen*.

– Наверное, я ужасно тебя мучила.

– Не в том смысле, как ты думаешь. Я знал, что ты меня любишь, и я ждал. Я всегда верил, что терпеливый в конце концов непременно побеждает.

– И решил дать мне самой во всем разобраться. И ни капельки не испугался, когда я сказала, что уезжаю домой в Дрохеду, правда?

– Еще как испугался! Появись на горизонте другой мужчина, это бы меня мало беспокоило. Но Дрохеда – грозный соперник. Нет, я очень испугался.

– Ты знал, что я уеду, еще раньше, чем я тебе сказала, правда?

– Клайд проболтался. Позвонил мне в Бонн, спрашивал, не могу ли я как-нибудь тебя удержать, и я сказал, пускай поддакивает тебе хотя бы неделю-другую, а я попробую что-нибудь сделать. Не ради него, herzchen. Ради себя. Я не столь бескорыстен.

– Вот и мама так говорит. А этот дом! Ты его завел уже месяц назад?

– Нет, и он вообще не мой. Но ведь ты будешь и дальше работать в театре, так что дом в Лондоне нам нужен, и я узнаю, нельзя ли купить этот. Конечно, если он тебе по душе. Я даже предоставлю тебе отделать его заново, только дай слово – не в розовых и оранжевых тонах!

– Какой же ты хитрец! Почему бы просто не сказать, что ты меня все еще любишь? Мне так этого хотелось!

– Нет. Все было ясно как день, ты могла увидеть сама – и должна была увидеть сама.

– Боюсь, я безнадежно слепа. Ничего я толком не вижу, непременно надо, чтобы кто-то мне помог. Это мама наконец заставила меня раскрыть глаза. Сегодня вечером я получила от нее письмо, она пишет, чтобы я не приезжала домой.

– Твоя мама – удивительный человек.

– Так я и знала, что ты с ней познакомился, Ливень... Когда это было?

– Около года назад, я ездил повидать ее. Дрохеда великолепна, но это не для тебя, herzchen. Тогда я поехал, чтобы попытаться помочь твоей маме это понять. Ты не представляешь, как я рад, что она поняла, хотя едва ли я сумел что-то ей толком объяснить.

Джастина тронула пальцами его губы.

– Я слишком неуверенна в себе, Ливень. Всегда в себе сомневалась. И может, никогда не перестану сомневаться.

– Нет, herzchen, не надо! Мне никто больше не нужен. Только ты. И всему свету это известно уже сколько лет. Но слова о любви бессмысленны. Я мог кричать тебе, что люблю, тысячу раз в день, и все равно ты бы сомневалась. Вот я и не говорил о своей любви, Джастина, я ею жил. Как ты могла сомневаться в чувствах своего самого верного рыцаря? – Он вздохнул. – Что ж, по крайней мере это исходит не от меня. Надеюсь, тебе и впредь будет достаточно слова твоей мамы.

– Пожалуйста, не говори так! Бедный мой Ливень, видно, я исчерпала даже твое неистощимое терпение. Не огорчайся, что это мама все мне

втолковала. Это совсем, совсем не важно! На коленях смиренно прошу прощения.

– Слава Богу, смирения хватит разве что на сегодняшний вечер, – сказал Лион повеселее. – Завтра же ты про него забудешь.

И ее понемногу отпустило: самое трудное позади.

– Что мне больше всего в тебе нравится – нет, что я больше всего в тебе люблю – это что ты не даешь мне потачки, и я никогда не могла с тобой по квитаться.

Его плечи вздрогнули от беззвучного смеха.

– Тогда смотри на будущее с этой точки зрения, herzchen. Живя со мной под одной крышей, ты, пожалуй, найдешь способ давать мне сдачи. – Он стал целовать ее лоб, щеки, глаза. – Ты мне нужна такая, как ты есть, Джастина, только такая. Я не хочу, чтоб исчезла хоть одна веснушка с твоего лица, чтоб изменилась хоть одна клеточка в мозгу.

Она обвила руками шею Лиона, с наслаждением запустила пальцы в его густую гриву.

– Ох, знал бы ты, как мне хотелось потрепать тебя за волосы! Никак не могла забыть, до чего это приятно!

Телеграмма гласила:

«Только что стала миссис Лион Мёрлинг Хартгейм тчк обвенчались Ватикане тчк получили благословение самого папы тчк вот это свадьба вскл запозданием приедем возможно скорее на медовый месяц тчк постоянно жить будем Европе тчк целую всех тчк Лион тоже тчк Джастина».

Мэгги положила телеграмму на стол, широко раскрытыми глазами она смотрела на море осенних роз за окном. Благоухание роз, жужжание пчел среди роз. И еще – гибискус, перечные деревья и призрачные эвкалипты, и по ним высоко вьется бугенвиллея. Как хорош сад, как полон жизни! Всегда бы смотреть, как пробиваются ростки, как все достигает расцвета, меняется, увядает... и появляются новые ростки, неустанно вершится тот же вечный круговорот.

«Пора проститься с Дрохедой. Давно пора. Пусть круговорот возобновят новые люди. Я сама так устроила свою судьбу, мне некого винить. И ни о единой минуте не жалею».

Птица с шипом терновника в груди повинуется непреложному закону природы; она сама не ведает, что за сила заставляет ее кинуться на острие и умереть с песней. В тот миг, когда шип пронзает ей сердце, она не думает о близкой смерти, она просто поет, поет до тех пор, пока не иссякнет голос и не оборвется дыхание. Но мы, когда бросаемся грудью на тернии, – мы знаем. Мы понимаем. И все равно – грудью на тернии. Так будет всегда.

notes

СНОСКИ

1

Неравный брак, здесь – брак ниже ее достоинства (*фр.*).

Солдаты Австралийско-Новозеландского корпуса в годы Первой мировой войны.

3

По Фаренгейту.

От «скваттер» – австралийский первопоселенец плюс аристократ.

5

Однополое размножение.

Оранжевисты – монархическая группировка сторонников династии принцев Оранских.

Фении – ирландские мелкобуржуазные революционеры-республиканцы.

Очевидно, имеется в виду раскаяние библейского героя Самсона в том, что, поддавшись страсти к Далиле, он нарушил обет назорейства.

Привет (йот.).

10

Как дела? (нем.)

Ты болен? (нем.)

Нет (нем.).

Хорошая защита для тела (*лат.*).

Особым образом приготовленная телятина, название блюда примерно – «язык проглотишь» или «пальчики оближешь» (*ит.*).

Голубка (буквально: «сердечко») (нем.).

Дэн путает строчки поэта Роберта Херрика (1591–1634):

Нарциссы милые, мы плачем,
Ведь ваша прелесть быстро вянет.

Свет и звук (*фр.*) – звенят струи фонтана, а вечером их подсвечивают.

Средоточие веры (собор Святого Петра – воплощение католицизма, главная католическая церковь).

Здесь: надалтарная сень.

У каждого свой вкус, о вкусах не спорят (*фр.*).

Любовь моя (нем.).

Не правда ли (*нем.*).

Чертова девка (нем.).

Во имя Отца и Сына и Святого Духа... *(лат.)*

Свят... свят... свят... (лат.)

Идите, месса окончена... Да почиют в мире... (*лат.*)

Пристанище (фр.).